

ВРЕМЯ

ЭКОНОМ

ИГОРЬ
ВОЛГИН



ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ДОСТОЕВСКОГО



исторические
записки

act
ИЗДАТЕЛЬСТВО



**ИГОРЬ
ВОЛГИН**



ПОСЛЕДНИЙ ГОД
ДОСТОЕВСКОГО
исторические
записки

УДК 821.161.1(093.3)(092)

ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8

В67

Художественное оформление:

Григорий Калугин

Подписано в печать 23.06.2010. Формат 84x108 ¹/₃₂.
Усл. печ. л. 38,64. Тираж 2000 экз. Заказ 7030

Волгин, Игорь

В67 Последний год Достоевского: исторические записки /
Игорь Волгин. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: АСТ: Зебра Е,
2010. — 736 с. — (Знаки времен).

ISBN 978-5-17-068599-8 (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-94663-976-7 (ООО «Изд-во Зебра Е»)

Первое издание этой книги, переведенной на многие иностранные языки, стало мировой сенсацией и обозначило новый поворот в развитии историко-биографической прозы. Автор впервые соотнес личную и творческую судьбу Достоевского с трагическими коллизиями российской истории. Уникальные открытия, сделанные в «Последнем годе», помогают постичь драму жизни и смерти Достоевского, в том числе тайну его ухода.

ОГЛАВЛЕНИЕ

**НЕСКОЛЬКО
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ
7**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**ГЛАВА I. «КОЛЕБЛЯСЬ НАД БЕЗДНОЙ...»
13**

**ГЛАВА II. СУДЬБА АЛЁШИ
30**

**ГЛАВА III. ВЕРА ЗАСУЛИЧ
И СТАРЕЦ ЗОСИМА
50**

**ГЛАВА IV. ПОРТРЕТ С НАТУРЫ
68**

**ГЛАВА V. ТРИ ВЕЧЕРА В МАРТЕ
87**

**ГЛАВА VI. ДВЕ НЕДЕЛИ В ФЕВРАЛЕ
138**

**ГЛАВА VII. НЕДРЕМАННОЕ ОКО
156**

**ГЛАВА VIII. СВИДЕТЕЛЬ КАЗНИ
174**

**ГЛАВА IX. НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ
210**

**ГЛАВА X. ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ
225**

**ГЛАВА XI. СЮРПРИЗЫ ПОСЛЕДНЕЙ ВЕСНЫ
251**

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА XII. ПАМЯТНИК РУКОТВОРНЫЙ

275

ГЛАВА XIII. ГОСПОДИН ИЗДАТЕЛЬ

299

ГЛАВА XIV. ЗАВЕЩАНИЕ

324

ГЛАВА XV. РАЗВЯЗКА С ТУРГЕНЕВЫМ

347

ГЛАВА XVI. ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО

394

ГЛАВА XVII. СЕМЬЯ И ДЕТИ

407

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА XVIII. ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

429

ГЛАВА XIX. 1881 ГОД, ЯНВАРЬ

490

ГЛАВА XX. СМЕРТЬ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ

517

ГЛАВА XXI. ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА

594

НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

655

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

659

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

720

УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН

721

НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

В один из последних дней 1880 года Достоевский заехал к своему старинному приятелю Алексею Николаевичу Плещееву: завез долг двадцатилетней давности. «Вот ещё 150 р., — пишет он в адресованной поэту записке, — всё-таки за мной остаётся хвостик. Но отдам как-нибудь в ближайшем будущем, когда разбогатею. А теперь ещё пока только леплюсь. Всё только ещё начинается»^{1*}.

Ему оставалось жить чуть больше месяца.

Пушкин незадолго до своей гибели пишет «Памятник»; Гоголь, Тургенев, Толстой в конце пути тоже подводят итоги. Достоевский говорит: «Всё только ещё начинается».

Он умирает на взлёте: в момент величайшего проявления своей духовной мощи — после недавнего московского триумфа, едва успев дописать последние страницы «Братьев Карамазовых». Он уходит в час, когда, по его собственным словам, «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной»², уходит, не ведая, что всего через месяц после его кончины будет обо-

* См. Примечания, стр. 657.

рвано 25-летнее царствование Александра II. Он уходит, не подозревая о том, что его собственные похороны сделаются заключительным актом целой исторической эпохи.

В свой последний год автор Пушкинской речи становится едва ли не самой заметной фигурой общенационального масштаба.

Конечно, гений интересен в любой момент времени. Но всегда по-особому значителен финал его жизненного пути: здесь как бы срабатывает тайная мысль всего «сценария». И если к тому же последний вздох художника совпадает с исключительной минутой в жизни его отечества, тогда наш поздний исторический интерес получает двойное оправдание.

Эта книга не охватывает (да и не может охватить) всех тех вопросов, которые занимали её героя: он, а *не они*, составляет её сокровенный интерес. Но не от разгадки ли этой главной проблемы существенно зависят все остальные?

Автор исходил не только из тех соображений, что избранный им год — последний и что в нём сходятся основные линии жизни. Концентрация исследовательских усилий в одной исторической точке позволяет острее рассмотреть (и по-новому оценить) то, что окажется в фокусе.

Медленное вглядывание в обстоятельства и события этого последнего года вдруг позволяет обнаружить вещи, неразличимые при высоком (в смысле — *над*) литературоведческом парении; вслушивание в тон, в интонацию каждого из тех, кому предоставлено слово, делает внятными звуки, нередко скрадываемые бодрой биографической скороговоркой. Ни один факт не должен приниматься на веру: ему надлежит получить подтверждение при перекрестном допросе свидетелей и обрести своё место в системе доказательств.

Сюжеты, возникающие в ходе нашего повествования, как правило, не затрагивались (или почти не затрагивались) исследователями. Так, в почти необозримом море отечественной и зарубежной литературы о Достоевском нельзя указать работ, которые были бы посвящены смерти писателя и отношению к ней русского общества. Подобные лакуны немислимы в науке о Пушкине, Гоголе, Толстом.

От читателя, очевидно, не укроется предпочтение, отдаваемое первоисточникам. Впервые приводится значительное количество печатных материалов (откликов прессы, дневниковых и мемуар-

ных свидетельств и т. п.), доселе не привлекавших исследовательского внимания и поэтому практически неизвестных. Сказанное, разумеется, относится и к большинству использованных архивных документов.

Порою автор отваживался на предположения: историческая реконструкция (как и любая реконструкция) допускает восстановление неизвестного и утраченного на основе достоверного.

Автор не стремился удержаться в жестких хронологических рамках, когда выход из них диктовался самим сюжетом: отступления от 1880 года оправданы тем, что почти каждое событие последнего года Достоевского так или иначе соотносится с коллизиями всей его жизни и — не побоимся это сказать — с дальнейшим ходом русской истории.

Важно было остановиться и на развязке личных и литературных отношений Достоевского с Тургеневым, а также на некоторых моментах его духовного сосуществования с Львом Толстым.

Предвидя возможные упреки в «достоевскоцентризме», когда речь касается отношений его героя с великими современниками, автор спешит оговориться, что он не руководствовался добрым школярским правилом — раздать всем сёстрам по серьгам: он старался соотнести происходящее с кругом сознания Достоевского. Нужно ли разъяснять, что исторический анализ вовсе не игнорирует суждений субъективных и даже пристрастных: они являются принадлежностью самой эпохи.

«Всё только ещё начинается», — написано им за месяц до смерти. И он не ошибся. Всё ещё было впереди. Сам он так и не успел отдать Плещееву всю занятую у него сумму: последний «хвостик» возвращала уже Анна Григорьевна. Но с Достоевским всегда особые счёты. Существует задолженность ему самому — его современников и потомков. Причём «сумма» имеет тенденцию к росту.

Следует отдавать долги.

Часть

первая

Глава I «колеблясь над бездной...»

Зима 1880 года

Новый, 1880 год огорошил сюрпризом. В первый же день простыла Анна Григорьевна — и слегла с кашлем и лихорадкой. Это не замедлило сказаться на работе: хотя еженощное писание двигалось своим чередом, перемаранные листы угрожающе скапливались в кабинете. Обычно с этих черновых и получерновых листов текст передиктовывался Анне Григорьевне, которая воспроизводила его стенографически, после чего аккуратнейшим образом переписывала.

В «Русском вестнике» хвалили её почерк.

Между тем приближались последние сроки: январский номер, как всегда, выходил в конце месяца, следовательно, не позже 16 января девятая книга «Братьев Карамазовых» должна была быть в редакции. Приходилось писать в Москву успокоительные письма: к новогодним поздравлениям многоуважаемым Николаю Алексеевичу и Михаилу Никифоровичу (Любимову и Каткову) присовокуплялись извинения за невольную задержку. Кроме того, сама девятая книга — «Предварительное след-

ствие» — вместо предполагаемых полутора печатных листов раз-
расталась до пяти: финал безумной ночи в Мокром, допрос Мити
с обыском и раздеванием, а также масса других идущих к делу
подробностей заслуживали самого досконального изображения.

Времени было в обрез.

Пришлось отложить в сторону неотвеченные письма, отка-
заться от необходимейших визитов. «И во всей моей жизни
страшный беспорядок», — жалуется он 8 января, вежливо откло-
няя приглашение на вечернюю чашку чая.

Приглашение исходило из дома графини С.А. Толстой — вдовы
поэта Алексея Константиновича Толстого. Достоевский любил
бывать в этой дружественной ему семье и потому не замедлил
посетить салон графини, как только очередная порция «Карама-
зовых» была отправлена в Москву.

...Возможно, в ту самую ночь, когда Фёдор Михайлович Досто-
евский возвращался от графини Толстой, толпа полицейских
чинов ломилась в одну из квартир дома номер девять по Сапер-
ному переулку. Квартира встретила пришельцев огнём. Силы
оказались слишком неравными: первая типография «Народной
воли» была взята штурмом. Двадцативосьмилетний наборщик
Абрам Лубкин (по прозвищу Птаха), прежде чем его схватили,
успел выстрелить себе в висок.

Год начинался с револьверной пальбы.

Род оружия

Впрочем, к этому уже привыкли. С тех пор как в январе 1878-го
Вера Ивановна Засулич из револьвера системы «бульдог» в упор
поразила петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, подоб-
ные события — ошеломляющие, из ряда вон выходящие — утра-
тили свою чрезвычайность.

События эти были *ответом* на приговоры участникам поли-
тических процессов — к сотням лет каторги, на издевательства
в местах заключения, на административный произвол и массо-
вые высылки без суда и следствия. Они были ответом на полную
безгласность низов и абсолютную безнаказанность верхов.

Впервые (если не считать одного дня — 14 декабря 1825 года)
страна была поставлена перед небывалым в её истории фактом:
организованной вооружённой борьбой против существующей

власти. Факт этот постепенно перевешивал всё остальное: голод и крестьянское разорение, разномыслие западников и славянофилов, провалы во внешней политике и т. д. «Дай бог, чтобы я ошибался, — писал Лев Толстой, — но мне кажется, что все вопросы восточные и все славяне и Константинополи пустяки в сравнении с этим»¹.

Толстой называет именно те проблемы, которые занимали Достоевского на протяжении минувших двух лет. Автор «Дневника писателя» полагал, что именно там, на Балканах, будет положено начало некоему мировому нравственному перевороту — тому, что он именовал «русским решением вопроса». Это решение должно было зиждиться не на холодном государственном расчёте, а на правде и справедливости — «пусть даже в ущерб собственной выгоде».

Русско-турецкая война закончилась; армия, уже различавшая на горизонте купол Святой Софии, по доброй воле отступила от Константинополя. После Берлинского конгресса «собственная выгода» России (как бы в насмешку над его словами) была действительно сведена на нет: дипломаты отдали то, за что было заплачено русской кровью. Что же касается нравственной — главной для него — стороны дела, то о ней и не вспоминали. Восточный вопрос не обновил Европы и не повёл к возрождению его собственной страны.

Прекратился и выпуск «Дневника писателя», к которому за два года (1876—1877) читающая Россия уже привыкла. Подписчики, приученные находить на страницах «Дневника» если не ответы на злобу дня, то по меньшей мере пристальное её обсуждение, теперь должны были оставаться в неведении относительно того, как смотрит их постоянный собеседник на совершающиеся события.

События между тем совершались.

Пока генерал-адъютант Трепов оправлялся от полученной раны, в Киеве был убит жандармский полковник барон Гейкинг, а в Ростове-на-Дону жизнью заплатился за свою деятельность агент сысской полиции Никонов. В Киеве же Валериан Осинский стрелял в местного прокурора Котляревского. Лишь спасительная толщина прокурорской шубы остановила полёт пуль и сохранила жизнь её владельцу: счастливцев не был даже ранен, хотя и свалился на землю от страха.

Россия не знала ничего подобного.

Правда, 14 декабря 1825 года из каре восставших войск на Сенатской площади прогремело несколько выстрелов — и Каховский, один из тех штатских, коих правительственный бюллетень аттестует господами «гнусного вида во фраках», сразил генерала Милорадовича; правда, 4 апреля 1866 года пуля Каракозова просвистела мимо решетки Летнего сада, едва не задев Александра II. Но это были печальные *исключения*. Теперь же власть постоянно находилась под револьверным прицелом.

Впрочем, страшен был не только револьвер.

4 августа 1878 года, около девяти часов утра, шеф жандармов и начальник III Отделения генерал-адъютант Мезенцов возвращался домой после ранней молитвы в часовне у Гостиного двора. Вместе со своим спутником — отставным подполковником Макаровым — генерал вступил на Михайловскую площадь. В этот момент, как гласит текст официального донесения императору, он «был... встречен неизвестным молодым человеком среднего роста, одетым в серое пальто и в очках». Молодой человек стремительно бросился на шефа жандармов и поразил его кинжалом в живот (чем и был отчасти поколеблен слух, будто генерал носит кольчугу). Подполковник Макаров с криком «держи, держи!» ударил нападавшего зонтиком. «...В ту же минуту другой молодой человек, с черными усами, в длинном синем пальто и черной пуховой круглой шляпе, выстрелил в Макарова, но не попал, и затем оба убийцы вскочили на стоявшие в Итальянской, вероятно их собственные, дрожки, запряженные вороною лошадей; на козлах сидел молодой кучер с черными усами без бороды. Сев на дрожки, злоумышленники понеслись по Малой Садовой и скрылись из виду»².

Вороной не подвёл. Это был, как выяснилось впоследствии, знаменитый Варвар — тот самый «революционный конь», который в 1876 году умчал из тюремного госпиталя Петра Кропоткина, в 1877 году — бежавшего из тюрьмы В.С. Ивановского, а за несколько месяцев до покушения на Мезенцова спас от тюремной погони А.К. Преснякова (Преснякова позднее поймают — и казнят в ноябре 1880 года; тогда же Достоевский обозначит его имя в своей записной книжке: к этой записи мы ещё обратимся). По прихоти судьбы именно Варвар, наконец-то плененный правительством и призванный на полицейскую службу, 1 марта 1881 года доставит в Зимний дворец смертельно раненного русского самодержца.

Тяжёлый кинжал, предназначенный для медвежьей охоты, всадил в Мезенцова («ниже кольчуги») Сергей Кравчинский. Вскоре он эмигрирует и под псевдонимом Степняк выпустит за границей несколько книг о русской революции, которые принесут ему европейскую известность. В одной из них он упомянет Достоевского: «Единственные талантливые люди, которых она (реакция. — *И. В.*) закрепила за собой... — Достоевский в художественной литературе и Катков в журналистике — оба ренегаты революционного дела»³.

Автор не вполне прав: не говоря уже о несоизмеримости талантов, Катков никогда не принадлежал к «революционному делу». Что же касается «ренегатства» Достоевского, то к этой расхожей формуле нам ещё придётся вернуться.

Чудом избежавший виселицы Сергей Кравчинский намного переживёт автора «Бесов»: он погибнет случайно, в 1895 году, — под колесами пригородного лондонского поезда.

Имя «молодого кучера с черными усами» — Адриан Михайлов. Его поймают не скоро: его процесс, которым, как всяким политическим делом, будет остро интересоваться Достоевский, состоится только через два года — накануне Пушкинского праздника — и окажется в некоторой связи с последним.

Наконец, следует сказать о третьем участнике драмы, разыгравшейся на Михайловской площади, — человеке «в черной пуховой шляпе», который огнём прикрыл своего товарища (на суде в 1882 году он будет утверждать, что стрелял в воздух, ибо усматривал в подполковнике Макарове не охранника, а лишь случайного спутника). Этот человек станет *последним соседом* Достоевского: зимой 1880—1881 годов в доме номер 5/2 по Кузнечному переулку, на одной лестнице с Достоевским, под чужой фамилией будет проживать член «великого ИК» — первого Исполнительного комитета «Народной воли», участник убийства Мезенцова, а затем почти всех покушений на Александра II — Александр Иванович Баранников.

Так затягивались узлы, распутать или разрубить которые уже не представлялось возможным. Так протягивались нити — с «мировых подмостков» к автору «Карамазовых».

Род смерти

Через четыре дня после убийства Мезенцова состоялось высочайшее повеление, согласно которому все дела, связанные с применением оружия против представителей власти, передавались в ведение военных судов. После самосуда военный суд — самый скорый суд в мире: его приговоры, как правило, предрешены и обжалованию не подлежат.

Русской революции было обеспечено упрощенное судопроизводство.

12 мая 1879 года временным генерал-губернаторам было отправлено следующее секретное отношение: «Государь император, получив сведение, что некоторые из политических преступников, судившихся в Киеве военным судом... приговорены к смертной казни расстрелянием, изволил заметить, что в подобном случае *соответственное* назначать повешение... О вышеизложенном имею честь сообщить... для руководства при конfirmации приговора военных судов по делам сего рода»⁴.

Эту бумагу подписал главный военный прокурор В.Д. Философов — муж той женщины, которую Достоевский глубоко чтил за её «умное сердце» и в чьём доме он так любил бывать.

Александр II благоволил своему главному военному прокурору, но, в отличие от Достоевского, не жаловал его жену — Анну Павловну. Впрочем, неприязнь была взаимной. «Я ненавижу настоящее наше правительство... — признавалась Анна Павловна в письме мужу, состоявшему одним из высших юридических агентов этого правительства, — это шайка разбойников, которые губят Россию»⁵.

Ходили упорные слухи, что в доме Философовых (разумеется, на её половине) скрывалась после освобождения из-под стражи Вера Засулич. Имя Анны Павловны упоминали в связи с побегом Кропоткина. В огромной казенной квартире главного военного прокурора хранилась нелегальная литература и, возможно, бывали такие гости, для которых хозяин, у которого доставало такта не интересоваться, кто именно посещает его жену, должен был требовать впоследствии смертных приговоров.

Можно предположить, что кое-какие не подлежащие огласке подробности, связанные с деятельностью военных судов, через А.П. Философову доходили к Достоевскому.

Явный итог этой деятельности был таков: шестнадцать смертных казней за один только 1879 год. Во всем XIX столетии не было больше такого «урожайного» года.

Смерть окликала смерть: эхо перекатывалось над всей страной.

Попытка третья

Необходимо одно отступление.

Часто различные по своему историческому содержанию понятия обозначают одинаковыми словами.

Русские революционеры конца 1870-х годов именовали себя террористами. Так же именуются ныне те, кто сделал террор универсальным орудием своей слепой и нечистой игры.

Между тем ни исторический облик деятелей «Народной воли», ни их методы, ни, главное, нравственные мотивы их поступков — всё это весьма не похоже на то, что ныне обнимается понятием международного терроризма.

Народовольцы не взрывали железнодорожных вокзалов в часы наибольшего скопления публики; не палили без разбора в выходящую из храма толпу; не захватывали женщин и детей в качестве заложников (они вообще не знали института заложничества); не убивали своих идейных противников (скажем, ругавших их журналистов). Они, наконец, не считали, что их метод борьбы — единственно правильный. Они решились на то, на что они решились, лишь после того, как все другие аргументы были исчерпаны. При этом сами народовольцы вовсе не полагали, что вынужденные приёмы их борьбы имеют универсальную ценность.

«Террор — ужасная вещь, — говорил С.М. Кравчинский, — есть только одна вещь хуже террора: это — безропотно сносить насилия»⁶.

...26 августа 1879 года Исполнительный комитет «Народной воли» вынес смертный приговор русскому самодержцу.

Впрочем, отдельные попытки предпринимались и раньше.

2 апреля 1879 года император прогуливался вокруг Зимнего дворца. Когда (как сказано в правительственном сообщении) он подошёл к штабу С.-Петербургского военного округа, что у Певческого моста, «с противоположной стороны здания вышел человек, весьма прилично одетый, в форменной гражданской

с кокардою фуражке. Подойдя ближе к Государю Императору, человек этот вынул из кармана пальго револьвер, выстрелил в Его Величество и вслед за этим сделал ещё несколько выстрелов»⁷.

На деле картина выглядела менее статично: шестидесятилетний царь-освободитель спас свою жизнь лишь тем, что, подхватив полы шинели, стал зигзагами уходить от Александра Соловьёва (как деликатно выражались газеты, государь «изволил быстро повернуть налево»).

Император, спотыкаясь и падая, бежал прочь от Соловьёва; Соловьёв, паля из револьвера, гнался за императором (на стене штаба остались выщербины от трёх пуль — одна из них пробила щёку проходившего мимо военного); охрана с воплями пыталась настигнуть нападавшего. Наконец капитан Кох (этот офицер императорской стражи будет контужен 1 марта 1881 года, но переживёт своего подопечного) догнал Соловьёва — и свалил его одним ударом: плашмя шашкой по спине.

Покушение пришлось на второй день Пасхи. Оставалось две недели до 17 апреля (однажды, присутствуя на заседании Особого совещания, созванного для противодействия крамоле, император грустно заметит: «Вот как приходится мне проводить день моего рождения»). На послезавтра (то есть 4 апреля) приходилась и другая дата — тринадцатая годовщина каракозовского покушения.

На сей раз не нашлось Комиссарова, чтобы отвести кошунственную руку. Эту миссию — правда, с меньшей расторопностью — исполнил капитан Кох: подобные действия полагались ему по штату. Однако инерция мифа оказалась сильна: в народе ходили слухи, что царя спасла какая-то крестьянская баба. «Это очень характеристическая черта»⁸, — раздумчиво замечает современник.

Государь, под дулом револьвера мечущийся по главной площади своей столицы, являл невеселое зрелище. Александр был обречён. И хотя третье (вторым стрелял в 1867 году в Париже поляк Березовский) чудесное спасение давало повод для новых благодарственных молебнов и верноподданнических адресов, последние отнюдь не гарантировали августейшую безопасность. Предсказание гадалки о том, что русский царь падёт после седьмого посягновения, с каждой новой попыткой возрастало в цене.

3 июня 1879 года председатель Комитета министров Пётр Александрович Валуев записывает в дневнике: «Видел их император-

ских величеств. Вокруг них всё по-прежнему, но они не прежние. Оба оставили во мне тяжёлое впечатление. Государь имеет вид усталый и сам говорил о нервном раздражении, которое он усиливается скрывать. Коронованная полуразвалина. В эпоху, где нужна в нём сила, очевидно, на неё нельзя рассчитывать... Во дворце те же Грот и Голицын, та же фрейлина Пилар, те же метрдотель и пр. ...Вокруг дворца, на каждом шагу, полицейские предосторожности; конвойные казаки идут рядом с приготовленным для Государя традиционным в такие дни шарабаном, чувствуется, что почва зыблется, зданию угрожает падение, но обыватели как будто не замечают этого. Хозяева смутно чуют недоброе, но скрывают внутреннюю тревогу»⁹.

Предчувствия не обманули «хозяев»: соловьёвский выстрел был первой из трёх *главных* попыток 1879 года.

Схваченный тридцатидвухлетний преступник попытался принять яд, заранее припасенный в ореховой скорлупе. Ему помешали. Срочно доставленные врачи дали сильное противоядие и вызвали кровавую рвоту¹⁰.

Здесь следует остановиться. Ибо в газетных отчётах об этом эпизоде всплывает имя, хорошо знакомое Достоевскому. Профессор Дмитрий Иванович Кошляков — один из двух врачей (вторым был Трап), дававших противоядие Соловьёву, дабы, по словам подпольного листка, спасти его «для пыток и казни». Он — домашний доктор Достоевских, точнее — постоянный консультант. Уже не первый год он пользует главу семьи. Именно Кошляков находит у своего пациента эмфизему легких и отправляет его лечиться в Эмс.

Достоевский мог получить информацию из первых рук.

6 апреля Исполнительный комитет «Земли и воли» опубликовал следующее предупреждение: «Исполнительный Комитет, имея причины предполагать, что арестованного за покушение на жизнь Александра II Соловьёва, по примеру его предшественника Каракозова, могут подвергнуть при дознании пытке, считает необходимым заявить, что всякого, кто осмелится прибегнуть к такому роду выпытывания показаний, Исполнительный Комитет будет казнить смертью. Так как профессор фармации Трап в каракозовском деле уже заявил себя приверженцем подобных приёмов, то Исполнительный Комитет предлагает в особенности ему обратить внимание на настоящее заявление». К этому тексту следовало примечание: «Настоящее заявление послано

по почте на бланках, за печатью Исполнительного Комитета г.г. Трапу, Дрентельну*, Кошлакову и Зурову**»¹¹.

Конечно, трудно предположить, чтобы Кошлаков, известный «своей чрезвычайной добротой и снисходительностью»¹², решился на подобное дело. Вместе с тем предупреждение «Земли и воли» не лишено оснований: в своё время упорно циркулировали слухи, будто бы Каракозова перед смертью пытали.

Каракозовское покушение было памятно Достоевскому.

Тринадцать лет назад автор «Преступления и наказания» (работа над романом была тогда в полном разгаре) влетел к Аполлону Николаевичу Майкову. Присутствовавший при этом поэт П.И. Вейнберг вспоминает:

«Он был страшно бледен, на нём лица не было, и он весь трясся, как в лихорадке.

— В царя стреляли! — вскричал он, не здороваясь с нами, прерывающимся от сильного волнения голосом.

Мы вскочили с мест.

— Убили? — закричал Майков каким-то... нечеловеческим, диким голосом.

— Нет... спасли... благополучно... Но стреляли... стреляли... стреляли...»¹³

Доселе русских государей ещё ни разу не убивали на площади, при всем честном народе. С ними управлялись келейно — душили шарфом в собственной спальне, пристукивали табакеркой, приканчивали в разгаре дружеского застолья. Каракозов нарушил традицию: он посягал явно. Он создавал *прецедент*. И в троекратно повторенном «стреляли» сказалося сознание необратимости этого факта. Отныне русская историческая власть лишалась ореола неприкосновенности. Отныне её нужно было охранять.

Позже он назовет Каракозова «несчастливым слепым самоубийцей». В этом определении, столь отличном от официальных клише, где на первом месте всегда стояло «злодейство», сквозит сострадание. Здесь (впрочем, как и всегда) Достоевскому важнее всего человеческое: его интересует не столько убийство, сколько сам убийца, его судьба, его порыв к самоуничтожению.

* Начальник III Отделения и шеф жандармов.

** Петербургский градоначальник.

«В настоящую пору бежал бы из Питера в пустыню», — пишет Достоевскому К.П. Победоносцев через девять дней после соловьёвского покушения. Напутствуя своего корреспондента, отъезжающего на лето в Старую Руссу, он желает ему «вернуться благополучно и здорово в лучшую пору»¹⁴.

Соловьёв был повешен 28 мая на Смоленском поле, но «лучшей поры» не наступило. В Петербург, Харьков и Одессу назначаются временные генерал-губернаторы, получившие чрезвычайные полномочия. Россией начинают управлять по законам военного времени.

...Дочь Философовых любила, по её словам, «что есть духу» пробежать через всю анфиладу комнат огромной родительской квартиры. Она вспоминает: «Лечу я однажды таким образом, а было мне уже шестнадцать лет, и гимназию я кончила, и налетаю в дверях на Фёдора Михайловича. Сконфузилась, извиняюсь и вдруг поняла, что не надо. Стоит он передо мною бледный, пот со лба вытирает и тяжело так дышит, скоро по лестнице шёл: «Мама дома? Ну, слава Богу!» Потом взял мою голову в свои руки и поцеловал в лоб: «Ну, слава Богу! Мне сейчас сказали, что вас обеих арестовали»¹⁵. Когда именно произошёл описанный случай? Дочь Философова не называет даты. Но можно попытаться её установить.

В «Очерках прошлого», принадлежащих перу графа де Воллана (нам ещё не раз придётся останавливаться на этих позабытых записках), говорится: «Учреждение генерал-губернаторства, хватание каждого подозрительного лица не обещает ничего хорошего. Соловьёв будто бы сказал: «Меня будет судить потомство». Взяли, говорят, Философову. У Салтыкова (Щедрина) произвели обыск, и он, пока была у него полиция, расхаживал по комнате и пел «Славься, славься, Святая Русь!». Всё это, может быть, относится к области мифов, но интересно, что такие слухи ходят»¹⁶.

Действительно, слухи оказались ложными. А.П. Философова будет вскоре выслана из России, но несомненно, что именно в результате подобных слухов взволнованный Достоевский поспешил к Философовым. И произошло это, как явствует из сопоставлений с текстом де Воллана, в апреле 1879 года — в первые дни после соловьёвского покушения.

Казнь Соловьёва отнюдь не принесла успокоения.

Отцы и дети

«От статей, печатающихся во всех газетах... об убийстве Мезенцова, мне делается тошно! — пишет Достоевскому редактор «Гражданина» В.Ф. Пуцкович в августе 1878 года. — ...Я понял все статьи так: если Вы хотите, чтобы мы помогли Вам, т. е. правительству... то дайте русскому народу... конституцию!!! Вот голос печати».

Далее Пуцкович — с ещё большим негодованием — передаёт Достоевскому слова «одного проректора университета»: «А в сущности хорошо, что его (Мезенцова) уколошили, — по крайней мере это будет хорошим предостережением нашим отупевшим абсолютистам-монархистам»¹⁷.

В своём письме Пуцкович довольно точно фиксирует отношение либеральных кругов к убийству «сонного тигра», как называли начальника III Отделения. Достоевский возмущён откликами прессы не меньше редактора «Гражданина»: он называет их «верхом глупости». Но для него гораздо важнее другое.

«Это всё статьи либеральных отцов, не согласных с увлечениями своих нигилистов-детей, которые дальше их пошли», — отвечает он Пуцковичу. Обозначена коллизия «Бесов»: Степан Трофимович — Пётр Верховенский.

Это давняя и излюбленная идея Достоевского. И он не устаёт внушать её своему корреспонденту: «Если будете писать о нигилистах русских, то, ради Бога, не столько браните их, сколько отцов их. Эту мысль проводите, ибо корень нигилизма не только в отцах, но отцы-то ещё пуще нигилисты, чем дети. У злодеев наших подпольных есть хоть какой-то гнусный жар, а в отцах — те же чувства, но цинизм и индифферентизм, что ещё подлее»¹⁸.

Один из персонажей «Бесов» цитирует Апокалипсис: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих»¹⁹.

В письме Пуцковичу речь идёт, по существу, о том же. Жар — пусть «гнусный», но свидетельствующий об искренности и вере: «теплы» именно отцы; «ангелу Лаодикийской церкви...» — не распространяется на детей. Вина если и не снимается с революционеров-семидесятников полностью, то в значительной мере перекладывается на плечи людей 40-х годов.

Здесь проходит, может быть не столь заметная, но тем не менее весьма существенная черта, отделяющая Достоевского от того лагеря, к которому принадлежал Пуцыкович.

Так же как и Катков, неустанно требующий обрушить всю тяжесть «карающего меча государства» на головы нигилистов, Пуцыкович ждёт искоренения крамолы от власти, и только от власти: сила должна быть сломлена *силой*.

Ни в одном заявлении Достоевского 1878—1881 годов — ни в письмах, ни в «Дневнике писателя», ни в зафиксированных мемуаристами высказываниях — мы не встретим указаний на то, что автор «Братьев Карамазовых» считал возможным решить проблему чисто административным путём. Приверженец монархии, он не находит ни единого слова одобрения для тех репрессий, к каким монархическая власть прибегает в целях самосохранения.

В поединке революции с самодержавным государством он видит не столько противоборство наличных политических сил («кто — кого»), сколько глубокую историческую драму. Ибо разрыв с народом характерен, по его мнению, не только для революционного подполья, но и для того, что этому подполью противостоит: для всей системы русской государственности. Власть столь же виновата в разрыве с народом, как и те, кто пытается эту власть разрушить. Истоки драмы едины.

Мысль о всеобщей вине (вине всего образованного общества) не оставляет Достоевского до последних его дней. Он записывает в «предсмертной» тетради: «Нигилизм явился у нас потому, что мы *все нигилисты*. Нас только испугала новая, оригинальная форма его проявления. (Все до единого Фёдоры Павловичи)»²⁰.

Русская революция, таким образом, есть не причина, а следствие: она лишь «оригинальная форма» застарелой национальной болезни. Болезнь эта (в противовес мнениям Каткова, Победоносцева, Пуцыковича) не поддаётся лечению «железом и кровью».

Подпоручик из Старой Руссы

19 мая 1879 года Достоевский сообщает Победоносцеву из Старой Руссы: «Здесь, когда я приехал, разговаривали об офицере Дубровине (повешенном) здешнего Вильманстрандского полка»²¹.

Интерес жителей Старой Руссы к Дубровину вполне объясним. 20 апреля 1879 года он был казнён по приговору Петербургского военно-окружного суда.

Некоторые жители Старой Руссы (в том числе военный врач Рохель, близкий знакомый семьи Достоевских) знали Дубровина лично и могли сообщить о нём много любопытного.

Внешность Дубровина обращала на себя внимание. Его одноклассник по военному училищу вспоминает: «Дубровин был украшением правого фланга: с розовым цветущим лицом, с вьющимися белокурыми волосами, крепкого телосложения, он славился своею силою среди товарищей своей роты»²².

Подпоручик В.Д. Дубровин жил в Старой Руссе сравнительно недалеко от Достоевского: в доме вдовы священника Л.Г. Бедринской по Лебедеву переулку. Не исключено, что писатель встречал его во время своих прогулок.

Когда 16 декабря 1878 года к Дубровину явились жандармы, он открыл по ним огонь. Его обезоружили; он вырвался, бросился в другую комнату и схватил кинжал (на котором было выгравировано: «Трудись и защищайся»). Защищаться пришлось недолго — силы были слишком неравные. Дубровина повалили на пол и — не без труда связали.

Буйно ведёт себя Дубровин в тюрьме и на предварительном следствии: во весь голос поёт, произносит через форточку своей камеры возмутительные речи. Помещённый в карцер, он пытается покончить с собой: вскрывает вены, но в последнюю минуту, истекая кровью, зовёт на помощь. Его спасают; спустя некоторое время он вновь впадает в буйство, начинает заговариваться.

В высшей степени необычно вёл себя Дубровин и на военном суде. Смертная казнь грозила ему только за одну вину — вооружённое сопротивление при аресте, и он, словно нарочно, торопит именно такую развязку.

Введённый в залу под усиленным конвоем, Дубровин повернулся к судьям спиной и стал разглядывать публику. Когда председательствующий закричал на подсудимого, призывая его к порядку, тот, сокрушая охрану, ринулся прямо к судейскому столу. Лишь после того как к его груди были приставлены штыки, восемь человек, навалившись, скрутили двадцатитрёхлетнего подпоручика.

Имелись ли у Дубровина какие-либо психические отклонения, или его поведение было хорошо продумано? Трудно сказать. Его

дважды свидетельствовали медики — и оба раза признали психически здоровым.

«Он, говорят, представлялся сумасшедшим до самой петли, — пишет Достоевский Победоносцеву, — хотя мог и не представляться, ибо бесспорно был и без того сумасшедший»²³.

Речь идёт о ненормальности, носящей не столько органический, сколько социальный характер. Революция для Достоевского есть отклонение от нормы, «соблазн и безумие»: тут Победоносцев не стал бы спорить со своим корреспондентом.

Однако согласился бы будущий обер-прокурор Святейшего синода со следующим, может быть ещё не вполне ясным самому автору, замыслом: «Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы преступление политическое. Его бы казнили...»²⁴

Таково известное свидетельство А.С. Суворина (в его дневнике) о намерении Достоевского продолжить «Братьев Карамазовых». «Он» — это отнюдь не Дмитрий Карамазов (который какими-то своими чертами неуловимо напоминает Дубровина), а «тишайший» Алёша, казалось бы, само воплощение нормы среди «ненормальных», обладатель счастливой психической организации.

К мысли о таком Алёше автор придёт не сразу. Пока же он пристально всматривается в таких людей, как Дубровин, пытаясь за «безумием» разглядеть нечто иное.

«С другой стороны, — продолжает Достоевский своё письмо к Победоносцеву, — мы говорим прямо: это сумасшедшие, и между тем у этих сумасшедших своя логика, своё учение, свой кодекс, свой бог даже, и так крепко засело, как крепче нельзя»²⁵.

Автор письма как бы приглашает своего корреспондента поразмыслить над причинами этого удивительного явления. Ссылка на ненормальность была бы слишком удобной: она снимала вопросы и успокаивала совесть. Достоевский избирает другой путь: он старается взять этот ещё неизвестный ему тип «крупным планом» — и с некоторым изумлением убеждается, что нынешние «безумцы» весьма отличаются от его старых героев. Признание у революционеров «своего бога» — много значит в устах автора «Бесов». У Петра Верховенского нет и не может быть «бога»: он, по его собственному признанию, «мошенник, а не социалист».

Позволим себе некоторую вольность. Исходя из характера «бесов», экстраполируем их поведение за пределы романа. Представим, как повели бы они себя в момент казни — если бы, ска-

жем, таковая воспоследовала. Очевидно, это поведение по своему «тону» должно было бы чем-то напоминать трагикомическую ситуацию в сцене убийства Шатова. Липутин, Лямшин, Виргинский, Толкаченко, да и сам Пётр Верховенский, вряд ли отважились бы посмотреть в глаза собственной смерти.

Знал ли Достоевский о том, как вёл себя Дубровин на эшафоте? Очевидно, знал: он упоминает о слухах. Но существовали ещё и другие источники.

По свидетельству официального документа (донесения распорядителя казни в штаб военного округа), Дубровин взошёл на эшафот «с песней возмутительного содержания»²⁶. Его всё ещё боялись: в помощь двум палачам, специально выписанным из Москвы и Варшавы (один из них, уголовник Иван Фролов, именно казнь Дубровина начал свою знаменитую карьеру), из Литовского тюремного замка «на случай борьбы преступника» доставили ещё четырёх уголовников²⁷.

Согласно другой версии, Дубровин на эшафоте оттолкнул священника и палача и сам надел на себя петлю (последнее трудно представить, так как казнимый наверняка был крепко связан). Во всяком случае известно, что он действительно отказался от напутствия и попытался обратиться к солдатам, окружавшим эшафот, с речью: голос его был заглушен барабанным боем, уже не смолкавшим «до окончания экзекуции». (Дней через десять, очевидно в прямой связи с этим эпизодом, генерал-губернатор Петербурга И.В. Гурко издаёт специальное распоряжение — играть экзекуционный марш и бить дробь, если осуждённый вздумает на эшафоте что-либо говорить или кричать.²⁸)

«Листок “Земли и воли” утверждал, что рота, в которой прежде служил Дубровин, выстроенная на месте казни, машинально отдала ему честь. Если последняя подробность и преувеличена (солдаты в последний момент взяли на караул, как это и предписывалось инструкцией), она все же весьма симптоматична. На глазах современников начинала твориться легенда, которая затем — после гибели на эшафоте Осинского, Соловьёва, Лизогуба, «южных бунтарей» и других жертв правительственного террора — обрела значительную нравственную силу. ореол мученичества, окружавший государственных преступников, начинал отбрасывать обратный свет на всю их прежнюю деятельность.

Последние годы Достоевского совпали с появлением на русской исторической сцене нового типа людей, у которых самым силь-

ным козырем в их схватке с правительством была их собственная жизнь. Со своей стороны они требовали такой же платы: этот смертельный *размен* происходил на глазах общества, которое, не зная толком, восхищаться ему или негодовать, взирало на это неравное противоборство, не предпринимая ни малейшей попытки ввязаться в борьбу.

Этот тип политических преступников, как мы уже говорили, решительно отличался от «бесов», изображенных писателем в начале десятилетия: их разделяла *жертвенность*, немедленная готовность заплатить за собственные убеждения максимально высокую цену.

В своей последней рабочей тетради он записывает: «“Только то и крепко, подо что кровь протечёт”. Только забыли негодяи, что крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех, чью кровь прольют. Вот он — закон крови на земле»²⁹.

Запись полемична: первая взятая в кавычки фраза предполагает чьё-то чужое, глубоко враждебное мнение.

С какими же «негодьями» спорит Достоевский?

Главный «бес», Пётр Верховенский, считал кровь «важной вещью, соединительной вещью». Подразумевается — чужая кровь.

Террор — даже самый «бескорыстный» — не мог вызвать в авторе «Преступления и наказания» ничего, кроме ужаса и гнева. Однако распространялось ли это нравственное отвержение на личность всех тех молодых людей, кто в безумстве своём поднимал оружие?

Это вопрос.

глава II судьба алёши

Сенсация в провинциальной прессе

26 мая 1880 года в одесской газете «Новороссийский телеграф» появилось следующее сообщение: «...из кое-каких слухов о дальнейшем содержании романа («Братья Карамазовы». — *И. В.*), слухов, распространившихся в петербургских литературных кружках, я могу сказать... что Алексей делается со временем сельским учителем и под влиянием каких-то особых психических процессов, совершающихся в его душе, он доходит даже до идеи о цареубийстве»¹.

Безымянный автор (он подписался буквой Z) не только косвенно подтверждает дневниковую запись Суворина, но даже «усиливает» её: не просто «политическое преступление», а «идея о цареубийстве». Отсюда понятно суворинское «его бы казнили» (ибо если Z говорит лишь об идее, то Суворин — о «политическом преступлении» как о совершившемся факте).

Поразительно, что крупная легальная газета в мае 1880 года осмелилась сообщить читателям столь пикантные подробности. Не менее поразительно, что произошло это ещё при жизни

Достоевского, — и теоретически можно допустить, что данная публикация была ему известна*.

Разумеется, Достоевский не одобрил бы способ действий, избранный его любимым персонажем. Но перестал бы он любить его? Это очень сомнительно. Тот факт, что тягчайшее политическое преступление призван был совершить «ранний человеколюбец», герой, обладающий исключительными моральными качествами, — этот факт в высшей степени знаменателен. «Лучший», «избранный» по этической шкале Достоевского совершал «худшее» по шкале юридической, государственной, да и человеческой тоже.

Надо полагать, Победоносцев (как частное лицо) ужаснулся бы, узнай он о творческих намерениях Достоевского. Но для обер-прокурора Святейшего синода (а к маю 1880 года Победоносцев уже стал таковым) подобная развязка романа вдвойне неприемлема. Среди революционеров было немало выходцев из духовной среды, семинаристов и т. п. Однако бывший послушник (то есть лицо, готовящее себя к монашескому служению) в роли царевубийцы — случай беспрецедентный, наносящий тяжкий удар по авторитету Церкви.

Что бы ни совершил Алёша Карамазов в своём романном будущем, сомнительно, чтобы эти поступки были способны уничтожить его личное обаяние, поставить под сомнение изначальную чистоту его нравственной природы и тем самым лишить его читательских симпатий. Такова художественная логика самого романа.

И «нынешний» и «будущий» Алексей Фёдорович Карамазов по своему психологическому складу не имеет и не может,

* В своей работе «Путь Алексея Фёдоровича Карамазова» Д.Д. Благой высказывает предположение, что источником этих слухов и даже автором заметки мог быть сам Суворин². Если это так, то возможность знакомства с ней Достоевского становится ещё более вероятной. Однако серьёзным аргументом против авторства Суворина служит сам текст статьи, мало напоминающий суворинские тексты. Не был ли автором петербургский журналист И.Ф. Василевский («Буква»)? Именно он представлял «Новороссийский телеграф» на Пушкинском празднике в Москве и, очевидно, являлся петербургским корреспондентом газеты. Второй «кандидат» — В.П. Буренин, ближайший и, очевидно, хорошо информированный сотрудник Суворина. Один из его криптонимов — Z.

конечно, иметь ничего общего с Петром Степановичем Верховенским, с Нечаевым или нечаевцами — с «бесами». Для Нечаева революция — своего рода искусство для искусства: она не только может использовать человека как слепое орудие своих «высших» интересов, она «выше» нравственности вообще. Мнимая прикосновенность «наших» («Бесы») к таинственному миру конспиративных «пятерок» очень льстит их провинциальному самолюбию и служит своего рода средством для изживания их психологических комплексов.

Иное дело — Алёша.

Сколько продолжений у «Братьев Карамазовых»?

Но пора процитировать дневниковую запись А.С. Суворина полностью.

«Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером...» Так излагается А.С. Сувориным (в дневниковой записи 1903 года) один из неосуществлённых планов продолжения «Братьев Карамазовых».

До сих пор этих задуманных планов было известно пять. Нам хотелось бы указать ещё на один.

Упоминание о нём встречается у того же А.С. Суворина — в его широко известных воспоминаниях. Причём если приводимая выше дневниковая запись сделана через шесть лет после смерти Достоевского, то воспоминания опубликованы «по свежим следам» — в день похорон писателя.

«Алёша Карамазов, — пишет Суворин в «Новом времени», — должен был явиться героем следующего романа, героем, из которого он (Достоевский. — *И. В.*) хотел создать тип русского социалиста, не тот ходячий тип, который мы знаем и который вырос вполне на европейской почве...»³

Оба суворинских свидетельства (дневниковое и газетное) всегда принимались за высказанную двукратно одну и ту же версию продолжения «Братьев Карамазовых». «...В одном, и очень существенном, — замечает Д.Д. Благой, — заметка в «Новом времени» и дневниковая запись полностью совпадают: Алёша становится революционером».

Нам кажется, что совпадения здесь нет и в помине.

Сравнивая дневниковую запись Суворина с его воспоминаниями, Д.Д. Благой пишет: «Естественно, что такое гласное сообщение (то есть публикация воспоминаний в «Новом времени». — *И. В.*) имело более приглушённый характер (ведь не прошло и трёх месяцев после убийства царя) по сравнению с записью в «Дневнике», который Суворин писал не для печати, а для себя и для истории. Потому же он скрыл и своё авторство под псевдонимом «Незнакомец»⁴.

В этих двух утверждениях содержатся две существенные ошибки.

Во-первых, как мы уже говорили, воспоминания Суворина были опубликованы 1 февраля 1881 года: то есть не только «не прошло и трёх месяцев после убийства царя», как полагает Благой, но ещё оставался целый месяц до такового⁵.

Во-вторых, Суворину не было никакой надобности «скрывать» своё авторство. Вся читающая Россия знала, что Незнакомец и Суворин — одно и то же лицо: уже много лет это ни для кого не являлось секретом.

Таким образом, соображения, указывающие на желание Суворина «приглушить» известную ему версию, автоматически отпадают. Просто он обнаружил лишь одну из них.

В то время как версий было *две*.

Действительно. В первом случае (в «Дневнике») будущий Алёша, по логике вещей, именно тот самый «ходячий тип», который способен совершить «политическое преступление». Он идёт по тому же пути, что и его предшественники. И — с тем же результатом. «Его бы казнили».

Во втором случае (в воспоминаниях) — Алёша — «русский социалист», то есть социалист в духе самого Достоевского. Следовательно, он за «русское (то есть нравственное) решение вопроса», при котором ни о каком «политическом преступлении» как будто не может быть и речи.

Таким образом, А.С. Суворин говорит не об одном, а фактически о двух различных продолжениях «Братьев Карамазовых». И каждое из них противоречит другому.

Либо Суворин что-то напутал, либо...

Либо здесь не было никакого противоречия. Чистейшая душа, «ранний человеколюбец», казалось бы бесконечно далекий от забот и треволнений русской революции, *естественно* должен был ступить на её тернистый путь.

«Его бы казнили». Он разделит бы участь Каракозова, Дубровина, Соловьёва.

При кажущейся множественности альтернатив реальный исход был только один.

Решил ли «для себя» сам создатель «Братьев Карамазовых», какой именно путь уготован его герою? Ответить на этот вопрос крайне затруднительно. Известно, что у Достоевского сюжетные замыслы в процессе своего романного воплощения претерпевали самые различные метаморфозы. Поэтому о планах реализации того или другого из них следует говорить очень осторожно и — в сослагательном наклонении.

Во всяком случае, автора серьёзно занимали те два варианта, которые в своё время были сообщены Суворину.

Но — только ли Суворину?

К воспоминаниям Суворина

В четверг 29 января 1881 года (то есть на следующий день после смерти Достоевского) двадцатипятилетний студент Академии художеств И.Ф. Тюменев записывает в дневнике: «Мне кажется, скончайся теперь Тургенев, Гончаров, Островский, никого бы не было так жалко, как именно Фёдора Михайловича, который только что начал завладевать вниманием общества, только что крайне заинтересовал всех своими «Карамазовыми», только приготовился повествовать дальше о судьбе Алёши, этого, по его намерению, нового русского евангельского социалиста...»⁶

Тюменев, говоря о «русском евангельском социалисте», фактически повторяет приведённое выше свидетельство Суворина (с добавлением слова «евангельский»). Однако — повторяет ли? Ведь запись Тюменева помечена 29 января; воспоминания же Суворина «О покойном» появятся в печати только через два дня — 1 февраля. Откуда же Тюменеву, человеку, лично с писателем не знакомому, стали известны его скрытые художественные намерения?

В самом тексте романа нет прямых указаний на «евангельский социализм» Алёши (а есть только ясно выраженное желание продолжить роман). Следовательно, Тюменев воспользовался какими-то иными источниками. Ими могли быть литературные слухи, суждения о романе в периодической печати либо, наконец

(этого нельзя полностью исключить), заявления самого Достоевского на литературных вечерах*.

Уже после смерти Достоевского в «Литературном журнале», издававшемся при газете «Новое время», была помещена статья В.К. Петерсена (подписанная псевдонимом «Оникс») «Вступление к роману “Ангела”». «По словам покойного, — пишет автор, — Алексей Карамазов должен был выразить положительный тип детолюбца-христианина, совершенно чистого сердцем»⁷.

Спрашивается: откуда Петерсен почерпнул эти сведения?

В краткой заметке «От автора», предваряющей роман, ни словом не упоминается ни о «детолюбце-христианине», ни вообще о каких-либо других достоинствах будущего Алёши Карамазова. Поэтому выражение Петерсена «по словам покойного» следует, кажется, понимать буквально: имеется в виду не авторское (романное) слово, а живая речь самого Достоевского, то есть устное высказывание.

Но как бы там ни было, в 1881 году версия об Алёше — христианском социалисте (версия, опирающаяся главным образом на внероманные источники) не оставалась секретом для широкой публики.

Впрочем, обсуждались и другие варианты.

В своих воспоминаниях Л.И. Веселитская (В. Микулич) рассказывает, что осенью 1880 года, будучи в гостях у старой приятельницы писателя Елены Андреевны Штакеншнейдер, она разговорила с ней о Достоевском.

«А как его здоровье?» — «Плохо. Он часто хворает и много работает. Он продолжает Карамазовых. Теперь будет падение Алёши»⁸.

Это важное свидетельство никогда не отмечалось исследователями. Правда, в нём содержится одна неточность: осенью 1880 года у Достоевского не было намерения немедленно продолжать «Карамазовых». Он решил сделать двухлетний перерыв. Таким образом, Е.А. Штакеншнейдер сообщает В. Микулич не о работе над продолжением романа, а скорее всего о планах этого продолжения.

Указание Штакеншнейдер на будущее «падение» Алёши как будто подтверждает ещё одну из дошедших до нас версий: про-

* Допустимо, впрочем, ещё одно предположение: запись Тюменева за 29 января сделана им не в этот день, а несколько позднее, когда автор уже ознакомился со статьёй Суворина в «Новом времени».

буждение в Алёше карамазовского начала, его роман с Грушенькой и т. д. Не исключено, что именно это и имелось в виду. Но слово «падение» у Микулич никак не прокомментировано. Поэтому, наряду с падением в его *романтическом* смысле, можно представить и другое: падение как гражданский и жизненный крах, как политическую катастрофу. Во всяком случае, такое предположение нельзя полностью игнорировать.

Итак, ещё при жизни Достоевского наблюдается одновременное бытование разных версий «второго» романа.

Естественно спросить: уж не сам ли Достоевский способствовал распространению этой — достаточно разноречивой — информации? Теперь у нас есть основания полагать, что именно так оно и было. Более того: можно вообразить, когда и при каких обстоятельствах один из интересующих нас вариантов (а именно — с «евангельским» Алёшей) был сообщён Суворину.

Свидетельство Софьи Ивановны

Сравнительно недавно были опубликованы дневниковые записи забытой ныне писательницы Софьи Ивановны Смирновой (по мужу — актёру Александринского театра — Сазоновой). В 1880 году Смирновой-Сазоновой было двадцать восемь лет. «Фёдор Михайлович, — замечает Анна Григорьевна, — был дружен с Софьей Ивановной Смирновой и очень ценил её литературный талант»⁹.

29 февраля 1880 года, в первой половине дня, Достоевский посетил Софью Ивановну, которая, между прочим, сообщила ему, что, занятая своими делами, она не сможет быть вечером у Суворина (там справлялось четырехлетие «Нового времени»). Достоевский уехал. После него явился Суворин — и принялся уговаривать. Она пообещала: «С<уворин> очень б<ыл> рад, целовал мне руки».

Если бы это только было возможно, то и нам, любопытствующим читателям чужих дневников, вовсе не грех «целовать руки» Софье Ивановне: благодаря её тогдашнему согласию мы ныне обладаем свидетельством высокой важности.

...Они вновь встретились вечером. За поздней трапезой Софья Ивановна сидела между Достоевским и Сувориным и, таким образом, была невольной свидетельницей (а скорее всего и участницей) их беседы.

«Достоевский удивлён моему приезду. За ужином гов<орил> Сув<орину> про себя, что он русский социалист и что напрасно это просмотрели в 1-й части «Братьев Карамазовых», где он это высказывал, объясняя, в чем состоит русский социализм...»¹⁰

Достоевский усиленно подчёркивает, что он — «русский социалист». И это настоятельное указание перекликается с глухим (нерасшифрованным) признанием того же Суворина: «Политические идеалы Достоевского, мимоходом сказать, были широки, и он не изменил им со дней своей юности»¹¹.

«Мимоходом» говорит о том же и первый биограф Достоевского Орест Фёдорович Миллер: «...социалистом в широком человеческом смысле этого слова он никогда не переставал быть»¹².

Если Достоевский и «ренегат революционного дела» (Степняк-Кравчинский), то следует согласиться, что это «ренегатство» носит не совсем обычный характер.

Убеждённый противник революции (и всех форм революционного насилия), он вместе с тем остаётся искренним приверженцем её «высших» (то есть «евангельских») целей¹³. Он хотел воплотить свою веру в жизненном подвиге Алёши Карамазова и его судьбой указать путь: найти альтернативу своему собственному — «его бы казнили».

Но тут возникало одно непреодолимое затруднение.

Непреодолимое затруднение

Такого Алёши ещё не существовало в природе. Этот духовный тип (так полагал Достоевский) лишь намечался в действительной жизни. Те же «русские социалисты», которые *были*, — шли прямой дорогой на эшафот.

«Но братья явились бы несомненными деятелями социализма, — пишет уже упоминавшийся нами Петерсен. — Иван вышел бы подстрекателем, мрачным фанатиком идеи перестроить заново мир...»¹⁴ Эти соображения, хотя и высказанные в достаточно грубой форме, не так уж неосновательны.

Перед автором «Братьев Карамазовых» вставала дилемма: либо создать ещё один идеальный образ (своего рода «Идиота» русской революции: именно так несколько раз именуется Алёша в черновых набросках к роману), либо воплотить в будущем Алёше те реальные человеческие судьбы, с трагическими развязками

которых современники сталкивались на протяжении последних лет.

«Его бы казнили».

Очевидно, оба замысла существовали параллельно. И эти творческие колебания нашли отражение в двух разных версиях, приводимых Сувориным.

Но не могут ли параллельные (как это бывает у Достоевского) в конце концов пересечься?

На первый взгляд может показаться, что замысел об Алёше, совершающем «политическое преступление» (назовем его условно версией Суворина — Z), возник позже, чем замысел о «русском евангельском социалисте».

Работа над романом начинается в 1878 году (хотя задумывается он, естественно, раньше). По времени это совпадает с началом жестокого и кровавого противоборства между правительством и революционным подпольем. В 1878 году подобные проявления носят ещё единичный и разрозненный характер (одна смертная казнь за год). Последующие годы (1879—1880) дают мощный всплеск обоюдного террора. На этот период приходится наибольшее количество покушений (в том числе четыре попытки цареубийства) и соответственно — самая высокая за весь XIX век цифра смертных казней (двадцать одна).

Нет ничего невероятного в том, что будущий Алёша «доходит даже до идеи о цареубийстве»: идея, как говорится, носилась в воздухе.

«...Жизнеописание-то у меня одно, — сказано в авторском предисловии, — а романов два. Главный роман второй — это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент»¹⁵.

«Текущий момент» (то есть 1878—1880 годы) давал автору обильный материал для предпочтения одной из версий.

Подпольщик-террорист (он же в большинстве случаев — смертник) становится едва ли не самой значительной фигурой русской политической жизни.

Действительность вносила свои коррективы в творческие планы Достоевского.

Повторяем: так может показаться. Ибо на деле получается, что действительность не столько корректировала, сколько *подтверждала* его творческие намерения. Не исключено, что мысль об Алёше-цареубийце присутствовала у Достоевского с самого начала.

Ряд совпадений

Об этом прежде всего свидетельствует подмеченное в своё время Л.П. Гроссманом сходство фамилий Карамазов — Каракозов*¹⁶. Но кроме фонетического сходства можно было бы указать и на иные — не менее значимые — созвучия.

В черновом наброске так и не завершённого предисловия к «Бесам» сказано: «В Кириллове народная идея — сейчас же жертвовать собою для правды. Даже несчастный, слепой самоубийца 4 апреля в то время верил в свою правду (он, говор<ят>, потом раскаялся — слава Богу!) и не прятался, как Орсини, а стал лицом к лицу».

Итак, в предисловии к «Бесам» должен был упоминаться Каракозов! Более того: его поступок так или иначе связывался с «народной идеей».

Это было невероятно; напечатать такое было бы невозможно. Не потому ли предисловие так и осталось недописанным?

Далее в наброске следовало: «Жертвовать собою и всем для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду»¹⁸.

В самом романе эта идея не получила осязаемого развития.

Но через десять лет у Достоевского звучит что-то очень знакомое: «...он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий её и верующий в неё, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью».

* Правда, на это указывал ещё Страхов, добавляя, что Иван (а не Алёша) «должен был выйти на дорогу политического преступника и совершить какое-нибудь страшное покушение»¹⁷. Это чрезвычайно любопытное свидетельство, подтверждающее структурную роль «страшного» политического преступления в планах «второго» романа. Конечно, у Ивана Фёдоровича Карамазова имеется несравнимо больше шансов на амплу политического преступника, нежели у его брата Алёши. Такое романное решение было бы «логичным» и художественно обоснованным. Однако оно не содержало бы тех парадоксальных возможностей, которые, как будет показано ниже, открывались в случае реализации версии Суворина — Z.

В характеристике Алёши Карамазова почти дословно воспроизведено то, что уже говорилось ранее в незаконченном предисловии к «Бесам».

Ради «скорого подвига» Алёша готов пожертвовать «даже жизнью». В свете версии Суворина — Z эти слова звучат многозначительно.

Правда, несколько дальше содержится намёк совершенно иного рода, указующий как будто на первую суворинскую версию (изложенную в его воспоминаниях): «Алёша избрал лишь противоположную всем дорогу, но с тою же жаждой скорого подвига»¹⁹.

«Противоположная всем дорога» — это и есть «русский социализм». По-видимому, начиная роман, его автор ещё не остановился окончательно ни на одном из вариантов продолжения.

Алёше оставлялся шанс.

Казалось бы, оба предполагаемых варианта обладают примерно одинаковыми потенциальными возможностями. Но в романе имеется ещё одно (причём капитальное) указание на вероятность именно трагической развязки. Как ни странно, оно до сих пор не было учтено.

Это — эпитафия.

Диалог эпитафий

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода».

Эпитафией взяты слова Евангелия от Иоанна. Но если исходить только из текста романа, их смысл не вполне ясен.

«Эти слова, — пишут комментаторы Полного собрания сочинений Достоевского, — ...выражают надежду писателя на грядущее обновление и процветание России (и всего человечества), которое должно наступить вслед за всеобщим разложением и упадком»²⁰.

Что ж, это приемлемое, но, думается, далеко не достаточное объяснение.

Во-первых, «разложение и упадок» (в том смысле, в каком их разумеют комментаторы) ещё не есть *смерть*, а скорее некое неполноценное, ослабленное существование. Однако четвертое Евангелие подразумевает не ослабление жизни, а её уничтожение, прекращение данной формы бытия. Падшее в землю

зерно не «разлагается» и не «приходит в упадок», а — умирает: только смерть, и ничто иное, кладет начало новой, возрождённой жизни. Поэтому «обновление» (и, если угодно, даже «процветание») мыслится именно как возрождённое, а не преобразованное бытие.

Разумеется, вселенский смысл слов Евангелия от Иоанна бесконечно шире и глубже тех возможных аллюзий, которые применимы к каким бы то ни было частным ситуациям. Пшеничное зерно «достигает цели» лишь «смертью смерть поправ». Это — реальность Нового Завета. Однако в метафизическом смысле таким «зерном» можно почесть не только Алёшу Карамазова, но и самого автора романа, который на эшафоте *пережил* свою смерть и духовно воскрес.

Но воскрешение требует искупительной жертвы.

Представляется, что эпиграф к «Братьям Карамазовым» относится не только к известному нам тексту романа, но и ко всей предполагаемой диалогии в целом. Тогда становится ясен его сокровенный смысл: гибель Алёши на эшафоте есть искупление. «Много плода» даётся гибелью главного героя*.

Но если так, тогда эпиграф к «Братьям Карамазовым» вступает в сложные отношения с другим эпиграфом — к другому роману.

«Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых одетого и в здравом

* В тексте романа слова эпиграфа повторяются Зосимой. На вопрос Алёши, почему старец поклонился Мите, тот отвечает, что провидит его судьбу: «Послал я тебя к нему, Алексей, ибо думал, что братский лик твой поможет ему. Но всё от Господа и все судьбы наши. (Далее следует текст эпиграфа. — *И. В.*) Запомни сие... Мыслью о тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь как инок». Не исключено, что слова эпиграфа могут частично относиться и к Дмитрию Карамазову. Однако поскольку главным героем, как сказано в авторском предисловии, является Алёша и прямо к нему обращены слова «запомни сие», то, надо полагать, именно *его* судьбу предрекает Зосима. Знаменательно, что эпиграф повторяется при отсылке Алексея *в мир*.

уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесноватый».

Исцеление бесноватого есть *чудо*. Он внешним образом избавляется от своего внутреннего недуга. В том, что его оставляют бесы, нет его собственной, личной заслуги.

Бесы вселяются в нечистых животных — и последние гибнут. Это — языческое жертвоприношение.

Сюжет, который приводится в Евангелии от Луки, не имеет ничего общего с притчей, изложенной в Евангелии от Иоанна. Между тем цитаты из обоих источников — в контексте поздней романистики Достоевского — втягиваются в напряжённый диалог: они не только дополняют, но и оспаривают друг друга.

«Россия выблевала вон эту пакость, которою её окормили, и уж конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского»²¹, — пишет Достоевский Майкову 9/21 октября 1870 года, объясняя идею будущего романа.

Что же, может быть, в Петре Верховенском и нет «ничего русского» (хотя это весьма сомнительно: ведь сам он — закономерное порождение русской жизни). Однако подобное утверждение уж никак не приложимо к Алёше Карамазову. Правда, то преступление, которое он собирается совершить, по своей идейной и юридической тяжести (и, если угодно, по своей «нерусскости») не идет ни в какое сравнение с убийством Шатова: оно неизмеримо «страшнее». Но, согласно художественной логике обоих романов, вина «бесов» в «рядовом» преступлении перетягивает предполагаемую вину Алёши в преступлении экстраординарном.

Ибо нравственные истоки этих деяний различны.

Убийство Шатова есть результат расчёта, лжи, гнусной интриги. Его кровью хотят скрепить «наших». При этом убийцы если и рискуют, то относительно: во всяком случае, не жизнью (по законам Российской империи за уголовное убийство не назначалось смертной казни).

То, что, согласно версии Суворина — Z, должен был совершить Алёша, с точки зрения государства являлось прямым покушением на само государство: это была бы тягчайшая, не заслуживающая ни малейшего снисхождения вина. Вина, требующая предельной кары. Но, как мы уже говорили, даже *такое* преступление не могло бы коренным образом изменить читательского отношения к главному герою «Братьев Карамазовых».

Так же как убийство Раскольниковым старухи-процентщицы не лишает его окончательно ни авторских, ни читательских симпатий.

Убийство всегда (кроме случая защиты от убийцы) отвратительно Достоевскому. И в плане этическом для него совершенно безразлично, кто является жертвой: Шатов, Алёна Ивановна или русский царь.

Алёна Ивановна и русский царь

Но в двух последних случаях (Алёна Ивановна и Александр II) присутствует некая общая черта.

Поступок Раскольникова есть такое же *теоретическое* преступление, как и цареубийство. Причём оба эти акта идейно бескорыстны (во всяком случае, в первом приближении).

И Раскольников, и, очевидно, будущий Алёша Карамазов разрешают себе «кровь по совести».

«Какой удар, бесценный Лев Николаевич! — пишет Страхов Толстому через несколько дней после удавшегося наконец покушения на русского царя. — ...Бесчеловечно убили старика, который мечтал быть либеральнейшим и благодетельнейшим царём в мире. *Теоретическое убийство*, не по злобе, не по реальной надобности, а потому что *в идее* это очень хорошо (подчеркнуто нами. — *И. В.*)».

Это письмо написано примерно через месяц после другого послания, в котором Страхов извещал Толстого о смерти Достоевского. На сей раз имя Достоевского не упомянуто, однако проблема «Преступления и наказания» налицо.

«Нужны ужасные бедствия, — продолжает Страхов, — опустошения целых областей, пожары, взрывы целых городов, избиение миллионов, чтобы опомнились люди. А теперь только цветочки»²².

Удивительно: казнь российского императора вызывает у Страхова цепь ассоциаций, очень схожих с теми, какие возникают в эсхатологическом сне Раскольникова на каторге, после убийства им вдовы-чиновницы. То, о чем говорит Страхов, — это переключка с соответствующим местом «Преступления и наказания».

Убийство Алёны Ивановны было написано за несколько месяцев до первой попытки цареубийства. Всего же при жизни Достоевского их было пять.

Эти попытки действовали на него угнетающе.

В возможной насильственной гибели монарха, «по доброй воле» освободившего двадцать пять миллионов подданных, он усматривал конкретное политическое зло.

По мысли Достоевского, реформа 1861 года создала исторический прецедент исключительной важности. Она явила пример добровольного отказа от вековой исторической несправедливости, мирного разрешения грозящего страшными бедствиями социального конфликта. В этом смысле освобождение крестьян было как бы первым шагом к «русскому решению вопроса»: проведенная сверху акция *намекала* на возможность созидания такого миропорядка, который будет основан на справедливости — и только на ней.

Насильственная гибель Александра II, с личностью которого он связывал и крестьянское освобождение, и возможность дальнейших не менее радикальных реформ, — такой исход мог бы, по мнению Достоевского, означать конец (или по крайней мере существенную отсрочку) его собственных глобальных предположений.

Тем знаменательнее, что совершить это должен был его любимый герой*.

Небезынтересно отметить ту нервическую реакцию, какую вызвала предложенная нами версия у одного петербургского библиографа. «...И. Волгин в своём неуёмном желании сделать Алёшу революционером доходит до полной фальсификации...» «Здесь И. Волгина так высоко занесло, что обратно он так и не смог спуститься». «Здесь он окончательно смыкается с...» Сколь узнаваем этот *стилёк*, возвращённый на ниве нашего репрессивного литературоведения. Не хотелось бы, пользуясь фигурами речи оппонента, обвинить его в «полной фальсификации»: предположим, что дело «всего лишь» в полной этической и эстетической глухоте. Иначе невозможно объяснить ламентации относительно того, что автор книги «солидаризировался с народоволь-

* Так как действие второй части диалогии должно было разворачиваться в самом конце 70-х годов, понятно, что предполагаемое покушение Алёши могло прйтись только на период продолжающегося царствования Александра II. Само собой разумеется, что покушение должно было окончиться неудачей: ведь не мог же Достоевский при ещё живом царе изобразить его гибель!

цами... воспевая их». Или — ещё замечательнее — будто он, автор, пытается уверить наивную публику, что жизнь «сделала писателя сочувствующим народовольцам», и т. д. и т. п. Все эти благоглупости рассчитаны исключительно на тех, кто не открывал настоящую книгу. Вынуждены ещё раз повторить — как можно примитивнее и доходчивее: Достоевский ненавидел террор и не ведал никаких ему оправданий. Но понимал также, что болезнь глубоко поразила Россию, захватив таких «чистых сердцем» юношей, как Алёша Карамазов. Скажем больше: предчувствие того, что в революцию ринутся в первую очередь идеалисты, — эта угадка даёт ключ к пониманию трагических потрясений XX века. Наш оппонент спешит успокоить новое либеральное начальство (как прежде успокаивал старое советское), донося ему, что Достоевский не имеет никакого касательства к проблемам русской революции («как будто у революции могут быть высшие нравственные цели», брезгливо бросает наш неофит, очевидно не подозревая, что без наличия таковых ни одна Бастилия в мире не шлохнулась бы)²³.

«...Бесы вышли из русского человека, — писал Достоевский Майкову в 1870 году, — и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьёвичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых»²⁴.

Так не случилось.

Жертва и искупление

К концу десятилетия обнаружилось, что русская революция не пошла по нечаевскому пути. Напротив: в рядах её приверженцев ещё резче обозначилась та самая «национальная черта покаяния», которую он пророчески угадал десять лет назад.

Можно было изгнать бесов из русского человека. Но нельзя было изгнать *самого* русского человека.

Спасти себя мог только он сам. От русской революции уже нельзя было «отделаться» языческим жертвоприношением: утопив свиней в озере. Искупительная жертва Алёши Карамазова должна была знаменовать, что ради разрешения главного вопроса русской жизни — «что считать за правду» — на закляние приносятся избранные из избранных.

Эпиграф к «Братьям Карамазовым» вступал в тайное противоборство с эпиграфом к «Бесам».

Алёше Карамазову было суждено «перетащить на себе» исторический опыт двух последних десятилетий. Он мог обрести художественный авторитет не проповедью «евангельского социализма» (и вообще не проповедью: вроде той, какую он произносит у Илюшиного камня), а только делом.

Колю Красоткина и других «русских мальчиков» нельзя было уговорить. Но их ещё можно было *убедить* — ценой собственной гибели.

«А если умрёт, то принесёт много плода».

Смерть Алёши на эшафоте и должна была стать его *делом*.

Самое поразительное, что подобный исход мог быть одновременно и подтверждением другой романной версии — о «русском социалисте». Параллельные должны были в конце концов пересечься.

Предполагалось «безумное» художественное решение.

Алёша второго романа должен был умереть именно за ту идею, которую, согласно «сверхзадаче» этого романа, он призван был опровергнуть. Но такие идеи не опровергаются словом. С ними можно спорить только жизнью.

Как и Родион Раскольников, Алексей Карамазов проводил эксперимент на себе.

Для развенчания теории Раскольникова потребовалась судьба Раскольникова. Для преодоления идеи Алёши Карамазова (идеи, приведшей его на эшафот) потребовалась жизнь Алёши Карамазова.

Это было доказательством от противного.

И тут мы вновь возвращаемся к записи в последней записной книжке — *о крови*.

«...Крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех, чью кровь прольют. Вот он — закон крови на земле».

Казалось бы, запись бесспорна: именно революционеры проливают чужую кровь. Следовательно, «крепко» оказывается не у них.

Но — «жертвовать собою и всем для правды — национальная черта поколения». К концу 70-х годов эта черта обозначилась как массовая.

Были явлены вопросы в высшей степени мучительные и трудные — именно для моральных оценок. Тот, кто проливал чужую

кровь, одновременно проливал и свою, совершенно сознательно обрекая себя на гибель (этот дух жертвенности характерен почти для всех главных деятелей «Народной воли»).

Иди и гибни безупречно.
Умрёшь недаром — дело прочно,
Когда под ним струится кровь, —

так предвосхитившие события некрасовские строки неожиданно перекликаются со словами Достоевского о «законе крови на земле».

Власть тоже проливала чужую кровь: следовательно, «крепко» оказывалось не у нее. «Закон крови» в России был подобен заколдованному кругу.

Этот круг следовало разорвать.

Алёша Карамазов, всходя на эшафот, собственной кровью должен был освятить иной — бескровный путь: путь «русского евангельского социалиста». Его гибель явилась бы двойным искуплением.

Возникает вопрос: стоит ли так подробно останавливаться на всех этих несуществующих материях? Ведь ни один из вариантов второго романа так и не получил художественного воплощения. И можно лишь гадать, какое продолжение (или завершение) обрела бы жизнь Алёши Карамазова и других героев, будь этот роман написан. Может быть, Алёша мирно бы закончил свои дни в монастыре, окружённый воспитуемыми и наставляемыми им детьми, как это некогда и предполагалось. Поэтому не проще ли говорить о том, что есть, нежели поддаваться неверному соблазну догадок и навязывать *несозданному* участь десятой (сожженной) главы «Евгения Онегина», — с той разницей, что последняя (теоретически) ещё может быть когда-нибудь восстановлена, в то время как ненаписанное нельзя восстановить никогда?

Всё это так. И мы не стали бы вдаваться в рискованную область гадательного и неизвестного, если бы к этому не подвигал нас сам Достоевский.

Второй, «главный», роман отбрасывает незримую тень на первый, и в этой тени — не только сотворённые герои «Братьев Карамазовых», но и сам сотворивший их автор.

Естественный отбор

Итак, кажется несомненным, что замыслов «главного» романа было несколько и что они в основном возникли ещё до начала писания. Но столь же несомненно, что события 1879—1880 годов были способны существенным образом трансформировать эти планы, ослабить одни сюжетные линии и усилить другие, отфильтровать варианты и резко повысить шансы одного из них.

Происходит своего рода естественный отбор.

Думается, что к зиме — весне 1880 года, если не окончательно, то, во всяком случае, более подробно, чем остальные, отработывается версия Суворина — Z: в мае она попадает в «Новороссийский телеграф»*. Она могла соединять в себе элементы различных сюжетов (в том числе и «детскую» линию романа). Но центральное место, по-видимому, должна была занять будущая драма Алёши.

Происходит совмещение двух разнородных планов, их взаимопроникновение.

С одной стороны, Алёша «главного» романа воплощал в себе идеальный порыв русской революции, с другой — действовал согласно её реальной исторической логике.

При столь очевидной противоречивости этого предполагаемого персонажа он сохранял глубокое внутреннее единство. В младшем из Карамазовых, старающемся о мировой гармонии и одновременно — ради всё той же гармонии — разрешающем себе «кровь по совести», был схвачен момент истины. В Алёше — подвижнике и цареубийце — проступали два лика русской революции.

Понятно, почему Суворин никогда не предал гласности то, что он недвусмысленно зафиксировал в своём дневнике. Обнародование версии о «политическом преступлении» (и тем более расшифровка характера этого преступления) — вещи для него идеологически недопустимые²⁶. Да и столичная цензура вряд ли оста-

* Не содержится ли намёка на знакомство с этой версией в следующих словах Петерсена: «Жалеете ли вы, читатель, что этот роман никогда не будет написан Достоевским? Откровенно сказать, я не жалею; я убеждён, что это, наверное, вышел бы плохой роман, нимало не способный помочь разобраться в окружающей нас путанице и раздражающем всех хаосе кровавого сентиментализма»²⁵.

лась бы равнодушной к сообщению о том, что покойного автора «Братьев Карамазовых» посещали столь рискованные сюжеты. После 1 марта 1881 года упоминание об этом делалось и вовсе неуместным.

Между тем подобный исход романа естествен для Достоевского. Художник крайностей, он не мог удовольствоваться «рядовым» политическим преступлением. Ему было необходимо самое тяжкое (но, заметим, для 1879—1880 годов — *типичное*).

Еще раз вспомним приведенную выше запись: *о крови*.

Глава III

вера засулич и старец зосима

Выстрел в градоначальника

31 марта 1878 года в переполненном зале Петербургского окружного суда слушалось дело по обвинению дочери капитана Веры Ивановны Засулич, покушавшейся на жизнь петербургского градоначальника генерал-адъютанта Фёдора Фёдоровича Трепова.

Это было первое (и последнее) дело такого рода, доверенное суду присяжных: оно намеренно рассматривалось как уголовное.

Председательствовал на суде добрый знакомый Достоевского Анатолий Фёдорович Кони. На почётных местах за судьями поместились первые сановники империи: лицейский товарищ Пушкина, а ныне государственный канцлер восьмидесятилетний князь Горчаков, статс-секретарь Сольский, высшие чины Министерства юстиции, сенаторы...

Достоевский сидел в ряду, отведённом для прессы.

В преступлении Засулич был нравственный акцент, не могущий не взволновать автора «Преступления и наказания»: она мстила Трепову за его приказ высечь политического заключён-

ного Боголюбова. Она подняла руку на человека, вступившись за человека.

Молодая женщина (ей было двадцать восемь лет) вступилась не за своего жениха или возлюбленного (так подумали вначале: это было бы понятно), не за собственную честь или честь своих близких, а за лицо, абсолютно ей не знакомое. Она вступилась *за принцип*.

24 января 1878 года, в 10 часов утра, Засулич явилась в приёмную к градоначальнику. На ней была широкая черная тальма без рукавов: в её складках скрывался шестизарядный револьвер. Генерал начал обходить просителей (их было человек двенадцать) — первой стояла Засулич. Трепов принял прошение, спросив, о чём оно; затем обратился к следующей просительнице с тем же вопросом. Старушка не успела ответить: раздался выстрел.

Засулич стреляла в упор, с расстояния полушага, «из револьвера, — как сказано в обвинительном акте, — заряженного пулями большого калибра»¹. Трепов взялся за бок и начал падать; покушавшуюся схватили.

На суде А.Ф. Кони допрашивал свидетеля — майора Курнеева; Достоевский слышал весь диалог.

«В<опрос>. Боролась с вами подсудимая?

О<ответ>. Нет.

В <опрос>. Делала она движение, чтоб выстрелить второй раз?

О<ответ>. Нет, у неё не было револьвера, она его бросила.

В<опрос>. Так что, она выстрелила только один раз?

О<ответ>. Да, один раз»².

Итак, произведя выстрел, Засулич отбросила пистолет в сторону. Когда А.Ф. Кони спросил её, желала ли она убить Трепова или только ранить, она отвечала, что это ей было всё равно: она лишь хотела «показать этим, что нельзя так безнаказанно надругаться над человеком»³.

(Дубровин уже подходит к вопросу *как практик*: он считал, что покушение не удалось по чисто техническим причинам. «Вера Ивановна Засулич, — писал он в изъятых у него при аресте «Записках русского офицера-террориста», — тоже напрасно выбрала револьвер системы «бульдог» среднего калибра... Если приходится погибать нашим дорогим товарищам-социалистам, то пусть они погибают, производя, насколько только возможно, наибольший урон в рядах нашего бесчеловечного, дикого и грубого врага»⁴.)

Выстрел Засулич был преступлением *идеологическим*.

Почти все убийства и самоубийства в романах Достоевского — идеологичны.

Некоторые моменты этого процесса (в частности, поведение председателя суда, речи сторон и т. д.) отзовутся впоследствии в «Братьях Карамазовых». Но нас пока интересует другое.

Нас интересует приговор.

Приговор был беспрецедентен: общество (в лице присяжных) поквиталось с тяжёлым самодуром — полновластным хозяином столицы. По негодующему слову Каткова, этот процесс обратился в «дело петербургского градоначальника Трепова, судившегося по обвинению в наказании арестанта Боголюбова»⁵.

Большинство присутствовавших было уверено, что присяжные вынесут обвинительный вердикт. Один из свидетелей (буквальных: он выступал свидетелем по делу) вспоминает: «Кони среди воцарившейся мёртвой тишины молча просмотрел первую страницу, медленно перевернул её, перейдя глазами на вторую, и... слышно было, как зал удручённо вздохнул. У меня тоже болезненно заныло сердце. Неужели наши опасения оправдались и Засулич признана виновною?»⁶

Вот та же сцена, увиденная с другой точки, на сей раз — глазами самого председателя суда: «Они (присяжные. — *И. В.*) вышли, теснясь, с бледными лицами, не глядя на подсудимую... Настала мёртвая тишина... Все притаили дыхание... Старшина дрожащею рукою подал мне лист... Против первого вопроса стояло крупным почерком: «Нет, не виновна!..»⁷

Оправдание Засулич было публичной пощёиной правительству: суду присяжных такого не могли простить никогда.

«Это самый счастливый день русского правосудия!» — воскликнул один из присутствовавших на процессе сановников, на что Кони мрачно возразил: «Вы ошибаетесь, это самый печальный день его»⁸. Он оказался прав: вскоре после оправдания Засулич все дела, связанные с покушением на должностных лиц, были изъяты из ведения суда присяжных. Правительство повело целенаправленный натиск на «суд общественной совести».

«Московские ведомости» (да и не только они) считали, что едва ли не всё зло на Руси пошло от этого скандального вердикта.

«Передавая лист старшине, я взглянул на Засулич... — вспоминает Кони. — То же серое «несуразное» лицо, ни бледнее, ни краснее обыкновенного; те же поднятые кверху, немного расширен-

ные глаза... «Нет!» — провозгласил старшина, и краска мгновенно покрыла её щёки... «не вин...», но далее он не мог продолжать».

Достоевский был свидетелем того неистового восторга, которым охватил публику после объявления приговора.

«Крики несдержанной радости, — продолжает Кони, — истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, возгласы: «Браво! Ура! Молодцы! Вера! Верочка! Верочка!» — всё слилось в один треск, и стон, и вопль. Многие крестились; в верхнем, более демократическом, отделении для публики обнимались; даже в местах за судьями усерднейшим образом хлопали...»⁹

Интересно, что делал в этот момент Достоевский? Как отнёсся он к приговору присяжных?

Но прежде: как отнеслось к нему русское общество?

Многие не могли поверить в оправдательный приговор, полагая, что вести о нём — первоапрельская шутка.

Получив петербургские газеты, полные ликующих откликов на решение присяжных (такова была единодушная реакция либеральной прессы), Катков сообщил своим читателям, что в Москву прибыл «весь сумасшедший дом петербургской печати»¹⁰. Позднее он не упустит случая напомнить, что путь к 1 марта 1881 года был открыт 31 марта 1878-го.

В своих позднейших воспоминаниях издатель консервативного «Гражданина» — князь В.П. Мещерский — писал: «Торжественное оправдание Веры Засулич происходило как будто в каком-то ужасном кошмерическом сне... Никто не мог понять, как могло состояться в зале суда самодержавной империи такое страшное глумление над государевыми высшими слугами и столь наглое торжество крамолы... Так, промеж себя, некоторые русские люди говорили, что если бы, в ответ на такое прямое революционное проявление правосудия, Государь своею властью кассировал решение суда и весь состав суда подверг изгнанию со службы, и проявил бы эту строгость немедленно и всенародно, то весьма вероятно — развитие крамолы было бы сразу приостановлено»¹¹.

Спустя семь лет Победоносцев, узнав о намерении Александра III назначить Кони на должность обер-прокурора кассационного департамента Сената, предостерегал своего бывшего воспитанника от этого шага, ссылаясь на роль Кони в деле Засулич¹².

Катков, Мещерский, Победоносцев — их мнение было единым, их негодование — искренним и неподдельным. Все они исходили

не только из своих собственных убеждений, но и из соображений высшей государственной целесообразности.

Эти люди — круг Достоевского. Во всяком случае, все они могли считать и, очевидно, считали его «своим». И вправде были бы требовать от него единомыслия.

Взгляд на это дело Достоевского решительно не похож ни на возмущение охранителей, ни на умиление либералов.

Он вообще ни на что не похож.

Ибо Достоевский «изымает» дело из сферы формально-юридической и переносит его на какую-то совсем иную почву.

Он не высказал своего мнения публично: «Дневник писателя» в это время уже не выходил. Но оно всё-таки известно.

«Иди, ты свободна...»

Вечером 1 апреля Г.К. Градовский (Гамма), автор знаменитого фельетона о процессе, который на следующее утро должен был появиться в «Голосе» («Голос», — жалуется Победоносцев наследнику престола, — разразился дикою пляской восторга по случаю оправдания Засулич¹³), посетил председателя Комитета министров. «Неужели вы за оправдание?» — поразился Валуев. — «Не я один, — отвечал журналист. — ...Возле меня сидел Достоевский, и тот признал (замечательно здесь «и тот». — *И. В.*), что наказание этой девушки неуместно, излишне... Следовало бы выразить, — сказал он: — «Иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз». — «Удивительно», — процедил сквозь зубы Валуев»¹⁴.

Министра можно понять: «приговор» Достоевского не имеет аналогов в мировой юридической практике (не парафраз ли евангельского «Иди и впредь не греши»). Между тем в словах, сказанных им Градовскому, заключалась идея, вынашиваемая много лет, не прошедшая бесследно для «Дневника писателя» и «Братьев Карамазовых».

«Иди, ты свободна...» — произносится ещё до объявления оправдательного вердикта. «Нет у нас, кажется, такой юридической формулы, — добавил Достоевский, — а чего доброго, её теперь возведут в героини»¹⁵.

Нет юридической формулы; та же «формула», которую предлагает Достоевский («иди, ты свободна, но не делай этого в другой

раз»), неприемлема для государства. Но, может быть, то, что предлагается, осуществимо просто среди людей — связанных какой-то иной, негосударственной общностью?

Ложь в постановке вопроса

Вопрос для Достоевского заключается не в большей или меньшей целесообразности существующих правовых норм, а в несоответствии судебной процедуры сути дела. Ибо сам суд основан на внутренней неправде, на разрыве между государственной нравственностью и моралью лица.

...Один из известнейших русских адвокатов, В.Д. Спасович, не без труда выиграл в петербургском суде дело, возбуждённое против его подзащитного Кроненберга. Кроненберг подвергал жестоким телесным наказаниям собственную дочь. Спасович употребил весь свой блистательный талант (черты этого «прелюбодея мысли» сказались в образе адвоката Фетюковича в «Братьях Карамазовых»), чтобы выгородить своего клиента.

Никто из современников Достоевского, пришедших в негодование от исхода этого дела, не почувствовал столь остро, как он, нравственную невыносимость такого положения, когда вся феерическая мощь адвокатского искусства была брошена против маленькой шестилетней девочки — с одной лишь целью: уличить дочь и оправдать отца.

Достоевский буквально уничтожил Спасовича (естественно, что у него не нашлось добрых слов и для Кроненберга). Однако, нарисовав картину, по своей разоблачительной силе не идущую ни в какое сравнение с теми сентенциозными общими местами, какие выставляло обвинение, он вовсе не требует наказания, предусмотренного законом.

Ситуация, при которой дочь может засудить родного отца, столь же неприемлема для Достоевского, как и тот факт, что отец может безнаказанно истязать родную дочь. Здесь крылась какая-то изначальная фальшь: то, что он называл «ложью в постановке вопроса». И не только потому, что в систему глубоко интимных, родственных отношений грубо вторгается государство (пусть даже с благородной целью — защитить слабейшего). Драматизм положения заключается в том, что любой обвинительный приговор автоматически отнимал у ребёнка отца (пусть даже такого

отца), разбивал семью и обрекал *выигравшую* дело жертву на полное сиротство (у девочки не было матери). А между тем суд не имел выбора: русское законодательство не предусматривало в этом случае (да и в иных) какую-либо форму нравственного осуждения.

«Нет у нас, кажется, такой юридической формулы».

Государственный человек Валуев по своей занятости, очевидно, не читал «Дневника писателя»: иначе бы, пожалуй, он смог подметить, что в словах Достоевского о Засулич содержится та же самая «неформальная формула», которая последовательно применялась автором «Дневника».

Отделение осуждения от наказания — вещь практически невозможная. Однако именно так ставит вопрос Достоевский.

Так у него всегда: не совершенствование «системы», не улучшение отдельных её частей, а коренное преобразование; внесение «чисто человеческого» (можно сказать — исключительно человеческого) в круг понятий надличностных и общих. Мир холодных абстракций «утепляется», они обретают новый (максимально приближенный к человеку) образ. Бесплезно оценивать степень его «прогрессивности» отношением к тем или иным правовым нормам или юридическим институтам. То, о чём он говорит, «выше» права: здесь не действует никакой иной закон, кроме закона нравственного.

Сказанное им на процессе Засулич имело своё продолжение.

Ещё один «гордый человек»

4 ноября 1880 года в Петропавловской крепости были повешены двадцатичетырехлетний Андрей Пресняков и двадцатисемилетний Александр Квятковский.

Самому Достоевскому оставалось жить менее трёх месяцев.

Он записывает в последней тетради: «Казнь Квятковского, Преснякова и помилование остальных. NB! Как государство — не могло помиловать (кроме воли монарха). Что такое казнь? — В государстве — жертва за идею. Но если Церковь — нет казни»¹⁶.

Проще простого: Достоевский — сторонник церковного суда. И следовательно, не кто иной, как религиозный фанатик, который, по образной подсказке одного эссеиста, предстаёт перед нами «злым, фанатичным средневековым монахом с византийским крестом — словно бичом — в руке»¹⁷.

Инквизиторы (и великие, и «рядовые») обрекают на казнь. Причём как раз именем Церкви. «Нет казни», — говорит Достоевский.

В записи о Квятковском и Преснякове звучит что-то уже знакомое.

...В монастыре, в келье старца Зосимы, идёт любопытный разговор. Выслушав рассуждение отца Паисия о том, что в противоположность римско-католической идее — «по русскому пониманию» — «государство должно кончить тем, чтоб сподобиться стать единственно лишь Церковью, и ничем иным», помещик Миусов с тончайшей иронией замечает, что всё это «что-то даже похожее на социализм» и что если всё это принять всерьёз, то «Церковь *теперь*... будет судить уголовщину и приговаривать розги и каторгу, а пожалуй, так и смертную казнь».

Тут в разговор вступает Иван Фёдорович Карамазов. «Не смигнув глазом», он спокойно разъясняет Миусову, что это отнюдь не так, поскольку не будет нужды прибегать к «механическим» мерам исправления преступников, когда сам взгляд на преступление в корне изменится.

Заметим: мысль эту Достоевский доверяет скептику и богоборцу, молодому отрицателю «из новейших». Впрочем, как и Легенду о Великом инквизиторе.

Но ещё удивительнее другое: Ивана Карамазова вдруг поддерживает сам Зосима.

«Вот если бы, — говорит старец, — суд принадлежал обществу как Церкви, тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе»¹⁸.

Обществу как Церкви.

Действительно: о какой Церкви говорит Достоевский? Может быть, как это и подобает «средневековому монаху», он разумеет уже готовую церковную организацию, её отлаженный столетиями механизм, ту или иную форму современной ему церковной иерархии?

Но, как сказано в той же последней тетради, «Церковь в параличе с Петра Великого»¹⁹. Всё, что она может, — это совершить казённый обряд, напутствуя уводимого на казнь преступника. «Церковь в параличе» — неужели, сознавая это, Достоевский желает, чтобы государство обратилось в *такую* Церковь и тем самым как бы само омертвело, впало в глубокое оцепенение?

Странное и на первый взгляд необъяснимое противоречие. Однако повременим объяснять его очередным парадоксом автора «Карамазовых».

Вот ещё одна запись: «Церковь — весь народ...»²⁰ «Весь народ», то есть не учреждение, не институт, отделённый от народа и стоящий над ним, а некая духовная общность, полностью с этим народом совпадающая.

В этом смысле «народ» и «Церковь» — синонимы. Последняя становится собирательным именем народной совести.

В своём последнем «Дневнике писателя» он говорит, что главная ошибка русских интеллигентных людей в том, «что они не признают в русском народе Церкви». «Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, — добавляет Достоевский, — я про наш русский «социализм» теперь говорю (и это обратно противоположное Церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), — цель и исход которого всенародная и вселенская Церковь, осуществлённая на земле, поколику земля может вместить её»²¹.

Итак, «русский социализм» есть «вселенская Церковь», иными словами — достижение такого нравственного состояния, когда все будут поступать *по совести*.

Но вот скиталец, изгой, перекати-поле — Алеко Пушкинской речи, — ведь и ему «необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится»²². Не жаждет ли и этот Алеко стать членом некоей «вселенской Церкви»?

Пожалуй, что и жаждет; правда, пока у него слабо получается... Ему, обagrившему свои руки кровью, говорят:

Оставь нас, гордый человек.

Мы дики; нет у нас законов.

Мы не терзаем, не казним.

У цыган «нет казни» — ибо это ещё *до* государства. У Церкви тоже «нет казни» — ибо это уже *после* государства.

Но само государство — «терзающее и казнящее» — не тот же ли «гордый человек» и не к нему ли тоже обращён вопль о смирении?

...1 сентября 1866 года присуждённый к повешению Дмитрий Каракозов решил просить царя о помиловании. Его письмо

заканчивалось так: «А теперь, государь, прошу у вас прощения как христианин у христианина и как человек у человека»²³.

Александр II, кротко улыбаясь, выслушал эти слова, прочитанные ему министром юстиции, и — с сожалением развёл руками.

На следующий день, 2 сентября, председатель Верховного уголовного суда семидесятисемилетний князь Гагарин (он, кстати, в 1849 году вёл следствие по делу Достоевского и других петрашевцев) вызвал к себе осуждённого и сказал: «Каракозов, государь император повелел мне объявить вам, что его величество прощает вас как христианин, но как государь — простить не может. Вы должны готовиться к смерти...»²⁴

3 сентября Каракозов был повешен.

Нравственность во множественном числе

В той воображаемой теоретической ситуации, которая обсуждается в келье старца Зосимы, подобный исход невозможен. «Там» нет двух нравственностей: для государства и для частного лица. Поступок государства, противоречащий совести, не сможет прикрыться государственным авторитетом, ибо «там» только совесть является критерием любого — в том числе общественного — интереса.

Осуждённые по «делу шестнадцати» на сей раз избавили императора от душевной раздвоенности: ни Пресняков, ни Квятковский не подали прошения о помиловании.

Между тем, констатируя, что государство «не могло помиловать» приговорённых, Достоевский делает существенную оговорку: «кроме воли монарха». То есть в иных случаях монарх имеет право быть более христианином, нежели государем.

Александр II думал иначе.

И все же «помилование остальных» для Достоевского — факт громадной величины. Исходя из него, он делает поистине глобальные обобщения.

«Церковь и Государство нельзя смешивать, — продолжает свою запись Достоевский. — То, что смешивают, — добрый признак, ибо значит клонит на Церковь»²⁵.

Это было самооболезнением. Казнь всего лишь двух отнюдь не свидетельствовала об эволюции российского самодержавия в том направлении, которое указывал ему Достоевский. Дело

обстояло гораздо проще. В конце 1880 года, в период неустойчивости власти, правительственного лавирования и лорис-меликовских заигрываний, «помилование остальных» — лишь тактический ход: нельзя было «сверх меры» дразнить общество виселицами*.

«В Англии и во Франции и не задумались бы повесить», — заканчивает свою запись Достоевский. Именно в таком виде она была опубликована в 1883 году — в первом посмертном издании его сочинений.

Но полный текст этой записи звучит несколько иначе: «...не задумались бы повесить — Церковь и монарх во главе»²⁷. Издатели несколько сократили фразу — по соображениям вполне понятным.

Кажется, редакторы не столько опасались оскорбить иностранную державу, сколько устранили более близкие политические аллюзии: как-никак за два года русский царь «не задумался» повесить двадцать человек. При этом Церковь не промолвила ни единого слова в защиту казнимых.

Достоевскому казалось, что «помилование остальных» не столько следствие некоторой — не без подсказки — высочайшей задумчивости, сколько факт исторический. Он видит в нём доброе предзнаменование. Зыбкость правительственной политики принимается им за колебание нравственное.

В своей предсмертной записной книжке он ведёт жестокий спор с профессором К.Д. Кавелиным. Спор о том, что такое нравственность. Кавелин утверждал, что последняя определяется очень просто: верностью своим убеждениям.

«Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями, — возражает он Кавелину. — Это лишь *честность* (русский язык богат), но не нравственность. Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос. Спрашиваю: сжёг ли бы он еретиков, — нет. Ну так значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный»²⁸.

* 31 октября 1880 года Лорис-Меликов направил в Ливадию следующую зашифрованную телеграмму: «Прошу доложить Его Величеству, что исполнение в столице приговора одновременно над всеми осуждёнными произвело бы крайне тягостное впечатление среди господствующего в огромном большинстве общества благоприятного политического настроения»²⁶. Поэтому Лорис-Меликов рекомендовал ограничиться казнью двоих.

(Уж не отсюда ли помянутый выше эссеист взял своего «злого, фанатичного средневекового монаха»?)

Самодержавное государство не есть «нравственный человек», ибо оно — согласно самому искреннему убеждению — сожигает «своих» еретиков. Христос Достоевского не обрёл бы на «расстреляние» петрашевцев, не повесил бы Дубровина, Квятковского и Преснякова.

Мораль, исповедуемая Достоевским, не совпадает с моралью, действующей *применительно к случаю* и извиняющей собственный прагматизм ссылкой на человеческое несовершенство.

Он не желает принимать этих ссылок.

Он не желает принимать разрыва, «ножниц» между тем вероисповеданием, на которое государство вынуждено указывать как на свою собственную религию, и реальной государственной практикой, не имеющей ничего общего с главными догматами этой официальной веры. Поэтому Церковь Достоевского мало похожа на существующую историческую Церковь²⁹, которая сама является одним из институтов государства и безоговорочно освящает любые его поступки.

В своём *уповании* Достоевский минует все последующие звенья. Он связует отдалённую «надысторическую» перспективу с «живой жизнью». Это, пожалуй, одна из самых поразительных черт его мирозерцания. И отстаивается она с поразительным упорством. «Что правда для человека как лица, то пусть остаётся правдой и для всей нации»³⁰, — сказано в «Дневнике писателя» 1877 года. Нравственный закон един.

Колебания перед пролитием крови

Слова «кровь» и «нравственность» часто стоят у Достоевского рядом.

На процессе Засулич слово «нравственность» повторялось неоднократно. Особенно часто прибегал к нему представитель обвинения — товарищ прокурора К.И. Кессель. «Я ни одной минуты не могу представить себе, — заявил он в своей обвинительной речи, — чтобы Засулич считала те средства, к которым она прибежала, нравственными...»³¹

Выяснилось, однако, что у прокурора и обвиняемой понятия о нравственности существенно различны. В глазах подсудимой

нравственная уязвимость преступления искупалась готовностью заплатить за него собственной жизнью. Сама она ожидала, «что её повесят после комедии суда»³².

«...Я решилась, — сказала на суде Засулич, — хоть ценою собственной гибели доказать, что нельзя быть уверенным в безнаказанности, так ругаясь над человеческой личностью... (В.И. Засулич была настолько взволнована, — бесстрастно фиксирует стенограмма, — что не могла продолжать. Председатель пригласил её отдохнуть и успокоиться.) ...Я не нашла другого способа... Страшно поднять руку на человека, но я находила, что должна это сделать»³³.

Достоевский хорошо запомнил эти слова. Почти через два года он, вечно жалующийся на память и забывающий имена своих героев, цитирует обвиняемую — по смыслу совершенно точно.

В своём споре с Кавелиным он пользуется Засулич как аргументом.

«Засулич, — записывает Достоевский, — «тяжело поднять руку пролить кровь», — это колебание было нравственнее, чем само пролитие крови»³⁴ (то есть чем поступок, соответствующий убеждениям).

Душевные терзания Родиона Раскольникова — при всей несопоставимости мотивов — тоже «нравственнее» его верности собственной теории: недаром он более «любопытен» Достоевскому, когда *сомневается*, а не когда *исполняет*.

Нерешительность самодержавия, казнящего «только» двух и милующего остальных, нерешительность, проистекающая исключительно из соображений государственной целесообразности, — внутренне аморальна. Колебание Веры Засулич, страшящейся поднять руку на человека только потому, что он человек, — нравственно по своей природе.

Достоевский пытается уравнивать эти величины, но — безуспешно. Засулич — одна! — «перевешивает» государство, которое вовсе и не думает обращаться в Церковь.

Любопытно бы знать: высказывал ли Достоевский своё мнение о деле Засулич Каткову или Победоносцеву? Скорее всего нет: он никогда не был с ними особенно откровенен (по его собственным словам, «наблюдал тактику»). Но об этом ещё придётся говорить. Здесь же коснёмся другого вопроса — правда, достаточно гадательного. По смерти Достоевского он приходил в голову многим.

Лучшая лекция Владимира Соловьёва

Вопрос таков: как повёл бы себя автор «Братьев Карамазовых» после 1 марта 1881 года? Мнение о том, что он горячо бы одобрил образ действий нового царствования и даже стал бы его официальным идеологом, встречается не столь уж редко.

Не будем пока оспаривать эту — более чем сомнительную — точку зрения. Остановимся только на одном пункте: как (в свете того, что о нём известно) отнесся бы Достоевский к казни первомартовцев?

Желябов, Перовская, Кибальчич, Т. Михайлов и Рысаков были повешены 3 апреля 1881 года. При этом в первый и последний раз за весь XIX век в России была казнена женщина.

28 марта, в день, когда Особое присутствие правительствующего сената должно было вынести приговор, двадцатисемилетний Владимир Сергеевич Соловьёв читал лекцию в зале Кредитного общества. Тема лекции была достаточно отвлечённой: «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса».

Владимир Соловьёв — один из немногих, с кем Достоевский был духовно близок в свои последние годы. Кажется, у автора «Карамазовых» была некоторая слабость к Соловьёву. Лицо молодого философа, по словам Анны Григорьевны, напоминало её мужу любимую им картину «Голова молодого Христа» Аннибале Карраччи. Духовный облик Владимира Соловьёва, согласно преданию, отразился в любимом герое Достоевского — Алёше Карамазове.

Молодёжь ломилась на его лекции: будущий автор «Оправдания добра» входил в моду.

28 марта 1881 года послушать Соловьёва явились общие друзья его и Достоевского. Приехала и Анна Григорьевна — в трауре.

Очевидцы вспоминают, что Владимир Соловьёв взошёл на кафедру «высокий, тонкий, ещё бледнее обыкновенного». Его, как всегда, слушали внимательно. Но тишина стала мёртвой, когда от высоких материй молодой философ перешёл к тому, о чем тайно думали все.

«Сегодня, — сказал Соловьёв, — судятся и, вероятно, будут осуждены убийцы царя на смерть. Царь может простить их, и если он действительно чувствует свою связь с народом, он должен простить. Народ русский не признаёт двух правд».

Зал замер. В стране, где вот уже целый месяц не смолкали призывы к беспощадной расправе с цареубийцами, никто ещё

не осмеливался публично выступить с таким, по-видимому безумным, предложением*.

«Не от нас зависит решение этого дела, — продолжал Владимир Соловьёв, — не мы призваны судить... но если государственная власть отрицается от христианского начала и вступает на кровавый путь, мы выйдем, отстранимся, отречемся от нее».

Далее произошло то, что, вероятно, должно было напоминать сцену в зале суда после оправдания Засулич. Публика неистовствовала. Правда, на сей раз порыв был не столь единодушным. Нашлись люди, кричавшие оратору: «Тебя первого казнить, изменник!»³⁵ — но эти возгласы якобы потонули в общем вопле восторга.

Согласно другому источнику, события в зале Кредитного общества развивались несколько иначе. «Не то чиновник, не то офицер» взошёл на кафедру и обратился к Соловьёву:

— Профессор, как нужно понимать ваши слова о помиловании преступников? Это только принципиальный вывод из вашего понимания идеи царя и толкования народного мирозозерцания или это есть реальные требования?..

Соловьёв вернулся на кафедру.

— Я сказал то, что сказал. Как представитель православного народа, не приемлющего казни... Царь должен помиловать убивших его отца»³⁶.

Несмотря на возмущение части публики, лектора вынесли из зала на руках.

Увы. Среди негодующих находилась и вдова Достоевского. Искренне считавшая себя и своего покойного мужа людьми определенных и, главное, одинаковых убеждений, Анна Григорьевна при всем своём расположении к Владимиру Соловьёву никак не могла согласиться с подобным кощунством.

Несправедливо было бы упрекать Анну Григорьевну в том, что, переписывая рукописи Достоевского, она не всегда имела возможность осмыслить их философически.

То, что посмел публично высказать Владимир Соловьёв, почти буквально совпадает с размышлениями на этот счёт его покойного учителя и собеседника.

* Правда, на это отважился Лев Толстой: он обратился к Александру III с аналогичной просьбой. Однако сделано это было в личном письме, которое в то время так и не стало известно обществу. (Подробнее см.: *Волгин И.* Колеблясь над бездной. М., 1998. С. 529–534.)

Вспомним: «Церковь и государство нельзя смешивать. То, что смешивают, — добрый знак, ибо значит клонит на Церковь».

Соловьёв именно «смешал». Но этот «добрый знак» не был понят и тем более принят: самодержавию в его смертельном единоборстве с революцией было не до тонких соловьёвских умствований. Что касается неискушённой публики, то она восприняла слова оратора как простой призыв к милосердию, не вдаваясь в сложные философские обоснования*.

Между тем для Владимира Соловьёва вопрос о помиловании первоапрельцев имел глубокий мировоззренческий смысл. Подобный жест «с высоты престола» мог бы оправдать в его глазах само существование русской исторической власти. Иначе — «мы выйдем, отстранимся, отречёмся от нее».

Соловьёв вовсе не был политическим радикалом, и его слова, конечно, не следует рассматривать как какой-то сочувственный по отношению к революции призыв. Нет, Соловьёв, как и Достоевский, готов признать историческую необходимость русской монархии. Однако их понимание нравственной природы самодержавия вступало в тягостный конфликт с тем, чем самодержавие являлось на самом деле.

«Но если царь, — сказал в своей речи Владимир Соловьёв, — действительно есть личное выражение всего народного существа, и прежде всего, конечно, существа духовного, то он должен стать твёрдо на идеальных началах народной жизни: то, что народ считает верховной нормой жизни и деятельности, то и царь должен ставить верховным началом жизни»³⁷.

Нет никакого сомнения, что Соловьёв внимательно читал последний «Дневник писателя», вышедший в день похорон Достоевского. И не исключено, что именно этот выпуск был у него на памяти, когда он произносил свою вдохновенную и рискованную речь. Ведь буквально то, о чём говорил оратор, автор «Дневника» высказал двумя месяцами раньше. «Царь для народа не внешняя сила... Царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верований его»³⁸.

Но если так, то «нет казни».

* Вл. Соловьёву не простили этой акции: несмотря на «объяснительное» письмо Александру III, где автор повторил свои основные аргументы, его временно лишили права публичных выступлений. Вскоре он оставил профессорство в Петербургском университете.

Казнь была: русский царь не позволил «смешать» себя с той Церковью, о которой говорил Достоевский, к которой «подталкивал» его Владимир Соловьёв и которая существовала только в их воображении. Недаром официальный блюститель другой Церкви — отнюдь не «вселенской», а вполне земной и реальной — К.П. Победоносцев сделал всё от него зависящее, чтобы не допустить такого развития событий.

Соображения обер-прокурора

30 марта, уже после вынесения смертного приговора первоапрельцам и, очевидно, будучи хорошо информированным о том, что произошло в зале Кредитного общества, Победоносцев пишет новому императору отчаянное письмо: «Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осуждённых преступников от смертной казни... Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского в такую минуту простили *убийцу отца Вашего*, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется»*.

Вспомним: «Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком...»

Победоносцев требовал аутодафе.

Владимир Соловьёв, взывая к царю, приводил тот, по его мнению, неотразимый аргумент, что помилование отвечает самому духу народному, не ведающему двух правд. К тому же «решающему» доводу — но с целью прямо противоположной — обращается и обер-прокурор Святейшего синода: «Я русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ и чего требует».

И Соловьёв и Победоносцев говорили как бы от имени народа. Сам же народ *безмолвствовал*.

Достоевский обращает свои взоры в ту же сторону. Но из всех возможных «признаков» нации он выделяет *совесть* — как определяющую национальную доминанту.

* В свете этого послания драматичной выглядит попытка Льва Толстого передать своё письмо к Александру III именно через Победоносцева (последний, естественно, отказался от подобной миссии).

Поэтому, пожалуй, без большого риска ошибиться можно угадать, чью бы сторону взял автор Пушкинской речи в этом споре — накануне казни.

Тот, кто согласно Достоевскому и Соловьёву призван был воплощать в себе дух народа, тоже сделал свой выбор. На письме Победоносцева император начертал: «Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь»³⁹.

...Видя негодование Анны Григорьевны, её знакомая, тоже присутствовавшая на лекции, даже вступилась за Владимира Соловьёва, напомнив, что Достоевский как-никак отождествлял его со своим любимцем — Алёшей Карамазовым.

И тут произошло нечто удивительное.

«Нет, нет, — горячо возразила Анна Григорьевна, — Фёдор Михайлович видел в лице Вл. Соловьёва не Алёшу, а Ивана Карамазова»⁴⁰.

Восклицание вдовы Достоевского как будто противоречит известной традиции. При чём здесь Иван? Но, с другой стороны, у нас нет никаких оснований не верить мемуаристке. Конечно, по своему умственному складу (обладающий, если воспользоваться характеристикой, относящейся к Раскольникову, «диалектикой, выточенной как бритва») «русский Платон» — Владимир Соловьёв — более напоминает Ивана Карамазова, нежели «русского послушника» Алёшу. Автором Легенды о Великом инквизиторе (она, как помним, сочинена Иваном) в принципе мог быть человек такого интеллектуального склада, как Владимир Соловьёв.

Признание Анны Григорьевны, вырвавшееся в горячую минуту, находит серьёзную опору и в текстах самого Достоевского. Ведь то, о чём «теоретик» Иван Карамазов толкует в келье старца Зосимы, другой теоретик — Владимир Соловьёв — пытается «провести на практике»: в виду воздвигавшихся на Семёновском плацу шести виселиц*.

Самодержавие предпочло послушаться государственника Победоносцева, а не идеалиста Владимира Соловьёва.

Но пора вернуться назад — к зиме 1880 года.

* Шестой смертный приговор не был приведён в исполнение: осуждённая Геся Гельфман оказалась беременной, и её казнь была отсрочена. Вскоре она и её ребёнок погибли в заключении.

глава IV

портрет с натуры

Зима 1880 года. Продолжение

Если пересмотреть дневниковые записи, которые вели в 1879–1880 годах видные деятели царствования — председатель Комитета министров П.А. Валуев, военный министр Д.А. Милютин, государственный секретарь Е.А. Перетц, сенатор А.А. Половцев и другие, — можно убедиться, что, пожалуй, ни один из них не сохранил душевного спокойствия. «Кризис верхов» выразался не только в судорожных действиях правительственной администрации, но и в необычных умонастроениях её главных руководителей.

Летом 1879 года, вернувшись вместе с императорской семьёй из Крыма, Д.А. Милютин записывает: «...Я нашёл в Петербурге странное настроение: даже в высших правительственных сферах толкуют о необходимости радикальных реформ, произносится даже слово «конституция»; никто не верует в прочность существующего порядка вещей»¹.

Год заканчивался; выхода пока не предвиделось.

В декабрьском номере «Отечественных записок» М.Е. Салтыков-Щедрин писал: «Год приходит к концу, страшный год,

который неизгладимыми чертами врезался в сердце каждого русского»².

В своём интимном дневнике наследник престола (будущий Александр III) с присущей ему любовью к определённости делает вывод, что «самые ужасные и отвратительные годы, которые когда-либо проходила Россия, — 1879 и начало 1880»³.

Разумеется, Салтыков-Щедрин и Александр Александрович имели в виду весьма различные вещи. Но ощущение неблагополучия, неуверенности, разлада, предчувствие близкой катастрофы были всеобщими.

Что принесёт новый 1880 год? Этого Достоевский не знал.

Его давний приятель — Яков Петрович Полонский — печатно гадал о ближайшем будущем (почему-то — размером лермонтовского «Мцыри»):

...И пусть из нас никто не пьёт
За новый, в мир грядущий год.
Идёт с закрытым он лицом,
С неведомым добром и злом,
Не разглашая наперёд,
Какое знамя он несёт⁴.

Стихотворение называлось «Беспутный год»: подразумевался год минувший.

Шестнадцать смертных казней и три дерзких посягновения на особу государя — такой статистики Россия ещё не знала.

Последнее покушение пришлось на конец года и не походило ни на одно из предыдущих.

19 ноября, в одиннадцатом часу вечера, рвануло на третьей версте Московско-Курской железной дороги: гром был слышен в Первопрестольной. Минную галерею подвели под железнодорожное полотно прямо из расположенного неподалёку дома. Будущий сосед Достоевского, Александр Баранников, хотел лично сомкнуть гальваническую цепь: за ним и так уже числился Мезенцов. Но — не знал, как обращаться с аппаратом, и операцию доверили другому.

Императорский состав проследовал первым; с рельсов сошёл второй поезд — свитский. Счастье снова улыбнулось государю: обычно поезда двигались в обратном порядке.

В дело впервые вступил динамит.

Это было необычно и современно: романтические пуля и кинжал явно уступали новому устрашающему оружию. В русский язык входило новое слово: «динамитчик».

...Зима 1880 года перевалила на вторую половину. Анна Григорьевна быстро оправилась от простуды (она не любила залёживаться), и жизнь постепенно наладилась.

По четвергам его приглашали две дамы — уже упомянутая выше Софья Андреевна Толстая и её племянница — Софья Петровна Хитрово.

Вдова Алексея Константиновича Толстого по прихоти судьбы обладала тем же титулом, именем и отчеством, как и жена автора «Войны и мира». Пятидесятишестилетняя С.А. Толстая, не имея собственных детей, обожала племянницу Софью Петровну (в которую, к слову, много лет был безнадежно влюблён Владимир Сергеевич Соловьёв). Она выдала её за дипломата, но, памятуя о печальной участи Грибоедова, нашла более справедливым, чтобы он отстаивал русские интересы в Персии один — без семьи. Софья Петровна Хитрово с детьми были поселены в доме С.А. Толстой.

Сорок лет спустя, уже в двадцатые годы XX столетия, одна старая дама из высшего русского общества встретила в Швейцарии дочь Достоевского: та доживала свои дни на европейских курортах. «Когда графиня Софья, — доверительно призналась эта дама Любове Фёдоровне, — приглашала нас на свои вечера, мы приходили, если у нас не было более интересных приглашений; когда же она писала: «Одной из нас Достоевский обещал прийти», тогда забывались все другие вечера, и мы прилагали все усилия, чтобы явиться к ней»⁵.

Салон С.А. Толстой — один из немногих петербургских салонов, соединявших в себе политику и литературу.

В апреле 1877 года Н.Н. Страхов, регулярно посвящавший Льва Толстого в события своей и чужой жизни, сообщает ему следующие подробности о графине: «Она, да и ещё и другая дама, её приятельница (очевидно, С.П. Хитрово. — *И.В.*), — большие охотницы до философии, много читают и даже ходили для этого в Публичную библиотеку... Графиня очень учёна, даже знает *по-санскритски* несколько... На женскую учёность я смотрю, как Вы; но тут всё имеет такие большие размеры, что если это одна фальшь — то грустное и странное явление».

Характеристика, как часто бывает у Страхова, двусмысленна: с одной стороны, ему явно льстит это интеллектуально-светское

знакомство, с другой — он старается сохранить по отношению к учёной графине известную ироничность. Впрочем, автор письма вынужден признать, что графиня Софья Андреевна «очень проста и мила; ум ей приписывают необыкновенный».

В начале 1880 года Н.Н. Страхов попадает наконец *в дом*. «Затем большое событие, — адресует он к жене Льва Толстого, — я был... у графини С.А. Толстой, Вашей тёзки... Там я нашёл Гончарова и Достоевского, которые, говорят, не пропускают ни одного четверга... Большой свет состоял из Игнатьева (будущий министр внутренних дел. — *И.В.*) и дам, которых, к несчастью, невозможно было рассмотреть в модном полумраке. Графиня считается женщиной необычайного ума и любезна необыкновенно, так что я почувствовал желание подражать Гончарову и Достоевскому. Только нет у меня такого фрака с открытою грудью, в каких они сидели и какие Вл. Соловьёв считает решительным бесстыдством»⁶.

Дружба с С.А. Толстой — одна из немногих привязанностей позднего Достоевского.

«Хотя моя мать, — вспоминала Любовь Фёдоровна, — и была несколько ревнива, она не возражала против частых посещений Достоевским графини, которая в то время уже вышла из возраста соблазнительницы». Соблазну иных посещений «он предпочитал комфорт и сдержанную элегантность графини Толстой»⁷.

Действительно: как только девятая книга «Карамазовых» была отправлена в Москву, он не замедлил появиться в доме, который, по словам Мельхиора де Вогюэ, напоминал гостиные Сен-Жерменского предместья.

Секретарь французского посольства в Петербурге виконт Мельхиор де Вогюэ был непременно посетителем салона. Трудно сказать, отличался ли он какими-нибудь выдающимися талантами на поприще внешней политики. Но он совершил то, что превосходит самый блистательный дипломатический успех. Он познакомил Запад с русским романом, открыв для европейского читателя имена Толстого и Достоевского.

17 января 1880 года был четверг. Вернувшись от графини С.А. Толстой, где он в этот вечер встретил автора «Карамазовых», «первый славист» записывает в дневнике: «Любопытный образчик русского одержимого, считающего себя более глубоким, чем вся Европа, потому что он более смутен. Смесь «медведя» и «ежа». Самообольщение, позволяющее предвидеть, до каких преде-

лов дойдет славянская мысль в её ближайшем большом движении. “Мы обладаем гением всех народов и сверх того русским гением, — утверждает Достоевский, — вот почему мы можем понять вас, а вы не в состоянии нас постигнуть”⁸.

В этой внутренне полемичной записи, как будто ещё хранящей жар недавнего спора, Мельхиор де Вогиюэ зафиксировал (правда, в сильно преувеличенном и, кажется, не вполне адекватном виде) некоторые мотивы будущей Пушкинской речи. Ещё остаётся целых полгода до открытия памятника на Тверском бульваре в Москве; ещё сам автор речи и не подозревает о своём будущем триумфе. Однако *слово* уже готово сорваться с губ.

Ночи, как всегда, были отданы «Карамазовым». Днем — обычно после двух (хозяин ложился около семи и поднимался поздно) — являлись посетители: всякие. Немало сил отнимали и литературные вечера, которые всё более входили в моду, несмотря на неспокойствие политическое.

«Мастерское чтение Фёдора Михайловича, — говорит Анна Григорьевна, — всегда привлекало публику, и если он был здоров, он никогда не отказывался от участия, как бы ни был в то время занят»⁹.

Положим, привлекало не только чтение.

Литературные вечера были явлением сравнительно новым. Их начали устраивать ещё в 60-е годы, но постоянной и примечательной чертой общественного быта они сделались лишь недавно. Они устраивались Литературным фондом, Медико-хирургической академией, университетом, педагогическими курсами, гимназиями и, как правило, носили благотворительный характер. Выручка шла в пользу больниц, сиротских приютов, недостаточных студентов различных учебных заведений и т. д.

Разумеется, ни о каком гонораре не могло быть и речи: выступления рассматривались как прямой общественный долг.

Ещё не вошло в обычай посылать выступавшим записки или задавать им вопросы. Поэтому, как правило, функции писателей ограничивались *декламацией*: чтением отрывков из собственных или чужих произведений (разумеется, тексты предварительно просматривались той или иной цензурой). Слушателям же на подобных вечерах предоставлялась единственная возможность лицезреть «живого» писателя: вещь немаловажная, если вспомнить об исключительности в России звания литератора.

После смерти Некрасова только четыре человека в стране могли претендовать на роль её духовных вождей: Тургенев, Толстой, Салтыков-Щедрин и Достоевский.

На протяжении двух последних зим имя Достоевского нередко являлось на петербургских афишах. Его звали, на него рассчитывали, его участия добивались. Этот вполне новый для него род деятельности требовал немалых усилий — как духовных, так и физических (последние были тем ощутимее, что, выступая, он совершенно не умел беречься и при своём расстроенном здоровье *выкладывался* весь).

Правда, здесь были и свои приятные стороны. Восторженные овации, неизменно (с весны 1879 года) сопровождавшие его появление на литературных вечерах и как бы идущие наперекор установившемуся по отношению к нему журнальному стереотипу, медленный, но неостановимый рост популярности — все эти, строго говоря, внелитературные факторы создавали новую литературную ситуацию. Его писательское положение менялось. Менялось и положение общественное. Сдвиги на первый взгляд были не столь уж заметны; однако именно они в значительной мере подготовили его московский триумф.

«Указующий перст, страстно поднятый», необходимый, по его понятиям, во всякой художественной деятельности, отныне мог быть поднят прилюдно. То, что он говорил, сопрягалось теперь с тем, *как* он это говорил: со звуком его голоса, с интонацией, с выражением лица. На глазах у публики слово воссоединялось со своим творцом: такое видимое *преображение*, конечно, превышало эффект «чистого» чтения. «Кафедра» отвечала характеру его дарования, но только в самом конце он обрел её буквально.

К концу зимы стало возможным несколько перевести дух (следующие главы романа появятся лишь в апрельской книжке «Русского вестника»). И если в самом начале года, по горло занятый работой, он вежливо, но твёрдо отказывается принять участие в *престижном* вечере Литературного фонда, то теперь он готов появиться на эстрадах весьма и весьма скромных.

2 февраля предполагалось выступление в Коломенской женской гимназии. «Какое нетерпеливое волнение, — писал Достоевскому устроитель вечера Пётр Исаевич Вейнберг, — происходит между нашими ученицами в ожидании завтрашнего дня — Вы и представить себе не можете!»¹⁰ Волновался и сам поэт: не забудет ли?

Достоевский успокаивал: явится вовремя и прочтёт «что Вам будет угодно назначить».

В конце письма следовала приписка: «В случае какой-нибудь слишком жестокой бури, наводнения и проч., разумеется, не в состоянии буду прибыть. Но вероятнее, что всё обойдётся благополучно»¹¹.

В Петербурге наводнений в феврале обычно не случается: следовательно, это была шутка. Она свидетельствовала об известном расположении духа.

«Вообще говоря, — вспоминает Анна Григорьевна, — 1880 год начался для нас при благоприятных условиях: здоровье Фёдора Михайловича после поездки в Эмс в прошлом году (в 1879-м), по-видимому, очень окрепло, и приступы эпилепсии стали значительно реже. Дети наши были совершенно здоровы. «Братья Карамазовы» имели несомненный успех, и некоторыми главами романа Фёдор Михайлович, всегда столь строгий к себе, был очень доволен. Задуманное нами предприятие (книжная торговля) осуществилось, наши издания хорошо продавались, и вообще все дела шли недурно. Все эти обстоятельства, вместе взятые, благоприятно влияли на Фёдора Михайловича, и настроение его духа было весёлое и приподнятое»¹².

Зимой 1880 года Достоевский ни в малой степени не разделяет глубокого пессимизма «верхов». Его тревоги — совсем иного рода.

Действительно, если проследить хотя бы один только *тон* его поздней переписки, можно не без некоторого удивления убедиться, что настроение его всё время идёт крещендо, достигая апогея в дни пушкинских торжеств. «Настроение» — не очень удачное слово: здесь правильнее было бы сказать о чувстве, более похожем на историческое ожидание. Ожидание скорой и неминуемой перемены судеб: не личных, но общих.

Это чувство и связанный с ним строй ценностных представлений заметно отличаются от его умственного и душевного расположения в начале десятилетия — с частую резкими и безоговорочными суждениями, жёсткостью литературных и идейных характеристик, раздражительностью и непримиримостью к «чужому».

Конечно, подобный сдвиг можно объяснить тем громадным духовным подъёмом, который испытал в свои последние годы автор «Братьев Карамазовых», его мощной творческой поглощённостью.

Это объясняет многое, но не всё.

Еще в 1878 году, приступая к «Карамазовым», он пишет одному старому знакомому: «Огромное теперь время для России, и дожили мы до любопытнейшей точки...»¹³ Он хвалит своего корреспондента за то, что тот чувствует себя принадлежащим «ко всему текущему, живому и насущному, бьющемуся продолжающейся жизнью». «Ведь и я, например, — продолжает Достоевский, — точь-в-точь так же, хотя по симпатиям я вовсе не 60-х и даже не сороковых годов. Скорее теперешние года мне более нравятся по чему-то уже въявь совершающемуся, вместо прежнего гадательного и идеального»¹⁴.

Ощущение «огромности времени» — доминирующая черта позднего Достоевского. Понимание того, что «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной», вовсе не ввергает его в чёрную меланхолию и не обращает в мизантропа. Напротив, именно это чувство заставляет страстно желать развязки. Он не отворачивается от будущего, не бежит от него — он идет навстречу ему с открытым лицом.

Зимой 1880 года он нередко проповедует в гостиных, как бы «обкатывая» положения уже близкой Пушкинской речи. Круг знакомых всё тот же: Штакеншнейдер, Полонские, графиня С.А. Толстая...

В гостях и дома

Вольготнее всего он чувствовал себя у Штакеншнейдеров, в семье покойного петербургского архитектора. Там не было ни светской чопорности, ни особого «политичного» духа литературных салонов. Собирались в основном свои — старые, ещё с 60-х годов, знакомцы: Аполлон Николаевич Майков, Яков Петрович Полонский — с жёнами, вечный холостяк Николай Николаевич Страхов, Загуляевы, Аверкиевы... Атмосфера дома поддерживалась стараниями Елены Андреевны Штакеншнейдер, старшей дочери хозяйки, «горбуни с умным лицом», как называл её Иван Александрович Гончаров. «...Пожилая, болезненная девушка (ей было около сорока пяти лет. — *И. В.*), на костылях и с больными ногами, умная, добрая и приветливая», — говорит о ней младшая современница¹⁵.

Автор этих воспоминаний Л.И. Веселитская (В. Микулич) впервые увидела Достоевского у Штакеншнейдеров зимой 1880

года. Ей показалось, что своим приходом он внёс в гостиную некоторое стеснение: «Его точно сторонились и побаивались»¹⁶. Это, впрочем, понятно: он *трудный* гость. У него никогда не хватало такта (как, скажем, у Тургенева) поддерживать «приличный» светский разговор; он не мог, как Толстой, мягко захватить собеседника (именно собеседника, а не слушателя!) и без нажима подчинить своей воле. Он сам жаловался, что у него «нет жеста», в том числе, очевидно, и жеста речевого, помогающего соблюсти известные разговорные формы. Он мог говорить только о том, что более всего волновало его в данную минуту. Не всякий выдерживал этот уровень общения: вокруг могли образоваться пустоты.

Обыкновенная манера его речи, как передаёт Страхов, — говорить со своим собеседником «вполголоса, почти шёпотом, пока что-нибудь его особенно не возбуждало; тогда он воодушевлялся и круто возвышал голос»¹⁷. Эта сугубо личная особенность, очевидно, сказалась и в творчестве: такие «подъёмы голоса» (после нарочито замедленной «экспозиции») особенно характерны для «Дневника писателя».

Автор полифонических романов — в обществе монолога: его цель не столько убедить собеседника, сколько высказаться, изложить свой символ веры, ещё раз проверить себя. «Не помню, чтобы он вёл споры, — замечает Микулич, — хотя многие из гостей Ш<такенштейн>деров не соглашались с ним и думали совсем иначе, чем он».

В его речевом обиходе нет плавных переходов, нет мягкой сглаженности формулировок, оставляющих возможность компромисса. Диалог обрывист и угловат, зато стремителен и захватывающ монолог. Он не соблюдал разговорного этикета. «Если ему не нравилось какое-нибудь высказанное мнение, он прямо и довольно резко заявлял об этом, но что-то не помню, чтоб ему возражали»¹⁸.

На первый взгляд это труднообъяснимо. Один из величайших мастеров диалога, искусно сталкивающий в своих романах полярные точки зрения и высекающий из этих столкновений точно рассчитанный художественный эффект, тонкий диалектик, самозабвенно «играющий» мыслью и отважно испытывающий её «на практике», он — нетерпим в близком идейном общении, закрыт для равноправного спора, глух к чужому. Какое уж тут многоголосье...

Однако не является ли этот внешний монологизм Достоевского обратной стороной внутренней душевной борьбы? Не прошёл ли он уже *прежде* по всему звучащему диапазону, чтобы остановиться на чем-то одном, выбрать себе такую ноту, которая твёрдо противостояла бы всей внятной ему музыке?

В этом случае монолог ещё и средство самоубеждения.

Ему нужен не столько собеседник, сколько слушатель, ибо все возможные возражения уже известны, подвергнуты рассмотрению, преодолены (или, во всяком случае, кажется, что преодолены), и необходимо убедить слушателя, чтобы убедиться самому.

«Он начинал мечтать вслух, — вспоминает Всеволод Соловьёв (брат Владимира Соловьёва и сын историка С.М. Соловьёва), — страстно, восторженно, о будущих судьбах человечества, о судьбах России».

Его мысль всё время устремлена в будущее; эта область для него ничуть не меньшая реальность, чем настоящее. Он предпочитает затрагивать крупные, глобальные темы, и в его разговорах они выступают гораздо «прямее», публицистичнее, нежели в его романах. Та *мировая тревога*, которая явлена в последних, никогда не покидает его самого.

«Эти мечты бывали иногда несбыточны, — продолжает Всеволод Соловьёв, — его выводы казались парадоксальными. Но он говорил с таким горячим убеждением, так вдохновенно и в то же время таким пророческим тоном, что очень часто я начинал и сам ощущать восторженный трепет, жадно следил за его мечтами и образами и своими вопросами, вставками подливал жару в его фантазию».

Интересно, что общение с самим Достоевским вызывает у Соловьёва чувства, подобные тем, какие он испытывал, знакомясь с его произведениями. «Это было то же самое, что и в те годы, когда, ещё не зная его, я зачитывался его романами. Это было какое-то мучительное, сладкое опьянение, приём своего рода гашиша». Степень напряжения, если даже слушатель оставался пассивным, очень велика: «После двух часов подобной беседы я часто выходил от него с потрясёнными нервами, в лихорадке»¹⁹.

«Беседа» — сильно сказано; разумеется, беседа только по форме: проповедник не нуждается в оппоненте.

Всеволод Соловьёв говорит о беседах с глазу на глаз; но точно так же Достоевский ведёт себя на людях: «Конечно, он не был создан для общества, для гостиной»²⁰.

Тургенев на публике — великолепный рассказчик, остроумец, душа общества; Толстой также не чужд этого жанра (он, правда, не любит злословить); ни тот ни другой, как правило, не задавливают собой общей беседы. Тургеневу и Толстому — в их частной жизни — не нужна кафедра. (Когда Толстой «проповедует» в домашнем кругу или перед незнакомыми посетителями, то делает это скорее по инерции, избегая сильных душевных волнений, и — не пространно.)

Кафедра нужна Достоевскому. Ибо его страстная, с вселенскими захватами речь — всегда на несколько градусов выше средней «разговорной температуры». Потому что сам он — не холоден, не тёпл, но — горяч.

...В. Микулич, сидя у Штакеншнейдеров, поглядывает на гостей. «Невольно я переводила взгляд с безмятежной, невинной физиономии Страхова на судорожно возбуждённое, замученное лицо Достоевского с горящими глазами и думала: “Какие они единомышленники? Те любят то, что есть; он любит то, что должно быть. Те держатся за то, что есть и было; он распинается за то, что придёт или, по крайней мере, должно прийти. А если он так ждёт, так жаждет того, что должно прийти, стало быть, он не так-то уж доволен тем, что есть?..”»²¹

Наблюдательницу прежде всего поражает внешний контраст: это видимое несходство с окружающими как бы символизирует для неё несходство внутреннее.

Об этом последнем несовпадении нам ещё придётся говорить; остановимся пока на другом.

Как выглядел Достоевский в свои последние годы?

О наружности и внешности

Микулич пишет: «...некрасивое, болезненно-бледное лицо с русой бородой, с умным сморщенным лбом и пронизательными глазами». Для неё, двадцатитрёхлетней девушки, пятидесятивосьмилетний Достоевский имеет вид «хилого», «бледнолицего старика»²². Может быть, это впечатление обманчиво?

Всеволод Соловьёв познакомился с Достоевским в 1873 году. «Передо мною был человек небольшого роста, худощавый, но довольно широкоплечий, казавшийся гораздо моложе своих пятидесяти двух лет, с небольшой русой бородою, высоким лбом,

у которого поредели, но не поседели мягкие, тонкие волосы, с маленькими, светлыми карими глазами, с некрасивым и на первый взгляд простым лицом. Но это было только первое и мгновенное впечатление — это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключительной духовной жизни».

Хотя Соловьёв отмечает в Достоевском признаки некоторой физической изношенности («кожа была тонкая, бледная, будто восковая»²³), рисуемый им портрет оставляет впечатление свежести и силы.

Анна Григорьевна, познакомившись со своим будущим мужем в 1866 году, когда ему было сорок пять лет, сначала полагала, что он значительно моложе. «С первого взгляда Достоевский казался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более тридцати пяти — семи лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены»²⁴.

Он делается моложе, когда говорит, ибо его речь не «прикрывает» его внутреннюю жизнь, а, наоборот, передаёт малейшие душевные движения («Выражение его подвижного нервного лица, — отмечает В. Микулич, — ясно говорило, что он думает о каждой сказанной фразе»²⁵).

В.В. Тимофеева (О. Починковская) впервые увидела Достоевского в том же году, что и Всеволод Соловьёв. её женский взгляд весьма пронизателен и добавляет к портрету, нарисованному Соловьёвым, важные детали:

«Это был очень бледный — землистой, болезненной бледностью, — немолодой, очень усталый или больной человек, с мрачным, изнуренным лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряжённо-сдержанного движения мускулов. Как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворён был чувством и мыслью».

И Всеволод Соловьёв, и Тимофеева отмечают одну и ту же сильно поразившую их черту: одухотворённость. Причём одухотворённость не подчёркнуто театрального, «романтического» типа, а глубоко затаённую, «нутрянную».

«И эти чувства и мысли, — продолжает Тимофеева, — неудержимо просились наружу, но их не пускала железная воля

этого щедедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и угрюмого человека. Он был весь точно замкнут на ключ — никаких движений, ни одного жеста, — только тонкие, бескровные губы нервно подёргивались, когда он говорил»²⁶.

Ни один воспоминатель, говоря о Достоевском 1873 года, не употребляет слово «старик».

Вообще 1873 году повезло на воспоминания: о Достоевском — редакторе «Гражданина» свидетельствует и метранпаж типографии, где печатался этот журнал, — Михаил Александрович Александров.

«Между прочим, как неоднократно впоследствии мне пришлось наблюдать, — пишет Александров, — Фёдор Михайлович перед незнакомыми ему людьми любил выказать себя бодрым, физически здоровым человеком, напрягая для этого звучность и выразительность своего голоса.

— Хорошие ли у вас наборщики? — спросил меня Фёдор Михайлович таким искусственно напряжённым голосом, в котором, однако, нетрудно было заметить старческую надтреснутость».

Возраст прежде всего даёт себя почувствовать в *звуче* — тогда, когда волевым усилием он пытается преодолеть давнюю физическую усталость.

«С первого взгляда, — замечает М.А. Александров, — он мне показался суровым и совсем не интеллигентным человеком всем хорошо знакомого типа, а скорее человеком простым и грубоватым... меня прежде всего поразила чисто народная русская типичность его наружности...»²⁷

Страхов говорит, что Достоевский, «несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, то есть простонародные черты лица»²⁸. Тимофеева повторяет это определение почти дословно: лицо Достоевского напоминает ей «солдат — из «разжалованных»... тюрьму и больницу»²⁹. И, не сговариваясь с ними, — Всеволод Соловьёв: «Лица, производящие подобное впечатление, мне приходилось несколько раз видеть в тюрьмах — это были вынесшие долгое одиночное заключение фанатики-сектанты»³⁰.

В обликах Тургенева и Толстого удивительным образом сочетались русские простонародные черты с чертами высокого аристократизма. В облике Достоевского последние начисто отсутствуют. Его «простота» уравновешивается чистой духовностью — и ничем иным.

Х.Д. Алчевская, впервые увидевшая Достоевского в мае 1876 года, так передаёт свои впечатления: «Передо мной стоял человек небольшого роста, худой, небрежно одетый. Я не назвала бы его стариком: ни лысины, ни седины, обычных примет старости, не замечалось; трудно было бы даже определить, сколько именно ему лет; зато, глядя на это страдальческое лицо, на впалые, небольшие потухшие глаза, на резкие, точно имеющие каждая свою биографию, морщины, с уверенностью можно было сказать, что этот человек много думал, много страдал, много перенёс. Казалось даже, что жизнь почти потухла в этом слабом теле»³¹.

К 1880 году происходит заметное физическое постарение Достоевского; одновременно всё мощнее выступает наружу его духовная природа.

Если ещё в начале 70-х годов Достоевский кажется современникам весьма болезненным человеком, то к 1880 году это впечатление резко усиливается. Один из свидетелей Пушкинского праздника говорит о «худом, пергаментно-жёлтом, скрюченном болезнью»³² ораторе. Во всяком случае, все без исключения отмечают бросающуюся в глаза физическую немощь Достоевского (может быть, по контрасту с тем потрясающим впечатлением, которое произвела Пушкинская речь).

В 1880 году слово «старик» вполне приложимо к нему: он выглядит на свои годы.

Остаётся вместе с Крамским пожалеть, что «нет портрета последнего времени, равного перовскому»³³. Этот знаменитый (1872 года) портрет очень нравился самому натурщику. Анна Григорьевна утверждает, что Перов «сумел подметить самое характерное выражение... которое Фёдор Михайлович имел, когда он был погружён в свои художественные мысли»³⁴. Правда, находились любители, приглашавшие «публику идти на выставку в Академию художеств и посмотреть там портрет Достоевского работы Перова как прямое доказательство, что это сумасшедший человек, место которого в доме умалишённых»³⁵.

Крамской считает, что в последние годы лицо Достоевского сделалось ещё значительнее, ещё глубже и трагичнее»³⁶. В подтверждение своих слов он указывает на одну из его последних фотографий. Она сделана в Москве 9 июня 1880 года — на следующий день после Пушкинской речи.

Фотография Панова — одно из самых поразительных и, думается, самых «адекватных» изображений Достоевского. При всём

своём техническом несовершенстве она почти художественно передаёт «геометрию лица»: порой кажется, что портрет выполнен кубистом. Ни одной мягкой, расплывчатой линии — всё жёстко огранено, угловато, костисто. Глаза посажены столь глубоко, что их почти не видно из-под твёрдых надбровных дуг. Асимметрия лица ещё более усиливает сходство с живописью начала XX века.

Ни на одном фотографическом портрете Достоевского нельзя заметить такой духовной концентрации, такой внутренней силы, как на снимке 1880 года.

Обидчивый обидчик

Но вот странность: носитель этой исключительной силы, по-видимому, нимало не заботится о том, чтобы обставить своё духовное «я» хоть какими-то атрибутами внешней торжественности. Напротив: его житейское поведение как бы намеренно разрушает тот возвышенный образ мыслителя и пророка, представление о котором присуще русскому интеллигентскому сознанию.

«Он не вполне сознавал свою духовную силу, — пишет Е.А. Штакеншнейдер, — но не чувствовать её не мог и не мог не видеть отражения её на других, особенно в последние годы его жизни. А этого уже достаточно, чтобы много думать о себе. Между тем он много о себе не думал, иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей, и самые дерзости говорил бы иначе. Он был больной и капризный человек и дерзости свои говорил от каприза, а не от высокомерия. Если бы он был не великим писателем, а простым смертным, и притом таким же больным, то был бы, вероятно, так же капризен и несносен подчас, но этого бы не замечали, потому что и самого его не замечали бы»³⁷.

Толстой и Тургенев — особенно на склоне лет — никогда не позволяли себе таких *выходок*, как Достоевский. Отсюда отнюдь не следует, что их поведение отличалось какой-то особой преднамеренностью или театральностью. Просто оба писателя хорошо знали свои, как бы сказали теперь, социальные роли. Они никогда не забывали, кто они такие.

Достоевский тоже пытается помнить об этом; однако он всё же плохой «социальный актёр» — его непосредствен-

ность перевешивает необходимый минимум лицедейства; отсюда — срывы.

Конечно, болезнь: она сильно деформировала личность. Но приписывать, как это часто делается, все его «уклонения» эпилепсии было бы ошибочно. В поведении Достоевского есть моменты, которые можно назвать структурными: они вытекают из общего психического склада его личности, и болезнь играет здесь лишь роль катализатора.

Многие мемуаристы, писавшие о Достоевском, обнаруживают одну общую подробность. В мемуарах упоминается о том тяжёлом впечатлении, которое производил автор «Преступления и наказания» при первом знакомстве (этой участи не избежала и его будущая подруга жизни). Он не умел нравиться сразу. Правда, Штакеншнейдер говорит, что он «в первое же своё посещение, за ужином, разговорился и очаровал всех», но тут же добавляет: «Слово «очарование» даже не вполне выражает впечатление, которое он произвёл. Он как-то скорее околдовал, лишил покоя»³⁸. Это «лишение покоя», производимое им самим, одновременно и один из важнейших признаков его художества. До конца жизни он так и не сумел усвоить безлично-вежливых, нейтральных форм общения — даже со случайными знакомыми. Если он «признавал» собеседника, тогда, как правило, наступало сближение, степень которого превышала психологический минимум, необходимый для простого поддержания знакомства.

«Он был чрезвычайно ласков, а когда он делался ласковым, то привлекал к себе неотразимо»³⁹, — свидетельствует Всеволод Соловьёв. В тесном интимном общении «проповедническое» могло успешно соседствовать с непритворным вниманием к собеседнику, с вхождением в мелкие и мельчайшие детали его жизненных забот (так с величайшим участием выслушивает он все подробности любовной истории Всеволода Соловьёва). Он — исповедник не только в общественных или «мировых» вопросах: к нему обращаются по сугубо частным, порой интимным поводам.

Он умеет не только говорить, но и слушать — в том случае, если собеседник ему интересен и если он желает к нему приглядеться. «Он всё время заставлял меня говорить, поощряя беспрестанно замечаниями: «Ах, как вы хорошо, образно рассказываете! Просто слушал бы, слушал без конца!»⁴⁰ — не без скрытой гордости сообщает Х.Д. Алчевская: почти жертвенное ликование сквозит

в тоне этой темпераментной поклонницы (правнучки молдавского господаря), когда она — может быть, несколько самонадеянно — повествует о том, что чувствовала себя во время разговора с писателем тщательно анализируемым объектом.

Его расположение к собеседнику может помимо прочего выражаться в усиленном угощении сладостями, до которых он сам большой охотник: королевским черносливом, свежей пастилой, виноградом, изюмом. Он любит потчевать гостя и не приступает к деловому разговору, не предложив сладостей, папирос, чаю (чем и удивляет явившуюся к нему *для работы* строгую Анну Григорьевну).

«Постойте, голубчик!» — часто говорил он, останавливаясь среди разговора... Это действительно особенно ласковое слово любят очень многие русские люди, но я до сих пор не знал никого, в чьих устах оно выходило бы таким душевным, таким милым...»⁴¹ — свидетельствует Всеволод Соловьёв.

Он, как мы уже сказали, непосредствен: на любительском спектакле у Штакеншнейдеров может прийти в «положительное восхищение», увидев Николая Николаевича Страхова в костюме испанского монаха: «Как он хорош! Bravo, Страхов! Вызывать Страхова!» Он сам готов принять участие в домашнем театре (причём непременно желает взять роль, требующую сильных страстей, — Отелло).

Он слушает музыку, и лицо его, по свидетельству украдкой наблюдающей за ним Микулич, кажется «таким добрым, простым и спокойным»⁴².

Поведение знаменитости можно прогнозировать с большей или меньшей степенью точности: человек, постоянно находящийся в «фокусе», вырабатывает какой-то определенный стереотип поведения.

В этом смысле Достоевский непредсказуем.

«Меня всегда поражало в нём, — говорит Штакеншнейдер, — что он вовсе не знает своей цены, поражала его скромность. Отсюда и происходила его чрезвычайная обидчивость, лучше сказать, какое-то вечное ожидание, что его сейчас могут обидеть. И он часто и видел обиду там, где другой человек, действительно ставящий себя высоко, и предполагать бы её не мог. Дерзости природной или благоприобретённой вследствие громких успехов и популярности в нём тоже не было, а, как говорю, минутами точно желчный шарик какой-то подкатывал ему к груди

и лопался, и он должен был выпустить эту желчь, хотя и боролся с нею всегда. Эта борьба выражалась на его лице, — я хорошо изучила его физиономию, часто с ним видаюсь. И, замечая особенную игру губ и какое-то виноватое выражение глаз, всегда знала, не что именно, но что-то злое воспоследует».

Это «злое» могло быть, впрочем, совершенно невинным. У замужней сестры Штакеншнейдер родился ребёнок (была ещё другая сестра — вдова, с которой Достоевский недавно повздорил). Естественно, что на очередной субботе это семейное событие горячо обсуждалось. «Достоевский молчал, сидя, по обыкновению, возле меня. Вдруг я вижу, что губы его заиграли, а глаза виновато на меня смотрят. Я сейчас догадалась, что подкатился шарик. Хотел его проглотить наш странный дедка, да, видно, не мог. «Это у вдовы-то родился ребёнок?» — тихо спросил он и виновато улыбнулся. «У нее, — говорю, — и видите: она ходит по комнате, а другая сестра моя, не вдова, лежит в постели, а рядом с нею ребёночек», — говорю я и смеюсь. Он видит, что сошло благополучно: и себя удовлетворил, и меня не рассердил и не обидел, — и тоже засмеялся, уже не виновато, а весело».

Пустяковая «бытовая» острота спасла положение. Правда, этой психологической разрядки могло и не последовать: «Иногда ему удавалось победить себя, проглотить желчь, но тогда он обыкновенно делался сумрачным, умолкал, был не в духе»⁴³.

Он крайне раздражителен, но он же — отходчив; более того: он — управляем, и такая умная и сердечная женщина, как Елена Андреевна, это отлично знает и тактично этим пользуется. «Наш странный дедка» (никто больше так не называет Достоевского!) — в этом совершенно домашнем определении стойкая душевная приязнь, которую Достоевский, конечно, не мог не чувствовать.

Он отходчив даже в тех случаях, когда дело касается «заветных убеждений»: сколь ни удивительно, но это так. Единственное условие — искренность собеседника и, естественно, некоторое к нему расположение.

«...Фёдор Михайлович, — замечает Страхов, — всегда поражал меня широкостью своих сочувствий, умением понимать различные и противоположные взгляды»⁴⁴. Признание Страхова звучит несколько неожиданно в свете известного представления об идейной нетерпимости Достоевского, однако оно находит подтверждение и в других источниках.

Он умеет извинять самые невозможные вещи при одном условии: если они произносятся друзьями.

В азарте спора его вечная оппонентка Анна Павловна Филоsofova (ее дочь вспоминает: «Они оба спорить абсолютно не умели, горячились, не слушали друг друга, и тенорок Фёдора Михайловича доходил до тамберликовских высот») может с досадой воскликнуть: «Ну и поздравляю вас, и сидите со своим «православным Богом»! И отлично!» — и Достоевский, вместо того чтобы смертельно оскорбиться, вдруг громко и добродушно рассмеялся: «Ах, Анна Павловна! и горячимся же мы с вами, точно юнцы!»⁴⁵

Но то, что прощалось Анне Павловне Филоsofoвой, не прощалось Ивану Сергеевичу Тургеневу.

Здесь необходимо вернуться в 1879 год.

Глава V

Три вечера в марте

Пророк — в своём отечестве

В феврале 1879 года Иван Сергеевич Тургенев прибыл в Москву по случаю смерти брата.

Он уже давно не жил в России, однако почти каждый год посещал её наездами. И каждый раз заставал перемены. Нынче эти перемены сделались особенно чувствительными. Они имели касательство не столько к внешнему течению жизни, сколько к её внутреннему строю, к тем неизменным на первый взгляд моментам существования, которые, сохранив свой обыкновенный образ, где-то в глубине дрогнули, тронулись, поддались.

Страна с огромным усилием выиграла (или, как говорили, «полувыиграла») войну: выручила Сербию, освободила Болгарию, прижала Оттоманскую империю к морю — и почти без борьбы уступила многие из своих побед — в Берлине, на конгрессе. Война не только не привела к внутреннему замирению, а скорее наоборот. Прошли первые большие политические процессы. Десятки людей были отправлены на каторгу.

Суд присяжных оправдал Веру Засулич. Кравчинский заколот Мезенцова. Через полтора месяца А. Соловьёв будет стрелять в государя.

Выросло новое поколение, которого Тургенев не знал, но которое хорошо помнило автора «Отцов и детей». Правда, споры 60-х годов отодвинулись в прошлое, старые распри позабылись, — и никому не приходило на ум вопрошать: что есть Базаров? Сами Базаровы уже успели стать «отцами»; «детей» занимали теперь совсем другие материи.

Для нового поколения имя автора «Записок охотника» звучало легендарно. Пророком в своём отечестве можно было стать, только его покинув.

...Неистовые овации огласили своды Московского университета, когда огромный, белоголовый, неуклюжий гость, опрокинув по дороге учебный экран, вошёл в физическую аудиторию. Москва приветствовала его как первостепенную знаменитость. В Петербурге восторги повторились с удвоенной силой.

Тургенев не ожидал ничего подобного: так его не встречали ни в один из приездов его в Россию. Что же изменилось?

Изменилось многое.

Зимой 1879 года уже полным ходом шёл тот процесс, который через год с небольшим достигнет своей кульминации на Пушкинском празднике, а ещё через год будет оборван двумя взрывами на Екатерининском канале.

Ещё из Парижа Тургенев писал М.М. Стасюлевичу: «Ну вот и мир заключен... Как-то мы разделаемся с наследием войны... и дождёмся ли другого наследия: представительных учреждений и т. п.»¹

Слово «конституция» не произносилось публично: она была «великим подразумеваемым». Ожидалось, что реформы 60-х годов получат наконец логическое завершение в скорейшем «увенчании здания».

Конституция, как *deus ex machina* (бог из машины), должна была разрешить все проблемы.

Тургенев приехал в горячее время. Автор «Записок охотника» являл собой известную общественную традицию: он, человек 40-х годов, стоял у истоков крестьянского освобождения; он слыл другом покойных Белинского и Герцена (широкая публика не знала всех тонкостей их взаимоотношений); он был старым, заслуженным либералом; на него косилась власть.

Вернувшись в Париж, Тургенев скажет Герману Лопатину: «Ведь я понимаю, что не меня чествуют, а что мною, как бревном, бьют в правительстве». — Тургенев красочным жестом показал, как это делается»².

Тургенев был не так уж не прав. Молодёжь, столь неожиданно и бурно обратившая свои симпатии на автора «Отцов и детей», менее всего думала в эту минуту о высоких красотах его гармонической прозы. Она видела перед собой одну из звёзд «рассеянной плеяды» 40-х годов, едва ли не единственную интеллигентную фигуру европейского масштаба. И «цвет» её представлялся на расстоянии значительно более радикальным, нежели он был на самом деле.

В 1879 году ни Толстой, ни Достоевский не пользовались такой громкой писательской славой, как Тургенев. По позднейшему замечанию С.А. Венгерова, бывшего свидетелем тургеневских триумфов, «публика и критика поняли впоследствии, что Толстой и Достоевский выше Тургенева, что Тургенев просто хороший писатель, а они оба гениальны»³.

Достоевский не любил Тургенева.

К «истории одной вражды»

Эта нелюбовь уходила своими корнями ещё в 40-е годы. Придя поначалу в восторг от остроумного и блестящего Тургенева, Достоевский очень скоро охладевает к своему новому знакомцу. Он никогда не мог забыть тех унижений, которые испытал от него в молодости: насмешек в глаза и за глаза, анекдотов, рассказы-ваемых в злоязычном литературном кругу, откровенно явленного превосходства.

После каторги отношения установились сдержанные и довольно ровные: горячий материал накапливался постепенно.

...Уже двенадцать лет как они были в ссоре. С того самого июльского дня 1867 года, когда в немецком городе Бадене Достоевский в последний раз посетил Тургенева и окончательно с ним «расплевался». Двадцатилетние отношения завершились полным разрывом.

Достоевский изобразил тогда эту сцену в подробнейшем письме А.Н. Майкову: автор «Дыма» ругает Россию и всё русское и хвалит немцев; в свою очередь автор «Преступления и наказания»

язвительно советует ему купить телескоп, дабы лучше видеть, что, собственно, происходит на отдалённой родине.

Нашёлся доброжелатель, переславший копию этого послания П.И. Бартенева, издателю недавно возникшего «Русского архива», — для сохранения и обнародования лет этак через двадцать — двадцать пять⁴. Узнав об этом «донесении потомству», Тургенев поспешил оправдаться, выбрав своим доверителем того же Бартенева.

В письме, предназначенном не столько его прямому адресату, сколько будущим потенциальным читателям, Тургенев со скромностью, тайно жаждущей возражений, замечал, что, хотя «в 1890 году и г-н Достоевский, и я — мы оба не будем обращать на себя внимания соотечественников», он тем не менее «почёл своей обязанностью теперь протестовать против подобного искажения моего образа мыслей». Далее автор письма приводил следующий неотразимый довод: он уже потому полагал бы неуместным выражать перед Достоевским свои душевные убеждения, что считает его «за человека, вследствие болезненных припадков и других причин не вполне обладающего собственными умственными способностями». «Впрочем, — добавлял Тургенев, — это мнение моё разделяется многими другими лицами»⁵.

Следует заметить, что корреспондент Бартенева несколько опережал события. Правда, эпилепсия Достоевского ни для кого не была секретом, да и сам он её отнюдь не стыдился, а даже любил при случае «выставлять» свой недуг (со смешанным чувством горести и гордости одновременно). Но перенесение признаков болезни с самого автора «Идиота» на его сочинения и (как в данном случае) на его общественное поведение станет печальным обычаем несколько позднее*.

...Они не встречались и не переписывались двенадцать лет. Правда, в марте 1877 года Тургенев дал рекомендательное письмо к Достоевскому некоему Эмилю Дюрану, составляющему в Париже «монографии» о русской словесности. «Я решился написать Вам это письмо, — заканчивал своё краткое послание Тургенев, — несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на мое мнение о Вашем первоклассном

* См. подробнее: *Игорь Волгин. Сага о Достоевских // Октябрь. 2009. № 1.*

таланте и о том высоком месте, которое Вы по праву занимаете в нашей литературе»⁶.

Это было великодушно: за человеком, не вполне обладающим «собственными умственными способностями», признавался талант.

Может быть, не лишено справедливости мнение, что Тургенев воспользовался подходящим предлогом для возобновления переписки и его письмо было осторожной попыткой наладить расторгнутую связь. Во всяком случае, это был жест. Неизвестно, отозвался ли Достоевский на это послание (скорее всего нет, так как оно по своей форме и не требовало обязательного ответа), но, во всяком случае, атмосфера возможной в будущем встречи была несколько умягчена*.

Встрече суждено было состояться 9 марта 1879 года.

Вечер первый

В зале петербургского Благородного собрания устраивался вечер в пользу Литературного фонда: подобные вечера пользовались наибольшим вниманием публики. «В программе был такой цветник имён писателей, — замечает современник, — что если бы вечер повторить трижды, то и тогда бы зал каждый раз был переполнен»⁷. Действительно, «цветник» оказался изрядным: Тургенев, Достоевский, Полонский, Плещеев, Салтыков-Щедрин...

Согласимся, что присутствие на литературном вечере трёх классиков одновременно всегда чревато осложнениями.

«Не обошлось и без маленького скандала, — подтверждает подобные опасения очевидец. — Когда Тургенев прошёл за занавес в комнату для чтецов, в коридоре он столкнулся со Щедрым и протянул ему руку; тот слегка взял её и отворотился. Достоевский сделал то же. «Здесь что-то холодно!» — заметил Тургенев своему спутнику и вышел из комнаты».

* Интересно, что спустя год, весной 1878-го, сам Тургенев, бывший семнадцать лет в ссоре с Л. Толстым, получил от него примирительное письмо (вызванное начавшимся у Толстого духовным переворотом), где он просто, без всякой дипломатии предлагает Тургеневу восстановить былые отношения. Тургенев немедленно отозвался на этот призыв.

Сдержанность Салтыкова понятна: у редактора «Отечественных записок» с Тургеневым свои счёты. Что касается Достоевского, то и у него, естественно, не было оснований для особых восторгов.

Во всяком случае, дипломатические формальности были соблюдены.

Весьма симпатизирующий Тургеневу мемуарист (Д.Н. Садовников) сообщает далее, что коллеги писателя правильно оценили его демарш «и после подходили к Тургеневу, заводя с ним разговоры о разной всячине»⁸. Публика, хотя и не ведала, что делается за кулисами, могла догадываться о некотором неблагополучии, ибо отношения Тургенева и Достоевского ни для кого не были тайной.

Кстати, один из присутствовавших в зале так пишет об этом «приискорбном случае»: «Тургенев подошёл к Достоевскому и протянул ему руку, Достоевский не подал ему руки и отвернулся».

Как видим, подлинный факт обрастает драматическими подробностями. «Впрочем... — добавляет мемуарист, — описанный случай прошёл не замеченным публикою, так как писатели встретились не в общей зале, где происходило чтение, а в одной из комнат, в которых посторонних почти не было, и я услышал о происшедшем от двух-трёх лиц, приехавших со мною после литературного чтения к Я.П. Полонскому»⁹.

Несмотря на некоторую «закулисную» напряжённость, вечер прошёл блистательно. Хмурый Салтыков с длинною бородой и одутловатым лицом «вяло-брюзгливым и монотонным голосом»¹⁰ читал отрывок из «Современной идиллии» — о том, как пришёл Глумов и сказал, что «надо погодить». И облик чтеца и сам его голос как нельзя более шли к мрачному колориту рассказа. «Я так и думал, — пишет Садовников, — что он в конце концов нетерпеливо крикнет: “Ну, чему обрадовались? Черти!”»¹¹

«Все переглядывались тогда с сумрачной, но удовлетворённой улыбкой, — свидетельствует другой воспоминатель. — Все понимали, что значит это глумовское “надо погодить”»¹².

Литературные чтения обретали важность политическую. В насыщенной электричеством атмосфере 1879 года слова проскакивали как гроззовые разряды. Щедринское «годить» или «не годить» обретало гамлетовский оттенок.

Салтыкова вызывали три раза.

Достоевский читал, как он это делал всегда, в начале второго отделения (он любил выходить на эстраду после антракта, когда зрители затихали, шуриша программами). В последнее время он стал чаще являться перед публикой. Однако это выступление было особенным. И не только потому, что присутствовал старый соперник. Имелась ещё одна причина — капитальнейшая.

Впервые публично читались «Братья Карамазовы».

Вокруг дебюта

Вот уже два месяца как роман печатался в «Русском вестнике». Мнение о нём ещё не установилось: толки ходили разные. Не последовало пока и обстоятельных печатных разборов. Правда, кое-какие суждения уже имелись.

Автор, скрывшийся под псевдонимом «Некто из толпы» (это была дама — Е.П. Свешникова), писал в «Кронштадтском вестнике»: «С такими писателями, как Достоевский, можно не соглашаться, но не уважать их нельзя, потому что они никогда не виляют, никогда ни на минуту не примыкают к многочисленным последователям известного: “с одной стороны, должно признаться, а с другой стороны, нельзя не согласиться”»¹³.

Из всех персонажей романа пока наибольшим вниманием рецензентов пользовалась «загадочная прелестница» — Грушенька. «Эта Грушенька, — замечает Скабичевский, — пока ещё скрывается в тумане, но на следующих страницах она не замедлит, конечно, предстать во всём своём блеске, окажется, без сомнения, в свою очередь маньячкой и тем не менее завлечет в свои обольстительные сети не только папеньку и сына его Дмитрия, но и остальных братьев, не исключая и набожного святошу Алексея...»¹⁴

Через несколько дней это суждение почти слово в слово повторит и «Некто из толпы»: когда Грушенька явится на сцену, тогда «в тихом, розовом Алёше наверно тоже скажется кровь Карамазовых»¹⁵.

Любопытно, что в этих первых газетных откликах как бы предвосхищена одна из версий продолжения «Братьев Карамазовых»: пробуждение в Алёше карамазовского начала, его роман с Грушенькой и т. д. Правда, никто из критиков не догадывается пока о другом возможном варианте: об Алёше, идущем на эшафот.

«Достоевский пишет романы не по шаблону, и угадать его мысль не так легко, как у людей, сочиняющих своих героев в кабинетах»¹⁶, — замечала «Газета А. Гатцука». «Его не все любят, им не увлекаются, — писал «Голос» 8 марта, то есть накануне интересующего нас вечера, — он редко доставляет чарующее наслаждение; но его все читают, он даёт наслаждение безжалостной правды даже в своих эксцентричностях...»¹⁷

Это была первая большая статья о «Карамазовых»: она не имела подписи¹⁸.

Как и следовало ожидать, большая либеральная газета оценивала новый роман более чем прохладно. ««Братья Карамазовы» производят очень странное впечатление, — писал безымянный рецензент. — Мы отбрасываем в сторону самое появление их в Москве, на страницах тенденциознейшего и несимпатичного журнала. Для беллетристов, как известно, нет отечества в смысле журнальных партий и направлений. Но именно в романе г. Достоевского... замечается тенденция. Из-за Достоевского-беллетриста — незаметно, быть может, для самого автора — сквозит Достоевский-публицист».

Это было старое, успевшее стать привычным обвинение. Но если раньше размежевание между художником и мыслителем проводилось, как правило, по жанровому принципу (так, всё «нехудожественное», что печаталось в «Дневнике писателя», упорно противопоставлялось «художественному» в романах), то теперь водораздел сооружался внутри самой романистики, где, по замечательному представлению критика, «беллетрист» и «публицист» поочередно менялись местами.

У автора «Карамазовых», продолжал *вчерашний* «Голос», «что ни образованный человек, то или негодяй, или психически больной»¹⁹. Сим намекалось на авторскую подозрительность по отношению именно к той публике, которая ныне собралась в зале.

Не было никакой уверенности, что аудитория отнесётся к новому роману одобрительно.

Автор мог бы действовать наверняка: прочитав что-нибудь из старого, уже апробированного, пользовавшегося стойким эстрадным успехом. «Накануне этого вечера, — вспоминает Анна Павловна Философова, — я виделась с Достоевским и умоляла его прочитать исповедь Мармеладова из «Преступления и наказания». Он сделал хитрые, хитрые глаза и сказал мне:

- А я вам прочту лучше этого.
- Что? Что?— приставала я.
- Не скажу»²⁰.

Вечер первый. Продолжение

Он выбрал для чтения главу «Исповедь горячего сердца»: первый большой разговор братьев — Дмитрия и Алёши, рассказ Мити о том, как к нему «сама пришла» Катерина Ивановна — просить для отца четыре тысячи — и что между ними произошло.

Все, кому довелось видеть Достоевского на эстраде, отмечают его «несценичность»: небольшой рост, мешковатость, отсутствие импозантности. Он не обладал тем, что принято называть актёрским обаянием. Вдобавок ко всему у него был слабый голос, часто прерываемый сухим кашлем (эмфизема лёгких и непрерывное курение давали себя знать).

«Начал он вяло и скучно: речь шла о такой чертовщине в полном смысле слова, что я невольно подумал: «Вот человек... какой-то апокалипсис объясняет»²¹ — так передаёт своё первое впечатление весьма не расположенный к Достоевскому Садовников. По-видимому, он не был одинок. Другой очевидец (В.В. Тимофеева) так описывает происходящее: «Мне представлялось, как будто слушатели, бывшие в зале, сначала не понимали, что он читал им, и перешёптывались между собою:

— Маниак!.. юродивый!.. Станный...

А голос Достоевского с напряжённым и страстным волнением покрывал этот шёпот...

— Пусть странно! пусть хоть в юродстве! Но пусть не умирает великая мысль!»²²

Если Тургенев являлся перед публикой, заведомо к нему расположенной (когда он вошёл в залу, вспоминает А.П. Философова, «все как один человек встали и поклонились королю ума»²³), готовой благодарно отозваться на каждое его слово, то для Достоевского ситуация была иной: дружественные чувства мешались с явным недоверием и настороженностью.

Ему приходилось переламывать настроение зала.

«Но когда дело дошло до признания Дмитрия Карамазова, всё разом переменялось. Публика замерла. Болезненная глубина чувства этого сладострастника была так художественно-правдиво

передана автором, что я ничего подобного не слышивал. Манера читать прозу, стихи (в этой сцене Дмитрий декламирует Шиллера и Гёте. — *И. В.*)... трепет голосового органа... какая-то характерная торопливость на самом драматическом месте — неподражаемы»²⁴.

Это пишет тот же Садовников. Он лишь передаёт общее ощущение, подтверждаемое и другими слушателями: «Не я одна — весь зал был взволнован. Я помню, как нервно вздрагивал и вздыхал сидевший подле меня незнакомый мне молодой человек, как он краснел и бледнел, судорожно встряхивая головой и сжимая пальцы, как бы с трудом удерживая их от невольных рукоплесканий».

Рукоплескания всё же загремели — ещё до конца чтения. Они «как будто разбудили Достоевского. Он вздрогнул и с минуту неподвижно оставался на месте, не отрывая глаз от рукописи. Но рукоплескания становились всё громче, всё продолжительнее. Тогда он поднялся... и, сделав общий поклон, опять стал читать»²⁵.

«Такого чтения я не слышал никогда, ни прежде, ни потом, — говорит ещё один очевидец. — Это было не чтение, не актёрская игра, а сама жизнь, — большой эпилептический бред»²⁶. (Кажется, в первый и последний раз та самая формула («эпилептический бред»), которую без зазрения совести прилагали к автору «Карамазовых» желавшие *обругать* его критики, употреблена в качестве *комплимента*.)

Теперь А.П. Философова уже не жалела, что он не исполнил её просьбы. «Боже, как у меня билось сердце... Я думаю, и все замерли... Мы все рыдали, все были преисполнены каким-то нравственным восторгом. Всю ночь я не могла заснуть, и когда на другой день пришёл Фёдор Михайлович, так и бросилась к нему на шею и горько заплакала.

— Хорошо было? — спрашивает он растроганным голосом. — И мне было хорошо, — добавил он»²⁷.

Это была победа. Новый роман, только начатый, ещё «дымящийся», получал первое признание.

«Когда он кончил, — пишет К.П. Ободовский, — все были ошеломлены. С полминуты длилось молчание, и затем гром аплодисментов, не смолкавший $\frac{1}{4}$ часа, потряс залу»²⁸.

Его вызывали пять раз.

Чему радовался Страхов?

В чём же причины этого небывалого успеха? В личности ли самого чтеца, которая, конечно, оказывала колоссальное воздействие на аудиторию, в художественных ли достоинствах произносимого вслух текста или ещё в чём-то неназванном, но смутно сознаваемом? Разумеется, эстетический эффект был сам по себе достаточно впечатляющ. Но, видимо, не только он решал дело. В конце концов, у Достоевского были и другие романы — со страницами не менее сильными, и он читал их с эстрады, но никогда прежде не добивался ничего подобного.

«В нашей вялой форменной жизни, — писал «Голос», — так редки выражения общественных чувств и общественной мысли, что те овации, которые происходили вчера на этом вечере, казались чем-то необычайным. Они производили освежающее впечатление...»²⁹

Дело было во времени.

Отзывчивая ко всякому духовному движению русская публика 1879 года чутко улавливала в бытовых и любовных линиях нового романа тот самый подспудный «мировой» смысл, который входил в плоть и кровь поколения, в состав самой жизни, споткнувшейся в своём мерном течении и поставившей, как любил говорить Достоевский, вопрос «у стены»: что дальше? «И вдруг, — пишет Тимофеева, — всё в нас чудодейственно изменилось: мы вдруг почувствовали, что не только не надо нам «погодить», но именно нельзя медлить ни на минуту...»³⁰

Немало удивился бы Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, если бы вдруг узнал, что то, о чём он мрачно повествовал с эстрады, каким-то странным образом «замыкалось» на новый роман его давнего идейного оппонента. Но именно так восприняли это слушатели. Время как бы сокупило смыслы, обретавшиеся вдали друг от друга, и устремило их к общему — пусть отдалённому — горизонту. Сиюминутное, насущно необходимое и «конечное», общемировое естественно входило в единый круг жизни, не противоборствуя, но перекликаясь между собой.

К «ненормальным» карамазовским разговорам начинали жадно прислушиваться.

И хотя Тургенева, мастерски прочитавшего «Бурмистра», приняли не менее восторженно, его успех имел совсем иной характер. В Тургеневе чттили прошлое (да и сам рассказ, выбранный им для

чтения, был почти тридцатилетней давности); его чествовали как славную, но уже отчасти «музейную» национальную реликвию.

В Достоевском — угадывали будущее.

Вечер 9 марта сделался событием. И Николай Николаевич Страхов, аккуратно извещавший Л. Толстого о новостях столичной жизни, не преминул отметить это обстоятельство. «И здесь, и в Москве очень много возились с Тургеневым, — пишет он 11 марта в Ясную Поляну. — Третьего дня было литературное чтение, и меня порадовало, что публика встретила Достоевского с таким же восторгом, как Тургенева, — Салтыкову же хлопали очень мало»³¹.

О том же спустя месяц Страхов пишет А. А. Фету: «У нас здесь восхищались Тургеневым и Достоевским. Вы, верно, читали описание этих неслыханных торжеств. Достоевский в первый раз получил овации, которые поставили его наряду с Тургеневым. Он очень рад»³².

Но вот вопрос: рад ли сам Страхов? Вернее, радуется ли он за Достоевского? Об их отношениях речь впереди. Здесь же заметим, что Страхову неплохо удавалось скрывать глубоко затаённую неприязнь к своему давнему приятелю. Недаром Микулич, сумевшая, как мы помним, несмотря на свои юные годы, подметить глубокий контраст между Страховым и Достоевским, тут же преспокойнейшим образом замечает: «Елена Андреевна (Штакеншнейдер. — И. В.) очень любила Достоевского и благоговела перед его умом и талантом. Но, сколько мне помнится, только она да Страхов так любили его»³³.

Елена Андреевна действительно любила автора «Карамазовых»: об этом убедительно свидетельствуют её дневниковые и мемуарные записи. Страхов, будучи сам человеком умным и тонким, остро восприимчивым к чужой одарённости, конечно же, понимал, *что́ есть* Достоевский. Однако *любить* его он не мог (о чём в свою очередь свидетельствуют как его воспоминания, так и печально знаменитый к ним комментарий — письмо Толстому от 28 ноября 1883 года). Не исключено, правда, что порою он пытался себя *заставить* (борясь, по его собственным словам, с подымавшимся в нём отвращением), но — безуспешно.

Перед Толстым можно было «обнажиться» — и он признаётся ему (в том же письме от 11 марта, где он *радуется*, что публика горячо встретила Достоевского): «Я Тургенева и Достоевского — простите меня — не считаю людьми, но Вы — человек...»³⁴

Чему же тогда радуется Страхов? Да только тому, что Достоевский получил перевес против Салтыкова и равенство с Тургеневым как представитель известного направления. Для него существенно лишь то, что разъединяет Достоевского с Тургеневым и Салтыковым, и он знать не хочет ничего о том, что сближает всех троих в глазах рукоплещущего зала.

Эта тяга к сближению, продиктованная не столько доводами рассудка, сколько мощным общественным инстинктом, будет прокладывать себе дорогу через бурные перипетии 1879—1880 годов, чтобы явить всю силу и всё своё бессилие в упоительные дни пушкинских торжеств. Но это произойдёт ещё не скоро. А пока овации петербургской публики не в состоянии заглушить того «неверного звука», который неизбежно должен был возникнуть при сопряжении в одном жизненном круге таких диссонирующих величин, как Тургенев и Достоевский.

Скандал разразился через три дня.

Вечер второй (тургеневский обед)

Через три дня состоялся традиционный литературный обед. Литературные обеды вошли в моду совсем недавно. «Припоминаю, — пишет Анна Григорьевна, — что в начале 1878 года Фёдор Михайлович бывал на обедах, которые устраивались каждый месяц Обществом литераторов в разных ресторанах: у Бореля, в «Малоярославце» и др... Здесь Фёдор Михайлович встречался со своими самыми заклятыми литературными врагами. За зиму (1878 года) Фёдор Михайлович побывал на этих обедах раза четыре и всегда возвращался с них очень возбуждённым и с интересом рассказывал мне о своих неожиданных встречах и знакомствах»³⁵.

Возбуждение Достоевского понятно: встреча с литературным врагом (тем паче «заклятым») всегда вызывает известный душевный подъём.

Натурально, обеды устраивались не с этой целью: они имели в виду соединить — хотя бы за пиршественным столом — разрозненные культурные силы. «Обеденная территория» должна была являться в этом смысле ничейной землёй.

Местом встречи был избран ресторан Бореля на Большой Морской.

На сей раз застолье сильно отличалось от ежемесячных трапез, устраиваемых петербургскими литераторами в своём достаточно узком кругу. Прежде всего — чрезвычайным многолюдством: присутствовало более ста человек. Помимо известных и менее известных представителей изящной словесности и сотрудников столичной прессы здесь наличествовали артисты императорских театров, университетские профессора, адвокаты, художники и т. д. И без того пёструю картину завершала одна хорошенькая натурщица, поражавшая более солидную публику своим легкомысленным античным нарядом: после обеда предполагались «живые картины».

Не было Салтыкова-Щедрина. «Говорить ли, — замечает по этому поводу А.С. Суворин, — что «Отеч. Записки» блистали своим отсутствием?»³⁶

Итак, литературный и учёный Петербург чествовал Тургенева. Список ораторов (а их было более двадцати!) выглядел внушительно: ректор Петербургского университета Бекетов, писатели Потехин и Григорович, академик Грот, профессора Кавелин и Сухомлинов, историк Костомаров, издатель «Недели» Гайдебуров (он же — распорядитель обеда), оба Градовских (профессор и публицист) и, наконец, такие светила русского суда, как Таганцев и Спасович.

Это был цвет либеральной интеллигенции.

Сам виновник торжества, как свидетельствует портрет, набросанный наивной, но доброжелательной кистью, выглядел превосходно: «То же румяное, полное, здоровое лицо, те же осмысленные, анализирующие глаза, та же медленная... походка, те же густые и нежные патриархальные седины, великолепно убирающие всю его круглую голову — голову колосса, поддерживающего целый храм...» — в этом описании звучат почти гомеровские метры.

«Немедленно после супа, — повествует добросовестный хроникёр, — началось сигнальное бряцание бокалов и тарелок»³⁷. Это был призыв к тишине. Молодой и мало кому известный Л. Оболенский (будущий издатель «Мысли» и «Русского богатства») приветствовал гостя весьма двусмысленными стихами:

Ты не забыт ни юностью родной,
Ни русской женщиной, ни прессой,
Хотя давно живёшь в стране чужой
Вдали от «роз» российского прогресса.

По свидетельству автора этих стихов, поначалу Тургенев «прикрыл глаза рукой, как бы смутясь от неловкости вступления, но к концу его лицо прояснилось...»³⁸.

Громогласный и представительный Григорович заявил, что, только щадя скромность Тургенева, он умолчит о том, что делал последний «для многих своих товарищей, увлекаемый добротой сердца». Желая сказать *красиво*, оратор выразился довольно рискованно. «Если, — припомнил он одно давнее сравнение, — поставить Тургенева против окна и раздеть его, — он будет светиться как кусок хрусталя — так чист он нравственно между нами»³⁹.

Спасович также превознёс виновника торжества, однако о прочем отозвался мрачно: «На часах нашей общественной жизни стоит час полуночный, пора всяких искушений, соблазнов и падений».

Тургенев счёл необходимым чуть позже мягко поправить оратора, заметив, что «там нет ночи, где есть Лев Толстой, Гончаров, Достоевский, Писемский»⁴⁰.

Достоевский был упомянут ещё единожды — в спиче несколько разгорячённого обедом Валериана Панаева, которого, впрочем, мало кто слушал. «Я вижу, — старался перекрыть общий шум Панаев, — сидящими рядом с Иваном Сергеевичем, с одной стороны г. Кавелина, а с другой — г. Григоровича, а там, дальше, я вижу г. Достоевского; позвольте предложить тост в честь этих замечательных литературных деятелей сороковых годов»⁴¹.

Достоевский действительно сидел «там дальше»; в отличие от большинства присутствовавших, он был во фраке.

Разумеется, бесполезно искать его имя в списке ораторов. До поры до времени он предпочитал помалкивать.

До поры до времени*.

Скандал с разных точек зрения

«Тургеневский обед, — свидетельствует хроникёр, — за исключением одного эпизода, о котором лучше умолчать, вышел

* Достоевский, очевидно, был на обеде один — без супруги. Ю.Д. Засецкая пишет Анне Григорьевне 14 марта 1879 года: «Надеюсь, что вы скоро поправитесь, при такой погоде трудно быть здоровой»⁴². Скорее всего Анна Григорьевна отсутствовала по нездоровью. Кто знает, будь она на обеде, может быть, события приняли бы менее драматический оборот.

радушным и торжественным праздником всей петербургской интеллигенции»⁴³.

О каком же эпизоде (дабы не омрачать общего светлого впечатления) желает умолчать восторженный летописец тургеневских торжеств? Хотя сам эпизод известен, существует несколько отличающихся друг от друга версий. Остановимся пока на одной из них — самой *литературной*.

Эта версия изложена в воспоминаниях Г.К. Градовского, появившихся в 1904 году, то есть через четверть века после описываемых событий. Градовский излагает ответную речь Тургенева (в которой, по его словам, было упомянуто о необходимости «увенчать здание») и далее пишет: «Взрыв рукоплесканий покрыл слова писателя; но громче их раздался шипящий, желчный возглас Ф.М. Достоевского. Он подскочил к Тургеневу с трудно передаваемой раздражительностью и злобно кричал:

— Повторите, повторите, что вы хотели сказать, разъясните прямо, чего вы добиваетесь, что хотите навязать России!..

Тургенев отшатнулся, выпрямился во весь свой рост, подавлявший небольшого и тщедушного Достоевского, и развёл руками тем жестом, которым выражают глубочайшее недоумение и негодование.

— Что я хотел сказать, то сказал... Надеюсь, все меня поняли... А на ваш *допрос*, хотя бы и с пристрастием, отвечать не обязан!

Таков был ответ Тургенева. «Поняли, поняли!» — раздались голоса... Многие были возмущены неуместной выходкой Достоевского, и все были огорчены плохой развязкой тургеневского чествования»⁴⁴.

Сцена впечатляющая. Набросанная пером в своё время очень популярного публициста, она полна «эффектных» художественных подробностей: маленький, тщедушный, злобно шипящий Достоевский, словно моська на слона, бросается на автора «Записок охотника», явно подавляющего его своим физическим и моральным превосходством.

Во внутреннем обозрении апрельской (1879 года) книжки «Вестника Европы» тургеневскому обеду тоже уделено достаточно большое место. Судя по всему, текст принадлежит человеку, на обеде присутствовавшему. Имя Достоевского прямо не упомянуто, но сделанный намёк более чем прозрачен.

«Даже самый этот эпизод, — пишет «Вестник Европы», — послужил новым поводом к одушевлённой демонстрации со сто-

роны огромного большинства представителей печати против лиц, неискусно взявшихся за неблагодарное дело — подвергнуть искусу Тургенева: «Скажите же теперь, — заключал один оратор своё обращение к нему, — какой же ваш идеал? Говорите!» — и, не дождавшись ответа, отвернулся и пошёл прочь... Тургенев успел дать ответ, но этот ответ мог быть только виден находившимся вблизи, так как ответ был без слов: Тургенев опустил низко голову и развёл руками. Правда, что тут ничего и не оставалось, как развести руками; но общество было менее терпеливо, и со всех сторон раздались восклицания, обращённые к Тургеневу: «Не говорите! знаем!» Чей-то голос попытался было взять сторону того оратора: «Нет, вы не знаете!» — но был заглушён новыми восклицаниями».

Далее автор добавляет, что Тургенев промолчал «по той же причине, по которой, например, ему трудно было бы решиться на издание своего «Дневника писателя» в подражание г-ну Достоевскому, — хотя, по нашему мнению, Тургенева удерживает от этой счастливой мысли вовсе не то, чтобы он мог опасаться неуспеха»⁴⁵. Таким образом, имя Достоевского всё-таки всплывает (после чего «расшифровка» эпизода уже не составляла для искушённого российского читателя особого труда).

Здесь интересны три момента. Во-первых, как можно понять из текста, вопрос, заданный Достоевским, «заключал» собой более или менее пространное обращение его к Тургеневу. Но скорее всего именование автора вопроса «оратором» — не более чем риторическая фигура. Во-вторых, Достоевский спрашивал Тургенева *об идеале*. И в-третьих, выясняется, что Тургенев ограничился ответом чисто мимическим, так что тирада, вложенная Градовским в его уста, — плод его позднейшего воображения.

Можно привести два аргумента в пользу достоверности изложенного в «Вестнике Европы»: 1) эпизод передан сразу по горячим следам и 2) «Вестник Европы» — орган, наиболее близкий Тургеневу, и не приходится сомневаться, что некоторые подробности (или по крайней мере их «редактура») исходят от него самого.

До сих пор свидетельство «Вестника Европы» считалось единственным упоминанием «обеденного инцидента» в русской периодической печати. Действительно, в петербургских газетах за ближайшие после 13 марта дни о нём не говорится ни слова. Ничего не сообщает об инциденте и газета «Новости». Но

не сообщает лишь в своих первых отчётах. 18 марта в газете появляется статья «Вчера и сегодня. Чествование «человека сороковых годов» г.г. учёными и литераторами». В этой статье, подписанной псевдонимом Коломенский Кандид (В.О. Михневич), инциденту уделено некоторое внимание.

«Речь Ивана Сергеевича, — пишут «Новости», — произвела целую бурю; все встали из-за стола и с бокалами в руках бросились к нему с выражением приветствий... Но и здесь дело не обошлось без «оригинального эпизода»».

Далее излагается сам эпизод.

«Среди общего одушевления к Ивану Сергеевичу подошёл Фёдор Михайлович Достоевский и со строгим, почти негодующим лицом поставил ему вопросный пункт: что такое и в чём заключается провозглашённый им идеал? Г. Достоевский настойчиво требовал сейчас же дать ему на сей пункт обстоятельное «показание»; но эта странная и неуместная выходка была встречена всеобщим протестом»⁴⁶.

Такова картина, нарисованная Коломенским Кандидом и в общем совпадающая с версией «Вестника Европы». Однако в идеологической ретроспективе инцидент приобретает *зловещий* характер, а через четверть века обрастает затейливыми художественными деталями.

Исторической памяти не противопоставлено воображение: желательно только, чтобы и оно было историчным.

«...Какой же ваш идеал?..»

Во всех источниках, запечатлевших прискорбный случай на тургеневском обеде, подчёркивается возмущение присутствовавших. Их нетрудно понять. Но попытаемся понять и Достоевского.

Для этого прежде всего следует обратиться к тексту самой тургеневской речи.

Автограф речи неизвестен, хотя он несомненно был, ибо Тургенев говорил по написанному⁴⁷. Через день речь появилась в «Молве», а затем была перепечатана другими изданиями.

В своём умеренном по тону, искусно сбалансированном застольном слове Тургенев заявил, что «есть, наконец, идеал не отдалённый и не туманный, а определённый, осуществимый и, может быть, близкий... Мне не для чего указывать более

настойчивым образом на этот идеал, — продолжал Тургенев, — он понятен вам и в литературе, и в науке, и в общественной жизни»⁴⁸.

Вопрос Достоевского — «Скажите, какой же ваш идеал?» — скорее всего обращён именно к этому месту речи.

Справедлив ли автор вопроса, ставя его столь категорично?

В силу объективных причин Тургенев был вынужден изъясняться намёками. Он в данном случае поступал так же, как и сам Достоевский, который тоже не смог бы полностью обозначить *свой* идеал. Идеология Тургенева не могла быть выражена в обеденном тосте, равно как идеология Достоевского — в «вопросных пунктах» к этому тосту: их взгляды — в полном объёме — неотделимы от контекста всего их творчества.

...Слухи о том, что произошло в зале ресторана Бореля, быстро распространились по Петербургу. 18 марта генерал А.А. Киреев записывает в дневнике: «На днях на большом обеде, данном Тургеневу представителями литературы, он произнёс тост за те идеалы, которым сочувствует молодое поколение; Достоевский к нему обратился с вопросом: «Что это за идеалы?» Присутствовавшие не дали Тургеневу ответить: «Мы знаем, мы понимаем...» Потом Тургенев сказал Достоевскому, что дело шло о конституции!..»⁴⁹

Если верить Кирееву, между Тургеневым и Достоевским позднее состоялось какое-то *объяснение*. Что, впрочем, маловероятно.

Такова видимая сторона, внешний рисунок инцидента, случившегося на тургеневском обеде. Но, может быть, дело обстоит не столь просто и здесь присутствовали ещё иные, скрытые причины? Что побудило Достоевского публично совершить этот действительно бестактный во всех отношениях поступок?

Два ряда тесно соотнесённых между собой и в конце концов сходящихся факторов помогают понять поведение Достоевского: ряд, так сказать, литературно-психологический (более или менее интимный) и ряд мирозерцательный, идейный. Остановимся пока на последнем.

Идеал Тургенева — конституционная монархия, монархия умеренно-либеральная, ограниченная рядом представительных учреждений. Достоевский — последовательный противник конституции в её «тургеневском» понимании, противник буржуазных парламентских институтов, противник европейского конституционализма. Если исходить из этих *формальных* признаков,

автор «Дневника писателя» оказывается гораздо правее Тургенева: позиция последнего с точки зрения общественного прогресса куда предпочтительнее.

Но тут мы сталкиваемся с одним из глубочайших парадоксов Достоевского. Его историческая концепция абсолютно не поддаётся прочтению (или читается не так), если применять к ней «обычные» социологические критерии. Ибо «социология» Достоевского не выносит ни малейшей формализации: она не только самобытна и личностна, но — и это главное — предполагает решительный выход из той системы идеологических координат, в которых привычно вращалась русская либеральная мысль.

Нам уже приходилось говорить, что идеология Достоевского не есть случайное и хаотичное нагромождение парадоксов (когда магическим, столь удобным в идейном пользовании словом «противоречие» можно объяснить всё что угодно), а определённая система, иными словами — обладающий собственными закономерностями *единый идейный парадокс*.

Истоки этого парадокса таятся в глубинах русской истории, в «странном», уклончивом и скачкообразном движении русского общественного сознания.

Если исходить всё из тех же формальных признаков, «антиконституционалист» Достоевский оказывается в одном ряду с такими деятелями, как Катков и Победоносцев: во всяком случае, внешне это выглядит именно так. Но как только от взгляда «в первом приближении» мы попытаемся перейти к более объёмным сопоставлениям, это видимое сходство мгновенно поколеблется.

Существует глубокая черта между отношением к власти (светской и духовной) Победоносцева и Каткова, с одной стороны, и Достоевского — с другой. Для первых любое ограничение самодержавия есть посягновение на *принцип*, ущерб и умаление власти как таковой. Самодержавие необходимо для охранения самого себя, *для самосохранения*, для поддержания своего внешнего авторитета, для удержания в повиновении и подавлении всего того, что могло бы эту власть разрушить.

Все эти «государственные» мотивы начисто отсутствуют у Достоевского. Поразительно, но факт: его концепция самодержавия неразрывнейшим образом связана с идеей народной свободы.

В своём некрологе-воспоминании А.С. Суворин писал: «У нас, по его мнению, возможна полная свобода, такая свобода, какой

нигде нет, и всё это без всяких революций, ограничений, договоров. Полная свобода совести, печати, сходов, и он прибавлял: “полная”»⁵⁰.

На первый взгляд свидетельство Суворина представляется невероятным. Однако оно находит сильнейшее подтверждение у самого Достоевского. «Свободы истинной, а не номинальной! К черту республику, если она деспотизм!»⁵¹ — записывает он в 1874 году.

Свобода — главный критерий, который Достоевский прилагает к своему идеалу монархии. Причём свобода в смысле всеобъемлющем, почти глобальном, и уж во всяком случае намного превышающая те отдельные, специальные «свободы», которые может гарантировать «обычная» либеральная монархия.

Это одна из самых «фантастических» идей Достоевского. Речь у него идёт не о том, что есть, а о том, что должно быть, что подразумевается в «высшем смысле».

Последний шанс

И Пушкин в «Стансах», и Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», и Достоевский в своём «Дневнике писателя» создают, по сути дела, некий идеализированный *образ* монарха, имеющий мало общего с реальными представителями русского императорства.

Но, «передоверяя» самым косным историческим институтам свою радикальнейшую этическую программу, Достоевский тем самым ставит их дальнейшее существование в тесную зависимость от способности воплотить эту программу в жизнь.

Это не что иное, как ещё одна утопическая, обречённая на неудачу попытка «идейного опекунства» над властью — традиция, восходящая ещё к Пушкину и его кругу⁵² и завершённая в Достоевском. Это последняя (в русской литературе) попытка такого рода.

Самодержавию даётся последний шанс.

Реальный ход русской истории сыграл злую шутку с подобными представлениями. К началу XX столетия российское самодержавие успело скомпрометировать себя буквально по всем линиям: в политическом, экономическом, военном и нравственном отношении.

Но в 70-е годы XIX столетия царизм ещё пользовался определённым моральным кредитом. Пропасть между ним и громадным большинством нации ещё не представлялась столь зияющей. Недавно проведённое освобождение «сверху» открывало, по мысли Достоевского, великую возможность безреволюционного выхода из исторического тупика.

Его «фантастическая идея» соединяет в себе вещи органически несовместимые: самодержавие выступает как орудие нравственного переворота. Переворот этот должен не только способствовать обретению гражданских прав, но и повести к максимальной духовной раскрепощённости⁵³. Абсолютная монархия становится гарантом абсолютной свободы.

В сложившиеся и малоподвижные исторические формы вносятся внеисторическое нравственное содержание. Революционное по своему типу мышление вдруг «замыкается» на полуазиатскую государственную формулу; безоглядный порыв в будущее захватывает «по пути» древние атрибуты ничем не ограниченного единодержавия; упором для решительного исторического прыжка служит именно то, что более всего этому прыжку препятствует.

Здесь можно, пожалуй, провести одну аналогию.

В мировой «теоретической практике» уже встречалось нечто подобное. Это тот случай, когда вольный полёт «выточенной как бритва» диалектики заземляется на узком и достаточно «вытоптанном» историческом пяточке. Это мощная игра гегелевского «абсолютного духа», находящего своё завершение в скучном идеале скучной прусской монархии (тут уместно вспомнить карамазовского чёрта, мечтающего «окончательно» воплотиться в какую-нибудь семипудовую купчиху).

Концепция Достоевского на первый взгляд — такой же исторический монстр, как и «государственная философия» Гегеля. Однако в отличие от гегелевских категорий эту систему ценностей вряд ли можно считать итогом тщательных рационалистических построений. Она строится на совсем иных основаниях.

В мире Достоевского происходит то, что можно было бы определить как «эстетизацию идеологии». Ни одно понятие не выступает у него в своём «чистом» идеологическом виде. Всё претерпевает некую художественную трансформацию, становится если не образом, то знаком, символом образа. Конечно, мы имеем дело с сильным и самобытным мыслителем; однако мыслитель этот мыслит прежде всего как художник.

В этой системе представлений такие понятия, как «народ», «свобода», «самодержавие» и т. п., выступают не в своём прямом (исторически определённом) значении, а обретают некий «дополнительный» художественный смысл.

На тургеневском обеде столкнулись два типа мироощущения.

Тургенев, говоря об идеале, имел в виду конституцию, то есть формальный законодательный акт, дарующий образованному обществу известные политические права. Для Достоевского обретение политических привилегий *только* «образованным меньшинством» являлось бы посягновением на будущую свободу основного состава нации («серых зипунов»), который «конституция» вовсе не принимает в расчёт как самостоятельную национальную силу. Он против конституции не потому, что она может ограничить самодержавие, а потому, что она «ограничивает» народ, выключая его из реальной исторической жизни.

«Конституция, — записывает он в последней тетради. — Да вы будете представлять интересы нашего общества, но уж совсем не народа. Закрепостите вы его опять! Пушек на него будете выпрашивать!»⁵⁴

Пушки против народа — вот что означает для Достоевского победа буржуазного парламентаризма. Такое представительство не есть народное дело, это дело «белых жилетов», стоящих над народом и не имеющих с ним ничего общего.

«А что, коль из белых жилетов выйдет лишь одна говорильня? — спрашивает он в последнем «Дневнике писателя». — ...Мы, дескать, только одни и можем совет сказать, скажут они, а те, остальные (то есть вся-то земля), пусть и тем довольны будут, что мы, образуя их, будем их постепенно возносить до себя и «поучим народ его правам и обязанностям» (это они-то собираются поучать народ его правам и, главное, — обязанностям! Ах шалуны!)»⁵⁵.

В 1906 году, к двадцатипятилетней годовщине со дня смерти Достоевского, В.Ф. Пуцыкович опубликовал в одной берлинской газете свои воспоминания. По его словам, говоря о «нашем будущем национальном представительстве», Достоевский разумел «наши земские соборы или что-нибудь несколько обновлённое, то есть вроде зарождающейся теперь Государственной думы»⁵⁶.

В 1906 году Виктору Феофиловичу Пуцыковичу было шестьдесят три года. Переживший свой век консервативный публицист

(из второго эшелона русских охранителей), он тоже принимает посильное участие в дележе великого наследства.

Но «вольный пересказ» не совпадает с текстом.

Что же предлагает Достоевский? Может быть, сохранить status quo, отказаться от каких бы то ни было решений, то есть, изъясняясь слогом князя В.П. Мещерского, поставить точку к реформам или — что то же, — по крылатому выражению Константина Леонтьева, «подморозить Россию»? Или же действительно, как полагает Пуцыкович, созвать для уврачевания отечественных скорбей нечто вроде Первой Государственной думы?

То, что предлагает Достоевский, не имеет с этими проектами ничего общего.

«Увенчание снизу»

Он пишет: «Вот и начали все кричать об увенчании здания, забыв, что и здания-то ещё никакого не выведено, что и венчать-то, стало быть, совсем нечего... если уж и начать его (увенчание. — *И. В.*), гораздо пригоднее начать прямо снизу, с армяка и лаптя, а не с белого жилета»⁵⁷.

Говоря об «увенчании здания» (этот эвфемизм заменял обычно неудобопроизносимое слово «конституция»), Достоевский повторяет именно ту формулу, которую, согласно некоторым мемуарным источникам, употребил в своей речи Тургенев.

Его собственные предложения простираются гораздо дальше. Участникам тургеневского обеда не приходило в голову подвергать сомнению само здание, то есть всю систему русской государственности. Достоевский же поступает именно так.

Он верен себе: отстаивающая консервативные начала русской жизни, его программа радикальна по своей нравственной сути. Она предполагает национальное строение, основанное на прямом и непосредственном народопрорвстве как первом шаге к осуществлению безгосударственного идеала («Церкви»).

«...Есть одно магическое словцо, — говорит автор «Дневника писателя», — именно: «Оказать доверие». Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все в первый раз, может быть, услышим настоящую правду»⁵⁸.

Народ — альфа и омега всей историософии Достоевского. «У нас либеральнее (чем завершение здания), — отмечает он в подготовительных записях к последнему «Дневнику». — У нас прежде всего народ спросить, и только народ»⁵⁹.

Здесь за скобками оказывается не одна либеральная интеллигенция: за скобками остаются все дворянство, чиновничество, центральная и местная бюрократия и, наконец, духовенство. Иными словами, в совете «всей земли» не участвует ни один из «надстроечных» элементов государства.

Русский царь, невысказанный без «обставляющих» его и исполняющих его волю государственных институтов, остаётся с народом лицом к лицу.

Но в этом случае так ли необходим он сам?

Для Достоевского подобный вопрос прозвучал бы кощунственно. Но если исходить из его собственных представлений, то в этой системе одно звено «невольно» оказывается лишним: как раз то, которое, по мысли автора «Дневника писателя», скрепляет всё.

Лишнее звено

Это «звено» — носитель верховной государственной власти. То есть именно тот, на кого Достоевский делает ставку, пожалуй не меньшую, чем на народ. Царь — «отец», народ — «дети», и если так, то только царь, и никто другой, способен оградить интересы народа и его свободу от посягательств сил, народу чуждых и враждебных: от притязаний аристократии, всеисилия бюрократии и корыстолюбия буржуазии.

Русский абсолютизм становится гарантом русского народоправства: царь выступает в союзе с народом — против его исконных врагов.

Но «очищенный», изъятый из своей собственной социальной стихии самодержавный монарх (лишённый к тому же «привычных» рычагов управления) превращается в миф, абстракцию, нонсенс.

Излишне было бы говорить об идеализации Достоевским исторической природы самодержавия: это очевидно. Но столь же очевидно, что отчаянная попытка привить формы самой крайней, «сверхгосударственной» демократии к многовековой практике

российского абсолютизма не могла не вызвать у автора этой идеи сильнейшие нравственные затруднения.

«Я, как и Пушкин, слуга царю, потому что дети его, народ его, не погнушаются слугой царевым, — заносится в последнюю тетрадь и добавляется: — Еще больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит»⁶⁰. «Что-то очень уж долго не верит» — эта сердитая, нетерпеливая, не предназначенная для «чужих» обмолвка выдаёт не только авторский темперамент, но и некоторое авторское разочарование в стратегии «верхов».

«Ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит...» Служение предполагается не безоговорочное, но на известных условиях. А если не поверит? Достоевский старается об этом не думать — в данном вопросе он как бы заставляет себя стать на народную (исключительно) точку зрения: «Он (народ. — *И. В.*) не понимает, как монарх может его бояться, а поэтому не дать ему всей возможной гражданской свободы»⁶¹.

Этого не желает понимать и сам Достоевский. Он как бы вменяет себе «массовый» (по его мнению) взгляд на носителя верховной власти и прилагает поистине титанические усилия, чтобы интегрировать, «вписать» абсолютного монарха в свою историческую утопию⁶².

Но, повторяем, это звено оказывается лишним.

Ибо если следовать внутренней логике того самого миропорядка, о котором печётся Достоевский, то в нём не остаётся места для русского самодержца. У общества, в котором на деле осуществлена полная духовная солидарность, нет необходимости в отделённом от него самого и вознесённом над ним носителе религиозного или национального духа.

Более того: если бы когда-нибудь российское самодержавие вздумало провести в жизнь ту этико-историческую программу, которую «передоверяет» ему Достоевский, это повело бы к его немедленному самоуничтожению. Историческая государственность была бы взорвана изнутри «внеисторическим» нравственным идеалом.

«Скажите теперь, какой ваш идеал?» — вопрошал он Тургенева, и «Вестник Европы» не без остроумия комментировал, что это — «пародия на великую историческую сцену: «Рцы убо нам, достойно ли есть дати кинсон кесареви или ни» (то есть: «Скажи нам, можно ли или нет давать подать кесарю». — *И. В.*) — с при-

соединением к фарисейству мимики Пилата, задавшего вопрос и не дождавшегося ответа»⁶³.

Но справедливо ли обвинять Достоевского в своего рода идейном провокаторстве, если его вопрос носил заведомо риторический характер и был обращён не только к Тургеневу, а ко всей либеральной партии, причём без всякой надежды на убедительный ответ?

Да и что мог ответить Достоевскому Тургенев, если бы даже и захотел? Он лишь развёл руками: этот молчаливый жест означал, что они говорят на разных языках.

Изучение мотивов

«Хорош Достоевский! — восклицал Анненков в письме к Стасюлевичу. — Не распознал у Тургенева идеалов и пожелал на обеде его выставить его пунцовым драконом, каковые китайцы пишут на своих знамёнах... А между тем люди эти (Достоевский и Салтыков. — *И. В.*) не Авсеенки и Маркевичи и, несомненно, высокие таланты и честные деятели»⁶⁴.

Достоевский упомянут рядом с Салтыковым: за обоими признаётся «честность», хотя оба не любят Тургенева (это Анненкову перенести трудно!). Автор письма не задумывается над тем, что и у Салтыкова и у Достоевского — при всей разности политических убеждений — могут существовать какие-то сходные мотивы в их неприязни к автору «Дыма».

И всё-таки: почему Достоевский задал свой вопрос, почему он решился на этот бестактный выпад, который — а он не мог этого не предвидеть — неминуемо должен был повлечь публичный скандал и поставить вопрошавшего в положение двусмысленное и неловкое? Почему он всё-таки сорвался?

Позволим высказать предположение, что этот рискованный шаг был прежде всего неожидан для самого Достоевского. Его вопрос — не рассчитанный и заранее взвешенный тактический ход, не тщательно выверенная (как, скажем, речь того же Тургенева) общественная акция, а чистая импровизация, импульсивный порыв, эмоциональная реакция на происходящее.

Если бы Достоевский промолчал, он не был бы Достоевским.

«Общее чувство негодования... было так сильно, — вспоминает Венгеров, — что он должен был оправдываться и говорить: «Я ведь Тургенева очень ценю, я даже явился на обед во фраке...»⁶⁵

В этих наивных и, думается, искренних оправданиях («ценю» ещё не значит «люблю!») — тоже весь Достоевский. Он всё-таки явился на чествование своего давнего врага, он, по-видимому, хотел быть сдержанным и «политичным», он даже постарался подчеркнуть своё отношение к виновнику торжества «формой одежды». Он честно пытался соблюсти все правила дипломатического (обеденного) этикета, но — «нет жеста», как не было его в молодости. И — сорвался: фрак не помог.

Конечно, идейные причины сыграли в этом эпизоде первенствующую роль. Но был здесь и своеобразный катализатор, ускоривший развязку: личное недоброжелательство (которое в конечном счёте тоже имело общественную подоплёку).

В том самом письме 1867 года, где излагается история размовки с Тургеневым, Достоевский замечает: «Не люблю тоже его аристократически-фарсерское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет Вам свою щёку. Генеральство ужасное...»⁶⁶

Вскоре после 13 марта 1879 года Л. Оболенский (тот самый, который на обеде приветствовал виновника торжества стихами) посетил Тургенева. Он так передаёт свои впечатления: «Барин, чистокровный русский старый барин... Мне не понравилась даже его наружность, в которой нельзя было уловить никакого выражения, кроме вежливости, любезности, и только. Что он чувствовал, что он думал, это оставалось тайной. Его вопросы о литературе, о новых её течениях были как-то мимолётны, в них не чувствовалось живого, глубокого интереса к русской жизни, как будто он был или совершенно равнодушен к этой жизни, или уверен, что её знает вполне...»⁶⁷

Подобный тип поведения диаметрально противоположен поведенческим принципам Достоевского, не знающего усреднённо-вежливой, условно-безличной манеры общения.

Достоевский, как уже говорилось, не любил Тургенева.

Здесь не место останавливаться на «истории одной вражды», которая едва ли не началась в 1845 году пламенной дружбой. Затронем только один момент.

Достоевский не может принять Тургенева, помимо прочего, ещё и потому, что остро ощущает двойственность его общественного положения. Он записывает в 1875 году — «для себя»: «Вы продали имение и выбрались за границу, тотчас же как вообразили, что что-то страшное будет. «Записки охотника» и крепостное право, а вилла в Баден-Бадене на чьи деньги, как не на крепостные, выстроена?»⁶⁸

Запись злая и во многом несправедливая. Но в ней зафиксировано одно из главных обвинений — не столько даже в адрес самого Тургенева, сколько — людей его социального круга, обвинение, которое будет неоднократно повторено Достоевским в его публицистике и переписке.

Этот упрёк обращён ко всему русскому дворянству: отъезд на крестьянские деньги за границу (обычное явление после 1861 года) под угрозой, «что что-то страшное будет», — этот отъезд равносителен эмиграции внутренней, духовной. Разрыв между либеральной (в значительной части помещичьей) интеллигенцией и народом тем более трагичен, что одна из сторон, по мнению Достоевского, склонна рассматривать другую лишь в качестве объекта для своих небескорыстных экспериментов.

Впрочем, он полагает, что этот грех лежит на всей интеллигенции в целом.

«Анекдот этот верен»

В черновых записях к седьмой книге «Братьев Карамазовых» слегка обозначен один мотив, который внешне никак не сказался в окончательном тексте. Автор набрасывает краткий и на первый взгляд не вполне понятный диалог.

« — Да народ не захочет. Сем<инарист>: “Устранить народ”».

«Семинарист» — это, конечно, Ракитин. Его собеседник — Алёша Карамазов. Через несколько страниц мотив возникает вновь.

«Алёша:

— Да этого народ не позволит (как следует из контекста, речь идёт об упразднении религии. — *И. В.*).

— Что ж, — истребить народ, сократить его, молчать его заставить. Потому что европейское просвещение выше народа... (помолчал).

— Нет, видно, крепостное-то право не исчезло, — промолвил Алёша»⁶⁹.

Комментаторы Полного (академического) собрания сочинений Достоевского полагают, что «суждение Ракитина — перелицовка идей В. Зайцева»⁷⁰. Это допустимо, хотя и не очень убедительно: вряд ли Достоевский текстуально помнил рецензию Варфоломея Зайцева, напечатанную в «Русском слове» шестнадцать лет назад (в ней, кстати, нет слов об «уничтожении народа»).

Никто не заметил того, что сам Достоевский вполне определённо указывает другой источник.

В единственном за 1880 год выпуске «Дневника писателя» он пишет: «Этого народ не позволит», — сказал по одному поводу, года два назад, один собеседник одному ярому западнику. — «Так уничтожить народ!» — ответил западник спокойно и величаво. И был он не кто-нибудь, а один из представителей нашей интеллигенции. Анекдот этот верен»⁷¹.

«Один собеседник — по одному поводу — одному ярому западнику» — эта задача с несколькими неизвестными тем меньше поддаётся решению, что её автор не оставил ни единого намёка, могущего хоть как-то помочь нам в этом деле.

И всё же попробуем разобраться.

Во-первых, следует обратить внимание на последнюю фразу. «Анекдот этот верен» — подобная категоричность как будто свидетельствует о том, что «анекдот» приведён не понаслышке: можно предположить, что автор лично при сём присутствовал. И тогда есть основания полагать, что «один собеседник» — это сам Достоевский. Но кто же тогда второй — «ярый западник»?

...Лето 1876 года Достоевский проводит в Эмсе, на водах. Его письма полны жалоб на скуку, отсутствие знакомых из России, одиночество. Поэтому случайная встреча с Григорием Захаровичем Елисеевым (одним из редакторов и обозревателем внутренних дел «Отечественных записок») и его женой (они первыми подошли к автору «Подростка», недавно опубликованного на страницах некрасовского журнала) отмечается в письме Анне Григорьевне как некоторое событие. «Впрочем, — добавляет Достоевский, — не думаю, чтоб я с ними сошёлся: старый «отрицатель» ничему не верит, на всё вопросы и споры, и, главное, совершенно семинарское самодовольство свысока. Жена его тоже, должно быть, какая-нибудь поповна, но из разряда новых, «передовых» женщин, отрицательниц»⁷².

Остановимся сначала на жене.

Относительно её происхождения Достоевский ошибался. Екатерина Павловна Елисеева (урождённая Гофштеттер) происходила из семьи потомственных военных. По свидетельству хорошо знавшего её Скабичевского, «это была женщина невысокого роста, худощавая, крайне нервная, экспансивная, юркая и подвижная, как ртуть. Вечно она с кем-нибудь горячо спорила, в ажиотации спора начинала заикаться, что не мешало сыпаться

из её уст речам как горох из мешка»⁷³. М.А. Антонович в свою очередь отзывается об её «интеллигентном уровне» скептически⁷⁴.

Теперь обратимся к мужу.

Известно, что при создании образа Ракитина автор «Карамзовых» использовал отдельные сюжеты биографии Г.З. Елисеева. Однако это ещё не даёт основания приписывать «прототипу» ракитинскую фразу о народе.

Но вернёмся к 1876 году. Отношения с четой Елисеевых складываются неровно. «Сегодня я Елисеевых на водах не встретил, — сообщает Достоевский. — Не рассердился ль он на меня за то, что я вчера кольнул семинаристов. Жена же его на меня положительно осердилась: она заспорила со мной о существовании Бога, а я ей между прочим сказал, что она повторяет только мысли своего мужа. Это её рассердило очень»⁷⁵.

Разговоры ведутся с обоими супругами — на достаточно серьёзные темы и в достаточно острой форме. От вопроса о существовании Божьем вполне естественно перейти к рассуждению о том, чего «не позволит народ», — в соответствии с общим смыслом интересующей нас записи.

«Семинарист», «семинаристы» — настойчиво именуется Достоевский супругов Елисеевых. Семинаризм в данном случае черта социально-психологическая. Намерения «семинаристов» относительно народа — всегда под подозрением. «Но может ли семинарист, — записывает он в том же, 1876 году (несколькими месяцами ранее), — быть демократом, даже если б захотел того?»⁷⁶

Вскоре отношения с четой Елисеевых портятся вконец. «Елисеевы, кажется, на меня рассердились и сторонятся. Дряннейшие казённые либералишки и расстроили даже мне нервы. Сами лезут, и встречаются поминутно, и третируют меня, вроде как бы наблюдая осторожность: «Не замараться бы об его ретроградство». Самолюбивейшие твари, особенно она, казённая книжка с либеральными правилами: «Ах, что он говорит, ах, что он защищает...»⁷⁷

Заметим, что главным оппонентом Достоевского выступает не столько сам Елисеев, сколько его экспансивная и, как сейчас бы выразились, боевитая супруга.

В воспоминаниях Суворина есть одно глухое и до сих пор не разгаданное указание. Автор воспоминаний передаёт слова Достоевского о его «литературных врагах»: «Они думали, что я погиб, написав «Бесов», что репутация моя навек похоронена,

что я создал нечто ретроградное. Z (он назвал известного писателя), встретив меня за границей, чуть не отвернулся»⁷⁸.

Подозреваем, что не названный Сувориным по имени Z — всё тот же Г.З. Елисеев. И вот почему.

Во-первых, после написания «Бесов» Достоевский бывал за границей один, без Анны Григорьевны. В своих письмах к ней он подробнейшим образом излагает все детали своей небогатой происшестввиями жизни. И уж конечно, такое событие, как встреча с «известным писателем», не осталось бы неотмеченным.

Между тем в эпистолярных циклах Достоевского, связанных с его пребыванием за границей (после 1873 года), кроме Елисеева (а он по тем временам — довольно крупная литературная фигура), не упоминается ни одного писательского имени, которое могло бы быть подставлено на место таинственного Z.

И во-вторых. Выражение Достоевского «чуть не отвернулся» — как раз подходит к Елисееву (вернее, к Елисеевым). Ведь они, с одной стороны, «сами лезут и встречаются поминутно», но с другой — «сторонятся», «третируют... как бы наблюдая осторожность» и т. д. В разговоре с Сувориным такое двусмысленное (или кажущееся Достоевскому таковым) поведение могло быть обобщено: «чуть не отвернулся».

И всё-таки все эти косвенные «улики» не дают достаточных оснований для окончательного приговора.

Так кто же желает «уничтожить народ»?

Однако существует ещё один источник, на который, если мы не ошибаемся, вообще отсутствуют ссылки в работах о Достоевском. Речь идёт о записках забытого ныне литератора графа де Воллана. Автор записок следующим образом передаёт один из своих разговоров с писателем.

«Заговорили сначала о противоречии, в которое впали наши прогрессисты, отрицая народное славянское движение. «Они не любят народ, — сказал Достоевский, — они отрицают его и готовы уничтожить». Всё это он говорил шёпотом, таинственно, как будто в комнате находился больной. «Мы уничтожим народ, — говорит редактор «Отечественных записок» (?)»⁷⁹.

Немыслимо представить, чтобы кто-либо из редакторов «Отечественных записок» (Салтыков, Михайловский или Елисеев)

всерьёз высказал подобную глупость (тем более вопиющую в устах руководителей *народнического* журнала). Вместе с тем слова, столь поразившие Достоевского, очевидно, были произнесены. Но кем и в при каких обстоятельствах?

Конечно, подозрение прежде всего падает на Елисеевых — на них обоих, хотя *она*, понятное дело, вовсе не редактор «Отечественных записок». Но, как явствует из писем Достоевского, именно Екатерина Павловна выступает в качестве главной «ударной силы», именно она затевает идейные споры, и против неё в первую очередь направлен его раздражительный гнев⁸⁰.

Можно предположить, что именно Елисеева в полемическом задоре «брякнула» пресловутую фразу — возможно, в присутствии мужа. Позднее у Достоевского мог произойти сдвиг памяти — и фраза была переадресована «самому» Елисееву. (Это тем вероятнее, что, как отмечалось в его письме, «она повторяет только мысли своего мужа».)

Возможен и иной вариант. А именно — что фраза была всё-таки произнесена Г.З. Елисеевым — разумеется, в виде не очень удачной шутки. Конечно, подобная — «зайцевского типа» — острота не имела шансов понравиться Достоевскому. Однако тогда он воспринял её именно как шутку. Но время могло сместить акценты — забылся иронический контекст, осталась одна «голая мысль», лишённая сопутствующей интонации.

Характерно, что именно как шутку расценили этот «анекдот» современники. «Анекдот, может быть, верен, — откликнулся «Вестник Европы», — как верно то, что есть на свете очень глупые люди; нам сомнительно одно, чтобы это мог быть «представитель» интеллигенции... Признаемся, нам сомнительно, чтобы даже *шушера* могла высказать мысль об «уничтожении народа». Не было ли это сказано г. Достоевскому на смех?»

Было рискованно так шутить с Достоевским. Но ещё неосмотрительнее было приводить эту шутку в печати. «Словом, уши вянут»⁸¹, — заключал «Вестник Европы».

Для чего же понадобилось обнародовать этот «анекдот» автору «Дневника писателя»? Он оставляет под подозрением внутренние мотивы русского либерального движения: оно, по его мнению, в первую очередь преследует свои собственные, узкокорпоративные цели. И в иных случаях для достижения этих целей народ мог бы представлять помеху, пожалуй не меньшую, чем самодержавие. Тезис об «уничтожении народа» обретает в устах Досто-

евского некий художественно-метафорический смысл — как предельное заострение ситуации (и в этом отношении он равнозначен таким собирательным художественным формулам, как «кровь по совести», «человек из бумажки», «возвращение билета» и т. д.).

Разумеется, никто из участников тургеневского обеда не позволил бы себе сомнительных острот насчёт «уничтожения народа». Однако мысль об его — хотя бы временном, «до срока» — устранении из будущей политической жизни (мысль, в которой никто не признался бы публично) иным из них не показалась бы невозможной.

Когда Павел Васильевич Анненков говорит, что Достоевский захотел выставить Тургенева «пунцовым драконом», он не вполне прав. Здесь скорее присутствовало стремление показать, что никакого «дракона», собственно, нет, а есть старые, хорошо известные либеральные пожелания.

Сама речь Тургенева давала основание для подобных оценок. Предлагаемая им программа была не только лояльна по отношению к существующей власти, но — по своему «радикализму» — просто несоизмерима с глобальными утопиями Достоевского.

«Правительственные силы, — сказал Тургенев, — которые заправляют, и должны заправлять, судьбами нашего отечества, могут ещё скорее и точнее, чем мы сами, оценить всё значение и весь смысл настоящего — скажу прямо: исторического — мгновения. От них, от этих сил, зависит, чтобы все сыновья нашей великой семьи слились в одно деятельное единоедушное служение России — той России, какую её создала история, создало то прошедшее, к которому должно правильно и мирно примкнуть будущее»⁸².

Разумеется, в этих словах не было ничего «пунцового» (скорее Достоевского могло раздражить упоминание о «правительственных силах», под которыми можно было бы разуместь не только верховную власть, но и правящую бюрократию).

И уж конечно, то, о чём говорил Тургенев, не имело ничего общего с программой и направлением «Отечественных записок»: там никогда не считали, что именно «правительственные силы... должны заправлять судьбами нашего отечества».

Но для Достоевского и либералы, и демократы одним миром мазаны. В его представлении «профессора» и «семинаристы» суть выкоремыши одной идейной стихии и главное, что их объ-

единяет, — это полнейшее непонимание сокровенной (нравственной) сути народа. Русский интеллигентный слой, по его мнению, не есть народная интеллигенция: отсюда сугубое недоверие к тем конституционным формам, при которых парламентские учреждения могут обратиться в органы корпоративного представительства.

«Заговор, — сказано в последней тетради. — Научатся у лаптей, как вести себя, говоря царю правду, тогда как теперь... *в заговор против народа* (обратится ваше увенчание здания)»⁸³.

Интеллигенция должна учиться «у лаптей», как вести себя с властью. Точнее, все сословия должны пройти школу народного представительства: социальным педагогом в подобной школе должен быть сам народ.

Последнее слово

10 марта 1881 года — через несколько дней после убийства народовольцами Александра II — Исполнительный комитет «Народной воли» обратился с письмом к новому императору.

«Заявляем торжественно, перед лицом родной страны и всего мира, — говорилось в письме Александру III, — что наша партия с своей стороны безусловно подчинится решению Народного Собрания...»⁸⁴

Итак, «Народная воля» полагалась на волю Народного собрания: это программа-минимум революционной партии.

Но нечто схожее предлагает и Достоевский: это тоже его программа-минимум.

С одной лишь разницей.

Для авторов письма Александру III созыв Народного собрания явился бы *началом* русской революции (или, во всяком случае, мощного революционного процесса). Для Достоевского такой созыв означает её *конец*.

«И так плодотворно будет обучение, — записывает он, — сколько перебегут, как осиротеют доктринёры, вся молодёжь от них отшатнётся, даже взрыватели отшатнутся и примкнут к русской правде»⁸⁵.

Одно и то же решение — предлагаемое «взрывателями» и предлагаемое Достоевским — должно, по мысли авторов, повести к результатам прямо противоположным.

Это трагедия русского общественного сознания, ибо понятие «народ» и в той и в другой формуле остаётся величиной неизвестной.

Есть и ещё одно отличие. В письме «Народной воли» Собрание мыслится как всесословное. Достоевский же предлагает «позвать» *только* «серые зипуны». Но значит ли это, что он исключает интеллигенцию из будущей политической жизни?

Вовсе нет. Он говорит, что после «серых зипунов» «и их слово плодотворно будет, ибо они всё же ведь интеллигенты и последнее слово за ними»⁸⁶.

Это чрезвычайно важное заявление. «Схема» Достоевского такова: первое слово говорит народ; интеллигенция учится у народа, и лишь *после* такой учёбы она произносит своё окончательное суждение.

Он убеждён, что в этом случае оба слова совпадут.

Нужно только одно: «оказать доверие». То есть сделать именно то, на что решиться самодержавие органически неспособно.

Так замыкался ещё один круг, разомкнуть который он был не в силах.

Может быть, в глубине души он сознавал это. Но всё же не желал отказываться от своей надежды. Он хочет верить (и это, пожалуй, самое любопытное!), что русская революция склонится перед изъявлением народной воли: «взрыватели» примкнут к «русской правде».

Кто же останется?

«Останутся только старые доктринёры, отжившие свой срок, колпаки и либералы сороковых и пятидесятих годов»⁸⁷.

Иными словами, русская революция ближе к «русской правде» (то есть нравственному решению), чем верящие в «механические успокоения» (конституцию) русские либералы. Они — вне народа.

Поэтому в осторожных тургеневских иносказаниях Достоевский усмотрел ещё одну (подкреплённую талантом и отсюда вдвойне соблазнительную) попытку действовать *против* народа: требование обозначить идеал как раз и имело целью подчеркнуть его отсутствие⁸⁸.

Такова в основных чертах идеологическая подоплёка «обеденного инцидента» 1879 года. Однако его нельзя понять до конца, не сделав ещё поправку на причины чисто психологические, на некоторые аспекты самой личности Достоевского.

Спрашивается: насколько типичен для Достоевского предпринятый им демарш и имелись ли какие-либо непосредственные «местные» причины, сделавшие его возможным?

Афронт в благородных домах

В своих воспоминаниях известный русский экономист профессор И.И. Янжул приводит следующий эпизод. Автор воспоминаний попросил Гайдебурова (дело происходило в его доме) познакомить его с писателем. «К сожалению, мой невольный порыв, — пишет Янжул, — встречен был Достоевским более нежели холодно, почему-то ему не понравилось звание профессора, которое прибавил при моей рекомендации Гайдебуров».

За столом общая беседа коснулась предметов совершенно невинных — собирания грибов и разведения овощей, в чём Янжул выказал себя большим знатоком. «Как вдруг раздался резкий, несколько визгливый голос Ф.М. Достоевского с другого конца стола... “Профессор, а профессор! — воскликнул он, хотя ему хозяин и назвал моё имя с отчеством! — Скажите, зачем вы занимаетесь в деревне скучным огородничеством, когда гораздо веселей и приятней садоводство?”

Иван Иванович Янжул кротко и с достоинством изъяснил причины, долженствующие показать, почему он этим не занимается (ограниченность профессорского жалования и отдалённость получения желаемых плодов). “Ну вот и неправда, — выстрелил Достоевский, — есть сорта яблонь, которые в два-три года дают фрукты... Напрасно, напрасно, попробуйте!..” — и все это говорилось самым раздражительным, злым тоном. Присутствующие переглянулись, а Шелгунов со свойственной ему прямоотой, несколько не стесняясь и глядя в глаза Достоевского, заметил мне полусмеясь: “Ну, что, как вам нравятся, Иван Иванович, наши знаменитые писатели, не правда ли, мы их очень избаловали, давая возможность говорить всё, что придёт им в голову?!” Хозяин Гайдебуров умоляющим образом взглянул на Н.В. Шелгунова...»⁸⁹

Очевидно одно: Достоевский почему-то невзлюбил Янжула. Но только ли это обстоятельство послужило причиной для его «антизастольных» выходов?

Прежде чем ответить на последний вопрос, остановимся на другом случае, «по типу» совершенно аналогичном предыдущему (его приводит в своих воспоминаниях Л. Оболенский).

На одном из ежемесячных литературных обедов (на сей раз не тургеневском, а рядовом) Н.С. Курочкин (поэт и врач, брат редактора «Искры» В.С. Курочкина) завёл речь о жизнеспособности талантливых людей и, в частности, сослался на Салтыкова-Щедрина, у которого, по его словам, в молодости был порок сердца: другой с такой болезнью давно бы умер.

«Вдруг (этим «вдруг» начинаются все эпизоды подобного рода. — *И. В.*) Достоевский с криком и почти с пеной у рта набросился на Курочкина. Трудно даже было понять его мысль и причину гнева. Он кричал, что современные врачи и физиологи перепутали все понятия! Что сердце не есть комок мускулов и т. д. и т. п. Курочкин пытался возразить покойно, что он говорил только о «сердце» в анатомическом смысле, но Достоевский не унимался. Тогда Курочкин пожал плечами и замолчал: примолкли и все окружающие, с тревогой смотря на великого романиста, который, как известно, страдал падучей болезнью. Его раздражение могло кончиться припадком, а это было бы, конечно, весьма мучительно для обедавших»⁹⁰.

Для обедавших это действительно было бы неприятно. Правда, следует сказать, что опасения Оболенского в отношении медицинском не вполне основательны. Обычно Достоевский заранее чувствовал приближение припадков (хотя бывали и внезапные). Едва ли не единственный «публичный» приступ эпилепсии случился с ним в начале 1867 года, когда он вместе с молодой женой делал свадебные визиты. А.Г. Достоевская объясняет это «чрезмерным возбуждением, которое было вызвано шампанским», и добавляет: «Вино чрезвычайно вредно действовало на Фёдора Михайловича, и он никогда его не пил»⁹¹.

Надо полагать, что и в данном случае вино было ни при чём.

Застольный «диспут о сердце» коснулся вещей, которые могли показаться нейтральными кому угодно, только не Достоевскому. Он всегда отличался поразительной способностью идти вглубь — от первого очевидного ряда к более значительному и общему, от «слезинки ребёнка» — к вопросам мирового порядка. Разговор, затеянный Курочкиным, для Достоевского только предлог, чтобы выйти на свои любимые темы — обличить «образованных» современников в легкомудности и верхоглядстве, в *механиче-*

ском подходе к человеку («тайне!»), в несерьёзности их отношения к жизни.

Сердце для Достоевского не только анатомический орган, но понятие метафизическое.

Всеволод Соловьёв приводит ещё один подобный случай.

Однажды вечером, когда Достоевский посетил Вс. Соловьёва, к жене хозяина приехали две дамы, «которые, конечно, читали Достоевского, но не имели о нём никакого понятия как о человеке, которые не знали, что невозможно обращать внимания на его странности».

«Когда раздался звонок их, — продолжает Вс. Соловьёв, — он только что ещё осматривался и был ужасен; появление незнакомых лиц его ещё больше раздражило. Мне, однако, кой-как удалось увести его к себе в кабинет и там успокоить. Дело, по-видимому, обошлось благополучно; мы мирно беседовали. Он уж улыбался и не находил, что всё не на месте. Но вот пришло время вечернего чая, и жена моя, вместо того чтобы прислать его прямо к нам в кабинет, вошла сама и спросила: где мы желаем пить чай — в кабинете или в столовой?»

— Зачем же здесь! — раздражительно обратился к ней Достоевский. — Что это вы меня прячете? Нет, я пойду туда, к вам.

Дело было окончательно испорчено. И смех и горе!.. Нужно было видеть, каким олицетворением мрака вошёл он в столовую, как страшно поглядывал он на не повинных ни в чем дам, которые продолжали свою веселую беседу, нисколько не заботясь о том, что можно при нём говорить и чего нельзя.

Он сидел, смотрел, молчал, и только в каждом его жесте, в каждом новом позвякиванье его ложки об стакан я видел несомненные признаки грозы, которая вот-вот сейчас разразится. Не помню, по поводу чего одна из приехавших дам спросила, где такое Гутуевский остров.

— А вы давно живёте в Петербурге? — вдруг мрачно выговорил Достоевский, обращаясь к ней.

— Я постоянно здесь живу, я здешняя уроженка.

— И не знаете, где Гутуевский остров!.. Прекрасно! Это только у нас и возможно подобное отношение к окружающему... Как это человек всю жизнь живёт и не знает того места, где живёт!..»

Что говорить, такой посетитель — не подарок для хозяина. Он, если воспользоваться стихом Дениса Давыдова, бьёт в гостиных не «в маленький набатик», а в большой набат. Такой звук трудно-

переносим, ибо не соизмеряет свои возможности ни с домашним пространством, ни со слухом окружающих. И в данном случае возмущение Достоевского («он раздражался больше и больше и кончил целым обвинительным актом»⁹²) вызвано, конечно, причинами более существенными, чем «топографический идиотизм» действительно ни в чем не повинных петербургских дам. «Гутуевский остров» — только символ, образ того, что, живя в России, можно вовсе не знать этой России (даже географически, ибо «извозчики довезут»), зловещее (хотя и на бытовом уровне) свидетельство отрыва образованного общества от отечественных корней.

Так; но чем всё-таки виноваты огородничество и садоводство?

Они, как думается, ни при чём. Ибо следует помнить, где, когда и при каких обстоятельствах происходит действие.

Да, он может, когда «подкатит шарик», съехидничать в гостинной Штакеншнейдер; может быть нелюбезным, мрачным, дуться на гостей, говорить дерзости. Может на обычный вопрос о здоровье ответить А.П. Философовой: «Вам какое дело, вы разве доктор?»* — и спорить до хрипоты с той же Анной Павловной о «православном Боге». Но в этих *своих* домах он не злопамятен и отходчив: съязвив, сразу добреет и «как ни в чём не бывало» шутит со своей недавней жертвой. Не умеет он только одного: «быть высокомерным и выказывать высокомерие...».

По контрасту Штакеншнейдер вспоминает о «мастере высокомерия» — Тургеневе, который отнюдь не грубил женщинам, «но самым молчанием способен был довести человека до желанья провалиться сквозь землю». Мемуаристка приводит случай, когда на вечере у Я.П. Полонского, в присутствии «развитых» молодых людей, Тургенев весь вечер изводил некоего богача-железнодорожника «надменностью и брезгливостью», чтобы «показаться» перед молодёжью. Как выяснилось, в Париже, «где нет «развитых» молодых людей, Тургенев целые дни проводит у этого богача-железнодорожника. Таких тонкостей в обращении, — добавляет Штакеншнейдер, — что в одном месте надо

* По свидетельству Анны Григорьевны, «он чрезвычайно не любил вопросов о здоровье не только от чужих, но даже и от близких»⁹³. Не потому ли, что в традиционном риторическом построении этого вопроса (как и в вопросах типа «как дела?» или «что новенького?») присутствует момент формализации, подменяющий подлинный интерес и выхолащивающий живую теплоту отношений?

с человеком обращаться так, а в другом иначе, и одного можно обрывать, а другого нельзя, Достоевский совсем не знал»⁹⁴.

Он абсолютно не умеет играть: при всех обстоятельствах он остаётся самим собой.

Но то, что вполне могло бы сойти у своих — Философовой, С.А. Толстой, Штакеншнейдеров, — в ином месте и при иных обстоятельствах вдруг обращается в неуместную демонстрацию, идейный выпад (и даже, по словам Г. Градовского, в «допрос»). Виновник скандала не принимает негласных правил общественной игры, не делает «поправку на публику» и, естественно, выламывается из ряда.

И тут самое время заняться публикой: именно она в немалой мере способствовала тому, что произошло на тургеневском обеде.

Увы, это так.

К вопросу о публике

Вспомним: где главным образом происходят у Достоевского его, казалось бы, совершенно беспричинные вспышки? В *литературном* доме Гайдебурова; на рядовом и экстраординарном *литературных* обедах и т. д.

Это та среда, в которой Достоевский никогда не чувствует себя свободно. И дело не только в том, что здесь собираются сливки столичной интеллигенции, чьи политические симпатии глубоко чужды автору «Карамазовых». Дело ещё в его писательском положении, в его общественной репутации.

Когда Л. Оболенский пишет о том, что «все окружающие с трепетом смотрели на *великого* романиста», он говорит это из будущего, то есть из того времени, когда создавались его воспоминания. В конце 70-х годов нашлось бы не так много людей, которые отважились бы назвать автора «Бесов» «великим романистом». Никто, конечно, не отрицал его таланта: однако носитель этого таланта находится под общественным подозрением.

Особенно — в кругу литературно обедающих.

Этот круг вынужден терпеть Достоевского: не столько из-за пиетета перед ним самим, сколько из невольного уважения к его стремительно крепнущей славе. Именно на последние годы приходится бурный рост его популярности, именно в это время устанавливается непосредственная связь между ним и многоставной читательской аудиторией. «Все алчущие и жаждущие

правды, — говорит Штакеншнейдер, — стремились за этой правдой к нему; за малыми исключениями, почти все собратия его по литературе его не любили»⁹⁵.

Он — чужой среди своих: в кругу известных литераторов, либеральных профессоров и талантливых адвокатов он — белая ворона. Он не вписывается в картину духовного довольства и преуспевания: он, «человек экстремы», совсем из иного мира.

Есть что-то пророческое в столкновениях Достоевского с либеральными профессорами 70-х годов. Он словно прозревает скорое — на рубеже двух веков — торжество «профессорской культуры»: самодостаточной, успокоенной, умеренно оппозиционной. Той самой культуры, адепты которой, удовлетворяясь её действительно неоспоримыми специальными заслугами, будут брезгливо отстраняться от *слишком общих* проблем, поднятых отечественной словесностью, вяло сетовать на чудачества и «уклонения» Толстого и Достоевского и снисходительно похлопывать по плечу Чехова*.

Та «профессорская» среда, с которой имеет дело Достоевский, инстинктивно сторонится крайностей. Её вполне устраивает то, что есть (в том числе и в области общественной), желательно лишь с присовокуплением некоторых *механических* усовершенствований («увенчание здания»).

Записано в последней тетради: «Государство создаётся для среды... Середина... формулировала на идеях высших людей свой срединненький кодекс»⁹⁶.

Он ставит на полях NB и семь восклицательных знаков.

Он враг этой срединной, нравственно приглушённой, «теплой» культуры. Он входит в её избранный круг, затравленно озираясь: он здесь в явном меньшинстве. Поэтому он — вечно «закомплексован», вечно настороже: любое слово может вызвать у него повышенную, неадекватную реакцию, послужить толчком для неожиданных вспышек. И «огородничество» только предлог, чтобы выказать своё недовольство, явить неприязнь, раз-

* Не было ли творчество Чехова — внешне «бестенденциозное» — в какой-то мере реакцией на господство в русской литературе «идеологического романа» Толстого и Достоевского? У Чехова всё «чисто идеологическое» почти без остатка растворено стихией обыденного, мелкого, повседневного. Между тем эта безосадоочность чеховской прозы создавала новый тип осмысления мира — изнутри — в потоке бессобытийной, «скучной» жизни, идеологически как бы неакцентированной, «нейтральной».

рядиться. Но если уж невинные сельские досуги профессора Янжула вызвали у него такой гнев, можно представить, как воспринял он застольное слово Тургенева.

В своей речи Тургенев остался верен себе: он «подставил щёку». Каждому из присутствовавших разрешалось мысленно обозначить неназванную и от этого ещё более заманчивую цель.

«Скажите же теперь, какой ваш идеал?» — этот вопрос был обращён не только к Тургеневу. Он был обращён и к самому себе. Именно на него с безоглядной смелостью попытается он ответить через год с небольшим — в Пушкинской речи.

Но в этот день, 13 марта 1879 года, в Петербурге произошло ещё одно событие. Оно осталось не отмеченным ни в воспоминаниях о тургеневском обеде, ни в каких-либо специальных работах о Тургеневе или Достоевском. Между тем представляется, что этот утренний инцидент находился в некоторой связи с тем, который имел место вечером — в зале ресторана Бореля.

Стрельба на полном скаку

13 марта 1879 года около часу дня карета, в которой помещался шеф жандармов генерал-адъютант Александр Романович Дрентельн, быстро катилась вдоль Летнего сада. Начальник III Отделения (он сменил на этом посту Мезенцова) спешил в Зимний дворец на заседание Комитета министров. Неожиданно с каретой поравнялся элегантно одетый молодой человек верхом на лошади; некоторое время он скакал рядом, затем выхватил револьвер и выстрелил в Дрентельна.

Пуля, влетевшая в окно кареты, вылетела в противоположное окно, минуя сановного пассажира. Молодой человек попытался сделать ещё один выстрел — это ему не удалось (как выяснилось позднее, вторая пуля застряла в барабане). Нападавшему ничего не оставалось, как повернуть лошадь и скрыться (он так и ушёл от погони, бросив по дороге свой транспорт и пересев на извозчика)*.

* Покушавшегося Л.Ф. Мирского (ему было около двадцати лет) схватили позже, в Таганроге, судили и приговорили к смертной казни. Он написал «извинительное» письмо Дрентельну, в результате чего был помилован. Далее следует цепь странных совпадений, имеющих некоторое отношение к Достоевскому. Мирский, находясь в крепости, выдал «петропавловский

«Да послужит этот случай, — грозно заявлял подпольный листок, — первым предупреждением г. Дрентельну. Исполнительный Комитет, как известно, редко делает промахи»⁹⁷.

Покушение, как мы уже говорили, совершилось около часу дня. Нет никакого сомнения, что присутствовавшие на тургеневском обеде (среди них было немало журналистов) уже знали эту перво-степенную новость (сам обед происходил вечером).

Для Достоевского весть о случившемся могла стать последним эмоциональным толчком.

В своей речи Тургенев, в частности, сказал (не были ли эти слова косвенным откликом на утреннее происшествие?):

«Напрасно станут нам указывать на некоторые преступные увлечения; явления эти глубоко прискорбны; но видеть в них выражение убеждений, присущих большинству нашей молодёжи, было бы несправедливостью, жестокой и столь же преступной...»⁹⁸

Эти слова Достоевский должен был воспринять особенно остро. Вспомним его глубокое убеждение, что винить прежде всего следует отцов. Они, отцы, благодушествуют и мирно обедают, в то время как дети проливают свою и чужую кровь.

Он запишет в последней тетради: «Передо мной стоял гимназист. Зарезать отца или спасти ребёнка — одно и то же... Всё перепуталось, и серьёзнее, чем вы думаете, ибо они честнее отцов и переходят прямо к делу»⁹⁹.

«Они честнее отцов», ибо «они», как Раскольников, испытывают на себе. Они не ограничиваются теорией — и идут до конца. Это тоже «национальная черта поколения», которое, по мысли Достоевского, осуществляет на практике то, чего отцы вовсе не желали, но к чему они своим историческим прекраснодушием невольно подвинули детей.

Он требует признать духовное преемство.

Можно понять психологическое состояние Достоевского вечером 13 марта. В переполненной избранной публикой зале ресто-

заговор» своего союзника С.Г. Нечаева (он помещался в соседней камере Алексеевского равелина) и тем самым расстроил подготовлявшийся Нечаевым побег (за всю историю крепости оттуда не удалось бежать ни одному заключённому). Нечаев (как известно, «прототип» одного из главных героев «Бесов» — Петра Верховенского) умер в одиночном заключении 21 ноября 1882 года, то есть ровно в тринадцатую годовщину убийства им другого «прототипа» романа — студента И.И. Иванова.

рана Бореля звенели бокалы; речь шла о «высоком и прекрасном»; при этом не забывали упомянуть и о народе («от имени русских женщин и русского мужика, — не без иронии сообщало «Новое время», — произнёс тост Алексей Потехин»¹⁰⁰). Он оказался на банкете либеральной партии, избравшей Тургенева *предлогом* для заявления своих политических требований.

В это время на улице стреляли.

Достоевский не мог не чувствовать двусмысленности происходящего. пышное обеденное действо, сладкоречивые (и пребывающие при этом в полной безопасности) ораторы — всё это плохо гармонировало с грозным ходом событий, с горячим и кровавым дыханием 1879 года.

«Обеденный инцидент» испортил настроение обедающим. Правда, далеко не всем. «После живых картин Тургенев уехал, извиняясь страшной усталостью, а публика начала танцевать». Веселье достигло апогея, когда уже упоминавшаяся хорошенькая натурщица в древнегреческом костюме, уступая настойчивым требованиям гостей, вскочила на стол (справедливость требует сказать, что это происходило в отдельной зале) и «без малейшего смущения» произнесла очередной тост¹⁰¹. «Живые картины» вряд ли могли соперничать с этой натуральной сценой.

Тургеневский обед имел некоторое продолжение.

Вечер третий, и последний

Поскольку вечер 9 марта в пользу Литературного фонда удался на славу, решено было его повторить. 16 марта — через неделю после первой встречи (и через три дня после памятного обеда) — Тургенев и Достоевский вновь сошлись в зале Благородного собрания.

Для того чтобы участвовать в этом вечере, Достоевскому пришлось разрешить одно непредвиденное затруднение.

15 марта великий князь Константин Константинович послал Достоевскому следующую записку: «Многоуважаемый Фёдор Михайлович, я буду рад и благодарен Вам, если Вы не откажетесь провести у меня вечер завтра, 16 марта; начиная с 9 ч. Вы встретите знакомых Вам людей, которым, как и мне, доставите большое удовольствие своим присутствием. Преданный вам Константин»¹⁰².

Юному представителю дома Романовых (будущему поэту К. Р., автору песни «Умер бедняга! В больнице военной...») исполнилось недавно двадцать лет. Пущенный по морской службе, он тяготел, однако, к изящной словесности. Он был поклонником Достоевского. Последнему в свою очередь льстило это знакомство.

Великий князь приглашал к девяти часам. Между тем вечер Литературного фонда начинался в восемь. Теоретически можно было бы успеть, если поторопиться и читать одним из первых. Но этого чтец не любил: он привык относиться к делу серьёзно.

Приходилось выбирать между августейшим приглашением и общественным долгом.

«Ваше Императорское Высочество, — отвечает Достоевский, — я в высшей степени несчастен, будучи поставлен в совершенную невозможность исполнить желание Ваше и воспользоваться столь лестным для меня приглашением Вашим».

Он пишет слогом, приличествующим случаю, и просит высокого адресата принять выражение его «горячих чувств», но стоит на своём: о его выступлении объявлено, билеты разобраны, и если бы он не явился, то устроители из-за его отказа «принуждены бы были воротить публике и деньги»¹⁰³.

Последнее несколько преувеличено: как-никак «остаётся» ещё Тургенев; однако великому князю подробности знать необязательно.

Итак, он выбирает Литературный фонд.

По настоянию публики он повторил отрывок, читанный 9 марта. Впечатление было не менее сильным. «Во многих местах, — сообщало «Новое время», — чтение прерывалось едва сдерживаемыми рукоплесканиями и восторженными криками, и только опасение за целостность, так сказать, впечатления оставляло их»¹⁰⁴.

До нас не дошёл голос Достоевского (он, в отличие от Толстого, не дожил до появления фонографа); не известно также ни одной фотографии, которая запечатлела бы его на эстраде. Поэтому о сценическом воздействии его личности мы можем судить лишь по отзывам очевидцев. И все они сходятся на одном: он был гениальный исполнитель.

Но тайна, увы, утрачена. Никакие внешние описания не в силах, по-видимому, передать секрет этого поражающего современников лицедейства, которое даже трудно назвать

лицедейством в обычном смысле. «Разве я голосом читаю?! Я нервами читаю!»¹⁰⁵ — обмолвился он однажды, и это признание объясняет многое. Не актёрство как таковое, не мастерство, не «сумма приёмов», то есть не искусство, явленное как бы отдельно от «всего остального», а целостное переживание, та мера правды, которая «не читки требует с актёра, а полной гибели всерьёз».

«Читает он и говорит мастерски, — свидетельствует де Воллан, — за душу хватает его тихий, надтреснутый голос, чувствуется, что перед вами глубоко страждущий человек, даже больной человек, не шарлатан фразы, а глубоко несчастный человек»¹⁰⁶.

Печать личного страдания, но вызванного не только субъективными причинами. Его собственная «несчастность» могла бы лишь разжалобить публику, не больше. В его боли, столь осязаемой при выговаривании им своего текста, нечто сверхличное, общее, касающееся всех. Это дуновение мирового неблагополучия, наступающее слушателя и заставляющее его усомниться в благополучии собственного бытия.

16 марта закреплялось то, что было достигнуто 9-го. И этот успех был ещё более важен: по-видимому, на настроении публики никак не сказался скандал на тургеневском обеде.

«Гипноз окончился, — вспоминает очевидец, — только тогда, когда он захлопнул книгу (очевидно, это всё-таки была рукопись, так как апрельский «Русский вестник» ещё не выходил. — *И. В.*) И тогда началось настоящее столпотворение: хлопали, стонали, махали платками, какая-то барышня поднесла пышный букет, кому-то сделалось дурно...»¹⁰⁷

Итак, во-первых, выясняется, что в обморок падали не только после Пушкинской речи. Во-вторых, следует остановиться на букете: он того заслуживает.

Цветы живые

Как было сказано, в вечере участвовал и Тургенев (его опять приветствовали стоя): он прочитал «Бирюка». Но гвоздём программы должно было стать совместное исполнение Тургеневым и М.Г. Савиной сцены из тургеневской «Провинциалки».

Публика ждала необычного дуэта с нетерпением (он значился в самом конце программы). «Все распорядители, — вспоминает

партнёрша Тургенева, — то есть литераторы и даже Достоевский... пошли слушать в оркестр».

«Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?» — произнесла первую фразу юная и прелестная Савина, и зал, мгновенно уловив подтекст, взорвался аплодисментами.

Выступление с таким необычным партнёром, как Тургенев, конечно, осталось ярчайшим воспоминанием в жизни Марии Гавриловны. (Именно в эти дни зарождается последняя любовь Тургенева — его нежное и грустно-безнадёжное увлечение молодой актрисой.) Но она хорошо запомнила и другое.

«Когда вышел Достоевский на эстраду, — говорит Савина, — овация приняла бурный характер: кто-то кому-то хотел что-то доказать. Одна известная дама Ф. (А.П. Философова. — *И. В.*) подвела к эстраде свою молоденькую красавицу дочь, которая подала Фёдору Михайловичу огромный букет из роз, чем поставила его в чрезвычайно неловкое положение. Фигура Достоевского с букетом была комична — и он не мог не почувствовать этого, как и того, что букетом хотели сравнить овации (очевидно, Тургеневу. — *И. В.*). Вышло бестактно по отношению «гостя», для чествования которого все собрались, и Достоевского, которому вовсе не нужно было присутствие «соперника» для возбуждения восторга публики»¹⁰⁸.

Осмелимся предположить, что артистическая память все же изменила Савиной и она невольно сместила акценты. Понятно, что её внимание сосредоточено на Тургеневе: он — герой дня, с ним в паре она выходит на сцену, и естественно, что она ревниво относится к чужому успеху. «Мне хотелось, — простодушно признаётся Савина, — чтобы его (Тургенева. — *И. В.*) любили больше Достоевского».

Но, во-первых (осторожно возразим Савиной), это всё-таки литературный вечер, в котором участвуют и другие писатели (а вовсе не чествование Тургенева). Во-вторых, Тургеневу преподнесли на этом вечере очередной венок («...перед принятием которого, — как свидетельствует другой воспоминатель, — он невольно сделал недоумевающий курьёзный жест и начал раскланиваться»¹⁰⁹). И в-третьих, букет не столько создавал бестактность, сколько устранил её, вознаграждая Достоевского, пользовавшегося на этом вечере ничуть не меньшим успехом, чем Тургенев.

Савина на всю жизнь запомнила девушку в белом платье с роскошным букетом свежих роз («А вот, Димочка, я могу вам рассказать, как я обиделась на вашу маму... за Тургенева, —

говорила она (через *тридцать* лет) сыну А.П. Философовой. — А цветы-то подносила ваша старшая сестра. Мама ваша её заставила... Она тогда с Тургеневым ссорилась»). Более всего Марию Гавриловну поразило то, что это были *живые* розы (в марте месяце). «...На сцене, — добавляет она, — нам всегда подносили искусственные цветы»¹¹⁰.

Букет запомнился и Анне Григорьевне. Она замечает, что «на ленте, расшитой в русском вкусе, находилась сочувственная чтецу надпись (хотелось бы знать: какая? — *И. В.*)»¹¹¹.

Кажется, это были первые живые цветы, которые он получал публично. Тургенев, приняв очередной венок, раскланивался не без кокетства; Достоевский к подобным подношениям ещё не привык. «Ф. М., — свидетельствует один из зрителей, — взял букет как-то нервно, не глядя, разом, и сунул куда-то за занавес, как будто бы прогнал мешающий ему предмет или отстранил от себя что-либо мешающее ему наблюдать, анализировать, работать»¹¹².

Впервые удостоенный подобных оваций, он не только «оттянул» на себя внимание публики, но и заставил серьёзную критику взглянуть несколько иначе на расстановку литературных сил.

«Тургенев и Достоевский, — писал Незнакомец (Суворин) сразу же после мартовских триумфов, — это альфа и омега русской жизни, два конца её, а в середине плотно и грузно уселся Лев Толстой, спокойно и самоуверенно взирающий на оба конца». Тургенев, по мнению издателя «Нового времени», представляет собой западное начало, Достоевский — начало русское, «страдающее, многогрешное, многодумное и тяжёлое, тяжёлое потому, что думается в одиночку, бесприютно, в какой-то полутьме, широкой и беспредельной, где мелькает какой-то огонек...»¹¹³.

Если букет, как полагает Савина, и противопоставил Достоевского Тургеневу, то вслед за ним явилось событие совершенно обратное: оно как бы снимало инцидент на тургеневском обеде. «Публика, — вспоминает Садовников, — помирила его (Тургенева. — *И. В.*) с Достоевским, заставив обоих выйти рука об руку»¹¹⁴. «Вызывали Тургенева, Достоевского, наконец Тургенева и Достоевского вместе: они вышли на вызов и обменялись на эстраде дружеским рукопожатием»¹¹⁵, — подтверждает газетный отчёт.

Это было вынужденное перемирие (вынужденное публикой). Но эстрадный жест отвечал тому общественному настроению, которое в конце концов повело к «межпартийным» объятиям

в дни пушкинских торжеств. Это было выражением подсознательного, но достаточно сильного стремления к общественному единству — единству *всей* русской культуры перед лицом грозных и неведомых событий, перед лицом общего врага. Молодёжь (да и не только молодёжь) инстинктивно чувствовала, что усилия Тургенева и Достоевского в конечном счёте направлены к одной — высшей — цели, что длящийся раскол играет на руку только тем, кто пренебрегает будущим страны и печётся лишь о сохранении status quo. Аплодисментами, вызовами, требованием подать друг другу руки пытались преодолеть реальную трагедию русского общественного сознания. Русская интеллигенция была слишком слаба, чтобы позволить себе такую роскошь — спокойно наблюдать бесплодную, по её мнению, борьбу своих духовных вождей. («Мыслимы ли партии, — замечает Савина, — когда сходятся такие колоссы, как Достоевский и Тургенев».)

И всё-таки это был худой мир. Недаром, когда стихли рукоплескания, Достоевский за кулисами сделал Савиной следующий комплимент: «У вас каждое слово отточено как из слоновой кости, — и прибавил не без яда: — а вот старичок-то пришепetyвает»¹¹⁶.

Вечер третий. Окончание

В этот же вечер очередную «пятницу» Я.П. Полонского для общего удобства перенесли к Гайдебурову. Достоевского, который был постоянным посетителем Полонских, на сей раз пригласила жена поэта — Жозефина Антоновна. Получилась накладка: ещё ранее был зван и Тургенев. Яков Петрович шепнул об этом жене. «Достоевскому сейчас кинулось в голову, что Полонский не желает быть знакомым, сделал жене замечание по поводу его и пр., рассердился и начал везде распространяться о том, что его ноги больше не будет у Полонских»¹¹⁷ — так передаёт Садовников эту «литературную» сплетню, впрочем весьма похожую на правду. Добрейшему Якову Петровичу пришлось лично ехать и уламывать своего старого приятеля.

Тургенев и Достоевский явились к Гайдебурову прямо после примирительной сцены. Тургенев — несколько ранее. Он пребывал в хорошем расположении духа, но, поскольку вечер проходил не у Полонских, а у «чужих», говорил сравнительно мало.

«Вдобавок, — вспоминает Садовников, — скоро явился мизерный по наружности Достоевский. Я больше года как не видал его. Он похудел, нос как-то заострился, то же трусливое (! — *И. В.*) выражение нецветного (*sic!* — *И. В.*) лица... Он вошёл и сделал как-то недоумевающе общий поклон, точно боясь, что никто или многие на него не ответят. Вообще он, должно быть, страшно подозрителен».

Интересную черту являют иные воспоминатели. Так, и Градовский, и Садовников явно недолюбливают Достоевского — и оба не забывают отметить его «мизерную» внешность. «Нецветное» (очевидно, бледное?), похудевшее лицо Достоевского («Братья Карамазовы» дают себя знать) невыгодно контрастирует с «румяным, полным, здоровым» обликом Тургенева, который, хоть и старше Достоевского на три года, выглядит значительно бодрее (переживёт он, правда, его ненамного). Можно понять и «подозрительность»: после истории с приглашением и недавнего «обеденного инцидента» его виновник должен чувствовать себя не очень-то ловко.

«Я заметил в голосе Достоевского, — продолжает Садовников, — до странности болезненные, нервные ноты. Весь организм его явно расшатан до невозможности, и довести автора «Преступления и наказания» до слез — ничего, я думаю, не стоит»¹¹⁸.

В том, что Достоевский легко уязвим, нет ничего удивительного. Поразительно другое: знаменитый писатель, работающий над своим последним романом, в присутствии Тургенева ведёт себя точно так же, как тридцать с лишним лет назад, когда он, начинающий автор, выскакивал за дверь, думая, что смеющиеся шуткам Тургенева смеются над ним.

Публичное рукопожатие не уничтожило напряжённости: может быть, поэтому и Тургенев и Достоевский уехали сразу же после чая, не соблазнившись обильным ужином.

Они не встретятся больше до будущей весны.

Воспоминания о «тургеневских» днях 1879 года надолго останутся в общественной памяти. Они явятся своеобразным прологом к тому неизмеримо более значительному историческому действию, которое на краткий миг соединит русскую интеллигенцию под сенью памятника первому русскому поэту¹¹⁹. Но это произойдёт ещё не скоро.

Однако пора «вернуться вперед» — к зиме 1880 года.

глава VI

две недели в феврале

Письмо с Бестужевских курсов

В конце зимы 1880 года стало мниться, что вскоре должно воспоследовать нечто чрезвычайное.

19 февраля царствованию Александра II исполнялось двадцать пять лет. По этому случаю ждали высочайшего манифеста. Поговаривали, что в связи с юбилеем будут дарованы некоторые права, льготы, привилегии, а может быть (чем чёрт не шутит), даже какое-то подобие представительных учреждений.

Слухи эти с каждым днём делались всё настоятельнее.

Великий князь Константин Николаевич поведал государственному секретарю Е.А. Перетцу о своём разговоре с императором: «Государь сообщил мне теперь, что желал бы к предстоящему дню 25-летия царствования оказать России знак доверия, сделав новый и притом важный шаг к довершению предпринятых преобразований. Он желал бы дать обществу больше, чем ныне, участия в обсуждении важнейших дел»¹.

Царь колебался: в нынешних обстоятельствах благодеяние могло выглядеть уступкой. Призрак Великой французской рево-

люции, начавшей Генеральными штатами и кончившей Конвентом, всё ещё витал над русским царствующим домом.

В правящих сферах также не наблюдалось надлежащего единства. «Что делать?» — вопрос, традиционно задававшийся теми, кто хотел всё изменить, теперь проник на самый верх: туда, где хотели всё сохранить*.

Общество питалось толками, сплетнями, пересудами.

С Лазурного берега в Россию вернулась умирать безнадежно больная императрица Мария Александровна (она протянет до конца мая, когда её смерть на целых две недели отодвинет Пушкинский праздник). Газеты из номера в номер печатали подписанные лейб-медиком Боткиным бюллетени: «...Её Величество хотя и кашляла несколько больше, но провела ночь довольно удовлетворительно... Её Величество спала довольно порядочно, несмотря на кашель; кушала не без аппетита, жаловалась на сердцебиение; пот ночью был умеренный»³.

Сообщалось о решениях Государственного совета по тюремному преобразованию.

Минувший год был неурожайным: стране грозил голод. Недород сильно ударил по и без того расстроенным финансам. Военный министр Д.А. Милютин скрепя сердце вынужден был урезать бюджет своего министерства.

...Зима 1880 года была на переломе.

15 января Достоевский садится наконец отвечать на накопившиеся письма.

«Прежде всего простите, что замедлил с ответом: две недели сряду сидел день и ночь за работой, которую только вчера изготовил и отправил в журнал, где теперь печатаюсь. Да и теперь от усиленной работы голова кружится»⁴.

Он полагает нужным извиниться за задержку, хотя то письмо, на которое ныне он отвечает, было получено им каких-нибудь два-три дня назад. Он пишет человеку, с которым он незнаком. Причём отвечает ему прежде всех других своих корреспондентов.

Письмо, вызвавшее столь стремительный и, как увидим, заинтересованный ответ, до сих пор не опубликовано. Оно подписано инициалами — А. К...ва. Указан обратный адрес: «Высшие

* А.А. Половцев записывает в дневнике, что самым модным выражением в кругах придворной бюрократии стало «il y a quelque chose á faire» (необходимо что-нибудь сделать)².

женские курсы, Сергиевская улица, д. № 7, Надежде Николаевне Барт с передачей Александре Николаевне»⁵.

Попытаемся раскрыть аноним.

В изданной в 1903 году «Памятной книжке окончивших курс на С.-Петербургских Высших женских курсах» под № 253 мы обнаружили: Курносова Александра Николаевна. Имя и отчество совпадают. Фамилия также соответствует (К...ва): других подходящих кандидатур в списке нет.

Здесь же под номером 223 значится: Надежда Николаевна Барт⁶. Обе девушки — слушательницы историко-филологического отделения. Обе закончили Бестужевские курсы в 1883 году, то есть принадлежат ко второму выпуску.

Но обратимся к тексту письма.

«Фёдор Михайлович! Простите! Я, совершенно незнакомая и неизвестная Вам, обращаюсь к Вам с просьбой, с сильной просьбой — ответить мне хотя в нескольких словах <...> Боже мой, мне так совестно, так неловко было писать, что я, несмотря на сильное желание уяснить себе многое, всё же стеснялась и долго не решалась обратиться к Вам с просьбой: мне всё казалось, что Вы, прочитавши моё письмо, махнёте на него рукой и оставите без внимания, а это ведь мне было бы очень обидно, или же (чего я ужасно страшилась) подумаете то же, что некоторые мои знакомые не постеснялись сказать мне в глаза: что я хочу обратить на себя Ваше внимание с той целью, какая преследуется многими, — «выступить литературным героем». Но как они меня не понимают — я ничего такого не хочу; я хочу слышать от Вас слово, от Вас же именно потому, что я, Фёдор Михайлович, Вас крепко уважаю; я верю Вам так, как ни в одного человека в мире; ни один человек не служит для меня таким нравственным светилом, как Вы».

Писем подобного рода к нему в последние годы приходило не так уж мало. Почему же именно на это письмо он отозвался без промедления, вполне извинительного в теперешних его обстоятельствах? Не угадал ли он нежное и в высшей степени уязвимое самолюбие, душевную дисгармонию, мучительную внутреннюю борьбу?

«Ваше письмо горячо и задушевно», — отвечает он.

Добавим: оно ещё и бесхитростно. Корреспондентка Достоевского поверяет ему не любовную драму, не семейные или житейские неурядицы, а тайное тайных своего духовного мира:

утрату веры. Она не видит идеала, ради которого «можно было бы и пострадать даже, если нужно <...>». Она пишет: «<...> Люди с вечно мрачной душой, живущие сами не сознавая «зачем» и «что», эти люди отняли, разбили у меня веру в Христа — как Бога <...>». Правда, взамен ей предложили нечто иное — «недосягаемый идеал человека», но в эту высокую отвлечённость у неё — при всём желании — поверить нет сил. «Невыносимое состояние, а с жизнью расстаться всё же не хочешь, и вот начинаешь хвататься за всё, из чего можешь хоть что-нибудь добыть <...>».

Коллизия, обозначенная слушательницей Бестужевских курсов, «слишком» знакома адресату: она является одной из центральных в его романах. Письмо задело за живое.

«А тут, — продолжает Александра Николаевна, — раздаётся голос, такой же ужасающий, какой слышен в «Великом инквизиторе».

<...> Начну я говорить что-либо «о Христе, о правде», а они мне: «хороший обед, сытый желудок, удовлетворение всех потребностей <...> вот суть где».

Что же хочет автор письма от автора «Братьев Карамазовых»?

А.Н. Курносова признаётся, что отправить своё послание было для неё делом чрезвычайно мучительным: она не решалась целый год. Но... «Я знаю, что Вы лучше, чем кто-либо другой, можете разъяснить все вопросы, касающиеся душевной жизни человека <...>». Это знание зиждется на собственном опыте: «<...> Нет других книг, могущих иметь на меня такое благотворное влияние, как Ваши: «Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание» <...>».

Среди прочих названа книга ещё не дописанная, от которой Достоевский должен на миг оторваться, чтобы ответить на это письмо.

Его ответа ждут с надеждой и упованием. «Еще раз прошу Вас, Фёдор Михайлович, не откажите мне в том, в чём я сильно теперь нуждаюсь: если Вы не имеете времени свободного на то, чтобы написать мне хотя немного, то потрудитесь написать тогда: «Я не могу» или «не хочу», словом, что-нибудь. Последнее всё же лучше будет, чем абсолютное молчание»⁷.

Сказались молодость, нетерпение, гордость. Да, наверное, потому он отвечал быстро...

Вообще он не жаловал переписки, особенно — касающейся так называемых «последних» вопросов. Он полагал, что эпистолярный жанр менее всего пригоден для их разрешения. Он предпочитал

разговоры (недаром в его романах такую роль играют диалоги). «На письмо же Ваше, — отзывается он, — что я могу ответить? На эти вопросы *нельзя отвечать письменно*. Это невозможно». Он понимает, что его корреспондентке плохо, но не спешит со словами утешения: «Вы действительно страдаете и не можете не страдать». Он призывает всё же не падать духом: «Не Вы одни теряли веру».

Здесь, кажется, звучит что-то личное. Тем более что дальше сказано: «Я знаю множество отрицателей, перешедших всем существом своим под конец ко Христу»⁸.

Он *знает* таких отрицателей. И вскоре он заметит в своей последней записной книжке: «Инквизитор и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнести к мне хотя и научно, но не столь высокомерно по части философии, хотя философия и не моя специальность. И в Европе такой силы атеистических *выражений* нет и *не было*. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое *горнило сомнений* моя *осанна* прошла, как говорит у меня же, в том же романе, чёрт. Вот, может быть, вы не читали Карамазовых — это дело другое, и тогда прошу извинения»⁹.

Запись полемична: она направлена против, как сказано им несколько выше, «мерзавцев», дразнивших его за «Карамазовых» «необразованною и ретроградною верою в Бога». «Этим олухам, — продолжает Достоевский, — и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе... такой силы отрицание, которое перешёл я. Им ли меня учить!»¹⁰

Он отвечает своей корреспондентке, как бы предвосхищая свою будущую запись: не как «мальчик» (в другом месте сказано: «дурак», «фанатик»), верующий во Христа, а как тот, чья вера, может быть, сама прошла через «горнило сомнений».

«Горнило» — это преодолённая (но не отброшенная) точка зрения.

...Зима 1880 года тянулась медленно. В Зимнем дворце под председательством самого царя и в Мраморном — у великого князя Константина Николаевича — по вечерам собирались высшие сановники империи (председатель Комитета министров, шеф жандармов, военный министр и т. д.). Круг приглашённых был чрезвычайно узок, и совещания держались в глубокой тайне.

Келейно обсуждались старые и весьма скромные проекты реформы Государственного совета. Но даже эта робкая попытка преобразований оказалась обречённой на неуспех.

29 января Александр II кратко помечает в памятной книжке: «Совец<ание> с Костей (великим князем Константином Николаевичем. — *И. В.*) и друг<ими>, реш<или> ничего не дел<ать>»¹¹. Взрыв грянул 5 февраля.

Динамит к юбилею

Он был так силён, что грохот вырвался на Дворцовую площадь, метнулся сквозь арку Главного штаба, прокатился по Невскому, ударил на другом берегу в стены Петропавловской крепости и — глухо отозвался во всех европейских столицах.

Это был динамит.

Если бы Степан Халтурин, покидая подвал Зимнего дворца, после того как поджёт запыл, не забыл притворить за собой дверь, вся сила взрывной волны пошла бы вверх — и, возможно, достигла бы цели. Но жертв и без того было достаточно: десять убитых и около пятидесяти искалеченных солдат лейб-гвардии Финляндского полка, находившихся в караульном помещении — между подвалом и царской столовой.

«Мы не знаем, — говорил в своей проповеди в Исаакиевском соборе митрополит Исидор, — по какой причине государь замедлил прийти в столовую в обычное для него время. Но какая бы ни была случайность, вера ясно внушает нам, что царь царствующих ангелам своим заповедал сохранить возлюбленного помазанника своего и ангелы задержали его»¹².

Обед должен был начаться в шесть; гость — принц Гессенский, которого встречали на вокзале сыновья императора, — задерживался. Александру II в шестой раз повезло: взрыв грянул, когда хозяева и гости переступали порог царской столовой.

На следующий день принц Александр Гессенский писал в Германию — супруге: «Пол поднялся словно под влиянием землетрясения, газ в галерее погас, наступила совершенная темнота, и в воздухе распространился невыносимый запах пороха или динамита»¹³.

Говорили, что в обеденной зале — прямо на накрытый стол — рухнула люстра.

Возлюбленная государя княжна Долгорукая с криком выбежала из своих потайных покоев; законная супруга — государыня — столь крепко спала, что ничего не слышала.

«Динамит в Зимнем дворце!.. — ужасались газеты. — Покушение на жизнь русского царя в самом его жилище!.. Это скорее похоже на страшный сон... Где же предел и когда же конец этому изуверству?»¹⁴

В русской православной церкви в Париже Иван Сергеевич Тургенев отстоял благодарственный молебен.

Взрыв ошеломил всех: дерзость, а главное, могущество исполнителей внушали невольный трепет. Русские послы за границей без тени юмора сообщали в Петербург слухи о намерении революционной эмиграции снарядить динамитом в винных бутылках пятьсот воздушных шаров для атаки Северной столицы¹⁵.

«Рассматривая обломки, которые произошли от взрыва, — замечает современник, — можно было сказать, что это обломки монархизма в России»¹⁶.

Суждение несколько преждевременное, однако и в самом деле политические последствия катастрофы грозили оказаться куда более значительными, чем видимые разрушения.

«Мы, — записывает 6 февраля в своём дневнике великий князь Константин Константинович (тот самый, который приглашал Достоевского на чашку чая), — переживаем время террора с той лишь разницей, что парижане в революции видели своих врагов в глаза, а мы их не только не видим и не знаем, но даже не имеем ни малейшего понятия о его численности...»¹⁷

Такой паники столица ещё не знала.

Самые большие ужасы ожидалось к 19 февраля. Толковали о подмётных письмах, авторы которых якобы грозили поджечь Петербург «и устроить такую иллюминацию, какой не было во времена Нерона».

Был переполох в Государственном банке: кому-то почудились глухие подземные удары. Принялись копать — и дошли до грунтовых вод. Полиция строго смотрела, чтобы баки в домах стояли полными: ждали взрывов на газовом и патронном заводах. По словам современника, услышав какой-нибудь грохот на улице, люди «становились белее полотна»¹⁸ (не так ли почти два десятилетия назад — в день обнаружения Манифеста об освобождении крестьян — снег, свалившийся с крыши Зимнего, вызвал панику во дворце: гул был принят за пушечный выстрел; подумалось: «началось!»).

К 19 февраля многие состоятельные петербуржцы изъявили желание покинуть родной город, дабы, как выразилось «Новое

время», «пережить этот день в прекрасном далеке». 16 февраля писатель Николай Лесков опубликовал письмо со знаменательным названием «О трусости»: автор «Некуда» призывал *не бояться*¹⁹.

Ходили слухи, что Невский, Морская, Фурштадтская минированы. «Эта памятная неделя, — пишет мемуарист, — была очень интересна в том, что она взбудоражила всю петербургскую буржуазию. Все боялись или за жизнь, или за имущество»²⁰.

Как ведёт себя в эти дни Достоевский?

Совершенно как всегда. Нервный, болезненный, до крайности впечатлительный автор «Бесов» при всем при том вовсе не из пугливых. Обуреваемый мрачными эсхатологическими предчувствиями, внутренне готовый к мировым катаклизмам, он в момент, казалось бы, реальной опасности сохраняет полнейшее присутствие духа.

На 17 февраля приходились его именины. Его племянник (сын брата Андрея Михайловича) Саша Достоевский, студент-медик, сообщает родителям в Ярославль, что в этот день он посетил дядю, чтобы его поздравить. «При мне он получил письмо от вас и, видимо, был очень доволен этим... Часу в седьмом я пошёл к ним опять (племянник зван на семейный обед. — *И. В.*). Кроме меня, обедал ещё Николай Николаевич Страхов...»²¹

Именины отмечаются скромно, в домашнем кругу; никаких признаков паники не заметно.

19 февраля — в тот самый день, когда, по словам газет, «ожидается что-то невероятное — взрывы, пожары, беспорядки»²², — он откликается на чьё-то любезное приглашение (по-видимому, графини А.Е. Комаровской): «Изо всех сил постараюсь быть...»²³

Один из его героев говорит, что человека лучше всего можно определить как существо, которое ко всему привыкает...

Правда, сам день 19 февраля прошёл сравнительно спокойно. Пожаров и взрывов не последовало; была зажжена лишь иллюминация — свечи, транспаранты, царские вензеля. По улицам двигались густые толпы гуляющих. «Только дворники, — замечает очевидец, — безотлучно стоявшие на своих местах, указывали на то, что не всё в порядке, что нечто висит в воздухе и ожидается». Государь проехал по Большой Морской в закрытой карете, плотно окружённый казачьим конвоем. Раздалось протяжное «ура». «Он бы проехал в коляске, да не по нынешнему времени, — сказала какая-то женщина из простонародья»²⁴.

Остаётся ли Достоевский в эти дни сторонним наблюдателем или же пытается вмешаться и по мере сил непосредственно воздействовать на совершающиеся события?

Не имея, как в прежние годы, собственного печатного органа, он, старый опытный публицист, всё-таки изыскивает способ заявить *о своём* понимании происходящего и намекнуть *на свою* программу.

Адрес на высочайшее имя: возможности жанра

Он выступает в непривычном для него литературном жанре. По просьбе Славянского благотворительного общества (товарищем председателя которого он избран совсем недавно, 3 февраля) он пишет проект юбилейного адреса государю. 14 февраля он зачитывает его в общем собрании членов-благотворителей²⁵.

Этот документ никогда не комментировался и не привлекал внимания исследователей.

У нас есть возможность сравнить печатный вариант с его неизвестной (первоначальной) редакцией.

Жанр верноподданнических адресов имеет свои каноны. И Достоевский старался не нарушать таковые. Однако следует признать, что ему это не вполне удалось. Ибо в достаточно строгую «отработанную» форму адреса на высочайшее имя автор умудрился втиснуть смысл, намного превосходящий уровень допустимого. Такое *превышение* заметно отличает этот документ от сочинений подобного рода.

Разумеется, в адресе весьма нелестно аттестуются «нетерпеливые разрушители... твёрдо верящие тому, что какая бы гибель, какой бы хаос ни произошли от их кровавых злодейств, но всё-таки происшедшее будет лучше, чем то, что они теперь разрушают».

Зло громко названо, но словарь для обличения зла выбран несколько необычный. «Эти юные русские силы, увы, столь искренно заблудившиеся (подчеркнуто нами. — И. В.)» — подобные эпитеты плохо сочетаются с подлежащим безоговорочному осуждению предметом.

Ещё одна странность: в тексте адреса наличествуют, казалось бы, незаметные, но на самом деле весьма существенные различия. «Злодейство» изображается автором не по обычному охран-

тельному шаблону — как некая мрачная, сомкнутая и нерасчлененная сила, а, так сказать, многоступенчато. Вначале «явились люди не верующие ни в народ русский, ни в правду его»; затем пришли упомянутые «нетерпеливые разрушители»; эти последние, в свою очередь, «подпали наконец под власть силы тёмной, подземной, под власть врагов имени русского, а затем и всего христианства». Таким образом, намечены три звена, вовсе не одинаковые и не равные друг другу. И если два последних расшифровываются довольно просто (это радикально настроенная молодёжь и воздействующие на неё «нелегалы», профессиональные цареубийцы), то первая, смутно обозначенная ступень этой триады заслуживает особого внимания.

Ибо здесь подразумеваются именно те, кто, по мнению Достоевского, являются духовными предтечами современного нигилизма — нигилисты нравственные: прекраснодушные (и равнодушные) люди 40-х годов.

Приведём эту мысль так, как она была выражена в первоначальной редакции (не вошедшие в печатный текст слова поставлены в квадратные скобки): «Рядом с истинными и горячими сердцем слугами Отечеству явились люди [равнодушные сердцем, ленивые], не верующие ни в народ русский, ни в правду его, ни даже в Бога его, [а вслед за сими пришли не верующие даже и в человечество и живущие только чтоб как-нибудь дожить свои годы спокойнее]*²⁶. От них-то и произошли «нетерпеливые разрушители».

Вина если и не снимается с революционеров-семидесятников, то в значительной мере перекладывается на всё образованное общество в целом, не исключая «верхов».

Разумеется, такая «обоюдоострая» трактовка не могла вызвать у руководителей русской правительственной политики должного идеологического удовлетворения. Не потому ли первоначальный текст адреса подвергается последующей правке?

На сохранившемся беловом списке Анна Григорьевна оставила чёткую пояснительную запись: «Адрес Славянского Благотвори-

* Из круга деятелей 40-х годов, с которыми общался Достоевский, эта характеристика — в персональном плане — более всего приложима к таким фигурам, как В.П. Боткин — тонкий эстетик и гурман, в равной мере знаток духовных и чувственных наслаждений (как язвительно заметил Тургенев, у Василия Петровича Боткина — несколько ртов: эстетический, философский и т. п., и всеми он чавкает).

тельного Общества, поднесённый им Е<го> И<мператорскому> В<еличеству> Государю Императору Александру II 19 февраля 1880 года, в день двадцатипятилетия Его царствования, был составлен по желанию Совета Славянского Общества Ф.М. Достоевским, товарищем Председателя Общества. Адрес этот был представлен А.А. Киреевым на просмотр тогдашнему Министру Внутренних Дел Макову. Министр, просмотрев адрес, просил сделать некоторые изменения, указав отдельные места, найденные им неудобными. Настоящий адрес, списанный с подлинника, есть первоначальный»²⁷.

Подлинник ныне находится в той же архивной папке. Отдельные места отчёркнуты на полях карандашом; рядом кратко помечено: «снять». Во исполнение министерской воли рукой Достоевского внесены соответствующие исправления.

Одобрения Макова не вызвало и место о славянском единении («о единении только общими фразами» — указал на полях министр); по его требованию были сняты также слова о человечестве, которое предчувствует уже «своё великое будущее разрушение»²⁸.

Итак, в качестве редактора сочинённого Достоевским текста выступает один из высших сановников империи — Лев Саввич Маков²⁹. Его замечания идут по трём направлениям.

Во-первых, он сглаживает слишком дробную классификацию различных степеней нигилизма и ослабляет указания на его духовные истоки (все эти *литературные* тонкости раздражают власть, предпочитающую видеть перед собой злобного, примитивного и единообразного врага). Во-вторых, в видах высшей политики приглушаются панславистские мотивы. И наконец, убирается эсхатологический момент, вовсе не уместный в юбилейном словоговорении.

Впрочем, в окончательной редакции осталось упоминание об «исходе всей тоски русской»: фраза выдаёт автора.

Однако автора выдаёт и многое другое.

В сугубо *ритуальный* текст Достоевский умудряется вложить практически полезный, можно даже сказать, утилитарный смысл. Отсюда повышенная идеологичность документа: он — своего рода «подсказка» верховной власти. Достоевский пытается «внедрить» в сознание монарха ту нехитрую формулу, о которой уже упоминалось выше: «царь — отец, народ — дети». А раз так, то «дети всегда придут к отцу своему *безбоязненно*, чтобы заслу-

шал от них с любовью о нуждах их и о желаниях...» Отсюда уже один шаг до «позовите серые зипуны» — того, что будет всенаодно высказано через год, в последнем «Дневнике».

Автор адреса явно торопит события.

«Юбилейное» отодвигается на второй план, зато самым настоятельным образом подчёркивается один момент, выглядящий в произведениях подобного жанра двусмысленно и чужеродно: «Мы верим в свободу истинную и полную, живую, а не формальную и договорную, свободу детей в семье отца любящего и любви детей верящего, — свободу, без которой истинно русский человек не может себя и вообразить»³⁰.

Вспомним: «Ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит».

То, что как руководство к действию обозначено в адресе Александру II, через несколько месяцев подвергается жёсткому сомнению — в записи «для себя». Ибо формула «отец—дети» — не столько признание существующей исторической данности, сколько указание на историческую *возможность* — желаемую, долженствующую осуществиться.

В послании, адресованном российскому самодержцу, Достоевский делает главный упор на своей этико-исторической программе. Русской монархии предлагался идеал, не совместимый ни с её собственной исторической сутью, ни с её действительными политическими намерениями.

Это прекрасно понял не кто иной, как высочайший адресат.

Верноподданный нигилист

Официальная версия гласила: «Адрес этот был доложен Государю Министром внутренних дел, и Государь повелел: “Благодарить Славянское общество за выраженные им верноподданнические чувства”»³¹.

Однако сохранилось ещё одно — неофициальное, но в высшей степени ценное свидетельство. Анна Григорьевна (женщина замечательно аккуратная) на дошедшей до нас рукописи адреса (как раз на первоначальной его редакции) сделала следующее примечание: «Этот адрес, исправленный по указанию Министра внутренних дел Л.С. Макова, был представлен Государю Императору Александру II 19 февраля 1880 года. По словам министра,

Государь по прочтении адреса «соизволил» выразиться, что «Он никогда не подозревал Славянское Благотворительное Общество в солидарности с нигилистами»³².

Поразительный факт: адрес, подвергнутый министерской редакции, даже в таком виде вызвал августейшее недовольство (или по крайней мере августейшую иронию). Александр II оказался более проницательным читателем, нежели его министр*.

И — политически более «зрелым», чем всё Славянское благотворительное общество, где «проект адреса был единогласно одобрен и покрыт многочисленными подписями», чему, возможно, способствовало ораторское искусство Достоевского, который, как засвидетельствовал позже К.Н. Бестужев-Рюмин, «наэлектризовал всё собрание, читая *своё исповедание веры*»³³ (подчеркнуто нами. — *И. В.*).

До председателя Славянского благотворительного общества, по всей вероятности, ещё не дошёл императорский сарказм. Зато сарказм этот, надо полагать, хорошо запомнился министру внутренних дел, оказавшемуся, несмотря на все свои усилия, столь некомпетентным редактором и цензором. Маков не разобрался в истинной подоплёке слегка подправленного им документа и со спокойной совестью препроводил его выше. За что и получил высочайший нагоняй³⁴.

Правда, упрекая Славянское благотворительное общество в «солидарности с нигилистами», государь скорее всего шутил. Однако в монаршей (как и во всякой) шутке была доля истины. Ибо то, что от лица Общества осмеливается предлагать Достоевский, по своему нравственному радикализму «рифмовалось» с радикализмом политическим.

Эту «рифму» остро чувствовали некоторые проницательные современники.

* Здесь возможно одно возражение. А именно — что слова, сказанные государем, вовсе не содержали насмешки и должны быть понимаемы буквально. Но почему вдруг императору вздумалось *оправдываться* перед Славянским благотворительным обществом? Да и само построение фразы было бы в таком случае иным: «никогда и не подозревал» и т. д. В данном же контексте «никогда не подозревал» равнозначно по смыслу «вот уж никогда не думал» и проч.

Парадоксы графа де Воллана

Уже упомянутый ранее граф де Воллан (публицист и дипломат, человек достаточно консервативных убеждений) пишет в своих «Очерках прошлого»: «Он фурьерист», — сказал про него Суворин. И совершенно правильно. Пускай внимательно прочтут его творения и убедятся, что он радикальнее Щедрина... Люди, которые начитаются Достоевского, начнут требовать коренного исправления социального строя и не удовольствуются буржуазным парламентаризмом. Они поставят вопрос ребром, чтобы не было бедности».

Итак, современник Достоевского и безусловный поклонник его таланта полагает, что автор «Бесов» радикальнее самого Салтыкова-Щедрина (не говоря уже об участниках тургеневского обеда!). Мнение достаточно парадоксальное, тем более что де Воллан толкует о «коренном исправлении социального строя», иначе — о полном пересоздании общественных отношений.

Де Воллан передаёт слова Достоевского о том, что «он когда-то был за петрашевцев, но давно излечился и от души ненавидит всех революционеров». Допустим, что эти слова действительно были произнесены собеседником графа (они вполне могли быть им произнесены). Однако отношения Достоевского с русской революцией неизмеримо сложнее его собственных самооценок.

То, о чём предпочли бы умолчать многие единомышленники де Воллана, вдруг выговаривается им самим с поразительной откровенностью. «В случае революции, — пишет граф, — Достоевский будет играть большую роль».

Что же имеет в виду автор этого поистине ошеломляющего заявления (которое, как ни странно, оставалось практически неизвестным: нам не удалось встретить ни одного упоминания о нём в литературе)? Уж наверно, не то заманчивое обстоятельство, что Достоевский лично пошёл бы на баррикады или же — в согласии со своей «ненавистью» к революционерам — против баррикад. Подразумевается совсем иное: центральная роль Достоевского в той предполагаемой нравственной ситуации, которую может создать русская революция.

Он — человек экстремы, человек последних вопросов — и, конечно, он будет «выброшен» социальной катастрофой на историческую авансцену. Волею судеб он (или его созда-

ния) должен очутиться в горниле раскалённых общественных страстей.

В первую очередь имеется в виду его исключительный духовный авторитет.

«Он овладел молодыми умами, — продолжает де Воллан, — он говорит сердцу человека, возвышает вас, его проповедь страданий как нельзя более подходит к общему настроению молодёжи. Щедрин — это наш Вольтер, а Достоевский — Руссо, и влияние его скажется через двадцать, тридцать лет».

Прогноз чрезвычайно знаменательный, равно как и сопоставление Достоевского с Руссо — в плане *исторического кануна*. Но позволительно спросить о другом.

Почему именно «проповедь страданий», то есть как раз то, в чём обычно принято упрекать Достоевского, так «подходит к общему настроению молодёжи»? Не потому ли, что она, эта проповедь, отвечает тайной, неодолимой и неизбывной потребности — «жертвовать собой за правду» — тому, что Достоевский определял, если вспомнить, как «национальную черту поколения»?

Страдание воспринимается его молодыми читателями не только как средство личной нравственной гигиены, но и как общественный долг.

Вспомним: «Его бы казнили».

«...Учение Достоевского, — заключает де Воллан, — так же революционно, как и учение Христа, несмотря на то, что в нём воздаётся кесарю — кесарево».

В адресе Славянского благотворительного общества кесарю воздаётся кесарево (хотя при этом сам «кесарь» превращается в кого-то иного). Но, может быть, «заодно» и меч кесаря удостоивается авторского благословения?

Тут следует возвратиться к злополучной фразе об «уничтожении народа», к сюжету, который уже рассматривался выше.

Если верить де Воллану, Достоевский, приведя вышеуказанную фразу, добавил: «Они (то есть авторы этой фразы. — *И. В.*) похожи на гг. генералов вроде Гурко, которому ничего не значит сказать: “Я сошлю, повешу сотню студентов”. Да, они такие же, как г. Гурко»³⁵.

Это ещё одно сенсационное заявление.

Иосиф Владимирович Гурко — герой Русско-турецкой войны, в 1879 году был назначен генерал-губернатором Петербурга. На этом посту он всячески стремился поддержать свою

боевую репутацию: например, подписал смертный приговор Дубровину. Начальствуя в столице, генерал не останавливался перед самыми крутыми административными мерами (правда, заменив покушавшемуся на Дрентельна Мирскому смертную казнь вечной каторгой, герой Шипки удостоился царской реплики, что в данном случае он «действовал под влиянием баб и литераторов»³⁶).

Имя Гурко названо, как помним, рядом с редактором «Отечественных записок»: трудно вообразить более нелепое сочетание! Выходит, что Достоевский ставит на одну доску и тех, кого мы привычно именуем революционными демократами, и тех, кто по долгу службы им противостоит.

Угроза генерал-губернатора, кем-то Достоевскому переданная (уж не его ли высокопоставленными знакомыми?), угроза, подтверждаемая к тому же практическими действиями, вызывает у него такой же ужас и отвращение, как и фантастическое намерение «прогрессистов» «уничтожить народ».

Итак, правительство оказывается не менее виновным, чем те, против кого направлены его беспощадные удары. И русская революция, и русская реакция ставятся на одну доску: они происходят, по мнению Достоевского, из одного общего источника. Главная причина того и другого — вековой разрыв с народом. Отсюда следовало, что взаимоистребительное противоборство ни к чему не приведёт: оно бессмысленно, ибо не устраняет корень зла.

Он не сочувствует прибегающему к драконовским мерам правительству в той же мере, в какой не сочувствует жестокому натиску террористов. Он не принимает их борьбу как историческую необходимость.

Он вынашивает собственное решение.

Да, в адресе Славянского благотворительного общества кесарь получил кесарево. Но получил сравнительно немного. Взамен же от него потребовали гораздо большего: его попытались обратить в чужую веру.

Но государство вновь не пожелало перевоплощаться в «Церковь». За царской шуткой о «солидарности с нигилистами» проглядывало плохо скрываемое недовольство теми идеальными умствованиями, которые никоим образом не соответствовали видам государственной власти.

Ибо в феврале 1880 года Александру II было не до смеха.

Источники информации

Остаётся выяснить последнюю деталь: каким образом и когда высочайший отзыв (совершенно неофициальный) стал известен Анне Григорьевне Достоевской.

Исходя лишь из почерка, бумаги и чернил, невозможно установить, когда именно Анна Григорьевна дополнила текст адреса своим письменным комментарием. Но думается, что это было сделано через некоторый промежуток времени после самого события, во всяком случае — уже после смерти Достоевского.

Кто же был информатором Анны Григорьевны?

В своей записи она ссылается на слова министра. Однако никаких сведений о её личном знакомстве с Маковым у нас нет (да и вряд ли при этом он стал бы пускаться в такие откровенности). Поэтому естественно предположить, что мнение государя было сообщено министром внутренних дел кому-то из «своих», то есть лицу, близко стоящему к правительственным и придворным сферам.

Анна Григорьевна говорит, что проект адреса был представлен Макову через А.А. Киреева. Очевидно, через него же он был передан обратно — для доработки. Таким образом, именно Киреев служил в данном случае посредующим звеном между Славянским благотворительным обществом и правительственной властью*.

Можно предположить, что именно Кирееву — как лицу заинтересованному — Маков доверительно сообщил императорское мнение о представленном адресе. Эти сведения не подлежали огласке — и генерал, человек светский, сдержал обещание, надо полагать, данное им министру. Но смерть Александра II, а вскоре и Макова, освободила Киреева от данного слова, и он счёл возможным поведать о высочайшей «резолуции» либо самой Анне Григорьевне (которая аккуратно и без каких-либо рассуждений это зафиксировала), либо кому-то из общих знакомых — с последующей передачей той же Анне Григорьевне.

* Генерал А.А. Киреев, поборник распространения православия на католический Запад, и его сестра О.А. Новикова (консервативная публицистка) — знакомые Достоевского. Разумеется, генерал, «состоящий при великом князе Константине Николаевиче», — самая подходящая фигура для ведения дел с министрами.

Но справедливо ли полностью исключить предположение, что самому автору адреса ничего не было известно об отзыве государя? Ведь в предсмертном сказанном о царе «что-то уж долго не верит» можно усмотреть следы какого-то личного чувства: обиды, что ли. Не был ли сделан Достоевскому какой-то намёк относительно того, о чём знал Маков и, весьма возможно, Киреев?

Впрочем, роль Киреева как посредника не ограничилась подачей адреса. Через некоторое время он стал участником ещё одного эпизода, который, как представляется, находится в некоторой связи с предыдущим.

глава VII

недреманное око

Загадочный аноним

12 июня 1875 года Анна Григорьевна писала из Старой Руссы в Эмс: «Я решительно не понимаю, почему письмо моё от 31 мая отправлено отсюда 3-го июня, это Бог знает что такое! Поговорю об этом на почте, но вперёд знаю, что ответят какой-нибудь вздор и скажут, что задерживают письма в Петерб<урге>. Уж не Готский ли распорядился доставлять ему мои письма ради наблюдения...»¹

Имя Готского названо не случайно. Он — едва ли не главный источник тех неожиданных волнений, которые смутили размеренную жизнь Достоевских в Старой Руссе.

В апреле 1875 года главе семьи пришлось хлопотать о заграничном паспорте. Процедура была привычной: с 1862 года она проделывалась неоднократно. Тогда, в 1862 году, его, недавно возвращенного из Сибири бывшего государственного преступника, одолевали сомнения: позволят ли?² Паспорт выдали; правда, при повторных обращениях время от времени возникала ведомственная переписка.

«Кто он такой?» — вопрошал в 1867 году далёкий от изящной словесности шеф жандармов. «Автор «Мёртвого дома» и других литературных произведений»², — дал точную справку один из более образованных чиновников.

...Уехав в 1867 году вместе с молодой женой, он вернулся только через четыре года. Ему удалось таким образом избавиться на время от кредиторов. Спаситься от опеки государства было сложнее. Пока он переезжал из одного города Европы в другой, в III Отделение поступил агентурный донос: его имя называлось в числе пребывающих в Женеве «экзальтированных русских». В вину вменялись близкие отношения с Огарёвым.

Заграничный осведомитель сгущал краски: русской эмиграции будущий автор «Бесов» явно сторонился. Что же касается Огарёва, то здесь скорее имела место душевная приязнь, основанная на давнем знакомстве, на личных, а вовсе не политических симпатиях.

Тем не менее было заведено дело. Генерал-майор свиты его величества и шеф жандармов Н.В. Мезенцов (возможно, скорбевший, что не проявил в своё время надлежащей бдительности) отдал следующее распоряжение: «При возвращении из-за границы в Россию отставного поручика Фёдора Достоевского произвести у него самый тщательный осмотр, и если что окажется предосудительное, то таковое немедленно представить в III Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, препроводив в таком случае и самого Достоевского арестованным в это Отделение»³.

Этот совершенно секретный циркуляр был направлен на все западные и южные таможи России (до николаевской и евпаторийской включительно), через которые Достоевскому вздумалось бы вернуться на родину.

Его предупредили.

«Я слышал, что за мной приказано следить, — пишет он из Швейцарии А.Н. Майкову. — Петербургская полиция вскрывает и читает *все* мои письма... Наконец, я получил анонимное письмо о том, что меня подозревают (черт знает в чём), велено вскрывать мои письма и ждать меня на границе, когда я буду въезжать, чтобы строжайше и нечаянно обыскать»⁴.

Любопытно бы знать: из каких источников почерпнул Достоевский эту столь важную для него информацию? «Я слышал...» — но от кого же? Круг его знакомых за границей очень узок, и среди

них мы не знаем никого, кто бы имел свободный доступ к секретам русской политической полиции. Еще более загадочной выглядит ссылка на анонимного доброжелателя: кто в России, кроме самых близких родных и знакомых, знал его тщательно скрываемый от отечественных кредиторов и всё время меняющийся европейский адрес?*

Возникает предположение (требующее, конечно, дальнейшей проверки): не получил ли Достоевский свои сведения именно из той среды, которая должна была в первую очередь (профессионально!) интересоваться такого рода вещами? А именно — из кругов русской эмиграции, обосновавшейся в Швейцарии.

Нелишне вспомнить, какую поразительную осведомленность проявлял в подобных случаях Герцен, не только публиковавший наисекретнейшие документы III Отделения и других правительственных ведомств, но даже извещавший находящихся за границей соотечественников о посланных в Европу за государственный счёт тайных соглядатаях — с полным оглашением их места службы и звания. Именно Герцен обнародовал в 1862 году в «Колоколе» подготовленный тогдашним шефом жандармов В.А. Долгоруковым список лиц, подозреваемых в сношениях с «лондонскими пропагандистами» (этих лиц надлежало задерживать на границе и подвергать обыску): в списке значился и Достоевский⁶.

Не исключено, что и на этот раз жандармский циркуляр стал прежде всего известен в герценовско-огарёвском кругу, а затем — доведён до сведения заинтересованного лица.

Это тем более вероятно, что вплоть до сентября 1868 года (письмо Майкову писано в августе) Достоевский с семьёй проживает в Швейцарии, сначала в Женеве, а затем — после смерти трёхмесячной дочери Сони — в Веве, куда, кстати, посоветовал переехать тот же Огарёв (и даже обещал приискать адрес)⁷.

Общение с Огарёвым во время пребывания Достоевского в Женеве протекает достаточно интенсивно: его имя то и дело мелькает в дневниках Анны Григорьевны. Он достает для Досто-

* Анна Григорьевна тоже упоминает об анонимном письме, но замечательно, что она говорит о нём не как *воспоминатель* (то есть не указывает на известный лично ей факт получения письма), а скорее как *биограф-исследователь*: отсылает читателя всё к тому же письму Достоевского к Майкову, называя в сноске место его первой публикации⁵.

евского книги и сам в свою очередь впервые прочитывает врученное ему автором «Преступление и наказание» («Он говорил, — стенографически записывает в своём женевском, лишь недавно расшифрованном дневнике Анна Григорьевна, — что прочёл половину романа и, как кажется, она ему очень понравилась»). Он, сам постоянно нуждавшийся, в критический момент вырывает Достоевского шестьюдесятью франками (просили триста, но Огарёв «даже ужаснулся, услышав о такой громадной для него сумме»⁸). Во всяком случае, у неизвестного наблюдателя были все основания считать их отношения дружескими*.

Однако так ли таинственен этот соглядатай?

1 марта (н. ст.) 1868 года Достоевский пишет Майкову из Женевы: «С священником я не познакомился. Но вот родится ребёнок — придётся сойтись».

Дочь Соня родится через четыре дня и, разумеется, будет крещена. Это таинство мог совершить только священник русской православной церкви в Женеве Афанасий Константинович Петров.

В уже приводившемся выше письме к Майкову Достоевский пишет: «...а так как женевский священник, по всем данным (заметьте, не по догадкам, а по фактам), служит в тайной полиции, то и в здешнем почтамте (женевском), с которым он имеет тайные сношения, как я знаю заведомо, некоторые из писем, мною получаемых, задерживались»¹⁰.

Столь категорическое указание, содержащее к тому же намёк на абсолютную надёжность сообщаемой информации («не по догадкам, а по фактам», «знаю заведомо»), не оставляет ни малейших сомнений в том, что сами факты получены из первых рук. Предупредив Достоевского, Огарёв (или его друзья) выполнил свой долг.

* Анна Григорьевна отзывается об Огарёве очень тепло (именуя его «добрым и хорошим человеком»): «...мы оба были всегда рады его посещениям». Может быть, помимо прочего, Достоевского сближало с Огарёвым наличие у обоих падучей болезни. В результате одного из эпилептических приступов Огарёв упал в канаву и сломал ногу. 10 марта 1868 года Герцен извещает сына о больном: «...главное — его слишком тормозат: Бакунин, Утин, Достоевский, Мерчинский, Чернецкий, Данич, мы и все его женевские собутыльники...»⁹ Названы русские и польские эмигранты: Достоевский оказался здесь в интересной компании.

Через много лет Достоевский выпишет из «Отверженных» В. Гюго понравившуюся ему цитату: «Il avait la religion de ses fonctions et il était espion comme on est prêtre» («Он свято чтит свои обязанности, и он был шпионом, как бывают священником». — *фр.*)¹¹. В «Дневнике писателя» 1877 г. с неожиданной горечью замечено, что находятся священнослужители, которые на иные обращаемые к ним вопросы, «если уж очень потребуются от них ответы, — ответят... пожалуй ещё доносом...»¹²

Подтвердились ли подозрения Достоевского относительно женевского иерея? Трудно сказать. Но, несомненно, именно А.К. Петрову (ибо больше некому) пришлось крестить и отпевать их первенца — Соню. И, возможно, исповедовать обоих супругов. Осталась ли нерушимой тайна исповеди? Как бы там ни было, они не прерывали знакомства, о чём свидетельствует письмо жены Петрова, отправленное Достоевским во Флоренцию в январе 1869 года. Отвечая на просьбу своего бывшего женевского знакомого (это письмо Достоевского до нас не дошло), матушка посылает ему 200 франков, извиняясь, что не может послать больше¹³. «Мой муж вам кланяется», — добавляет она. Надо всё же надеяться, что заём был произведён не из сумм тайной полиции.

...Тогда, в 1868-м, отвечая на жалобы Достоевского, Майков — по своей прикосновенности к делу петрашевцев сам некоторое время состоявший под полицейским надзором, — поспешил успокоить своего корреспондента: «И немудрено, что швейцарская корреспонденция читается: мало там русских и польских революционеров живёт!.. Не знаю, при вас или без вас — было тайное распоряжение... читать все письма к Каткову и Аксакову, и в числе подозрительных личностей, с ними переписывавшихся, был пойман — кто бы вы думали? — наследник Алекс<андр> Александрович. Что же нам-то с вами обижаться, если и он отнесён к категории подозрительных... Итак, насчёт этого пункта можете быть спокойны и относиться к нему только с юмором».

Майков даже полагал, что чтение их писем посторонними лицами могло бы принести известную пользу. «Хотя, — добавляет он, — писали мы их, не предполагая, чтобы из-за плеча кто-нибудь запускать в них глазнапа»¹⁴. Вряд ли, однако, Достоевского могла слишком утешить та мысль, что он в качестве наблюдаемого лица оказался в одной компании с наследником престола.

И наконец, возникает ещё одно имя.

Встреча в Женеве

В марте 1868 года на одной из улиц Женевы Достоевский случайно встречает Герцена. «Десять минут поговорили враждебно-вежливым тоном с насмешками, — сообщает он в письме к Майкову, — да и разошлись».

Не совсем понятно: откуда взялся этот враждебно-вежливый тон? Ведь ни о какой явной ссоре Достоевского с Герценом нам ничего не известно.

Еще сравнительно недавно (в 1865 году) Достоевский, находясь в совершенно отчаянном положении (он сидел без копейки денег в Висбадене), обратился к Герцену за ссудой. В ожидании ответа он пишет А.П. Сусловой: «... С Герценом я в очень хороших отношениях, и, стало быть, быть не может, чтоб он во всяком случае мне не ответил... Он очень вежлив, да и в отношениях мы дружеских».

Через день он настойчиво повторяет ту же мысль: «Быть не может, чтоб Герцен не хотел отвечать! Неужели он не хочет отвечать? Этого быть не может. За что? Мы в отношениях прекраснейших, чему даже ты была свидетельницей»¹⁵.

Правда, по своим политическим убеждениям они достаточно далеки друг от друга. Но ведь не мешает же последнее обстоятельство самым тёплым отношениям с Огарёвым. Да и с самим Герценом отношения — в 1865 году — «прекраснейшие». Меж тем с 1865 по 1868 год не произошло ничего такого, что в общественном плане могло бы их развести¹⁶.

Пожалуй, некоторое охлаждение могло наступить всё из-за той же просимой из Висбадена ссуды. Герцен наконец отозвался (извинившись промедлением: он был в горах), но вместо просимых 400 франков предложил только 150 гульденов. Предложил, но не прислал с тем же письмом, в котором содержалось предложение. Это несколько покорило Достоевского. «Прислал бы 150, — с обидой пишет он Сусловой, — и сказал бы, что не может больше. Вот как дело делается»¹⁷.

Не ясно, воспользовался ли в конце концов Достоевский предложением Герцена, но во всяком случае этот незначительный эпизод вряд ли мог стать причиной для разрыва. Всего за каких-нибудь полгода до их встречи на женевской улице Огарёв сообщал Герцену: «Сейчас был у Мёртвого дома, который тебе кланяется. Бедное здоровье»¹⁸.

С чего бы Достоевскому, недавно передававшему поклон автору «Былого и дум», говорить с ним враждебно? Повторяем: политические идеалы могут быть различны (и в письмах к Майкову это всячески подчёркивается), но ведь при случайной встрече не обязательно заниматься их обсуждением. Кроме того, ни у Герцена, ни у Достоевского мы не обнаруживаем признаков той взаимной неприязни, которая характеризует отношения, скажем, Достоевского и Тургенева*.

И всё же у автора письма Майкову были серьёзные причины именно для такой тональности. Во-первых, не следует забывать, что он сообщает о своей встрече с Герценом *в Россию*, где не так давно людей привлекали к уголовной ответственности за сношения «с лондонскими пропагандистами». И если бы о встречах с Герценом стало известно III Отделению (уже информированному о связях его с Огарёвым, чьё имя, кстати, в письмах Достоевского в Россию не названо ни разу), то подобные сведения, надо полагать, не способствовали бы упрочению и без того не очень прочной политической репутации бывшего государственного преступника. Во-вторых, Достоевский писал не кому-нибудь, а Майкову: от этого адресата трудно было ожидать симпатий к издателю «Колокола».

Казалось бы, в сообщении о встрече с Герценом можно усмотреть момент определённой политической игры. Если Достоевский догадывался или знал, что его письма подвергаются перлюстрации, то он, разумеется, мог рассчитывать на правительственное любопытство и в этом случае. Он полагал вернуться скоро в Россию: естественно, что доверяемая русской почте информация о встрече с Герценом и могла быть выдержана только в таком «враждебно-вежливом» тоне.

Дело, однако, в том, что письмо Майкову русской почте не доверялось. Оно было отправлено в Петербург с оказией — при посредстве сестры Анны Григорьевны М.Г. Сватковской. Поэтому у Достоевского не было необходимости «шифроваться»: он говорит о своих подозрениях *открытым текстом*. Но, с дру-

* Можно предположить, что в Женеве имела место не одна «случайная» встреча с Герценом, а *несколько* — скорее всего в доме у больного Огарёва. Заметим, что приведённые выше взаимные упоминания (о встрече с Герценом и о посещениях Достоевским Огарёва) относятся к одному и тому же времени — марту 1868 года.

гой стороны, очевидно, всё-таки учитывается вероятность того, что послание может попасть в чужие руки (случайная утеря письма, обыск или досмотр на границе, а главное, возможность ознакомления с текстом третьих лиц — как это произошло с полученным Майковым от Достоевского письмом с описанием его баденской ссоры с Тургеневым, и т. д.). Во всяком случае, Майков, имеющий обширные связи, мог дать этому письму некоторую огласку.

Поэтому допустимо, что негодование автора рассчитано и на других адресатов. Общество в лице Майкова ставится в известность, что Достоевский знает о неосновательных и вздорных против него подозрениях. Указание же на таинственное «анонимное письмо» имеет целью *скрыть* настоящий источник: не на разговоры же с политическими изгнанниками было в самом деле ему ссылаться!

Кстати, против существования «анонимного письма» (из России) можно привести следующий аргумент: если *его* письма подлежали просмотру, то где гарантия, что аналогичной процедуре не подвергались письма *к нему*?

Об анонимном письме он сообщает Майкову 2 августа 1868 года. Но ведь ещё в апреле Майков писал ему: «Одно очень высокостоящее лицо... сказала мне, что очень немудрено, что ваша переписка с Достоевским читается, потому что вы — литераторы». Это тоже своего рода предупреждение благополучно достигло Женевы и, вероятно, повлияло на некоторые политические акценты в эпистолярной Достоевского.

Он пишет Майкову: «Но каково же [это] вынести человеку чистому, патриоту, предавшемуся им до измены своим прежним убеждениям, обожающему государя, — каково вынести подозрение в каких-нибудь сношениях с какими-нибудь полячишками или с Колоколом! Дураки, дураки! Руки отваливаются невольно служить им. Кого они не просмотрели у нас, из виновных, а Достоевского подозревают!»¹⁹

Тут интересны два момента. Во-первых, грубое, предельно доходчивое (едва ли не в намеренно примитивной форме) объяснение «им» настоящего положения вещей. И во-вторых, степень осведомлённости: он не только знает, что его подозревают, но и совершенно точно указывает, в чём именно.

К подобной «игре» с властью прибегал не один Достоевский. У него были славные предшественники.

Тайны супружеские и полицейские

29 мая 1834 года Пушкин назидал отъехавшую в родовое имение Наталью Николаевну: «Лучше бы ты о себе писала, чем о Sollogoub, о которой забираешь в голову всякий вздор — на смех всем честным людям и полиции, которая читает наши письма»²⁰.

О полицейских забавах сказано вскользь и — насмешливо. Однако за этой усмешкой — предостережение. Негласный полицейский надзор (автор письма состоит под ним с 1826 года) выражает себя в формах, которые мало изменятся за следующие полвека: перлюстрация занимает среди них далеко не последнее место.

«Я не писал тебе потому, — возвращается Пушкин через несколько дней к той же теме, — что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство, à la lettre. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (*inviolabilité de la famille*) невозможно: каторга не в пример лучше»²¹.

Несмотря на «бешенство» (столь извинительное в подобных обстоятельствах), даётся изящная и отточенная формулировка. Пожалуй, даже слишком отточенная для супружеского письма. Но Пушкин и не думает скрывать своих намерений: «Это писано не для тебя...» — добавляет он тут же, не оставляя ни малейшего сомнения в том, кому на самом деле адресована его сентенция.

«...Будь осторожна... — говорит Пушкин в другом супружеском послании, — вероятно, и твои письма распечатывают: этого требует государственная безопасность»²².

В 1868 году письма Пушкина к жене ещё не были опубликованы. Но Достоевскому и не требовалось их знать, чтобы (скорее всего инстинктивно) избрать ту вынужденную ситуацией тактику, когда она (ситуация) такова, что *третий* собеседник остаётся незримым.

Довести свои соображения до сведения власти можно было, только используя её эпистолярное любопытство. Или — простительную в данных обстоятельствах нескромность друзей.

Предупреждение, полученное в 1868 году, запомнилось надолго. Через три года, возвращаясь в Россию, он решается взять свои меры.

«За два дня до отъезда, — вспоминает Анна Григорьевна, — Фёдор Михайлович призвал меня к себе, вручил несколько тол-

стых пачек исписанной бумаги большого формата и попросил их сжечь». Анне Григорьевне расставаться с бумагами, естественно, не хотелось. «Но Фёдор Михайлович напомнил мне, что на русской границе его несомненно будут обыскивать и бумаги от него отберут, а затем они пропадут, как пропали все его бумаги при его аресте в 1849 году». Делать было нечего. «Мы растопили камин и сожгли бумаги. Таким образом погибли рукописи романов «Идиот» и «Вечный муж»... Мне удалось отстоять только записные книжки...»

Надо полагать, уничтожались не одни лишь авторские рукописи. По всей вероятности, огню были преданы все сколько-нибудь компрометирующие бумаги (письма Герцена и Огарёва?), а также документы, могущие пролить свет на источник и характер полученных Достоевским «анонимных» предостережений.

...Первое свидание с родиной состоялось в Вержболове. Жан-дармское предписание (трёхлетней давности) нимало не утратило своей свежести: их задержали.

«Как мы предполагали, — продолжает Анна Григорьевна, — так и случилось: на границе у нас перерыли все чемоданы и мешки, а бумаги и пачку книг отложили в сторону. Всех уже выпустили из ревизионного зала, а мы трое (в 1869 году родилась вторая дочь — Люба. — *И. В.*) оставались, да ещё куча чиновников, столпившихся около стола и разглядывавших отобранные книги и тонкую пачку рукописи. Мы стали беспокоиться, не пришлось бы нам опоздать к отходящему в Петербург поезду, как наша Любочка выручила нас из беды, — бедняжка успела проголодаться и принялась так голосисто кричать: «Мама, дай булочки», что чиновникам скоро надоели её крики и они решили нас отпустить с миром, возвратив без всяких замечаний и книги и рукопись»²³.

Анна Григорьевна мягко тушит сцену, внося в неё ноту семейного лиризма: окажись в отобранном багаже что-либо предосудительное, детский плач вряд ли бы помог.

Теперь вернёмся к 1875 году, к хлопотам по поводу очередного заграничного паспорта. И — к упомянутому выше Готскому.

В Петербурге заграничные паспорта нужно было испрашивать у градоначальника; находясь же в Старой Руссе — у новгородского губернатора. Дабы выяснить необходимые подробности, Анна Григорьевна направилась к старорусскому исправнику. «Получив мою карточку, исправник тотчас же пригласил меня в свой кабинет, усадил в кресло и спросил, какое я имею

до него дело. Порывшись в ящике своего письменного стола, он подал мне довольно объёмистую тетрадь в обложке синего цвета. Я развернула её и, к моему крайнему удивлению, нашла, что она содержит в себе: «Дело об отставном подпоручике Фёдоре Михайловиче Достоевском, находящемся под секретным надзором и проживающем временно в Старой Руссе». Я просмотрела несколько листов и рассмеялась.

— Как? Так мы находимся под вашим просвещённым надзором, и вам, вероятно, известно все, что у нас происходит? Вот чего я не ожидала!

— Да, я знаю всё, что делается в вашей семье, — сказал с важностью исправник, — и я могу сказать, что вашим мужем я до сих пор очень доволен»²⁴.

Следует отдать должное служебной откровенности полковника Готского: очевидно, в его обязанности не входило знакомить жён своих подопечных с делами их мужей, а тем более давать эти документы им в руки. Но зато автор «Бесов» знал теперь с абсолютной точностью, что он всё ещё состоит под негласным полицейским надзором. Поэтому малейшие задержки в семейной переписке объясняются супругами просто: проделками Готского.

«Ясное дело, что письма в старорусском почтамте задерживают и непременно вскрывают, и очень может быть, что Готский, — откликается Достоевский на высказанное Анной Григорьевной подозрение. — Непременно, Аня, говори, кричи в почтамте, требуй, чтоб в тот же день было отправлено. Это чёрт знает что такое!»²⁵

Меж тем как раз в то время, когда это письмо достигало Старой Руссы, в канцеляриях Министерства внутренних дел решался вопрос об освобождении отставного подпоручика Фёдора Михайловича Достоевского от полицейского надзора.

Обременённое многочисленными текущими заботами министерство предприняло попытку упорядочить своё разбухшее делопроизводство и избавиться от ряда поднадзорных «мёртвых душ» — тех, кто к середине 70-х годов уже не представлял реальной опасности для спокойствия государственного. В списке лиц, подлежащих освобождению от секретного надзора в городе Петербурге, оказалось 32 человека — и 9 июля 1875 года список был утверждён.

Одновременно с Достоевским полицейский надзор снимался с титулярного советника Александра Сергеевича Пушкина²⁶.

Надо заметить, что в этом решении обнаруживается одна странность. В служебной переписке, посредством которой решался вопрос о дальнейшей участи автора «Преступления и наказания», совершенно не фигурируют компрометирующие его материалы 1867 года (а именно — женевский донос о сношениях его с Огарёвым и последовавшее за сим распоряжение о его осмотре на русской границе). Более того: ещё годом раньше, отвечая на запрос о Достоевском (по поводу выдачи ему заграничного паспорта), 3-я экспедиция III Отделения, в чьём ведении должны были находиться эти материалы, сообщала, что у неё о Достоевском «сведений нет».

Позволительно спросить: уж не действовала ли тогда, в 1868 году, и теперь, в 1875-м, одна и та же рука? Иначе говоря, не исходило ли «анонимное письмо» от того же лица (или лиц), которое ныне сознательно скрыло от начальства именно те сведения, какие в 1868 году были заблаговременно сообщены Достоевскому?

Казалось бы, подобное предположение уничтожает нашу прежнюю версию: выходит, женевские эмигранты ни при чём. Но не допустим ли здесь некий промежуточный вариант: в 1868 году анонимный доброжелатель из недр III Отделения (уж не предшественник ли Клеточникова?) по известным ему каналам предупреждает русскую эмиграцию в Женеве, а та в свою очередь — Достоевского; в 1875 году то же лицо отстраняет от писателя угрозу навсегда остаться под полицейским надзором? Разумеется, всё это не более чем гипотезы, требующие для своего подтверждения или опровержения дальнейших разысканий.

Самого Достоевского не сочли нужным известить об изменении его административного положения — и он, равно как и Анна Григорьевна, пребывал в полной уверенности, что всё ещё находится под полицейской опекой. Поэтому понятны опасения Анны Григорьевны, высказанные ею в письме 1879 года: «Всё вижу восхитительные сны, но боюсь их рассказывать тебе, а то ты Бог знает что пишешь, а вдруг кто читает, каково?» И Достоевский вполне разделяет её резоны: «И если б не смущало то, что ты говоришь про почтовую цензуру, Бог знает бы что написал тебе»²⁷.

Это — почти текстуально! — совпадает с пушкинским: «Пожалуйста, не требуй от меня нежных, любовных писем. Мысль, что мои распечатываются и прочитываются на почте, в полиции, и так далее — охлаждает меня, и я поневоле сух и скучен»²⁸.

И — ещё в одном письме: «...если почта распечатала письмо мужа к жене, так это её дело, и тут одно неприятно: тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом... Никто не должен знать, что может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни»²⁹.

Опасения Анны Григорьевны относились именно к «тайне семейственных сношений»: нетрудно догадаться, что сдержанная подруга Достоевского вовсе не склонна верить эту тайну попечению правительства.

Положение делалось всё более унижительным. Было невыносимо, что самодовольный и глуповатый Готский, рисуясь перед Анной Григорьевной, благосклонно разрешал передать мужу, «что он ведёт себя прекрасно» и он, Готский, рассчитывает, что её супруг и впредь не доставит ему хлопот³⁰. И всё это относилось к нему, известному всей читающей России; к нему, поносимому либералами и не признаваемому нигилистами; к нему, вхожему в дома великих князей и пользующемуся их августейшим расположением.

Такому двусмысленному и нетерпимому состоянию следовало положить конец.

Случай для этого представился: он, как думается, находился в некоторой связи с юбилейным адресом Славянского благотворительного общества.

Докладная записка министру внутренних дел

Как говорилось выше, все переговоры с Маковым относительно адреса вёл А.А. Киреев. Но в функции министра внутренних дел входили не только просмотр и исправление адресов на высочайшее имя. От него не в малой степени зависело, кому именно надлежит состоять под полицейским надзором.

Ещё в 1868 году Достоевский писал Майкову: «Не обратиться ли мне к какому-нибудь лицу, не попросить ли о том, чтоб меня не подозревали в измене Отечеству... и не перехватывали моих писем? Это отвратительно!»³¹ Но что он мог сделать, находясь в Швейцарии? Да если бы даже такое обращение и было предпринято тогда (то есть сразу после доноса), оно вряд ли имело бы шансы на успех.

Теперь ситуация была иной.

Очевидно, мысль обратиться к Макову через Киреева возникла у Достоевского в февральские дни 1880 года. Приведём в этой связи следующий документ.

10 марта

Многоуважаемый Фёдор Михайлович,

Я виделся сегодня утром с Л.С. Маковым, который повторил мне то, что я Вам уже передавал. Снятие с Вас полицейского надзора не встретит *никакого* препятствия, но так как никто кроме вас не имеет права делать какие-либо заявления от вашего имени, то для достижения желаемого результата необходимо, чтобы вы потрудились написать Министру докладную записку вроде той, которую я вам передал (NB, не забудьте наклеить марку в 60 коп.). Для большей *скорости* потрудитесь [доставить] записку вашу ко мне.

Искренне ваш А. Киреев.

Стремянная, № 5³².

Из письма Киреева следует, что он уже зондировал почву. Надо думать, первоначально Достоевский полагал, что неофициального, но вполне авторитетного ходатайства Киреева будет достаточно, чтобы вопрос решился положительно. Однако министр указал на необходимость надлежащей формальной процедуры.

Неизвестно, ориентировался ли Достоевский на какой-то упоминаемый Киреевым (очевидно, аналогичный) документ: до нас дошёл только его собственный черновик.

Докладная записка отставного подпоручика Фёдора Михайловича Достоевского.

Всемиловейшим производством меня в прапорщики в 1856 году из [рядовых] унтер-офицеров 7-го Сибирского линейного батальона, в который вступил я [из] по отбытии четырёхлетних каторжных работ 2-го разряда в Омской крепости, мне были возвращены все мои гражданские права, утраченные мною за участие в деле о преступной пропаганде в 1849 году в Петербурге. На паспорте моём, выданном мне при

отставке 30 июня 1859 года в городе Семипалатинске, не значится, чтобы я был под присмотром полиции, тем не менее присмотр сей продолжается, как то мне напр. было сообщено [бывшим С.-Петербургским генерал-губернатором князем Суворовым] в 3-м Отделении Собственной его величества канцелярии, в которую я, отправляясь за границу, всегда должен был обращаться с особою просьбою, и, наконец, ещё в 1875 году, когда я, проживая зиму 1874—1875 годов в г. Старой Руссе, узнал от самого старорусского исправника, что состою у него под надзором.

Со времени моего помилования и возвращения мне гражданских прав протекло 25 лет. На сотнях страниц высказал я и высказываю свои убеждения, и политические и религиозные. Убеждения эти, я надеюсь, таковы, что не могут подать повода к тому, чтобы заподозрить мою политическую нравственность, поэтому я и позволяю себе просить, дабы полицейский надзор за мною был прекращён³³.

Прежде всего поражает тон. Автор записки твёрд, сдержан, исполнен чувства собственного достоинства. В конце — он даже несколько высокомерен и насмешлив. Здесь нет *сильных* выражений, нет ничего от кипевшего в его письмах негодования («подозревают чёрт знает в чём», «чёрт знает что такое» и т. п.). Но зато отсутствует и другое: не выставляется ни одного заискивающего аргумента (как то: чистота намерений, патриотизм, любовь к государю и проч. — то есть те добродетели, на которые указывалось в частном письме — Майкову). Он как бы намеренно предпочитает «оставаться при факте»: строго придерживаться формально-юридического взгляда на вещи. Но за этим лаконическим, спокойным, деловым слогом — ощущение правоты. Он не укоряет власть и не ищет её расположения: он говорит с нею на равных.

При этом автор обнаруживает незнание некоторых полицейских тонкостей. Адресаты его записки могли усмехнуться довольно наивному заявлению просителя, что в его паспорте не значится, чтобы он был «под присмотром полиции». «Не значится» именно потому, что «присмотр» был секретным.

Черновик выдаёт и некоторые колебания автора. Так, пишется, а затем вычеркивается имя бывшего петербургского генерал-губернатора князя Суворова. В 1863 году князь Итальянский

(«гуманный внук воинственного деда», по язвительному слову Тютчева) немало способствовал получению Достоевским заграничного паспорта, и благодарный проситель опасается бросить на его имя невольную тень.

...Административный механизм сработал на сей раз довольно быстро. Маков отнёсся в III Отделение: он излагал поступившую к нему записку и просил почтить его, Макова, «уведомлением о вашем по настоящему ходатайству г. Достоевского заключении». Прежде чем направить таковое в Министерство внутренних дел, чиновники III Отделения вновь подняли свои архивы и составили о ходатае обстоятельную справку. И хотя нынешний шеф жандармов (а им к этому времени уже успел стать — по совместительству — Лорис-Меликов) был лицом, очевидно, более эрудированным, нежели покойный Мезенцов, чиновник, составлявший справку, не преминул на всякий случай заметить: «Фёдор Достоевский известный наш литератор». Одна эта — почти отеческая — интонация уже говорила в пользу просителя.

31 марта 1880 года III Отделение с лёгким сердцем ответило министру внутренних дел, что «со времени освобождения Достоевского в 1875 году от надзора в III Отделении не производилось никакой переписки о подчинении его вновь гласному или секретному надзору полиции»³⁴.

Не ясно, получил ли наконец Достоевский официальное уведомление о снятии с него полицейского надзора (такой бумаги в его архиве не обнаружено), или же ему сообщили об этом устно*, но во всяком случае последние десять месяцев своей жизни он мог чувствовать себя *вполне* свободным.

И всё же во всей этой истории был один тонкий, почти неуловимый, но, очевидно, не совсем безразличный для него нюанс.

Цена свободы

Докладная записка Макову была подана почти сразу же вслед за адресом на высочайшее имя. Конечно, здесь не было ника-

* В документах Министерства внутренних дел значится, что «ему было объявлено» об этом «на поданную им в 1880 году докладную записку». «Объявлено», очевидно, всё-таки устно (лично или через Киреева), ибо письменный документ такой важности был бы непременно сохранён Анной Григорьевной.

кой видимой связи, и ему не хотелось бы думать, что кто-нибудь может усмотреть таковую. И все же... Сам факт его авторства (в случае с адресом) должен был иметь в глазах министра внутренних дел определённый политический смысл. Выступление известного русского писателя в этом специфическом жанре как бы свидетельствовало о его политической благонадежности. Макова мало трогали авторские идеи, сокрытые в тексте адреса (да и он, как мы видели, не очень-то умел в них вникать); он тоже предпочитал «оставаться при факте».

Факт же говорил сам за себя.

Независимо от желания Достоевского (и даже вопреки ему) адрес Славянского благотворительного общества мог выглядеть *как плата*. Здесь тоже был момент игры: баш на баш. Конечно, подай он докладную записку до адреса, дело, надо полагать, кончилось бы тем же: ведь надзор как-никак был уже снят. Но он-то этого не знал. Со стороны могло показаться, что он воспользовался случаем.

Чтобы избавиться от одного унижения, нужно было пойти на риск испытать другое. Ему могли отказать — и в этой ситуации адрес явился бы сильным козырем. Один этот текст в глазах правительства мог перевесить те «сотни страниц», на которые не без скрытой гордости указывал он в своей докладной записке.

Тем знаменательнее, что даже в таком — чрезвычайном — случае он не поступился ничем: адресуясь прямо к государю, он высказал только то, во что искренне верил. Чем и навлек неволью на Славянское благотворительное общество полускрытый монарший упрёк.

Интересно: обратился бы он к министру, если бы до него дошли подлинные слова Александра II?

Тут уместна одна аналогия.

В 1854 году, в Семипалатинске, он вздумал сочинить тёплые патриотические стихи на актуальную тему: только что был оглашён манифест — начиналась война с коалицией. Неуклюжая попытка вторгнуться в пределы чужеродного жанра обнаруживала искренние, хотя и не очень искусно выраженные поэтические чувствования. Однако дальнейшие упражнения в версификации (приуроченные ко дню рождения вдовствующей императрицы и к торжествам по случаю коронации и заключения мира) дышали натужным пафосом и лирическим хладом. («Читал твои стихи и нашёл их очень плохими. Стихи не твоя специальность»³⁵, —

лаконически заметит ему старший брат, не подозревавший о будущих гениальных откровениях капитана Лебядкина.)

Однако худо-бедно, а стихи выполнили свою *служебную* функцию: пошли по инстанциям, были доложены начальству и вызвали его одобрение. Рядовой 7-го Сибирского линейного батальона теперь с большим основанием мог рассчитывать на перемену судьбы.

Судьба действительно переменилась (он был произведён в унтер-офицеры, а затем получил первый офицерский чин), но «сверхзадача» так и не была решена. Главная цель, ради которой он готов был предпринять и не такие поэтические подвиги, эта цель оставалась столь же недостижимой, как и раньше. Новый государь, согласившись на производство его в прапорщики, приказал «учредить за ним секретное наблюдение впредь до совершенного удостоверения в его благонадёжности и затем уже ходатайствовать о дозволении ему печатать свои литературные труды»³⁶.

Это было в 1856 году. Именно с этого момента началась негласная государственная опека, продолжавшаяся почти двадцать лет (он полагал, что двадцать пять). Казалось бы, по точному смыслу высочайшего предписания «секретное наблюдение» должно было прекратиться с того момента, когда ему дозволят печататься; на деле «совершенное удостоверение» в его благонадёжности отодвинулось почти на два десятилетия.

Да и наступило ли оно вообще?

Если Александр II знал (а точно ли он не знал?), кто является автором поднесённого ему текста, тогда его недоумение кажется не столь уж странным. Упрёк Славянскому благотворительному обществу (даже смягчённый высочайшей усмешкой) выглядел несправедливо. Чего нельзя сказать о намёке в адрес бывшего политического преступника: повод с его стороны для «солидарности с нигилистами» мог бы отыскаться всегда.

Его давние стихи преследовали чисто утилитарную цель: доказать. Доказать действенность наказания, искренность раскаяния, лояльность. У адреса 1880 года задача была совершенно иная: *указать*. Указать власти на возможность такого мироустройства, при котором самодержавие и свобода станут надёжнейшими гарантом друг друга.

Но указание на второе из этих понятий свидетельствовало о тайном сомнении в первом.

Разумеется, адрес, как и стихи, тоже не был его *специальностью*. Но он, сочинитель, не превратился в слепое орудие жанра: сам жанр был побеждён и вынужден был служить его целям.

Глава VIII

СВИДЕТЕЛЬ КАЗНИ

Государственный переворот

Итак, проект адреса был принят в общем собрании Славянского благотворительного общества. Это произошло 14 февраля. На следующий день в петербургских газетах появился именной указ от 12 февраля об учреждении Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Ей вменялось в обязанность «положить предел беспрепятственно повторяющимся в последнее время покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государственный и общественный порядок».

Правительство вышло из недельного шока, последовавшего за взрывом в Зимнем. Диктатура, к которой не уставали призывать «Московские ведомости», была наконец установлена.

Однако это была диктатура особого рода. Дело заключалось в имени. Главным начальником Верховной распорядительной комиссии стал граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов.

Выходец из древнего армянского рода, боевой генерал и недавний покоритель Карса, он привлёк к себе внимание России

не только этим победоносным штурмом. Уже в мирное время ему удалось одержать верх над ветлянской чумой, поразившей устье Волги и страшившей жителей обеих столиц. (Впрочем, поговаривали, что последняя победа досталась графу даром: чума прекратилась ещё до его прибытия.) Будучи в 1879 году назначен генерал-губернатором Харькова, он ухитрился не повесить там ни одного человека (не в пример своим коллегам в Киеве, Одессе и Петербурге), чем и завоевал симпатии поражённых таким обстоятельством либералов.

Его не зря называли «вице-императором»: дарованные ему полномочия были почти безграничны. Ему предоставлялась власть «делать все распоряжения и принимать вообще все меры, которые он признаёт необходимыми... как в С.-Петербурге, так и в других местностях империи»¹. Он становился главноначальствующим в городе Петербурге, ему подчинялись III Отделение и корпус жандармов. «Человек со стороны», далёкий от двора и почти неизвестный в высших сферах, превращался в фактического правителя России. «Ни один временщик, — признавался он впоследствии, — ни Меншиков, ни Бирон, ни Аракчеев — никогда не имели такой всеобъемлющей власти»².

«Диктатура полнейшая, — записывает 15 февраля в своём дневнике А.А. Киреев. — Вице-император. Что ж, если настоящему Императору не удаётся сладить с нигилистами, то пусть ладит кто иной. Государю-то, пожалуй, вешать не слишком удобно»³. И повторяет ту же мысль в письме сестре — О.А. Новиковой: «Делегация почти царской власти Лорису есть полуабдикация (отречение от престола. — *И. В.*), с другой стороны, что же делать?»⁴

Учреждение Верховной распорядительной комиссии было своего рода государственным переворотом сверху.

С первых же шагов Лорис-Меликов постарался показать, что будет пользоваться вручённой ему властью с известной осторожностью. Его обращение «К жителям столицы» было составлено в решительном и одновременно *намекающем* тоне.

«Не давая места преувеличенным и поспешным ожиданиям, — заявлял начальник Верховной распорядительной комиссии, — могу обещать лишь одно — приложить всё старание и умение к тому, чтобы, с одной стороны, не допускать ни малейшего послабления и не останавливаться ни пред какими строгими мерами для наказания преступных действий, позорящих наше

общество, а с другой — успокоить и оградить законные интересы благомыслящей его части. Убеждён, что встречу поддержку всех честных людей, преданных Государю и искренно любящих свою родину, подвергшуюся ныне столь незаслуженным испытаниям».

Далее следовало самое примечательное: «На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти к возобновлению правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества»⁵.

К обществу впервые обращались по-человечески; более того — обращались *с просьбой*. К подобному языку не привыкли.

Так начиналась «диктатура сердца».

У Достоевского могли явиться некоторые надежды, что программа, изложенная им 14 февраля (этим же днём помечено обращение Лорис-Меликова), имеет хоть какой-то шанс осуществиться. Как же отнёсся он к столь резкому повороту государственной жизни и — к самому Лорис-Меликову?

Опасения и упования

Первое, что его беспокоит, это в чьих руках окажется дело. Он настойчиво вопрошает Суворина («Точно я что-нибудь знал», — скромно замечает последний), «хорошими ли людьми окружает себя Лорис, хороших ли людей пошлёт он в провинцию? Ведь это ужасно важно. А хорошие люди есть, выбирать есть из чего». Как и всегда, Достоевского волнует не форма, а суть, чисто человеческая сторона проблемы. Для него не столь важно, хороши или плохи те или иные установления: он хочет знать, кто будет проводить их в жизнь.

Он желает убедиться в исторической компетентности нового руководителя государства, в глубине его ретроспективного понимания русской жизни. «Да знает ли он, — не отстаёт от Суворина Достоевский, — отчего всё это происходит, твёрдо ли знает он причины?..»

Иными словами: понимает ли Лорис свою миссию только в первом приближении — как непосредственную борьбу с крамолой, или же у него достанет сил пойти вглубь, осознать проблему, которую он призван решать, не в категориях привычного, инерционного, сугубо бюрократического мышления, а в контексте

всей русской истории? «Ведь у нас все злодеев хотят видеть...»⁶ — сердито добавляет Достоевский, и похоже, что в данном случае его раздражение направлено против тех, кто полагает простым искоренением «злодеев» искоренить само злодейство.

15 февраля (то есть в день, когда появилось воззвание Лорис-Меликова) Софья Ивановна Смирнова (Сазонова) посетила Достоевского.

Она записывает в дневнике: «Б<ыла> у Достоевского. Он сидит больной, недавно б<ыл> припадок. Рассказывает мне план св<оего> романа. Гов<орит> о Верховной комиссии, о том, как Лорис-Меликов будет ловить революционеров, о том, что его воззвание «К общ<еству>» плохо редактировано...»⁷

Он пребывает в двух жизненных кругах одновременно: в своём всё время расширяющемся романном мире и в том, который свидетельствует о себе со столбцов сегодняшних газет. Эти круги незримо связаны между собой. Кто знает, может быть, и Смирновой-Сазоновой он поведал о том же, о чём в эти дни толковал с Сувориным: об Алёше, совершающем «политическое преступление» и гибнущем на эшафоте.

«Говорит... как Лорис-Меликов будет ловить революционеров» — в этом нейтральном неразвернутом сообщении можно ощутить всё тот же акцент: опасение, что дело ограничится только административными мерами.

Он знал силу слова — и ему, писателю, не понравилась редактура (в своё время первое, что сделал Огарёв, разбирая в «Полярной звезде» коронационный манифест Александра II, — это выбрал *стиль**). Но ведал ли он о том, что воззвание Лорис-Меликова (как недавно выяснилось) было составлено близким к Суворину публицистом К. Скальковским по образцу возваний Наполеона III, а затем отредактировано самим Сувориным?⁹ (Кстати, этот малоизвестный факт объясняет некоторые недомолвки суворинских воспоминаний: может быть, издатель «Нового времени» сообщил Достоевскому о своём участии в политическом дебюте Лорис-Меликова, почему тот и донимал его вопросами.)

* «Мне скажут, что это маловажно, — писал Огарёв. — Нет! Не маловажно! Это значит, что правительство не умеет найти грамотных людей для редакции своих законов... Это явление страшное, которое приводит в трепет за будущность, ибо носит на себе печать бездарности»⁸.

И всё-таки, несмотря на все свои опасения, он надеялся: «Я ему (Лорис-Меликову. — *И. В.*) желаю всякого добра, всякого успеха...»

20 февраля, по свидетельству Суворина, «он был необыкновенно весел». Издатель «Нового времени», просидевший у него два часа, утверждает, что он «радовался замирению» (именно *так* поняты им последние новости) и с большим оптимизмом смотрел в будущее: «Вот увидите, начнётся совсем новое. Я не пророк, а вот вы увидите. Нынче все иначе смотрят»¹⁰.

Так говорит Суворин в своих воспоминаниях. Теперь обратимся к его дневниковой записи, повествующей о тех же событиях. Хотя текст этот достаточно хорошо известен, имеет смысл остановиться на нём ещё раз.

Христос у магазина Дациаро

20 февраля Суворин посетил Достоевского: «Он занимал бедную квартиру. Я застал его за круглым столиком его гостиной набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. Оно как будто носило на себе печать пота. Я, вероятно, не мог скрыть своего удивления, потому что он, взглянув на меня и поздоровавшись, сказал:

— А у меня только что прошёл припадок. Я рад, очень рад.

И он продолжал набивать папиросы».

Естественно, разговор зашёл о недавнем взрыве в Зимнем дворце. «Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться».

Обратим внимание: речь касается *нравственной оценки*.

«Представьте себе, — говорил он, — что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждёт и всё оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завёл машину». Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец

предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городо-
вому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

— Нет, не пошёл бы...

— И я бы не пошёл. Почему? Ведь это ужас. Это — преступле-
ние. Мы, может быть, могли бы предупредить...»¹¹

«Если сравнить, — пишет Л.П. Гроссман, — эти колебания
Достоевского с его чрезвычайно мужественной и честной пози-
цией на политических допросах 1849 года, придётся пожалеть
об упавшей общественной морали великого романиста»¹².

Мы поостереглись бы делать столь решительное умозаклю-
чение. Ибо колебания свидетельствуют как раз об обратном:
о самом пристальном, самом жгучем внимании как раз к пробле-
мам общественной морали.

В 1849 году он действительно вёл себя мужественно и честно:
поступал в соответствии со своими убеждениями. Он не отрёкся
ни от чего, во что искренно верил; не выдал никого из своих това-
рищей и друзей.

Теперь, в 1880 году, он «моделирует» совершенно иную нравственную
ситуацию. А именно: как должно вести себя по отношению к своим
политическим противникам в минуту двойной смертельной опасно-
сти. Опасности, во-первых, для них самих, а во-вторых, для других
(в том числе не только для царя: десять убитых и пятьдесят искалечен-
ных солдат Финляндского полка — по-видимому, не последняя вели-
чина в условиях этой поставленной самому себе задачи).

Рассматриваются две возможности: просто пойти предупре-
дить — и тем самым предотвратить взрыв и гибель людей — или
обратиться к городовому, чтобы он задержал преступников.

Оба этих варианта по размышлении отвергаются.

Тут следует вновь обратиться к его предсмертному спору
с Кавелиным.

Выше уже приводилась запись о том, что инквизитора, «сожи-
гающего еретиков» в согласии со своими убеждениями, нельзя
признать нравственным человеком. Через несколько страниц
Достоевский вновь возвращается к этой теме.

«Проливать кровь вы не считаете нравственным, но проливать
кровь по убеждению вы считаете нравственным. Но, позвольте,
почему безнравственно кровь проливать?»¹³

Это моральная проблема Родиона Раскольникова.

Действительно: если пролитие «крови по совести» (то есть
в согласии с внутренним убеждением) допустимо (а именно так

полагает Раскольников), тогда в принципе допустимо *любое* пролитие крови, ибо подходящие «убеждения» всегда найдутся. Убийство может быть оправдано соображениями высшей целесообразности, но от этого само по себе оно не становится моральным актом.

«*Нравственно*, — записывает Достоевский, — только то, что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы её воплощаете».

Раскольникова погубила эстетика: перешагнув порог этический, он споткнулся именно на ней — оказался «эстетической вошью». Сходная участь постигла и Ставрогина («Некрасивость убьёт, — прошептал Тихон, опуская глаза», — после того как выслушал исповедь Ставрогина о растлении им двенадцатилетней Матрёши).

Этика, не совпадающая с идеалом красоты, грозит своему адепту самоуничтожением.

«Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос, — ещё раз приведём запись в последней тетради. — Спрашиваю: сжёг ли бы он еретиков, — нет. Ну так, значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный»¹⁴.

Против этой записи, на полях, он ставит NB, три плюса и два восклицательных знака.

В споре с Кавелиным Достоевский оперирует примерами историческими. Сжигание еретиков — это эпоха Великого инквизитора, «ночь средневековья».

Но у него есть аргументы и поновее.

«Помилуйте, — записывает Достоевский, — если я хочу по убеждению, неужели я человек нравственный. Взрываю Зимний дворец, разве это нравственно»¹⁵.

Попробуем в данном случае применить тот же критерий, который принимает сам Достоевский.

Христос, взрывающий Зимний дворец, — это выглядит чудовищно.

Но намного ли лучше выглядит Христос, *доносящий* полиции на тех, кто взрывает?

В разговоре с Сувориным Достоевский говорит, что он мысленно перебрал все причины, которые могли бы заставить его донести на взрывателей. «Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто — боязнь прослыть доносчиком»¹⁶.

Думается, что в последнем случае Достоевский кое-что недоговаривает. Среди «непозволяющих» причин были не только одни «ничтожные».

В той же записной тетради сказано: «...иногда нравственнее бывает не следовать убеждениям, и сам убежденный, вполне сохраняя своё убеждение, останавливается от какого-то чувства и не совершает поступка»¹⁷.

Донос — даже в соответствии с убеждениями — не становится от этого эстетически ценным. «Некрасивость» убийства не выкупается «красотой» предательства.

Как же должен был поступить Христос (или, что легче представить, Алёша Карамазов), окажись он у магазина Дациаро? Лично схватить преступников или кликнуть городского, то есть вмешать в дело «кесаря»? Броситься в Зимний дворец и погибнуть вместе с взрываемыми?

Из этого положения не было выхода.

«Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния»¹⁸ — так передаёт Суворин слова Достоевского. Выставляется причина внешняя и, по сути, не главная. «До отчаяния» могла скорее довести собственная совесть — колебание нравственное.

Либералы, однако, упомянуты не случайно. Отношение либерального общества к политическому террору своей двусмысленностью подавало повод вспомнить поведение Ивана Карамазова, уезжающего перед убийством отца в Чермашню. Такая нравственная позиция невыносима для Достоевского. Но, как сказано, невыносима и мысль о возможности политического доноса (уж никак не совпадающего с «чувством красоты»).

Вопрос о личном моральном самоопределении оставался открытым.

Ещё один промах

В те самые часы, когда Достоевский вёл долгую беседу с издателем «Нового времени», собеседники ещё не знали, что на улицах Петербурга происходит нечто, имеющее самое непосредственное отношение к их сегодняшнему разговору.

Около двух часов дня 20 февраля граф Лорис-Меликов возвращался домой после похорон графини Протасовой. Карета главного начальника Верховной распорядительной комиссии оста-

новилась на углу Большой Морской и Почтамтской — у дома, где квартировал граф. Городовые, стоявшие у подъезда, замерли и взяли под козырёк. Михаил Тариелович уже поднялся было на крыльцо, как вдруг, по словам газетного отчёта, «какой-то человек, оборванный, грязно одетый, подскочил с правой стороны к графу и, уперев револьвером в правый бок графа, ближе к бедру... выстрелил и тотчас уронил пистолет из рук».

Лорис-Меликов не был даже ранен. Боевой генерал, он не счёл возможным бежать с поля боя.

«Граф... ни на секунду не теряя присутствия духа, сбросил шинель и соскочил на тротуар, чтобы схватить преступника»¹⁹. Но того уже взяли: взятие, натурально, сопровождалось избиением. Граф направился в дом, пошутив с народом, что его пули не берут. Преступника связали и увезли; при этом он попросил застегнуть на себе сюртук, чтобы не простудиться.

Покушавшимся оказался двадцатичетырехлетний крещёный еврей Ипполит Осипович Млодецкий, мещанин города Слуцка Минской губернии.

Некоторое время назад Млодецкий скитался по Петербургу, и его подозрительно часто встречали на Дворцовой площади. Как лицо без определённых занятий, он был выслан из столицы на родину. В Минске он несколько ночей добровольно провёл в участке, платя за полицейское гостеприимство перепиской рапортичек. Затем похитил револьвер системы «ляфаше» и исчез, чтобы объявиться уже в новом качестве.

Млодецкий действовал на свой страх и риск: его поступок не был санкционирован «Народной волей». Он хотел нанести удар непременно 19 февраля, но, не зная Лорис-Меликова в лицо, замедлил на сутки.

Вместо ожидаемых в дни юбилейных торжеств взрывов, пожаров и прочих ужасных катаклизмов раздался один-единственный выстрел, так и не достигший цели.

Тем не менее событие произвело сильнейшее впечатление — и в России, и за границей.

«В заграничных газетах пишут, — отмечает в своём дневнике С.И. Смирнова-Сазонова, — что выстрел Млодецкого стоил России 12 миллионов. Пишут также, что вопрос о падении нашей династии — вопрос только времени. Нетерпеливые ожидания революции в России; фантастич<еские> иллюстрации с представлениями взрывов и поимки нигилистов...»²⁰

Заграничные газеты писали о падении династии, русские — поругивали полицию за нерасторопность. «С полицейскими повторилась известная история: они брали под козырёк в то время, когда надо было схватить злодея и обратить внимание на близстоящих»²¹.

Как же отнёсся к событию Достоевский?

«Покушение на жизнь графа Лорис-Меликова его смутило, — свидетельствует Суворин, — и он боялся реакции. “Сохрани Бог, если повернут на старую дорогу”».

Свидетельство, если вдуматься, знаменательное. Оно показывает, чего опасался Достоевский в первую голову. Разумеется, он не одобряет покушений, но негодование его в данном случае обращено не столько на преступника, сколько на очевидную неуместность его деяния. Его страшат последствия. Он боится ответных — кровавых — действий со стороны власти. Он говорит о той провокативной роли, какую может сыграть (и, как мы знаем, до сих пор играет) политический экстремизм — эта прелюдия к политической реакции.

В своих воспоминаниях Суворин пишет: «Во время политических преступлений наших он ужасно боялся резни, резни образованных людей народом, который явится мстителем. “Вы не видели того, что я видел, — говорил он, — вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи”»²².

Может быть, эти страхи тоже следует объяснять болезненным воображением Достоевского?

Но вот что говорит о народных толках в те февральские дни такой трезвый наблюдатель, как граф де Воллан. «Кто желает убить царя — господу, потому что он дал волю. Это семя, брошенное умелою рукою, может взрасти в чудовищно-грозный призрак...»

В призрак контрреволюции.

«...В народе, — продолжает де Воллан, — идёт глухой ропот, что во взрыве (в Зимнем дворце. — *И. В.*) виноваты сановники, господу и что фабричные перевернут вверх дном Петербург и будут бить всякого в немецком платье... Все представляют себе, в какой ярости будет народ»²³.

«Вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости...» — говорит Достоевский.

Здесь не только неприятие того, что Пушкин называл «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным», не только естественное отвращение к разгулу слепой и кровавой стихии.

В этих словах — ужас перед провокацией. Перед белым террором — стихийным или направляемым сверху, перед охотничьим, взявшим на себя защиту «народной правды».

Это ужас не только пугачёвщины, но и — Вандеи.

Да, он был убеждённым противником революционных мер. Однако не в меньшей степени, чем революции, автор «Бесов» страшится *контрреволюции*.

«Сохрани Бог, если повернут на старую дорогу».

«На старую дорогу», окаймлённую долгим рядом виселиц, окончательно повернули через год — после 1 марта: правда, этого Достоевский уже не увидел.

Одна виселица, впрочем, была воздвигнута.

Два утра с интервалом в тридцать лет

Суд над Млодецким оказался скорым. К вечеру того же дня, 20 февраля, следствие было закончено. На следующий день, в половине одиннадцатого утра, обвиняемый предстал перед С.-Петербургским военно-окружным судом, который в час полудни вынес приговор. 22 февраля Млодецкий был повешен²⁴.

Достоевский присутствовал при казни.

Какие причины заставили его сделать это? Зачем понадобилось ему вставить чуть свет (ему, «сове», привыкшему к ночной работе и поздним пробуждениям) и, ещё не оправившись после недавнего припадка, тащиться на Семёновский плац, присутствовать, быть свидетелем, *видеть*?

26 февраля, через четыре дня после казни Млодецкого, великий князь Константин Константинович заносит в свой дневник впечатления о бывшем у него вечере — «с Достоевским и дамами».

«Так как мне неловко принимать дам у себя, — записывает будущий К. Р., — то Мама́ пригласила гостей в свои парадные комнаты, а сама она, по болезни, конечно, не будет показываться... Вечер начался в 9 часов в угловом малиновом кабинете и прошёл весьма благополучно. По выражению Льва Толстого, мы подавали Достоевского его любителям как изысканное кушанье».

В этой утончённой дворцовой обстановке, в присутствии дам самого высшего общества Достоевский заводит разговор совершенно несветский: о том, что он видел *там*.

«Достоевский ходил смотреть казнь Млодецкого, — продолжает молодой Романов, — мне это не понравилось, мне

было бы отвратительно сделаться свидетелем такого бесчеловечного дела; но он объяснил мне, что его занимало всё, что касается человека, все положения его жизни, его радости и муки. Наконец, может быть, ему хотелось повидать, как везут на казнь преступника, и мысленно вторично пережить собственные впечатления. Млодецкий озирался по сторонам и казался равнодушным. Фёдор Михайлович объясняет это тем, что в такую минуту человек старается отогнать мысль о смерти, ему припоминаются большею частью отрадные картины, его переносит в какой-то жизненный сад, полный весны и солнца. И чем ближе к концу, тем неотвязнее и мучительнее становится представление неминуемой смерти. Предстоящая боль, предсмертные страдания не страшны: ужасен переход в другой, неизвестный образ...»²⁵

Внук Николая I, некогда пославшего его нынешнего гостя на эшафот, излагает слова самого Достоевского, передаёт его впечатления. Собеседник великого князя достаточно с ним откровенен. Но кое о чём он предпочитает умалчивать.

Попытаемся же восстановить всю картину.

Слух о казни Млодецкого распространился к вечеру 21 февраля: именно слух, так как о предстоящей казни утренние газеты сообщить не успели. На Семёновском плацу трудились плотники. Поздно вечером поручик Судоплатов осмотрел эшафот, а также уже послужившие в своё время Дубровину «позорные дроги», которые согласно инструкции надлежало немедленно «по исполнении казни вернуть обратно в крепость»²⁶.

21 февраля, очевидно ещё до первых известий о приговоре (или по крайней мере до известий о времени и месте казни), двадцатипятилетний Всеволод Гаршин написал письмо, адресованное Лорис-Меликову.

«Ваше сиятельство, — обращается к диктатору молодой писатель, — простите преступника! В Вашей власти не убить его человеческую жизнь... Помните... что не виселицами и не каторгами, не кинжалами, револьверами и динамитом изменяются идеи, ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения. Простите человека, убивавшего Вас! Этим Вы казните, вернее скажу — положите начало казни *идеи*, его пославшей на смерть и убийство, этим же Вы совершенно убьёте нравственную силу *людей*, вложивших в его руку револьвер, направленный вчера против Вашей честной груди».

О времени исполнения приговора Гаршину стало известно ещё до отправления этого письма. И он делает следующую приписку: «Сейчас услышал я, что завтра казнь. Неужели? Человек власти и чести! Умоляю Вас, умиротворите страсти, ради преступника, ради меня, ради Вас, ради Государя, ради родины и всего мира, ради Бога»²⁷.

Это крик души — души ужаснувшейся и потрясённой.

Справедливо замечено, что письмо Гаршина по своему замыслу и аргументации предвосхищает позднейшие призывы Вл. Соловьёва и Льва Толстого к Александру III о помиловании первоартовцев. Но оно является также и своеобразным комментарием к приводившейся выше записи Достоевского о казни Квятковского и Преснякова (хотя эта запись сделана значительно позднее), к кругу «повторяющихся» идей, владевших им в последний год его жизни. Письмо Гаршина свидетельствует о реальности (и в известной мере даже типичности) тех общественных умонастроений, на которые пытался опереться автор Пушкинской речи в поисках выхода из исторического тупика.

Трудно сказать, узнал ли когда-нибудь об этом послании Достоевский. Но он мог знать о другом: о событиях, случившихся после отсылки гаршинского письма и ставших вскоре известными в литературных кругах.

В ночь с 21 на 22 февраля, не надеясь, очевидно, на действительность своей эпистолы, Гаршин в чужой, «важной» шубе явился домой к Лорис-Меликову и, несмотря на поздний час, был принят.

...Какой между ними произошёл разговор — никому не известно. По одной версии, Гаршин, рыдая, на коленях умолял Лорис-Меликова помиловать Млодецкого, по другой — грозил ему, говоря, что у него под ногтями сокрыты пузырьки с ядом и ему ничего не стоит, оцарапав графа, отправить его на тот свет²⁸.

Любезному, умеющему располагать к себе людей Лорис-Меликову удалось успокоить Гаршина — и тот уехал домой, надеясь, что всеильный генерал что-нибудь предпримет. В это время на Семёновском плацу заканчивали последние приготовления.

...Народ стал собираться с семи часов утра: газеты оценивают общее количество собравшихся тысяч в шестьдесят. Люди усеяли крыши домов, высокие мишени семёновского стрельбища и даже забирались на крыши вагонов Царскосельской железной дороги.

Виселица, сколоченная из трёх балок, и врытый подле неё позорный столб были, как и полагалось, выкрашены чёрной краской. Рядом воздвигли платформу для представителей власти, которые не замедлили прибыть: градоначальник Зуров, чиновники военно-окружного суда и другие начальствующие лица.

Вокруг виселицы были построены в каре четыре батальона гвардейской пехоты с отрядом барабанщиков впереди. С внешней стороны каре разместился жандармский эскадрон.

Общая картина (за исключением деталей) должна была напоминать 22 декабря 1849 года.

...Прошлой зимой Достоевский был на очередной «пятнице» у Якова Петровича Полонского. Полонские жили тогда на углу Николаевской и Звенигородской — с видом на Семёновский плац.

Хозяин «сам подвёл Достоевского к окну, выходящему на плац, и спросил:

— Узнаёте, Фёдор Михайлович?

Достоевский заволновался.

— Да... Да!.. Ещё бы... Как не узнать?..»²⁹

Через много лет Анна Григорьевна сделала к тому месту «Идиота», где описывается смертная казнь, следующее примечание: «Для Фёдора Михайловича были чрезвычайно тяжелы воспоминания о том, что ему пришлось пережить во время исполнения над ним приговора по делу Петрашевского, и он редко говорил об этом. Тем не менее мне довелось раза три слышать этот рассказ, и почти в тех же самых выражениях, в которых он передан в ром<ане>...»³⁰

Гости Полонского слышали один из таких рассказов.

« — Холодно!.. Ужасно холодно было!! Это самое главное. Ведь с нас сняли не только шинели, но и сюртуки... А мороз был двадцать градусов»³¹.

Очевидец, присутствовавший тогда, в 1849 году, на площади, утверждает, что Достоевский «не был бледен, довольно быстро взошёл на эшафот, скорее был тороплив, чем подавлен»³². По другому свидетельству, он был даже восторжен. «*Nous serons avec le Christ*» («Мы будем вместе с Христом»), — сказал он Спешневу. — «*Un peu de poussière*» («Горстью праха»)³³, — насмешливо отозвался тот.

Во время чтения приговора сквозь морозный туман проглянул красный солнечный шар — и лучи его заиграли на куполах Семёновской церкви. «Не может быть, чтобы нас казнили», — сказал Достоевский Дурову. Тот молча указал рукой на телегу, покрытую

рогожей: он полагал, что там стоят гробы (после оказалось, что это арестантское платье)³⁴.

...22 февраля 1880 года мороза не было: утро выдалось серенькое, унылое, слякотное. Люди терпеливо ждали. «Сотни скамеек, табуреток, ящиков, бочек и лестниц образовали своего рода каре вокруг войска... За места платили от 50 к. до 10 руб.; места даже перекупались...»³⁵ — писал на следующий день «Голос». Один из очевидцев казни, захвативший с собой бинокль и поэтому хорошо разглядевший подробности, утверждает, что «чисто одетой публики» было мало и что «такие зрители находились больше в передних рядах»³⁶.

Где именно стоял Достоевский?

Об этом нет абсолютно никаких сведений. Естественно было бы предположить, что он наблюдал казнь из окон квартиры Полонских. Но тогда выходила несообразность: вечером того же дня у тех же Полонских Достоевский рассказывает о том, что он видел утром. Пришлось выяснить, где жили Полонские в феврале 1880 года, — и недоумение разъяснилось: оказалось, что несколько месяцев назад они переехали на Фонтанку.

Итак, Достоевский находился на площади. Трудно сказать, был ли он один, или кто-нибудь его сопровождал: ни Анна Григорьевна и никто из его близких знакомых никогда не упоминали об этом факте.

Может быть, он затерялся среди толпы простонародья, а может, находился среди «чистой публики» — ближе к эшафоту. В конце концов, это не столь важно. Важно другое: почему он был там.

Помимо слишком явных причин, приведших его на это столь знакомое ему место, помимо желания «видеть всё, что касается человека, все положения его жизни», кто знает, не было ли здесь ещё одной причины — тайной? Не мелькала ли у него *безумная* надежда, что в последнюю минуту казнь будет остановлена?

Для такой надежды имелись известные основания.

До сих пор — за всё текущее столетие — Петербург видел только две публичные казни (из состоявшихся четырех): 3 сентября 1866 года повесили Каракозова; 28 мая 1879-го — Соловьёва (декабристов и Дубровина казнили в крепости — тайно). Но столица хорошо запомнила также две *инсценировки*.

Жертвой первой из них был сам Достоевский.

«...По выходе из экипажей, — говорилось в высочайше утверждённом «сценарии», — встретить их священнику в погребальном

облачении, с крестом и св. Евангелием и, окружённому конвоем, провести по фронту и потом перед середину войск»³⁷.

«Не могли же они шутить даже с крестом!»³⁸ — скажет впоследствии Достоевский. Очевидно, могли: священник исполнял свою роль *понарошку*.

С них под рвущую морозный воздух барабанную дробь сняли «мундирную одежду» и надели длинные белые рубахи. Это было явным отступлением от закона: мундир снимался только у приговоренных к повешению. («При расстрелянии обряд сей законом не предписан», — пометил на проекте казни какой-то дотошный *формалист*, но его служебное рвение было сочтено неуместным.)

«К столбам подводятся преступники... с завязанными глазами, — говорилось в «сценарии». — По привязании преступников с их к столбам, подходят к каждому из них на 15 шагов 15 рядовых, при унтер-офицерах, с заряженными ружьями. Прочие преступники остаются при конвойных»³⁹.

Раздалась команда «Прицель!» — и солдаты подняли ружья. Оставалось скомандовать «Пли!».

Не было произнесено только это короткое слово; в остальном же обряд был исполнен полностью.

«Вызывали по трое, — пишет Достоевский брату вечером того же дня, — след., я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты... Наконец ударили отбой, привязанных к столбу привели назад, и нам прочли... настоящие приговоры»^{*40}.

Описания казни петрашевцев, в общем, хорошо известны. Гораздо меньше знают о другом спектакле, который по своей режиссуре очень напоминает действие 1849 года. Для его устроителей, надо полагать, не прошёл бесследно уникальный опыт расправы над петрашевцами.

Но об этом следует сказать особо.

Знакомство в день казни

Ранним петербургским утром 4 октября 1866 года на Смоленское поле были доставлены осуждённые по каракозовскому делу (самого Каракозова казнили месяцем раньше). Маленького гор-

* Весть о помиловании должен был сообщить осуждённым командующий всей процедурой казни генерал-адъютант Сумароков.

батога Ишутина (его одного приговорили к смерти) поставили под виселицу, остальных — к позорным столбам.

Попытаемся воссоздать подробности этого дня, который, как выяснится, сыграл в жизни Достоевского исключительную роль.

«Сегодня Петербург проснулся очень рано, — сообщают «С.-Петербургские ведомости». — В 5 часов утра на улицах было шумно от ехавших экипажей, толпы всевозможного народа шли по направлению к Николаевскому мосту и оттуда на Смоленское поле... Небо было серое, совершенно осеннее. Часов в шесть пошёл дождь, и потом повалил сильный снег, как в хорошую зимнюю пору. Дурная погода никого не останавливала — народ продолжал идти к месту казни; многие несли с собой скамейки, лестницы, стулья»⁴¹.

Казни политических отличались в столице завидным единообразием: и петрашевцы, и Каракозов, и Ишутин, и Млодецкий прошли через один и тот же тщательно регламентированный ритуал.

«По прочтении приговора, — пишут «Биржевые ведомости», — Ишутин, поддерживаемый палачами и в сопровождении священника, сошёл с эшафота к виселице, между тем как над некоторыми из остальных преступников (дворянами. — *И. В.*) палач ломал шпаги»⁴². (Ишутин, как потомственный почётный гражданин (то есть не дворянин), избегнул этой процедуры.)

«Священник заговорил с преступником, — сообщают «С.-Петербургские ведомости», — потом последний стал на колени, молился, поднялся снова, припал губами (к кресту. — *И. В.*) и долго от него не отрывался. Священник благословил его и осенил ещё раз крестом. Наступило молчание, словно на этой площади не было ни одного человека»⁴³.

Не только детали, но и сам *ритм* этого газетного описания удивительно напоминают известную сцену из «Идиота».

Конечно, все казни похожи одна на другую. Однако у нас нет сведений, что автор «Идиота» — романа, где на «зарубежном материале» воспроизведена точно такая же сцена, — когда-нибудь присутствовал при гильотинировании. Меж тем *домашние* примеры были под рукой.

Достоевский был внимательнейшим читателем газет: многие сюжеты перекочевали в его романы прямо из газетной хроники.

Правда, в «Идиоте» нет (и не могло быть) одной подробности, которая характерна именно для русских казней: со времен Разина и Пугачёва (и ещё ранее) она составила неотъемлемую принадлежность отечественной традиции. «По окончании исповеди Ишутин поклонился народу...»⁴⁴ — свидетельствует газетный отчёт.

Это было чисто русское, национальное прощание, после которого для приговорённого наступала тьма: ему — уже по-европейски — завязывали глаза и надевали саван.

Один из приговорённых (И. Худяков) так описывает происходящее: «...перед нашими глазами готовились повесить Ишутина; его закутали в какой-то белый мешок, накинули петлю на шею, причём он так согнулся, что совершенно походил на живой окорок. Это была возмутительная сцена. Его продержали в петле десять минут...»⁴⁵

«В таком положении, — сообщает газетный репортёр, — он стоял несколько минут, поддерживаемый палачами и опуская по временам голову на грудь»⁴⁶.

Возможно, что и это промедление было тщательно рассчитано: паузе надлежало отменить развязку.

«...Как вдруг в толпе раздались громко голоса: «Фельдъегерь, фельдъегерь едет! Помиловали!» Действительно, в каре въехал фельдъегерь на обыкновенных дрожках с плоскими рессорами, запряжённых парюю в дышло, как обыкновенно фельдъегери ездят по городу. Он держал в руках бумагу, которою махал, подняв её высоко над головою»⁴⁷.

Власть понимала толк в театральных эффектах.

Итак, на площади появился фельдъегерь — и министр юстиции Замятин (*благый вестник* был на сей раз повышен чином), вскрыв запечатанный пакет, громко прочитал конфирмацию. «Немедленно с Ишутина была снята петля, а затем и саван, и были развязаны глаза. Погода была так дурна, что с мест, где стоял народ, не было никакой возможности, даже и в бинокль (и здесь наличествует этот *комфортный* прибор. — *И. В.*), рассмотреть, какое впечатление произвело это на преступника, который, впрочем, всё время, казалось нам, держал себя довольно спокойно, разумеется — относительно»⁴⁸.

«Все сняли шапки, — говорит ещё один газетный очевидец, — руки невольно брались за них, когда произносились слова милосердия».

«...Верёвку с петлёй быстро вытянули из кольца, — повествует другой корреспондент, — она упала мгновенно, и это вызвало шумный, радостный взрыв в народе... Монаршее милосердие было общим предметом разговоров»⁴⁹.

История повторилась — с не менее жуткими, чем в первом случае, подробностями. Ишутин, по высочайшему милосердию ссылаемый в *вечную* каторгу, получил вдобавок к ней свои *десять*

минут. Когда его вынимали из петли, палач отечески заметил: «Что, не будешь больше?»⁵⁰

Петрашевцы были помилованы в последний момент; в последний момент получил жизнь *обратно* Ишутин. Не позволительно ли было надеяться, что и на сей раз — не совершится и что несчастного Млодецкого в худшем случае ожидает участь его *счастливых* предшественников?

К милосердию зывал Гаршин; мысль об этом в первые дни Лорис-Меликова не казалась столь уж неисполнимой.

Казнь Млодецкого была единственной смертной казнью, которую бывший петрашевец мог наблюдать со стороны: 3 сентября 1866 года он был в Москве, 28 мая 1879-го — в Старой Руссе и, следовательно, не мог присутствовать при последних минутах Каракозова и Соловьёва.

Но что делал он в день несостоявшейся казни Ишутина?

4 октября 1866 года Достоевский находился в Петербурге и в принципе мог присутствовать на Смоленском поле. Но здесь мы обнаруживаем одно поразительное совпадение. Не менее поразительно, что оно до сих пор не было замечено.

4 октября 1866 года — важнейшая дата биографии Достоевского. В этот день он познакомился со своей будущей женой — Анной Григорьевной Сниткиной.

Воспоминания Анны Григорьевны об этом событии прекрасно известны. Но попробуем рассмотреть её свидетельства ещё раз*.

Предложение о работе у Достоевского было сделано Анне Григорьевне в понедельник 3 октября её преподавателем стенографии П.М. Ольхиным. Вручая адрес писателя, Ольхин, по словам Анны Григорьевны, прибавил, что ей «непременно следует быть там в половине 12-го, ни раньше, ни позже, а именно тогда, когда он мне назначил»⁵¹.

Казнь Ишутина состоялась в 8 часов утра.

Мог ли Достоевский присутствовать при казни?

Теоретически мог вполне: он успел бы к половине двенадцатого вернуться домой — в Столярный переулок. Представить же такой вариант практически — весьма затруднительно: во-первых,

* Наряду с «Воспоминаниями» мы пользуемся также женевским (стенографическим) дневником Анны Григорьевны 1867 года. Записи об интересующем нас дне сделаны в нём ровно через год после описываемых событий и воспроизводят их более подробно и непосредственно, чем позднейшие воспоминания.

он поздно вставал; во-вторых, время визита было назначено заранее. Так что вряд ли до половины двенадцатого он выходил из дома.

Известно, какое впечатление произвёл Достоевский на Анну Григорьевну. Но вчитаемся ещё раз: «Показался он мне очень странным: каким-то разбитым, убитым, изнеможённым, больным, тем более что сейчас мне объявил, что страдает болезнью, именно падучей».

И внешний вид, и душевное состояние Достоевского вполне объяснимы: в это время забот у него хватало (неоконченное «Преступление и наказание», история со Стелловским, кредиторы и т. д.). Октябрь 1866 года — один из самых критических моментов его жизни. Однако Анна Григорьевна, впоследствии хорошо изучившая мужа, подмечает, что в этот день он был озабочен сверх обыкновенного. «Он как бы был уж слишком расстроен и, кажется, даже не мог собраться с мыслями. Несколько раз он принимался ходить, как бы забыв, что я сижу тут, и, вероятно, о чём-нибудь думал, так что я даже боялась опять ему как-нибудь не помешать».

Рассеян, раздражён («Вообще он был какой-то странный, не то грубый, не то уж слишком откровенный»), чем-то подавлен — всё это в нём не столь уж необычно. Но, как мы убедимся, точно такое же психологическое состояние овладевает им и после казни Молодцового.

«Наконец, — продолжает Анна Григорьевна, — он мне сказал, что теперь диктовать не в состоянии, а что не могу ли я прийти к нему эдак сегодня вечером часов в 8». На том и порешили.

Что же получается? Основная цель, которую преследовало это свидание (диктовка) и к наилучшему осуществлению которой должны были подготовиться оба собеседника, так и не была достигнута. И не потому ли, что на одного из них, помимо всех прочих причин, подействовало какое-то дополнительное (и экстраординарное) обстоятельство?

То, что произошло вечером, подтверждает такое предположение.

Ровно в восемь Анна Григорьевна вновь у Достоевского. Однако и на этот раз он не спешит приступать к работе. Он затевает разные посторонние разговоры: расспрашивает о семействе, интересуется её воспитанием и образованием и т. д. И наконец — «он начал рассказывать про себя».

О чём же поведал сорокапятилетний писатель двадцатилетней девушке, которую он видел впервые в жизни (если не считать утренней встречи) и которая пока оставалась для него совершенно чужим человеком?

Он, как свидетельствует его собеседница, заговорил о самом страшном своём воспоминании. О том, «как он четверть часа стоял под боязнью смертной казни и как ему оставалось жить только 5 минут, наконец, он доживал минуты, и как ему казалось, что не 5 минут осталось, а целых 5 лет, 5 веков, так ему было ещё <долго> жить»⁵². Далее следуют известные подробности.

«Почему-то (подчёркнуто нами. — *И. В.*), — говорит Анна Григорьевна в воспоминаниях, — разговор коснулся петрашевцев и смертной казни»⁵³.

Позволительно спросить: почему?

«Федя очень много мне в этот вечер рассказывал, — заключает (в дневнике) Анна Григорьевна, — и меня особенно поразило одно обстоятельство, что он так глубоко и вполне со мной откровенен. Казалось бы, этот такой по виду скрытный человек, а между тем мне рассказывал всё с такими подробностями и так искренно и откровенно, что даже странно становилось смотреть»⁵⁴.

С чего бы? Зачем вдруг ему, человеку, трудно сходящемуся с посторонними, отнюдь не охотнику до скорых душевных излияний, вздумалось исповедоваться перед юным существом, безмолвно внимавшим его ужасным признаниям? Ведь не рисовался же он перед ней *этим*. Тем более что он не любил вспоминать эту историю, и, как мы уже знаем, Анне Григорьевне довелось слышать её из его уст не более трёх раз.

Конечно, всё можно объяснить одним словом: одиночество (Анна Григорьевна так это и объясняет).

Одиночество подвигает на странные поступки. И психологически вполне объяснимо (и даже естественно), что самое сокровенное «вдруг» поверяется вовсе не знакомому человеку.

Всё это так. Но не уместно ли ко всем указанным причинам *теперь* прибавить ещё одну?

Независимо от того, был или не был он в тот день на Смоленском поле, он не мог не знать о совершающейся драме.

При первой, утренней встрече с Анной Григорьевной, помня о том, что только что произошло *там* (известие о помиловании могло ещё не достичь Столярного переулка), он не в силах собраться, взять себя в руки, приступить к делу. Ибо само дело, как он любил повторять, требовало спокойствия душевного.

Вечером того же дня мы наблюдаем совсем иную картину.

Он более приветлив, более общителен и разговорчив (как сейчас сказали бы — более коммуникабелен). Расположение его

духа явно переменилось. Разумеется, в восемь часов он уже знает о помиловании. Не это ли известие послужило толчком к его исповеди? Могло ли не поразить его сходство положений, одинаковость развязки, тайное сближение судеб?

И не потому ли явился сам рассказ о казни петрашевцев, что разговор зашёл об утренних событиях?

Анна Григорьевна не говорит об этом ни слова. Но ведь напрасно мы стали бы искать у неё и каких-либо свидетельств о том, что делал её муж утром 22 февраля 1880 года. Ибо сами воспоминания Анны Григорьевны полемичны по отношению к той, в начале века достаточно авторитетной, традиции, которая рассматривала Достоевского через призму его «извращённой», «больной», «подпольной» гениальности. И столь выразительный биографический штрих (автор «Бесов», *глазеющий* на виселичную экзекуцию!) мог бы дать дополнительные аргументы сторонникам этой весьма *привлекательной* точки зрения.

Но умолчание о «казни» Ишутина могло быть продиктовано ещё одним очень субъективным и вполне извинительным мотивом.

4 октября 1866 года — слишком большой и слишком *светлый* день в жизни Анны Григорьевны, чтобы связывать его — даже в интимных записях — с каким-либо омрачающим обстоятельством. Тем более когда дело касается политического преступления: и в записных книжках, и в воспоминаниях Анна Григорьевна не жалуется политику.

И тем не менее у истоков их любви обнаруживается трагедия: личная судьба пересекается с грозным и кровавым ходом русской истории.

Через пятнадцать лет Анна Григорьевна возмутится призывом Владимира Соловьёва не казнить первомаковцев: она забыла многое.

Но пора вернуться к Млодецкому.

«...В виду отрубленной головы!»

Да, пора вернуться к их *встрече*. Но прежде следует, пожалуй, назвать ещё одну причину, почему утром 22 февраля бывший смертник вновь оказался на Семёновском плацу.

Десять лет назад, летом 1870 года, в Дрездене Достоевский прочитал статью Тургенева «Казнь Тропмана»: она была опубликована в июньской книжке «Вестника Европы».

«Вы можете иметь другое мнение, Николай Николаевич, — пишет он Страхову, — но меня эта напыщенная и щепетильная статья возмутила. Почему он всё конфузится и твердит, что не имел права тут быть? Да, конечно, если только на спектакль пришёл; но человек, на поверхности земной, не имеет права отвёртываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие *нравственные* причины на то. Homo sum et nihil humanum...* и т. д.»⁵⁵.

Не эту ли же мысль — почти дословно — повторит он в 1880 году великому князю?

В январе 1870 года в Париже был гильотинирован ещё сравнительно молодой человек — Тропман, жестокий и хладнокровный убийца. Его процесс наделал в то время много шума. Тургеневу (благодаря содействию его парижских друзей) представилась редкая возможность не только присутствовать при самой казни, но войти в камеру приговорённого, наблюдать его предсмертный туалет, проводить его до гильотины. Тургенев описывает бессонную ночь, проведённую им накануне казни в доме начальника тюрьмы, громадную толпу на площади, наконец, самого Тропмана. «Что касается до меня, — пишет Тургенев, — то я чувствовал одно: а именно то, что я не был вправе находиться там, где я находился, что никакие психологические и философские соображения меня не извиняли».

«Есть высшие *нравственные* причины», — говорит Достоевский.

Для Тургенева в подобной ситуации таких причин не существует. Автор статьи главным образом фиксирует внимание на собственных ощущениях. (При этом он не забывает упомянуть, что отказался от утренней чашки шоколада, любезно предложенной радушным хозяином — начальником тюрьмы.)

Впрочем, последние минуты Тропмана изображены с чрезвычайным талантом.

Преступника втащили на гильотину, «два человека бросились на него, точно пауки на муху»; «он вдруг повалился головой вперёд», « подошвы его брыкнули». «Но тут я, — говорит автор, — отвернулся — и начал ждать — а земля тихо поплыла под ногами...»⁵⁶

Здесь не только различие двух нравственных позиций. Разные мировосприятия и, что существенно, — разные поэтики. В эстетический круг Тургенева не входит изображение безобразного

* «Я человек, и ничто человеческое...» (лат.)

(в том числе — безобразной смерти). В эстетике Достоевского безобразное равноправно «всему остальному»: смерть у него (как, впрочем, и у Толстого) — явление этически и эстетически значимое. Муза Достоевского не отводит взора там, где муза Тургенева в ужасе закрывает глаза: естественно, что объекты изображения при этом не совпадают.

22 февраля 1880 года Тургенев находился в Петербурге.

«Всего комичнее, — продолжает Достоевский своё письмо Страхову, — что он в конце отвёртывается и не видит, как казнят в последнюю минуту: «Смотрите, господа, как я деликатно воспитан! Не мог выдержать». Впрочем, он себя выдаёт: главное впечатление статьи в результате — ужасная забота, до последней щепетильности, о себе, о своей целостности и своём спокойствии, и это в виду отрубленной головы!»⁵⁷

22 февраля 1880 года Достоевский видел всё. И каковы бы ни были его личные переживания, очевидно, не они составляли главный предмет его забот. Недаром он, по выражению русского физиолога А.А. Ухтомского, обладал «доминантой на лицо другого»⁵⁸, то есть мощной способностью вживаться в чужое состояние, в чужой психический мир, видеть в другом равноценное с собой бытие.

Он видел такое равноценное бытие и в Млодецком: на его глазах оно подходило к концу.

Князь Мышкин и Ипполит Млодецкий

...Млодецкого везли через весь город: по Литейной, Кирочной, Надеждинской, через Невский, по Николаевской. Его везли на высокой чёрной колеснице, запряжённой парой лошадей. Он сидел спиной к кучеру, и руки его ремнями были привязаны к железной скамье. На груди болталась черная доска с надписью белыми буквами: «Государственный преступник». Из-под бортов чёрного арестантского халата виднелась белая рубашка. Днём раньше боявшийся простыть, сейчас он относился к этому вполне равнодушно*.

* В 1849 году из всех петрашевцев, почти час простоявших раздетыми на двадцатиградусном морозе, никто даже не простудился. Правда, Григорьев, один из привязанных к столбам и выдержавший несколько мгновений под ружейным прицелом, позднее сошёл с ума.

Говорили, что перед выездом из крепости ему дали напиться чаю.

Сквозь мерный гул толпы прорывались смех и шутки, как свидетельствует очевидец, «подчас даже и очень циничные»⁵⁹. (Через год, когда будут казнить пятерых первоартовцев, толпа встретит казнь гробовым безмолвием.) Народ валом валил за процессией, которую замыкала телега: ломовой извозчик должен был увезти труп.

Млодецкий был ещё жив.

Свидетель казни (тот, который был с биноклем) вспоминает: «Лицо этого человека с рыжеватой бородкой и такими же усами было худо и жёлто. Оно было искажено. Несколько раз казалось, что его передёргивала улыбка»⁶⁰.

Воспоминания эти были опубликованы через тридцать семь лет после описываемых событий. Но у нас есть ещё один источник: газетные отчёты (кстати, сам факт их существования — знамение прогресса: ни в 1826-м, ни в 1849 году русские газеты не смели публиковать собственную информацию о такого рода происшествиях).

«Лицо его было покрыто страшною бледностью, — сообщает корреспондент «Голоса», — и резко выделялось своею одутловатостью из-под чёрной одежды; блестящие глаза его беспокойно блуждали в пространстве. Густые чёрные брови, нисходявшие к носу, придавали ему весьма мрачный и злобный вид, который иногда неприятно смягчался лёгкой насмешливою и стиснутою улыбкою правой половины некрасиво очерченного рта»⁶¹.

Описание «Нового времени» отличается известной специфичностью: по словам газеты, Млодецкий «представляет собою чисто еврейский тип самого невзрачного склада». «Некоторые утверждали, — продолжает репортёр, — что он будто бы улыбался. Мы не могли принять за улыбку болезненно кривившиеся черты»⁶².

Об этой улыбке писали и подпольные народолюбческие листки: в них она именовалась «геройской». Выражение лица на месте казни становилось аргументом политическим.

...Влекомый неведомым ему и отвращавшим его миром русской революции, пытавшийся изобразить этот мир в «Бесах» и «Под-ростке», не пропускавший ни единой подробности текущих политических процессов, знавший все обстоятельства казни сво-

его соседа по Старой Руссе — Дубровина, — Достоевский в первый и последний раз увидел, как ведёт себя на эшафоте представитель нового, столь *мучившего* его поколения: человек, чей возраст ненамного превышал возраст Алёши и Ивана Карамазовых.

Млодецкий был доставлен на площадь в 10 часов 40 минут. Палач Иван Фролов* (это был он: другого пока не находилось на всю Россию) приступил к делу: «Рослый, сильный, упитанный и хорошо одетый человек (он был в тёплой поддёвке. — *И. В.*) подошёл спокойно и, как говорится, «истово» к хилому, измученному, привязанному к своему сиденью и безобразно наряженному человеку. Он отвязал его, но не освободил его рук от ремней, а напротив того подтянул их ещё покрепче. После этого он так же «истово», почти ласково повёл его, легонько прикасаясь рукой к его спине, как иногда делает радушный хозяин, подводя гостя к закуске»⁶⁴.

Десять минут простоял Млодецкий у позорного столба, слушая чтение приговора и ожидая конца. Может быть, как и приговорённого в «Идиоте», посещали его мысли посторонние и «недоконченные»: «...вот этот глядит — у него бородавка на лбу, вот у палача одна нижняя пуговица заржавела». (Самому автору «Идиота» *тогда* глубоко врезалось в память, как, окончив чтение, аудитор аккуратно сложил бумагу и опустил её в боковой карман.)

...В передней генерала Епанчина князь Мышкин ведёт беседу с лакеем. Князь рассказывает о виденной им в Лионе смертной казни: преступника (как и Тропмана в очерке Тургенева) возводят на гильотину.

«Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог её доводят? — говорит Мышкин. — Надругательство над душой, больше ничего! Сказано: «Не убий», так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя».

Это — совершеннейшее неприятие института смертной казни — с явной опорой на один библейский текст («не убий») и с косвенным отрицанием другого («око за око»).

* Летом 1879 года Фролов, «второй человек в России после государя», написал заявление на имя петербургского градоначальника, что он более не желает продолжать свою деятельность, и просил отправить его обратно — в московскую тюрьму. Его уломали, пообещав *как специалисту* увеличить сумму вознаграждения⁶⁵.

Не помогают ли суждения князя Мышкина ответить на поставленный выше гипотетический вопрос: о возможном отношении Достоевского к казни первомартовцев?

«Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление, — продолжает князь. — Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу... непременно ещё надеется, что спасётся, до самого последнего мгновения... А тут всю эту последнюю надежду, с которой умирать в десять раз легче, отнимают *наверно*; тут приговор, и в том, что наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете».

Вспомним, что в строгом юридическом смысле Млодецкий даже не был убийцей: тем несоразмернее наказание.

Смертная казнь переживалась Достоевским трижды: реально («изнутри») — 22 декабря 1849 года, художественно — в «Идиоте» и вновь реально (но уже «со стороны») — 22 февраля 1880 года.

Его «смутил» поступок Млодецкого; поступок *с Млодецким* «смущал» не менее. Здесь вне зависимости от политических верований действовала круговая порука смертников. И он оказался на площади не только потому, что желал проверить собственные впечатления «другим зрением». Это был своего рода моральный долг — долг, отдаваемый лично.

«Приготовления тяжелы, — говорится в «Идиоте». — Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно». Конечно, на миру и смерть красна. Но здесь — не усиливает ли само наличие «мира», этого видимого избытка физической жизни, ужас перехода «в другой неизвестный образ», не подчеркивается ли самим бытием необоримость небытия? «Вот их десять тысяч, а их никого не казнят, а меня-то казнят!» — так передаёт князь Мышкин последние мысли осуждённого, и вряд ли можно сомневаться, что тут отозвались собственные ощущения автора.

«Бытие только тогда и есть, — запишет Достоевский в 1876 году, — когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие»⁶⁵.

Их кончающаяся жизнь казалась бесценной, ибо до небытия было подать рукой.

«Кто сказал, — спрашивает Мышкин, — что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое

ругательство, безобразное, ненужное, напрасное... Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил*. Нет, с человеком так нельзя поступать»⁶⁶.

Тургенев передаёт ужас зрителя; Достоевский — смертную муку приговорённого. И в том и в другом случае казнь выглядит отталкивающе: но если зритель действительно может *оттолкнуться* («отворотиться», как в «Казни Тропмана»), то у казнимого такой возможности нет**.

Очевидец утверждает, что Млодецкий, прощаясь с народом, сделал несколько поклонов; газеты, которым в данном случае приходится верить больше, таких подробностей не сообщают. Когда священник с крестом приблизился к осуждённому, «толпа как будто замерла... Священник, по-видимому сильно взволнованный, обратился с тихою речью к преступнику...» Вначале Млодецкий «зажестичулировал руками» (не было ли это попыткой, по примеру Дубровина, отказаться от крестного целования?), затем, сказав несколько фраз, приложился к кресту⁶⁷.

«Лицо, — пишет репортёр «Нового времени», — перестало искривляться в улыбку, которую перед тем он старался сделать. Он был сам не свой»⁶⁸. Фролов с подручным надел на Млодецкого белый колпак, закрывавший ему лицо, и холщовый халат, связав его сзади руками. Затем накинул на него петлю и поставил на скамейку.

* Князь Мышкин имеет здесь в виду сцену из Евангелия от Матфея («моление о чаше»): «И взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И отошед немного пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия...» (Мф. 26:37–39). Заметим, что Иисус тоскует ещё *до* вынесения ему официального смертного приговора. Моля о «перемене судьбы», он хотел бы изменить не человеческое решение, а, так сказать, сам Божественный замысел.

** Хотя «Идиот» написан примерно за два года до тургеневской «Казни Тропмана», сопоставление соответствующих сцен обоих произведений оставляет впечатление художественной полемики: Достоевский как бы заранее противопоставляет свой взгляд тургеневскому. И пусть в письме к Страхову нет прямых ссылок на роман — его автор, не принимая точку зрения Тургенева, несомненно, исходит и из своих собственных художественных изображений.

В этот последний миг надежда ещё не была потеряна. Но — фельдъегерь не появился, и барабаны вместо отбоя ударили дробь.

«Еще мгновение... палач отдёрнул скамью из-под белой фигуры, веревка дрогнула, натянулась, и в воздухе закачалось тело преступника...»⁶⁹

Агония Млодецкого с сильными предсмертными судорогами длилась целых двенадцать минут, и газеты не отказали себе в удовольствии описать её в подробностях. В половине первого разобрали виселицу, и вскоре площадь приняла обычный вид.

Александр II своим бисерным почерком пометил в записной книжке: «Млодецкий повеш^{ен} в 11 ч. на Семён^{овском} плацу — всё в поряд^{ке}»⁷¹.

Вечером у Полонских

22 февраля приходилось на пятницу: по пятницам собирались у Полонского. И если об утре Достоевского нам не известно ничего более, кроме самого факта, что он был *там*, то о его вечере сохранились некоторые подробности.

«Достоевский, — повествует мемуарист (уже знакомый нам Садовников), — был не в духе... может, ещё под впечатлением чего-либо предшествовавшего. Я не люблю его и остался в кабинете».

Нерасположение к писателю, конечно, не может не отразиться на тоне воспоминаний. Но нас в данном случае интересуют факты.

Разговор зашёл о Млодецком.

«— Правда ли, — говорю я, обращаясь к Достоевскому, — что сегодня на Семёновском плацу было второе покушение на Мели-

* Фролов, имея за плечами богатый опыт 1879 года, работал «чисто». Он оплошает лишь при казни первомартовцев, когда Т. Михайлов *дважды* сорвётся с виселицы, вызывая ужас толпы и ожидание пощады. Первые два раза приговорённый поднимался на скамью сам; в третий раз сго буквально вдепут в петлю. Верёвка вновь начнёт перстираться; тогда Фролов набросит на Михайлова вторую петлю со свободной виселицы (она предназначалась для Геси Гельфман, чья казнь в связи с её беременностью была отложена) и вдобавок, используя «сахалинский способ», повиснет у него на ногах. Как сообщали иностранные корреспонденты, на протест присутствовавшего при казни доктора Фролов ответит: «Когда я тебя повешу, то стяну как следует»⁷⁰. Казнь первомартовцев была последней публичной казнью в России.

кова? Рассказывали так, что будто кто-то выстрелил, затем хотел застрелить себя и не успел. После чего взяли ещё 6 человек с револьверами...

— Нет-с, это всё городские слухи. Если бы проследить рост этих слухов с утра и вплоть до вечера, это представляло бы интерес. Я был свидетелем казни. Народу собралось до 50 000 человек»⁷².

Достоевский сух, сдержан, немногословен. Он не вдаётся в подробности, он как бы намеренно запрещает себе сообщать что-либо «художественное», поверять личные впечатления.

Его интересуют слухи: городская молва, дающая пищу мифу, воплощающая в себе тайные надежды и опасения, «доигрывающая» в своей многоустой жизни несбывшиеся возможности. Не было ли среди этих утренних толков и предположений о помиловании? Не сказало ли в толках вечерних сожаление об этой так и не явленной милости и одновременно — вешее предвидение мести?*

Между тем вечер у Полонских шёл своим чередом: прибыл Иван Фёдорович Золотарёв (он будет вскоре вместе с Достоевским делегирован Славянским благотворительным обществом на Пушкинский праздник). Прибывший сообщил, что он посетил Лорис-Меликова, облобызался с ним и что последний здоров.

Садовников упоминает ещё об одной любопытной подробности. В разговоре «Достоевский порицал женщин, которые говорят, что не могут смотреть на казнь, жалуясь на нервы». Автор мемуаров явно не одобряет Достоевского.

Интересно, читал ли он «Идиота»?

...В гостиной генеральши Епанчиной продолжается разговор о смертной казни.

Князь Мышкин: — Там очень не любят, когда женщины ходят смотреть, даже в газетах потом пишут об этих женщинах.

Аглая: — Значит, коль находят, что это не женское дело, так тем самым хотят сказать (а стало быть, оправдать), что это дело мужское. Поздравляю за логику. И вы так же, конечно, думаете?⁷⁴

Мышкин не успевает ответить (то есть автор не даёт ему такой возможности): ведь Аглая уже высказала то, что требовалось.

* Нелишне сопоставить слухи о выстрелах на площади и тому подобном со следующим местом из воспоминаний А.К. Энгельмейера: «Затем конные и пешие жандармы и полицейские провели несколько бедно одетых людей, с интеллигентными взволнованными лицами. Они будто бы, как рассказывали в толпе, заявили публично, что казнью их не испугать и что они всё-таки будут продолжать “своё дело”»⁷³.

Смертная казнь — не есть человеческое дело. Это дело античеловеческое: ни мужское, ни женское — *нелюдское*.

Но пока смертная казнь существует на земле (и вина лежит на *всех*), устранение от этого зрелища только женщин — не более чем лицемерие. Этим лишь подчёркивается (и одновременно — приглушается!) нечеловеческий характер действия; само же действие продолжает совершаться.

Автор «Идиота» не стал объяснять всё это Садовникову.

Сразу же после чая он уехал. Тургенев прибыл после одиннадцати: на этот раз они разминулись.

«...Мне не понравилось, — замечает Садовников, — какое-то совершенно холодное отношение автора «Мёртвого дома» к казни живых людей, и само появление его на месте казни объясняю как желание извлечь нечто для своих патологических сочинений последнего времени, в которых один Венгеров находит что-то даже гениальное»⁷⁵.

Присутствие Достоевского на Семёновском плацу не понравилось Садовникову (впрочем, как и великому князю Константину Константиновичу). Правда, двадцатиднолетний Романов пытается как-то извинить этот поступок: Достоевский был с ним достаточно откровенен. Тридцатитрёхлетний Садовников гораздо строже: он не находит для этого случая никаких оправданий и объясняет любопытство автора «патологических сочинений» причинами сугубо утилитарными. В свою очередь Достоевский, чрезвычайно тонко чувствующий то или иное к себе отношение, не считает нужным разяснять Садовникову свои мотивы.

Однако на следующий день некоторые разяснения потребовались.

На следующий день и через неделю

24 февраля 1880 года вдова президента Академии художеств графиня Анастасия Ивановна Толстая пишет своей дочери Е.Ф. Юнге: «Сейчас возвратилась я от Достоевских — я нашла его чем-то расстроенным, больным, донельзя бледным. На него сильно подействовала (как на зрителя) казнь преступника 20 февраля»⁷⁶ (имеется в виду день покушения).

Показавшийся Садовникову «совершенно холодным» в самый день казни, теперь, через два дня после неё, он выглядит совер-

шенно разбитым — и его состояние не остаётся не замеченным А.И. Толстой.

Слова шестидесятирёхлетней графини поразительно напоминают характеристику Достоевского в дневнике двадцатилетней Анны Григорьевны: вспомним её запись от 4 октября 1866 года — в день казни Ишутина.

Он мало изменился за прошедшие тринадцать лет.

Но у нас имеется ещё одно — правда, косвенное — свидетельство того, каким образом казнь Млодецкого отразилась на эмоциональном и психическом состоянии автора «Братьев Карамазовых».

23 февраля (то есть на следующий день после казни и накануне посещения А.И. Толстой) у Достоевского состоялся *крупный разговор* с неким Павлом Петровичем Казанским, капитаном Генерального штаба. П.П. Казанский — родственник Д.А. Шера, который, в свою очередь, приходился родственником самому Достоевскому. Шеры — одни из главных претендентов на куманинское наследство (этой родственной тяжбой — о капиталах, оставленных богатой тёткой А.Ф. Куманиной, отравлены его последние годы).

Вслед ушедшему Казанскому отправляется письмо.

«Полчаса после Вас, — пишет Достоевский, — я опомнился и сознал, что поступил с Вами грубо и неприлично; а главное, был виноват сам, — а потому и пишу это, чтоб перед Вами извиниться вполне. Если пожелаете, то приеду извиняться лично».

Через одиннадцать месяцев ещё один родственный разговор — на ту же «куманинскую» тему — явится (согласно одной из версий) главной причиной его предсмертной болезни. На сей же раз обошлось; дело закончилось лишь скандалом. Причём, чувствуя себя виноватым, Достоевский первый делает шаг к примирению — очевидно, нелёгкий для него шаг.

«Но замечу, однако (как необходимую подробность), — продолжает автор письма, — что г-на Шера я назвал чер<вонным> валетом (то есть мошенником. — *И. В.*) отнюдь не в прямом (юридическом) значении, а просто выбрал его *первым попавшимся словом*, не сопрягая с ним значения прямого, какое имеет слово валет. Это отнюдь».

Разъяснив эти вербальные тонкости, Достоевский обращается к более широкому, можно сказать — общественно-психологическому, контексту ссоры. Он говорит, что вовсе не желает оправдываться своим болезненным состоянием, которое вполне сознаёт, и даже — тут следует важное признание —

«беспокойным состоянием нашего времени вообще, мысль о котором приводит меня в болезненное расстройство, что было уже неоднократно в последние дни».

«Не оправдывается», однако упоминает: его оправдательным аргументом становится само время.

Личному столкновению, ссоре из-за «несчастливого наследства» («...хоть бы его вовсе не было», — в сердцах замечает Достоевский) подыскивается мотивировка, придающая самому скандалу внеличностный оттенок. И хотя автор письма вовсе не извиняет себя («Все эти объяснения (как оправдания) были бы для меня постыдными. Я виноват вполне...»)77, тем не менее он указывает причину.

Разумеется, его адресату вовсе незачем знать, был ли он на казни Млодецкого (да об этом и не говорится в письме), но это неназванное обстоятельство сыграло свою роль.

В поступке Достоевского есть ещё одна сторона. Его *жест* являет не только благородство характера. Это акт самодисциплины, «самоодоления», «самовыделки», испытание самого себя — пусть на «бытовом» уровне — в том, что через несколько месяцев как задача будет провозглашено в Пушкинской речи. Он, как всегда, не выдержал, сорвался, вспылал и, может быть, обидел незнакомого (или малознакомого) посетителя. Ему трудно признать свою ошибку *постфактум*, однако он *заставляет* себя это сделать — тем бескорыстнее, что ни в каком отношении не зависит от Казанского. Это акт его доброй воли: «смирись, гордый человек», обращённое к самому себе.

Всего лишь несколько дней назад, 19 или 20 февраля, он «необыкновенно весел» (А.С. Суворин), полон самых радужных надежд; теперь же, *после* казни, — недоверчив, угрюм, подавлен, готов взорваться по самому ничтожному поводу.

И наконец, существует ещё одно упоминание о присутствии Достоевского на казни Млодецкого. Это дневниковая запись уже знакомой нам С.И. Смирновой-Сазоновой. Запись сделана через неделю после казни — 29 февраля 1880, високосного, года.

«...Пришёл Достоевский, — записывает Смирнова-Сазонова. — Говорит, что на казни Млодецкого народ глумился и кричал... Большой эффект произвело то, что Мл<одецкий> поцеловал крест. Со всех сторон стали гов<орить>: “Поцеловал! Крест поцеловал!”»78

Он толкует о казни в самый день казни (у Полонских), через два дня после неё (графине Толстой), через четыре дня (вели-

кому князю) и, наконец, через неделю. Впечатление, вынесенное с Семёновского плаца, не отпускает его: этот *сюжет* занимает более всех других.

В разговоре со Смирновой-Сазоновой он касается поведения толпы. Глумление над приговорённым — факт, несомненно его поразивший. Это никак не вязалось с народными обычаями. Тут при желании можно было усмотреть несочувствие делу, за которое умирал Млодецкий. Но можно — и другое.

До сих пор в Петербурге публично казнили только царевичей (если не считать инсценировок). Млодецкий был приговорён за выстрел в Лорис-Меликова: естественно, народ не знал, кто есть этот последний. Незначительность объекта преступления (всего лишь какой-то генерал, «не царь») как бы делала само преступление «несерьёзным», снижала образ преступника. Кроме того, смех и шутки, раздававшиеся в толпе, могли быть своего рода защитной реакцией. «Люди, — пишет современник, — как будто бы старались таким образом показать своё мужество»⁷⁹.

«Большой эффект» произвело то, что Млодецкий поцеловал крест (он недавно, в 1878 году, принял православие). Не меньшее впечатление должно было произвести это обстоятельство и на самого Достоевского. В его глазах крестное целование сближало осуждённого со всеми остальными людьми. Это был по меньшей мере знак уважения к толпе, к её обычаям и верованиям. Разорвав со всеми земными установлениями (и уж во всяком случае, с убивающим его государством), преступник не роторгал этой последней связи — с тем, что в идеале (вспомним: «Церковь — весь народ») должно было заменить, вытеснить не вмещающую голосу милосердия власть. И тогда — «нет казни».

Но — казнь была, и священник протягивал Млодецкому крест, отпуская ему его земные прегрешения, но не даруя земной жизни, которая *этой* Церкви отнюдь не принадлежала.

Оставалась ли у него надежда на жизнь небесную?

К вопросу о бессмертии души

Это происходило тридцать лет назад.

...Когда аудитор закончил чтение приговора, его сменил на эшафоте священник: его появление должно было окончательно убедить их, что казнь действительно воспоследует. Изюм всех петра-

шевцев к исповеди подошёл один Тимковский; к кресту, однако, приложились все. Приложился даже Петрашевский, явный атеист.

Почему же они отказались от исповеди? Ведь среди них были люди истинно религиозные (Дуров, как про него говорили, даже «до смешного»). Может быть, потому, что крестное целование — не более чем формальность, тогда как исповедь (тем паче последняя) требует, чтобы исповедующийся участвовал в обряде всем своим существом...

Князь Мышкин рассказывает:

«С ним всё время неотлучно был священник и в тележке с ним ехал и всё говорил, — вряд ли тот слышал: и начнёт слушать, а с третьего слова уж не понимает... Священник, должно быть, человек умный, перестал говорить, а всё ему крест давал целовать... поскорей, скорым таким жестом и молча, ему крест к самым губам вдруг подставлял, маленький такой крест, серебряный, четырёхконечный, — часто подставлял, поминутно. И как только крест касался губ, он глаза открывал и опять на несколько секунд как бы оживлялся, и ноги шли. Крест он с жадностью целовал, спешил целовать, точно спешил не забыть захватить что-то про запас, на всякий случай, но вряд ли в эту минуту что-нибудь религиозное сознавал»⁸⁰.

Прочитав последние слова и применив их к самому автору «Идиота», Л. Гроссман пишет: «В момент такого страшного испытания вера изменила Достоевскому».

Это очень серьёзное утверждение — и оно требует не менее серьёзных доказательств. Конечно, вера его прошла «через горнило сомнений», и почти нельзя сомневаться в том, что она действительно временами изменяла ему (или он изменял ей). Но справедливо ли полагать, что это случилось именно на эшафоте?

Л. Гроссман говорит, что вере в загробную жизнь и бессмертие души «неумолимо противостояло представление о растворении умершего в природе, о его естественном слиянии с космосом, быть может, с отблесками солнечных лучей, которые и станут его «новой природой». Такое «неверие» останется навсегда основой мироощущения Достоевского, несмотря на весь его живейший интерес к вопросам религиозной проблематики»⁸¹.

Если следовать Л. Гроссману, Достоевский был, так сказать, стыдливым пантеистом, которому оставалось сделать только шаг до «чистого» материализма. Имеется в виду известная цитата из «Идиота»: «Невдалеке была церковь, и вершина собора с позо-

лоченною крышею сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от неё сверкавшие; оторваться не мог он от лучей: ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольётся с ними...» Здесь действительно есть оттенок пантеистической грусти, и, казалось бы, дальше должна зазвучать более мажорная нота, свидетельствующая о здоровом оптимизме обречённого — в связи с его скорым «растворением в природе», о сладком предвкушении «естественного слияния с космосом».

Но увы. У Достоевского звучит совсем иное. «*Неизвестность и отвращение* (курсив наш. — И. В.) от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны...»⁸² Ужас и отвращение вызваны почему-то заманчивой пантеистической перспективой...

Но, может быть, этот ужас как раз и есть свидетельство веры? Именно так полагает первый биограф Достоевского — Орест Фёдорович Миллер. Основываясь на тех же самых обстоятельствах, что и Гроссман, он приходит к выводам прямо противоположным.

«Он ощущал только мистический страх, — пишет Миллер, — весь находился под влиянием мысли, что через каких-нибудь пять минут перейдёт в другую, неизвестную жизнь (в нём, стало быть, нимало не была поколеблена вера в бессмертье)»⁸³.

Вопрос, который так безапелляционно решают два разных, но ставящих перед собой некую *обязательную* задачу биографа, заслуживает между тем обсуждения.

В том, что преступник во время смертного обряда судорожно тянется к кресту, нельзя усмотреть наличие веры, точно так же как нельзя усмотреть неверие в том, что он не сознаёт в этот момент «что-нибудь религиозное». Эшафот — не самое удобное место для разрешения теологических споров.

Млодецкий, после некоторого колебания всё-таки целующий крест, и толпа, отзывавшаяся на его поступок глухим и сочувственным гулом, — эта картина исполнена для Достоевского глубокого смысла. Временное сходилось с вечным — и это схождение давало надежду примирить всех. «Злодеи» превращались в мучеников — и мученичеством своим как бы искупали злодейство.

Если Алёше Карамазову суждено было погибнуть на эшафоте, то день 22 февраля сыграл бы в этом замысле не последнюю роль.

* Ср. слова, сказанные автором «Идиота» великому князю: «...Ужасен переход в другой, неизвестный образ».

глава IX на сцене и за кулисами

В пользу детей

Зима 1880 года закончилась казнью Млодецкого. Наступила весна.

К весне успех «Братьев Карамазовых» уже не вызывал сомнений. Отрывки, читаемые на вечерах, встречались восторженно. Книжки «Русского вестника» переходили из рук в руки.

Роман нужно было закончить хорошо и в срок.

15 марта Анна Григорьевна пишет племяннику мужа: «...если найдёте нужным переговорить, приходите утром: до 11 я всегда дома; вечером же никогда не свободна, так как диктую напропалую и спешим отослать в “Русский вестник” “Братьев Карамазовых”»¹.

Диктовал, разумеется, Достоевский. Однако множественное число употреблено не случайно: труд, если учесть его физический объем, совершался совместно. И в украсившем роман посвящении — Анне Григорьевне Достоевской — не только любовь, но и признательность литературная.

Между тем весна выдалась трудной: благотворительные вечера следовали один за другим. И отказать не было никакой возможности.

Ещё в феврале он дал обещание читать в пользу Дома милосердия. («Позвольте, — писал он П.И. Вейнбергу, — пожать Вам руку за то, что стараетесь о детях»².)

Сами дети были необычные: из вновь учреждаемого «предупредительного отделения», задача которого, как пояснил Вейнберг, заключается «в призрении тех детей, которые вследствие отсутствия нравственного и материального ухода за ними впоследствии должны попасть уже, так сказать, в штат Дома милосердия или просто пропасть, — таких детей, одним словом, один из образчиков которых мы видим в Вашем “Мальчике на ёлке”»³.

Рассказ «Мальчик у Христа на ёлке» помянут не случайно. Его герой, замерзающий в чужой подворотне, за дровами, мог бы — при более благоприятном стечении судеб — оказаться «в штате» Дома милосердия, иными словами — *выжить*. И если рассказ взывал к общественной совести и тем самым делал своё дело, то теперь его автору предоставлялась возможность помочь своим героям не только нравственно, но и материально.

Дети всегда интересовали Достоевского (недаром одно из продолжений «Карамазовых» замышляется как «роман о детях»). Но с особенным чувством вглядывается он в «мальчиков с ручкой» — маленьких обитателей социального дна.

В начале 1876 года он посетил воспитательный дом — приют для незаконнорожденных. Изложив в «Дневнике писателя» свои впечатления, он ставит «неудобный» вопрос — о будущем этих «вышвырков», этих отверженных, никогда не знавших ни семьи, ни материнского тепла.

Он требует социальной компенсации.

«...Не вознаградить ли их как-нибудь другим путём, — спрашивает он, — возрастив, например, в этом великолепном здании, — дать имя, потом образование и даже самое высшее образование всем, провести через университеты, а потом, — а потом приискать им места, поставить на дорогу, одним словом, не оставлять как можно дольше, и это, так сказать, всем государством, приняв их, так сказать, за общих, за государственных детей»⁴.

Всё это говорится в *пользу детей*. Разумеется, подобные советы не были приняты всерьёз, ибо то, что предлагалось, — слишком

радикально. И он подчиняется обычному порядку вещей: несет свою лепту на дела благотворительные.

Вечер в пользу Дома милосердия состоялся 20 марта.

На вечере этом с Анной Григорьевной приключился престран- ный случай. Лица большинства мужчин, сидящих в зале город- ской думы, показались ей знакомыми. Анна Григорьевна встре- вожилась: не галлюцинация ли? В антракте дело разъяснилось. Жена городского головы была одной из попечительниц Дома милосердия, и, конечно, все купцы и приказчики Гостиного двора отозвались на её зов посетить литературный вечер в пользу патронируемого ею учреждения. «А так как я, — продолжает Анна Григорьевна, — запасаясь ввиду лета материями для дет- ских платиц, в поисках красивых рисунков на днях обошла весь Гостиный двор, то лица приказчиков мне запомнились и теперь показались знакомыми»⁵.

Воспоминания Анны Григорьевны следует дополнить.

Газета «Берег» сообщала: «Публики на вечер собралось немного, особенно в начале вечера передние ряды кресел были почти не заняты». (Как видим, призыв супруги городского головы менее всего подействовал на состоятельную публику, обычно покупавшую билеты в передние — самые дорогие — ряды партера.)

Из писателей, кроме Достоевского, присутствовали Потехин и Григорович.

«Публика встречала исполнителей радушно, — продолжает «Берег», — особенно долго раздавались рукоплескания, когда на эстраду взошёл наш талантливейший романист г. Достоев- ский... Г. Достоевский прочёл отрывок из романа «Братья Карама- зовы» — именно беседу монастырского старца Зосимы с бабами»⁶.

На сей раз — может быть, ввиду не очень высокой интеллигент- ности аудитории — он читал сравнительно простой для восприя- тия текст.

Он выступал в пользу детей: в зале сидели взрослые. Но изве- стен случай, когда он читал детям. Это было примерно год назад — вскоре после уже описанных тургеневских дней. 3 апреля 1879 года в Соляном городке* состоялся утренний детский праздник.

* Так назывался дом на Фонтанке против Летнего сада (на месте старого Соляного двора). Здесь устраивались лекции и концерты.

«Большая аудитория педагогического музея была переполнена так, что многие стояли в проходах, — сообщается в газетном отчёте. — Такую массу публики, конечно, привлекло извещение об участии в празднике г. Достоевского. Праздник начался пением детского хора... Хор пел очень удовлетворительно и вызвал самые оживлённые приветствия. В заключение, при общих овациях, хор несколько раз пропел “Боже, Царя храни”».

Последнее обстоятельство подчёркивается не случайно. Строки национального гимна обретали *буквальный* смысл в связи с *вчерашним* событием: 2 апреля Соловьёв стрелял в государя.

«Затем, — продолжает газета, — последовало чтение г. Достоевского. Предполагалось, кажется, прочесть былинку об Илье Муромце*, но лектор выбрал свой рассказ о Христовой ёлке для замерзшего мальчика (из «Дневника писателя»)».

Для детей выбирается повествование о детях: в светлый пасхальный день читается рождественский рассказ с далеко не идиллическим сюжетом.

«Мастерское чтение, — заключает хроникёр, — произвело сильное впечатление на публику. По окончании рассказа, когда г. Достоевского вызвали, на эстраду вышли несколько мальчиков и девочек и поднесли ему букеты цветов»⁷.

Не совсем ясно, какие это были цветы — живые или искусственные, — и могли ли они соперничать с розами, поднесёнными ему две недели назад. Впрочем, это не так уж важно. Главное, что букеты дарили дети.

«Ввиду того что праздник был детский, — вспоминает Анна Григорьевна, — муж пожелал взять на него и своих детей, чтобы они могли услышать, как он читает с эстрады, и увидеть, с какою любовью встречает его публика... Фёдор Михайлович оставался до конца праздника, расхаживая со своими детьми по залам, любясь на игры детей и радуясь их восхищению доселе невиданными зрелищами»⁸.

С детьми он быстро находил общий язык: гораздо быстрее, чем со взрослыми.

* А.К. Толстого.

Все ли браки заключаются на небесах?

Пожалуй, никогда ему не приходилось выступать так много, как весной 1880 года. На следующий день после вечера в пользу Дома милосердия, 21 марта, состоялся ещё один благотворительный концерт — в пользу Женских педагогических курсов. Он проходил в зале Благородного собрания: место было привычным.

Событие это заслуживает внимания.

Устроители вечера по примеру прошлого года решили соединить у себя двух знаменитостей — Тургенева и Достоевского.

Хотя Тургенев с начала февраля находился в Петербурге и теоретически они могли видаться, вероятность подобной встречи была очень мала. Нейтральной территорией был дом Полонских: однако радушные хозяева старались избежать неприятностей, вроде той, которая произошла на тургеневском обеде.

Итак, если они не встречались у Полонских, то 21 марта должна была состояться их первая встреча: первая после вынужденного публичного рукопожатия — год назад, в зале того же Благородного собрания.

Вечеру 21 марта предшествовали некоторые события.

Три девушки-словесницы отправились на переговоры к Тургеневу, а математички поехали приглашать Достоевского. С Тургеневым дело уладилось сравнительно быстро. Оказалось, правда, что он дал подписку не участвовать в публичных чтениях (правительство — не без науськивания со стороны «Московских ведомостей» — несколько преувеличивало степень его оппозиционности)*. Однако деятельные педагогички «нажали» на директора всех женских гимназий и педагогических курсов И.Т. Осина, тот в свою очередь обратился к принцу П.Г. Ольденбургскому (председателю Главного совета женских учебных заведений) — и желанное разрешение было получено.

Вторая депутация вернулась ни с чем.

* 8 мая 1880 года Тургенев пишет М.М. Стасюлевичу (из Спасского-Лутовинова): «...между всеми здешними мужиками и бабами ходили толки, что вследствие взрыва во Дворце меня Г<осударь> приказал замуровать в каменный столб и надеть мне на голову двенадцатифунтовую чугунную шапку. Вот в какие цветики выращиваются семена, столь тщательно посеянные опытными руками г.г. Катковых и К^о»⁹.

«Достоевский отказал нам, — кричали наперебой математички. — Это вы виноваты! Зачем вы были у Тургенева раньше, чем мы пригласили Достоевского? Вы обидели его. Теперь поезжайте сами. Он прямо сказал: “Вы были у Тургенева, зачем я вам? Или вы хотите собрать у себя всех писателей? Бойтесь, что сбор будет неполный? Не беспокойтесь, имя Тургенева на афише соберёт полную залу. Оставьте меня в покое. Я не поеду”».

Повторяем: он крайне редко отказывался от выступлений. Но тут были причины.

На 20 марта уже был назначен вечер в пользу Дома милосердия, а осилить два вечера подряд при его эмфиземе было не так легко. Кроме того, у него могло возникнуть подозрение, что Тургенева пригласили не только раньше, но и *вместо* него, Достоевского, и только неуверенность в успехе (он вполне мог слышать о подписке) заставила педагогичек обратиться именно к нему.

Ещё об одной причине мы скажем несколько ниже.

Девушки-математички оказались с характером — и после бурных огорчений решились отправиться к Достоевскому вторично: впрочем, без особых надежд на успех. И женская настойчивость была вознаграждена.

«Часа через два математички вернулись сияющие, встретив совсем другой приём у Фёдора Михайловича. Вероятно, пожалев о своей горячности, он обрадовался, увидев их вновь.

— Ну вот, я вижу, что вы хорошие, — сказал он, — любите меня... Ну, будьте спокойны, я приеду к вам... приеду.

Он предложил чаю, усадил к самовару, угостил печеньем, варением, ласково поговорил с ними и отпустил их счастливыми и довольными домой»¹⁰.

Он сдался без боя: судя по всему, в глубине души он желал этого повторного приглашения, сожалел о своём отказе и не зная, как поправить дело. Замечательно, что на этот раз о Тургеневе не было даже упомянуто. Ему важно убедиться, что он — гость желанный, что хлопоты математичек вызваны не устроительной тактикой, а искренним стремлением видеть и слышать на своём вечере именно его.

Этот случай очень напоминает ситуацию, описанную в других воспоминаниях.

На одном из вторников у Штакеншнейдеров жена драматурга Аверкиева стала просить его прочесть что-нибудь вслух. «Подождала она к Достоевскому с самоуверенностью хорошенькой жен-

щины, которой в подобных просьбах не отказывают, и потерпела фиаско. Долго, впрочем, она с ним возилась, но он опять задумал ломаться. Наконец она рассердилась и бросила его. Но когда она отвернулась от него и пошла к своему месту, я заметила в его взгляде, которым он её провожал, недоумение и сожаление — “зачем, дескать, ты рано отошла, не дала мне ещё немножко поломаться? Я бы ведь согласился”».

Конечно, каприз; но каприз не злой, высокомерно-заносчивый, а бесхитростный, наивно-ребяческий, выдающий некую детскость натуры.

Кстати, хорошо изучившая его характер Е.А. Штакеншнейдер действовала в подобных случаях просто: «Я сунула ему в руки том Пушкина и говорю: “Я нездорова, доктор запретил меня раздражать и мне противоречить, читайте!” Он не возразил ни слова и немедленно стал читать...»¹¹

Вечер 21 марта был литературно-музыкальный: наряду с известными писателями в нём участвовали не менее известные певцы и виолончелисты. Благодарные устроители приготовили за кулисами изысканный стол. Пока иные из артистов налегали на коньяк, Тургенев обменивался любезностями с окружавшими его курсистками.

Достоевский, как всегда, любезностью не отличался. Заметив педагогичку в открытом платье, он оглядел её с головы до ног и отрывисто спросил: «Поёте?» — полагая, что это одна из приглашённых певиц.

Именно эта девушка, которую он своим неуместным вопросом ухитрился вогнать в краску, стала свидетельницей (скорее всего единственной) первого мгновения их с Тургеневым встречи.

Достоевский присел за столик, чтобы подготовиться к чтению, а упомянутая выше курсистка расположилась у порога, преграждая дорогу любопытным.

...Тургенев появился в дверях неожиданно — высокий, с зачёсанными назад седыми волосами. Осмотревшись и увидев Достоевского, погружённого в чтение, он направился прямо к нему. «Достоевский даже вздрогнул от неожиданности быстрого движения Тургенева и неловко привстал. Молча они протянули друг другу руки, а Тургенев двинулся к молодёжи, которая тотчас окружила его».

Сцена почти в точности повторяет их встречу на вечере 9 марта 1879 года.

Тургенев читал «Певцов», Достоевский — отрывок из «Подростка». Как некий примирительный жест (или жест литературной вежливости, отделяющий общее в данном случае дело от личных недоразумений) можно расценить то обстоятельство, что, когда один из писателей выходил на эстраду, другой направлялся в зрительный зал — послушать коллегу.

Исполнение «Подростка» прошло, если верить газетному источнику, не вполне гладко.

Недаром, готовясь к выступлению, он погрузился в чтение собственного текста (и даже не сразу заметил вошедшего в комнату Тургенева). Дело в том, что предполагаемый для чтения отрывок не был заранее просмотрен.

«Вот, — сокрушённо заметил он девушке, первоначально принятой им за певицу, —...не успел дома прочитать, а не прочтя заранее, нельзя выходить на эстраду. Всегда могут случиться неподходящие места, которые придётся, может быть, выкинуть...»¹²

Именно так и случилось.

«К сожалению, — замечает корреспондент «Петербургской газеты», — нельзя умолчать, что наш высокоталантливый романист Ф.М. Достоевский сделал не особенно удачный выбор для чтения». Далее излагается известный сюжет из «Подростка»: молодая девушка ищет уроков, даёт публикации в газетах, но «получает предложение поступить на содержание и обманным путём попадает в дом терпимости». В конце концов героиня вешается.

«Нечего говорить, — продолжает корреспондент, — что рассказ в талантливом изложении автора и его прекрасном чтении производит тяжёлое впечатление на публику. Но насколько уместно рисовать такую мрачную, хотя единично возможную картину при молодых девушках, из которых многим предстоит борьба с жизнью и нуждой... это вопрос другой, и вопрос весьма серьёзный».

Высказав эти педагогические соображения, автор корреспонденции заключает: «Мы слышали, что выбор чтения будто бы одобрен г. попечителем учебного округа, но сомневаемся в правдивости такого слуха. Мы готовы скорее всего отнести эту ошибку к болезненности г. Достоевского, весьма часто заставляющей его забывать подробности своих многочисленных произведений. Что у тещи никакой задней мысли не было, доказывает то, что он сам

во время чтения заметно спохватился и сделал в некоторых местах значительные сокращения своего повествования»¹³.

Так излагает дело газетный отчёт. Однако никто из очевидцев, оставивших свои воспоминания об этом вечере, кажется, ничего не заметил.

Мемуаристка свидетельствует: «Когда всё стихло, на эстраде появился маленький человек, бледного, болезненного вида, с мутными глазами и начал слабым, едва слышным голосом чтение.

Пропал бедный Достоевский! — подумала я».

Далее произошло то, что совершалось почти всегда. Взглянув на эстраду (воспоминательница находилась за кулисами), она вдруг увидела, что «лицо Достоевского совершенно преобразилось»¹⁴ и стало похоже на лицо пушкинского пророка.

«Достоевский читал не очень громко, — вспоминает другая мемуаристка, — но таким проникновенным голосом, что становилось как-то жутко и казалось, что эту страшную сцену действительно переживаешь сама»¹⁵.

«По окончании чтения началось настоящее столпотворение. Публика кричала, стучала, ломала стулья и в бешеном сумасшествии вызывала: “Достоевский!”»

Весенние чтения 1880 года обнаружили, что общественная температура поднялась ещё на несколько градусов.

Эта атмосфера благоприятствовала удивительным всходам.

Выше мы привели свидетельства людей, для которых вечер 21 марта стал, пожалуй, решающим событием их личной жизни.

Серафима Васильевна Карчевская (та, что выглядывала из-за кулис) вскоре сделается женой будущего знаменитого физиолога И. П. Павлова. «Я не помню, кто подал мне пальто, — рассказывает она. — Закрывшись им, я плакала от восторга! Как я дошла домой и кто меня провожал, решительно не помню. Уже позже узнала я, что провожал меня Иван Петрович (надо полагать, от самого Ивана Петровича. — *И. В.*). Это сильно сблизило нас»¹⁶.

Не осталось без последствий и другое знакомство. Попросив девушку, ошибочно принятую им за певицу, приискать место в зале для своего домашнего доктора Якова Богдановича фон Бретцеля, Достоевский, очевидно, не мог предположить, что эта невинная просьба завершится для её исполнительницы законным браком.

События интимной жизни совпадают с явлениями жизни общественной чаще всего по чистой случайности. Но бывают знаменательные исключения.

На вечерах, в которых участвует Достоевский, неизменно возникает повышенная эмоциональная температура, особый моральный климат. Чтец как бы распространяет вокруг себя мощное магнитное поле, к которому невольно подключаются слушатели (недаром С.В. Карчевская признаётся, что такого подъёма она потом никогда не испытывала). Рушатся глухие межличностные перегородки, открывается путь к *другому*.

Подобные ситуации благоприятствуют завязке (или развязке) человеческих отношений.

Конечно, браки заключаются на небесах: но разве то, что совершалось во время его выступлений, не было своего рода прорывом *в эмпирию*?

Эстрадное действо не проходило бесследно и для него самого. Когда, окончив чтение, он прошёл за кулисы, Я.Б. Бретцель тут же осведомился о его здоровье (это было второе выступление за сутки). Доктор недоумевал, почему во время чтения его пациент ни разу не кашлянул. «А всё благодаря вашим лепёшкам, — сказал Достоевский и, вынув из кармана коробочку, сейчас же принял лекарство»¹⁷.

Лекарство и на самом деле могло быть превосходным. Но, очевидно, тут действовали ещё и те внутренние силы, которые в момент наивысшего напряжения «замораживают» болезнь, снимают головную боль и обостряют сознание.

«...А «мы» читали на разных чтениях, — сообщает Анна Григорьевна А.А. Достоевскому (племяннику), — и нам аплодировали больше, чем Тургеневу, и будем читать и впредь получать аплодисменты»¹⁸.

Анна Григорьевна ревностно относилась к успехам мужа: ход его соперничества с Тургеневым включается в число главных семейных новостей.

Она не ведала, что Достоевский «обошёл» Тургенева не только 21 марта, но и на следующий день.

22 марта великий князь Константин Константинович записывает в дневнике: «Вчерашний вечер с Тургеневым расстроился; он несколько раз подвергался подозрениям в революционном направлении, и хотя эти предположения вовсе не основательны — нельзя напрасно делать Мама́ целью вздорных слухов.

В утешение я затеял сегодня вечер с Достоевским... Вечер был в малиновом кабинете Мама́, а приглашения я рассылал её именем, хотя она сама не могла показаться по болезни. Евгения (принцесса Ольденбургская. — *И. В.*) была очень довольна Достоевским, проговорила с ним весь вечер»¹⁹.

Интересно: догадывался ли Достоевский, что на сей раз его действительно пригласили «вместо» («в утешение», как деликатно выразился великий князь)? Хочется верить, что нет: в противном случае его реакция могла быть такой же, как во время первого визита математичек.

Но пора, пожалуй, назвать ещё одну причину, вызвавшую тогда его неожиданный «каприз».

«...Вам нельзя читать!»

В его архиве хранится письмо следующего содержания:

22. III 1880

Уважаемый Фёдор Михайлович, Вы сказали вчера, вероятно, слушательницы Бестужевских курсов сердятся, что я отказался читать на их вечере.

Нет, милый Фёдор Михайлович, не сердимся мы и не смеем сердиться. Мы не можем желать того, что хотя сколько-нибудь может нарушить Ваше спокойствие, повредить Вашему здоровью. Мы любим Вас глубоко и умеем беречь Вас в наших сердцах; мы знаем, что Фёдор Михайлович — один и другого такого не будет никогда. Мы даже не завидуем педагогичкам. Делить Вас — как-то и в голову не приходит. Ведь Вы и так принадлежите всем. Мы можем только внимать с благоговением Вашему светлому слову, где бы оно ни было произнесено, и благодарить Вас, бесконечно благодарить за внушённую Вами нам любовь.

Живите, живите долее. Лучше никогда не появляйтесь среди нас, только храните Ваши силы, Ваше здоровье.

Прощайте, целую крепко, крепко Ваши руки. Простите, не сердитесь, что так написала, но никакими иными словами не умею закончить этой записки.

Одна из слушательниц Бестужевских курсов
*Л. Пыхачева*²⁰.

Абсолютно искреннее и трогательное, это послание написано на следующий день после вечера в Благородном собрании и несёт в себе его живой отзвук.

Как явствует из текста письма, на вечере 21 марта присутствовали бестужевки: состоялся разговор, причём Достоевский высказал нечто вроде извинения за свой отказ выступить на курсах. Надо полагать, переговоры о таком выступлении (которое, очевидно, должно было состояться в эти же мартовские дни) шли параллельно переговорам с педагогичками. И, отказывая последним, Достоевский мог иметь в виду возможность своего выступления на Бестужевских курсах. Однако педагогички оказались настойчивее: их повторное посещение решило дело в их пользу.

В свою очередь отказ бестужевкам мотивировался действительно серьёзной причиной: состоянием здоровья (три выступления подряд — нагрузка для него непомерная). И всё-таки он ощущает себя виновным и спрашивает, не сердятся ли на него курсистки. Совестьливость — одна из его структурных черт.

Ему было трудно отказать бестужевкам: с курсами связаны некоторые воспоминания.

С.-Петербургские Высшие женские курсы были открыты сравнительно недавно — в сентябре 1878 года.

Это было первое в России высшее учебное заведение для женщин. Идея, которую горячо поддерживал автор «Дневника писателя», была наконец воплощена в жизнь.

Достоевский симпатизировал курсам не только как учреждению: с ними его связывали и некоторые личные отношения.

В числе тех, кто много лет вёл борьбу за открытие курсов, — Анна Павловна Философова. Она была первой председательницей Комитета общества для доставления средств Высшим женским курсам (именно это общество и устраивало благотворительные вечера; Достоевский числился в списке его членов).

Первым директором курсов (чье имя они и носили) был академик К.Н. Бестужев-Рюмин (племянник казнённого декабриста). Он же состоял председателем Славянского благотворительного общества; Достоевский недавно был избран товарищем председателя.

За полтора месяца до смерти Достоевского, в декабре 1880 года, к нему обратится неугомонный П.И. Вейнберг — на этот раз в стихотворной форме:

«Опять Бестужевские курсы
С поклоном к Вам. В нужде они
Весьма большой. Добыть ресурсы
Совсем необходимо; дни,
Часы им дороги...»²¹ —

и т. д.

Несколько ранее тот же Вейнберг писал: «...Без Вашего участия о хорошем сборе и думать нечего. В прошлом году это участие уже доставило немалую сумму денег»²².

Прошлогоднее выступление было памятно Достоевскому не только своим материальным успехом.

5 апреля 1879 года (то есть через три недели после тургеневских торжеств, через три дня после соловьёвского покушения и через день после детского праздника в Соляном городке) он читал в здании Александровской женской гимназии: весь сбор шёл Бестужевским курсам. «Он выбрал сцену из «Преступления и наказания», — вспоминает Анна Григорьевна, — и произвёл своим чтением необыкновенный эффект»²³.

Анна Григорьевна ошибается: он читал отрывок из другого романа. Что же касается «необыкновенного эффекта», она совершенно права.

О степени этого эффекта можно судить по двум письмам, отправленным на имя Достоевского в один и тот же день — 6 апреля 1879 года, то есть на завтра после его выступления.

Оба автора не пожелали назвать своё имя. «Один из многочисленных ваших читателей и почитателей» — так подписано первое письмо. Под вторым не значится ничего.

«Фёдор Михайлович, — пишет первый корреспондент. — Без всякого прибавления: Фёдор Михайлович — без «Милостивый государь», без «Многоуважаемый» и проч. Просто — Фёдор Михайлович! Так лучше и проще».

Письмо написано под впечатлением. На вчерашнем вечере автор письма впервые увидел Достоевского. «Я и на вечер вчера пришел, — пишет он, — только для того, чтобы посмотреть на вас. Я ведь никогда до вчерашнего вас не видел. Не один я так. Нас много так пришло. И все очень были рады, что вы так любовно были приняты. Именно любовно, а не как-нибудь там иным образом. Вон Тургенева тоже принимали хорошо, может быть, с большим блеском, но именно с блеском. Души-то

там вряд ли много было. Он ведь больше уму говорит. Потому так его и принимали — с уважением, потому нельзя — талант. Вас же просто, любовно, сердечно, потому что талант вы такой простой, сердечный».

Здесь интересна разница в восприятии. Но было бы ошибкой заключить, что 5 апреля 1879 года Достоевский выступал вместе с Тургеневым. Это не так: ещё 21 марта Тургенев отбыл за границу, и автор письма скорее всего имеет в виду одно из его мартовских выступлений.

«Право, Фёдор Михайлович! — продолжает «один из почитателей». — Вот только что встал с постели, вспоминаю вчерашнее — и как всё хорошо, впечатление осталось приятное. И рубля не жалко, право! А для меня рубль много значит».

Последняя фраза удостоверяет, что автор письма — человек небогатый. Кто же он? Студент, учитель, мелкий чиновник? Трудно сказать. Он застенчив. «Мне хотелось бы наказать вас много-много хорошего, да вот — бумага проклятая: не укладывается на ней как-то, перо-то плохо умею держать в руке. На словах я бы лучше вам сказал. Впрочем, нет; пожалуй, ничего бы не сказал. Как вчера — хотелось пожать вашу руку, да так с одним желанием и остался: вышло бы, пожалуй, уж очень заметно и торжественно...»²⁴

Те, кто ощутил на себе воздействие самой личности Достоевского, испытывают острую потребность во встречном, *ответном* душевном движении. Эта потребность излилась и в другом анонимном письме от того же дня, которое имеет смысл привести полностью.

6 апреля 1879 года

Батюшка любимый мой, голубчик, вам нельзя читать! Вот если б вас слушать можно было стоя на коленях, да за каждое ваше гениальное слово можно было бы отдавать свою душу, тогда ещё вам простительно читать, а то подумайте, какое мучение человеку слушать вас, чувствовать просто какую-то боль от восторга и знать, что нет никаких сил, никакой возможности выразить всего, что чувствуешь, — это ужас как больно! Кроме того, вам самому нельзя слышать и видеть благоговения перед собой: вам ужасно вредно волноваться (а вы ведь тогда волновались, когда читали, я уж не знаю, как

и назвать тот отрывок из «Братьев Карамазовых» про Илюшечку!). Если можно, примите мой совет от одного восторга и любви к вам — не читайте больше, не то помогите найти возможность отдавать вам свою душу.

«Очень нужное»²⁵ — пометил на конверте автор этого поразительного послания — и он не ошибся. Такие письма были очень *нужны* Достоевскому: не менее, чем он сам был нужен своим слушателям и корреспондентам.

Однажды он признался: «Писателю всегда милее и важнее услышать доброе и ободряющее слово прямо от сочувствующего ему читателя, чем прочесть какие угодно себе похвалы в печати. Право, не знаю, чем это объяснить: тут, прямо от читателя, — как бы более правды, как бы более в самом деле»²⁶.

Его корреспонденты именуют его «просто Фёдор Михайлович» или — ещё интимнее, ещё доверительнее — «батюшка»: мало кто из русских писателей, его современников, удостоивался такой эпистолярной непосредственности. Впрочем, он сам давал читателям подобное право: это было ответом на искренность его собственного искусства.

После издания «Дневника писателя» (1876—1877) бурно разрослись его личные и общественные связи. Ему писали и к нему являлись верующие и атеисты, он стал вхож в камеры заключённых и в великокняжеские салоны.

В последние годы у него появляется много неизвестных друзей. И это не могло его не радовать.

Однако как обстояло дело с друзьями *известными*?

глава X

друзья и знакомые

«Два-три человека!...»

Увы, в эти последние годы у него нет близких и сокровенных друзей. Друзей, до конца ему преданных, свободно входящих в его внутренний мир. Страхов? Но какой же это друг... Аполлон Николаевич Майков? Да, конечно: это приятельство тянется ещё с 40-х годов, но их близость (более ощутимая на расстоянии — во время пребывания Достоевского за границей) в последние годы заметно ослабла. И Страхов, и Майков — особенно после публикации «Подростка» в «Отечественных записках» — относятся к нему, по его собственному выражению, «со складкой». Страхов, правда, регулярно обедает; однако и он, и Майков в эти годы скорее друзья семьи — без той внутренней теплоты, которая присуща интимным духовным связям. Оба лишь совершают освящённый временем (и поддерживаемый растущим успехом Достоевского) обряд.

Владимир Соловьёв? Их глубокий интерес друг к другу, несмотря на значительную разницу лет, мог бы получить сильное развитие (недаром в 1878 году они предприняли совместное путе-

шествие в Оптину пустынь). Но Вл. Соловьёв слишком погружён в свои академические занятия, а Достоевский — в своё писательство, чтобы крепко «обняться душами». Да и сами-то души не расположены к объятиям...

Может быть, О.Ф. Миллер, А.С. Суворин, Всеволод Соловьёв, И.С. Аксаков? Это все добрые знакомые, связанные с ним более внешним образом. Это его близкий круг, но опять-таки — круг не интимный. Здесь нет того приятия, которое — в разной степени — отличало, скажем, отношения Пушкина с Дельвигом, Вяземским, Жуковским, Нащокиным, А. Тургеневым...

Катков и Победоносцев? Это сюжет особый. Во всяком случае, они отнюдь не принадлежали к числу его *задушевных* друзей и даже — без существенных оговорок — не могут быть причислены к его идейным союзникам.

Кто же тогда? Да никто. У него нет друга. Такого, каким был для него покойный брат Михаил Михайлович или в молодости — И.Н. Шидловский.

Самый близкий ему человек — конечно, Анна Григорьевна: она одна.

В 1880 году мы не обнаруживаем старых или новых его приятелей, с кем бы он был на «ты» (за исключением разве А.Н. Плещеева и Д.В. Григоровича: «ты» — здесь лишь знак давности знакомства).

В этом последнем году его жизни у него ни с кем нет правильной переписки; нет больших эпистолярных циклов, которые прослеживаются за прежние годы, кроме, разумеется, переписки с женой. Количество корреспондентов как будто возросло: однако много писем носят случайный или же сугубо деловой характер; нельзя выделить ни одной сколько-нибудь устойчивой эпистолярной привязанности.

В последние годы у него как будто мало оснований сетовать на невнимание: от знакомых и незнакомых посетителей нет отбоя. Но подлинной близости не устанавливается, пожалуй, ни с кем. В его возрасте уже поздно заводить новые дружбы. И внешний успех лишь сильнее подчёркивает его одиночество.

В дружбе с такими людьми, как Достоевский, трудно (почти невозможно) быть на равных. Но у него нет и друзей иного рода: своего Анненкова (как у Тургенева), своего Черткова (как у Л. Толстого) и даже, на худой конец, своего отца Матвея (как у Гоголя).

В 1878 году он с горечью говорит Всеволоду Соловьёву: «Вы думаете, у меня есть друзья? Когда-нибудь были? Да, в юности, до Сибири, пожалуй что были друзья настоящие, а потом, кроме самого малого числа людей, которые, может быть, несколько и расположены ко мне, никогда друзей у меня не было. Мне это доказано, слишком доказано!»

После Сибири, говорит он, многие из прежних приятелей не пожелали его узнать. Потом друзья всегда появлялись вместе с успехом. «Уходил успех, и тотчас же и друзья уходили. Смешно это, конечно, старо, известно всем и каждому, а между тем всякий раз больно, мучительно...» Об успехе своей новой книги он узнавал по количеству навещавших его друзей: оно колебалось пропорционально степени этого успеха. «О, у людей чутьё, тонкое чутьё! Помню я, как все кинулись ко мне после успеха «Преступления и наказания»! Кто годами не бывал, вдруг явились, такие ласковые... а потом и опять все схлынули, два-три человека осталось. Да, два-три человека!...»¹

Может быть, в этом своём разговоре с Всеволодом Соловьёвым он назвал одно имя. То самое, которое несколькими годами ранее он упомянул в письме Анне Григорьевне: «Нет, Аня, это скверный семинарист, и больше ничего; он уже раз оставлял меня в жизни, именно с падением «Эпохи», и прибежал только после успеха “Преступления и наказания”»².

Речь идёт о Николае Николаевиче Страхове.

«И речь ведёт обиняком...»

«Поистине можно сказать, — замечает Анна Григорьевна, — что Страхов был злым гением моего мужа не только при его жизни, но, как оказалось теперь, и после его смерти»³.

Эти слова были произнесены в 1914 году, когда вдова Достоевского впервые ознакомилась с печально знаменитым письмом Страхова Л.Н. Толстому.

Осенью 1883 года Страхов посылает Толстому изданный вдовой Достоевского и только что вышедший том первого посмертного собрания его сочинений. Этот том — «Биография, письма и заметки из записной книжки» — хотя и значился первым, замыкал собою издание. Именно для него по просьбе издательницы Страхов и написал свои воспоминания.

Ещё в августе, сообщая Толстому о своей работе, Страхов замечает: «Не ожидал, что это так меня увлечёт, и если первая половина будет скучна, то вторая, вероятно, прочтётся с интересом». Автор ещё не знает о «третьей части», каковой можно считать то письмо, которым он сопроводит свою будущую посылку. Но уже здесь Страхов как бы *предупреждает*: «Какое странное явление этот человек! И отталкивающее, и привлекательное»⁴.

28 ноября 1883 года вслед за «Биографией...» в Ясную Поляну отправляется письмо. «...Прошу Вашего внимания и снисхождения, — пишет Страхов. — Скажите, как Вы её («Биографию...». — *И. В.*) находите. И по этому-то случаю хочу исповедаться перед Вами».

Исповедь состояла в следующем.

Автор письма признаётся, что, работая над своими — заметим, очень спокойными и «симпатическими» по тону — воспоминаниями о Достоевском, он боролся с подымавшимся в нём отвращением, хотя и «старался подавить в себе это дурное чувство». Герой воспоминаний был, по его словам, «зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провёл в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умён»⁵.

«Только она (Е.А. Штакеншнейдер. — *И. В.*) да Страхов так любили его...» — утверждает В. Микулич.

Да, Страхов умел скрывать свои чувства: и в литературе, и в жизни.

«Всегда неизменно деликатный и благодушный, — говорит его биограф, — мягкий и вежливый, но уклончивый, так же скупой на выражение своих симпатий, как антипатий, старающийся все свои настроения и впечатления скрасить шуткой и смехом, по возможности не высказывающий своего мнения и с величайшим вниманием выслушивающий во всех подробностях всякую чужую мысль, никогда не направляющий разговора в ту или другую сторону, но всегда идущий за своим собеседником, охотно подтрунивающий, но никогда не допускающий себе обмолвиться ни одним резким, грубым или неуместно игривым словом, — таким вспоминают его с невольной любовью все, кто лично знал Страхова»⁶.

Когда читаешь письмо Страхова Толстому, трудно поверить, что вышеприведённая характеристика относится к его автору. Может быть, единственный раз в жизни Страхов высказался резко и — до конца.

Что же подвигло его на такой нехарактерный поступок?

Поведав Толстому о своём отвращении к герою воспоминаний, Страхов выкладывает решающий, на его взгляд, аргумент: «Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка»⁷.

Нет нужды опровергать здесь эту поистине мировую сплетню, приписывающую «ставрогинский грех» самому автору «Бесов»: она давно исследована и разоблачена. Но любопытно, что говорит Страхов далее: «Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах»⁸.

Автор письма утверждает, что Достоевский был похож на таких своих героев, как Подпольный, Свидригайлов, Ставрогин, и что все его романы «составляют *самооправдание*, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости»⁹.

В словах Страхова чувствуется какая-то *личная* обида.

Существует предположение, что это письмо вызвано той оценкой, какую дал ему, Страхову, Достоевский в своих записных тетрадах (тетради эти после смерти их владельца на некоторое время оказались в руках Страхова)¹⁰.

«Никакого гражданского чувства и долга, — записывает Достоевский, — никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и всё, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу*, до которой ему всё равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать»¹¹.

«...Несмотря на свой строго нравственный вид, *втайне сладострастен*», — говорит Достоевский**. «Заметьте... что при *животном сладострастии* у него не было никакого вкуса», — «отвечает»

* Уточнённое прочтение (Н. Тарасовой) — «и родину».

** Интересно сопоставить эти слова со свидетельством В. Розанова — в его некрологе Страхову — о том, что последний избегал «фривольных» тем, никогда не шутил «бесстыдно, даже нескромно»¹². Ср. замечание Пушкина о *преувеличенной* стыдливости (относящейся, правда, к прекрасному полу): «Такое свойство предполагает нечистоту воображения, отвратительную в женщине, особенно в молодой»¹³.

Страхов. «...За какую-нибудь жирную грубо-сладоострастную *пакость* готов продать всех и всё...» — говорит Достоевский. «Его тянуло к *пакостям*», — «отвечает» Страхов и спешит подкрепить свои слова *развесистой клубничкой* (курсив наш. — И. В.).

Этот — почти дословный! — размен показывает, чем именно Страхов был задет за живое. Достоевский попал в самую точку, в глухой угол страховского «подполья» — и вечный холостяк Страхов спешит возвратить ему те обвинения, которые уязвили его больше всего*.

Но Страхов осуждается не только за свои тайные грехи, но и за пороки общественные (тоже тайные). Отсутствие «гражданского чувства и долга» (тщательно скрываемое) оказывается незримо сопряжённым с «подпольем», нравственный индифферентизм — с «грубой корою жира». Страховская физиология как бы запечатлена и в его душевной структуре**.

«И ангелу Лаодикийской церкви напиши...»

Страхов — «тёпл».

В одних старых воспоминаниях рассказывается:

«К чаю пришёл Страхов, меня познакомил с ним Стахеев и заметил:

— Видели вы на лестнице книги, — и на площадке, и вниз они тянутся... У него три комнаты ими сплошь завалены. Тысяч шестьдесят. Так, Николай Николаевич?

Страхов виновато улыбнулся:

— Не считал. Думаю, тысяч двадцать.

— Книжный человек!.. И думаете, читает? Нет, так неразрезанные и ставит на полки.

— Времени нет, потом... — оправдывался Страхов и всё конфузился...

— Николая Николаевича очень Толстой любит, — всё они переписываются, — хвастался Стахеев. — И всё спорят, спорят, — и конца-краю их спору нет... Хороший человек... Николай Николаевич! Хороший!»¹⁵

* Если допустить, что Страхов всё-таки не читал записи о нём Достоевского, то подобная перекличка становится ещё более знаменательной — в литературно-психологическом плане.

** Ср. каламбур Достоевского: «Если не *затолстает*, как Страхов, *затолстел* человек»¹⁴, содержащий не только указание на демонстративную прикровенность Страхова к Толстому, но и его нравственно-физическую характеристику.

Благожелательный мемуарист допускает одну неточность (правда, с чужих слов): никаких особых споров у Страхова с Толстым не бывало. Страхов избегал этого жанра.

Страхов «тёпл»; однако у теплого, всегда благодушного, *конфузящегося* Страхова хватило темперамента, чтобы сыграть при Достоевском роль запоздалого Сальери: подсыпать свою толику яда в чашу его посмертной славы.

Всё это придаёт психологической загадке Страхова довольно зловещий оттенок: безамбициозный «маленький человек» (*литературный человек*) способен, оказывается, на многое...¹⁶

Симпатизирующий Страхову В. Розанов (неизмеримо превосходящий его характером и масштабом дарования, но в каких-то душевных точках тайно к нему тяготеющий) говорит: «Всегда передо мною гипсовая маска покойного нашего философа и критика, Н.Н. Страхова, — снятая с него в гробу. И когда я взглядываю на это лицо человека, прошедшего в жизни нашей какой-то тенью, а не реальностью, — только от того одного, что он не шумел, не кричал, не агитировал, не обличал, а сидел тихо и тихо писал книги, у меня душа мутится...

Судьба Константина Леонтьева и Говорухи-Отрока...»¹⁷

Кстати, Константин Леонтьев — вот что сообщал он тому же Розанову о том же Страхове:

«Вы желаете, чтобы я вам побольше написал о Страхове. Простите, *не хочется!* Я всегда имел к нему какое-то «физиологическое» отвращение... *его-то, с его тягучестью и неясностью идеалов*, я уже никак не намерен считать выше себя... ибо доказателен ли я или нет, не знаю, но знаю, что всякий человек поймёт, чего я хочу, а из Страхова никто ничего *положительного* не извлечёт, у него всё только тонкая и верная критика да разные «уклонения», «умалчивания», «нерешительность» и «притворство»¹⁸.

Разумеется, К. Леонтьев в глаза не видывал запись Достоевского о Страхове (она была опубликована лишь в наши дни): совпадение между тем замечательное.

«Н.Н. С<трахов>, — записывает Достоевский, — как критик очень похож на ту сваху у Пушкина в балладе «Жених», об которой говорится:

Она сидит за пирогом
И речь ведёт обиняком.

Пироги жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах, а в статьях своих говорил *обиняком*, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему 4-х читателей, я думаю не больше, и жажду славы. Он сидит на мягком, кушать любит индеек, и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув 2-х мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми. Это придаёт уже вполне дурацкий вид, и ещё немного, они уже переделываются совсем в дураков — и так на всю жизнь».

И Достоевский добавляет: «Главное в этом самолюбии играют роль... и 2 казенные места. Смешно, но истина. Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь»¹⁹.

Тут уместно вспомнить другую запись — из черновиков к «Братьям Карамазовым»: она уже приводилась выше. Это заметки о Семинаристе-Ракитине (с его желанием «уничтожить народ»).

Казалось бы, что может быть общего между тонким эстетиком, философом-идеалистом, славянофилом и интеллектуалом Страховым и поклонником грубого материализма, прагматиком и развязным атеистом, начисто лишённым высших духовных интересов? Они — антиподы, враги, представители противоположных и противоборствующих сил.

И всё же в них есть момент тайного родства.

Это — небескорыстие.

И для Страхова и для Ракитина идеология — лишь *средство*; вещь не кровная, не основная, а — вспомогательная. Оба они живут для себя, и их убеждения — независимо от своего реального состава — прикрывают ту «грубую кору жира», которая на первый взгляд прикрывает их самих. «Кора» и есть в них самое главное.

За убеждения не заплачено судьбой.

Это психологическое сродство оказывается решающим.

«Тёплая» духовность Страхова немногим привлекательнее «горячей» бездуховности Ракитина.

Не будем, однако, преуменьшать выигрышных качеств Страхова: его художественного вкуса, ума и, наконец, не столь уж малого литературного дарования. Он как-никак был многолетним собеседником таких людей, как Толстой и Достоевский. Зачем-то он был им нужен. А в чём-то, может быть, он их и превосходил.

«Тонкость, — говорит Пушкин, — редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным»²⁰.

Непрямодушный и скрытный Страхов порою брал верх над гениями. И тем не менее один из них раскусил его, а другой не стал обсуждать услужливо предложенную ему «ставрогинскую» версию.

Страхов понят, но — не отлучен: при своей сверхосторожности он, конечно, старался не давать повода для открытого разрыва. Он по-прежнему обедает по воскресеньям у Достоевских; он, полуприкрыв глаза, дремлет у Штакеншнейдеров; он вежливо кивает собеседнику, «не обнаруживая при этом своего согласия или несогласия»²¹.

Словом, его голыми руками не возьмёшь.

И всё-таки он понят и отодвинут от сердца: о той близости, которая существовала в середине 60-х годов, теперь не может быть и речи²². Он участвует в Пушкинском празднике — и Достоевский, называющий в своих письмах из Москвы десятки имен, не упоминает его ни разу (как, впрочем, и во всей своей переписке 1878—1881 годов: факт знаменательный, если вспомнить частоту упоминаний за прежние годы).

Страхов не мог не чувствовать этой отчуждённости. С недоумением и скрытой досадой наблюдает он за всё возрастающим успехом «Братьев Карамазовых» (которых, кстати, не считал большим художественным достижением). Он, как говорилось, остро чувствовал чужую талантливость. Но если Толстой буквально подавлял его своим величием и духовной мощью, то Достоевский, этот вечно торопящийся «полухудожник», не обладавший к тому же преимуществом отдалённости, не был для Страхова достаточно высоким авторитетом.

В своих воспоминаниях о Достоевском Страхов никогда не упускает случая мягко подчеркнуть свою близость к герою. Однако иногда, желая выглядеть беспристрастным, он *проговаривается*.

«Я сам очень обижался на Фёдора Михайловича, тем более обижался, чем ближе мы когда-то были, — пишет автор воспоминаний. — Непобедимая мнительность иногда заставляла его смотреть и на меня как на человека, имеющего к нему что-то враждебное, недостаточно к нему расположенного, и это очень огорчало меня. “Он несправедлив, — думал я, — он мог бы знать мои чувства и верить в них”. Я старался победить в себе раздра-

жение, вероятно чересчур самолюбивое, делал некоторые приступы к большому сближению и до последнего времени всё мечтал, как о большом благополучии, о возможности восстановить вполне наше прежнее взаимное расположение. Охотно признаю себя виновным, что не вполне сумел и успел в этом; с его стороны, я уверен, было такое же желание»²³.

Надо полагать, такого желанья у Достоевского не было.

Ибо его «непобедимая мнительность» оказывается в настоящем случае непобедимой пронизательностью: он как бы заранее подозревает Страхова в способности совершить ту низость, которую Страхов и совершил. «Я старался победить в себе раздражение», — со скромным благородством признаётся Страхов. И — в письме к Толстому — договаривает всё: «Я боролся с подымавшимся во мне *отвращением*...»

Но почему же осторожный и уклончивый Страхов так неосмотрительно доверился обитателю Ясной Поляны? В этом тоже был свой расчёт.

Страхов желает *понравиться* Толстому. Он пытается подражать ему в его «моральной профилактике» — в преследовании и одолении в самом себе разного рода «недобрых чувств». Он подлаживается под беспощадную искренность Толстого, даря последнего небезопасными для себя, но зато столь *мужественными* признаниями.

Он не расчёл одного: Толстой никогда бы не смог тишком опровергать то, что только что было провозглашено им публично. Толстой не унизился бы до посмертного доноса.

Страхов забыл об этой маленькой разнице.

Возможно, Страхов был действительно потрясён смертью Достоевского. «Точно земля зашаталась под ногами»²⁴, — пишет он Фету 30 января 1881 года. И через четыре дня — Л. Толстому: «Чувство ужасной пустоты... не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского. Как будто провалилось пол-Петербурга или вымерло пол-литературы. Хоть мы не ладили всё последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел: мне хотелось быть перед ним и умным, и хорошим, и то глубокое уважение, которое мы друг к другу чувствовали, несмотря на глупые размолвки, было для меня, как я вижу, бесконечно дорого»²⁵.

Помнил ли Страхов, посылая через два года Толстому свой «обвинительный акт», об этих, может быть вынужденных мину-

той, признаниях? Очевидно, не помнил, ибо эти документы взаимно уничтожают друг друга. «...Мне хотелось быть перед ним и умным, и хорошим...» — ведь это сильнейший аргумент в пользу Достоевского! Это свидетельство его неопорочимой нравственной силы: разве возникает желание быть (или казаться, добавим мы) умным и хорошим перед тем, кого в глубине души считаешь «злым, завистливым, развратным»? Лучшим хочется выглядеть лишь в глазах тех, кто лучше нас...

Страхов даёт понять своему корреспонденту, что он был глубоко уважаем покойным. Мы знаем, что это не так. Он говорит и о собственном уважении к Достоевскому: через два года это слово будет заменено понятием совершенно противоположным.

«...Он писал как будто не теми словами, какими думал»²⁶, — говорит панегирист Страхова, дружественной рукой нанося своему герою неслабый удар.

Существовала, по-видимому, ещё одна причина, почему Страхов исповедовался Толстому. Он мог полагать, что автору «Войны и мира» будет приятно поношение его потенциального соперника. И здесь Страхов просчитался. В ответном письме Толстой фактически отклонил предложенную ему *заманчивую* тему: не стал обсуждать страховские наветы. Но при этом высказал некоторые собственные суждения.

«Книгу вашу прочёл (то есть всю «Биографию...»). — И. В.), — пишет Толстой. — Письмо ваше очень грустно подействовало на меня, разочаровало меня. Но вас я вполне понимаю и, к сожалению, почти верю вам».

О чём рассуждает Толстой? Прежде всего о том, что образ Достоевского в передаче Страхова (не в книге, разумеется, а в письме) оказался вовсе не таким, каким, по мнению адресата, должен явить себя русский писатель. Страховское письмо «разочаровало» Толстого именно этим. И он «почти» верит автору. Оговорка для Страхова достаточно неприятная, ибо, конечно, ему хотелось бы, чтобы Толстой поверил ему целиком.

«Мне кажется, — продолжает Толстой, — вы были жертвой ложного, фальшивого отношения к Достоевск<ому> — не вами, но всеми преувеличения его значения и преувеличения по шаблону, возведения в пророка, святого — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба».

Удивительно: Толстой оставляет без всякого внимания те нравственные изъяны обсуждаемого лица, на которые с горестью указывает Страхов. Он говорит о другом. О том, что нельзя принимать за образец («ставить на памятник») человека, находящегося в процессе внутренней борьбы. То есть, по мнению Толстого, «памятника» (или звания святого) заслуживает лишь тот, в ком этот процесс уже завершился безусловной победой добра; тот, чьё мировоззрение целостно и неколебимо и кто в этом отношении может служить примером для других. В общем, «в идеале» это скорее всего сам Толстой. Или — тот, кем он желал бы быть.

Толстой говорит, что есть прекрасные на вид лошади — «красавица, рысак, цена 1000 р., и вдруг заминка, и лошади-красавице, и силачу грош цена. Чем больше живу, тем больше люблю людей без заминки». Рысак с указанным недостатком — «да никуда на нём не уедешь, если ещё не завезет в канаву». Достоевский — «с заминкой», в отличие, например, от Тургенева, который «переживёт» Достоевского: «И не за художественность, а за то, что без заминки».

Сравнение писателей с лошадьми, конечно, очень впечатляет. Оно вполне в духе автора «Холстомера». Но что имеет в виду Толстой под «заминкой», способной опрокинуть незадачливого ездока (то есть читателя: здесь имеется в виду именно он) в гипотетическую канаву? Ну конечно, всё ту же неясность, нецельность, непоследовательность (как это представляется автору «Исповеди») мировоззрения. И, может быть, некоторую непрямоту, изошрённость художественного языка, дающего искусительную возможность разных толкований. Толстому — и как художнику, и как мыслителю — хотелось бы избежать этих «заминок». Он предпочитает, чтобы «рысак» мерно двигался к уже обозначенной цели — без каких-либо остановок, плутаний и отвлечений.

Но ещё интереснее, что Толстой, «почти» согласившись со Страховым, делает при этом собственный вывод.

«Из книги вашей я в первый раз узнал всю меру его ума. Чрезвычайно умён и настоящий. И я всё так же жалею, что не знал его»²⁷.

«Из книги вашей», — говорит Толстой. То есть из присланной ему «Биографии...», где впервые был напечатан большой массив писем Достоевского. Отсюда — понятие о «мере его ума», которого, впрочем, не отрицает и Страхов. Но Толстой произно-

сит главное для него слово: «настоящий». Достоевский (несмотря на «заминку») — настоящий: а ведь как раз это Страхов и пытался опровергнуть.

Но нет ли у нас оснований подозревать, что ещё при жизни Достоевского Страхов, беседуя с Толстым, отзывался о своём старом знакомце в весьма неодобрительных тонах?

Такие основания есть.

Страхов едва ли не единственный общий знакомый Толстого и Достоевского, достаточно близкий к ним обоим. И поэтому — наиболее «компетентный» информатор. Правда, в его многочисленных письмах к хозяину Ясной Поляны, написанных ещё при жизни Достоевского, нет ни одной сколько-нибудь подробной характеристики того, кто, конечно же, не мог не интересоваться Толстого.

Это выглядит странным.

Между тем Страхова можно понять: он не желает оставлять *документ*. Он не исключает возможности, что оба писателя ещё могут встретиться (исторической нелепостью выглядит тот факт, что великие современники не были знакомы, тем более что каждый из них знаком почти со всеми крупными писателями своего времени: Тургеневым, Некрасовым, Гончаровым, Островским, Григоровичем...).

При жизни Достоевского Страхов избегает письменных оценок. Но одна вырвавшаяся у него фраза (мы приводили её выше: «Я Тургенева и Достоевского — простите меня — не считаю людьми...») говорит о многом.

Она свидетельствует прежде всего о *разговорах*, которые велись между Толстым и Страховым, когда последний бывал в Ясной Поляне (иначе фраза эта кажется немотивированной и неуместной). Страхов лишь повторяет то, о чём он говорил Толстому устно. И его письмо 1883 года является развитием (и на сей раз документальной — «для потомства» — фиксацией) уже прежде высказанных суждений.

В этой связи возникает ещё одно подозрение.

Ещё одно обвинение против Страхова

10 марта 1878 года, возвращаясь с лекции входившего в силу молодого Владимира Соловьёва (это была седьмая из цикла

в одиннадцать лекций — «Чтения о Богочеловечестве»), Достоевский, как вспоминает Анна Григорьевна, спросил её:

« — А не заметила ты, как странно относился к нам сегодня Николай Николаевич (Страхов)? И сам не подошёл, как подходил всегда, а когда в антракте мы встретились, то он еле поздоровался и тотчас с кем-то заговорил. Уж не обиделся ли он на нас, как ты думаешь? »

— Да и мне показалось, будто он нас избегал, — ответила я. — Впрочем, когда я ему на прощанье сказала: «Не забудьте воскресенья», — он ответил: «Ваш гость».

Итак, необычное поведение Николая Николаевича отмечено обоими супругами.

«Меня несколько тревожило, — продолжает Анна Григорьевна, — не сказала ли я, по моей стремительности, что-нибудь обидного для нашего обычного воскресного гостя. Беседами со Страховым муж очень дорожил и часто напоминал мне пред предстоящим обедом, чтоб я запаслась хорошим вином или приготовила любимую гостем рыбу»²⁸.

Анна Григорьевна воистину преданная супруга. Она отводит от мужа любые ретроспективные подозрения. Это, видите ли, она могла чем-то обидеть Страхова: глава семьи на это не способен. Он дорожит своим собеседником. Однако не обольщается при этом относительно возможности удержать его подле себя исключительно духовными узами: их следует подкреплять хорошим столом*.

...Когда вскоре после описанной встречи Страхов пришёл обедать, Анна Григорьевна прямо спросила его, в чём дело.

« — Ах, это был особенный случай, — засмеялся Страхов. — Я не только вас, но и всех знакомых избегал. Со мной на лекцию приехал граф Лев Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему я ото всех и сторонился.

— Как! С вами был Толстой?— с горестным изумлением воскликнул Фёдор Михайлович. — Как я жалею, что я его не видал! Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если чело-

* Мы не рискнули бы попрекать Страхова чужими хлебом-солью, если бы этот момент не был обыгран в указанной записи Достоевского. Ср. приводимый Анной Григорьевной отзыв о Страхове одного из близко знавших его лиц: «Кто, в сущности, был Страхов? Это... тип «благородного приживальщика», каких было много в старину. Вспомните, он месяцами гостит у Толстого, у Фета, у Данилевского, а по зимам ходит по определённым дням обедать к знакомым и переносит слухи и сплетни из дома в дом»²⁹.

век этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него!

— Да ведь вы по портретам его знаете, — смеялся Николай Николаевич.

— Что портреты, разве они передают человека? То ли дело увидеть лично. Иногда одного взгляда довольно, чтобы запечатлеть человека в сердце на всю свою жизнь. Никогда не прощу вам, Николай Николаевич, что вы его мне не указали!»³⁰

Итак, если верить Страхову, на лекции Владимира Соловьёва (тема которой живо интересовала и Достоевского, и Толстого и могла бы дать первый толчок их беседе) Толстой предпочёл сохранить инкогнито. Это вполне правдоподобно*. Но вот вопрос: сказал ли Страхов Толстому, что здесь присутствует Достоевский? И если сказал, то значит ли, что *после* этого сообщения Толстой отказался от знакомства?

Через много лет Анне Григорьевне довелось разговаривать с автором «Войны и мира» (это была их единственная встреча). «Я всегда жалею, — заметил Толстой, — что никогда не встречался с вашим мужем...»

«А как он об этом жалел! — воскликнула в свою очередь Анна Григорьевна. — А ведь была возможность встретиться — это когда вы были на лекции Владимира Соловьёва в Соляном городке. Помню, Фёдор Михайлович даже упрекал Страхова, зачем тот не сказал ему, что вы на лекции. “Хоть бы я посмотрел на него, — говорил тогда мой муж, — если уж не пришлось бы побеседовать”».

Какова же была реакция Толстого на это напоминание? Анна Григорьевна так передаёт его слова:

«Неужели? И ваш муж был на той лекции? Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить!»³²

Толстой удивлён и огорчён одновременно. Его трудно заподозрить в неискренности. Страхов, видевший Достоевского

* Не совсем ясно, был ли Толстой на лекции с одним Страховым. Ср. его письмо к А.А. Толстой: «Я вспомнил, что нынче лекция Соловьёва, и лекция, как мне говорили, самая важная, и я еду на неё. Мне кажется, что вы хотели послушать его. Не поедете ли вы?»³¹

(и холодно с ним поздоровавшийся), видимо, ничего не сказал своему спутнику. И даже если допустить, что формально он следовал желанию самого Толстого, он не мог не понимать, что бывают исключения. Страхов как бы «переиграл» саму судьбу — и уготованная ею (надо думать, не без усилий!) встреча в последний момент сорвалась.

Чем же руководствовался Страхов?

Знакомство (тем более дружба) с Толстым — немалый моральный капитал. Этим капиталом Страхов чрезвычайно дорожил: он придавал ему вес и в собственных глазах и в глазах окружающих. Страхов как бы представлял в Петербурге интересы своего корреспондента. При отсутствии личных отношений между Толстым и Достоевским он был единственным потенциальным посредником. Было бы досадно, если бы какая-то случайная встреча могла уничтожить (или сильно ослабить) эту монополию. Вместо страховских *рассказов* стал бы возможен прямой диалог (личные встречи, переписка и т. д.). Страхов утратил бы все те почти неощутимые, но не лишённые приятности выгоды, которые он извлекал из факта незнакомства. Более того: при этом могла бы обнаружиться неприглядная роль самого Страхова, поставляющего Толстому (а кто знает, может быть, и Достоевскому) не вполне «адекватную» информацию.

Этого Страхов боялся и не желал. Но только ли по его милости не состоялось свидание двух самых значительных людей России?

К этому вопросу нам ещё предстоит вернуться.

Женщины в его жизни

До сих пор речь шла о друзьях-мужчинах. Но не пора ли задуматься над тем фактом, почему в позднем писательском успехе Достоевского такую важную роль играют женщины? Почему именно они чутче и тоньше мужчин воспринимают его личность, а иногда и творчество и почему на закате его жизни женщины занимают всё большее место в его личном и общественном окружении?

С.А. Толстая, Е.А. Штакеншнейдер, А.П. Филоsoфова, Е.Н. Гейден, Ю.Д. Засецкая, О.А. Новикова, А.Н. Энгельгардт — вот круг, тяготеющий к Достоевскому, круг, к которому и он, по-видимому, испытывает чувство приязни. Среди этих жен-

щин есть дамы высшего света, но нет ни одной женщины *только* светской: все они или довольно видные общественные деятельницы (Философова, Гейден, Засецкая, Новикова), или женщины сильного ума и «умного сердца» (Толстая, Штакеншнейдер), или, наконец, те и другие одновременно.

О Достоевском нельзя сказать словами поэта: «Он среди женщин находчив, среди мужчин — нелюдим» (ибо нелюдим он порой и среди представительниц прекрасного пола). Однако душевное предпочтение, отдаваемое им в последние годы женщинам, очевидно.

«Кстати скажу, что Фёдор Михайлович имел много искренних друзей среди женщин, — с видимым бесстрашием пишет Анна Григорьевна, — и они охотно поверяли ему свои тайны и сомнения и просили дружеского совета, в котором никогда не получали отказа. Напротив того, Фёдор Михайлович с сердечною доброю входил в интересы женщин и искренно высказывал свои мнения, рискуя иногда огорчить свою собеседницу. Но доверявшие ему чутьём понимали, что редко кто понимал так глубоко женскую душу и её страдания, как понимал и угадывал их Фёдор Михайлович»³³.

Эти наблюдения Анны Григорьевны дополняет дочь Достоевского Любовь Фёдоровна: «В салоне графини Толстой, так же как и на студенческих вечерах, Достоевский имел большой успех у женщин, чем у мужчин, и всё по той же причине: потому что он всегда относился к слабому полу с уважением... Он не развлекал женщин и не собирался их обольщать; он говорил с ними серьёзно, как с равными. Никогда не хотел он... целовать у женщины руку; он утверждал, что это целование унизительно для нее»³⁴.

Женщины — его благодарная аудитория. Но и у него к ним — особый счёт.

Однажды (это было в 1873 году) он попросил корректора типографии, где печатался «Гражданин», купить ему по дороге коробку папирос. В.В. Тимофеева исполнила просьбу «с превышением»: к купленным папиросам она прибавила «от себя» несколько апельсинов. Не избалованный таким вниманием, Достоевский был тронут. Оторвавшись от рукописи, он «полусерьёзно» заметил: «А я вот вам *за это* комплимент по адресу нынешних женщин пишу...»³⁵

«Комплимент» этот через несколько дней появился в «Гражданине»: «В нашей женщине всё более и более замечается искрен-

ность, настойчивость, серьёзность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине это было выше, чем у мужчин... Женщина меньше лжёт, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет не лгущих, — я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она *серьёзнее*, чем мужчина; хочет дела для самого дела, а не для того, чтоб *казаться*. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?»³⁶

Как видим, «комплимент» носит вполне общественный характер. Высказанный впервые («никогда ещё современную женщину не хвалил»), он перекликается с его будущими — чрезвычайно высокими — оценками современной ему русской молодёжи и непосредственно предшествует им. Поколение семидесятников было открыто Достоевским благодаря женщинам.

В его общем историко-психологическом прогнозе русской женщине отведена исключительная роль.

Он говорит о поколении, которое сознательно обрекло себя «на служение и жертву». Именно в женщинах, хочет он того или нет, явственней и резче сказанся нравственный порыв русской революции, подвижничество и искупление. Женщина — хранительница мирового идеального начала, и это означает для него великую надежду. «Может быть, русская-то женщина и спасёт нас всех, всё общество наше, новой, возродившейся в ней энергией, самой благороднейшей жадой *делать дело*, и это до жертвы, до подвига»³⁷.

Конечно, женщины из ближайшего окружения Достоевского вовсе не принадлежали к поколению семидесятниц. Однако почти все они отличались такими качествами, как искренность, душевное бескорыстие, сердечное участие в делах общественных.

Тут пора назвать одно имя.

Наследницы Татьяны Лариной

Это — Татьяна Ларина.

Когда в центр Пушкинской речи Достоевский ставит образ пушкинской Татьяны, то это естественно вытекает из его размышлений и наблюдений 70-х годов, из современной ему исторической практики. Он, этот образ, не только исходное звено в известной литературной цепи: на Татьяне замыкается ещё и другая тради-

ция — этико-историческая. «Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдёт за тем, во что поверит, и она доказала это». В этих совершенно понятных для тогдашней аудитории словах содержится недвусмысленное указание на исторические прецеденты: от декабристок до участниц недавних политических процессов и сестёр-доброволок последней Русско-турецкой войны (иных аналогий просто не существует). Татьяна — женщина именно этого склада, и то, что она «не пошла» за Онегиным, объясняется отнюдь не её житейской трусостью, а причинами совсем иного порядка³⁸.

Именно Татьяна, «угаданная» гением Пушкина, есть реальное воплощение главной, определяющей черты нации, её нравственного ядра. Это — невозможность поступить «не по правде», пойти против совести, невозможность соизидеть своё личное благополучие на несчастье другого (будь то «слезинка ребёнка» или горе убитого изменой «старика»).

В нравственных коллизиях, которые пытается разрешить Достоевский, критерием истины, её «последней» проверкой оказывается не только названный в записных книжках Христос, но ещё и другой персонаж — пушкинская Татьяна. Конечно, эти понятия для Достоевского вовсе не равнозначны, однако в известном смысле — художественно сопоставимы (ибо *его* Христос — отчасти тоже «сверхобраз», некая бесконечная нравственная величина).

Из этой цепи намёков и сопоставлений, согласно этой «исторической эстетике», возникала одна надежда.

Если образ Татьяны Лариной, её жизнеповедение отвечает мироощущению основного состава нации («народа»), не противоборствуя, а совпадая с ним, тогда подобное совпадение открывает невиданную историческую перспективу. То, что основополагающая народная черта воплощена в женщине, вековыми сословными перегородками отторгнутой от народа, но не утраченной с ним внутренней духовной связи, давало повод для «русского решения вопроса». Татьяна оказывалась единственной художественно осязаемой точкой соединения двух противостоящих друг другу социальных стихий, единственным залогом будущего духовного возрождения.

Поэтому весной 1880 года, накануне Пушкинской речи, он так пристально всматривается в лица своих современниц: он ищет знакомые черты.

Молчание как жанр

И всё же существует ещё одна — пожалуй, наиболее скрытая — черта, определяющая особые отношения Достоевского с его современниками. Эта черта, как думается, имеет прямое касательство не только к его личности, но и к самому типу его художественного мышления.

Чтобы пояснить нашу мысль, сошлёмся на Л. Толстого. Его ближайшее духовное окружение — преимущественно мужское. Само понятие «толстовец» в русском языке плохо сочетается с женским родом, обозначая в последнем случае скорее всего вид одежды. Но дело, разумеется, не только в семантике...

Дело в ином: в исключительно сильном рационалистическом начале, пронизывающем все стороны мироощущения Толстого, в мощной логико-аналитической доминанте его духа и его мышления.

Тут следует сделать одно отступление.

Художественное мышление Толстого и Достоевского — два разнонаправленных (встречных) потока, два противоположных способа миропостижения.

Толстой в максимальной степени «высветляет» свою прозу; он старается объяснить, обсудить, «дегерметизировать» характеры действующих в его романах персонажей, твёрдо установить их взаимные связи, как можно точнее зафиксировать все их притяжения и отталкивания. Толстой не терпит двусмысленностей, недоговоренностей, намёков, умолчаний: его усилия направлены к тому, чтобы уничтожить неопределённость.

Это стремление выражено в самой синтаксисе толстовской прозы, в построении фраз (типа «не потому что, а потому, что»), в обилии объясняющих, «разматывающих», уточняющих придаточных предложений и т. д.

Обнажение скрытых от глаз читателей внутренних причин и следствий совершается либо в форме прямого авторского толкования, либо через перекрещивающиеся и дополняющие друг друга сознания действующих лиц. Но в любом случае — открыто, неприкровенно, на наших глазах.

Эта художественная методология одинаково применима и к воссозданию глобальных исторических событий, и к изображению камерных семейных сцен.

«Наполеон начал войну с Россией потому, что он не мог не приехать в Дрезден, не мог не отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира, не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра, не мог воздержаться от вспышки гнева в присутствии Куракина и потом Балашева.

Александр отказался от всех переговоров потому, что он лично чувствовал себя оскорблённым. Барклай де Толли старался наилучшим образом управлять армией для того, чтобы исполнить свой долг и заслужить славу великого полководца. Ростов поскакал в атаку на французов потому, что он не мог удержаться от желания проскакать по ровному полю».

Называются скрытые побудительные мотивы; единым взором охватывается бесконечная совокупность причин и следствий; определяется позиция каждого персонажа по отношению к главному событию (войне 1812 года), и само это событие находит соответствующее место в слепой (но теперь выявленной и осознанной) игре мировых сил.

Именно такой способ видения организует художественное действие на всех уровнях.

Приведём характерный эпизод из «Войны и мира»: Наполеону приносят портрет сына («короля Рима»), присланный в подарок императрицей.

«Со свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица он подошёл к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, — это то, чтобы он... выказал, в противоположность этого величия, самую простую отеческую нежность».

Ничто не остаётся необъяснённым: вся информация вводится в текст. Сам эпизод дан не с точки зрения кого-то из его участников (например, Наполеона, как это может показаться на первый взгляд), а через всеобъемлющее авторское созерцание. Сцена психологически завершена; читателю не оставляется возможности для каких-либо *дополнительных* предположений.

Анна сообщает Вронскому о своей беременности. Она наблюдает реакцию Вронского. Следует подробное описание внешнего поведения, «суммы движений» каждого из героев. Сообщается о том, что думает Анна по поводу того, что, по её мнению, думает Вронский. Но этого мало. Приводятся исчерпывающие сведения о том, что думает Вронский на самом деле.

«Но она ошиблась в том, что он понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с удесятерённой силой почувствовал припадок этого странного, находившего на него чувства омерзения к кому-то; но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступит теперь, что нельзя более скрывать от мужа и необходимо так или иначе разорвать скорее это неестественное положение».

Ситуация, таким образом, рассматривается с *разных* точек зрения, дополняющих и корректирующих друг друга; достигается максимальная полнота и объективность в изображении того, что не произносится персонажами вслух, но подразумевается. Всё подлежит немедленной художественной огласке.

В «Анне Карениной» есть эпизод, где рассмотренный метод достигает своего предела. Это сцена падения Вронского с лошади во время скачек.

«Ааа! — промычал Вронский, схватившись за голову. — Ааа! что я сделал! — прокричал он. — И проигранная скачка! И своя вина, постыдная, неппростительная! И эта несчастная, милая, погубленная лошадь! Ааа! что я сделал!»³⁹

То, что мгновенно (в виде нерасчленённого ощущения) должно пронестись в душе Вронского (и что выражается его *немым* мычанием — «ааа!»), разлагается на составляющие и оформляется в монолог: герой фактически «прокричал» здесь авторский текст. В самый момент душевного (и физического) потрясения происходит даётся исчерпывающая и всесторонняя оценка; при этом герой умудряется избежать *крепких* (и в этом смысле всегда иррациональных) выражений: его эпитеты не только вполне литературны, но и тщательно подобраны.

Мощное аналитическое начало господствует в толстовской прозе. Даже в оценке самой «неуправляемой» героини «Войны и мира» — Наташи Ростовой (которая «не устаивает» быть умной) — можно усмотреть попытку рационалистического объяснения характера, в общем иррационального.

Грандиозное единство и целостность толстовского романа не отменяют того обстоятельства, что любой романский эпизод обретает максимальное количество художественных связей в самый момент своего воплощения; если те или иные сцены «аукаются» между собой, то это происходит как переключки уже завершённых единств. Количество сцеплений в толстовской

прозе бесконечно; однако это именно *сцепление* одного с другим, а не *превращение* одного в другое.

Художественное зрение Достоевского устроено совсем иначе.

У Достоевского отдельные романские ситуации, как правило, оставляют некоторый простор для читательской догадки. Автор не настаивает на одной (безусловной) версии происходящего. Это особенно видно на примере жизнеописаний: даётся несколько биографических версий — без авторского речительства в правильности какой-либо из них. Тот или иной слух играет при характеристике Свидригайлова, Ставрогина, Фёдора Павловича Карамазова, Смердякова и так далее — ничуть не меньшую роль, чем достоверно установленный факт. Достоевский почти никогда не даёт происходящему немедленной авторской интерпретации. Нередко та или иная сцена содержит в себе зёрна, зародыши, элементы тех повествовательных положений, которые развернутся лишь в дальнейшем. (Этот «детективный» приём обретает у Достоевского силу художественного закона и распространяется на коллизии уже не сюжетного, а идеологического порядка.)

Можно сказать, что в прозе Достоевского действует система *повествовательных намёков*.

...Порфирий Петрович предлагает Раскольникову написать «объявление» в полицию о заложенных им у старухи процентщицы вещах.

«— Это ведь на простой бумаге? — поспешил перебить Раскольников...

— О, на самой простейшей-с! — И вдруг Порфирий Петрович как-то явно насмешливо посмотрел на него, прищурившись и *как бы* ему подмигнув. Впрочем, это, может быть, только так *показалось* Раскольникову, потому что продолжалось одно мгновение. По крайней мере, *что-то такое* было. Раскольников побожился бы, что он ему подмигнул, *чёрт знает для чего* (курсив наш — *И. В.*).

«Знает!» — промелькнуло в нём как молния».

Вся сцена дана с одной точки зрения, а именно Раскольникова, находится в круге его сознания. То, что представляется Раскольникову, не дополняется и не корректируется сознанием Порфирия Петровича (мы не знаем, что последний при этом думает) или сознаниями других участников эпизода (все они, кроме Раскольникова, даны только в поведении, а не в мышлении). Однако то, что видит Раскольников, подвергается некоторому сомне-

нию. Происходящее не получает объективного освещения; оно не зафиксировано, так сказать, твёрдо и окончательно (путём сопоставления нескольких точек зрения или при помощи «разрешающего» авторского комментария): остаётся неясным, действительно ли подмигнул Порфирий Петрович, или всё это лишь пригрезилось его впечатлительному собеседнику. Увиденное глазами Раскольникова читатель может восполнить собственными предположениями: этот *принцип дополнительности* сообщает прозе Достоевского кажущуюся психологическую неопределённость.

Для его героев характерны прозрения, предвидения и предчувствия; важную роль играют отношения интуитивного порядка. Так, Сонечка Мармеладова догадывается о том, что Раскольников — убийца, ещё до его признания; Иван Карамазов знает, что убийство должно произойти, ещё до его совершения, и т. д. и т. п.

Известный разговор Ивана со Смердяковым целиком построен на недомолвках. Здесь значимы не только и не столько слова, сколько *движения*.

«Что батюшка, спит или проснулся? — *тихо и смиренно* проговорил он (Иван. — *И. В.*), себе самому *неожиданно, и вдруг*, тоже совсем *неожиданно*, сел на скамейку»; «Иван Фёдорович *длинно* посмотрел на него»; «с *особенным и раздражительным* любопытством осведомился Иван Фёдорович»; «что-то как бы *перекосилось и дрогнуло* в лице Ивана Фёдоровича. Он *вдруг* покраснел». И т. д.

Иван уезжает наконец в Чермашню. «Когда уже он уселся в тарантас, Смердяков подскочил поправить ковёр.

— Видишь... в Чермашню еду... — как-то *вдруг вырвалось* у Ивана Фёдоровича, опять, как вчера, так *само собою* слетело, да ещё с каким-то *нервным смешком*...

— Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно, — *твёрдо* ответил Смердяков, *проникновенно* глянув на Ивана Фёдоровича»⁴⁰ (курсив наш — *И. В.*).

Сговор фактических сообщников происходит без произнесения окончательного слова; он выражается в намёках, интонационных акцентах, в «мимике и жесте».

Если у Достоевского важнейшие художественные смыслы часто уведены, «загнаны», запрятаны в подтекст, то автор «Войны и мира» занят задачей прямо противоположной: он стремится *вывести* эти смыслы наружу — в текст — из тьмы внетекстового хаоса; он хочет твёрдым комментирующим словом объять и объяснить всю полноту душевных и исторических движений.

В публицистике Толстого анализу (и часто осуждению) подлежит сама авторская личность: с не меньшей пристальностью, чем Наташу Ростову или Андрея Болконского, Толстой разбирает самого себя. Размышляется не только человек: религия, государство, семья, искусство — ничто не может избежать скептического и всепроникающего взгляда. Любое явление спешит получить прямую моральную оценку.

Поразительно, что, переводя и комментируя Новый Завет, такой художник, как Толстой, пренебрегает именно поэтической стороной евангельского мифа и опирается главным образом на евангельскую «публицистику», всячески рационализируя сам миф и добиваясь в первую очередь *логической гармонии**. Не случайно такую важную роль играет в толстовстве его практическое, поведенческое, императивное начало (опрощение, непротивление, вегетарианство и т. д.) — именно то, что Достоевский, не доживший до оформления толстовской доктрины, пронизательно назовёт в «Дневнике писателя» *мундиром*.

Может быть, чисто головная, рационалистическая, *мужская* доминанта толстовства, «оправдание добра» с «насильственной» помощью разума помешали возникнуть типу страстных и фанатичных последователей этого учения («боярынь Морозовых») — при наличии достаточного количества преданных учеников. (У толстовства были свои мученики, но оно не знает *мучениц*, как, скажем, раннее христианство; из числа последних можно назвать разве Софью Андреевну. И одними ли материальными соображениями объясняется активное неприятие ею учения мужа? Не было ли здесь ещё и стихийного сердечного недоверия к рационалистическому примату толстовства, чисто женского непонимания *обязательности любви*?)

* Ср. известную запись в дневнике Толстого от 4 марта 1855 года: «Разговор о Божественном и вере навёл меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле»⁴¹. «Запись Толстого, — замечает современный исследователь, — поразительно напоминает замысел Великого инквизитора в «Братьях Карамазовых»»⁴².

Женщины более откровенны с Достоевским, нежели с Толстым. И, отвечая на их послания, автор «Дневника писателя» всегда старается учесть личность своих корреспонденток. Его ответы никогда не строятся по известной моральной схеме, как многие « типовые » письма позднего Толстого. Достоевскому совершенно не свойствен эпистолярный автоматизм.

Может быть, женская доверительность была не чем иным, как интуитивным отзывом на интуитивное начало его искусства и его « учения » (ибо у Достоевского мы не обнаруживаем признаков того, что можно именовать « системой » в толстовском смысле). Достоевский многое не договаривает до конца. Но в его поэтике молчание есть момент содержательный.

Раскольников словоохотлив; Сонечка Мармеладова — молчалива. Но последнее слово остаётся за ней.

глава XI

сюрпризы последней весны

Свои и чужие лавры

28 марта 1880 года зала Благородного собрания была набита битком: ждали Тургенева. Именно он, редкий гость Петербурга, представлял, по признанию газетного хроникёра, «главный интерес вечера». Но писатель неожиданно почувствовал себя нездоровым и прислал извинительную записку. Обескураженные устроители предложили желающим получить деньги обратно, но, как замечает «Новое время», к вящему их удовольствию, зала «...осталась совершенно полною, на что, впрочем, можно было рассчитывать, зная... то обаятельное действие, какое постоянно производит на публику имя Ф.М. Достоевского»¹.

«Г. Достоевский, — повествует «Молва», — с необыкновенною теплотою прочёл превосходный отрывок из «Преступления и наказания» — сцену в кабаке между Мармеладовым и Раскольниковым, которая произвела громадное впечатление».

В отличие от других петербургских газет, «Молва» не ограничилась бесстрастной информацией. Она оживила её следующим глубокомысленным пассажем:

«Видя это трогательно-восторженное отношение молодёжи к писателю, занимающему столь видное место в нашей литературе, нельзя было удержаться, к сожалению, от мысли, что тот же писатель вследствие каких-то роковых особенностей своего таланта и своей натуры всё более и более уходит в мрачный мистицизм, в литературное мракобесие, в какое-то озлобленное отношение к цивилизации и её идеалам — словом, ко всему тому, что приветствующей его публике всего дороже»².

«Литературное мракобесие» и «мрачный мистицизм» относились, очевидно, к печатающимся «Братьям Карамазовым». Деликатно намекалось, что не вполне прилично увлекаться столь сомнительным автором.

Правда, с восторгами на сей раз действительно переборщили. Почти все столичные газеты не преминули отметить (а Анна Григорьевна в родственном письме повествует об этом с особенной торжественностью), что на вечере 28 марта Достоевскому были преподнесены два лавровых венка.

Год назад венков удостоивался один Тургенев. Ныне шансы как будто бы уравнились.

Но (маленький нюанс): отчего же именно два? Неужели распорядители вечера были столь нерасторопны, что сгоряча продублировали вещественные знаки своей невещественной благодарности?

Не скроем: нас сильно смущает подозрение, что второй венок вовсе не предназначался Достоевскому. Им, очевидно, предполагалось увенчать автора «Записок охотника»: его отсутствие спутало карты*. Надо было куда-то девать второй венок: не дарить же его, в самом деле, прочим участникам — Полонскому, Миллеру или Вейнбергу: они до этой чести явно недотягивали.

Трудно сказать, догадывался ли Достоевский, что ему достались ещё и тургеневские *лавро*. Но если и догадывался, то, во всяком случае, вида не подал.

Анна Григорьевна утверждает, что выступление 28 марта было последним в весенний сезон 1880 года. Она ошибается: до отъезда в Старую Руссу Достоевский участвовал по меньшей мере ещё

* Эта догадка подтверждается и письмом К.М. Станюковича к жене: «Люба, милая Люба! Сейчас узнал, что сегодня будут овации Тургеневу и Достоевскому. Готовят поднести венки им. Ступай на чтение. Будет интересно!..»³

в одном вечере⁴. Он состоялся в воскресенье 27 апреля, в последний день пасхальных увеселений.

«...Несмотря на то что... стояла прекрасная погода, которая заодно с только что наступившими белыми петербургскими ночами манила на прогулку на открытом воздухе, зала Благородного собрания у Полицейского моста к началу вечера, то есть ещё засветло, была буквально переполнена публикою...»⁵

Не следует всё-таки слишком полагаться на память мемуаристов (даже самых добросовестных!). Только что процитированный нами М.А. Александров, забыв главное, увы, ошибается в мелочах. «Благодаря отвратительной погоде, — поправляет его столичная газета, — да и также невыгодной по сезону минуте, публики явилось не особенно много. Зала была далеко не полна»⁶.

Тургенев на этот раз не ожидалось: он уже отбыл в Москву.

Орест Миллер, угостив публику своей статьёй «Основы учения первоначальных славянофилов», исполнил затем два стихотворения Хомякова. Со стихами (но уже собственными) выступили также Полонский и Случевский.

Достоевского (писателя, как замечает Александров, «знаменитого, но лишь недавно признанного таковым») встретили овацией, длившейся минут пять. Выйдя из-за кулис, он направился к столу, стоявшему посредине эстрады, но вынужден был остановиться на полдороге и несколько раз поклониться рукоплещущему партеру. Затем «продолжал, тою же деловую поступью, путь к столу; но едва он сделал два шага, как новый взрыв рукоплесканий остановил его вновь»⁷. Уже сев за стол, он должен был снова несколько раз вставать и раскланиваться.

Он выбрал для чтения отрывок из девятой книги «Братьев Карамазовых» («Мальчики»). Текст предназначался для апрельского номера «Русского вестника» — он читал по полученной из Москвы корректуре.

«Что за превосходное чтение! — восклицает газетный репортёр. — Сколько простоты и между тем теплоты и задушевности. Прочтённый отрывок очень интересен. В нём выведен и совершенно замечательно обрисован некий юноша Коля — яркая характеристика одного из хороших типов «увлечённой молодёжи», увлечённой на социально-сумбурной почве»⁸.

Текст комментировался ещё до его появления в печати.

После вечера Достоевский сообщает Любимову: «...эффект, без преувеличения и похвалы могу сказать, был чрезвычайно сильный»⁹.

Об «эффekte» упомянуто не без расчёта. Информация предназначена лицу, являющемуся — по должности — первым читателем романа. Помощнику Каткова совсем нелишне знать, что роман пользуется успехом у публики. В своих далеко не простых отношениях с руководителями «Русского вестника» Достоевский не прочь опереться на силу общественного мнения.

Теперь он явится перед широкой публикой только в июне: в Москве — в час своего наивысшего торжества.

Сплетня не первой свежести

Весна 1880 года одарила не только одними лишь эстрадными успехами. Она огорошила и неприятностями литературными. В апрельской книжке «Вестника Европы» — журнале либеральном, солидном, уважаемом — Павел Васильевич Анненков делился своими воспоминаниями о 40-х годах.

Годы эти были памятны Достоевскому.

Описав блистательный дебют двадцатичетырёхлетнего автора «Бедных людей», добросовестный воспоминатель продолжает: «Внезапный успех, полученный его повестью, сразу оплодотворил в нём те семена и зародыши высокого уважения к самому себе и высокого понятия о себе, какие жили в его душе. Успех этот более чем освободил его от сомнений и колебаний, которыми сопровождаются обыкновенно первые шаги авторов: он ещё принял его за вещий сон, пророчивший венцы и капитолии, а когда решено было напечатать «Бедные люди» в альманахе Некрасова «Петербургский сборник» (1846 г.), автор совершенно спокойно и как условие, следующее ему по праву, потребовал, чтоб его роман был отличён от всех других статей книги особенным типографским знаком, например — каймой. Роман и был действительно обведён почётной каймой в альманахе»¹⁰.

Когда автор «Замечательного десятилетия» выпустил в следующем году свои воспоминания отдельным изданием, он исключил из приведённого текста последнюю фразу: именно благодаря ей почтенный мемуарист попал в пренеприятнейшее положение.

4 апреля в «Новом времени» появилась безымянная заметка. Прочитав слова Анненкова о кайме, автор заметки не без ехидства присовокуплял: «Мы взяли “Петербургский сборник” 1846 года и увидели, что г. Анненков это обстоятельство сочи-

нил, вероятно, по свойственному ему добродушию: “Бедные люди” напечатаны без всякой каймы, тем же самым шрифтом, как и другие статьи этого сборника. Мало этого, “почётной каймой” отличены “Помещик” Тургенева и “Парижские увеселения” Ивана Панаева, — под этой почётной каймой мы разумеем иллюстрации... Таким образом, П.В. Анненкову надо покаяться, а вместе с ним и “Вестнику Европы”. Это прискорбно будет для таких тузов...»¹¹

Между тем свидетельство Анненкова не было исключительно плодом его воображения. Мемуарист гальванизировал легенду тридцатипятилетней давности. Старая окололитературная сплетня получила официальный статус литературного факта.

«Муж был страшно возмущён такою клеветой...»¹² — пишет Анна Григорьевна. Заметка в «Новом времени» должна была несколько его успокоить.

Однако теперь забеспокоился Анненков.

В апреле 1880 года он находился за границей, но реплика «Нового времени» дошла до него довольно быстро. Автор «Замечательного десятилетия» срочно посылает М.М. Стасюлевичу (издателю «Вестника Европы») оправдательное письмо:

«...Память мне не изменила, да и не могла изменить. Всему тогдашнему литературному миру были известны долгие переговоры Достоевского с Некрасовым, предметом которых служило требование первого, чтобы роман его был отличён от других произведений в альманахе каким-либо почётным знаком, помещая или на первом месте или на последнем и как бы отдельно от соседей... Прошу Вас навести справку об этой подробности у Тургенева, который знал всё это дело... Я сам *видел первые* экземпляры Сборника с рамками... Может быть, что злосчастной рамкой наделены были только первые экземпляры «Петербургского Сборника» и опущена она в последующих экземплярах, как смешная выдумка, оскорбляющая всех прочих авторов»¹³.

Так или иначе, редакция «Вестника Европы» была поставлена перед необходимостью защищать честь мундира. В майской книжке журнала появляется следующая редакционная заметка:

«Автор «Воспоминаний» находится за границей; но нам и не пришлось ожидать от него объяснений, так как возможность справки у нас под рукой. Вся существенная сторона рассказа о «кайме» — несомненна, но автор «Воспоминаний»... отнёс «обстоятельство», известное всем в ту эпоху, к «Бедным

людям», между тем как дело должно идти о другом произведении г. Достоевского — «Рассказ Плисмьылкова» или что-то в этом роде, — предназначавшемся в задуманный Белинским сборник «Левиафан»... Автор «Бедных людей» потребовал не от Некрасова, а от Белинского, чтоб его новый труд был помещён не иначе как в начале или в конце сборника, но никак не между другими, в середине, и к тому же — был бы обведён каймой»¹⁴.

Как видим, М.М. Стасюлевич не пожелал воспользоваться малоубедительными и путаными оправданиями Анненкова (кстати, никаких экземпляров «Петербургского сборника» с пресловутой каймой до сих пор не обнаружено). Ответ редакции основан на свидетельстве другого очевидца 40-х годов — именно того, на кого указывал Анненков. Тургенев в эти апрельские дни находился в Петербурге: он-то, видимо, и внёс необходимые коррективы в рассказ своего старого друга.

Свидетельство такого современника должно было выглядеть особенно авторитетным.

Однако полемика вокруг «каймы» на этом не закончилась. Не успел выйти в свет майский «Вестник Европы», как Суворин обратился к главному герою этой истории со следующим (до сих пор не опубликованным) письмом:

1 мая 1880

Многоуважаемый Фёдор Михайлович,

Посылаю Вам «Вестник Европы» на случай, если его Вы не выписываете. На стр. 412 Вы найдёте ответ на мою заметку, которую я сделал относительно «Каймы». Будете ли Вы отвечать или нет? Во всяком случае отвечать можно и мне. «Вест<ник> Евр<опы>» не выписал из моей заметки тех строк, где я говорю о том, что обведены были каймою рассказ Тургенева и очерк Панаева, т. е. иллюстрированы, в ответе вообще замечается путаница, и он похож на какую-то сплетню, ибо никакого доказательства рассказанной сплетне нет. К тому же ничего Вашего не было в «Современнике», сколько я помню, а ещё не случилось той беды, которая разразилась над Вами, и, если не ошибаюсь, Вы продолжали писать в «От<ечественных> Зап<исках>», где последнею вещью была повесть «Неточка Незванова». Если Вы отвечать не будете — черкните два слова. Я отвечаю сам, ибо, повторяю, ничего убе-

длительного в рассказе «Вестника Европы», вероятно, Тургенева, нет.

Ваш А. Суворин.

Р. С. Была ли у Вас повесть «Рассказ Плисмьелькова»?*¹⁵

«Вестник Европы» выходил по первым числам. Письмо Суворина помечено 1 мая: надо отдать должное его оперативности. На следующий день «Новое время» начинает новый полемический раунд: «...со стороны г. Стасюлевича совсем уже дурно, что он различными лживыми изворотами старается утвердить достоверность явного журнального вздора»¹⁶. Ещё через день редакция «Вестника Европы» уличается и в «некотором литературном невежестве»¹⁷.

«Довольны ли Вы тем, что написал Буренин о кайме, — спрашивал Суворин Достоевского в своём неопубликованном письме от 12 мая, — или Вы желали бы, чтоб объявить от Вашего имени, что это ложь? Признаться, я не решился это сделать, думая, что Вы, пожалуй, раздумаете. Но я нашёл все альманахи при «Современнике», в одном из них Ваш крошечный рассказ совсем не под тем названием, под которым объявил «Вестник Европы», а в «Современнике» Ваш рассказ на 10 страничках, в письмах, и больше — ничего»¹⁸.

«Насчёт глупенькой «каймы» не знаю, что Вам и сказать, — отвечает Достоевский Суворину уже из Старой Руссы. — Словами в «Новом времени» (о кайме) я, конечно, доволен. Если сам что-нибудь напишу, то когда-нибудь потом, когда начну мои «Литературные воспоминания» (а их я начну непременно). Но если бы теперь Вы, например, как издатель газеты, поместили бы всего пять строк в том смысле, что: «мы-де получили от Ф.М. Достоевского формальное заявление, что никогда ничего подобного рассказанному в «Вестн. Европы» (насчёт каймы) не было и не могло быть», и проч. и проч. (формулировка по Вашему усмотрению), то я был бы Вам весьма за это благодарен»¹⁹.

В номере от 18 мая Суворин поместил подобное заявление, снабдив его краткой фактической справкой: «Никакого «Рас-

* Так первоначально именовался рассказ Достоевского «Ползунков», напечатанный в «Иллюстрированном альманахе» Некрасова и Панаева (1848). Альманах был запрещён цензурой. В сохранившихся экземплярах никакой «каймы» нет. Зато есть иллюстрации.

сказа Плисмьлькова» нет ни в «Сочинениях» Достоевского, ни в «Современнике»²⁰. На этом полемика оборвалась.

Через год Анненков, как уже говорилось, повторит свою версию в отдельном издании мемуаров (сняв, естественно, фразу о том, что требование каймы получило—таки полиграфическое воплощение). И он не остался в одиночестве: в той или иной форме о «кайме» упоминают И. Панаев, Д. Григорович, К. Леонтьев...

Настойчивость упоминаний (причём весьма авторитетных) заставляет отнести к этой истории с сугубой осторожностью.

Едва ли подлежит сомнению, что каймы *физически* не существовало. С другой стороны, известно, что в 1846 году появилось и ходило по рукам послание, написанное Некрасовым и Тургеневым (якобы от имени Белинского) и адресованное Достоевскому. В этом послании Белинский усердно просил автора «Бедных людей» «уделить» ему новое своё произведение. Послание это заканчивалось следующим образом:

Буду нянчиться с тобою,
Поступлю я, как подлец,
Обведу тебя каймою,
Помещу тебя в конец.

Вопрос поэтому надлежит поставить так: являются ли все упоминания о кайме абсолютным вымыслом, или же здесь присутствует некое фактическое «зерно» — хотя бы и давшее впоследствии довольно развесистые всходы.

Позволим высказать одну гипотезу.

Некрасов, помещая в 1846 году «Бедных людей» в «Петербургском сборнике», прекрасно понимал, что именно они — «гвоздь» предполагаемого издания. И действительно выделяет повесть, открывая её свой альманах.

Но этого мало. Некрасов, оказывается, намеревался «отличить» «Бедных людей» ещё неким образом. Он ведёт переговоры с художником П.П. Соколовым об *иллюстрациях* для первой повести Достоевского. Этот факт, который никогда прежде не связывался с интересующим нас сюжетом, приводит в своих воспоминаниях не кто иной, как сам Соколов:

«...Некрасов... нервно начал ходить по комнате, лихорадочно потирая себе руки, заговорил: — «Так вот, г. Соколов... главную вещь этого «Альманаха» и самую выдающуюся будет повесть

Достоевского «Бедные люди»; уж Вы, пожалуйста, постарайтесь передать эти бесподобные типы».

Итак, выясняется, что при подготовке «Петербургского сборника» речь действительно могла идти о каком-то *выделении* «Бедных людей». Но дело в том, что подобная инициатива исходила вовсе не от Достоевского! Она принадлежала издателям альманаха.

«По моему совету, — продолжает Соколов, — Некрасов решил ограничиться одним заглавным листом; это было бы и дешевле и скорее могло быть исполнено. На большом листе я собрал все цветы поэзии этого альманаха в виде большого букета с группой из повести “Бедные люди”»²¹.

Откроем «Петербургский сборник». Никаких иллюстраций Соколова там нет. Есть несколько рисунков А. Агина, гравированных на дереве Е. Бернардомским, но они вовсе не относятся к «Бедным людям».

И всё же какие-то иллюстрации существовали, хотя ни один исследователь не видел их воочию. Зато ими любовался в марте 1846 года сотрудник «Северной пчелы», о чём он и поспешил поведать читателям:

«На Невском проспекте, в многолюдной кондитерской Излера всенародно вывешено великолепное карточное объявление о «Петербургском сборнике». На вершине сего отлично расписанного яркими цветами объявления, по сторонам какого-то бюста красуются спиной друг к другу фигуры «Макара Алексеевича Девушкина» и «Варвары Алексеевны Добросёловой», героя и героини повести Достоевского «Бедные люди». Один пишет на коленях, другая читает письма, услаждающие их горести»²².

Таким образом, иллюстрации Соколова (или кого-то другого) не попали в текст, а были использованы лишь для рекламного объявления. Логично допустить, что Достоевский был огорчён этим обстоятельством.

Разумеется, эти огорчения не могли укрыться от другого участника «Петербургского сборника» — двадцатисемилетнего И.С. Тургенева. Он, как было сказано, пишет вместе с Некрасовым язвительное «Послание к Достоевскому». Ни в каких других текстах Тургенева упоминания о кайме более не встречаются.

Письменных свидетельств нет; однако до нас дошла живая речь Ивана Сергеевича — правда, лишь в мемуарной передаче Константина Леонтьева:

«Вот как, например, случилось с этим несчастным Достоевским. Когда он давал свою повесть Белинскому для издания, то увлёкся до того, что сказал ему: «Знаете, мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюриком обвести!»»²³

На первый взгляд эти слова как будто подтверждают защищаемую Анненковым версию.

Но обратим внимание на *тональность*. «Дерзкое» требование отнюдь не сопровождается наступательной, нагло-самоуверенной интонацией; тон здесь почти просительный, защитный («каким-нибудь бордюриком»). Так, пожалуй, мог бы выражаться и Макар Девушкин.

«Гордые» слова Достоевского могли звучать вовсе не гордо.

Высказывается пожелание, чтобы новое произведение (то есть написанное после «Бедных людей») было хоть как-то проиллюстрировано (как, скажем, стихи того же Тургенева в «Петербургском сборнике»). Или, на худой конец, хотя бы украшено какой-нибудь заставкой! Эта *просьба* выглядит совсем иначе, чем *требование* «каймы».

Пребывая в остром конфликте с ближайшим литературным окружением, молодой и болезненно самолюбивый Достоевский мог усмотреть в отсутствии ранее обещанных рисунков к «Бедным людям» акт явной дискриминации и теперь настаивал на равных правах. В этом случае слова о «кайме» (если таковые вообще имели место) суть не проявление литературного высокомерия, а лишь средство самозащиты, неуклюжая попытка хоть таким способом оградить своё писательское «я» от действительных и мнимых посягновений.

В той взвинченной (как бы сейчас сказали — сенсационной) атмосфере, какая окружала молодого писателя, подобное пожелание падало на благодатную почву. Это был неопределимый подарок литературным остроумцам. И — первотолчок к зарождению легенды*.

...Последняя весна Достоевского была отравлена той же самой сплетней, которая омрачила и его первую литературную весну (если допустить, что тогда этот слух был ему известен). Нравственному поношению подвергался дебют — самое светлое из его воспоминаний.

Под подозрением оказывалась его моральная личность.

* Подробнее об истории с каймой см.: *Игорь Волгин*. Родиться в России. М., 1991, с. 413–419, 529–538.

Он записывает за несколько недель до смерти: «Мутная волна. Это я после Карамазовых-то мутная волна? А вы, небось, светлая? Ах если б вам какой анекдотик. Прибегать к кайме, чтобы запачкать»²⁴.

«Чтобы запачкать» — вот к чему, по его мнению, направлена ретроспективная сплетня. Неприятнее всего было то, что за автором сплетни маячил Тургенев: худой мир грозил вновь обернуться доброй ссорой.

«Клевета Анненкова, — говорит Анна Григорьевна, — так возмутила моего мужа, что он решил, если придётся встретиться с ним на Пушкинском празднестве, не узнать его, а если подойдёт, — не подать ему руки»²⁵.

«Не узнать» Анненкова было делом нехитрым. Сложнее обстояло с его невольным соавтором: «неузнавание» Тургенева могло бы повести к очередному скандалу. Причём в самом неподходящем месте: под сенью ещё не открытого памятника основоположнику новой русской литературы.

Ночные письма

Как и следовало ожидать, эстрадные отвлечения не прошли для него даром. Работа над «Карамазовыми» поневоле замедлилась. Надо было просить отсрочки. И 29 апреля он садится за письмо к Любимову.

«Как я ни бился, а на майский (будущий) № «Русского Вестника» опять ничего не могу доставить... Не мог же написать... потому что здесь буквально не дают писать и надо скорее бежать из Петербурга».

Он сочиняет это письмо глубокой ночью и, дописав, оставляет его жене вместе со следующей запиской:

Голубчик Аня, не можешь ли ты отослать это *заказное* письмо Любимову сегодня же, не медля. В нём пишу о чем знаешь.

Твой Ф. Достоевский

29-го 3 ³/₄ утра²⁶

«Подобные записки, — пометила Анна Григорьевна, — Фёдор Михайлович часто оставлял на столе гостиной, не желая будить меня ночью, но имея необходимость о чём-нибудь попросить»²⁷.

Даже в этой ночной переписке он подписывается своим полным литературным именем: это его неизменная эпистолярная формула. Она употребляется как в деловых бумагах, так и в сношениях с самыми близкими людьми. Он блюдет культуру письма. Никакие усечённые варианты (типа «Фёдор» или «Федя») тут невозможны. Для всех без исключения он остаётся Фёдором Достоевским (с теми или иными добавлениями: «твой друг и брат», «твой весь», «твой муж», «твой вечный и неизменный», «Ваш весь» и т. д. и т. п.).

Это автографическое постоянство свидетельствует о тайно сознаваемом единстве личности, не расчленяющей самое себя на литературную (официально-парадную) и интимную (семейно-бытовую) ипостаси.

В письме к Любимову он называет лишь одну причину, по которой ему следует «бежать из Петербурга». Между тем имеется и другая: уже решено отправиться на московские торжества, куда его так усиленно зазывают.

Он должен явиться в Москву не с пустыми руками. Следовало сочинить текст. Этому ещё не созданному тексту (ради которого он готов оторваться даже от романа) он придаёт чрезвычайное значение.

В Старую Руссу следовало «бежать» как можно скорее.

Когда же он оставил Петербург?

При попытке ответить на этот вопрос обнаруживаются вещи довольно странные.

Желание государыни цесаревны

5 мая 1880 года А.И. Толстая, вдова вице-президента Академии художеств Ф.П. Толстого, пишет дочери: «Вчера... не медля ни минуты, отвезла твоё письмо к Достоевскому; хорошо, что не отложила, — сегодня утром они уехали на дачу в Старую Руссу»²⁸.

Таким образом, 4 мая Достоевские были уверены, что они уедут на следующий день утром (и 5-го Толстая полагает, что они уже уехали).

Однако 19 мая Достоевский пишет Победоносцеву: «Перед отъездом из Петербурга (ровно неделю назад)...»²⁹ и т. д. Следовательно, отъезд, назначенный на 5 мая, был неожиданно отложен и состоялся только 12 или 13 числа.

Какие же непредвиденные обстоятельства на целую неделю задержали Достоевского в столице? Вопрос этот никогда не обсуждался. Полагаем, что ответить на него позволяет следующий документ:

Воскресенье 4 мая

Любезный Фёдор Михайлович, позвольте снова посягнуть на вашу свободу и попросить Вас приехать ко мне в четверг вечером в 9 час.

Дело в том, что в прошлое воскресенье на концерте в пользу Георгиевской общины ваше чтение особенно понравилось Государыне Цесаревне и ей захотелось поближе с вами познакомиться. Она будет у меня в четверг 8 мая; если вы не откажетесь прочесть что-нибудь из ваших сочинений, разумеется по собственному вашему выбору, мы будем вам крайне благодарны. Мы проведём вечер в самом тесном кружке. Кроме Сергея будут Евгения и Мария Максимилиановны и г-жа Шереметева (дочь покойной В<еликой> к<нягини> Марии Николаевны).

Надеюсь, ничто не помешает вам своим присутствием доставить всем нам истинное удовольствие.

Душевно ваш
Константин³⁰.

Совершенно очевидно: записка великого князя изменила ближайшие намерения Достоевского — и отъезд, назначенный на 5-е, был отложен.

Но почему адресат этой записки не поступил как год назад, когда, будучи удостоен высочайшего приглашения, он предпочёл этому визиту участие в вечере Литературного фонда? Ведь и теперь мотивировка отказа была бы вполне уважительной: отъезд всем семейством в Старую Руссу, физическое отсутствие в Петербурге. Правда, молодой Романов почти настаивал (в пределах аристократической вежливости, разумеется): «Надеюсь, ничто не помешает вам...» и т. д.

Думается, однако, что его согласие определялось не этим. Дело было в гостях.

Остановимся на приглашённых.

Сергей — это двадцатитрёхлетний великий князь Сергей Александрович, четвёртый сын Александра II, будущий московский

генерал-губернатор, которого памятливая молва ославит «царём ходынским». (Через четверть века, в феврале 1905 года, он будет разорван в Кремле бомбой Каляева.) Этим знакомством началось общение Достоевского с юными представителями династии: в марте 1878 года по совету воспитателя великих князей Д.С. Арсеньева бывший петрашевец и каторжанин впервые был зван на обед к Сергею Александровичу.

На том давнем обеде присутствовал и Константин. Он записал в дневнике: «Я обедал у Сергея. У него были К.Н. Бестужев-Рюмин и Фёдор Михайлович Достоевский. Я очень интересовался последним и читал его произведения. Это худенький, болезненный на вид человек, с длинной редкой бородой и чрезвычайно грустным и задумчивым выражением бледного лица. Говорит он очень хорошо, как пишет»³¹.

С Сергеем Александровичем особой близости у Достоевского не возникло. Знакомство ограничилось несколькими «воспитательными» обедами (известно не более трёх приглашений на такие). Иное дело — Константин Константинович. К будущему К. Р. автор «Карамазовых» испытывал определенную симпатию (вспомним его откровенность при рассказе о казни Млодецкого) и прочил ему литературную стезю. «С молодым великим князем, — пишет Анна Григорьевна, — у моего мужа, несмотря на разницу лет, установились вполне дружеские отношения...»³²

Константин Константинович упоминает в числе приглашённых двух сестёр — принцессу Ольденбургскую Евгению Максимилиановну и принцессу Баденскую Марию Максимилиановну: с ними Достоевский уже знаком по прежним посещениям. Из новых лиц называется Елена Шереметева — внучка Николая I.

Но всё это избранное общество не смогло бы, как кажется, изменить его намерения немедленно отбыть в Старую Руссу. Решающим аргументом явилось присутствие на вечере ещё одного лица.

Речь идёт о цесаревне, жене наследника престола, Марии Фёдоровне.

Датская принцесса София-Фридерика-Дагмара была привезена в Россию восемнадцати лет — в 1866 году* (ожидание её приезда ускорило казнь Каракозова). В 1880 году ей было тридцать

* Первый раз она приезжала в 1864 году в качестве невесты великого князя Николая Александровича; после смерти последнего стала невестой

два года (она переживёт три русские революции, своих убиенных детей и внуков и умрёт в Дании в 1928 году, чтобы в году 2006-м быть перезахороненной в соборе Петропавловской крепости). Мария Фёдоровна — едва ли не единственная из русских императриц, сумевшая сохранить привязанность своего августейшего супруга. Александр III очень считался с сильным и скрытым характером дочери датского короля.

Присутствие будущей императрицы, недвусмысленно изъявившей желание познакомиться с автором «Братьев Карамазовых», придавало задуманному вечеру особый смысл.

Путь наверх, как известно, проходит через женщин. Но зачем ему понадобилось вступать на него?

Диалог глухих

П.Г. Кузнецов, мальчишкой служивший у Достоевских (он помогал Анне Григорьевне в книжной торговле), простодушно рассказывает: «Ф.М. ездил на литературные вечера, и изредка его приглашал государь император Александр II (чего, заметим, никогда не бывало. — *И. В.*) и великий князь Константин Константинович. Его обратно привозили в придворных каретах, после этого он был очень доволен»³³.

Специалисты подошли к делу гораздо серьезнее.

В 1934 году Л. Гроссман опубликовал документы о взаимоотношениях Достоевского с высшими правительственными кругами (письма К.П. Победоносцева, Т.И. Филиппова, приглашительные записки великого князя Константина и т. д.). Эти материалы произвели на учёного чрезвычайное впечатление. Личные контакты с представителями династии были вменены автору «Мёртвого дома» в сугубую вину.

Л. Гроссман пишет: «В третьем поколении царизм, приговоривший в 1849 году Достоевского к расстрелу и каторге, не только снимает с него всякие подозрения в оппозиционном образе мыслей, но возводит его в степень выразителя своих основоположных воззрений и предначертаний. Внуки Николая I относятся к Достоевскому с почтительнейшим вниманием, стремясь сбе-

будущего Александра III. Подробнее см.: Игорь Волгин. Достоевский и цареубийство. (Готовится к печати.)

речь для своего политического дела такого крупного и влиятельного союзника, как известнейший из писателей старшей плеяды русских романистов»³⁴.

В этом эффектном утверждении многое неверно.

Ибо не столько власть стремилась «сберечь для своего политического дела» заступника униженных и оскорблённых (никогда, кстати, не изменявшего этому *своему* делу), сколько он сам пытался направить эту власть по тому пути, который он считал единственно правильным.

Этико-историческая концепция Достоевского (как мы обозначаем комплекс его представлений о нравственном и гражданском миропорядке), с поразительным напряжением и упорством отстаиваемая и в «Дневнике писателя», и в «Братьях Карамазовых», и в Пушкинской речи, не слишком соответствовала видам реальной государственной политики. «Высшие» цели Достоевского фактически отрицали ближайшие и отдалённые задачи той системы, в рамках которой они призваны были осуществиться. И сама «система» не могла этого не чувствовать.

Раздражение Александра II, вызванное адресом Славянского благотворительного общества, было, по сути дела, частным случаем того исторического недовольства, которое неизбежно должна была выказать власть при первой же попытке Достоевского применить свои идеалы к реальной государственной практике. То, что не возбранялось в сфере художественной идеологии, в области «высокого и прекрасного» или в бесплотном мире нравственных отвлечений, получает мгновенный отпор при первой же попытке воплощения. Такое миронастроение могло умилять власть имущих, но за ним не признавалось одного права: стать *философией жизни*.

Л. Гроссман глубоко заблуждается, говоря, что «правительство последних Романовых вело свою политическую линию в духе заветов Достоевского», что «восемидесятые и девяностые годы — эпоха государственного осуществления» его идей и что поэтому на него ложится «часть ответственности» за внутреннюю и внешнюю политику российского абсолютизма³⁵. Достоевский, право, не стоит этой чести. Вряд ли Александр III мог претендовать на роль его духовного наследника.

Но вот вопрос: отказался бы сам автор Пушкинской речи передать будущему царю хотя бы часть этого наследства?

Когда Победоносцев осторожно подталкивал его на сближение с царствующим домом, он, несомненно, имел свои виды. Его

вполне устроила бы та роль, которую позднее отведёт Достоевскому Л. Гроссман. Трудность, однако, в том, что потенциальный исполнитель роли этой не приемлет.

Л. Гроссман прав только в одном отношении: Достоевский действительно хотел, чтобы нынешнее и особенно будущее царствование исполнило его программу. Он мечтает *пересоздать* русскую монархию в духе своих религиозных и этических убеждений. И если Победоносцев желает сделать его союзником того, что *есть*, сам он стремится стать вдохновителем того, что *будет*.

Откликаясь на всегда учтивые приглашения великого князя, он имеет в виду свою постоянную цель. И конечно, ничто не могло бы так способствовать осуществлению этой цели, как непосредственное личное воздействие на тех, кому он готов доверить свои идеалы и от кого в немалой мере зависит их дальнейшая судьба.

Присутствие цесаревны в салоне великого князя открывало прямой путь к «подножию трона»: являлся шанс, что его голос будет наконец услышан.

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

Надо было попытаться сделать то, что не удалось ни Пушкину, ни Гоголю, ни Карамзину.

Ради этого стоило отложить отъезд в Старую Руссу.

Розыгрыш на высшем уровне

Из письма Константина Константиновича следует, что будущая государыня слышала Достоевского 27 апреля («в прошлое воскресенье»). Но где и при каких обстоятельствах?

«На концерте в пользу Георгиевской общины», — говорит великий князь. Нам об этом концерте ничего не известно.

Дочь Достоевского Любовь Фёдоровна приводит в своих воспоминаниях весьма любопытную версию знакомства её отца с женой наследника престола. По её словам, на каком-то из вечеров, где присутствовала Мария Фёдоровна, Достоевский читал известную сцену из «Карамазовых»: одна из пришедших к старцу Зосиме баб убивается по своему умершему малолетнему сыну. «Она (то есть цесаревна. — *И. В.*), — пишет Любовь Фёдоровна, —

тоже когда-то потеряла маленького сына и не могла его забыть. Услышав чтение моего отца, Цесаревна принялась громко плакать, вспомнив о маленьком умершем. Когда Достоевский кончил чтение, она обратилась к дамам, организовавшим вечер, и сказала, что хотела бы с ним поговорить».

Далее Любовь Фёдоровна рассказывает, что вышеупомянутые дамы (которые, добавляет она, «были не слишком умны»), зная недоверчивый характер Достоевского и опасаясь, что он откажется выполнить августейшее пожелание, пошли на хитрость. Они сказали, что с ним хочет познакомиться «одна интересная личность».

« — Что это за интересная личность? — спросил Достоевский удивлённо.

— Вы сами увидите... Она очень интересная... Пойдёмте скорее с нами! — ответили молодые женщины, завладели моим отцом и, смеясь, повлекли его за собой в маленькую гостиную. Они ввели его туда и закрыли за ним дверь. Достоевский был очень удивлён этим таинственным поведением. Маленькая гостиная, в которой он находился, была слабо освещена лампой, затенённой ширмой; молодая женщина скромно сидела у столика. В этот период жизни мой отец уже не заглядывался больше на молоденьких женщин. Он приветствовал незнакомку, как приветствуют даму, которую встречают в салоне своей знакомой, а так как он подумал, что две юные шалуньи позволили себе его мистифицировать, то вышел из комнаты через противоположную дверь... Четверть часа спустя молодые дамы, которые привели его к дверям маленькой гостиной, бросились к нему.

— Что она вам сказала? Что она вам сказала? — спрашивали они с любопытством.

— Кто она? — спросил отец удивлённо.

— Как это, кто она? Цесаревна, конечно!

— Цесаревна? Но где же она? Я её не видел...»³⁶

Воспоминаниям дочери Достоевского следует доверять с большой осторожностью: это известно не только специалистам. Любовь Фёдоровна многое путает и далеко не всегда опирается на достоверные факты. Весной 1880 года ей ещё не исполнилось одиннадцати лет, и вряд ли тогда она знала и запомнила то, о чём поведала читателям через четыре десятилетия. Но, может быть, её информация опирается на какие-то семейные предания или исходит из тех великосветских кругов, к которым всю жизнь так тяготела мемуаристка?

Анна Григорьевна хранит по этому поводу молчание. Правда, она тоже упоминает о цесаревне, но — несколько в иной связи.

Говоря о выступлении Достоевского 22 декабря 1880 года в пользу приюта Св. Ксении в доме графини Менгден, она пишет:

«...Фёдор Михайлович был приглашён во внутренние комнаты, по желанию императрицы (будущей. — *И. В.*) Марии Фёдоровны, которая благодарила Фёдора Михайловича за его участие в чтении и долго с ним беседовала»³⁷.

Новейшие комментаторы полагают, что Анна Григорьевна говорит здесь о *первой* встрече Достоевского с Марией Фёдоровной. По их мнению, Анна Григорьевна перепутала даты, и на самом деле этот вечер состоялся 22 декабря 1879 года³⁸.

Оба этих вывода представляются неверными.

Анна Григорьевна вовсе не утверждает, что встреча, состоявшаяся 22 декабря, была первой. Сам же вечер упомянут ею среди других выступлений 1880 года: все они названы абсолютно верно. Кроме того, события последних недель жизни Достоевского (а со дня встречи в доме графини Менгден до дня его смерти прошло чуть больше месяца) должны были особенно ярко запечатлеться в памяти его вдовы.

И наконец, самое капитальное. Если бы встреча с Марией Фёдоровной состоялась 22 декабря 1879 года, тогда записка Константина Константиновича от 4 мая 1880 года лишена всякого смысла. Получается, что с автором «Карамазовых» желает «поближе познакомиться» то самое лицо, которое с ним уже познакомилось (и даже долго беседовало) полгода тому назад.

22 декабря 1880 года великая княгиня разговаривала с Достоевским как с человеком, который уже известен ей лично. И эпизод с «розыгрышем», приводимый Любовью Фёдоровной, никак нельзя приурочить к этому дню.

Следовательно, жена и дочь Достоевского имеют в виду разные встречи.

С другой стороны, не с потолка же взяла Любовь Фёдоровна свою завлекательную историю: в её рассказе присутствуют очень характерные подробности.

Константин Константинович утверждает, что цесаревна слышала чтение Достоевского «в прошлое воскресенье», то есть 27 апреля 1880 года: очевидно, розыгрыш, о котором повествует Любовь Фёдоровна, произошёл именно тогда. Между тем нам известно только об одном вечере 27 апреля: в Благородном собрании — в пользу Славянского благотворительного общества.

Как разрешить это недоумение?

Конечно, можно было бы предположить, что супруга наследника престола слышала Достоевского на вечере в Благородном собрании. Однако это предположение вызывает сильный скептицизм. Мы забыли об этикете.

Дело даже не в том, что присутствие цесаревны на вечере 27 апреля не отмечено ни одной петербургской газетой, — для такого сообщения требовалось согласие Министерства двора. Трудно вообразить, чтобы жена наследника престола позволила себе появиться на «массовом» литературно-общественном мероприятии. Следует, пожалуй, оставить и заманчивую мысль об инкогнито.

Кроме того, Любовь Фёдоровна определённо утверждает, что описанная ею встреча произошла в большом петербургском свете. Да и проделка двух «юных шалуний», осмелившихся — без представления — оставить автора «Карамазовых» наедине с цесаревной, свидетельствует об их принадлежности к высшим придворным кругам. Так *шутить* можно было только в кругу своих.

И действительно: как удалось выяснить, будущая императрица впервые слушала Достоевского в доме графини Менгден (Дворцовая набережная, 34; там же они встретятся в последний раз — 22 декабря 1880 года) — на вечере в пользу Общины сестёр милосердия Св. Георгия, официальной покровительницей которой она состояла. Но вечер этот имел место не в воскресенье 27 апреля, как первоначально объявлялось, а был перенесен на вторник 29-е, о чём известила Достоевского председательница Георгиевской общины³⁹.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что «высочайший розыгрыш» состоялся 29 апреля 1880 года в доме графини Менгден.

Однако цель розыгрыша не достигнута. *Повторное* знакомство происходит 8 мая в салоне великого князя: сам вечер принимается по инициативе цесаревны, и не исключено — с целью загладить недавнюю неловкость.

«Великую княгиню, — пишет Любовь Фёдоровна, — не оттолкнула эта неудачная встреча (то есть в доме графини Менгден: не допустил ли Достоевский какую-нибудь бестактность по отношению к цесаревне, а то, чего доброго, и нагрубил ей? — *И. В.*): она знала о дружбе между Достоевским и Великим князем Константином и обратилась к последнему с просьбой познакомить её с моим отцом. Великий князь немедленно организовал вечер и пригласил Достоевского, сообщив ему предварительно, кого он встретит

у него. Отец был несколько смущён тем, что не узнал цесаревну, фотографии которой висели тогда во всех витринах; он принял приглашение и постарался быть любезным...»⁴⁰

Он *постарался* быть любезным: мы знаем, что это ему не всегда удавалось.

Почему Михаил Никифорович изменился в лице

8 мая хозяин вечера записывает в своём дневнике: «Ф.М. читал из «Карамазовых». Цесаревна всем разлила чай; слушала крайне внимательно и осталась в восхищении. Я упросил Ф.М. прочесть исповедь старца Зосимы, одно из величайших произведений (по-моему). Потом он прочёл «Мальчика у Христа на елке». Елена (Шереметева. — *И. В.*) плакала, крупные слёзы катились по её щекам. У Цесаревны глаза тоже подёрнулись влагой»⁴¹.

На самом «верху» он читает рассказ о детях петербургских трущоб: акт социальной педагогики, если угодно.

Но отъезд в Старую Руссу был отложен, конечно, не только для того, чтобы исторгнуть августейшие слёзы. У автора, как мы говорили, была собственная «сверхзадача», и, очевидно, он полагал, что 8 мая приблизит его к осуществлению таковой.

«Достоевский, — пишет его дочь, — произвёл на неё (Марию Фёдоровну. — *И. В.*) глубокое впечатление; она так много говорила о нём своему мужу, что и Цесаревич захотел познакомиться с отцом... Будущий Александр III очень интересовался всеми русофилами и славянофилами, ожидавшими от него крупных реформ. Достоевский также хотел с ним познакомиться, чтобы поделиться своими идеями по русскому и славянскому вопросам...»⁴²

Об их единственной встрече — речь впереди.

Любовь Фёдоровна не уточняет, что именно желал поведать её отец будущему русскому самодержцу. Но ей определённо известно о самом намерении.

Стараясь быть любезным с женой наследника престола, он делает это вовсе не из-за каких-то личных или придворных видов иначе и быть не может. Правда и то, что от Александра Александровича действительно ждали реформ. Достоевский никогда не узнает, что по невеселой в таких случаях иронии они войдут в отечественные анналы с приставкой «контр».

Сюжет с вечером у великого князя Константина Константиновича (очевидно, это была их последняя встреча) требует завершения.

В письме, написанном в ночь с 27 на 28 мая в московской гостинице «Лоскутная», Достоевский рассказывает Анне Григорьевне о своём посещении Каткова. Говорили, разумеется, о «Карамазовых». Затем автор счёл необходимым сообщить своему издателю одну чрезвычайную новость.

«Я рассказал Каткову о знакомстве моём с высокой особой у графини Менгден и потом у К.К. Был приятно поражён, совсем лицо изменилось»⁴³.

Это — важное наблюдение.

Катков *поражён* известием (автор письма утверждает, что «приятно»): это отражается в мимике беседующего. Он воспринимает сообщение как первостепенную новость.

У редактора «Московских ведомостей» выражение лица просто так не менялось.

Известно, в каком незавидном положении оказался Катков на Пушкинском празднике. Он остро переживает свои общественные неудачи. Он внимательно следит за малейшими изменениями в расстановке политических сил.

Знакомство автора «Русского вестника» с супругой наследника престола (и — потенциально — с самим наследником) могло означать *непосредственное* включение Достоевского в сферу высокой политики.

С одной стороны, Катков имел основания радоваться: Достоевский — его формальный союзник, и, действуя через него, он, Катков, мог бы добиваться своих целей. С другой стороны, он должен был насторожиться.

Ибо автор уже написанной и готовой к произнесению Пушкинской речи менее всего способен осуществлять чужие предначертания. Он слишком самостоятелен и, главное, — непредсказуем. Он не поддаётся идеологическому контролю. Его влияние (а Катков хорошо знал силу этого влияния) могло повести к результатам, совершенно отличным от собственных предположений Каткова.

Во всяком случае, это новое обстоятельство следовало учесть.

«Провожать меня, — пишет Достоевский, — вышел в переднюю и тем изумил всю редакцию, которая из другой комнаты всё видела, ибо Катков никогда не выходит никого провожать»⁴⁴.

Издатель «Русского вестника» предупредителен сверх меры: он провожает ныне не только своего постоянного автора, но и *фигуру*.

Он не подозревает о том, какой громадной фигурой — правда, совсем в ином смысле — станет его гость всего через несколько дней.

Часть

Вторая

глава XII

ПАМЯТНИК РУКОТВОРНЫЙ

Исторический феномен

Месяц спустя после открытия памятника Пушкину П.И. Гайдебуров писал, что если бы кто-нибудь прочёл московские речи «у себя в комнате, тот непременно сказал бы о наших московских восторгах, что мы просто “с ума посходили”. Оно, пожалуй, так и было, — заключает издатель «Недели», — только я не прочь бы ещё хоть раз в жизни сойти так с ума»¹.

Менее чем за год до взрыва, оборвавшего царствование Александра II, совершается событие, бросающее какой-то фантастический свет не только на его непосредственных участников, но и высвечивающее невидимые глубины русской жизни. Эта вспышка представляется тем более ослепительной, что почти сразу же вслед за ней смыкается мрак, поглотивший действующих лиц и позволяющий лишь гадать о возможности иной исторической развязки.

Пушкинский праздник 1880 года исключителен не только по своему осуществлению, но главным образом по своему «неожиданному» историческому смыслу. Он вызвал безумное ликова-

вание и породил не менее безумные надежды. Он заставил пристальнее взглянуть в прошлое и будущее. Он, наконец, явил некий урок.

Наряду с Пушкиным ещё один человек сделался главным героем этого торжества.

«По внешнему впечатлению, кажется, ничто не может встать рядом с тем днём 8 июня 1880 года, когда в громадной зале бывшего Дворянского собрания, битком набитой интеллигентной публикой, раздался такой рёв, что казалось, стены здания рухнут»², — вспоминает одна из тех, кому довелось в этот день слышать Достоевского.

Никогда ещё ни одно публичное выступление не вызывало подобной бури.

Салон, гостиная, обеденная зала — вот поле деятельности русских литераторов. Ни Пушкин, ни Гоголь, ни Белинский не выступали перед широкой аудиторией. Лев Толстой являлся публике тоже в редчайших случаях.

В 1880 году русский писатель впервые обратился к русскому образованному обществу не только «через литературу», но — с «настоящей» общественной трибуны: такой, которая в силу обстоятельств приобретала *общенациональный* характер. Впервые в речи, сказанной по частному (литературному) поводу, затрагивались мировые вопросы.

Пушкинский праздник весьма отличался от тех «национальных торжеств», к каким привыкла Россия и какие только и были в ней возможны: коронации, освящение храмов, возвращение победоносных войск, пополнение августейшего семейства и т. д. Все названные и им подобные ликования всегда устраивались государством и исходили от него: власть, и только власть, служила источником и целью легальных общественных возбуждений.

Так было всегда, и думалось, что так всегда и будет: самодержавие никому не собиралось уступать одну из своих важнейших прерогатив. Московские торжества «нечаянно» поколебали эту древнейшую государственную традицию: последствия подобного «прорыва» представлялись чрезвычайно заманчивыми.

«Московский праздник, — писал «Вестник Европы», — был со времён Рюрика первым чисто общественно-литературным праздником, и по своему поводу, и по исполнению», он «принимал размеры, принадлежащие национальным событиям»³.

Знаменитый «исторический» обморок, о котором, кажется, не забыли упомянуть ни одна русская газета и ни один из позднейших воспоминателей, — обморок «молодого человека», ринувшегося на эстраду и в беспомощности рухнувшего у ног Достоевского, — это, по-видимому, сугубо медицинское происшествие не только оттенило ораторский успех автора Речи, но и явилось предельным «физиологическим» выражением того глубокого *стресса*, который переживало русское общество.

Пушкинская речь непостижима в отрыве от реальных исторических обстоятельств, её породивших. Более того: изъятие текста Речи из реального общественного контекста парадоксальным образом «искривляет» сам текст.

Ни одно произведение Достоевского при жизни автора не вызвало такого количества откликов: «очерк» объёмом около одного печатного листа породил лавину комментариев, оценок, возражений и опровержений — лавину, которая на протяжении нескольких месяцев буквально захлёстывала русскую прессу.

Немало писали о Пушкинской речи и после смерти Достоевского.

И всё-таки, говоря его собственными словами, остаётся «некоторая великая тайна».

«Устраняемое лицо»

Супруга Александра II, Мария Александровна, скончалась 22 мая 1880 года — в день, когда Достоевский выехал из Старой Руссы в Москву. В Твери он купил газеты: по случаю «кончины государыни Императрицы и наложения глубокого траура» Государю «благоугодно было повелеть, чтобы торжество открытия памятника Пушкину было на некоторое время отложено»⁴.

Памятник этот имел свою историю. Мысль о нём впервые возникла ещё в 1860 году — при подготовке к 50-летию юбилею Лицея. Самым подходящим местом показалось Царское Село; объявили подписку. Она шла не очень бойко, по-домашнему, и, достигнув тринадцати тысяч рублей, замерла. Дело стало.

Через десять лет, на очередном лицейском обеде, о памятнике вспомнили вновь — и учредили комитет. В него вошли два бывших однокашника Пушкина — барон М.А. Корф и адмирал Ф.Ф. Матюшкин (ни один из них так и не доживёт до откры-

тия). Именно Матюшкин первым подал идею поставить памятник в Москве, ибо в Петербурге, «уже богатом памятниками царственных особ и знаменитых полководцев, мало было надежды найти достойное поэта, достаточно открытое и почётное место». Высшая власть подозрительно быстро согласилась с этой идеей — и монумент было указано ставить в первопрестольной, где он «получит вполне национальное значение»^{*5}. Подписка пошла веселее — и вскоре достигла ста шести тысяч рублей. Объявили конкурс: предпочтение было отдано модели Опекушина.

Официальное приглашение прибыть в Москву Достоевский получил от Общества любителей российской словесности. Донельзя занятый «Карамазовыми», он колебался.

Однако в апреле—мае обнаружили причины, без сомнения повлиявшие на его окончательное решение.

В обстановке национального кризиса задуманный праздник начинает приобретать всё более выраженный политический характер. Конечно, речь шла лишь о пробе сил, но в условиях России эта теоретическая *проба* (здесь уместно вспомнить Раскольникова) могла повлечь самые неожиданные практические последствия.

С приближением праздника ситуация обострялась.

«Национальное торжество всей образованной России, — с негодованием писал «Берег», — грозит превратиться в партиозный скандал ошалевших краснокожих нашей журнальной прессы. Вместо воздаяния должных почестей памяти великого поэта, они готовы проплясать качучу над его могилой, — им-то что такое? Во имя чего стали бы они сдерживать проявления своего морального безумия? Удивляться здесь нечему: разве могут подняться до идеи народного дела те, кто на всё смотрит с точки зрения удобств своего дебоша?»⁷

* Матюшкин, внося своё предложение, в какой-то мере мог руководствоваться неприязнью к городу, *погубившему* поэта. Что же касается власти, то она, очевидно, руководствовалась желанием отдалить памятник от официальной столицы империи и царской резиденции. Именно так понимали дело современники. Ср.: «Москве нечего особенно радоваться, и если теперь памятник поэта высится в белокаменной, то потому только, что памятники знаменитых полководцев помешали найти в Петербурге почётное место, достойное поэта. Недаром Петербург — военный город!»⁶

Газета Цитовича беспокоилась не напрасно: праздник мог оказаться в руках либеральной интеллигенции. Для этого предпринимались определённые шаги.

«...Надобно, чтобы манифестация была полная и чтобы все литераторы и др. явились сюда в полном сборе... — в стиле боевых приказов пишет Стасюлевичу из Москвы И.С. Тургенев. — Никаких стеснений не будет — и враждебный элемент устранён»⁸.

Последняя фраза особенно примечательна: остановимся пока на её первой части.

«Никаких стеснений не будет» — эта неслыханная уверенность зиждется на определённой основе. Дело даже не в том, что московский генерал-губернатор князь Долгоруков пообещал отсутствовать на публичных обедах, дабы «не стеснять выражения мнений в спичах и тостах». Сам губернаторский посул — следствие тех изменений, которые произошли в политическом климате страны на протяжении последних недель.

С тех пор как у кормила власти встал Лорис-Меликов, правительственный курс переменился. «Диктатура сердца», какими бы тактическими соображениями ни руководствовались её вдохновители, повела к некоторому ослаблению административного произвола, смягчению цензуры и т. п.

Весна и лето 1880 года — краткая историческая передышка, некое равновесие сил «между революцией и реакцией» (если иметь в виду под первой террористическое подполье, а под второй — консервативные правительственные круги). После потрясшего воображение современников февральского взрыва в Зимнем дворце покушения как будто бы приостановились. Приостановился и террор «сверху». Создавалось впечатление, что обе стороны выжидают. Это могло быть понято как *знак*, намёк на готовность к диалогу.

Вопрос, *куда* пойдёт страна и каким именно образом осуществится этот переход, оставался открытым.

Русские либералы чувствовали приближение своего звёздного часа: борьба, в которой они не принимали почти никакого участия, могла окончиться в их пользу.

Но вернёмся ко второй половине тургеневской фразы — «враждебный элемент устранён».

«Враждебный элемент» — это прежде всего партия «Московских ведомостей». Очевидно, ещё в конце апреля состоялось решение о недопущении на заседания Общества любителей российской словесности (так называемые чтения) депутатов от этой

газеты (иначе говоря — М.Н. Каткова). Что и вызвало громкий скандал, речь о котором впереди.

У Достоевского между тем были основания принять доходившую до него противоречивую информацию на свой счёт. Осторожно сообщая Победоносцеву, что даже «в газетах уже напечатано про слухи о некоторых интригах»⁹, он, надо полагать, имеет в виду фельетон московского корреспондента «Нового времени»: в фельетоне туманно намекалось, что «кого-то не допускают к празднеству», «кто-то устраняется от участия в торжестве» и т. п. Далее в газете следовала фраза, которая должна была особенно насторожить Достоевского: «С этими слухами связывалось одно почтенное имя, которое, однако, стоит в программе празднества...»¹⁰

А.С. Долинин полагал, что в данном случае имелся в виду Катков. Достоевский же «по болезненной своей мнительности мог, конечно, подумать, что под этим устраняемым лицом разумеется именно он»¹¹.

Представляется, однако, что Достоевский был прав.

В 1891 году издатель «Русского архива» П.И. Бартенев обнаружил замечательный факт: «Любопытно, что в одном из заседаний пригласительной комиссии едва было не постановили не допускать Достоевского к чтению чего-либо на Пушкинском празднике. Некоторые члены комиссии настаивали на таком недопущении, потому что Достоевский якобы нанёс Тургеневу обиду, спросив его прямо и во всеуслышание, на одном из петербургских общественных обедов, чего именно хочет он от наших студентов (вот ещё одна версия обеденного инцидента! — *И. В.*), и тем приведя знаменитого друга молодёжи в неловкое положение и смущение. На этот раз большинство членов комиссии не допустило такого остракизма; но прения были горячие»¹².

Таким образом, выясняется, что «мнительность» здесь ни при чём. «Интрига» всё-таки имела место. И связана она, оказывается, с прошлогодним происшествием, бережно, хотя и с разночтениями, хранимым общественной памятью.

Обо всем этом Достоевский мог кое-что знать. Во всяком случае, желал знать. В первом же письме Анне Григорьевне из Москвы он пишет: «Узнаю, наконец, и об литературных интригах подноготную»^{*13}.

* Новейшие комментаторы полагают, что речь здесь идёт либо о возможном столкновении западников и славянофилов, либо об отказе

В этой связи примечателен один нюанс его переписки с С.А. Юрьевым.

Сообщая председателю Общества любителей о своём согласии приехать в Москву, Достоевский спрашивает: «Неужели же разрешат читать вновь написанное без предварительной *чьей-нибудь* (курсив наш. — *И. В.*) цензуры? Аксаков, Тургенев и проч. как будут читать: с цензурой или без цензуры, а *à vive voix* или по написанному?»¹⁶

Вопрос как будто бы касается цензуры официальной. Но подчеркнутые слова позволяют предположить, что он, помимо прочего, опасается ещё и цензуры «внутренней» — той самой, по его позднему выражению, «либеральной полиции», которая на празднике призвана защищать интересы «своей» партии.

Юрьев поспешил успокоить Достоевского, заверив его, что Общество любителей, согласно своему уставу, само цензор всех речей и выступлений и поэтому «не обязано представлять их ни общей цензуре и ни на цензуру никаких властей». «Конечно, ваше слово не подвергнется и этой процедуре»¹⁷, — добавлял Юрьев, имея в виду «приготовительное» собрание Общества, рассматривающее тексты публичных выступлений. Однако при этом подробнейшим образом описывал саму «процедуру».

Такое «успокоение» могло, пожалуй, встревожить его ещё больше. Он пишет Победоносцеву: «Впрочем, может быть, просто не дадут говорить. Тогда мою речь напечатают»¹⁸.

Он ехал в Москву как боец. Анна Григорьевна до конца своих дней сокрушалась, что не смогла сопровождать мужа. Но жён не берут на войну.

Однако *готовились* не только общественные силы.

III Отделение и «Генеральные штаты»

18 мая Лорис-Меликов обратился к московскому генерал-губернатору с отношением «о принятии мер к недопущению манифестаций при открытии памятника поэту Пушкину

М.Е. Салтыкова-Щедрина и Л.Н. Толстого принять участие в празднике»¹⁴. Думается, однако, что Достоевский имеет в виду прежде всего себя. Ср.: «Интриги, однако, были несомненные»¹⁵. И употреблённое здесь прошедшее время, и сама тональность (очевидная личная заинтересованность) свидетельствуют в пользу подобного предположения.

в Москве». Правда, Москва была относительно спокойным городом: здесь (исключая взрыв свитского поезда в ноябре 1879 года) не совершилось ни одного крупного покушения и, следовательно, — ни одной смертной казни. Однако общая ситуация давала правительству повод для беспокойства. Тревога эта, по-видимому, исходила от самого императора: Лорис-Меликов подчёркивает, что он обращается к Долгорукову «на основании высочайше преподанных мне указаний».

Хозяин Москвы немедленно принимает меры к «недопущению каких бы то ни было противозаконных проявлений». Устанавливается должное наблюдение «за лицами, навлекающими на себя подозрение и могущими дать повод к каким-либо противоправительственным манифестациям». Полицейские офицеры ежедневно обходят гостиницы и меблированные комнаты. Назначаются пешие и конные патрули по всем частям города. «...В день же открытия памятника на площади Страстного монастыря будет достаточный полицейский и жандармский наряд с особым резервом»¹⁹, — рапортует в Петербург Долгоруков.

Несмотря на заверения московской полиции, что среди участников праздника будут действовать особые «доверенные лица», III Отделение сочло необходимым направить в Москву своих собственных осведомителей (одним из них «по совместительству» оказался сотрудник газеты «Берег»). Эти агенты должны были озаботиться «в особенности тем, чтобы иметь совершенно верные сведения как о представителях литературы и почитателях поэта, так и обо всём, что во время празднеств будет происходить в собраниях литераторов и других»²⁰.

Итак, правительство готовится встретить Пушкинский праздник во всеоружии.

Между тем в Москве собирается цвет русской интеллигенции. Помимо литераторов, профессоров и представителей печати сюда прибыли посланцы едва ли не всех существующих в стране общественных учреждений (вплоть до Русского хорошего общества и Общества акклиматизации животных и растений) — всего 106 делегаций. 244 депутата томилась в ожидании открытия. Пожалуй, лишь коронационные торжества собирали в Москве такое количество гостей. Но тогда являлась Россия «верхняя» — парадная, титулованная, аристократическая; ныне же — в основном «средняя»: земская, журнальная, интеллигентская — *неофициальная*.

Здесь были представители университетов и гимназий, земских управ и юридических обществ, архивов и библиотек, столичных и провинциальных театров, советов присяжных поверенных и технических училищ, петербургского и уездного дворянства, обществ торговли и судоходства. *Литературное* дело собрало вокруг себя силы, далеко превышающие потребности литературы.

Какова же политическая подоплёка московского *съезда*?

Пушкинский праздник был первым (со времён Земских соборов и комиссий Екатерины) собранием общественных представителей. Его можно назвать первым русским «парламентом» (или, вернее, «предпарламентом»). Разумеется, эти выражения весьма условны: то, что происходило в Москве, ни в малой мере не напоминало парламентской процедуры и вообще не обладало никакими признаками «нормального» парламентаризма. И всё-таки в условиях самодержавной России, в период «конституционного ожидания», в обстановке значительного общественного подъёма, кризиса «верхов» и недовольства «низов» московский съезд приобретал характер некоего, хотя и ограниченного, национального представительства. Была сделана — пусть полусознательно — попытка в «литературной» форме заявить минимальные общественные требования. Тут был момент стихийности, который власть инстинктивно предчувствовала, но не могла в полной мере осознать или предотвратить. Официально разрешённая церемония неожиданно для самих её участников и организаторов превращалась в смотр наличных общественных сил.

В *духовном* плане подобный съезд мог стать русскими «генеральными штатами».

Но у московского форума была одна существенная особенность. Пушкинские торжества носили сугубо корпоративный характер: это было собрание интеллигенции, и *только* интеллигенции²¹. Причём интеллигенции либеральной. (Представители «Отечественных записок» ограничились ролью зрителей.)

Пожалуй, никогда ещё в своей «нетворческой» жизни Достоевский не испытывал такого напряжения душевных и физических сил. Он настолько поглощён происходящим, что его письма к Анне Григорьевне — «в личном плане» — гораздо сдержаннее, чем обычно. Если в его эпистолярных циклах, связанных с пребыванием в скучном бессобытийном Эмсе, информативная часть обычно уравновешена «лирикой» — проверкой чувств, интим-

ными (порой сугубо интимными) признаниями, то в московских письмах 1880 года эти последние моменты почти полностью отсутствуют. Чуткая Анна Григорьевна не могла не заметить столь необычной сухости — и забеспокоилась: «Вообще же, мой дорогой, я замечаю из твоих писем явную ко мне холодность»²².

У неё были причины для ревности.

Суета сует

Он приехал в Москву в 10 часов вечера 23 мая и уехал домой, в Старую Руссу, 10 июня в час дня. Он не знал, что это последний визит в город его детства — на родину. За тринадцать лет супружеской жизни (во втором браке) он покидал семью на столь длительный срок только для путешествий в Эмс, на воды. Анне Григорьевне, как мы уже говорили, очень хотелось сопутствовать ему в этой поездке. Однако, когда были подсчитаны ресурсы, выяснилось, что и без того напряжённый семейный бюджет не выдержит чрезвычайных расходов. Встречались и другие препятствия. «После смерти нашего сына Алёши, — пишет Анна Григорьевна, — Фёдор Михайлович, всегда горячо относившийся к детям, стал ещё мнительнее насчёт их жизни и здоровья, и нельзя было и подумать уехать нам обоим, оставив детей на няньку... К тому же на подобное торжество надо было и мне явиться одетой в светлом, если и не роскошно, то всё-таки прилично, а это увеличивало стоимость поездки». (Анна Григорьевна не знала, что смерть императрицы и официальный по этому случаю траур могли бы избавить её от последних забот.)

Полагали, что он пробудет в Москве самое большее неделю. Но в связи с отсрочкой торжеств он оставался там восемнадцать дней (не считая дороги). За это время Анна Григорьевна натерпелась страху. Она опасалась, что с мужем случится в Москве припадок и он, «ещё не придя в себя, пойдёт по гостинице отыскивать меня, что там его примут за помешанного и ославят по Москве, как сумасшедшего». Она прекрасно знала, что в такие минуты его нельзя оставлять одного: после приступа он испытывал «мистический ужас», и присутствие близкого человека было ему необходимо. Анна Григорьевна даже подумывала, не поехать ли ей в Москву инкогнито и, нигде не показываясь, наблюдать здоровье мужа.

Впрочем, у неё имелись опасения и иного рода. Хорошо изучившая характер своего супруга, она пыталась по мере сил убедить его от неприятных встреч и разговоров, прибегая порой для этого к маленьким хитростям. В гостях она просила хозяйку дома посадить мужа подальше от того или иного потенциально опасного посетителя. Под благовидным предлогом она отзывала мужа в сторону, если он начинал слишком уж горячиться.

Москва таила в себе угрозу. В ней собиралась «вся литература», причём в большинстве своём — враждебная (Анненков, Тургенев). Поэтому опасения, что мужа «могут раздражить, довести его до какого-нибудь безумного поступка»²³ (тургеневский обед ещё на памяти!), — все эти опасения выглядят не столь уж неосновательными.

Единственным утешением было то, что он обещал писать регулярно. И он сдержал слово: письма из Москвы отправлялись порой даже два раза в сутки.

Он написал ей тринадцать больших посланий (с припиской, имеющей характер самостоятельного письма, — четырнадцать)²⁴. Больше в эти дни он не писал никому.

«А письма ты должен о празднике писать подлиннее, — просит Анна Григорьевна мужа, — слышишь ты, голубчик мой, а то подумай, я ничего о нём не узнаю, а ты так пишешь, как никто»²⁵.

Он действительно писал «как никто».

Трудно отделаться от чувства, что судьба имела свой тайный умысел, разлучая супругов на время московских торжеств. Будь они вместе, мы никогда бы не обрели возможность читать этот, как выражался его автор, «бюллетень», вводящий нас в самую гущу событий. Мы никогда бы не увидели совершающееся *его* глазами.

Он останавливается в гостинице «Лоскутная» на Тверской, твёрдо намереваясь покинуть Москву через день-два. И не без удивления убеждается, насколько за последнее время выросла его популярность. Его уверяют, что праздник переносится лишь на несколько дней, и умоляют остаться. Он говорит, что «Русский вестник» ждёт на июнь очередную порцию «Карамазовых», — ему отвечают, что готовы послать к Каткову специальную депутацию с просьбой об отсрочке. Он — как на последний довод — указывает на жену и детей, и слышит в ответ, что и к Анне Григорьевне будет отправлена коллективная телеграмма и даже (в случае надобности) опять-таки депутация всё с той же просьбой.

Об интригах, разумеется, предпочитают умалчивать.

Он посещает Каткова — главным образом для того, чтобы попытаться оттянуть публикацию романа до осени. В первый свой визит он «опрокинул чашку с чаем и весь замочился»; поэтому, повествуя о втором посещении, ставит в особенную себе заслугу, что «в этот раз я у него чаю не пролил...»²⁶.

Катков отменно любезен: потчует своего гостя дорогими сигарами, рекомендует ему лучшего в Москве зубного врача.

Его втягивает в себя предпраздничный водоворот; он принимает бесчисленных посетителей и сам отдаёт визиты; он участвует в приготовлениях и томится в ожиданиях. Самое удивительное, что среди всех этих хлопот он не оставляет надежды выкроить хотя бы несколько часов — и заняться романом («А Карамазовы-то, Карамазовы! Эх, в какую суетню въехал»). Но с горестью убеждается, что это физически невозможно.

Его везут в «Эрмитаж», где в его честь устраивают обед (кажется, он впервые в жизни удостоивается подобной чести). Его поражает московский размах («...не по-петербургски устраивают»): снимается отдельная зала, наличествуют «балыки осетровые I 1/2 аршина, полторааршинная разварная стерлядь, черепаший суп, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изысканнейшие вина и шампанское рекой». Он отдаёт должное утончённости стола и тому, что после обеда за кофеем и ликёром являются «две сотни великолепных и дорогих сигар». (Правда, позднее выяснится, что обед был по подписке, трёхрублевый, а «всю роскошь, цветы, черепаший суп, сигары, залу» и т. д. — всё это издатель «Русской мысли» и большой поклонник Достоевского В.М. Лавров прибавил уже «от себя».)

Радует не только стол: «Сказано было мне (с вставанием с места) 6 речей, иные очень длинные»²⁷.

Он отмечает все эти подробности потому, что пишет жене, которой всё это интересно и которой он желает зримо продемонстрировать, как его принимают и как потчуют. В информации такого рода «вставание с места» и продолжительность речей — момент существенный.

Трудно представить, чтобы, скажем, Л. Толстой в подобном тоне сообщал о своих успехах и приберегал для Софьи Андреевны такие подробности. Черепашим супом автора «Анны Карениной» не удивишь. В своих романах он может описывать замечательные обеды, но ему не придёт в голову повествовать об этом

в своих письмах. Для него это дело светское, следовательно — привычное. Еда, которой могут его угостить московские друзья, именно еда — и ничего больше.

Для Достоевского разварная стерлядь и дорогие сигары — знак уважения к нему лично.

При этом он совершенно не опасается показаться смешным. С обезоруживающей, почти детской непосредственностью рассказывает он Анне Григорьевне о расточаемых в его адрес знаках внимания: жизнь не очень-то баловала его этим.

Простодушие — вот слово, которое применительно к Достоевскому встречается у нас уже не впервые. Эту свою черту он, очевидно, сознавал и сам. «...У Феди (сына. — *И. В.*) характер мой, — пишет он Анне Григорьевне, — моё простодушие. Я ведь этим только, может быть, и могу похвалиться, хотя знаю, что ты, про себя, может быть, не раз над моим простодушием смеялась»²⁸.

Его письма к ней покоряют не блеском ума (и вообще не литературным *блеском*, этим защитным цветом эпистолярного жанра). Их обаяние, может быть, как раз в их нелитературности, в незащищенности автора, безоглядно подставляющего себя ретроспективным насмешкам.

«Эти все московские молодые литераторы восторженно хотят со мной познакомиться»²⁹, — сообщает он в Старую Руссу. Звучит совершенно так же, как тридцать пять лет назад, когда, упоённый внезапным успехом «Бедных людей», он поведал брату: «Всюду почтение невероятное, любопытство насчёт меня страшное... Все меня принимают как чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всех углах не повторяли, что Достоевский то-то сказал, Достоевский то-то хочет делать... откровенно тебе скажу, что я теперь упоён собственной славой своей...»³⁰

Такие признания встречаются у него *только* в начале и в конце пути: крайности сходятся. Его первый год в литературе и его последний год — «праздник жизни». «В середине» ничего подобного нет: там только будни — вечный, не приносящий осязательного успеха труд, насмешки недавних друзей, разочарования, недовольство собой...

Но, несмотря на исполненную драматизма жизнь, каторгу, болезни, взлёты и падения, несмотря на возраст и опыт, обнаруживается мало изменившаяся душевная организация. Тогда, в молодости, то, что с ним совершалось, было искушением. Ему выпал успех, и он вёл себя, как положено по «сценарию». Он *играл*

этот успех, внутренне ужасаясь, потому что прозревал в себе настоящего писателя и предчувствовал, какие муки принесёт ему это открытие. Он словно предвидел, что никогда не будет доволен собой, — и чем яснее он это сознавал, тем громче звучали его самовосхваления, тем лихорадочнее вёл он счёт своим действительным и мнимым заслугам.

Теперь он старый известный писатель. Но почему же в его письмах Анне Григорьевне наряду с откровенной гордостью (слишком откровенной, чтобы обратиться в гордыню) звучат и нотки плохо скрываемого удивления? Он искренне удивлён тем, что его так встречают, что посторонние люди узнают его в лицо, что его ценят и им дорожат. То, к чему Тургенев или Толстой отнеслись бы внешне спокойно, как к чему-то вполне естественному и заслуженному, глубоко волнует его: он видит в этом неожиданную милость и перст судьбы.

«Он вовсе не знает своей цены», — приводились слова мемуаристки.

Он по-настоящему скромнен, и эта внутренняя скромность проявляется уже на бытовом, житейском уровне. В «Лоскутной» его просят перейти в лучший номер: Дума «записала» его именно в нём. «Я удивился и спросил: почему знает Дума? — Да ведь вы же стоите на счёт Думы, ответил Юрьев. Я закричал...»

Он «закричал», ибо во всю свою жизнь никогда не жил на чужой счёт: он за всё привык платить сам. Юрьев «твёрдо» возразил ему, что все гости праздника стоят за счёт Думы и что, отказавшись, он тем самым оскорбит её. «Я решил наконец, что если и приму от Думы квартиру, то не приму ни за что содержания». Он осведомляется у управляющего гостиницей, правда ли, что его счёт оплачивает Дума, и, получив утвердительный ответ, заявляет, что вовсе этого не хочет. Но ему опять возражают, что в таком случае он обидит город Москву. «Что мне теперь, Аня, делать? Не принять нельзя, разнесётся, войдёт в анекдот, в скандал, что не захотел, дескать, принять гостеприимство всего города Москвы и проч.»

Его знакомые удивлены его щепетильностью. В конце концов он смиряется (он, рассчитывающий для поездки в Москву каждую копейку). Путешествие оказывается не столь накладным, но — «но зато как же это меня стеснит! Теперь буду нарочно ходить обедать в ресторан, чтоб, по возможности, убавить счёт, который будет представлен гостиницей Думе. А я-то два раза уже

был недоволен кофеем и отсылал его переварить погуще: в ресторане скажут: ишь на даровом-то хлебе важничает»^{*31}.

Подобные опасения оказались не такими уж пустыми. Он, боявшийся из-за своей щепетильности «войти в анекдот», вошёл-таки в него — правда, через четверть века и в смысле, совершенно обратном предполагаемому.

Некий анонимный воспоминатель («Одиссей») помещал в 1906 году в бульварной «Петербургской газете» заметки из «Записной книжки» («Вытащена из моего собственного кармана», — игриво сообщал подзаголовок). В этих извлечённых из кармана историях нашлось место и для Достоевского.

Посетовав, что «такой-то великий человек был совершенным ребёнком в жизни», Одиссей в подтверждение своего тезиса сообщает следующее.

На Пушкинском празднике «все мы, представители тогдашней петербургской литературы и прессы, считались гостями города Москвы, пользовались помещениями в гостиницах, полным содержанием и экипажами в течение недели. Потом стали разъезжаться. Пора, дескать, гостям и честь знать... Один Ф.М. Достоевский остался на долгое время.

— Зачем я буду торопиться? Здесь так прекрасно, и город Москва так принимает меня любезно.

Город Москва был, конечно, рад, что он так понравился знаменитому писателю, и просил погостить сколько ему будет угодно»³³.

Если бы нас не удерживал пиетет перед всегда почтенной неизвестностью (вдруг — что, впрочем, маловероятно — под маской Одиссея обнаружится лицо уважаемое!), мы назвали бы свидетельство таинственного воспоминателя совершеннейшей чепухой. Достоевский, буквально по минутам высчитывающий, когда он сможет вернуться к семье и «Карамазовым», не задержавшийся

* Ср. рассуждения на эту тему П. Гайдебурова: «Я нахожу, что для меня это дорого (4-рублёвый номер в «Лоскутной». — *И. В.*), но мне деликатно намекают, что это не моя забота... Немножко стеснительно, но в то же время (не стану притворяться) очень приятно и даже трогательно... Узнавши, что я — гость, которому ни за что не придётся платить, я, естественно (как, вероятно, и все другие), старался довольствоваться самым необходимым; например, я привык пить за обедом порядочное красное вино, а тут требовал себе самого дешёвого, чтобы не вводить Думу в напрасные расходы»³².

в Москве ни одного лишнего часа, под пером Одиссея предстаёт таким парнасским ленивцем, у которого в запасе вечность.

Нет, в подобных случаях он бывал достаточно взросл: «детскость» его выражалась не в этом.

Она хотя бы в том, как популярно объясняет он Анне Григорьевне необходимость остаться и ждать открытия: «Если будет успех моей речи в торжественном собрании, то в Москве (а стало быть, и в России) буду впредь более известен как писатель (т. е. в смысле уже завоёванного Тургеневым и Толстым величия)». Мыслимое ли дело, чтобы те же Тургенев и Толстой так беззастенчиво, так ребячески-откровенно признавались в подобных помыслах и приводили подобные аргументы! Да они постеснялись бы употребить само это слово «величие» — и вовсе не потому, что не смели соотнести себя с таким высоким понятием. Достоевский упоминает о «величии» буднично, с естественностью человека, отнюдь не снедаемого тайным жаром честолюбия: слову не придаётся никакого особого смысла. Это фразеология мальчишки, запальчиво доказывающего окружающим, что и он ничуть не хуже других.

Но кроме соображений престижного порядка он приводит в пользу своего дальнейшего пребывания в Москве и иные доводы. «Мой голос будет иметь вес, а стало быть, и наша сторона восторжествует. Я всю жизнь за это ратовал, не могу теперь бежать с поля битвы»³⁴.

Битва между тем приближалась.

Потомки Пушкина и другие

Накануне открытия, 5 июня, Московская городская дума устроила приём депутатов.

В зале, убранной зеленью и цветами, красовались три портрета: благополучно царствующего государя, его дяди — Александра I и его прабабки — Екатерины II. Не хватало одного изображения — родителя нынешнего монарха (кстати, портреты тех же особ — опять-таки в отсутствие Николая Павловича — будут фигурировать и завтра на акте в университете: подобная избирательность вряд ли была случайной).

Впрочем, императорский дом был представлен не одними лишь живописными полотнами: в зале присутствовал его высо-

чество принц Пётр Георгиевич Ольденбургский — августейший председатель комитета по сооружению памятника. «Весело и радостно было уже видеть, — говорит в частном письме И. Аксаков, — члена царской фамилии и носителей высшей власти сидящими (несколько смиренно и даже сконфуженно) под огромным бюстом Пушкина... Это у нас новое зрелище: явление силы нравственной, смирившей силу внешней государственной власти»³⁵.

Депутации входили в залу одна за другой и заявляли свои чувствования. Однако и здесь наблюдались проблемы. «От православного духовенства, — меланхолически замечает «Неделя», — не было ни одного депутата. — Из всех иноверных исповеданий только московский раввин явился представителем своих единоверцев на общерусском празднестве»³⁶.

Один депутат (от Московского юридического общества) привлек всеобщее внимание. Это была дама: доктор прав Лейпцигского университета, тридцатилетняя А.М. Евреинова — первая русская женщина с таким учёным званием. «Одета она была прилично, — не без некоторого удивления отмечает агент тайной полиции, — хотя, разумеется, не в трауре (объявленном по случаю кончины государыни. — *И. В.*), а вся в белом, но манеры её мало женственны; развязности нигилистки, впрочем, не было заметно»³⁷.

Присутствовали все дети Пушкина: Александр Александрович, командир Нарвского гусарского полка; Григорий Александрович, отставной военный, «псковский землевладелец»; дочери — Наталья Александровна, графиня Меренберг, морганатическая жена немецкого принца Николая Нассауского, и Мария Александровна Гартунг.

Красавица Наталья Александровна не оставила равнодушным никого — даже упомянутого тайного соглядатая. «Ее изящная манера себя держать, непринуждённость любезных ответов... очертание носа, живость и блеск глаз многим старикам напомнили одновременно и её отца и её мать», — добросовестно доносит агент, утруждая начальство явно избыточной информацией. И, словно спохватившись, добавляет: «В субботу она уезжает»³⁸.

О Наталье Александровне — правда, без лирических подробностей — упоминает и Достоевский. «Видел (и даже говорил) с дочерью Пушкина (Нассауской)»³⁹, — кратко извещает он Анну Григорьевну.

Он ничего не говорит о второй дочери — Марии Александровне, хотя, казалось бы, именно она должна была заинтересовать его в первую очередь.

Мария Александровна была вдовой генерал-майора Гартунга. её мужа в 1877 году присяжные признали виновным в подлогах и мошенничестве. Во время суда, в ожидании приговора, генерал выстрелил себе в сердце. Он оставил записку, в которой категорически отрицал свою вину.

Достоевский подробно писал о самоубийстве Гартунга в «Дневнике писателя».

Через много лет Л. Толстой в «Живом труппе» воспроизведёт некоторые подробности этой трагедии.

Аристократическая внешность Марии Александровны («породистые» завитки на затылке) в своё время поразила Толстого: старшая дочь Пушкина послужила «физическим» прототипом для изображения Анны Карениной.

Странные встречи случались на Пушкинском празднике.

Хотя церемония в Думе прошла гладко, главные опасности были ещё впереди. «Говорят, — замечает «Берег», — что для депутатов от газет и журналов сделана одна хоругвь. Один шутник говорит, что представители разных «литературных групп» на площади пред лицом Пушкина изорвут эту хоругвь в клочки и здесь же передерутся»⁴⁰.

В тот же день Достоевский пишет Анне Григорьевне: «И вообще здесь уже начинается полный раздор. Боюсь, что из-за направлений во все эти дни, пожалуй, передерутся... Послезавтра... обед человек в 500 с речами, а может быть, и с дракой»⁴¹.

Это письмо написано в гостинице «Лоскутная» в 8 часов вечера 5 июня (то есть накануне открытия): оно передаёт крайнее возбуждение автора. Но имеется ещё одно свидетельство — «со стороны», — запечатлевшее Достоевского примерно за час до написания им вышеуказанного письма. Свидетельство это, принадлежащее П.И. Гайдебурову и носящее вполне дневниковый характер, до сих пор не было замечено.

«Вечером (5 июня. — *И. В.*) захожу к Достоевскому и вижу, что он в ужаснейшем состоянии: весь как-то подёргивается, в глазах — беспокойство, в движениях — раздражительность и тревога. Я знал, что он человек в высочайшей степени нервный и впечатлительный, страстно отдающийся всякому чувству, но в таком состоянии я, кажется, никогда ещё его не видел. «Что с вами, Фёдор

Михайлович?» — «Ах, что это будет, что это будет!» — восклицает он в ответ с отчаянием. «Да что такое? В чём дело?» Он не говорит ничего определённого, но я и без него отлично знаю, в чём дело. Я стараюсь, однако же, успокоить и уверить, что не будет ничего, что всё обойдётся прекрасно. Когда уверяешь другого в чём-то таком, в чём сам не уверен, а только хочешь увериться, то всегда делаешь это с особенным азартом, и чем меньше веришь сам, тем сильнее уверяешь другого. Не знаю, удалось ли мне уверить Достоевского, но он, по-видимому, несколько успокоился, а сам я ушёл от него ещё более встревоженный, чем пришёл»⁴².

Две фигуры в белом

...С утра 6 июня накрапывал дождик; затем перестал, но погода оставалась серенькой. «Четыре фотографа, — сообщает журнал «Будильник», — ещё с раннего утра установили, в разных пунктах, свои аппараты...»⁴³ Депутаты в чёрных фраках с белыми бутоньерками (на которых стояли золотые буквы А.П.) спешили в верхнюю церковь Страстного монастыря, где московский митрополит Макарий служил панихиду.

«Почему-то, — замечает Страхов, — нельзя было совершить окропление памятника святою водою, как это принято при всяких сооружениях»⁴⁴. Об этом же пишет и Глеб Успенский: «...поговаривали в народе, что едва ли митрополит разрешит святить статую, так как, что ни говори, Пушкин-то он Пушкин, а всё-таки он истукан, статуя, идол... человек не на коне, не с саблей, а просто со шляпой в руке...»⁴⁵ Может быть, дело было не только в шляпе...

...Молодая жена А.С. Суворина, тронутая прекрасной службой, дивным пением певчих, молилась за Пушкина со слезами на глазах. Вдруг кто-то тронул её за плечо. «Я чуть-чуть оглянулась, думая, что это, как обычно, передают свечу к образу. Смотрю — пустая рука. Взглянула вверх, — о ужас — вижу Фед<ор> Мих<айлович>, как всегда, с блестящими проникновенными глазами смотрит мне в глаза и шепчет: “У меня к Вам большая просьба... Обещайте только её исполнить”».

Он повёл смущённую Анну Ивановну в притвор, повторяя: «Обещаете?» Ей подумалось, что он сейчас попросит подвести его в экипаже, и она (уже с улыбкой) сказала, что с удовольствием исполнит его желание. «Он взял мою руку, крепко сжал в своей

и сказал: “Так вот что! Если я умру, вы будете на моих похоронах и будете за меня молиться, как вы молились за Пушкина! Я всё время наблюдал за вами, будете? Обещаете?” И, не слушая её сконфуженный лепет, повторил сурово: «Вы обещаете?»⁴⁶

Она — обещала.

Он вышел на площадь, расцвеченную красными, белыми и синими флагами, заполненную депутациями городских цехов и делегатами с венками в руках. Громадная толпа глухо гудела в ближайших улицах; люди усеяли крыши (окна, выходящие на площадь, сдавались по цене от 20 до 50 рублей). Под звон колоколов и звуки гимна парусиновая пелена, колеблемая ветром, медленно упала к ногам монумента.

Тут следует остановиться и вспомнить.

Несколько месяцев назад он тоже стоял на площади — в пятидесятитысячной толпе, собравшейся, правда, совсем по иному поводу. Это было 22 февраля: казнили Млодецкого.

Две толпы, два события, внешне ничем не связанные друг с другом, знаменуют собой крайние точки незабываемого 1880 года. В феврале — один из последних всплесков кровавой волны затихающего правительственного террора; в июне — неистовое ликование, клики восторга, объятия и слёзы: первый всплеск иной, закипающей волны — того желанного единения, которое, как мнилось, уже близко, уже грядёт, уже «у дверей».

Тогда, на Семёновском плацу в Петербурге, и теперь — на Тверской площади в Москве, высились фигуры *в белых балахонах*: *но* тогда — балахон *надевали*, теперь — *снимали*, и он медленно падал, обнажая «благородный медный лик» того, чьё имя должно было, словно по волшебству, прекратить вековые распри.

«Ещё свежо рисуются воображению убийства и покушения фанатиков, ещё не заглажено мрачное впечатление виселицы»⁴⁷, — писало «Новое время» на следующий день после открытия памятника.

Пушкинский праздник был пиром духа, но — пиром во время чумы. И всё же (как думалось) он мог знаменовать исцеление.

Накануне праздника были помилованы приговорённые к смертной казни Адриан Михайлов (тот самый кучер, который правил Варваром в момент покушения на Мезенцова) и О. Веймар. Это решение расценивалось как важный политический жест. «В этом помиловании он (русский человек. — *И. В.*) почерпнёт главную уверенность в прочности государственного строя... В таком успокоении

лучший залог борьбы со всякими преступными замыслами»⁴⁸, — радовался «Голос». Ему вторила «Неделя»: «Мы считаем знаменательным... что памятник... открыт в начале того десятилетия, когда обещают замирились у нас внутренние тревоги, так сильно смущавшие русское общество в течение последних годов»⁴⁹.

Вспомним оптимизм Тургенева в его апрельском письме к Стасюлевичу. «Враждебный элемент» устранился в Москве потому, что он «устранился» и в Петербурге: только что по настоянию Лорис-Меликова был уволен в отставку «министр народного помрачения» — Д.А. Толстой. «Представьте, кому ни скажешь, кому ни покажешь телеграмму — первым делом все крестятся, — сообщает Тургенев о реакции москвичей. — Вот ненавидим был человек! Но каким образом это случилось? Как рухнул этот столб?! — Подробностей, ради Бога, подробностей!»⁵⁰

Отставка Толстого была косвенным ударом и по Каткову: он сразу оценил этот шаг и отозвался в своей газете сдержанно-негодующей статьёй.

Место Толстого на посту министра просвещения занял А.А. Сабуров, а на посту обер-прокурора Синода — К.П. Победоносцев (вряд ли Лорис-Меликов мог предположить, что именно этот последний свалит его самого и всю его систему ровно через год — в апреле 1881-го).

Сабуров «по должности» представлял правительство на московских торжествах. «...Новый министр народного просвещения, сам лицеист, выпросился на этот день у государя в Москву»⁵¹, — свидетельствует И. Аксаков. П.А. Висковатов (родственник Сабурова) говорил Достоевскому, что министр «читал некоторые места Карамазовых, буквально плача от восторга»⁵².

Сразу же после открытия памятника состоялся торжественный акт в университете, на котором присутствовал и Сабуров. «Министр народного просвещения, — спешит наябедничать петербургскому начальству агент-осведомитель, — заставил себя долго ждать и вошёл лишь через полчаса, уже после того, как все заняли места, не исключая в том числе и его высочества принца Ольденбургского»⁵³.

Во время церемонии Тургенев был избран почётным членом университетского совета. Это была самая крупная победа западников на Пушкинском празднике.

«...Мы слышали, например, из вполне достоверного источника, — писал «Вестник Европы», — что два месяца назад избра-

ние Московским университетом одного из его новых почётных членов было делом весьма проблематическим — казалось возможным не получить утверждение выбора (Д.А. Толстой скорее всего не утвердил бы. — *И. В.*); но обстоятельства быстро переменялись — и новый министр народного просвещения самым торжественным образом приветствовал избрание Тургенева»⁵⁴.

Что же произошло в университетском зале днём 6 июня?

Когда крупная фигура Тургенева поднялась со своего места, раздался вопль восторга. Новый министр, повествует «Неделя», «с приветливой улыбкой на симпатичном, ещё совсем молодом лице (Сабурову — сорок два года. — *И. В.*)... делает несколько шагов к Тургеневу, который и со своей стороны старается пробраться к нему сквозь стулья. Вот они подошли друг к другу, министр протягивает Тургеневу руку — и публично, перед всей этой возбуждённой толпой, целует его три раза»⁵⁵. (Здесь, правда, закрадывается одно подозрение: не был ли этот поцелуй *вынужденным*, причём не только в общественном, но и в прямом, физическом смысле? Не сам ли Иван Сергеевич, по своему обыкновению, подставил щёку неопытному представителю власти?)

Министерский поцелуй означал нечто большее, нежели оценку художественных заслуг Тургенева. Он как бы символизировал официальное признание тех интересов, за которые либеральное общество ратовало последние четверть века. Он мог означать, что отныне власть намерена опереться на либеральные круги, ибо правительственное лобзание адресовалось человеку, «которого, — с укором писала «Неделя», — иные выставляли прежде каким-то вождём антиправительственной интеллигентской оппозиции»⁵⁶.

Как же повёл себя в подобной ситуации редактор «Московских ведомостей»?

Incident Katkoff

«Катков, — напишет в одной ныне забытой статье В.В. Розанов, — создал государственную печать в России и был руководителем газеты, которая, стоя и держась совершенно независимо от правительства, говорила от лица русского правительства в его идеале, в его умопостигаемом представлении».

Розанов полагает, что именно Катков в большей степени, чем сама власть, защищал национальные интересы России. Ибо власть «была

в сущности «расхищена»: и каждый ковал своё личное благополучие, ковал торопливо и спешно, из того кусочка «власти», который временно попал в его обладание». Редактор «Московских ведомостей» как бы осуществлял московскую цензуру над всей петербургской администрацией — во имя своего главного дела: «Дело это — единство и величие России». Розанову, писавшему о мистической роли государства, была близка такая позиция. Он говорит, что только в Москве, вдали от мелочной и своекорыстной петербургской бюрократии, которая в общем боялась Каткова, «вблизи Кремля и московских соборов, — могла отлиться эта монументальная фигура, цельная, единая, ни разу не пошатнувшаяся, никогда не задрожавшая»⁵⁷.

Розанов не вполне прав: можно указать на одно исключение.

В эти июньские дни Катков испытывает небывалую растерянность. Это потом, через год-два, он настолько осмелеет, что, оказываясь порой бóльшим католиком, чем папа, будет «громить» правительство справа и менять неугодных ему министров. Сейчас же, летом 1880 года, реальная власть (вернее, влияние на реальную власть) ускользает из его рук. Не в силах предугадать истинные намерения правительства, он делается расчётливее и осторожнее, он предпочитает тактику выжидания.

Между тем его противникам мнится, что он готов дать решительный бой.

«Драка», которой так опасался Достоевский, грозила вспыхнуть в тот же день, 6 июня, на обеде, который Московская городская дума давала гостям.

Утром этого дня Тургенев посылает М.М. Ковалевскому следующую записку: «Любезнейший Максим Михайлович, вчера было решено соборне, чтоб нам всем идти непременно — иначе может показаться, что мы трусим, — но если Катков что-нибудь себе позволит, мы все встанем и удалимся»⁵⁸.

Это уже настоящая война — с рекогносцировкой, выработкой общей тактики и т. д. То, что предлагается, тоже большое новшество для отечественных застолий: так фракция — в знак протеста — покидает парламентскую (здесь: обеденную) залу.

Позднее Е.А. Штакеншнейдер со слов В.П. Гаевского сообщит Достоевскому дополнительные подробности об этих предобеденных манёврах: «...Тургенев ни за что не хотел идти на обед, чтобы не встретиться с Катковым, и пошёл только когда его друзья ему обещали, что при первой неприятности, которую ему сделает Катков, они все вместе с ним выйдут из залы»⁵⁹.

Думский обед запомнился надолго.

П. Гайдебуров, накануне пытавшийся успокоить Достоевского, сам пребывал сегодня в величайшем волнении: «...несмотря на страшную жару, я вздрагивал от холода. Ведь слова, одного слова, одного неподходящего звука достаточно, чтобы испортить это настроение, а затем погубить и весь праздник... Неужели такой звук раздастся!»⁶⁰

Сабуров, как ему и полагалось, провозгласил первый тост за здоровье государя («радушно, но не восторженно»⁶¹, — спешит отметить тонко чувствующий агент III Отделения).

После Ивана Аксакова должен был говорить Катков. Корреспондент «Недели» описывает это событие в эпических тонах.

«Наконец он встает. Это человек среднего роста, с совершенно белой головой, выразительным лицом и очень умными глазами. Я думаю, подсудимый смотрит на старшину присяжных, начинающего читать приговор, не с большим волнением, чем я смотрел в этот момент на г. Каткова. И вот он заговорил...»⁶²

Катков-оратор оказался гораздо слабее Каткова-публициста. Он говорил «глухим голосом и смущенно»⁶³, так что в отдаленных концах залы его совсем не было слышно. Те, кто хорошо знал приёмы «московского громовержца», не верили собственным ушам. «И вместо всего того, что от него ожидалось, я увидел в руках его протянутую маслянистую ветвь...»⁶⁴ — изумляется Гайдебуров.

Что же сказал Катков?

Тихо и невнятно он выразил надежду на то, что его «искреннее слово будет принято дружелюбно всеми без исключения». Он говорил о том, что, может быть, «это минутное сближение послужит залогом более прочного сближения в будущем и поведёт к замирению, по крайней мере, к смятению вражды между враждующими». Он закончил Пушкиным: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!»⁶⁵

Тургенев и его единомышленники могли спокойно доедать свой обед.

Дальновидный редактор «Московских ведомостей» предпочёл открытой, как бы сейчас сказали, конфронтации демонстративную лояльность и даже лёгкое заигрывание со своими политическими противниками. Не надеясь более на явно «размякшую» власть, он страшится остаться в одиночестве и озирается, ища союзников: никогда ещё они не были так ему нужны!

Ему нужна передышка.

глава XIII

ГОСПОДИН ИЗДАТЕЛЬ

Возвращение билета

2 июня редакция «Московских ведомостей» получила письмо за подписью С. Юрьева: «Комиссия Общества Любителей Российской Словесности удержала одно место для депутата от «Русского вестника». По ошибке послано мною приглашение и в редакцию «Московских ведомостей», приглашение, не согласное с словесным решением комиссии».

Это была первая пощёчина Каткову на Пушкинском празднике. Его газету отделяли от его же журнала, давая тем самым понять, что если он ещё терпим в качестве журнального редактора, то совершенно неприемлем в качестве политического публициста.

В момент получения этого письма Достоевский находился у Каткова.

«Форма письма самая сухая и грубая, — сообщает он Анне Григорьевне. — Меня уверял Григорович, что Юрьева заставили это подписать, главное Ковалевский, но, конечно, и Тургенев. Катков был, видимо, раздражён. «Я бы и без них не поехал», — сказал он мне, показав письмо. Хочет всё напечатать в “Ведомостях”»¹.

Катков так и сделал: 3 июня письмо, названное редакцией «предостережением», было напечатано в газете. Редакционный комментарий был краток: «Нам остаётся присовокупить, что редакция «Русского вестника» возвратила свой билет за ненадобностью»².

Иван Карамазов «возвращал билет» Богу; Катков — Обществу любителей. Читатель мог усмехнуться...

Как бы то ни было, война была объявлена.

Из невской столицы незамедлительно подал голос Цитович, петербургский союзник Каткова. Его газета «Берег», весьма склонная к полемике типа «сам дурак», заявила по поводу «отлучительного решения» комиссии, что сама эта комиссия «не выдерживает сравнения с одним г. Катковым», ибо последний «в свою жизнь написал с несомненными признаками литературного таланта больше, чем комиссия прочитала... Право, — продолжал «Берег», — нужна развязность, скажем откровенно, нахальство, чтобы хлопать дверью Общества любителей русской словесности пред этим стариком, послужившим на своём веку родине...»³

Катков был ровесником Тургенева: им обоим — по шестьдесят два года.

Неожиданный демарш комиссии пришёлся не по душе и Достоевскому. Прежде всего потому, что подобный остракизм означал, что инициатива находится в руках «тургеневской» партии. Во-вторых, его покорила этическая сторона происшествия.

«Это уж, разумеется, просто свинство, — пишет он Анне Григорьевне, — да и главное, что права они не имели так поступать. Мерзость, и если б только я не ввязался так в эти празднества, то, может быть, прервал бы с ними сношения. Резко выскажу всё это Юрьеву»⁴.

Он ещё потому так болезненно воспринимает историю с письмом, что она могла напомнить ему «интриги» вокруг его собственного приглашения на праздник. Он считает поведение организаторов неэтичным. И как бы вменяет себе в обязанность сохранять лояльность к Каткову в трудный для последнего час.

«Катков, — пишет он Анне Григорьевне, — рискнул сказать длинную речь и произвёл-таки эффект, по крайней мере в части публики»⁵.

Но гораздо больший эффект произвёл поступок Тургенева (сидевшего напротив): он отказался чокнуться с оратором и даже прикрыл свой бокал ладонью, оставив Каткова, по выражению одного журналиста, «в положении несколько неловком»⁶.

Жест сделался историческим.

«Г. Катков, — писал «Голос», — публично, на обеде, в присутствии всех, у всех же просил прощения, молил о забвении, протянул руку — и никто не пожал этой руки!» Далее следовала знаменитая фраза: «Да, тяжёлое впечатление производит человек, переживающий свою казнь и думающий затрапезною речью искупить предательства двадцати лет!»⁷

Именно в таком виде «incident Katkoff», как его окрестили газеты, вошёл в литературу. В действительности дело обстояло несколько иначе.

«Эти слова, — пишет о корреспонденции «Голоса» К. Станюкович, — были бы, пожалуй, совершенно справедливы, если бы в самом деле случилось нечто похожее на «казнь», но в действительности никакой «казни» московский публицист не пережил; напротив, к нему подходили многие, поздравляли его и жали ему руки...» И далее обозреватель «Дела» наносит либеральному «Голосу» очень чувствительный удар. «А вы, хулители его (то есть Каткова. — *И. В.*), — говорит он, — разве в последние годы вы не печатали таких статей, от которых даже ваши сотрудники краснели и от которых не отказался бы Катков? Не вы ли после известных событий напечатали статью, в которой советовали обнажить государственный меч и действовать им беспощадно?»⁸

Аналогия была убийственной: «после известных событий» газета Краевского действительно говорила почти в унисон с «Московскими ведомостями». Но как только «государственный меч» был временно вложен в ножны, «Голос» осмелел.

Семидесятилетний издатель «Голоса» А.А. Краевский, присутствуя на празднике, не произнёс ни единого слова (за что и был прозван «каменным гостем» пушкинских торжеств). Однако он постарался извлечь максимальную выгоду из публичного унижения своего противника и — что ещё важнее — газетного конкурента.

Достоевский назвал речь Каткова «рискованной»; она действительно была таковой. Оратор присутствовал на обеде не как гость отказавшего ему Общества любителей российской словесности, а в качестве гласного городской думы и выступал вместе с И. Аксаковым по её поручению. «...Тусклый, холодный взгляд оратора, — пишет Г. Успенский, — запинаящаяся речь, всё это... посеяло в слушателях полнейшее безучастие к вялым воззваниям о примирении...»⁹

Нельзя сказать, чтобы современники не разгадали этого тактического хода. «Думаю, — писал Н.К. Михайловский, — не нужно доказывать, что, например, голубиное воркование г. Каткова, столь противоречащее всей его деятельности, было настоящей комедией... О да! да здравствует солнце, да скроется тьма! Я боюсь только, что при этом придётся скрыться и г. Каткову. Мне кажется даже, что он и сам этого боится, а потому и сказал примирительную речь»¹⁰. Об этом же говорит и приятель Достоевского Орест Миллер: «Вместо замаскировывающего обращения к слову «недо-разумение» нужно было прямое сознание в своём заблуждении. Самолюбие не позволило это г. Каткову, и Ф.М. Достоевскому следовало бы шепнуть и ему, как пушкинскому Алеко: смирись, гордый человек! Вместо этого, к сожалению, мы встретили речь Достоевского на столбцах “Московских ведомостей”»¹¹.

И всё же следует признать, что застольный маневр Каткова частично удался. Иван Сергеевич Аксаков, например, поверил в его искренность: «Чувствовалось qu'il plaide sa propre cause (что он имел в виду самого себя), — и мне было больно это слышать»¹².

«Некоторые лица, — писал журнал «Слово», — как слышно, поддались сладкому пению этой *змеи-предательницы* и протянули ему руку примирения»¹³. Имеются в виду, конечно, не единомышленники Каткова, а люди, явно ему не сочувствующие. Так, П. Гайдебуров сам засвидетельствовал, что он, «приблизившись к г. Каткову сзади, назвал его по имени и сказал следующее: “Я такой-то. Еще недавно мы с вами полемизировали. Но во имя вашей умной и исполненной такта речи позвольте пожать вам руку и выпить за ваше здоровье... Противники и враги на журнальном поприще сошлись в одном чувстве”». «Тогда же... — продолжает «Неделя», — оратора обнял И.С. Аксаков, тоже немало расходящийся с ним в воззрениях»¹⁴.

«Я подошёл к Каткову, — подтверждает это свидетельство И. Аксаков, — и обнялся с ним; то же сделали Достоевский, Майков. Ещё человек десять подошло...»¹⁵

Москва славилась *примирительными* обедами: некоторые из них вошли в отечественные анналы. Ещё в 1844 году московские западники и славянофилы устроили совместную трапезу в честь Грановского. Пир удался на славу: в конце его, после обильных возлияний, вчерашние противники горячо обнялись и облобызались. «Для меня эти лобызания в пьяном виде — противны и гадки...»¹⁶ — говорил по этому поводу Белинский. «Да,

московский человек — превосходный человек, но кроме этого он, кажется, ничем более не сделается»¹⁷.

В 1880 году Тургенев поступил как истинный европеец; впрочем, раздались голоса, отрицающие гражданственный смысл его поступка.

«Придавать... общественное значение личной размолвке знаменитого романиста с московским публицистом было нелепо»¹⁸, — замечает «Дело». И. Аксаков пишет жене, что сам Тургенев объяснил свой поступок тем, что «он оскорблён Катковым лично и что между ними не одна литературная вражда»¹⁹.

Но самые любопытные сведения находим мы в воспоминаниях М. Ковалевского. «Катков, — пишет мемуарист, — позволил себе протянуть бокал в его (Тургенева. — *И. В.*) направлении, но при всём своём добродушии Иван Сергеевич уклонился от этой дерзкой попытки возобновить старые отношения. “Ведь есть вещи, которых нельзя забыть, — доказывал он в тот же вечер Достоевскому, — как же я могу протянуть руку человеку, которого я считаю ренегатом?..”»²⁰

Таким образом, выясняется, что Тургенев счёл необходимым «доказывать» свой демарш постоянному сотруднику «Русского вестника».

Возвратясь в Старую Руссу, Достоевский получает уже приво-дившееся выше письмо Е.А. Штакеншнейдер. Елена Андреевна пишет, что если бы версия «Голоса» была справедлива, то это бросало бы «невыгодный свет... на Вас всех присутствующих, а так как в числе присутствующих были Вы, Майков, Полонский, то значит всё ложь»²¹.

В этом был свой резон: получалось, что Достоевский убоился неудовольствия либералов и не посмел отозваться на миротворческий призыв.

В ответном письме он подробно излагает истинный ход событий. «Тургенев же, — пишет он, — *совсем* не мог бояться оскорблений от Каткова и делать вид, что боится, а напротив, Катков мог опасаться какой-нибудь гадости себе. У Тургенева же была подготовлена (Ковалевским и Университетом) такая колоссальная партия, что ему нечего было опасаться. Оскорбил же Тургенев Каткова первый. После того как Катков произнёс речь и когда такие люди как Ив. Аксаков подошли к нему чокаться (даже враги его чокались), Катков протянул с а м свой бокал Тургеневу, чтобы чокнуться с ним, а Тургенев отвёл свою руку и не чокнулся. Так рассказывал мне *сам Тургенев*»²².

Из этого следует, что Достоевский не наблюдал эту замечательную сцену непосредственно: он воспроизводит её со слов Тургенева.

«Я так был возмущён (заметкой в «Голосе». — *И. В.*)... — пишет *И. Аксаков*, — что подбил было Достоевского и ещё некоторых послать по телеграфу опровержение...»²³

Опровержение послано не было: может быть, потому, что Достоевскому, как автору «Русского вестника», этот шаг представлялся не совсем удобным, может быть, по каким иным причинам.

Его собственные отношения с Катковым не столь уж просты. Катков — не только политик и идеолог, не только наиболее серьёзная литературная сила консервативной партии. Катков ещё и издатель «Русского вестника». И это для Достоевского главное.

В 1878 году (то есть после прекращения «Дневника писателя») журнал Каткова становится для него (автора) основным источником существования. Гонорар, выплачиваемый «Русским вестником» за «Братьев Карамазовых», составляет основную и едва ли не единственную статью семейного бюджета (суммы, выручаемые от продажи собственных изданий, относительно невелики). Он постоянно зависит от Каткова — в самом прямом экономическом смысле.

В их личных отношениях всегда ощутим оттенок неравенства.

Что непозволительно херувимам

20 июня 1878 года Достоевский сидел в кабинете издателя «Русского вестника». Разговор предстоял деликатный: о публикации в журнале ещё не написанных «Братьев Карамазовых». Автор намеревался просить о повышении своего гонорара на 50 рублей за печатный лист*.

* Ещё в 1877 году Достоевский писал жене: «Мне 250 р. не могли сразу решиться дать, а Л. Толстому 500 заплатили с готовностью! (за «Анну Каренину». — *И. В.*) Нет, уж слишком меня низко ценят, а оттого что работой живу»²⁴. Очевидно, этот вопрос поднимался Достоевским и раньше. В неопубликованном письме к нему (от 4 мая 1874 года) Н.А. Любимов, говоря о своём и Каткова желании, чтобы Достоевский сохранил связь с «Русским вестником» и на будущее время, как было до сих пор, обещает разрешить

«Стали говорить об общих делах, и вдруг поднялась страшная гроза. Думаю: заговорить о моём деле — он откажет, а гроза не пройдёт, придётся сидеть отказанному и оплётанному, пока пройдёт ливень»²⁶.

Так, пожалуй, могли бы рассуждать и некоторые из его героев, «вычисляющих» своё поведение на несколько ходов вперёд. Отличительная черта этой ситуации — состояние зависимости, страдательности и напряжённости.

Диалог с издателем всегда грозил унижением.

В 1877 году у Толстого возникли трудности с «Русским вестником» — по поводу «Анны Карениной». Толстой пишет Страхову, что Катков, «мямля, учтиво прося смягчить то, выпустить это, ужасно мне надоел, и я уже заявил им, что если они не напечатают в таком виде, как я хочу, то вовсе не напечатаю у них, и так и сделаю»²⁷.

Толстой горд, независим, пренебрежителен.

С Достоевским Катков и его помощник по редакции — Николай Алексеевич Любимов — обходились без церемоний. Они вовсе не «мямлили», а твёрдо и бесповоротно решали, какие именно страницы «Преступления и наказания» или «Бесов» противны общественной нравственности и посему не могут увидеть свет. «Поберегите бедное произведение моё, добрый Николай Алексеевич», — тщетно взывает Достоевский. Приходилось уступать требованиям высокоморальной редакции, править, переделять, *объяснять* — словно речь шла об исправлении гимназического сочинения. «Зло и доброе в высшей степени разделено, и смешать их и истолковать превратно уже никак нельзя будет»²⁸, — успокаивает автор «Преступления и наказания» своих издателей, сообщая им о капитальной перedelке одной из ключевых сцен романа (чтение Евангелия Раскольниковым и Соней) и исполняя условие, вряд ли совместимое с его художественным методом, предполагающим, что «злое и доброе» отнюдь не «разделено», а, наоборот, смешано самым непостижимым образом.

денежный вопрос удовлетворительным для автора образом: «Если бы было возможно, сохранив номинальный гонорарий, <...> прибавить Вам круглую сумму столько, чтобы общее получение соответствовало Вашему желанию, то дело уладилось бы <...> Необходимо только это прибавление сохранить в тайне между нами». Боясь, чтобы подобная прибавка «не обратилась бы в общее правило»²⁵, Любимов, по сути дела, предлагает Достоевскому негласную сделку, довольно для того унижительную.

И, словно в школьном сочинении, на полях корректур «Братьев Карамазовых» помощник Каткова делает пометки и ставит вопросительные знаки. Это не красные чернила официальной правительственной цензуры, это цензура, так сказать, отеческая, домашняя, но, может быть, именно потому — вдвойне оскорбительная.

«...Как я боялся, то и случилось: ко мне придираются», — жалуется Достоевский. Жалуется, правда, не очень громко, памятуя, что «до сих пор кое-как их уламывал...»²⁹

«Уламывал» — именно это слово подходит здесь более всего. Мобилизуя свои эпистолярно-дипломатические способности, пытается он уверить редакцию «Русского вестника», что сам автор вовсе не сомневается в чудодейственности святых мощей и что словечко «провонял» принадлежит вовсе не ему, автору, а его герою; что выражение «истерические взвизги херувимов» есть, так сказать, прискорбная художественная необходимость. «Умоляю пропустите так: это ведь *Чёрт* говорит, он не может говорить иначе». И вовсе не уверенный в успехе, предлагает запасной вариант: «Если же никак нельзя, то вместо *истерические взвизги* — поставьте: *радостные крики*. Но нельзя ли *взвизги*? А то будет очень уж прозаично и не в тон»³⁰.

Всё это он объясняет «заместителю» Каткова: самому Каткову, всегда находившему время на переписку с Победоносцевым и министром просвещения Д.А. Толстым, недосуг вести переговоры со своим автором. «Я... с Катковым и не переписываюсь вовсе, ибо действительно боюсь, что письмо моё так и забудется у него на столе»³¹.

Но значит ли это, что Катков, в своё время настоявший на изменениях в «Преступлении и наказании» и на исключении из «Бесов» одной из важнейших глав (она была обнародована лишь в 1922 году), что он уже не осмеливается влиять на творческую волю автора «Карамазовых»?

Конечно, времена изменились — и теперь издателю «Русского вестника» не так просто пойти на открытый конфликт со своим сотрудником. И все же он изыскивает способы довести до его сведения своё редакторское неудовольствие.

В неопубликованном письме Достоевскому В.Ф. Пуцыковича от 9 марта 1879 года говорится: «При свидании с Катковым зашёл разговор о «Братьях Карамазовых». Он мне сказал, что даже просит меня *передать Вам* наш разговор о некоторых главах романа

(во 2-й книжке), но я, право, боюсь теперь это передавать, так как, передавая вкратце, могу сказать неясно или не то, что нужно. Я лучше подожду личного с Вами свидания. Да к тому же он сказал, что писал Любимову, прося его это же передать Вам»³².

Мягкое (на сей раз) воздействие осуществляется по двум каналам — через Любимова и через Пуцыковича: последний спустя несколько дней сообщает наконец Достоевскому суть редакторских претензий.

«Замечание же Каткова, — пишет Пуцыкович, — относится исключительно до «крайнего реализма» двух-трёх глав. Он совсем не отрицает художественного значения и *этих* глав, но говорит только, что напрасно им дано такое развитие, что он должен был ради их прятать от своих дочерей всю вторую часть»³³.

Катков верен себе: «Русский вестник» — журнал для семейного чтения, и он — его редактор — склонен скорее пропустить более чем сомнительный разговор братьев в трактире, Легенду о великом инквизиторе и прочие *мировые отвлечённости*, нежели «крайний реализм» при изображении «сладострастных». Он печётся об общей нравственности и — применительно к случаю — о нравственности своих незамужних дочерей.

Достоевский хорошо изучил эстетические вкусы своего патрона. Недаром, отправляя очередную «порцию» романа, он пишет Любимову: «В посланном тексте, кажется, нет ни единого *неприличного* слова». И слёзно просит сохранить то место, где рассказывается, как ребёнка пяти лет воспитатели обмывали его же калом (факт, почерпнутый из текущей судебной хроники). «Нельзя смягчать, Николай Алексеевич, это было бы слишком, слишком грустно! Не для 10-летних же детей мы пишем»³⁴.

* Ср. у А.С. Пушкина: «...гг. критики нашли странный способ судить о степени нравственности какого-нибудь стихотворения. У одного из них есть 15-летняя племянница, у другого — 15-летняя знакомая, и всё, что по благоусмотрению родителей не дозволяется им читать, провозглашено неприличным, безнравственным, похабным! Как будто литература и существует только для 16-летних девушек!.. Безнравственное сочинение есть то, коего целью и действием бывает потрясение правил, на коих основано общественное счастье или достоинство человеческое»³⁵.

Фраза о десятилетних детях, может быть, не так невинна, как кажется. Уж не содержится ли в ней косвенный ответ на недавний упрек Каткова (чьи дочери, правда, не столь юны), намёк на его ханжеские ламентации?*

Толстой не умолял, а требовал. Достоевский не мог позволить себе такого тона. Правда, был предел, дальше которого он не шёл ни при каких обстоятельствах. Соглашаясь на уступки и переделки (иногда довольно значительные), он никогда не отказывается от своей «заветной идеи».

Этот предел определяет меру его внутренней свободы: здесь он не менее свободен, чем Лев Толстой.

Но именно потому, что эта духовная свобода достаётся ему столь дорогой ценой, он так преувеличенно внимателен ко всем внешним деталям своих отношений с сильными мира сего, к тону и взгляду. Он — им не ровня, отсюда особая реакция даже на проявление элементарной светской вежливости. Он, как уже говорилось, усматривает высокую политику в поступке Каткова, вышедшего проводить его в переднюю. И тот же Катков оказывается «в высшей степени порядочным человеком»³⁶, поскольку, разговаривая с московским генерал-губернатором князем Долгоруковым, он занят не только своим сановным собеседником, но и «поминутно» обращается к присутствующему тут же Достоевскому.

С другой стороны, когда Любимов замедлит однажды с исполнением пустяковой просьбы, эта небрежность вызывает у Достоевского мгновенное подозрение: «Мне всё кажется, что они делают так умышленно, *чтоб я не забывался*»³⁷.

То, что для Толстого было само собой разумеющимся (попробовал бы Катков не проводить автора «Войны и мира»!), воспринимается Достоевским как его особая писательская заслуга, — и по этим мелким и мельчайшим приметам он пытается определить свой общественный вес и своё литературное положение.

Вероятно, он разделил бы позднейшее мнение В. Розанова, что в кабинете Каткова «задумывались реформы России, ограничивались другие реформы; задумывались “ну” и “тпру” России»³⁸.

* Это тем вероятнее, что указанное письмо Любимову написано 10 мая 1879 года, то есть менее чем через два месяца после получения письма Пуцыковича с упоминанием о «дочерях».

Достоевский — давний автор «Русского вестника». Подразумевалось, что он безоговорочно должен разделять общее направление катковских изданий. Считалось, что они с Катковым — не только сотрудники, но и единомышленники.

Но, как выясняется, так полагали далеко не все.

К тургеневскому обеду: пропущенный эпизод

Московский думский обед, запомнившийся благодаря *отвергающему* жесту автора «Отцов и детей», состоялся через год и три месяца после нашумевшего тургеневского обеда.

Ряд странных и знаменательных совпадений сближают два этих памятных застолья.

Оба события совершились по литературному поводу и носили подчёркнуто общественный характер. И там, и здесь провозглашались тосты, таящие скрытый политический смысл. И там, и здесь присутствовала «вся литература» и отсутствовали из её числа одни и те же знаменитости: Л. Толстой, Гончаров, Салтыков-Щедрин. Наконец, и московская, и петербургская трапезы были отмечены скандалом.

Петербургский обед 13 марта 1879 года и московский 6 июня 1880 года — *зеркальны* по отношению друг к другу. И как во всяком зеркале, стороны здесь меняются местами.

13 марта Тургенев подвергся атаке «справа» (во всяком случае, так показалось присутствующим); 6 июня он сам нанёс удар, оттолкнув протянутую «с той стороны» руку.

13 марта Тургенев пал жертвой застольного инцидента; 6 июня он стал его виновником. 13 марта Тургенева, изъяснявшегося весьма туманно, в упор спросили: «Скажите же теперь, какой ваш идеал?» (Вопрос, как помним, носил чисто риторический характер.) 6 июня сам Тургенев — *отвержением бокала* — фактически спросил Каткова о том же (прекрасно зная, что тот не сможет дать вразумительного ответа).

Для поддержания полной исторической симметрии следует напомнить, что оба главных оратора (Тургенев — тогда и Катков — сейчас) завершили свои застольные речи пушкинскими стихами (правда, разными).

Из этой на редкость стройной картины выпадает только один персонаж: Достоевский.

Дело даже не в том, что 13 марта он был активным участником инцидента, а 6 июня — сторонним наблюдателем. «Несимметричность» Достоевского вызвана особым его положением относительно других участников событий. И прежде всего — относительно Каткова.

Один из участников тургеневского обеда, Л.Е. Оболенский, почему-то ни словом не обмолвился о тогдашней выходке Достоевского, зато зафиксировал другой, не менее значительный эпизод.

«...Два молодых и горячих сотрудника «Недели» (Юзов и Червинский) стали упрекать Достоевского за то, что он печатает свои романы в «Русском вестнике» и этим содействует распространению журнала, направление которого, конечно, не может разделять. Достоевский стал горячо оправдываться тем, что ему нужно жить и кормить семью, а между тем журналы с более симпатичным направлением отказались его печатать. Он сослался на Н.П. Вагнера, который подтвердил, что ездил с предложением Достоевского в один из лучших журналов, но там категорически отказались даже вести переговоры по этому вопросу»³⁹.

Свидетельство Л. Оболенского имеет чрезвычайную ценность.

С Достоевским беседуют сотрудники народнической «Недели», которая в 1879 году была едва ли не самой «левой» из русских легальных газет. Этот еженедельник с семитысячным тиражом — постоянный антагонист катковских изданий. Сотрудники «Недели», беседовавшие с Достоевским, — Юзов (И.И. Каблиц) и Червинский (известный как П.Ч.), — оба связаны с подпольной «Землёй и волей».

У обоих литераторов нет ни малейших сомнений относительно истинных симпатий Достоевского, который, «конечно», не может сочувствовать Каткову.

Самое выразительное здесь — это «конечно».

Не менее выразительно то, что, выслушав двух «молодых и горячих» журналистов, Достоевский отвечает им столь же «горячо».

Нет, он не возмущён обвинением, как, казалось бы, можно было ожидать. Он — оправдывается. Он приводит аргументы самые прозаические, но зато — и самые неотразимые: работа в «Русском вестнике» — его хлеб.

Слова эти были услышаны не только Л. Оболенским.

По-видимому, совсем неподалёку находился и Аполлон Майков

(не его ли это голос среди выкриков, ободрявших Тургенева, — «Не говорите! знаем!» — одиноко прозвучал в пользу вопрошавшего: «Нет, вы не знаете!»?). Поэт был потрясён: двух таких сцен оказалось для него слишком.

В тот же вечер, вернувшись домой, Майков садится за письмо.

«Любезнейший Фёдор Михайлович! Вернулся я с тургеневского обеда измятый, встревоженный, несчастный, одинокий. Фальшь и ложь, анфаз и глупость, одна и та же тема, словом весь сумасшедший дом петербургской печати со Спасовичем во главе... Заключительные слова Тургенева поразили и испугали меня: он говорил громко как авторитет... такое нечто, что по-моему есть начало конца*. Но это всё ничего. Удар, от которого у меня забилося сердце, нанесён был в святую святых души моей, поколебал веру в человека, — хуже, веру в трёх праведников...»

Этот удар нанёс не кто иной, как его ближайший друг и единомышленник. И Майков, зная, что он рискует «порвать связи» с виновником своего потрясения, решается все же высказаться до конца.

«Вас, — продолжает Майков, — спрашивает кто-то из молодого поколения: «Зачем только Вы печтаетесь в «Русском вестнике»? Вы отвечаете: во—1, потому, что там денег больше и вернее и впредь дают, во—2, цензура легче, почти нет её, в—3, в Петербурге от Вас и не взяли бы. Я всё ждал 4-го пункта и порывался навести Вас — но Вы уклонились».

Выясняется, таким образом, что в разговоре участвовал и сам Аполлон Николаевич: он хотел «навести», но, увы, не преуспел в этом.

«Я ждал, Вы, как независимый, должны были сказать, по сочувствию с Катковым и по уважению к нему, даже по единомыслию во многих из главных пунктов, хотя бы о тех, о коих шла речь здесь на обеде, — Вы уклонились, не сказали».

Майков подмечает очень любопытную вещь: Достоевский, вопрошавший Тургенева об идеале (из чего большинство присутствовавших сделало немедленный вывод о ретроградстве вопрошателя), в приватном и, очевидно, искреннем разговоре отнюдь не спешит настаивать на своей духовной близости

* Не свидетельствует ли это в пользу высказанного выше предположения, что устный вариант тургеневской речи был несколько радикальнее печатного?

с идейным антагонистом Тургенева — редактором «Московских ведомостей».

«Как? — восклицает Майков. — Из-за денег Вы печтаетесь у Каткова? Ведь это не серьёзно, это не так. Что же это такое? Отречение? Как Пётр отрекся? Ради чего? Ради страха иудейского? Ради популярности? Разве это передо мною пример, как Вы приобретаете доверие молодёжи? Скрывая перед ней главное, подделываясь к ней?»

Майков так и не отослал своего негодующего послания. Возможно, он предпочёл объясниться с Достоевским лично. Во всяком случае, их отношения в дальнейшем не изменились.

А может быть, Майков, по здравом размышлении, решил, что у Достоевского всё-таки имелись свои резоны? «Или, — вопрошает поэт, — тут есть какие-нибудь тонкости общежития, которые я не понимаю?»⁴⁰ Ведь кто-кто, а он, Майков, прекрасно знал, что его старый приятель никогда, ни при каких обстоятельствах не «интересничал» с молодым поколением, напротив — нередко вступал с ним в нелицеприятный спор. Да ведь и случившийся на его глазах инцидент с Тургеневым свидетельствовал именно об этом.

Достоевский, «срезав» Тургенева, не побоялся навлечь на себя гнев своих либеральных недругов. Но не устрасило его и негодование друзей: вряд ли он не понимал усиленных намёков «наводящего» Майкова.

Повторяем: он лоялен к Каткову, лоялен к нему как к человеку и редактору. Ему близок *нафос* его передовых статей (Катков — публицист далеко не бесталанный, что выгодно контрастирует с общей безликостью охранительной прессы). «Всё опиралось на «золотое перо» Каткова, — говорит В. Розанов. — Нельзя сказать, чтобы Катков был гениален, но перо его было истинно гениально. «Перо» Каткова было больше Каткова и умнее Каткова... Если бы в уровень с ним стоял ум его — он был бы великий человек. Но этого не было. Ум, зоркость, дальновидность Каткова — были гораздо слабее его слова. Он говорил громами довольно обыкновенные мысли. Слова его хватало до Лондона, Берлина, Парижа, Нью-Йорка; мысли его хватало на Московский уезд... Катков был человек «назад», а не «вперед»»⁴¹.

Разделял ли Достоевский государственную программу Каткова? Тут действительно были «тонкости общежития».

Упомянув в своих письмах Каткова, он ведёт речь исключительно об их взаимных отношениях. И почти не касается политики.

В других случаях он более откровенен.

«Тонкости общежития»

7 ноября 1878 года он пишет жене из Москвы: «Нервы расстроены. Ещё больше расстроил, прочитав давеча в вагоне брошюру Цитовича. Дело его правое, но такого дурака я ещё и не видывал. Вот не посылай дурака защищать правое дело. Измарал! Теперь на эту тему и писать более нельзя»⁴².

Речь идёт о сочинении профессора Новороссийского (Одесского) университета П.П. Цитовича, восходящей звезды консервативного лагеря. Вскоре он прославится своими скандальными «антинигилистическими» брошюрами «Что делали в романе “Что делать?”», «Разрушение эстетики» и др.

«Дело его правое», — пишет Достоевский. Он сочувствует благим намерениям. Но Цитович «измарал» идею, скомпрометировал её. Не следует ли отсюда, что и сами представления о «правом деле» у них весьма различны?

Через два года он вновь вспоминает о Цитовиче. «У нас здесь говорят, что Цитович будет издавать (скоро) политическую газету... Это бы хорошо, если сумеет взяться за дело. Но издавать брошюры одно дело, а газету — другое. А хорошо, кабы был успех»⁴³.

Достоевский оказался прав: газета «Берег» — бледное подобие «Московских ведомостей» — не просуществовала и года. Правда, в этом письме Цитович дураком не назван: письмо адресовано его единомышленнику — Пуцыковичу. Автор письма «наблюдает тактику».

В том же послании он останавливается на одной статье из «Варшавского дневника», «в которой редакция стоит за истязание детей». «Варшавский дневник» — газета консервативная, воинствующая; тем не менее Достоевский не щадит «своих».

«Осмеивают, — пишет он, — идею об обществе покровительства детям. Стоять за детей истязуемых — значит по-ихнему разрушать семейство... где отцы мажут 4-летнюю девочку говном,

кормят её говном и запирают в морозную ночь в нужник (именно на эти факты он и указывал в своё время Любимову. — *И. В.*) — то семейство разве святыня, разве уж оно не разрушено? Какая неловкость с их стороны! От них сейчас отвернутся читающие после этого. А жаль, князь Голицын, кажется, человек порядочный и хочет добра. Кто же это у него пишет?»⁴⁴

Редактор «Варшавского дневника» князь Н.Н. Голицын написал в своё время негодующее письмо автору «Дневника писателя»: он обрушивался на него за сочувствие русской женщине и за горячие строки по поводу кончины Некрасова⁴⁵.

«У него» пишет ещё один его оппонент — Константин Леонтьев: вскоре он восстанет на Пушкинскую речь.

Лагерь, признанным лидером которого был Катков, не вызывает у Достоевского особых восторгов. Да и сам Катков — вовсе не его идеал.

«Замечательно, — говорит В. Розанов, — что в Каткове, как и в друзьях его, не было индивидуальности. Катков — фигура, а не лицо. В нём не было чего-то «характерного» — «изюминки» по выражению Толстого, — той «изюминки», которую мы все любим и ради которой всё прощаем человеку. Ему повиновались, но «со скрежетом зубов». Его никто не любил»⁴⁶.

Особой любви к Каткову не заметно и у Достоевского. Скорее он чувствует себя *должником*: и в буквальном смысле, ибо Катков неизменно, в самые критические моменты, даёт деньги вперёд; и в моральном — ибо он признателен издателю «Русского вестника» за подобное к себе отношение. Что касается политики, тут дело обстоит немного сложнее.

Ещё в 1876 году он записывает: «Банкротство консервативной партии, бойцы были Катков и Леонтьев* — устарели... Славянофилы в Москве исчезли. «Русский мир» (консервативная газета. — *И. В.*), позор бессилия и неумения вести дело»⁴⁷.

Но если Катков — «устарел», если старая консервативная партия потерпела банкротство, будет ли он, Достоевский, искренен, если свяжет своё имя с чужим, пережившим себя делом?

Он молчит, несмотря на нетерпеливую подсказку поэта.

Между тем свидетельства Майкова и Оболенского проливают свет ещё на одно обстоятельство: становится возможным по-новому взглянуть на предысторию «Братьев Карамазовых».

* Имеется в виду П.М. Леонтьев, помощник Каткова по его изданию.

Предварительный зондаж

О намерении Достоевского предложить ему свой новый роман Катков узнал 20 июня 1878 года (во время беседы в виду собиравшегося ливня): автор специально прибыл для этой цели в Москву. Катков, как сообщается Анне Григорьевне, принял его «задушевно, хотя и довольно осторожно». Осторожность понятная: предыдущий роман петербургского гостя — «Подросток» (в отличие от «Преступления и наказания», «Идиота» и «Бесов») — печатался не у него, Каткова, а в некрасовских «Отечественных записках». «При первых словах о желании участвовать лицо его прояснилось...»⁴⁸

Не оттого ли «прояснилось» лицо Каткова, что предложение Достоевского явилось для него в некотором роде сюрпризом?

Действительно, никаких предварительных переговоров по этому вопросу между ними не велось, хотя о намерении приступить к новому роману было объявлено ещё полгода назад, в «Дневнике писателя». Достоевский не попросил, как обычно, денег вперёд (выручка от «Дневника писателя» позволила ему продержаться несколько месяцев). Он вообще не подавал пока никаких знаков.

Но, может быть, настроенность Каткова вызвана ещё и другим обстоятельством: тем, что он знает о конкурентах?

Майков в своём письме Достоевскому приводит его слова, что он печатается у Каткова потому, что в Петербурге у него «не взяли бы». В передаче Оболенского это утверждение звучит более определённо. Достоевский, как помним, говорит не только о том, что журналы «с более симпатичным направлением» отказываются его печатать, но и ссылается на Н.П. Вагнера, который тут же подтверждает, что ездил с предложением Достоевского «в один из лучших журналов, но там категорически отказались даже вести переговоры по этому вопросу»⁴⁹.

Ясно одно: речь может идти только о «Братьях Карамазовых». Никаких других предложений Достоевский делать тогда не мог. Гораздо туманнее другое: что это за «один из лучших журналов» и почему посредническую миссию взял на себя именно Вагнер?

Естественнее всего предположить, что «один из лучших журналов» — это «Отечественные записки». Ни в либеральном «Вестнике Европы», ни в радикальном «Деле» с автором «Карамазовых», пожалуй, действительно не стали бы разговаривать.

«Отечественные записки» — самое солидное, авторитетное и многотиражное издание демократического лагеря. Это грозный противник «Русского вестника»: они полярны по своему духу, направлению, кругу сотрудников.

Достоевский — единственный из крупных русских беллетристов, кто мог считать себя автором обоих изданий*. Еще в конце 1877 года Салтыков-Щедрин приезжал к автору «Подростка» — просить прозу для своего журнала⁵⁰.

Что же изменилось? Почему в 1878 году «там» (если это всё же «Отечественные записки») могли отказаться вести переговоры?

В декабре 1877 года умирает Некрасов. Он — товарищ юности; именно с ним у Достоевского прочные личные связи; именно он предложил автору «Подростка» напечататься у него в журнале.

Руководителями редакции после смерти Некрасова становятся Салтыков-Щедрин, Елисеев и Михайловский. Ни с одним из них у Достоевского нет личной близости, а с Салтыковым (и, как мы помним, с Елисеевым) отношения довольно натянутые.

Шансы напечатать новый роман в «Отечественных записках» были не очень велики: прежде всего потому, что автор не смог бы вписаться в направление журнала. Но ведь, с другой стороны, просил же Салтыков его сотрудничества. И если бы удалось установить, что Достоевский всё же пытался затеять какие-то переговоры с редакцией, этот факт выглядел бы многозначительно.

У посленекрасовских «Отечественных записок» нашлись бы основания, чтобы отказать Достоевскому. Косвенные свидетельства, что такой отказ действительно мог иметь место, обнаруживаются в самом тексте «Братьев Карамазовых» (злая пародия на Елисеева, язвительные выпады в адрес Салтыкова-Щедрина и т. п.).

К идейным разногласиям могла примешаться авторская обида. Правда, один момент вызывает недоумение.

* Л. Толстой напечатал в «Отечественных записках» только одну педагогическую статью. Ни Тургенев, ни Гончаров, ни Писемский, ни Лесков в них не участвовали.

К вопросу о вызове душ

Если верить Л. Оболенскому, посредническую миссию взял на себя Н.П. Вагнер. Менее удачную кандидатуру для сношений с «Отечественными записками» трудно было придумать. Творчество Кота-Мурлыки (литературный псевдоним Вагнера) подвергалось в некрасовском журнале едким насмешкам; сам Вагнер, насколько нам известно, не имел связей в кругах, близких к редакции.

Ещё в 1877 году Вагнер слёзно выпрашивал у Достоевского рассказ для своего новоиспеченного журнала «Свет», укоряя за то, что тот обещал его «Отечественным запискам». Чего ради было Вагнеру стараться для конкурирующего издания? Уж не загубил ли он всё дело?

Николай Петрович Вагнер был страстным поклонником спиритизма (что, впрочем, не мешало ему успешно заниматься зоологией и проповедовать Дарвина). Он усиленно пытался обратиться в свою веру и Достоевского. Но, увы, автор «Бесов» не пожелал сделаться последователем нового модного увлечения: на страницах «Дневника писателя» он довольно бесцеремонно высмеял проделки потусторонних спиритических «чертей».

Однако Вагнер не оставил своих усилий. Как истинный адепт, он попытался обратиться на пользу спиритизму даже самую смерть сомневающегося.

В архиве Анны Григорьевны мы натолкнулись на удивительный документ.

23 февраля 1881

Многоуважаемая Анна Григорьевна!

Я весьма сожалею, что смутил Вас моими необдуманноими словами. Для Вас вопрос о вызове Фёдора Михайловича не может иметь того значения, которое он имеет для меня. Мне весьма важно знать, изменились ли его взгляды там, в той стороне, где утоляется жажда истины? Мне крайне необходимо знать: смотрит ли он на дело спиритизма так же, как здесь? Видит ли он в нём только одну отрицательную сторону или признаёт и его благотворное значение. Я думаю, что его душа не может оставить в заблуждении, в таком серьёзном вопросе, человека, который так сильно любил его и так глубоко уважал.

Вот почему я желал бы услышать ответ Фёдора Михайловича из того мира. Если человек, так сильно осуждавший спиритизм при его жизни, снимет это осуждение, снимет сомнения с моей души и моих дел — то чего же мне более желать? <...>⁵¹

Не прошло и месяца (не говорим уже о *сорока днях!*) после кончины Достоевского, а оперативный Вагнер уже пытается наладить личный контакт с его бессмертной душой. Он готов немедленно вызвать её из той страны, где, по его словам, «утоляется жажда истины», ибо здесь, в мире вещественном, таковая жажда ещё не утолена. Он горит желанием выяснить загробные убеждения своего оппонента и наконец-то услышать от него (так сказать, де-факто) долгожданное признание спиритической правоты.

Легко догадаться, что все эти глубокоубедительные аргументы не произвели должного впечатления на вдову вызываемого. Изумилась ли она кощунственному простодушию Вагнера или посмеялась над ним — ответ её был достаточно резок. В чём и убеждает нас письмо Вагнера от 25 февраля 1881 года:

«Многоуважаемая Анна Григорьевна, — пишет неудачливый экспериментатор. — Я настолько любил Фёдора Михайловича и настолько уважаю Вас, что не буду делать попыток к вызову дорогой Вам души без Вашего согласия и даже Вашего присутствия»⁵².

Засим Вагнер кротко сообщает Анне Григорьевне, что вчера он уснул в начале второго за чтением брошюры о гипнотизме.

Да, поручать такому человеку какие бы то ни было переговоры было шагом не очень разумным. Но для нас важно другое.

Для нас важно, что перед тем как отправиться в Москву, чтобы предложить свой роман в «Русский вестник», Достоевский зондировал почву в других изданиях. И не исключено, что «осторожность» Каткова вызвана именно этим.

Но если автор «Карамазовых» медлит, прежде чем предложить свои услуги «Русскому вестнику» (журналу литературному, солидному, в котором как-никак печатался и Лев Толстой), можно ли говорить о его безусловном сочувствии органу, откровенно воинствующему, не устающему взывать к грубой государственной силе для разрешения всех отечественных недоумений?

Мы не встретим у него изъявления особых восторгов в связи с деятельностью «львояростного» Каткова: если он порой и хвалит его газету, то почти исключительно за статьи внешнеполи-

тические. Он пишет Любимову: «Передовые «Моск<овских> Ведомостей» читаю с наслаждением. Они производят глубокое впечатление»⁵³.

Заметим: это сказано в апреле 1880 года, в тот момент, когда Катков был вынужден несколько сбавить тон.

Достоевский был внимательным читателем «Московских ведомостей»: в этом мы сейчас убедимся.

Метаморфозы с птицей-тройкой

В двенадцатой книге «Братьев Карамазовых» («Судебная ошибка») в главе девятой излагается горячая речь прокурора. Особое волнение публики возбуждает то место речи, где образованный Ипполит Кириллович обыгрывает знаменитый гоголевский сюжет.

«И если, — говорит оратор, — сторонятся пока ещё другие народы от скачущей сломя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса — это заметьте. От ужаса, а может, и от омерзения к ней, да и то ещё хорошо, что сторонятся, а пожалуй, возьмут, да и перестанут сторониться, и станут твёрдою стеной перед стремящимся видением, и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности, в видах спасения себя, просвещения и цивилизации! Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали. Они раздаваться уже начинают».

В перерыве судебного заседания речь Ипполита Кирилловича оживлённо комментируется слушателями:

« — А про тройку-то ведь у него хорошо, это где про народы-то.

— И ведь правда, помнишь, где он говорит, что народы не будут ждать.

— А что?

— Да в английском парламенте уж один член вставал на прошлой неделе, по поводу нигилистов, и спрашивал министерство: не пора ли ввязаться в варварскую нацию, чтобы нас образовать. Ипполит, это про него, я знаю, что про него. Он на прошлой неделе об этом говорил»⁵⁴.

Комментаторы Полного (академического) собрания сочинений Достоевского дают к этому тексту сравнительную отсылку: сентябрьский выпуск «Дневника писателя» 1876 года, главка «Piccola bestia»⁵⁵. В указанной главке говорится о лорде Биконсфилде

(Дизраэли) и о его выпадах против России в связи с «восточным вопросом». Но ничего сколько-нибудь напоминающего процитированный диалог в «Дневнике писателя» нет.

Следует поискать другие источники.

27 июля 1879 года в «Московских ведомостях» была напечатана очередная передовая Каткова. Автор статьи повествует о том, как в английском парламенте («который сам стал посмешищем в собственной стране») один депутат «из ирландских эксцентриков г. Коуэн» сделал «куриозный» запрос: осведомлено ли правительство её величества о том, «каким образом русские подданные по одному подозрению в политических проступках тысячами угоняются на рабство в Сибирь». Далее депутат спрашивал о каком-то русском корабле, на котором «до 700 мужчин и женщин, получивших образование», отправлены на остров Сахалин «запакованными в помещения» без достаточного света, воздуха и пищи, и что из них 250 умерли на борту корабля, а 150 высажены умирающими и т. д.

«Наконец, тот же парламентский шут, — продолжает Катков, — спросил, были ли сделаны правительством Её Величества увещания (remonstrances) России «против подобного обращения с предполагаемыми политическими преступниками...»

Сцена в английском парламенте возмутила редактора «Московских ведомостей» до глубины души. Он говорит, что британский министр иностранных дел должен был бы ответить в таком смысле: «Досточтимый член, вероятно, не в своём уме (такая откровенность допускается в парламентских объяснениях), что обращается ко мне с подобными вопросами. Он точно так же, пожалуй, потребует от меня отчёта и о том, что делается на Луне. Но я могу отвечать только за действия правительства Её Величества и за то, что входит в сферу его обязанностей, а мы вовсе не ответственны за действия России, и нам дела нет до того, что там делается»⁵⁶. Вместо этого министр дал уклончивый ответ, за что и получил от Каткова начальственный нагоняй.

Нет ни малейшего сомнения в том, что именно этот текст послужил первоисточником для соответствующей сцены в «Братьях Карамазовых».

Почему же, однако, именно эта статья так хорошо запомнилась Достоевскому? Ведь между появлением её в газете и тем моментом, когда он приступил к работе над соответствующей частью романа, прошло более года.

Дело в том, что автор «Карамазовых» прекрасно знал, о каком «русском корабле» идёт речь.

Это был пароход Общества добровольного флота* «Нижний Новгород». 7 июня 1879 года он отправился из Одессы на Сахалин с шестьюстами ссыльнокаторжными (уголовниками) на борту. Плавучей тюрьмой, шедшей вокруг света, командовал капитан-лейтенант С.И. Кази. Согласно его донесениям, страшная жара в Красном море вызвала «восемь случаев полубморочного состояния, кончившихся благополучно» (как видим, данные капитана сильно расходятся с информацией Коуэна). «Поведение ссыльнокаторжных, — сообщает С.И. Кази Победоносцеву, — продолжает быть безукоризненным»⁵⁷.

Последнее обстоятельство имело особую важность, ибо вся экспедиция носила экспериментальный характер и была задумана самим Победоносцевым.

«Мне хотелось, — пишет он Достоевскому 9 июня 1879 года, — устроить это дело так, чтобы скорбный этот путь стал по возможности путём утешения и чтобы вместо школы разврата, соединённой с этапным хождением, устроилась бы по возможности школа духовного назидания и порядка». Далее Победоносцев описывает умильную сцену: посреди океана несколько сот каторжников со священником во главе утром и вечером хором возносят молитвы. Подобное времяпровождение совершенно устранило угрозу возможного бунта: за Босфором с узников, среди коих находились лица, «повинные в 40 убийствах»⁵⁸, были даже сняты кандалы.

Все эти трогательные подробности Победоносцев сообщил и другому своему корреспонденту — наследнику престола.

«Мёртвый дом», торжественно пересекающий океаны, — эта картина не могла не запомниться Достоевскому. И он не мог не соотнести её с сообщением «Московских ведомостей».

Тема «корабля» не нашла никакого отражения в тексте романа**. Однако наряду со статьёй Каткова этот выразительный эпи-

* Общество добровольного флота было образовано в 1878 году и состояло под высочайшим покровительством наследника престола Александра Александровича. К.П. Победоносцев являлся председателем Главного правления общества.

** Не исключено, что сюжет мог бы быть использован во второй части дилогии — при изображении предполагаемого побега Мити Карамазова («в Америку»), если бы, например, он был отправлен на каторгу не по этапу, как предполагалось.

зод мог закрепиться в памяти Достоевского и «всплыть» в виде романного диалога о запросе в английском парламенте.

Но хотя и Катков и Достоевский опираются на одни и те же факты, в их отношении к ним можно проследить существенные различия.

Редактора «Московских ведомостей» волнует главным образом международно-правовая сторона вопроса. Он возмущён недопустимой, с его точки зрения, попыткой иностранного воздействия на внутреннюю политику самодержавного правительства.

Автор «Карамазовых» тоже, по-видимому, не сторонник подобных поползновений (об этом свидетельствует хотя бы стилистика приведённого отрывка: намерение британского парламентария «ввязаться в варварскую нацию» расценивается в явно ироническом ключе). Но «перевод» катковской статьи на язык художественной прозы оказался весьма далёк от оригинала.

В романе упоминание о парламентском запросе как будто лишено особого акцента (хотя, повторяем, текст иронически окрашен). Но зато сам этот сюжет «замыкается» на нечто неизмеримо большее: на один из выразительнейших национальных символов.

Гоголевская птица-тройка не есть образ чисто литературный. Она обобщает одну из устойчивых черт национального самосознания. Метафору, корнящуюся в фольклорной, песенной стихии, Гоголь возводит на уровень провиденциальной. Птица-тройка ассоциируется с Россией, с её безоглядностью, с её неудержимым стремлением в неизвестность. «Чудным звоном заливаются колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух: летит мимо всё, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

В речи Ипполита Кирилловича совершается (уже без тени юмора!) полное переосмысление традиционного хрестоматийного образа. Призрак, вызванный воображением оратора, обретает грозный самостоятельный смысл. И хотя указание на связь этой *бешеной* тройки с каким-то нелепым парламентским запросом имеет целью ослабить впечатление от только что нарисованной апокалипсической картины, нельзя не признать, что сама эта картина обладает немалой художественной силой.

Устами скотопригоньевского прокурора автор «Братьев Карамазовых» вступает в захватывающий диалог с автором «Мёртвых душ».

Впрочем, скрытые формы этой полемики можно обнаружить и раньше.

В «Дневнике писателя» за 1876 год Достоевский рассказывает о виденной им когда-то в юности сцене (когда он, пятнадцатилетний, вместе с братом направлялся из Москвы в Петербург). К постоялому двору, где они остановились, лихо подкатил фельдъегерь, «высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом». Хлопнув в станционном доме рюмку водки, он сел на новую переменную тройку; «ямщик, молодой парень лет двадцати... сам в красной рубаше, вскочил на облучок». Как только тележка тронулась, «фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут, изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод... Ямщик, едва державшийся от ударов, непрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые»⁵⁹.

Гоголевская тройка — обобщение, символ. Достоевский также изображает *свою* тройку как «эмблему и указание». Это — обратная сторона медали: фельдъегерь, вздымающий государственный кулак, и истязуемый, «как бы выбитый из ума» ямщик. Отсюда только шаг до зловещего образа-оборотня в обвинительной речи Ипполита Кирилловича.

Возможность такого оборотничества заложена в самом гоголевском тексте.

«Что значит это наводящее ужас движение?» — вопрошал автор «Мёртвых душ». Слово «ужас», будто бы невзначай оброненное Гоголем, глухо откликается у Достоевского: русские литературные «тройки» склонны к удивительным превращениям.

Работая над двенадцатой книгой «Карамазовых», он вспомнил прошлогоднюю статью Каткова. Но как трансформировался в его творческом сознании этот первоначальный импульс! Эпизод в британской палате общин, имеющий в глазах редактора «Московских ведомостей» сугубо прикладной, политический смысл, обзавёлся глубоким и многозначительным подтекстом. Частный случай был переосознан и подключён к мощной художественной традиции. Автор «Карамазовых» отталкивается от Гоголя и Каткова одновременно.

Но Катков Гоголю не соперник.

глава XIV

завещание

Главный день

«Надо ещё речь исправить, бельё к завтраму приготовить. Завтра мой главный дебют. Боюсь, что не высплюсь. Боюсь припадка»¹, — отрывисто сообщает Достоевский Анне Григорьевне в ночь на 8 июня — накануне.

Припадка не было: в обморок падали другие*.

И. Аксаков должен был читать первым, но, видя волнение Достоевского, уступил ему свою очередь.

Предоставим слово современникам.

* «Маша Шелехова упала в обморок. С Паприцем сделалась истерика»², — записывает в своём дневнике Е.П. Леткова-Султанова. Это единственный источник, в котором упомянуто имя впечатлительного «молодого человека» — литератора К.Э. Паприца. Ср.: «Тут же в зале со многими делалось дурно, несколько дам впали в глубокий обморок, с одним юношей на моих глазах сделался припадок падучей (! — *И. В.*)»³. О припадке падучей неосновательно говорят и другие воспоминатели.

Д. Любимов: «Достоевский поднялся, стал собирать свои листки и потом медленно пошёл к кафедре, продолжая nervно перебирать листки, видимо, список своей речи, которым, кстати сказать, он потом почти не пользовался. Он мне показался осунувшимся со вчерашнего дня. Фрак на нём висел, как на вешалке, рубашка была уже измята, белый галстук, плохо завязанный, казалось, вот сейчас совершенно развяжется. Он к тому же волочил одну ногу»⁴.

Глеб Успенский: «Когда пришла его очередь, он «смирнѣонько» взошёл на кафедру, и не прошло пяти минут, как у него во власти были все сердца, все мысли, вся душа всякого, без различия, присутствовавшего в собрании. Говорил он просто, совершенно так, как бы разговаривал со знакомыми людьми, не надседаясь в выкрикивании громких фраз, не закидывая головы. Просто и внятно, без малейших отступлений и ненужных украшений он сказал публике, что думает о Пушкине... Он нашёл возможным, так сказать, привести Пушкина в этот зал и устами его объяснить обществу, собравшемуся здесь, кое-что в теперешнем его положении, в теперешней заботе, в теперешней тоске»⁵.

Н. Страхов: «Как только начал говорить Фёдор Михайлович, зала встрепенулась и затихла. Хотя он читал по писаному, но это было не чтение, а живая речь, прямо, искренно выходящая из души. Все стали слушать так, как будто до тех пор никто и ничего не говорил о Пушкине... До сих пор слышу, как над огромною притихшею толпою раздаётся напряжённый и полный чувства голос: «Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек!»⁶

Граф Д. Олсуфьев: «Он вспоминается мне невысоким, тщедушным, с лицом бледным, напряжённо-сосредоточенным и неприветливым, с живыми, пронизательными, чернеющими, как угольки, глазами; всё обличье его являло что-то нервное и болезненное. Рядом с красивым, величавым старцем Тургеневым Достоевский казался маленьким и невзрачным. Голос у него был высокого тембра и средней силы, так что слова, которые Достоевский хотел особенно подчеркнуть, он почти выкрикивал. Читал он свой доклад просто и вместе необычайно сильно по выразительности и по какой-то особой проникновенности»⁷.

И. Василевский: «Он взошёл на кафедру взволнованный и бледный. В нём чувствовался вдохновенный, воинственно настроенный проповедник и фанатик... Орган у Достоевского был от природы слабый, но читал... прекрасно...»⁸

В. Михневич: «Но вот взошёл на кафедру невзрачного вида, тощий, согбенный человек, с изжелта-пергаментным, сухим, некрасивым лицом, с глубоко впавшими глазами, под выпуклым, изборождённым морщинами лбом. Взошёл он как-то застенчиво, неловко и, сгорбившись над пюпитром... раскрыл тетрадку и начал читать слабым, надорванным голосом, без всяких ораторских приёмов, как если бы он собрался читать для самого себя, а не перед огромной аудиторией...»⁹

Перечитывая воспоминания современников, замечаешь: им трудно отделаться от впечатления, что они сделались свидетелями чуда.

Как чудо воспринимал это и сам Достоевский.

«Когда же я провозгласил в конце о *всемирном единении* людей, то зала была как в истерике; когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публичной плакали, рыдали, обнимали друг друга и *клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть вперёд друг друга, а любить*. Порядок заседания нарушился: все ринулись ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты — всё это обнимало, цаловало меня... Вызовы продолжались полчаса...»¹⁰

Уже сама сила и острота общественной реакции должны были восприниматься правительством как явление необычное, тревожное и нежелательное*.

Но если бы у властей и возникло желание умерить последствия Пушкинской речи, они могли бы этого не делать: с подобной задачей не без успеха справилась отечественная пресса (о чём ещё будет сказано ниже).

Речь Достоевского продолжалась около 45 минут. Толки о ней длятся уже более столетия.

Пора обратиться к тексту.

* Любопытна анонимная информация, поступившая в III Отделение: «...наибольшим успехом в среде здешнего общества пользуется речь Достоевского; судя по слышанным отзывам, успех этой речи обусловливается, к сожалению, не литературными её достоинствами, но заключающимися в ней намёками на правительственные притеснения к свободному развитию литературы (?! — И. В.). Вследствие этого... ограничение распространения речи Достоевского представляется полезным»¹¹.

Кого призывают смириться?

Слово, чаще других встречающееся в Пушкинской речи, — «фантастический»: оно в тех или иных вариантах повторено в тексте семнадцать раз.

Алеко «является... в фантастическом свете» (само его бегство в цыганский табор характеризуется как «маленькая фантазийка»; духовные наследники Алеко стремятся достичь всемирного счастья «в своём фантастическом делании»; «фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений внешних»; «Онегин любит в Татьяне только свою новую фантазию»; «да ведь он и сам фантазия» и т. д.

Слово это (вообще одно из ключевых у Достоевского) не только задаёт внутренний музыкальный тон всей речи, но как бы отбрасывает на всё странный двоящийся отсвет.

Во всех приведённых примерах «фантастическое» имеет определённо негативный оттенок. «Фантастический человек» — человек неполный, морально и исторически ущербный. Он «пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка». Его биографическое существование как бы выпадает из мирового порядка: с грехом пополам он ещё может вписаться в один из четырнадцати классов, но — не в реальную историческую жизнь, которой не знает, не понимает, *не помнит*. Его тоска проистекает не столько от сознания собственного несовершенства (в этом он готов винить себя в последнюю очередь), сколько от претензий к несовершенству внешнему. При этом он не прочь споспешествовать тому, чтобы и *другие* сделались жертвами указанной дисгармонии: «Ленского он убил просто от хандры, почём знать, может быть, от хандры по мировому идеалу, — это слишком по-нашему, это вероятно».

Все эти «фантастические люди» поражены застарелой национальной болезнью, они носят в себе смертельный изъян, порчу наследственного исторического кода. Их фантастичность — порождение «фантастического» течения отечественной истории.

Всё, что ни делает «русский скиталец», сразу же приобретает черты исторического инфантилизма.

Алеко в нравственном отношении — большое дитя, и, как всякий ребёнок, он жесток и безответствен: «Чуть не по нём, и он злобно растерзает и казнит за свою обиду». И, конечно, именно Онегин, а не Татьяна, «нравственный эмбрион»: его

духовный возраст неизмеримо меньше Татьянинного. Татьяна сопричастна возрасту народной души, она мудра её великой мудростью. И Алеко, и Онегин по сравнению с ней младенцы; они дети фантастической «постпетровской» цивилизации.

«Не только для мировой гармонии, но даже и для цыган не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняют его — без отмщения (что взять с дитяти? — *И. В.*), без злобы, величаво и простодушно:

Оставь нас, *гордый человек...*»

Мы намеренно подчеркнули последние слова: они вошли в печально знаменитую (возмутившую столь многих) формулу.

Но посмотрим внимательнее.

«Гордый человек» Достоевского — не человек «вообще», а лицо вполне определённое, максимально конкретное. Он — не избречение автора, а буквальная цитата из Пушкина. И призыв «смирись» обращён не в пустое историческое пространство, а — к реальному историческому типу.

Запомним, *к кому* обращаются. Теперь следует выяснить — *кто*.

«Ну разумеется, сам Достоевский!» — в сердцах скажет читатель.

Возмущение вполне понятное: мы привыкли думать, что знаменитая тирада — не что иное, как авторская речь. Однако это не так; вернее, не совсем так.

«Нет, эта гениальная поэма не подражание! — говорит Достоевский. — Тут уж *подсказывается* (курсив наш. — *И. В.*) русское решение вопроса, «проклятого вопроса», по народной вере и правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудишься на родной ниве», вот это решение по народной правде и народному разуму».

Две ключевые фразы берутся Достоевским в кавычки как *чужая* прямая речь: они произносятся не «от себя», а как бы от имени «подсказывающей» народной правды. Таким образом, призыв «смириться» — не что иное, как цитата.

Все эти наблюдения могут показаться излишними:

не всё ли равно, кому принадлежат процитированные слова, если их смысл, по-видимому, вполне разделяет сам Достоевский? Но в высокоорганизованной «нервной» структуре Пушкинской речи нет ничего случайного: это — литература.

«Оставь нас, гордый человек», — говорят бездомному «ски-тальцу» настоящие кочевники. «Оставь» — то есть уйди, но сам оставайся таким, каким тебе быть угодно. Они не навязывают Алеко своей правды: им достаточно отвергнуть его закон. Достоевский поступает иначе. «Своего» Алеко он ставит перед проблемой: с чего, собственно, начинать мировое переустройство?

Вновь открываются кавычки — для «чужой» (внутренне одобряемой) речи. «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен...»¹²

Что ж, метод известный, пожалуй даже тривиальный и, как полагал оратор, вполне отвечающий требованиям христианской этики (хотя, например, К. Леонтьев полагал иначе). Но именно это — неприемлемое для иных — обстоятельство вызвало наибольшее раздражение: не только «безрелигиозной общественности», но и всей так называемой *прогрессивной критики*.

Раскольников как «гордый человек»

Кухарка Настасья приносит будущему убийце вчерашние щи и спрашивает его, почему он оставил уроки. Тот нехотя отвечает, что за детей платят медные деньги.

«— А тебе бы сразу весь капитал?»

Он странно посмотрел на неё.

— Да, весь капитал, — твёрдо отвечал он, помолчав»¹³.

К названным им пушкинским персонажам Достоевский мог бы добавить ещё одного: своего собственного. Раскольников — духовный близнец Алеко и Онегина; он звено всё той же цепи. И дело не только в их общей оторванности от «нивы»: дело ещё в той *легкости*, с какой они позволяют себе «преступить».

Трое убийц как будто ни в чём не схожи друг с другом (их жертвы — Земфира, Ленский и старуха-процентщица — ещё более вопиют об их несопоставимости). Тем не менее глубинный мотив всех трёх преступников один: «я» выше, чем «не-я», и убийство — самое простое средство для самоутверждения.

«Весь капитал» (будь то честь, как у Онегина, самолюбие, как у Алеко, или самостановление, как у Раскольникова) приобрета-

ется (или сохраняется) одним ударом: кажущееся самым трудным на деле — элементарно. Это, впрочем, относится ко всем их поступкам. Алеко пытается достигнуть «рая» *простым* перемещением в географическом и социальном пространстве; Онегин — *простым* удовлетворением страсти; Раскольников — *простым* криминальным экспериментом. Ни о каком «потрудишься» они не захотели бы слышать.

К внешнему миру предъявляются требования неизмеримо большие, нежели те, которые обращены к самому себе.

Поэтому «смириться» должен вовсе не Человек (с большой буквы), но — Алеко, Онегин, Раскольников. Поразительно, что персональная направленность этого призыва, как правило, «не прочитывается».

Стоит задуматься над тем, какой объективный смысл имело понятие «гордый человек» во времена Достоевского.

Немного этимологии

«*Гордый*... — определяет Даль, — надменный, высокомерный, кичливый, надутый, высоносый, спесивый, зазнающийся; кто ставит себя самого выше прочих... *Гордость, гордыня, горделивость*... качество, свойство гордого; надменность, высокомерие. «*Гордым быть — глупым слыть*». *Гордиться*... быть гордым, кичиться, зазнаваться, чваниться, спесивиться; хвалиться чем, тщеславиться; ставить себе что-либо в заслугу, в преимущество, быть самодовольным»¹⁴.

Словарь Даля вышел вторым изданием в 1880 году — в год Пушкинской речи. Его автор не приводит ни одного значения слова «гордость» хоть с каким-нибудь мало-мальски положительным оттенком.

Гордость в народном понимании равносильна гордыне; качество это сугубо отрицательное, заслуживающее нравственного осуждения.

С годами понятие претерпело существенную метаморфозу.

«*Гордость*... — определяет словарь современного русского языка, — чувство собственного достоинства, самоуважения. Чувство удовлетворения от чего-либо. *Гордый*... исполненный чувства собственного достоинства, сознающий своё превосходство. Заключающий в себе нечто возвышенное, высокое... *Гордые мечты*»¹⁵.

Что же происходит?

Водрузив на место «надменного, кичливого, высокомерного» и т. п. Алеко некоего абстрактного (но при этом «исполненного чувства собственного достоинства») «гордого человека», мы совершаем невольную, но отнюдь не безопасную подмену. Ибо сами становимся жертвами этой удивительной аберрации*.

В этом нам немало помогли современники Достоевского.

«Не решён вопрос, пред чем гордились «скитальцы», — писал А.Д. Градовский. — Остаётся без ответа и другой — пред чем следует «смириться»»¹⁶.

Действительно, не оставляет ли нас Достоевский в неведении относительно этого пункта?

«Недоделанные люди» и мировая гармония

В «Дневнике писателя» за 1877 год сказано: «...сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина... Мыслители провозглашают общие законы, то есть такие правила, что все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти правила наступили. Да если б этот идеал и возможен был, то с *недоделанными* людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные»¹⁷.

Это — предвосхищение того, что через три года будет вновь заявлено в Пушкинской речи.

Мысль, объединяющая всё творчество Достоевского, на первый взгляд чрезвычайно проста. Жизнь не даётся даром, «весь капитал» не приобретается *механическим* путём. Человек как личность не есть некая законченная данность, он — *процесс*, требующий неустанной душевной работы («тут дисциплина»). Человек не обладает автоматическим «правом первородства»: надо «выделаться в человека». Счастье не есть что-то готовое, внешнее по отношению к личности, оно — тоже процесс, величина переменная, зависящая от самого человека.

* Понятие изменилось уже к началу XX столетия (как изменился и воспринимающий слух). Поэтому «лобовое» противопоставление формулы Достоевского горьковскому «Человек... Это звучит... гордо» несостоятельно: разумеется, Горький употреблял слово «гордость» в его «втором», положительном значении.

Мировое переустройство оказывается самым тесным образом сопряжённым с «переустройством» человеческой личности.

Конечно, всё это при желании можно отнести к сфере личной нравственности, к сфере, казалось бы, далекой от реальной общественной борьбы. Однако подобные проблемы волновали не только таких мыслителей, как Достоевский или Толстой. О них задумывались люди, судя по всему, совершенно иного склада.

«Пусть каждый добросовестный человек сам себя спросит, готов ли он. Так ли ясна для него новая организация, к которой мы идём... и знает ли он процесс (кроме простого ломанья), которым должно совершиться превращение в неё старых форм? И пусть, если он лично доволен собой, пусть скажет, готова ли та среда, которая по положению должна первая ринуться в дело»¹⁸.

Слова эти были произнесены за десять лет до Пушкинской речи. Причём — самым знаменитым из «русских скитальцев». Герцен адресует их другому «скитальцу» — Бакунину, человеку, фанатически преданному идее, но не ведающему иных форм исторической работы, кроме «простого ломанья».

Речь идёт о честности, трезвости и нравственной ответственности.

Герцен пишет: «Подорванный порохом весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчистятся развалины, снова начнёт с разными изменениями *какой-нибудь буржуазный мир*. Потому что он *внутри не кончен и потому ещё, что ни мир строящийся, ни новая организация* не настолько готовы, чтоб пополниться, осуществляясь»¹⁹.

Достоевский говорит о «недоделанных людях»; Герцен — о том, что старый мир не кончен «внутри», то есть в самом человеке. И тот и другой толкуют о вещах очень близких²⁰.

Герцена в конце жизни чрезвычайно занимают нравственные аспекты революционного переворота. Он полагает необходимым его условием наличие у революционеров именно тех качеств, которые, согласно Достоевскому, как раз и помогают «выработаться в человека». «Нельзя, — пишет автор писем «К старому товарищу», — людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены *внутри*»²¹. Без внутренних духовных усилий исторический прогресс сомнителен.

Алеко Пушкинской речи — бездельник и в нравственном, и в историческом смысле.

Да, «гордый человек» Достоевского есть «праздный человек», а вовсе не лицо, исполненное предполагаемых общественных достоинств. Стремясь к мировому идеалу, он ничего не делает, чтобы приблизить к нему самого себя. Он — «праздный человек» не только из-за нежелания трудиться на «родной ниве», но также из-за равнодушия к своему духовному «я», из-за боязни серьёзной внутренней работы.

«Прежде чем проповедовать людям: «как им быть», — говорит Достоевский в «Дневнике писателя», — покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного — не понимаю!»²² Именно в «самообладании и самоодолении» — «тайна первого шага».

В этом своём убеждении Достоевский обретает ещё одного неожиданного союзника. Страстный оппонент автора «Что делать?», он в своих размышлениях «невольнo» приближается к нравственным коллизиям этого романа. Разумеется, «новые люди» весьма далеки от идеалов Достоевского, но не они ли поставили целью «самообладание и самоодоление», иначе говоря, познали «тайну первого шага»?

Так автор Пушкинской речи вписывается в общую этическую традицию русского XIX столетия, начинающую отсчёт исторической жизни с её главного виновника и участника — человека.

Но повторим вопрос: перед чем призывает смириться Достоевский?

Может быть, речь идёт о смирении перед какой-нибудь внешней силой, перед авторитетом церкви или государства? Или — о чисто религиозном смирении, об отказе от мира?* Или, наконец, о смирении как об абсолютной духовной неподвижности, индифферентности, психическом штиле?

Ничего этого у Достоевского нет. Его «смирение» — равнозначно работе («выделке в человека»). «Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам её не достоин, злобен и горд,

* Любопытно, что последнее предположение отвергалось даже некоторыми церковными писателями. Так, архиепископ Антоний (Храповицкий), говоря об «одном публицисте», который «дополнил» Достоевского («смирись, гордый человек, *пред Богом*»), замечает: «Находились невежды, вменявшие эту прибавку в особенную похвалу критику, но, конечно, единственно по незнанию отеческого учения: “Послушание имей ко всем”»²³.

и потребуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за неё надобно заплатить».

«Высшие цели» вовсе не отменяются, но им назначается дорогая цена. Мировое переустройство ставится в жёсткую зависимость от моральной составляющей тех, кто предпринимает подобное деяние.

Столь категорическое сопряжение «внутренней» и «внешней» сторон социального поведения явлено в русской литературе впервые.

Разумеется, те, кто этого желал, могли обратить (и, как мы увидим, действительно обратили) «смирись» — против революции.

Было бы несправедливым утверждать, что в Речи нет никаких реальных «защепок» для интерпретаций подобного рода. Более того: сам Достоевский, очевидно, стремился к тому, чтобы «в первом приближении» его поняли именно так. Но вряд ли он ожидал, что это «первое приближение» окажется и последним: его поняли *только* так, игнорируя «за ненадобностью» всё остальное.

В Речи прямо указывается на «скитальцев», которые «ударяются в социализм», и, следовательно, как бы установлен новый социальный адрес Алеко и Онегина*. И этим указанием не замедлили воспользоваться охранители: в их устах «смирись» приобретало уже строго однонаправленный вид, превращаясь в своего рода табу для любых попыток достигнуть мирового идеала. Их менее всего занимала этическая сторона проповеди Достоевского: им был важен её сиюминутный, прикладной, политический смысл.

К сожалению, никто им не возражал.

Но дело в том, что формула Достоевского обоюдоостра.

Заметив, что Алеко «злбно растерзает и казнит за свою обиду», Достоевский «вдруг» добавляет: «...или, что даже удобнее, вспомнив о принадлежности своей к одному из четырнадцати классов, сам возопиет, может быть (ибо случалось и это), к закону терзающему и казнящему, и призовет его, только бы отомщена была личная обида его».

Мы уже говорили о том, что государство для Достоевского такой же «гордый человек», как и Алеко. Российская монархия,

* Подобная генеалогия давала русским «социалистам» некую эстетическую санкцию (их противники предпочли бы, чтобы у социальных «злодеев», «монстров» и т. п. была менее почтенная (более примитивная) родословная).

разделённая «нигилистом»²⁴ (именно так именует его Достоевский) Петром Великим на четырнадцать классов, тоже принадлежит к числу исторических скитальцев. Она столь же «фантастична», и уж конечно, не в ней может быть воплощён народный идеал.

Когда же Алеко не нужно будет ни убегать к цыганам, ни «оставлять» их?

Снова о нравственности во множественном числе

Признав, что в Пушкинской речи заключена «мощная проповедь личной нравственности», А. Градовский снисходительно указывает её автору, что в ней «нет и намёка на идеалы общественные»²⁵.

«Указание Градовского на господство в истории общественных идеалов над нравственными следует признать правильным»²⁶, — безоговорочно соглашается с либеральным профессором один из позднейших комментаторов Пушкинской речи.

Не слишком ли поспешно это согласие?

Признать, что в истории общественные идеалы «господствуют» над нравственными, значит лишить первые их собственного смысла. Подобное признание абсурдно: общественный идеал — уже в силу того, что он идеал, — не может быть вненравственным. Нельзя привести ни одного примера, когда бы идеология опиралась на аргументы неморального порядка*. Другое дело, что сами моральные принципы («классовые», «общечеловеческие», «христианские», «расовые» и т. д.) могут толковаться в зависимости от нужд толкователей.

* Это самоочевидно для идей, игравших «дрожжевую», движущую роль в историческом процессе, — Просвещения, Великой французской революции, утопического и научного социализма и т. д. Но даже «реакционные», консервативно-ортодоксальные или, положим, ксенофобские системы идеологии вынуждены обосновывать своё право на существование аргументами высшего порядка. «Попробуйте-ка, — говорит Достоевский, — соединить людей в гражданское общество с одной только целью «спасти животишки»? Ничего не получите, кроме нравственной формулы: «Chacun pour soi et Dieu pour tous» («Каждый за себя, и Бог за всех». — *И. В.*). С такой формулой никакое гражданское учреждение долго не проживёт, г. Градовский»²⁷.

В истории не общественные идеалы господствуют над нравственными, а *одни* общественные (а значит, и нравственные!) идеалы господствуют над *другими*.

«Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, — отвечает Достоевский Градовскому, — тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремится их в будущее... Чем соедините вы людей для достижения ваших гражданских целей, если нет у вас основы в первоначальной великой идее нравственной?»

Нравственный идеал Пушкинский речи есть одновременно и идеал общественный: ничем иным и быть не может стремление «ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению». Всемирность и всечеловечность мыслятся как естественная для нации форма её общественного бытия. Индивидуальные этические задачи трансформируются в сферу социального поведения.

«Узнайте, учёный профессор, — продолжает Достоевский, — что общественных гражданских идеалов, как таких, как не связанных органически с идеалами нравственными, а существующих сами по себе, в виде отдельной половинки, откромсанной от целого вашим учёным ножом; как таких, наконец, которые могут быть взяты извне и пересажены на какое угодно новое место с успехом, в виде отдельного «учреждения», таких идеалов, говорю я, — нет вовсе, не существовало никогда и не может существовать!»²⁸

Речь идёт о неделимости морали. Нравственный закон, как уже говорилось, един: он не может действовать «применительно к случаю».

Вспомним: «Что правда для человека как лица, то пусть останется правдой и для всей нации».

В этом своём убеждении Достоевский не одинок.

За шестнадцать лет до Пушкинской речи в учредительном манифесте Международного товарищества рабочих К. Маркс формулирует важнейшие цели пролетариата. Одна из них заключается в том, «чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами»²⁹.

Российские последователи Маркса забыли, что в этой системе координат «слезинка ребёнка» имеет абсолютную ценность.

В своей, казалось бы, чисто публицистической Пушкинской речи Достоевский «вдруг» вступает в многомерное художествен-

ное пространство, чтобы именно *там* получить санкцию для своей идеологической системы.

И санкция эта оказывается *художественной*.

К вопросу о жанре

«Если наша мысль есть фантазия, — говорит Достоевский, — то с Пушкиным есть по крайней мере на чём этой фантазии основываться». Ссылка на Пушкина — не только указание на его художественный опыт. Это — указание и на *самого* Пушкина, на его личность, на всю грандиозность его явления. Но дело в том, что «сам Пушкин» выступает у Достоевского как определённая художественная величина.

В Пушкинской речи *образ* Пушкина играет не меньшую роль, чем образ его любимой героини. В течение каких-нибудь 45 минут Достоевскому удалось убедить Россию в мировом значении Пушкина — убедить не путём логических доказательств, а силой искусства.

Дело обстоит именно так. Пусть автор Речи пытается на минуту «притвориться» учёным-исследователем (хотя и оговаривается специально, что он не критик) — и делит творчество Пушкина на «три периода»; пусть порой «надевает личину» историка или, скажем, философа; тем не менее он ни тот, ни другой и ни третий. Он «лишь» тот, кто он есть на самом деле³⁰.

Пушкинская речь была, пожалуй, первой попыткой «глобального» прочтения Пушкина, попыткой «перевести» его из литературного контекста в сферу этико-историческую.

Но парадокс заключается в том, что «перевод» этот был осуществлён как раз *литературными* средствами.

«Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унёс с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» — так закончил Достоевский. «Разгадка тайны» производится не путём логической расшифровки, а в категориях художественного мышления.

Пушкин и его судьба воспринимаются как некая художественная данность, как «миф», обладающий собственной онтологической жизнью. И наиболее адекватное усвоение этого «мифа» совершается в формах, родственных его собственной природе: художественное познаётся через художественное.

Все компоненты Пушкинской речи могут быть рассмотрены как связанные друг с другом элементы единой образной структуры, где такие понятия, как «Пушкин», «Татьяна», «русский народ», «скиталец», «всечеловек» и так далее, имеют не только прямую, непосредственно-публицистическую функцию, но и обладают ещё дополнительным художественным смыслом. Эта «дополнительность» и создала предпосылки для многоаспектного, плюралистического восприятия Речи, её выхода за пределы сиюминутной «практической» полемики — в иную историческую глубину.

Именно так была воспринята Речь в момент её произнесения. Сам Достоевский являлся в эту минуту её зримым, материальным образом. Отделённый от текста, он превратился просто в «автора» (или, в лучшем случае, в «лирического героя»): текст «оголился». «Смирись...», лишённое своего собственного звука, обрело чужую интонацию: от начальственно-угрожающего (государственного!) окрика до шепотливого монашеского увещевания.

Скрытая художественная природа Пушкинской речи явилась провоцирующим моментом для разразившейся вслед за ней журнальной бури. Речь, притворившаяся публицистикой, и была воспринята в качестве таковой. Критики Речи не делали (да, собственно, и не обязаны были делать) поправку на жанр. Но, вычленив из Речи те или иные моменты и без особого труда их опровергнув, они не могли не чувствовать некоторой (может быть, тайной) неудовлетворённости. Во-первых, оказывался «остаток», нечто ускользавшее от их анализа, а во-вторых, смущал беспрецедентный успех Речи (не потому ли её оппоненты оперируют такими полумистическими понятиями, как «затмение», «наваждение» и т. д.?).

Достоевского (как выразился бы один булгаковский герой) следовало «разъяснить».

«Идеалистический радикал» (ещё к вопросу о жанре)

«Не беспокойтесь, скоро услышу: «смех толпы холодной», — пишет Достоевский С.А. Толстой (вдове А.К. Толстого) через четыре дня после Пушкинской речи. — Мне это не простят в разных литературных закоулках и направлениях»³¹.

Нужно было сделать известное волевое усилие, чтобы, по словам Глеба Успенского, ««очухаться» от ворожбы Достоевского»³².

Недаром вторая его корреспонденция о Пушкинской речи (посланная в «Отечественные записки» после первой, вполне сочувственной) называлась «На другой день».

«На другой день» как бы опомнились. Гармонию следовало поверить алгеброй. Началось разложение художественного смысла Речи. Естественно, что при этом все её внутренние связи были нарушены, и здание, ещё недавно казавшееся столь величественным, бесславно рухнуло — к вящему удовольствию истолкователей.

Спор о Пушкине откатился к вечным русским вопросам: «что делать?» и «кто виноват?».

В Пушкинской речи пытались найти «прямые» ответы.

В 1888 году Чехов писал А.С. Суворину: «...Вы смешиваете два понятия: *решение вопроса и правильная постановка вопроса*. Только второе обязательно для художника. В «Анне Карениной» и в «Онегине» не решён ни один вопрос, но они Вас вполне удовлетворяют, потому только, что все вопросы поставлены в них правильно»³³.

Пушкинская речь ставила вопросы, «делая вид», что отвечает на них. Она была — да простится нам эта красивость — пунктиром, трассирующим в исторической мгле. Но — только пунктиром. То, что, казалось бы, должно было удовлетворить всех, не удовлетворило никого.

1880 год жаждал конкретных указаний и ждал быстрых ощутимых плодов. Он требовал «формулы перехода».

Но — увы. То, что предлагал Достоевский, не было ни реальной политической программой, ни тем паче инструкцией по немедленному усовершенствованию общественных нравов. Автор Речи оперировал не «понятиями», а рядом художественных значений, которые в своей совокупности давали определённый художественный эффект. Пушкинская речь была таким же «пророчеством и указанием», как и сам Пушкин.

«Его (Достоевского. — И. В.) воззрения, — писала «Неделя», — страдают недостатком практичности, в них нет переходных ступенек, которые, конечно, необходимы. Но ведь он и не претендует на практичность; идеалистический радикал, если можно так выразиться, он смотрит далеко вперёд, видит там яркую звезду и зовёт к ней; указывать пути совсем не его дело: он только носитель идеала. Дурен этот идеал в своей основе, очищенный от случайных примесей?.. Господа, бросать грязью в такие вещи — значит пачкать самих себя!»³⁴

К этому одинокому голосу никто не прислушался. Расшифровка Речи была предпринята русской критикой в категориях внехудожественного мышления: «перевод» оказался неадекватным.

Правомерно ли обвинять Достоевского в отвержении реального дела, в оболещении пустыми иллюзиями и даже в том, что его призыв вылился «в самую ординарную проповедь полнейшего мертвения»?³⁵ Может быть, «вторичная реакция» на Речь более справедлива, чем первоначальный стихийный порыв?

Но, в конце концов, ведь не малые дети наполняли 8 июня Колонный зал московского Благородного собрания: неужели все были «загипнотизированы» Достоевским?

Нет, слушатель 1880 года был не так прост. Произошло то, что должно было произойти. Несколько одновременно сработавших факторов дали непредсказуемый эффект.

Пушкинская речь — художественный концентрат всего того, что пытался выразить Достоевский в своём «Дневнике писателя». Это и есть «Дневник» — только художественно обобщённый, достигший своего собственного предела, к которому он всегда стремился (но, правда, не всегда достигал). Не выстраиваясь, не складываясь в строгую и законченную картину единого, внутренне непротиворечивого, рационалистически проработанного миропонимания, Пушкинская речь сохраняла поразительную целостность на ином уровне. Это — всеобъемлющее и мощное единство явленного в ней *мирочувствования*. Это — неделимость её категорического императива, её нравственного устройства, её могучего духовного подтекста. Это, наконец, сфокусированность всех периферийных и мировых линий в одной художественной точке — в Пушкине.

В Речи сказались характернейшие черты творческого гения Достоевского: его этический максимализм, его обострённое восприятие русской истории и русского человека, его скорбь и его мировой порыв.

Всего этого не могла не почувствовать аудитория.

«Мы менее чем кто-либо можем смотреть на речь Достоевского как на живую политическую программу живой политической партии... — замечает журнал «Мысль», — если на идеалы г. Достоевского смотреть... как на формулу, удовлетворяющую, главным образом, чувству или, вернее, потребности чувства, а именно чувства любви и уважения к своей родине, к своему народу, то это — почти единственный идеал, возможный для нашего времени...»³⁶

Но если бы Пушкинская речь была произнесена, скажем, годом раньше или годом позже, она не возымела бы такого действия. В 1880 году её собственный духовный заряд был умножен реальной общественной ситуацией. Её пафос оказался созвучен жгучему чувству исторического ожидания. Эта конгениальность и вызвала «резонансный эффект».

Можно предположить, что речь Достоевского отвечала ещё и более отдалённым историческим ожиданиям. Россия, «стенная и скорбя», вступала на мировую авансцену: ей было суждено остановить на себе «зрочок мира». Пушкинская речь прозвучала в момент перелома, на перепутье: у страны ещё был выбор. Трагедии XX века могло бы не быть. Судьба России сложилась не так, как мечтал Достоевский, а так, как он предчувствовал. Утешила бы его грандиозность этой судьбы?

«Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя — *есть не просто речь, а историческое событие!* Туча облегла горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, всё рассеяло, всё осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений»³⁷.

Тем горше было отрезвление.

«Русский Мефистофель»

«Памятник Пушкина, — писал Орест Миллер, — собрал нас воедино лишь на минуту, и русскому Мефистофелю остаётся только весело потирать себе руки и приговаривать: “*divide et impera*”»³⁸. «На другой день» стало очевидно, что праздник, по сути дела, только разгорячил страсти.

Первый русский «парламент» не оправдал надежд, которые на него возлагались. «Вдруг» выяснилось, что интеллигенция (как целое) неспособна стать той исторической силой, которая могла бы возглавить национальное обновление.

Не потому ли в своём предсмертном «Дневнике» Достоевский обращает взор в другую сторону — туда, откуда, как он полагает, ещё можно ожидать спасения? «Народ» — последняя ставка автора Пушкинской речи³⁹.

Сам Достоевский всю жизнь хотел, чтобы его услышали. В 1880 году наконец это произошло. И — тотчас же явились обвинения в кликушестве, юродстве и прочих устремлениях «всезаячьего» свойства.

При желании Достоевского можно было понять именно так.

Когда-то он писал, что, если бы во время лиссабонского землетрясения какой-нибудь местный лирик сочинил «Шёпот, робкое дыханье...», возмущённые лиссабонцы всенародно казнили бы сего незадачливого стихотворца (правда, добавляет Достоевский, впоследствии поставили бы ему на площади памятник). Теперь он сам невольно оказался в подобной роли: в паузе между взрывами народовольческих бомб призыв к нравственному совершенствованию мог показаться насмешкой.

Как же быть с Пушкинской речью?

Любая неоднозначная художественная структура поддаётся более или менее однозначной интерпретации. И «Война и мир», и «Анна Каренина», и «Отцы и дети», и «Преступление и наказание» *при желании* могут быть истолкованы (и нередко истолковывались) как реакционные произведения. Устойчивость подобной репутации зависит не только от «внутреннего сопротивления» текста, но и от внешних факторов: в первую очередь от укоренённости той или иной точки зрения в историко-литературной традиции.

История восприятия Пушкинской речи поучительна и драматична. С восторгом принятая *слушателями*, она «на другой день» предстала совсем в ином качестве перед своими *читателями*. Едва появившись на свет, она сделалась козырем в политической борьбе.

Козырь этот был немедленно разыгран. Речь поспешили усыновить те, кто вовсе не обладал правом духовного отцовства.

Об этом стоит сказать подробнее.

Опасные игры

«...Во мне нуждаются... вся наша партия, вся наша идея, за которую мы боремся уже 30 лет...» — разъясняет Достоевский Анне Григорьевне ситуацию накануне праздника. «Наша партия» поминается неоднократно. Попробуем подсчитать: кто же конкретно к ней принадлежит.

Сам Достоевский называет только два имени: «Оппонентами же им (то есть либералам. — *И. В.*), с нашей стороны, лишь Иван Серг<еевич> Аксаков (Юрьев и прочие не имеют веса), но Иван Аксаков и устарел, и приелся Москве».

Итак, Юрьев и Аксаков. Не очень-то густо. Но даже эти двое — союзники, так сказать, официальные. Ни тот ни другой не являются единомышленниками в полном смысле слова. Это, скорее, круг, близкий Достоевскому, тяготеющий к нему, но вовсе не «однопартийцы». И автор Пушкинской речи старается соблюсти по отношению к ним известную дистанцию.

Может быть, Катков? Он — «шеф», патрон, работодатель, его мнение уважаемо. Но он — «человек вовсе не славянофил»⁴⁰. Издатель «Русского вестника» ни разу не отнесён к «нашей партии».

Кто же остаётся? Да никого. При ближайшем рассмотрении выясняется, что в «нашу партию» практически входит один Достоевский.

Правда, отправляясь в Москву, он сообщает Победоносцеву: «Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз в самом крайнем духе моих (*наших* то есть, осмелюсь так выразиться) убеждений...»⁴¹

Позволим себе в данном случае Достоевскому не поверить. И не потому, что он неискренен, — нет. Но с Победоносцевым у него особые игры (даже сама стилистика их переписки, тщательный подбор выражений, осторожная дозировка «добрых чувств» — всё это свидетельствует не столько о душевной близости, сколько о дипломатии, причём взаимной). Кроме того, не следует забывать, что в это время только что назначенный обер-прокурор Святейшего синода почти неизвестен политически: «совиные крыла» он «прострёт» над Россией несколько позже. И, пожалуй, трудно представить бóльшую дистанцию, нежели та, которая отделяет пафос Пушкинской речи от «государственной программы» Победоносцева.

По окончании Пушкинского праздника Победоносцев сдержанно, не вдаваясь в подробности, поздравит Достоевского с успехом. И — вслед за поздравлениями пошлёт ему «Варшавский дневник» со статьёй Константина Леонтьева. Статья эта гневлива и сокрушительна. К. Леонтьев не только по пунктам уничтожает Речь с точки зрения своего — аскетического и безысходного — христианства, он лоб в лоб сталкивает её с другим публичным выступлением, состоявшимся почти в одно время с московскими торжествами, — в Ярославской епархии на выпуске в училище для дочерей священно- и церковнослужителей. «...В речи г. Победоносцева (оратором был именно он. — *И. В.*), — пишет Леонтьев, — Христос познаётся не иначе как через *Цер-*

ковь: «любите прежде всего Церковь». В речи г. Достоевского Христос... до того помимо Церкви доступен всякому из нас, что мы считаем себя вправе... приписывать Спасителю никогда не высказанные Им обещания «всеобщего братства народов», «повсеместного мира» и «гармонии»...»⁴²

К. Леонтьев подметил чрезвычайно любопытную вещь: в Пушкинской речи о Церкви не говорится ни слова (вспомним: «Церковь — весь народ» — положение, с которым вряд ли согласился бы автор «Варшавского дневника»). Та Церковь, над которой начальствует Победоносцев (то есть реально существующий институт), не играет в «пророчествах» Достоевского никакой роли. Впрочем, как и реально существующее государство. Достоевский в данном случае имеет дело с общественным, и только с общественным.

Мы уже говорили о том, что автор «Дневника писателя» предпринял последнюю в русской литературе попытку осуществить «идейное опекуновство» над властью. Но почему сама тенденция оказалась столь живучей?

Русское самодержавие, как это ни странно, на протяжении веков так и не выработало своей собственной, адекватной себе и закреплённой «литературно» идеологии. Оно строит свою моральную деятельность на традиции и предании, на силе исторической инерции или, в лучшем случае, на эффектных формулах вроде уваровской. Как историческая данность оно вовсе не совпадает с тем, что «предлагали» ему — в разное время — Посошков, Державин, Карамзин, Пушкин, Гоголь и Достоевский.

В момент кризиса (а именно такой момент имеет место в 1880 году) могло казаться, что в силу собственной «безыдейности» власть примет и санкционирует одну из предлагаемых ей «чужих» идеологических доктрин. И славянофилы вроде Ивана Аксакова, и либералы «тургеневского» типа могли надеяться (и надеялись), что выбор падёт именно на них.

Мог надеяться на это и Достоевский. Он предлагает свою собственную «подстановку». Но всерьёз принять идеал Пушкинской речи означало бы для самодержавия изменить свою собственную историческую природу.

Российская монархия предпочла совсем иную программу — программу Победоносцева и Каткова. Она сделала это сразу же, как только почувствовала себя уверенней.

То, о чём говорил Достоевский в своём последнем «Дневнике» («позовите серые зипуны»), было дружно похоронено в 1882 году — не кем иным, как теми же Победоносцевым и Катковым: окончательный крах идеи Земского собора стал катастрофой и для «нашей партии» (если всё же причислить к ней И. Аксакова).

Достоевский до этого не дожил. Но сейчас, в 1880 году, он *нужен* Победоносцеву и *нужен* Каткову. Он — их формальный союзник, единственная серьёзная литературная сила с их стороны⁴³. Они ни в коем случае не желают обострять разномыслие. Более того: неприятие Речи слева как нельзя кстати для них.

Они спешат поставить на ней свою собственную мету.

Пушкинская речь появилась в «Московских ведомостях». И это во многом предопределило её дальнейшую судьбу. Широкой публике не было дела до того, что появилась она там почти случайно (после увиливаний Юрьева, первоначально хотевшего напечатать её в «Русской мысли»), что для Достоевского не последнюю роль в этой истории играли чисто материальные соображения. Да читатели и не желали знать таких подробностей. Появление Речи в газете Каткова воспринималось как политический жест, как акт идейной солидарности.

Репутация издания не могла не сказаться и на репутации Речи.

Орест Миллер заметит в «Русской мысли», что, хотя Пушкинская речь и появилась в «Московских ведомостях» («не берусь разгадать этого странного... факта»), её автор «в самом корне» отличается от своих издателей. «...Именно *всечеловек*, — добавляет Миллер, — всего менее и подходит к «Московским ведомостям»... Каков бы ни был этот язык (можно, если угодно, называть его даже юродствующим), но это, конечно, не язык “Московских ведомостей”».

Почему же тогда Катков взял «статью»? Он предложил Достоевскому напечатать её, ещё не слыша и не читая. После же грандиозного успеха Речи её публикация сделала бы честь любому изданию. «Они напечатали речь, — говорит О. Миллер, — но кто же бы отказался от речи Достоевского?»⁴⁴

Катков поспешил разыграть этот козырь. Но каково было его истинное отношение к тому, что он столь поспешно обнародовал?

Об этом сохранилось одно забытое, но в высшей степени выразительное свидетельство.

В 1903 году В. Розанов опубликовал замечания покойного К. Леонтьева на рукопись одной своей статьи. В этой статье Розанов цитировал опубликованные после смерти Достоевского

далеко не лестные отзывы последнего в адрес Леонтьева (как раз по поводу его критики Пушкинской речи). Пытаясь оправдаться перед Розановым, Леонтьев спешит заметить, что в своём негативном отношении к Речи он не был одинок. «Катков заплатил ему (Достоевскому. — *И. В.*) за эту речь 600р., но за глаза смеялся, говоря: “*Какое же это событие*”»⁴⁵.

Итак, круг замкнулся. Охранительный лагерь отнюдь не принимает Речь как свою. Потенциальным союзникам (да и то не всем) она нужна только как временное подспорье, как идущая в руки карта в их тактической игре. И когда К. Леонтьев обрушивается на Пушкинскую речь (он «чистый» идеолог, а не реальный политик, он может себе это позволить!), Победоносцев (осторожно, без комментариев) спешит довести его негодование до сведения Достоевского. А первый публикатор Речи Катков «за глаза» над ней *смеётся*. Для них всех Речь — «не событие».

Событием Пушкинская речь была для России.

«Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими», — говорит автор Речи. Слово «фантастический» произнесено вновь.

Фантастическим Алеко и Онегину, людям, порождённым фантастическим ходом отечественной истории, противопоставляется «русское решение вопроса». Но это решение, по собственному признанию Достоевского, тоже оказывается *фантазией*.

Крайности сходятся.

«Сон смешного человека», эта грустная и красивая утопия, назван «фантастическим рассказом». Но точно так же именуется и «Кроткая», в основе которой лежит реальнейшая бытовая драма.

Пушкинская речь имеет строгий жанровый подзаголовок: «Очерк». Её автор мог бы смело добавить: «фантастический».

«Если наша мысль есть фантазия, — ещё раз повторим слова Достоевского, — то с Пушкиным есть по крайней мере на чём этой фантазии основаться».

Пушкин — последний (и, может быть, единственный) *аргумент* Пушкинской речи. Ибо он — самое фантастическое из всего, что породила русская действительность. И тот же Пушкин — её высшая реальность.

«Тьмы низких истин...» — сказал Пушкин.

глава XV

развязка с тургеневым

Вечные соперники

Лев Толстой в Москву не явился (как выразился современник, он «блистал» своим отсутствием). Был упущен великий шанс: историческое *свидание трёх* так и не состоялось. Оставались двое: они сошлись в Москве, не ведая, что сходятся в последний раз.

Имеет смысл остановиться на событиях «по второму заходу»: с точки зрения этого финала.

Оба они готовились самым тщательным образом: Тургенев уезжает в Спасское-Лутовиново, Достоевский — в Старую Руссу. Вдали от мирской суеты трудятся они над своими текстами: каждый отлично понимает, что именно его слово сойдётся со словом соперника один на один.

Да, именно им будут принадлежать главные роли. Уединясь — один в своём родовом поместье, другой — в недавно приобретённом (первом и единственном в жизни) собственном доме, — уединясь, они, очевидно, не могут целиком унести в горние области духа: они не могут не думать о встрече.

Их недавние петербургские контакты — достаточно редкие — прошли сравнительно гладко: во всяком случае, не случилось ничего, подобного прошлогоднему «обеденному инциденту». В последний момент ситуация, правда, омрачилась историей с каймой — но тут формальным виновником предстал автор «Замечательного десятилетия». («Приехал и Анненков, — сообщает Достоевский Анне Григорьевне, — то-то будет наша встреча».)

Возможная встреча с Анненковым волнует его исключительно в личном плане; диалог с Тургеневым — ещё и в общественном. Необходимо противостоять «враждебной партии», ибо она («Тургенев, Ковалевский и почти весь Университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность». Тургенев окружён друзьями и единомышленниками: тем более трудной представляется задача.

«Интриги» продолжаютя на самом празднике. Участники торжеств «случайно» сходятся у Тургенева, а его, Достоевского, на это предварительное совещание не приглашают: «Стало быть, меня прямо обошли».

Их первая встреча, надо полагать, произошла 3 июня. «Тургенев со мною был довольно мил...» — лаконически докладывает он Анне Григорьевне. Так; но отчего вдруг приятель Тургенева, Ковалевский («...большая толстая туша и враг нашему направлению»¹), столь пристально его разглядывает? Очевидно, не к добру².

Сам Тургенев «довольно мил» — и это по крайней мере свидетельствует о том, что они разговаривают, общаются. Поэтому следует признать ошибочным утверждение одного из мемуаристов (Д.Н. Любимова, сына редактора «Русского вестника») о полном отсутствии между ними дипломатических отношений.

Впрочем, приводимый воспоминателем анекдот весьма характерен.

В Москве, пишет Любимов, много говорили «о невозможных отношениях между Достоевским и Тургеневым». Распорядители праздника были в отчаянии, «и Д.В. Григоровичу специально поручено было следить, чтобы они не встречались (в Петербурге, как помним, эти функции выполнял Я.П. Полонский. — *И. В.*). На рауте в Думе вышел такой случай. Григорович, ведя Тургенева под руку, вошёл в гостиную, где мрачно стоял Достоевский. Достоевский сейчас же отвернулся и стал смотреть в окно. Гри-

горович засуетился и стал тянуть Тургенева в другую комнату, говоря: «Пойдём, я покажу тебе здесь одну замечательную статую». — “Ну, если это такая же, как эта, — ответил Тургенев, указывая на Достоевского, — то, пожалуйста, уволь...”»³

Даже если Любимов приводит подлинную фразу Тургенева, нельзя сомневаться, что произнесена она была за спиной адресата этой шутки: он вряд ли оценил бы тургеневский юмор.

Сам Достоевский тоже описывает «раут в Думе». «Подходил ко мне Островский — здешний Юпитер. Любезно подбежал Тургенев. Другие партии либеральные, между ними Плещеев и даже хромой Языков, относятся сдержанно и как бы высокомерно: дескать, ты ретроград, а мы-то либералы»⁴.

Замечательно, что все перечисленные лица — самостоятельные «партии»: сколько людей, столько и партий.

Важны не столько убеждения, сколько сам человек.

Тургенев может быть или не быть с ним любезным. То или иное поведение — вопрос тактики. Но он уже не изменит своего мнения об авторе «Дыма». Оно сложилось прочно и — навсегда.

В декабре 1879 года говорено одному знакомому (последний занес эти слова в свой дневник): «Он (то есть Иван Сергеевич) по самой своей натуре сплетник и клеветник... Он... всю мою жизнь дарил меня своей презрительной снисходительностью, а за спиной сплетничал, злословил и клеветал».

«Презрительная снисходительность» — вот обида, затаённая ещё с молодых лет и с годами только укрепившаяся в своей уязвлённой правоте. Конечно, теперь Тургенев не позволит себе явной бестактности. Однако за глаза он не стесняется в выражениях, именуя, например, «Подростка» кислятиной и больничной вонью, никому не нужным бормотанием и психологическим ковырянием.

«Кислятиной» роман Достоевского назван в 1875 году в письме к Салтыкову-Щедрину, вместе с Некрасовым публикующему этот роман в «Отечественных записках». Впечатление, производимое «Преступлением и наказанием», сравнивается с продолжительной холерной коликой. Тургенев жалуется Я.П. Полонскому:

* Этот «анекдот» по типу совершенно аналогичен другому, уже приводившемуся. На вечере 9 марта 1879 года Тургенев, уязвлённый враждебным отношением к нему Достоевского и Салтыкова, демонстративно замечает: «Здесь что-то холодно!»

«Дают нам каких-то больных людей, грязных оборвышей, юри-
дивых или просто безумных развратников; водят нас в какие-то
лачуги, с удовольствием описывают вонь и грязь, при одной
мысли о которой начинает тошнить, и приказывают вам всем
этим интересоваться, любить этих уродливых людей. Да я просто
ничего этого не хочу, мне ничего этого не надо...»⁵

Тургенев осторожен: имя Достоевского не названо (у Полон-
ского в это время присутствует посторонний), однако все пре-
красно понимают, о ком идёт речь.

Тургенев не приемлет Достоевского как художника, не отрицая,
впрочем, его бесспорного литературного дара. Со своей стороны
Достоевский, ценя Тургенева как писателя («А талантом его Бог
не обидел: может и тронуть и увлечь»), ставит под сомнение то,
что, по его мнению, должно составлять главную суть искусства.

Он полагает, что даже в лучших вещах Тургенева присутствует
некая преднамеренность. «Чувствуется, что он совсем не любит
того, кого столь трогательным образом описывает. Словно игра
одна актёрская: “Смотрите, мол, как я умею чувствовать”».

Их мнения друг о друге пристрастны и несправедливы.

Уже одно то, *как* они говорят, затронув болезненную тему, выдаёт
стойкую взаимную неприязнь. Достоевский «сильно нерв-
ничал, то двигая как бы произвольно руками, то передвига-
вая бумаги на столе». «Только под конец, — замечает его собе-
седник, — несмотря на произносимые едкие слова, он говорил
довольно плавно и спокойно, но с губ его не сходила ироническая
усмешка». В свою очередь Тургенев судит о сопернике «громко,
даже чуть-чуть с привизгом», тоном, в котором звучат «нотки
личной обиды»⁶.

Да, в напряжённости и резкости их взаимоуничтожающих оце-
нок заключено не одно лишь эстетическое отталкивание. Под
подозрением находятся моральные качества оппонента.

Знал ли Достоевский о тургеневских отзывах? Несомненно:
круг, где они произносились, достаточно узок, и к этому кругу
принадлежат они оба. Более того: Достоевский убеждён, что Тур-
генев является не только распространителем, но и источником
порочающих его пересудов и клевет.

Но может быть, подозрения Достоевского вызваны всё
той же мнительностью и зиждутся на предположениях вовсе
не основательных?

Это не совсем так.

19 июля 1880 года (то есть через месяц после пушкинских торжеств) А.А. Киреев записывает в дневнике: «Тургенев — совершенный *gamolli*, делает гадости, позволяет всякой дряни (вроде редакции «Голоса») злоупотреблять его именем в борьбе с Достоевским, про которого эта партия чёрт знает что рассказывает»⁷. В свете подобных свидетельств резкости и преувеличения со стороны Достоевского (а сторона эта порою действительно сильно преувеличивает) если и не извинительны, то по крайней мере понятны.

Их личное и идейное противостояние достигает на Пушкинском празднике своей высшей точки.

«Он со злобою удалился...»

Описывая «потрясающие, восторженные рукоплескания», которые раздались в честь избрания Тургенева почётным членом Московского университета, Страхов добавляет: «Сейчас же почувствовалось, что большинство выбрало именно Тургенева тем пунктом, на который можно устремлять и изливать весь накопляющийся энтузиазм». Его чествовали как главного посланца русской литературы. «И так как Тургенев, — продолжает Страхов, — был на празднике самым видным представителем западничества, то можно было думать, что этому литературному направлению достанется главная роль в предстоявшем умственном турнире»⁸.

Когда после открытия памятника Тургенев сел в коляску, ему, прямо на площади, «сделали настоящую овацию, точно вся эта толпа безмолвно сговорилась и нарекла его наследником Пушкина»⁹.

Сев в коляску, Тургенев проследовал с Тверской площади на Моховую, где его ожидал уже описанный нами министерский поцелуй.

Выше этой точки общественная температура вокруг Тургенева уже не поднималась.

Был ли Достоевский свидетелем тургеневского триумфа, всего на два дня опередившего его собственный, ещё более могущественный? Подобный вопрос никогда не возникал: присутствие Достоевского считалось само собой разумеющимся.

Позволим себе в этом усомниться.

Накануне открытия, сообщая Анне Григорьевне о предстоящем дне, он сетует на крайнюю уплотнённую программу, исполнение которой требует немалых физических усилий. «Представь себе, что открытие памятника будет 6-го числа, с 8 часов утра я на ногах. В два часа кончится церемония и начнется акт в Университете». И добавляет в скобках: «Но, ей-богу, не буду»¹⁰.

«Не будет» не из-за неуважения к учреждению, а потому, что после этой церемонии предстоит ещё обед в Думе, а затем он, «усталый, измученный, наевшийся и напившийся, должен читать монолог Летописца (из «Бориса Годунова». — *И. В.*) — самый трудный к чтению, требующий спокойствия и обладания сюжетом».

В интервале между церемонией открытия и думским обедом он решает позволить себе небольшой роздых.

Это предположение подтверждается тем, что в письме от 7 июня, описывая предшествующий день, он ни словом не обмолвится об акте в Университете. Но зато подробно говорит о вечерних чтениях, где он выступал вместе с Тургеневым и был принят восторженно. Между тем по своей значимости университетский триумф Тургенева важнее вечерних чтений. И если всё же событие это осталось не отмеченным таким ревнивым наблюдателем, как Достоевский, то отсюда должно следовать, что он не присутствовал при сём лично*.

Относительно знаменитого думского обеда (где говорил Катков и закрывал свой бокал Тургенев) таких сомнений не возникает. Но попробуем взглянуть на эту трапезу ещё с одной стороны.

Неизвестный воспоминатель (наш знакомец Одиссей, поспешивший отметить к двадцатипятилетию со дня смерти писателя), повествуя о думском обеде, замечает, что на нём Достоевский проявил «черту болезненного самолюбия, свойственную многим крупным талантам». В чём же, по мнению Одиссея, заключалась эта черта?

Распорядители застолья «отвели место Достоевскому за первым столом, но несколько подальше от центра. Он заплакал и категорически заявил, что не сядет *ниже* Тургенева, и тот любезно уступил ему место, подвинувшись к Стасюлевичу»¹¹.

Это, пожалуй, слишком — даже для Достоевского. Представить автора «Карамазовых» проливающим слёзы из-за того, что

* Заметим также, что присутствие Достоевского на университетском акте не отмечено также ни в одном из известных нам источников.

его обошли местом, хотя и соблазнительно, но всё-таки трудно. Картина эта вызывает тем большее недоверие, что обозначенный в ней Стасюлевич, к которому якобы «подвинулся» Тургенев, мог в действительности находиться от него на некотором отдалении, а именно — в Петербурге.

Но если Одиссей самолично присутствовал на обеде, очевидно, его ретроспекции покоятся на какой-то фактической основе. Возможно, Достоевский и в самом деле был чем-то огорчен. Чем же?

На этот вопрос помогает ответить другой, гораздо более достоверный источник.

13 июня 1880 года, то есть всего через день после возвращения из Москвы в Старую Руссу, Достоевский отправляет следующее послание.

«Глубокоуважаемая Вера Николаевна, — пишет он. — Простите, что, уезжая из Москвы, не успел лично засвидетельствовать вам глубочайшее моё уважение и все те отрадные и прекрасные чувства, которые я ощутил в несколько минут нашего коротковременного, но незабвенного для меня, знакомства нашего»¹².

У него случались такие внезапные приливы. Впервые увиденный им человек (особенно женщина) мог чем-то поразить его воображение. Какая-то неуловимая черта могла глубоко запасть ему в душу — и он отзывался благодарностью, симпатией, приязнью.

Так произошло и ныне. Вера Николаевна — жена Павла Михайловича Третьякова, основателя Третьяковской галереи (по его заказу Перов написал в своё время знаменитый портрет). Она отметила в дневнике: «На обеде... познакомилась с Достоевским... который сразу как бы понял меня, сказав, что он верит мне, потому что у меня и лицо и глаза добрые, и всё то, что я ни говорила ему, всё ему было дорого слышать как от женщины».

Его поражает доброта. В своём письме он называет тридцатипятилетнюю В.Н. Третьякову «прекрасным существом».

Вера Николаевна продолжает: «Собирались мы сесть вместе за обедом, но, увидев, что я имела уже назначенного кавалера, Тургенева, он со злобою удалился и долго не мог уgomониться от этой неудачи»¹³.

Его можно понять. Только он ощутил прилив острого интереса к человеку, к женщине, которая среди окружавших его и не очень близких ему людей расположила его к себе с первого взгляда, только настроился на душевную беседу, как его соперник, веч-

ный баловень судьбы, вновь заявил своё присутствие и лишил его этого невинного удовольствия.

Было отчего «со злобою» удалиться*.

Уж не эту ли сцену имеет в виду таинственный Одиссей? В его памяти могло сохраниться заметное постороннему глазу неудовольствие Достоевского, которое теперь, через двадцать пять лет, объясняется как следствие необходимости сесть «ниже» Тургенева.

Между тем автор «Дыма» занимал свою соседку беседою вполне светскою. Замечательно, что, поместившаяся рядом с Тургеневым (и, следовательно, напротив Каткова), она ни словом не упоминает о знаменитом тургеневском жесте с бокалом: эти материи её, очевидно, не интересуют.

С кем разговаривал в это время «удалившийся» Достоевский, мы можем только гадать. Но вскоре он был вознаграждён.

«Во время обеда, — пишет Вера Николаевна, — я вспомнила о Достоевском и желала дать ему букет лилий и ландышей с лаврами, который напоминал бы ему меня — поклонницу тех чистых идей, которые он проводит в своих сочинениях...» И, поднявшись из-за стола, она исполняет своё намерение.

«Он обрадовался им (цветам. — *И. В.*) потому, что я вспомнила о нём за обедом, сидевши рядом с его литературным врагом — Тургеневым».

Вера Николаевна тонко понимает ситуацию. И чисто по-женски пытается всё сгладить, утрясти, наладить, вернуть своему собеседнику хорошее расположение духа. Ей это наконец удаётся. «Он нервно мялся на одном месте, выговаривая всё своё удовольствие за внимание моё к нему...» Он намеревается поцеловать ей руку, хотя тут же замечает, что это не принято в большом собрании, «но всё-таки, пройдя шагов пять, поцеловал мне руку с благодарностью...»¹⁴

Выше мы приводили слова его дочери о том, что он не любил оказывать женщинам подобные знаки внимания. По-видимому, бывали исключения.

* В.Н. Третьякова говорит, что Тургенев был её «назначенным» кавалером. «Назначение», очевидно, исходило от одного из хозяев обеда — московского городского головы С.М. Третьякова, родного брата мужа Веры Николаевны (сам муж отсутствовал по болезни). Такое подчёркнутое внимание к почётному гостю могло лишний раз покоробить Достоевского (ведь для него самого не удосужились «назначить» даму).

Если иметь в виду, что обед в Дворянском собрании начался в шесть часов вечера и длился примерно до девяти и что значительную часть этого времени В.Н. Третьякова провела за столом рядом с Тургеневым, получается, что их общение с Достоевским было не столь продолжительным. И всё-таки он напишет ей о своём глубочайшем уважении, которое он «когда-либо имел счастье ощущать к кому-нибудь из людей»¹⁵.

Уважение тоже бывает с первого взгляда.

Больше они никогда не встретятся. Но он этого не знает. И, поцеловав Вере Николаевне руку, он направляется в главное помещение Дворянского благородного собрания (известное ныне как Колонный зал Дома союзов), где нетерпеливо шумит публика, ожидающая своих любимцев.

Апофеоз при электрическом свете

Он проходит к эстраде, «странно съёжившись», может быть чувствуя себя не очень ловко под взглядами сотен устремлённых на него глаз. В отличие, скажем, от Тургенева, который ощущал себя как рыба в воде и, по свидетельству очевидца, «стремился в этот вечер сосредоточить на себе внимание публики, преимущественно пред другими писателями, находившимися в зале...»¹⁶

Это ему вполне удалось. Ибо ни Николай Рубинштейн, дирижировавший оркестром, ни знаменитые вокалисты, потрясавшие своими руладами своды Собрания, ни даже любимцы обеих столиц драматические актёры Горбунов и Самарин — нет, не они составляли главный предмет зрительских восторгов. «И опять Пушкин сливается с Тургеневым»¹⁷, — замечает мемуаристка, поведавшая нам о «странно съёжившемся» Достоевском.

Тургенев чувствовал настроение зала. Он прочёл стихотворение Пушкина (видимо, это было «Вновь я посетил...») — и «публика ясно поняла намерения чтеца применить к самому себе те чувства, которые испытал когда-то Пушкин»¹⁸. («...Прескверно прочёл...»¹⁹ — сообщает Достоевский Анне Григорьевне. «Читал тихо, но было что-то в его чтении, несмотря на старческую шепелявость (вспомним язвительное: «старичок-то пришёптывает!» — *И. В.*) и слишком высокий голос, завораживающее»²⁰, — не соглашается с Достоевским одна из слушательниц.)

Тургенева вызывали семь раз. «Больше меня»²¹, — ревниво отмечает его соперник, не ведая, что это обстоятельство не укрылось и от агента III Отделения, донёсшего куда следует: «Других наших литературных известностей встречали с гораздо большим спокойствием»²².

Публика неистовствовала — и Тургенев, выйдя к краю рампы, «голосом, в котором слышалось волнение»²³, прочитал пушкинское «Последняя туча рассеянной бури...»:

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась... —

стихи, как нельзя более подходившие к настроению момента.

Современник так живописует сцену: «Довольно!» — раздался энергичный вызов чтеца. Вся зала как один человек грянула «браво»²⁴.

Странные, однако, бывают сближения. Один из героев «Бесов», знаменитый писатель Кармазинов (как известно — злая пародия на Тургенева)²⁵, позорно проваливается, читая на вечере своё произведение «Mecsi»: в последнем в свою очередь были спародированы некоторые мотивы тургеневского рассказа «Довольно». Но вряд ли кому-либо из присутствовавших в зале пришла на ум эта неуместная аналогия.

Ещё менее вероятно, чтобы кто-либо из зрителей, потенциальных читателей «Бесов», соотнёс известную сцену этого романа — «кадрить литературы» — с той торжественной церемонией, которой завершился литературный вечер 6 июня.

Церемония эта (именовавшаяся в афише апотеозом) носила подчеркнuto аллегорический характер. «При соединённых звуках оркестра и хора взвился занавес, и глазам публики представился бюст Пушкина на невысоком пьедестале, поставленном посреди сцены».

Бюст утопал в зелени и был освещён ярким электрическим светом: сиянию славы основоположника новой русской литературы по мере сил способствовали последние достижения технического прогресса.

Некоторое время сцена оставалась пуста; затем из-за боковой кулисы вышли оперные певицы, а за ними гуськом потянулись известные русские писатели — Тургенев, Островский, Достоевский, Писемский, вперемежку с менее известными Потехиным и Юрьевым и уж почти никому не известными Максимовым

и Поливановым. «Каждый из вышепоименованных нёс с собой венки, который клался им к подножию пушкинского бюста».

По свидетельству очевидца, перед началом этого «номера» в публике «заметно было нетерпеливое и любопытное ожидание». По-видимому, не меньшее, чем на балу в «Бесах»: там весь город толкует о предстоящем литературном «шоу».

Еще деталь: в «Бесах» идею «кадрили литературы» городская молва приписывает Кармазинову, который «даже сам, говорят, хотел нарядиться и взять какую-то *особую и самостоятельную* (курсив наш. — И. В.) роль». И ныне именно Тургеневу, по убеждению присутствовавших, принадлежала сама мысль об «апотеозе». И именно он берёт на себя некую *особую* роль.

В отличие от «кадрили» в «Бесах», церемония в Благородном собрании была встречена бурными рукоплесканиями. Аплодировали, впрочем, не все.

«...Апотеоз этот, — записывает современник, — вышел, по крайней мере по моему личному впечатлению, несколько комичен».

Пока Н.Г. Рубинштейн, размахивая дирижёрской палочкой, управлял оркестром и невидимым хором, участники церемонии выстроились позади Пушкина (по словам того же очевидца, «глухо глядя на публику»). Венки, как было сказано, слагались к подножию бюста. «Один только Тургенев, подойдя к бюсту, увенчал своим венком главу Пушкина».

В этом заключалась его особая роль.

Нам неизвестно, как отнёсся Достоевский к «апотеозу» и к своему в нём участию. Не посетила ли его мысль об удивительной судьбе его романтических фантазий? О странных сближениях сюжетов — вымышленных и реальных, об их перевоплощениях и нечаянных встречах? Не волновала ли его пугающая способность угадки — тех событий, с которыми ему ещё предстояло столкнуться в будущем: казнь в «Идиоте» — и казнь Млодецкого, «кадриль литературы» — и московский «апотеоз»?

«Высокая фигура Тургенева, с его внушительной седою головой, особенно выделялась в среде писателей, допущенных на сцену... Максимов, Потехин и прочая литературная мелкота самодовольно улыбались на этом самодельном Олимпе. Даже скромная фигура Достоевского как-то стушеввалась перед видным станом Тургенева, выступившего несколько вперёд и усерднее других кланявшегося в ответ на восторженные приветствия».

Трезвому скептическому наблюдателю (археологу М.А. Веневи-тинову) не нравится этот спектакль. Ибо литераторы не столько чувствуют Пушкина, сколько исполняют роли статистов при Тургене-ве. «Апотеоз... — добавляет он, — как-то не вязался с представлением об обыкновенной скромности наших доморожденных писателей и с простотою русского человека...»²⁶

Но такова была атмосфера этого праздника, где главные участники «волновались и напрягались, как борцы, которым предстоит победа или поражение». Страхов рассказывает, что две его знакомые дамы, приехавшие из Петербурга («большие поклонницы просвещения и литературы»²⁷), горько жаловались ему, что они просто не узнают знакомых литераторов, настолько те стали вдруг надменными и поглощёнными собой.

Страхов не поясняет, кого именно имели в виду вышеупомянутые дамы. Но «надменность» плохо вяжется со «странно съезжившимся» Достоевским.

В конце вечера он должен был «съежиться» ещё больше. И не только потому, что соперник обошёл его по «сумме оваций». Его насторожило другое.

«За кулисами, — сообщает он Анне Григорьевне, — ...я заметил до сотни молодых людей, оравших в исступлении, когда выходил Тургенев. Мне сейчас подумалось, что это клакеры, *claque*, посаженные Ковалевским»²⁸.

Он, конечно, преувеличивает. Энтузиазм был искренний. Но ведь недаром объясняет ему Иван Аксаков, что клакеры — это студенты Ковалевского («все западники»); они «заготовлены» заранее, чтобы «выставить Тургенева как шефа их направления». И именно поэтому Аксаков на следующий день откажется читать свою речь после Тургенева.

В антракте Достоевский прошёлся по зале — и «бездна людей, молодёжи и седых дам бросались ко мне, говоря: вы наш пророк, вы нас сделали лучшими, когда мы прочли Карамазовых. (Одним словом, я убедился, что «Карамазовы» имеют колоссальное значение.)»²⁹

Незнакомые люди «толпами» приходят к нему за кулисы — позать руку. Его обступают на лестнице при разъезде. В общем, он не может пожаловаться на отсутствие интереса к его особе. Он явно несправедлив к сопернику: сам он любим, пожалуй, не меньше.

Тут автору следует остановиться. Ибо он как бы различает упрёк, что в его книге наличествует явное недоброжелательство к Тургеневу и «перекос» в пользу Достоевского.

Автора огорчило бы подобное предположение. Ему не хотелось бы специально разъяснять, что его собственное отношение к творцу «Отцов и детей» не совпадает с точкой зрения его героя. Но он, автор, как уже говорилось, вовсе не претендует на то, чтобы блюсти заслуженную его персонажами меру академических воздаяний. Именно глубокое уважение к ним повелевает автору не подгонять историю «в пользу» литературы. Он надеется на читательские объективность и понимание. Он в первую очередь озабочен тем, чтобы рассказать правду: уловить скрытую пульсацию взаимных симпатий и антипатий, разобраться в глухом борении страстей — общественных, литературных и личных. Подобная задача требует не только ретроспективных созерцаний, но и взгляда *изнутри*.

«Перестаньте, — советовал Г.К. Честертон, — хоть на время читать то, что пишут живые о мёртвых; читайте то, что писали о живых давно умершие люди»³⁰.

Последуем этому совету — и вернёмся к июньским дням 1880 года.

Главные баталии были ещё впереди.

«Речь была встречена холодно...»

В час дня 7 июня зал, бывший вчера свидетелем литературных чтений, вновь наполнился возбуждённой толпой. На эстраде, затянутой красным сукном, высился бюст Пушкина: он был покрыт венками вчерашнего «апотеоза».

Писатели, среди которых находился и Достоевский, поместились на эстраде.

Первое заседание Общества любителей российской словесности открыл его председатель С.А. Юрьев. Вслед за ним на кафедре взойшёл делегат Французской Республики Луи Леже (или, как писали газеты, — Лежар). Он прочёл свою речь по-русски, хотя и с сильным акцентом.

Лежара встречали восторженно: присутствие иностранного гостя на национальных торжествах как бы сообщало им важность события европейского.

Впрочем, внимание Европы к московским торжествам этим не ограничилось. Были оглашены письма от немецкого романиста Бертольда Ауэрбаха, от Виктора Гюго (он выражал сожаление

ние, что по многочисленности занятий не может присутствовать в Москве лично, но заверял, что мысленно он там) и от английского поэта Альфреда Теннисона.

Все три письма были на имя Тургенева³¹.

Среди присутствующих в зале писателей один Тургенев был более или менее известен на Западе; он один имел давние и устойчивые связи с зарубежным литературным миром. Для большинства европейских литераторов именно Тургенев являлся крупнейшим представителем русской словесности.

Достоевский, конечно, осведомлён об этом обстоятельстве. В декабре 1879 года он говорит одному своему знакомому, что Тургенев желает, чтобы его перевозили и дома, и за границей. «Для этого и к Флоберу пролез, и ко многим другим, — желчно добавляет Достоевский. — Ну а для публики такая дружба хороший козырь. «Я-де европейский писатель, не то что другие мои соотечественники, — дружен, мол, с самим Флобером»³².

Он опять несправедлив — и к Тургеневу, и к Флоберу. Сам он не знаком ни с кем из европейских знаменитостей (и вообще ни с кем из иностранных литераторов), и не исключено, что это вызывает у него тайную досаду.

...Долгожданный момент наступил: после перерыва на кафедре поднялся Тургенев. «Не нужно говорить... — замечает хроникер, — какую бурю вызвало это появление»³³. Речь Тургенева, блестящая по форме, адресовалась, как это признавал впоследствии М. Ковалевский, «более к разуму, нежели к чувству». Воздав должное великим заслугам Пушкина, Тургенев высказал некоторое сомнение относительно того, можно ли считать автора «Евгения Онегина» поэтом национальным (и, следовательно, всемирным), как Гомера, Шекспира, Гёте. Этот вопрос, осторожно добавил он, «мы оставим пока открытым».

«Речь была встречена холодно, — вспоминает М. Ковалевский, — и эту холодность ещё более оттенили те овации, предметом которых сделался... Достоевский»³⁴.

В свою очередь Страхов говорит, что тургеневское выступление породило у некоторых участников торжества чувство неловкости и «кто-то успел написать даже насмешливые стихи — конечно, не для публичного чтения»³⁵.

Разумеется, готовя собственную речь, Достоевский ничего не знал о тургеневском тексте. Но вновь — в который раз! — полу-

чалось так, что его воззрение сталкивалось с тургеневским: завтра, 8 июня, он ответит на вопрос о всемирности Пушкина.

В письме домой он упомянет о речи своего главного оппонента мимоходом, одной фразой в скобках (Тургенев «унизил Пушкина, отняв у него название национального поэта»³⁶): Анну Григорьевну волнует не столько тургеневское мнение о Пушкине, сколько ход нынешнего соперничества.

А.Н. Майков тоже писал из Москвы письма супруге. Перечисляя различные эпизоды праздника, он замечает, что «изо всего этого лучше всего были обеды»³⁷.

Очередной обед предстоял вечером 7 июня.

Меню как исторический источник

Он давался в залах всё того же Дворянского собрания, но в отличие от вчерашнего, думского, носил чисто литературный характер. Устроителем было Общество любителей российской словесности; платили на сей раз сами обедающие — в складчину.

Прежде чем перейти к духовным аспектам этой литературной трапезы, позволим остановиться и на её гастрономической стороне. Тем более что в бумагах Достоевского сохранился один любопытный (и вполне исчерпывающий тему) документ, а именно — обеденное меню.

Теперь этот плотный, глянцеви́тый, изящный лист, который Достоевский когда-то держал в руках, находится в отдельной папке и имеет собственный архивный номер. Меню украшено роскошной, как любили тогда выражаться, виньеткой: под бюстом Пушкина красавица в русском наряде ставит на стол, и без того ломящийся от яств, нечто похожее на поднос с пирогами. Тут же обретается и муза в античном одеянии — натурально, с лирой и кубком.

Пушкинские стихи, начертанные чуть выше, также приличествуют случаю:

Подыдем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют Музы, да здравствует Разум!

(Пушкин, впрочем, годился *на все* случаи: ведь именно этими стихами закончил вчера Катков свою «примирительную» речь!)

Однако обратимся *к тексту*.

«Суп: Пюре из шампиньонов и
Претеньер Империаль
Пирожки
Осетры разварные
Филей Ренессанс. Соус Мадера
Жаркое: дичь молодая и цыплята
Салат Лутук и огурцы
Спаржа. Соусы: Голландский и Польский
Султан глясе à la Пушкин
Чай и кофе»³⁸.

Привередливый хроникёр замечает, что «со стороны обстановочной роскоши»³⁹ это торжество значительно уступало думскому обеду. Осмелимся всё же предположить, что никто из двухсот двадцати трёх обедавших гостей не поднялся из-за стола с чувством голода.

Но внимание Достоевского способны были привлечь не только поименованные в меню блюда, некоторые из которых нам, признаться, вообразить затруднительно. Он не мог не заметить подписи, стоявшей под виньеткой: К.А. Трутовский.

Это — имя его старого товарища, соученика по Инженерному училищу. Карандашу Трутовского принадлежит первый (1847 года), и пока единственный, известный портрет молодого Достоевского: мягкий овал чуть опушенного лица, спокойный и в то же время неуловимо напряжённый взор, платок, повязанный вокруг шеи...

Во время Пушкинских дней они виделись мельком и — в последний раз.

Пора, однако, перейти к невещественной стороне обеда.

Заблуждение Луи Лежара

«...Это была, — повествует восторженный наблюдатель, — блестящая трапеза ума, чувства и остроумия, сплошной звон товарищеских, инстинктивно тянувшихся друг к другу бокалов...»

Действительно, на сей раз ничто не мешало бокалам «инстинктивно» тянуться друг к другу: Катков отсутствовал, и не было

надобности загораживать пиршественную чашу презрительною ладонью.

Отсутствовали и представители власти. Их функции взял на себя Юрьев, провозгласивший непрременный тост — «за того, чьим велением сбылось задушевное желание поэта видеть народ освобождённым и кто дал нам возможность соорудить этому поэту памятник»⁴⁰.

Впрочем, Юрьев не ограничился предложением поднять бокалы за здоровье государя. Не менее горячо почтил он и другое значительное лицо: посланца прекрасной Франции.

Учёный-славист Луи Леже был зван на празднество Тургеневым, рядом с которым он сейчас и поместился. В своих позднейших «Воспоминаниях славянофила» он упомянет об этом обеде и среди прочих назовёт Достоевского, «чьи глубоко посаженные глаза и сведённое судорогой лицо с первого взгляда свидетельствовали о том, что перед нами мятущийся гений, и о перенесённых им долгих испытаниях»⁴¹.

Приходило ли когда-нибудь на ум автору этих воспоминаний, что подмеченная им судорога в лице «мятущегося гения» имела самое прямое касательство к нему, Луи Лежару, и свидетельствовала не столько «о перенесённых долгих испытаниях», сколько о страданиях, именно в данный момент переносимых?

Разумеется, ни о чём подобном он не подозревал. Между тем у нас есть основание полагать, что дело обстояло именно так.

Поздним вечером 9 июня, накануне отъезда Достоевского из Москвы, его посетила М.А. Поливанова (речь о которой ещё впереди). Во время их беседы в номер зашёл С.А. Юрьев. Выяснилось, что он пригласил Достоевского в этот день к себе на обед, но тот его не застал, так как сам Юрьев предпочёл отобедать у Поливановых.

Юрьев пытался загладить неловкость, а Достоевский его успокаивал, говоря, что ведь не нарочно же Юрьев «убежал» из дома.

М.А. Поливанова, записавшая эту сцену, приводит следующий диалог:

« — Не могу не любить этого человека, — говорил он (Достоевский. — *И. В.*). — На депутатском обеде ведь совсем рассердился на него. Если бы вы слышали, Марья Александровна, как он унижал Россию перед Францией. Французы должно оказались великому русскому поэту, а мы удивляемся этому, носимся и чуть ли не делаем героем дня французского депутата. Я, знаете,

даже отвернулся от него во время обеда; сказал, что не хочу быть знакомым с ним.

— Вы всё за фалды меня дёргали, — вставил Юрьев.

— Я хотел вас остановить, но вы не обращали внимания.

Я очень сердит был, а после обеда не мог, пошёл к нему и помирился. Не понимает он, что он делает. — Тут оба обнялись и поцеловались»⁴².

Достоевский отходчив: он не может долго сердиться на пре-
краснодушного, многоглагольного, но незлобивого Юрьева.

Между тем у председателя Общества любителей российской словесности имелись личные причины для застольных восторгов. Дело в том, что Луи Леже привёз в Москву весть о том, что правительство его страны в честь праздника удостоивает звания *Officier de l'instruction publique* и высшего знака Золотой пальмы директора Московской консерватории Николая Григорьевича Рубинштейна, ректора университета Николая Саввича Тихонравова и его, Сергея Андреевича Юрьева.

«Не есть ли это, — воскликнул в своей речи Юрьев, — свидетельство о сочувствии французского народа к русскому?.. Не есть ли это также свидетельство о высшей цивилизации французского народа?..»

Надо полагать, именно в этот момент Достоевский начал тянуть оратора за фалды и лицо его исказилось той самой «судорогой», которую зорко подметил, но не совсем верно истолковал безмятежный адресат тоста.

Автора «Карамазовых», помимо прочего, могло покоробить ещё и то, что старик Юрьев (он ровесник Достоевского) так распинается перед сравнительно молодым, тридцатисемилетним заезжим гостем.

Очевидно, дёрнув оратора за фалды и не добившись цели, он совсем перестал его слушать. И напрасно: он мог бы уловить в словах Юрьева нечто, напоминающее его собственную, ещё не произнесённую речь.

«Если к всемирному братству, — сказал Юрьев, — тяготеет природа духа французского народа... то к тому же тяготеет и стремится природа духа русского народа, но только путями, отличными от путей французских. И быт, и дух русского народа подготованы к возможному осуществлению этой великой всемирной идеи... Человечность, стремление к братству и общность — вот наша природа»⁴³.

Но может быть, как раз эти слова Юрьева ещё больше возмутили его соседа? Уж не имел ли в виду оратор ненавистную ему, Достоевскому, идею безликого, стадного, космополитического единения, стирающего национальные личности и придающего всем одинаково тупое выражение довольства? А вовсе не ту жертвенную силу, которую, по мысли автора Пушкинской речи, до поры таит в себе русский человек, желающий стать братом всех людей?..

Меж тем обед шёл своим чередом, и Павел Васильевич Анненков провозглашал тост за здоровье двух оставшихся в живых лицейских товарищей Пушкина: господина Комовского и государственного канцлера Российской империи князя Горчакова (Комовский умрёт через несколько недель, разрешив леденящий душу пушкинский вопрос: «Кому ж из нас под старость день Лицея торжествовать придётся одному?» — в пользу восьмидесятидвухлетнего министра иностранных дел).

Да, тост провозглашал Анненков: автор недавно обнародованной сплетни о «кайме» находился в зале.

Вспомним слова Анны Григорьевны о намерении её мужа игнорировать Павла Васильевича в случае их встречи. И в письме от 31 мая Достоевский как будто подтверждает это намерение: «Любопытно, как встречу с Анненковым? Неужели протянет руку? Не хотелось бы столкновений»⁴⁴.

Вплоть до 7 июня Анненков (кстати, он, как и Тургенев, был избран почётным членом Университета) в московских письмах более не упоминается. Да и 7-го он упомянут лишь одной фразой: «Анненков льнул было ко мне, но я отворотился».

Отсюда, пожалуй, можно заключить, что рукопожатие всё-таки воспоследовало («не хотелось бы столкновений» взяло верх), ибо «льнуть» легче после того, как поздоровался с тем, к кому «льнёшь». Возможно, Анненков как-то пытался загладить впечатление от своего мемуарного «прокола», но Достоевский — «отворотился».

Впрочем, приятных встреч было больше.

Он рассказывает Анне Григорьевне, как молодёжь «потчевала» его и «ухаживала» за ним, как ему адресовали «исступлённые речи». «Я не хотел говорить, но под конец обеда вскочили из-за стола и заставили меня говорить. Я сказал лишь несколько слов, — рёв энтузиазма, буквально рёв»⁴⁵.

Газеты, подробно изложившие выступления всех ораторов (в том числе самое содержательное — Островского), о «нескольких словах» Достоевского хранят полное молчание.

Однако какие-то слова, по-видимому, всё-таки были сказаны: это можно заключить из воспоминаний одного из участников обеда.

Когда все встали из-за стола, молодёжь столпилась вокруг Достоевского. Ей, молодёжи, очевидно, и предназначались «несколько слов», не попавших в газеты, — поскольку они были произнесены уже вне официальных рамок обеда, так сказать, приватно.

Беседуя с обступившими его молодыми людьми, он жалуется на болезнь, на память, на то, что после припадков он порой забывает, о чём говорится в отосланных в редакцию главах романа. «Помолчав, он прибавил: «Напишу ещё «Детей» и умру»⁴⁶.

Имелось в виду продолжение «Братьев Карамазовых». Дальше он не заглядывал.

Он выходит на улицу — и толпа «без платьев, без шляп» выходит вслед за ним. Его усаживают на извозчика — «и вдруг бросились целовать мне руки — и не один, а десятки людей, и не молодёжь лишь, а седые старики».

Но даже в эту поразившую его минуту (детальным описанием которой он хочет в свою очередь поразить Анну Григорьевну), — даже в этот момент он не забывает о сопернике. «Нет, у Тургенева лишь клакеры, а у моих истинный энтузиазм». (Тургенев, разумеется, тоже присутствовал на обеде: по свидетельству мемуариста, он «много шутил».)

Завтра его «самый роковой день» — и он настороже, ибо «несколько незнакомых людей подошли ко мне и шепнули, что завтра на утреннем чтении на меня и на Аксакова целая кабала». И он готов поверить этим неизвестным доброжелателям, хотя и вынужден признать, что его противники ведут себя по отношению к нему почти безукоризненно. «Ковалевский наружно очень со мной любезен и в одном тосте, в числе других, провозгласил моё имя, Тургенев тоже»⁴⁷.

Завтра он ответит Тургеневу поистине королевским жестом.

Королевский жест и другие движения

Теперь вновь вернёмся в залу Благородного собрания, где мы оставили Достоевского в *его* день — 8 июня 1880 года, между

двумя и тремя часами пополудни, когда была произнесена эта едва ли не самая знаменитая в русской истории речь.

«Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями, и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать, — ничто не помогало: восторг, энтузиазм (всё от Карамазовых!). Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий».

Он объясняет этот энтузиазм причинами чисто литературными: такое объяснение льстит его авторскому самолюбию. Роман ещё не окончен: восторги публики словно бы обязывают его к достойному завершению труда.

«Я читал громко, с огнём»⁴⁸, — говорит оратор, и эта бесхитростная самооценка мало помогает понять то, что, к сожалению, утрачено навсегда. Он запнулся только один раз — когда упомянул о пушкинской Татьяне.

«Такой красоты положительный тип русской женщины уже и не повторялся в нашей литературе... кроме, пожалуй...» Тут Достоевский, — свидетельствует очевидец, — точно задумался, потом, точно преодолевая себя, быстро: «...кроме разве Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева...»⁴⁹

Эта заминка (о которой говорит Д.Н. Любимов) находит точное документальное подтверждение.

В дошедшей до нас рукописи Речи, в той самой тетрадке, о которой упоминают мемуаристы, слова, процитированные Любимовым, располагаются не в основном тексте, а отдельно, внизу страницы: они представляют позднейшую вставку⁵⁰.

«Тургенев, — пишет Достоевский Анне Григорьевне, — про которого я ввернул доброе слово...» и т. д. Именно «ввернул» — ибо рукопись переписана рукою Анны Григорьевны, вставка же сделана рукой самого автора — скорее всего уже в Москве, «накануне» (в противном случае, какой смысл сообщать переписчице то, что ей и так известно?*)).

Можно было бы предположить, что решение упомянуть Тургенева в столь ответственный час и в столь ответственном тек-

* Г. Успенский говорит, что Достоевский до своего выступления «смирнёхонько» сидел, притаившись возле эстрады и кафедры, записывая что-то в тетрадке. Не вносились ли исправления в текст до самого *последнего* момента?

сте созрело под влиянием чисто тактических соображений: как ответная любезность, вызванная сдержанно-корректным поведением соперника. Но такое объяснение (в качестве главной и единственной причины) плохо согласуется с самим Достоевским.

Через два месяца после Пушкинского праздника И. Аксаков в письме к О. Миллеру говорит: «Некоторые тогда же подумали, что со стороны Достоевского это было своего рода *captatio benevolentiae* (заискивание. — *И. В.*). Это несправедливо. Ровно дней за двенадцать... Достоевский в разговоре со мной о Пушкине повторил почти то же, что потом было им прочтено в Речи, и так же упомянул о Лизе Тургенева, прибавив, впрочем, при этом, что после этого Тургенев ничего лучшего не написал...»⁵¹

Он действительно высоко ценил *того* Тургенева: известно, как последнего обрадовал его пронизательный («восторженный») отзыв об «Отцах и детях» — в не разысканном до сих пор письме (Тургенев, по собственному его признанию, «только руки расставлял от изумленья — и удовольствия») ⁵². Он печатает Тургенева в своём журнале «Эпоха». В 1866 году при первых своих разговорах с Анной Григорьевной он отзывается о нём «как о первостепенном таланте» ⁵³. И наконец, уже в 1879-м, он говорит Е. Опочинину: «Что ж Т<ургенев>? Это человек, каких не много... Талант блестящий и огромный...» И тут же добавляет: «Жаль, правда, что талант этот вмещён в таком себялюбце и притворщике; ну да ведь и солнышко не без пятен...» ⁵⁴

Таким образом, упоминание Тургенева в Пушкинской речи — глубоко принципиально. Несмотря на личную неприязнь, автор Речи не может пойти против собственной совести: он старается соблюсти литературную справедливость.

Не исключено, конечно, что корректное поведение Тургенева на празднике помогло ему *решиться*.

«Ив. Сергеевич, — пишет И. Аксаков, — вовсе этого от Достоевского не ожидал, покраснел и просиял удовольствием» ⁵⁵.

Другой очевидец подтверждает эти слова, добавляя, что Тургенев был, видимо, «польщён и глубоко тронут внимательностью не столько публики, сколько автора «Братьев Карамазовых»» ⁵⁶.

Достоевский, как он говорит, «делал жесты» перед началом своей речи; Тургеневу пришлось делать их во время неё.

В настоящем случае мы понимаем жесты буквально — в смысле тех или иных телодвижений. Однако в разных источниках движения эти трактуются по-разному.

В письме, написанном современницей через день после Пушкинской речи, утверждается, что, упомянув о Лизе, «Достоевский поклонился в сторону Тургенева, и публика разразилась рукоплесканиями»⁵⁷. Поклон этот больше никем не отмечен. Не исключено, что воспоминательница просто подыскала для метафизического жеста Достоевского соответствующую физическую основу.

У Любимова интересующая нас сцена исполнена высокой патетики: «Вся зала посмотрела на Тургенева, тот даже взмахнул руками и заволновался; затем закрыл руками лицо и вдруг тихо зарыдал. Достоевский остановился, посмотрел на него, затем отпил воды из стакана, стоявшего на кафедре. Несколько секунд длилось молчание; среди общей тишины слышались сдерживаемые всхлипывания Тургенева»⁵⁸.

Увы, это *кино*. Смена крупных и средних планов: Достоевский, делающий эффектную паузу и докторально глядящий на раздавленного его великодушием противника; сам противник, рыдающий от избытка чувств... Эти *литературные* слёзы очень напоминают другие, якобы пролитые самим Достоевским на обеде 6 июня...

Не будем, однако, излишне строги к мемуаристу: его воспоминания создавались на склоне лет, едва ли не через пять десятилетий после изображаемых событий.

Приведём ещё одно свидетельство: «Всем памятно то движение руки, поцелуй, посланный Тургеневым Достоевскому в минуту, когда он в своей речи говорил о Лизе из «Дворянского гнезда». Все знали о их неприязненных отношениях, и это была одна из лучших минут этого удивительного праздника»⁵⁹.

Это уже больше похоже на правду. Хотя, признаться, «поцелуй» смущает: до него дело ещё не доходило.

Воспоминания эти опубликованы в 1909 году.

Слишком широкий диапазон движений (от закрывания лица руками до воздушного поцелуя), воссоздаваемых через десятилетия, настоятельно требует поискать источники поближе.

Вот отрывок из записной книжки 1880 года. После слов Достоевского «весь зал встал и загремел рукоплесканиями. Тургенев не хотел принимать этих оваций на себя, и его насильно вывели на край эстрады. Он был бледен и сконфуженно кланялся»⁶⁰.

Одно мелкое разночтение: здесь Тургенев «бледен»; у И. Аксакова он «покраснел и просиял удовольствием». Последнее вероятнее: не следует забывать о природном румянце.

И наконец, ещё один источник. Ему-то и приходится верить более остальных — в силу специфичности жанра.

Это — отчёт агента III Отделения.

Изложив соответствующее место Речи, профессиональный наблюдатель тут же аккуратно фиксирует: «При этих словах раздаются дружные рукоплескания. Тургенев поднимается с своего места и кланяется публике»⁶¹.

Автор только что упомянутого «Дворянского гнезда» вновь (на сей раз невольно) оказывается в центре внимания. Но это его последняя крупная удача, ибо исход борьбы уже предreshён.

Следует отдать должное Тургеневу: он вёл себя в высшей степени *спортивно*. Он поздравил своего соперника первым.

«Тургенев, про которого я вернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами, Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. (Вспомним: «Неужели протянет руку?» — *И. В.*) «Вы гений, вы более чем гений!» — говорили они мне оба.

Далее Достоевский повествует о том, как Иван Аксаков, вбежавший «на эстраду, объявил публике, что речь его *«есть не просто речь, а историческое событие!»* И что отныне «наступает братство и не будет недоумений. Да. Да! — закричали все и вновь обнимались, вновь слёзы. Заседание закрылось»⁶².

Эпизод с Аксаковым изложен довольно точно. Опущены лишь некоторые детали, которые, однако, не могли остаться незамеченными публикою.

Назвав речь Достоевского гениальной, Аксаков продолжал: «Вчера ещё можно было толковать о том, великий ли всемирный поэт Пушкин или нет; сегодня этот вопрос упразднён; истинное значение Пушкина показано, и нечего больше толковать»⁶³.

«Вчера» в устах Аксакова имело буквальный смысл: именно вчера, 7 июня, был поставлен «вопрос», который сегодня «упразднён» Достоевским; автор «вопроса» находился тут же.

Однако Аксаков не ограничился иносказаниями. Он назвал имя.

«Всё разъяснено, всё ясно, — передаёт слова Аксакова Д.Н. Любимов. — Нет более славянофилов, нет более западников! Тургенев согласен со мною»⁶⁴.

Свидетельство Любимова вновь вызывает сомнение: дело в том, что в речи Аксакова, напечатанной в «Русском архиве», эти слова отсутствуют.

Однако они всё-таки были произнесены. В этом убеждает нас газетная хроника. Репортёр «Голоса» следующим образом изла-

гает аксаковский текст: «С Достоевским согласны обе стороны: и представители так называемых славянофилов, как я, например, и представители западничества, как Тургенев»⁶⁵.

«Тургенев, — продолжает свой рассказ Любимов, — с места что-то кричит, видимо утвердительное»⁶⁶.

На этот раз память не подвела мемуариста. Тургенев действительно что-то кричал с места. Вопрос лишь в том, было ли это «что-то» *утвердительным*.

В одном редком и малоизвестном издании тот же эпизод воспроизводится следующим образом: «В это время И.С. Тургенев хочет что-то сказать, но поднявшиеся аплодисменты не дают ему возможности вымолвить слова»⁶⁷.

Что же всё-таки хотел сказать Тургенев? Оказывается, у современников имелись на этот счёт некоторые соображения.

«Правда, — пишет автор, укрывшийся под псевдонимом Очевидец, — после слов г. Аксакова поднялся было И.С. Тургенев и хотел что-то сказать или возразить, но раскатившиеся по залу аплодисменты не дали вымолвить ему слова. Обладай он голосовыми средствами г. Юрьева, ладоши не заглушили бы его слов...»⁶⁸

Предположение о том, что Тургенев хотел «что-то возразить», не столь уже безосновательно. Эти возражения были через несколько дней изложены им письменно.

«И в речи Ив. Аксакова, и во всех газетах, — пишет Тургенев Стасюлевичу, — сказано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне её одобряю. Но это не так — и я ещё не закричал: «Ты победил, галилеанин!» Эта очень умная, блестящая и хитроискусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия... понятно, что публика сомлела от этих комплиментов; да и речь была действительно замечательная по красивости и такту. Мне кажется, нечто в этом роде следует высказать»⁶⁹.

Конечно, ничего подобного Тургенев не рискнул бы произнести 8 июня — во всеуслышание. Не исключено, однако, что какие-то (можно не сомневаться, в высшей степени деликатные) уточнения к словам И. Аксакова он бы сделал. Понятно, почему в печатном тексте своей речи Аксаков снял слова о тургеневском «согласии»: очевидно, его попросил об этом сам Тургенев.

Вообще следует признать, что упоминание Достоевским автора «Дворянского гнезда» было едва ли не главным толчком для проявления первых тургеневских эмоций. Аксаков говорит, что

Тургенев «был отчасти (и даже не отчасти, а на две трети)»⁷⁰ подкуплен этим упоминанием. Сам Тургенев, как свидетельствует Достоевский, высказав ему свои восторги, счёл нужным специально заметить: «Не потому, что вы похвалили мою Лизу, говорю это»⁷¹. Оговорка знаменательная.

Со временем тургеневские оценки всё более ужесточаются*. 15 июля, беседа в Париже с В.В. Стасовым (последний именуется Речь «поганой и дурацкой»), он признаётся, «как ему была противна речь Достоевского, от которой сходили у нас с ума тысячи народа». Он говорит, что для него невыносима даже трактовка пушкинской Татьяны: он словно запомнил, что его собственное имя было произнесено в связи с именем этой героини. «Тургенев, — продолжает Стасов, — был в сильной досаде, в сильном негодовании на изумительный энтузиазм, обуявший... всю русскую интеллигенцию»⁷².

«Получили ли Вы «Дневник писателя» Достоевского? — спрашивает Тургенев Анненков в августе 1880 года. — Там много говорится о Пушкинском празднике (вся речь напечатана целиком). Ужасно подмывает меня сказать по этому поводу слово — но, вероятно, я удержусь...»⁷⁴ И Анненков, как помним, совсем недавно почтивший лобзанием *плечо* автора Речи, теперь говорит об этом авторе в тоне, заставляющем вспомнить другой исторический поцелуй, а именно — евангельский.

«Хорошо сделали, — отвечает Анненков Тургеневу, — что отказались от намерения войти в диспут с одержимым бесом и святым духом одновременно Достоевским: это значило бы расстрелять его болезнь и сделать героем в серьёзной литературе. Пусть останется достоянием фельетона, пасквиля, баб, ищущих Бога, и России для развлечения и студентов с задатками чёрной немощи. Это его настоящая публика»⁷⁵.

Но всё это будет сказано потом. Сейчас же вновь вернёмся в залу Благородного собрания.

Через много лет после описываемых событий, в последний год уходящего XIX столетия, в газете «Русские ведомости» были опубликованы воспоминания, которые никогда не перепечатывались и практически неизвестны.

«Достоевский стоял у кафедры недвижно, как изваяние, — пишет очевидец. — По-видимому, он не думал и не ждал, что так

* Ср. (Тургенев о Достоевском): «Это самый злобный христианин, которого я встретил в своей жизни»⁷³.

сильно всколыхнёт это человеческое море. Очень взволнованный и очень бледный, счастливый и точно испуганный, он смотрел застывшим, неподвижным, действительно «внутренним» взором, который, казалось, ничего не видел, ничего не замечал. Худощавая, костлявая рука его медленно растирала лоб, на котором выступили капли нервного пота...»⁷⁶

Отчаянно звоня в колокольчик, Юрьев объявил перерыв.

«Чтение стало продолжаться, — говорит Достоевский, — а между тем составили заговор. Я ослабел и хотел было уехать, но меня удержали силой. В этот час времени успели купить богатейший, в 2 аршина в диаметре, лавровый венок, и в конце заседания множество дам (более ста) ворвались на эстраду и увенчали меня при всей зале венком: «За русскую женщину, о которой вы столько сказали хорошего!»...»⁷⁷

Нет, не зря всё-таки задерживаем мы внимание читателя на букетах, венках и прочих вещественных знаках незначительных отношений. Они, эти знаки, не пустая ритуальная принадлежность: они содержали в себе известную информацию. Недаром такого рода подношения зорко отмечаются искушённой в символах, намёках и иносказаниях русской публикой.

«Тут были «курсистки» курса Герье (крайнего западника), ещё в прошлом году делавшие овации Тургеневу, — сообщает И. Аксаков. — Бог знает где, тут же в собрании, добыли они лавровый венок и поднесли его, при общих кликах, Достоевскому, за что им, вероятно, достанется...»⁷⁸

Судьба уготовила ему очередной сюрприз: те, кого он склонен был принимать за тургеневских клакеров, венчали его лаврами — зримым и осязаемым признанием его победы.

Всё это не могло быть слишком приятно Тургеневу, тем более что увенчание соперника сопровождалось действиями, не ставшими достоянием широкой публики, но от этого не менее оскорбительными для того, кого они непосредственно задевали.

В своих воспоминаниях М. Ковалевский приводит следующий эпизод: «Выходя из зала, Тургенев встретился с группой лиц, нёсших венок Достоевскому, в числе их были и дамы. Одна из них в настоящее время живёт вне России по политическим причинам. Дама эта оттолкнула Ивана Сергеевича со словами: “Не вам, не вам!”»⁷⁹

Зачем нужно было *оттолкнуть* Ивана Сергеевича? Уж не сделал ли он инстинктивное движение благодарности, приняв венок на свой счёт? Мог ли он предполагать, что «дама», политические

убеждения которой, по-видимому, не являлись для него секретом (и благодаря которым она впоследствии будет жить «вне России»), собирается увенчать лаврами человека, чьи взгляды не должны быть ею разделяемы?

Все эти «мелочи» не могли не укрепить Тургенева в его отрицательном отношении к Речи. И, может быть, самым обидным и для себя непростительным он полагал то, что он, Тургенев, подался на неожиданный выпад противника, просиял при упоминании своего имени, явил публичную слабость.

Сторонники Тургенева почувствовали всю деликатность ситуации. «...После заседания, — пишет Е. Леткова-Султанова, — уже совершенно осознанно явилась потребность выразить Ивану Сергеевичу, на чьей стороне мы видим правду. Было решено подать венок Тургеневу»⁸⁰.

Эта попытка восстановить нарушенное равновесие была принята вечером. А пока «вереница дам», с трудом пробиваясь сквозь заполнившую проходы толпу, поднимается на сцену; они возлагают огромный зелёный венок на виновника торжества, то есть некоторое время «при криках и топоте и махании платков»⁸¹ держат его над ним. («Венок был насильно надет на Достоевского»⁸², — говорит очевидец.)

«Восторг, — свидетельствует ещё один источник, — дошёл до высших пределов, когда Фёдор Михайлович, растроганный, как бы подавленный своим торжеством, стал благодарить; видимо взволнованный, он поспешил удалиться»⁸³.

Он поспешил удалиться — к себе, в гостиницу: перевести дух перед вечерними чтениями и написать Анне Григорьевне обо всём случившемся. Ему сопутствовал венок, эскортируемый одним из распорядителей. Распорядитель этот впоследствии вспоминал:

«Мы подъехали к «Лоскутной» почти одновременно, и я вошёл в его номер вслед за ним. Он любезно просил меня присесть, но так был бледен и, видимо, утомлён, что я решил по возможности сократить свой визит. Хорошо помню, как он вертел в руках тетрадку почтовой бумаги мелкого формата, в которой не без помарок (вспомним о вставках! — *И. В.*) была набросана только что прочитанная речь, повторял неоднократно: «Чем объяснить такой успех? Никак не ожидал...»⁸⁴

Примерно через час он напишет Анне Григорьевне свой знаменитый «бюллетень». В предыдущем послании она сообщила ему о покупке жеребёночка — на радость детям. Заканчивая своё вос-

торженное, лихорадочное письмо и наспех целуя всех домашних, он прибавит: «Цалую жеребёночка»⁸⁵.

В эту минуту он готов расцеловать весь мир.

Ночной венок

...День 8 июня стремительно шёл к концу — и вот наступил вечер: последний вечер незабываемых пушкинских торжеств. Порядком измученные зрители начали под конец сдавать — и в зале Благородного собрания оказались даже свободные места.

Достоевский читал своего любимого «Пророка». Как полагает современник, присутствующий здесь же Тургенев «не мог скрыть... своего завистливого неудовольствия на утренний успех Достоевского». Он исполнил отрывок из пушкинских «Цыган» — рассказ о сосланном Овидии. «По моему мнению... — записывает в дневнике Веневитинов, — не следовало... после успеха Достоевского читать стихи, оканчивающиеся словами: «Что слава? — Дым пустой!» — и т. д.»⁸⁶.

Автор не вполне справедлив: ведь «Пророка», прочитанного Достоевским, *теперь* тоже можно было принять за намёк — и с ещё большим основанием.

Именно на этом вечере Тургенев получил моральную компенсацию в виде уже упомянутого венка, принимая который он громгласно заявил, что положит его «к подножию пушкинского бюста». Затем был повторен позавчерашний «апотеоз»: писатели с венками (без последних положительно не могли обойтись!) вновь продефилировали по сцене. Теперь уже Достоевский («...вероятно, по просьбе Тургенева и в виде взаимной любезности») увенчал своим венком (не путать с утрешним!) главу поэта.

Вся эта сцена не понравилась скептически настроенному наблюдателю ещё больше, чем в первый раз. Он в сердцах замечает, что вторичная демонстрация «апотеоза» напоминает ему «казённые реверансы институток перед важною особою... или фиктивные коленопреклонения мальчиков в католических церквях, когда они пробегают мимо алтаря... не понимаю, — заключает автор, — как Достоевский, умный, как кажется, человек, мог согласиться на личное участие в этой глупой комедии... Уж лучше бы он и во второй раз предоставил Тургеневу дешёвую честь увенчания фиктивного Пушкина на фиктивном апотеозе

русской литературы, которая сама показалась мне какою-то фикцией в этот вечер...»⁸⁷

Можно понять раздражение немного ошалевшего от оваций свидетеля торжеств. Ему претит вольное или невольное писательское позёрство. Он не знает, что на исходе этого бесконечного дня (вернее, уже глубокой ночью) Достоевский совершит поступок, который тоже мог бы показаться театральным, наблюдай его кто-нибудь со стороны.

Но зрителей не было: ни одного человека не случилось в этот неурочный час на площади у Страстного монастыря. Извозчик остановил пролётку: может быть, он-то и помог барину поднести громадный венок (тот самый!) к немо черневшему в ночи бронзовому изваянию.

Достоевский положил венок к подножию монумента и молча «поклонился ему до земли»⁸⁸.

В отличие от Тургенева он не стал оповещать публику о своём намерении. Он поделился только с Анной Григорьевной, которая и поведала об этом факте потомству.

Ему не суждено больше увидеться с Тургеневым — никогда. Но значит ли это, что именно день 8 июня стал их последним днём?

История любит символические финалы. Заманчиво пойти ей навстречу и представить, что судьбоносная развязка произошла здесь, в зале Благородного собрания, под сенью пушкинского бюста (самого Пушкина, примиряющего своих наследников). Такое завершение выглядит *красиво*.

Попробуем подыграть судьбе.

Таинственные старики: быль или притча?

В письме Достоевского, повествующем о его триумфе (письме захлебывающемся и задыхающемся, написанном дрожащей рукой), — в этом письме есть одно загадочное место.

«...Вдруг, например, — пишет Достоевский, — останавливают меня два незнакомые старика: “Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, вы наш святой, вы наш пророк!”»⁸⁹

Что же это за старики? Их имена не названы, но сама сцена запомнилась крепко. Через несколько дней в письме С.А. Толстой она воспроизводится вновь.

«Два седых старика подошли ко мне, и один из них сказал:

— Мы двадцать лет были друг другу врагами и двадцать лет делали друг другу зло: после Вашей речи мы теперь, сейчас помирились и пришли Вам это заявить».

И Достоевский вновь подчёркивает: «Это были люди мне не знакомые»⁹⁰.

И наконец, ещё одно упоминание о таинственных стариках. Это слова Достоевского в передаче М.А. Поливановой: «Два седых старика помирились после того, как двадцать лет жили во вражде. Да в какой! Где только могли, там вредили они один другому, ночь не спали, а думали, как бы почувствительнее затронуть другого; а тут один из них уверял меня, что теперь точно ничего и не было, вся ненависть пропала у него»⁹¹.

Итак, факт зафиксирован трижды. Во всех случаях информация исходит от самого Достоевского.

Повторяются и некоторые устойчивые подробности: оба старика седые, жили во вражде (причём активной) двадцать лет; примирение произошло немедленно после речи.

Правда, несколько странно, что говорит при этом только один из стариков («один из них уверял меня», «вся ненависть прошла у него»), второй почему-то предпочитает помалкивать.

Удивительно и другое: как быстро они успели столкнуться! Насколько можно понять, всё происходит буквально через несколько минут после окончания речи — и старики должны были проявить незаурядную прыть, чтобы найти друг друга в толпе (ведь не сидели же они рядом!), обняться и успеть известить обо всём этом Достоевского.

Право же, странные старики! Думается, однако, что они существовали на самом деле. И, кажется, мы даже можем назвать их имена.

Это — Достоевский и Тургенев.

Предвидя возможные протесты (и отчасти их разделяя), попытаемся всё же обосновать наше рискованное предположение.

Мы уже приводили слова Достоевского о том, что Тургенев бросился его «обнимать со слезами». Воспоминатель (Д.Н. Любимов) подтверждает: «Тургенев, спотыкаясь как медведь, шёл прямо к Достоевскому с раскрытыми объятиями». Именно Тургенев и Аксаков ведут его под руки: «...он, видимо, как-то ослабел; впереди бежал Григорович, махая почему-то платком»⁹².

Достоевский говорит, что с Тургеневым они только обнялись (вернее, обнимал Тургенев), но кто знает, не подставил ли опять

щёку автор только что упомянутого «Дворянского гнезда»? Во всяком случае, современник записывает: «По окончании речи оба писателя, несколько лет между собою не говорившие, говорят, горячо между собой поцеловались»⁹³.

Не забудем и об уже упоминавшемся воздушном поцелуе: он мог носить и менее платонический характер.

Наконец, в памяти А.И. Сувориной триумф Достоевского вообще запечатлелся как праздник *двоих*: после того как автор Речи произнёс имя тургеневской Лизы, кто-то вскрикнул, «кричали Достоевского, Тургенева...». И вот «Тургенева вытащили на сцену. Достоевский протянул ему руку, и они поцеловались... Восторга публики, — продолжает Суворина, — я не могу изобразить при этой трогательной сцене, когда два таких огромных писателя-учителя помирились!»⁹⁴

Память подвела мемуаристку, и она, очевидно, смешивает два разных случая: публичное рукопожатие 16 марта 1879 года (чему она также была свидетельницей) и объятия 8 июня. Однако смысл происходящего передан верно.

Григоровичу было отчего бежать впереди и махать платком: он являлся вестником примирения.

Достоевский говорит о двух седых стариках. Оба они действительно немолоды: Тургеневу — почти шестьдесят два, Достоевскому — без малого пятьдесят девять. И один из них, именно Тургенев, бел как лунь.

Достоевский говорит, что старики не разговаривали двадцать лет. В явной ссоре они с Тургеньевым несколько меньше: лет тринадцать. Но история их взаимного недоброжелательства (в том числе скрытого) насчитывает более трёх десятилетий.

Достоевский говорит, что старики только и думали, как повредить друг другу. Конечно, у него с Тургеньевым имелись и другие заботы. Следует, однако, признать, что крови было попорчено немало.

Достоевский говорит, что старики именовали его пророком. Через несколько дней в письме С.А. Толстой он обмолвится, что «пророческой» назвал его речь именно Тургенев.

Наконец, в письме Анне Григорьевне фраза о стариках непосредственно предшествует описанию тургеневских объятий. Переход от стариков к Тургеньеву совершается в рамках единого сюжета.

Почему же Достоевский не называет вещи (точнее, лица) своими именами?

Он — страшится. Нет, не Тургенева и уж, разумеется, не Анны Григорьевны, которую первой оповещает о достойных всяческого уважения незнакомцах. Он страшится поверить. Поверить в то, что такое действительно бывает.

Не потому ли всей картине сообщается почти художественный характер? Фигурам вполне символическим наспех придаются какие-то конкретные черты. Но благородные седины, двадцатилетняя вражда и внезапное, как гром небесный, раскаяние — всё это атрибуты сентиментально-романтической прозы. Достоевский слишком большой реалист, чтобы принимать такие вещи всерьёз.

Поэтому оба старика остаются *там*, в рамках некоей мифологемы, в виде предельно обобщённом. Он не находит нужным расшифровывать эту метафору. И не случайно в этой *полувымышленной* сцене смещены некоторые акценты.

Тургенев и в самом деле обратился к нему с какими-то словами. Они, эти слова, могли содержать не только высокую оценку его Речи, но и косвенно относиться ко всему контексту их взаимных отношений. Эти слова могли содержать намёк на необходимость личного примирения — именно теперь, когда он призвал к примирению общему.

Недаром у Достоевского говорит только один из стариков: второй, то есть сам Достоевский, внимательно его слушает.

Он пишет С.А. Толстой: «Тургенев и Анненков (последний положительно *враг* мне) кричали мне вслух, в восторге, что речь моя гениальная и пророческая». Любопытно, что врагом назван здесь один Анненков. Он — «положительно *враг*»; в отношении Тургенева такой положительной уверенности *теперь* быть не может.

Тургеневские объятия сделали своё дело. Но предмет этих объятий, прижавший их, так сказать, художественно, умудрён опытом: в частной жизни он оставляет себе путь к отступлению.

«Все плакали, даже немножко Тургенев»⁹⁵, — сообщает он С.А. Толстой. В этом «немножко» сказались всё его недоверие и вся осторожность по отношению к вечному сопернику. Он не убеждён в его искренности. И он — что, может быть, главное, — он не хочет выглядеть смешным.

Он не хочет выглядеть смешным, ибо ни он сам, ни Тургенев вовсе не годятся на роли чудесно перевоспитавшихся стариков. Оба они слишком непростые и слишком искушённые люди, чтобы поверить в столь благостный исход.

Но, с другой стороны, Достоевскому жалко упускать такой почти воплотившийся сюжет. Поэтому он предельно схематизирует ситуацию, даёт, так сказать, некий обобщённый образ. Старика — герои моральной притчи, они — персонажи нарицательные, и их собственные имена не так уж важны. Действие совершается, но сами действующие лица остаются неназванными.

Все эти предосторожности оказались совсем не лишними: Тургенев, как мы помним, очень скоро признается, что речь Достоевского ему «противна».

Допустим теперь, что старики — вполне реальные люди и что сцена, описанная Достоевским, в точности соответствует действительности. Что же тогда? Тогда мы имеем выразительную смысловую рифму: зеркальность эпизодов, схожее поведение двух пар стариков — момент почти художественный.

Как бы там ни было, велик соблазн закончить «историю одной вражды» трогательной сценой примирения, хотя бы и внешнего. Но, увы, это невинное желание трудно исполнимо. Существует документ, заставляющий нас усомниться даже в таком формально благополучном финале.

Последняя встреча, или Русский человек на rendez-vous*

Мы имеем в виду воспоминания Е. Н. Опочинина, в которых автор описывает свою московскую встречу с Достоевским. Встреча эта произошла, как он говорит, «после открытия памятника Пушкину и знаменитой речи».

Достоевский покинул Москву 10 июня утром: следовательно, встреча могла иметь место только 9 июня.

«Я встретил его у Никитских ворот, — говорит Опочинин, — и пошёл с ним по бульвару. Фёдор Михайлович смотрел понуро и, видимо, чувствовал себя неважно.

— Устал я что-то, — заметил он, когда мы прошли с сотню шагов по бульвару. — Давайте сядем».

Они садятся и продолжают беседу.

« — А-а-а, Фёдор Михайлович! — послышался радостный голос с боковой аллеи позади нас, и вдруг перед нашей скамьей выросла монументальная фигура И. С. Тургенева».

* Свидание (*франц.*).

Тургенев присаживается рядом с Достоевским. «Занятый своими мыслями, — продолжает Опочинин, — я не прислушался к разговору... но с последними словами, которые медоточиво пропел Тургенев, я вдруг заметил, что Достоевский встал со скамьи. Лицо его было бледно, губы подёргивались.

— Велика Москва, — сердито бросил он своему собеседнику, — а от вас и в ней никуда не скроешься! — И, отмахнувшись рукой, зашагал по бульвару»⁹⁶.

Сразу же оговоримся: если сам факт, приводимый Опочининым, весьма правдоподобен, то некоторые сомнения возникают относительно его датировки.

Следует иметь в виду, что день 9 июня оказался для Достоевского очень насыщенным⁹⁷. Днём он отдавал необходимые визиты. С утра же, по просьбе фотографа М. М. Панова, отправился к нему в мастерскую, где и был сделан тот знаменитый снимок, о котором мы говорили в главе «Портрет с натуры».

Анна Григорьевна считала эту фотографию «наиболее удавшимся из многочисленных, но всегда различных (благодаря изменчивости настроения)» изображений её мужа. Она говорит, что на этом портрете она «узнала то выражение, которое видала много раз на лице Фёдора Михайловича в переживаемые им минуты сердечной радости и счастья»⁹⁸.

Анне Григорьевне приходится верить, хотя, признаться, особой «радости», а тем более «счастья» на лице Достоевского не заметно. Скорее следует согласиться с И. Н. Крамским, полагавшим, что «по этой фотографии можно судить, насколько прибавилось в лице Достоевского значения и глубины мысли»⁹⁹. Но, может быть, именно такое выражение и означало у него *счастье*?

Во всяком случае, 9 июня он бесспорно испытывал сильный душевный подъём. И свидетельство Опочинина, что Достоевский «смотрел понуро и, видимо, чувствовал себя неважно», плохо вяжется с переживаемым моментом. Трудно избавиться от подозрения, что воспоминатель просто путает числа и описанная им встреча произошла не после, а до Пушкинской речи.

Но, с другой стороны, в пользу Опочинина (точнее, в пользу его хронологии) говорят некоторые детали. Во-первых, в разговоре с ним Достоевский упоминает Ивана Аксакова и жалеет, что он только теперь по-настоящему его узнал. Эти слова, конечно, могли быть произнесены и до 9 июня, но после вчерашних аксаковских восторгов 9-е — дата очень подходящая.

Во-вторых, никем ещё не доказано, что нельзя быть усталым и даже понурым в момент величайших духовных взлётов. Вчерашний день измотал триумфатора: на той же фотографии Панова он выглядит (с житейской точки зрения) далеко не лучшим образом.

Кроме того: что могло так взорвать Достоевского? Уж не пытался ли Тургенев в этой — под липами Никитского бульвара — беседе несколько подкорректировать свои вчерашние оценки и «медоточиво» указать собеседнику на его идейные промахи? И не почувствовал ли Достоевский в словах Тургенева первые признаки той журнальной бури, того *отбоя*, которые обрушатся на его Речь и на него самого буквально через несколько дней?

Но Е.Н. Опочинин был занят своими мыслями и — «не прислушался». Когда свидетель событий рассеян, историку ничего не остаётся, как строить гипотезы.

И наконец, самое капитальное. Если бы размолвка на бульваре произошла до 9 июня, такой факт, вне всякого сомнения, нашёл бы отражение в письмах Анне Григорьевне. Но там на это нет и намёка. Если принять хронологию Е.Н. Опочинина, тогда всё понятно: последнее письмо из Москвы написано 8-го вечером; о том же, что происходило 9-го, он уже рассказывал жене лично.

Достоевский уходит от Тургенева, «отмахнувшись». После вчерашних объятий это выглядит грустно.

Итак, как бы нам ни хотелось обратного, есть серьёзные основания полагать, что их последняя встреча (или, если угодно, расставание — перед вечной разлукой) произошла при обстоятельствах, не вполне приличествующих случаю. Не умильная слеза и не взаимное раскаяние двух «седых стариков» сопровождают последний акт этой исторической распри. Достоевский, уходя в вечность, даёт «отмашку» Тургеневу: несмотря на неизящность жеста, он более (чем, скажем, воздушный поцелуй) соответствует характеру их отношений.

Конечно, в высшем смысле ни Достоевскому не дано «отмахнуться» от Тургенева, ни Тургеневу — умалить Достоевского. Они останутся навсегда рядом — как писатели и как люди, — являя разные, но в равной мере значительные исторические надежды, боль, упование и урок. И пусть они ещё раз не поймут друг друга на том московском бульваре (как не понимали всю

жизнь), у них всё же остаётся шанс. Ибо и тот и другой — оба дети России, страны, где молодые люди способны грохаться в обморок от «мировых вопросов», где у седых стариков под влиянием всё тех же *вопросов* достаёт сил заключить друг друга в искупительные объятия. Да, оба они — разумеется, в высшем смысле — могут вписаться в ту идеальную картину, которая явилась одному из них и, как мы сейчас убедимся, имела некоторые аналоги в реальной жизни.

Для этого следует отступить в один боковой сюжет.

Боковой сюжет

Среди множества бумаг, составляющих архив Достоевского, находится несколько листов, аккуратно сшитых в отдельную тетрадку. Рука Анны Григорьевны узнается сразу: листы исписаны её крупным разборчивым почерком. Но сам текст принадлежит не ей: это всего лишь копии. Последнее обстоятельство сразу же привлекает внимание, так как почти все остальные документы представлены в подлинниках.

Естественно возникает вопрос: куда девались оригиналы?

Тетрадка имеет заголовок: «Lettres de M-me Polivanoff». При этом фамилия Polivanoff зачёркнута, но не очень густо: она без труда прочитывается.

Шесть сшитых в тетрадку копий сняты с писем Марии Александровны Поливановой. Корреспондентка — женщина не первой молодости: в одном из её посланий сообщается, что она — мать шестерых детей, старшему из которых (девочке) семнадцать и младшему (мальчику) — пять лет. Её сын И.Л. Поливанов опубликовал в 1923 году в журнале «Голос минувшего» запись своей матери о посещении ею Достоевского — документ, который нам уже приходилось цитировать. «Это... — пишет И.Л. Поливанов, — запись *для себя*... черновой текст, на двух листках почтовой бумаги большого формата, без какого-либо заглавия»¹⁰⁰.

Прежде чем обратиться к этой записи, скажем несколько слов о семействе Поливановых.

Сорокадвухлетний Лев Иванович Поливанов, известный педагог, директор весьма престижной московской гимназии, в 1880 году был временным секретарем Общества любителей российской словесности и одновременно — председателем комис-

сии по устройению пушкинских торжеств. К нему, как к одному из главных распорядителей, сходились все нити праздника.

Достоевский посещает Л.И. Поливанова: «Познакомил меня с семейством...»¹⁰¹ Следовательно, и с Марией Александровной.

Это произошло 30 мая. Возможно, до своего отъезда из Москвы Достоевский ещё несколько раз мельком виделся с М.А. Поливановой, которая была усердной помощницей своего деятельного мужа.

Льву Ивановичу хотелось не только распоряжаться, но и участвовать. Вместе с Тургеневым, Достоевским и другими знаменитыми литераторами он продефилировал мимо бюста Пушкина — в памятном нам «апотеозе», что вызвало язвительное удивление современника — с какой это стати почтенный Лев Иванович, известный лишь своими грамматиками, очутился среди тех, «кого по заслугам можно, пожалуй, признать богами или полубогами»: ведь сам он едва ли годится даже в полугерои...

Он окажется настоящим героем, но — другого романа, о котором поведаёт Достоевскому жена Льва Ивановича. По свидетельству их сына, Достоевский был «властителем... духовных интересов»¹⁰² его матери. Впрочем, в Москве у него оказалось неожиданно много поклонниц.

«А сколько женщин, — пишет Достоевский С.А. Толстой, — приходили ко мне в Лоскутную гостиницу (иные не называли себя) с тем только, чтоб, оставшись со мной, припасть и целовать мне руки (это уже после речи.)»¹⁰³

Он сообщает об этом столь простодушно, что даже не замечает смешной двусмысленности фразы.

Жест, символизирующий высшую степень признательности, отмечается им неоднократно — причём не без некоторого изумления: «Что же до дам, то не курсистки только, а и все, обступив меня, схватили меня за руки и, крепко держа их, чтобы я не сопротивлялся, принялись целовать мне руки». Он чувствует неловкость от необходимости останавливаться на таких экзотических подробностях («...я столько наговорил о себе и нахвастался, что стыдно ужасно»¹⁰⁴), но правда — выше всего.

В том, что это чистая правда, убеждают нас и свидетельства со стороны.

«Девушки, в состоянии близком к истерике и экстазу, — пишет наблюдавший эту сцену мемуарист, — плакали, хватали Фёдора Михайловича за руки, целовали их»¹⁰⁵. Почти в тех же выраже-

ниях повествует об этом и жена Суворина: «...к нему буквально бросились девушки и вообще молодёжь, толпою, некоторые прямо падали на колени перед ним, целовали ему руки...»¹⁰⁶ (Все эти сцены происходят непосредственно после Речи.)

Он особенно выделяет женщин, хотя среди приходивших к нему случались и мужчины. Рук, правда, они не целовали, но выражались энергически. Один математик, фамилию которого он запомнил («седоватый человек, пресимпатическое лицо»: не известный ли математик Н.В. Бугаев, отец поэта Андрея Белого, представлявший на празднике математическое общество?), посетил его, чтобы «объявить о своём глубоком уважении, удивлении к таланту, преданности, благодарности, высказал *горячо* и ушёл»¹⁰⁷.

Конечно, это приятно, но женское поклонение приятно вдвойне: оно как бы уравнивает его с Тургеневым, всегда пребывающим в окружении дам.

Одной из последних, кто видел Достоевского в Москве, была М.А. Поливанова.

Завтра, 10 июня, он уезжал — и Мария Александровна решила посетить автора Пушкинской речи, несмотря на поздний час («будь что будет!»). На улице накрапывал тёплый июньский дождик. «Лоскутная» встретила её мёртвой тишиной. Коридорный шёпотом осведомился, как доложить. «Он постучался, а у меня помутилось всё в глазах».

Достоевский был одет совершенно по-домашнему: в валенках, в старом пальто и ночной сорочке. «Он стал извиняться, что принимает меня в таком наряде».

Мария Александровна попросила дать ей рукопись Пушкинской речи и даже изъявила готовность переписать этот текст за ночь. Достоевский не согласился: «А что сказал бы ваш муж на это! Нет, матери семейства нельзя сидеть по ночам. Я строго смотрю, чтобы жена моя уже спала к двенадцати часам».

По ночам можно было сидеть только ему самому: диктовка Анне Григорьевне не простиралась, по-видимому, далее известного часа.

Мария Александровна высказала убеждение, что многие, слышавшие вчера его речь, стали лучше. «Фёдор Михайлович схватил мою руку и со слезами на глазах повторял, что это его лучшая «награда», что ничего ему более не надо».

Он тронут: признание Поливановой имеет для него принципиальную важность. В её словах он как бы находит практическое

подтверждение небесполезности своих художественных усилий. Он слышит подобные признания не впервые.

6-го числа на думском обеде В.Н. Третьякова сказала ему, что он помог ей и её близким «стать на несколько ступеней выше». Он ответил: «Да, надо молитвенно желать быть лучше! Запомните это слово, оно как раз верно выражает мою мысль, и я его сейчас только придумал»¹⁰⁸.

Именно после этого он захотел поцеловать Третьяковой руку. И теперь, после слов Поливановой, «схватил со слезами» руку своей гостью.

Целование рук на Пушкинском празднике было взаимным и намекало на высший смысл.

Хозяин сам заварил чай, отказавшись от услуг Марии Александровны. Точно так же чуть позже он откажется от услуг вошедшего в номер Юрьева: последний предлагал свою помощь в дорожных сборах («...услуги эти были отклонены улыбкой, которая говорила: “Никто никогда мне не укладывает. Я всегда сам”»).

Итак, они беседовали уже втроем. Юрьев всё «хрипел», оправдывался, рассказывал о «дергании за фалды» и тому подобном и между прочим выпрашивал у Достоевского прозу для своего журнала (тот обещал какой-то будущий рассказ, как следует из текста — «фантастический»). Председатель Общества любителей был многословен (в одном из писем Достоевский назовёт его Репетиловым «в новом виде») и, как замечает Поливанова, «всё не знал, в какой тон попасть». «Массивный растрёпанный Юрьев, — пишет она, — казался мне таким незначительным рядом с этим маленьким тщедушным человечком...», измождённое лицо которого озарялось по временам душевным огнём и «кроткой весёлостью».

Когда пробило одиннадцать, Юрьев поднялся уходить, а Поливанова намеренно задержалась: ей не хотелось идти вместе с Юрьевым. Очевидно, в связи с обещанным фантастическим рассказом уже в дверях зашёл разговор о пушкинской «Пиковой даме». Достоевский воодушевился. Его рука «лежала в руке у Юрьева, но говорил он всё время, обращаясь ко мне».

Именно этот разговор послужит поводом для первого письма Поливановой.

Наконец Юрьев ушёл; стала собираться и Мария Александровна. Достоевский передал поклон мужу. Упомянул, что после вчерашнего дня он «всю ночь не спал, сердце всё билось,

не давало спать, дыхание было несвободное»¹⁰⁹ (не случайно, знать, показался он утром Опочинину понурым и усталым). Она вышла от него счастливая. Юрьев всё ещё стоял у подъезда, поджидая извозчика...

Её первое письмо Достоевскому написано 22 июля. Оно отправлено из сельца Загорено Нижегородской губернии: там, очевидно, семья проводила летний отдых. Корреспондентка Достоевского воспользовалась разрешением, данным ей при расставании: написать свои впечатления от чтения «Пиковой дамы».

Но «Пиковая дама» лишь явилась литературным предлогом для изъяснений нелитературных. Далее в письме Марии Александровны начинают звучать очень личные ноты.

«Возможность Вам написать является для меня спасением, — говорит Поливанова. — Вам Господь даровал великую силу: делать людей лучше. Никто в мире, кажется мне, не понимает человека так вполне, как Вы, никто не любит бессмертную душу человека так по-христиански, как Вы, а поэтому Вы и не можете презирать никого...»¹¹⁰

Она как бы заранее просит его о снисходительности. Она обращается к нему за помощью, не открывая пока, в чём именно эта помощь должна заключаться.

«Я черпаю все новые силы в Вашем богатстве, — продолжает Поливанова, — и чувствую, как почва вновь твердеет подо мной. Это Господь послал мне Вас. О, позвольте и впредь писать Вам, когда мне нужна будет помощь! Перед Вами я готова всю душу излить и знаю, что Вы не подадите камня просящему хлеба <...>»¹¹¹

Конечно, это зондаж. Автор письма вполне готова «излить душу»; требуется лишь разрешение исповедующего.

Такое разрешение последовало. В ответном письме от 16 августа Достоевский благодарит свою корреспондентку за добрые слова и отвечает на некоторые её вопросы. Эти ответы удивительным образом напоминают его известное письмо от 11 апреля 1880 года к Екатерине Фёдоровне Юнге. И там и здесь он советует своим корреспонденткам один и тот же способ преодоления душевной раздвоенности: «...найти себе исход в какой-нибудь новой, посторонней деятельности, способной дать пищу духу, утолить его жажду»¹¹². (Для него самого такой спасительной «посторонней деятельностью» является искусство, творчество.)

Но кажется, что письмо Марии Александровны адресат прочитал достаточно бегло. Ибо он полагает, что её мучают те же самые

проблемы, что и Е.Ф. Юнге: собственная личная раздвоенность, столь знакомое ему двойничество. Однако Поливанова имела в виду вовсе не себя.

Она пишет: «Может ли ненормальное положение вещей, ненормальное и тяжёлое отношение между хорошими людьми тянуться без конца, целыми годами, до самой смерти и не найти разрешения? <...> Может ли человек двоиться вечно и не пожелать, не делать усилий, чтобы выйти из такого положения?»¹¹³

Последняя фраза и ввела Достоевского в заблуждение. Он решил, что сказанное относится к самой Поливановой. Между тем речь шла *о другом*.

«К тому же, — добавляет в ответном письме Достоевский, — Ваш вопрос слишком общ и вообще задан. Нужно многое знать в частности и подробностях»¹¹⁴.

Подробности не замедлили явиться.

В письме от 25 августа Поливанова рассказывает о своей жизни, главным образом о своём многолетнем счастливом супружестве. Но — ничто не вечно под луной. «Он почувствовал себя более оценённым и лучше понятым *другой*»¹¹⁵.

Нет, не ту мучительную метафизическую раздвоенность, которую переживала Е.Ф. Юнге, имела в виду Мария Александровна. Она понимает вещи куда более прозаичные: «От семьи своей он отстал, там не пристал, и вот он двоится без конца и даже и в прочих вопросах жизни».

Ей дорог муж; она тяжело переживает свою драму. «Он был моим кумиром, и я не помнила себя, любя его». Она пытается найти выход в хлопотах по гимназии; она вся в заботах — до 11 часов вечера. «Потом в 12, в 1 приезжает он». Они просиживают до двух за корректурами, испытывая внутреннюю неловкость. Конечно, стараются скрыть всё от детей.

Она рассказывает историю его измены. Всё началось летом 1874 года. В качестве гувернантки к детям им порекомендовали молодую девушку с французским языком. «Одна дама, — пишет Поливанова, — заметила мне, что в нынешнее время опасно для семейной жизни брать таких «самостоятельных» девиц в дом. Я рассорилась с этой дамой, но сердце моё дрогнуло <...>»¹¹⁶

Сердце, как выяснилось, дрогнуло даром. Правда, новая гувернантка заявила Марии Александровне, что у неё есть жених, однако не преминула добавить, что не верит в прочность любви и что брак, по её мнению, безнравственное дело, ибо «в нём чело-

век постоянно сам себя насилует». И конечно же, что «мужчины все одинаковы». В подтверждение последнего тезиса она сказала, что «берётся всякому вскружить голову и завлечь его».

Сказано — сделано. Теоретические рассуждения самонадеянной эмансипантки нашли практическую почву — причём гораздо быстрее, нежели могла предположить её неопытная слушательница. Лев Иванович пал. (Из письма его жены нельзя, впрочем, с определённой заключить, что именно он был жертвой.)

Далее Мария Александровна повествует о том, как в историю этих сложных и запутанных отношений неожиданно вмешалось новое лицо.

Этим лицом оказался Достоевский.

Поливанова пишет: «После Вашей речи 8 июня (в тексте ошибочно июля. — *И. В.*) шла я потрясённая, среди толпы, в другую залу и вдруг сталкиваюсь с «ней». Она бросилась ко мне, обняла меня, говорила, что она *очень* несчастна, просила прощения или что-то в этом роде <...>»

Если бы подобная сцена была изображена в романе, в её реальность трудно было бы поверить. Это чудо ещё почище случая со стариками. Женская ненависть сильнее мужской, особенно тогда, когда она питается столь специфическими причинами.

«До сих пор, — продолжает Поливанова свою исповедь, — каждая мысль о ней сопровождалась желанием ей смерти. Если я встречала её, то меня охватывала чуть не дурнота. Я ненавидела её всем существом, мне хотелось приковать её ко дну реки».

Марии Александровне трудно не поверить. Но ещё труднее *поверить* — в то, что произошло 8 июня: «А тут всё как рукой снялось. Кроме безграничной жалости к ней ничего не осталось во мне. Мы поцеловались и поговорили несколько незначительных слов»¹¹⁷.

Да, это ещё одно маленькое чудо, которое оттеняет другое, большое, потрясшее всех. И Достоевский не мог не сопоставить этот эпизод со своими стариками. Оба сюжета как бы нарочно явились для того, чтобы наглядно продемонстрировать, что мировая идея Пушкинской речи не есть пустая абстракция. Последствие совершалось немедленно — на микросоциальном, главном для него, уровне.

Но, как уж повелось с Пушкинской речью, вскоре начались сбои.

Мария Александровна написала письмо сопернице — в духе их последнего объяснения. Та отозвалась — в не менее благо-

родном тоне. «Она надеется, что мы с ней будем «друзьями», что будем составлять счастье Л<ьва> Ив<ановича> ». Однако сам Лев Иванович оказался не на высоте. Он почему-то не спешил разделить столь возвышенные чувства. Он, пишет его супруга, «ко всему этому отнёсся *никак*, ему, скорее, всё это было *неприятно*»¹¹⁸.

Впрочем, когда поостыли первые восторги, в душу самой Марии Александровны начали заползать сомнения. Предложение покаявшейся разлучницы представляется ей уже не столь заманчивым. « <...> Согласиться на *ménage à trois** — я не могу, — пишет она Достоевскому. — А я знаю, что это её мечта».

Автор письма чистосердечно пытается обвинить во всём себя. «Может быть, это очень скверно с моей стороны, жестоко и чёрство, и доказывает тупую гордость, неумение любить и жертвовать собою — я, ей-богу, не знаю и путаюсь»¹¹⁹.

Было с чего путаться. Бедная женщина желает быть искренней, хочет идти до конца и честно нести свой крест. Но именно искренность мешает ей сделать вид, что всё это ей по душе, что она без насилия над собой способна смириться со своим положением и даже считать ситуацию нормальной, вполне приемлемой для всех *заинтересованных* лиц.

Любопытно: предусматривал ли глобальный призыв Достоевского («Смирись, гордый человек!») подобные частные применения? Универсальность формулы подверглась сомнению при первой же — бытовой — проверке.

Он давно задумывался над этим. Еще в 1864 году у гроба первой жены («Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?») он записывает: «Возлюбить человека *как самого себя*, по заповеди Христовой — невозможно. Закон личности на Земле связывает. Я препятствует»¹²⁰. Он пытается примирить «закон личности» с «законом любви», но приходит к выводу, что по достижении этой цели человек как таковой «оканчивает своё земное существование».

В Пушкинской речи он постарается обойти эти философские подводные камни.

Высказав 8 июня 1880 года свою «заветную мысль», он, очевидно, не подозревал, что его слова будут поняты столь буквально. Но время было слишком нетерпеливо — и оно сыграло

* Брак втроём (*франц.*).

с ним жестокую шутку. Он стал первой жертвой собственного призыва, очутившись в объятиях своего давнего врага, которому на мгновение возжелалось сделаться другом. Но «я» препятствует» — и объятия размыкаются тем быстрее, чем жарче они были. И тут же, рядом, женщина, всё ещё надеющаяся на личное счастье, понимает его слова в прикладном смысле; ей, однако, ещё труднее преступить своё — женское! — «я».

Он ничего не ответил Поливановой на её августовское письмо. И она пишет ему вновь: она говорит о «Дневнике писателя», о нападках прессы на Пушкинскую речь и о прочих серьёзных материях, но ни слова о том, что волнует её больше всего на свете. Он по-прежнему молчит — и она не выдерживает.

«Последнее своё письмо кончила я тем, — пишет она ему 17 октября, — что не обижусь Вашим молчанием, буду считать, что это так и должно быть. Может, это и должно быть так, но вынести этого я не могу, и потому пишу Вам вновь».

В своём несчастье она становится эгоистичной и нетерпеливой: она уже не просит, а требует. «Я тайну свою положила Вам в руки — и это связало меня с Вами». Она словно забыла, что он вовсе не просил её о подобной доверенности. И теперь она возлагает на него ещё одну непосильную ношу: «О, я чувствую, что если суждено нам с ним быть опять счастливыми <...> то произойдёт это непременно через Вас и Вы сами об этом не будете знать»¹²¹.

Но пока-то он знает. И это знание не радует, а тяготит его. Без его ведома и согласия у него берут моральное обязательство, причём — очень деликатного свойства. Его дальнейшее молчание было бы расценено как отказ *от долга*. И, получив последнее письмо Поливановой, он отвечает: в тот же день.

Три четверти своего письма от 18 октября он, по его собственным словам, «употребил на описание себя и своего положения». Он просит, он умоляет свою корреспондентку «собрать всю силу Вашего дружества» и поверить ему, что он не отвечал только потому, что физически не мог этого сделать. Всё лето и осень не разгибаясь, лист за листом он гнал «Карамазовых», он писал день и ночь — и в Старой Руссе, и здесь, в Петербурге, — он «по пяти раз переделывал и переправлял написанное». Он ищет себе оправдание: «Не мог же я кончить мой роман кое-как, погубить всю идею и весь замысел». Его сокрушают эпилептические припадки; его мучат посетители с просьбами и авторы с рукописями. Он не успевает отвечать на самые нужные ему письма. Даже его

собственные дети, которых он гонит от себя, «вечно занятый, вечно расстроенный», говорят ему: «Не таков был ты прежде, папа». Он призывает Марию Александровну на него не сердиться.

Наконец он переходит к главному. Не вдаваясь в подробности и избегая давать советы — вообще стараясь *не обсуждать* ситуацию, — он лишь пытается осторожно поддержать Марию Александровну в её собственных усилиях. Признанный психолог и знаток человеческой души, он — в конкретном случае — страшится бестрепетной рукой коснуться чужого горя. По-своему благодаря за доверие («То, что Вы мне открыли, у меня осталось на сердце»), он тем не менее даёт понять, что не в состоянии исполнить возлагаемую на него великую миссию.

«Конечно, никакая сделка невозможна и Вы правильно рассуждаете и чувствуете», — пишет он, очевидно, имея в виду *ménage à trois*. Сторонник всеобщей любви, он высоко ставит права любви индивидуальной и не считает, что *такой* исход и есть гармония. «Но если он (муж; ни имя, ни фамилия Поливанова в ответном письме не названы. — *И. В.*) становится другим, то, хотя бы и продолжал быть перед Вами виноватым, Вы должны перемениться к нему — а это можно сделать без всякой сделки. Ведь Вы его любите, а дело это давнее, наболевшее». Он отнюдь не подсказывает своей корреспондентке какие-то конкретные (волевые!) решения, он возлагает надежды на время, терпение, человечность. «Если он переменится, то будьте и Вы *дружественнее*. Прогоните от себя всякую мысль, что Вы тем даёте ему *повадку*. Ведь придёт же время, когда он посмотрит на Вас и скажет: «Она добрее меня» — и обратится к Вам. Не безмолвным многолетним погрёком привлечёте Вы его к себе».

Заканчивая своё письмо, Достоевский деликатно отстраняет от себя честь быть конфиденнтом в подобных вопросах. «Да, впрочем, что ж я Вам об этом пишу? (Может быть ещё и обижаю Вас): ведь если я и знаю Ваш секрет, то сколько бы Вы мне об этом ни написали — всё-таки останется целое море невысказанного и которого Вы и сами не в силах высказать, а я понять. И не слишком ли Вы увлекаетесь, думая про меня, что я могу столько значить в Вашей судьбе? Я не смею взять столько на себя»¹²².

Она пошлёт ему ещё два письма — будет писать о «Карамазовых», о «хватаящих за душу» вопросах, которые он ставит в своих произведениях, благодарить за внимание («...одним только Вам

высказываюсь, не выскажусь — задохнусь»¹²³). Но более не будет требовать от него невозможного. Она, кажется, поняла, что он не всемогущ.

Он уже не успеет откликнуться на её последние письма.

Теперь нам осталось повторить вопрос: почему исчезли оригиналы? Ответить на него нетрудно. Скорее всего, после смерти Достоевского Поливанова обратилась к Анне Григорьевне с просьбой вернуть её послания: у неё были для этого серьёзные причины. И вдова Достоевского пошла ей навстречу*. Она вернула письма, не забыв предварительно аккуратно снять копии.

Письма Поливановой составляют незначительную часть писательского архива Достоевского. Но они очень точно отражают ту степень человеческого доверия, которое испытывали к автору «Братьев Карамазовых» многие из его современников. И в письмах Поливановой, и в приводившемся выше письме слушательницы Бестужевских курсов, и в некоторых других посланиях (порой носящих ещё более интимный и откровенный характер) можно усмотреть одну общую черту: страстное упование, что именно он, Достоевский, способен разрешить не только общие, но и сугубо личные вопросы, утолить сердечную боль, подать немедленную духовную помощь. Подобные упования превышали его человеческие возможности: в этом смысле он был жертвой собственного искусства.

Направляясь в Москву, он полагал, что отрывается от этого искусства всего на несколько дней. Он ошибся: московская пауза, хотя и принесла ему ни с чем не сравнимое утешение, взяла всё же более трёх недель. За всё время писания «Карамазовых» он не позволял себе таких длительных отвлечений.

Надо было навёрстывать упущенное.

* Не исключено, что Анна Григорьевна сделала это не без колебаний. В 1881 году аналогичная просьба (со стороны Е.Ф. Юнге) вызвала её возмущение¹²⁴. В единственном известном нам письме Поливановой Анне Григорьевне от 30 января 1881 года такой просьбы не содержится¹²⁵: правда, надо иметь в виду, что это письмо написано всего через два дня после смерти Достоевского.

глава XVI

горячее лето

Большая и малая проза

Надо было навёрстывать упущенное, ибо ни в мае, ни в июне «Русский вестник» не смог порадовать своих читателей новыми главами «Братьев Карамазовых». Автор хотел закончить роман к осени: и так уже печатание растянулось на восемнадцать месяцев. Все его прежние романы (кроме «Бесов») печатались в пределах двенадцати годовых номеров.

Тут явил себя характер. Было не так просто после деятельного московского безделья, парадных обедов, торжественных раутов и заседаний и, главное, после потрясших весь его телесный и духовный состав оваций — было не так просто заставить себя отрешиться от этих мучительно-сладостных воспоминаний, собраться, сжать свою художническую волю — и прямо из праздника без перехода с головой окунуться в прозу: буквально — *в прозу*.

Он обладал этой способностью в высокой мере. В критические минуты жизни он умел направлять всю свою энергию в одну точку. И ныне, вернувшись в Старую Руссу, он за каких-нибудь двадцать дней «залпом» пишет три печатных листа романа.

6 июля текст уже отправлен Любимову. «В этой части (которую высылаю), — говорит он в сопроводительном письме, — надеюсь, ничего не найдёте *неудобного* для Р<усского> вестника»¹.

Сказано дипломатично, однако — достаточно твёрдо. Теперь он разговаривает с редакцией как власть имущий (как власть — с властью): ведь только что вся Россия (и вместе с нею он сам!) убедилась в его неоспоримом духовном могуществе.

Речь появилась в «Московских ведомостях» 13 июня: инициатива в данном случае исходила не от автора. Даже 8 июня, то есть в день произнесения Речи, он ещё не знает, какому печатному органу отдать предпочтение. На «статью» (так именует он Речь) имелось три претендента: Юрьев («Русская мысль»), Суворин («Новое время») и Катков. Но Юрьев, не предвидевший *чуда*, вёл себя уклончиво, и раздражённый Достоевский «почти пообещал» статью Каткову — предположительно для журнала: она должна была заполнить вынужденную паузу в публикации «Карамазовых».

Возникает вопрос: когда и при каких обстоятельствах произошла передача текста?

9 июня О.А. Новикова посылает в гостиницу «Лоскутная» следующую записку:

«Вчерашний день, благодаря вам, действительно велик! Но вашей гениальной речи не подобает появиться в Чухонских Афинах; Катков будет счастлив напечатать её на каких угодно условиях, *в этом не сомневаюсь...* Я могу ему телеграфировать. Если согласны, я была бы рада ехать с вами; нас примут с распростёртыми объятиями...»²

Катков, «возвративший билет», находился на даче: телеграфировать предполагалось именно туда.

Не ясно, явилась ли сестра генерала А. Киреева посредником при передаче текста Каткову, или же Пушкинская речь попала к нему через другие руки. Во всяком случае, 9 июня Достоевский на даче у Каткова не был. Вечером этого дня он говорит Поливановой, что Речь «взяли» у него «сегодня в 2 ч. в редакцию «Московских ведомостей»³.

«Взяли» — то есть кто-то из сотрудников редакции (или та же Новикова) явился за Речью лично.

Затем текст был срочно отправлен Каткову и получил его «добро». Это явствует из записки секретаря редакции «Московских ведомостей» К.А. Иславина:

Редакция. Понедельник $\frac{1}{2}$ 4-го ночи.

Милостивый государь Фёдор Михайлович.

Посылаю Вам только что полученную мною телеграмму, из которой Вы увидите, что речь Ваша принята с удовольствием. Радуюсь, что это дело нам удалось, и пользуюсь случаем выразить Вам чувства моего к Вам искреннего уважения и готовности к услугам.

К. Иславин.

На конверте: «Его Высокоблагородию Фёдору Михайловичу Достоевскому в Лоскутную Гостиницу № 33 от К.А. Иславина»⁴.

Записка, без сомнения, написана в ночь с 9-го на 10 июня. Упущенная в ней телеграмма Каткова неизвестна: она, очевидно, не сохранилась. Речь «принята с удовольствием»: Каткову ничего не оставалось, как выразить именно это чувство — может быть, не вполне искреннее (вспомним: «Какое же это событие!»).

«Радуюсь, что это дело нам удалось», — пишет Иславин. Звучит несколько странно. Кому — «нам»? Может быть, троим: Достоевскому, Иславину и Новиковой, которая и взяла на себя труд отвезти Речь Каткову на дачу? Из фразы Иславина как будто следует, что не все участники «дела» были абсолютно уверены в его успехе.

Достоевский ответил Иславину утром 10 июня — уже с Николаевского вокзала. Он благодарит за добрые вести и просит напечатать Речь как можно скорее. Теперь он желает, чтобы Речь явилась непременно в газете — по свежим следам событий (может быть, исполнение этого условия и имел в виду Иславин, говоря об успехе «дела»).

Он просит прислать ему в Старую Руссу корректуры для просмотра. «Поправок от Редакции (то есть в смысле и содержании) убедительнейше прошу не делать»⁵, — оговорка свидетельствует о том, что, несмотря на заявленное Катковым «удовольствие», автор не исключает редакторских сюрпризов.

11 июня, в день своего возвращения в Старую Руссу, Достоевский получает следующую телеграмму:

Подана 11-го 9 ч. 30 м. пополудни.

Корректуры не было возможности отослать сегодня. К. (то есть Катков. — *И. В.*) сам держал корректуру. Никаких

перемен. Желает поместить завтрашнем номере без Вашей корректуры. Весь интерес немедленном появлении. Всю ночь будем ожидать Вашего согласия. Ответ уплачен.

*Иславин*⁶.

Достоевский телеграфирует согласие. И на следующий день (уже в письме) просит Иславина выслать ему рукопись Речи и номер газеты, где она будет напечатана.

Проходит неделя, Речь давно опубликована, а из Москвы — ни ответа ни привета. Достоевский, у которого подобные *небрежности* всегда вызывали острую подозрительность (не поступают ли с ним так преднамеренно, чтобы он «не забывался?»), пишет Иславину довольно резкое письмо. По пунктам исчислив свои необременительные просьбы, он замечает, что ни одна из них «не была уважена».

«Между тем время уходит, — пишет Достоевский. — Листки надо послать в Петербург (для публикации в «Дневнике писателя». — *И. В.*) В них есть места, не напечатанные в Московских ведомостях. Вспомните, что это литературная собственность и пропасть она не должна».

В своих объяснениях с редакцией он прибегает к аргументам *юридическим*: такие приёмы неприменимы между друзьями. Тон письма делается под конец почти ультимативным: «А потому ещё раз, и в последний раз, прошу *настоятельно* исполнить мои просьбы: то есть прислать № газеты с моей статьёй и листки рукописи, хотя бы рваные и запачканные». И уже совсем раздражённо добавляет, что, несмотря на неоднократные просьбы перевести в летнее время подписку «Московских ведомостей» на его старорусский адрес, это «простейшее дело» до сих пор также не исполнено. Поэтому лучше вообще прекратить высылку газеты на его имя: «Не могу же я ездить в Петербург читать её»⁷.

В тот же день, не удовольствовавшись письмом Иславину, он делает ещё один решительный шаг: пишет самому Каткову. Сетуя на нерасторопность Иславина, он косвенно упрекает и его шефа: «Не могу постичь, чем я заслужил такую небрежность со стороны редакции Моск<овских> вед<омост>ей. Будьте уверены, многоуважаемый Михаил Никифорович, что я слишком чувствительно огорчён этим»⁸.

Он, как помним, не состоял с Катковым в регулярной переписке. Он даже не обращался к нему в чрезвычайных случаях —

когда речь шла о судьбе тех или иных страниц романа. Но считает необходимым войти с редактором в прямой контакт по вопросам, казалось бы, мелким, процедурным: здесь задето личное самолюбие.

В тоне его писем в Москву начинают проскальзывать жёсткие нотки: *теперь* он чувствует себя значительно уверенней.

17 июня (ещё до получения его сердитого письма) рукопись Пушкинской речи была выслана автору. Казалось бы, уже ничто не могло отвлечь его от работы над «Карамазовыми». Однако 6 июля писание романа было приостановлено: он занялся совсем другим делом.

Попытка объяснения

Десять дней были отданы «Дневнику писателя». Первоначально он полагал напечатать в этом единственном за весь год выпуске одну только Речь — без каких бы то ни было дополнений. Но обстоятельства переменялись: комментарии сделались необходимы.

Мысль об этом, как он сам говорит, пришла ему в голову ещё на эстраде, в тот момент, когда Тургенев и Анненков бросились «лобызать» его, уверяя, что он написал «вещь *гениальную*». И он добавляет: «Увы, так ли они теперь думают о ней?»

Задавая в одном из писем этот риторический вопрос, он, разумеется, ничего не знает о последних тургеневских оценках. Но интуиция не обманывает его. «И вот, — продолжает он, — мысль о том, как они подумают о ней сейчас, как опомнились бы от восторга, и составляет тему моего предисловия». Наряду с «предисловием» августовский «Дневник» содержит «Четыре лекции г. Градовскому» — ответ на статью последнего в «Голосе». В лице А.Д. Градовского как бы обобщена «профессорская» критика Речи: если бы её автор захотел отвечать каждому своему оппоненту в отдельности, ему не хватило бы всей — уже недолгой — жизни.

Он имел обыкновение ежедневно просматривать газеты в старорусской читальне минеральных вод. Чтение было неутешительным.

«В прессе нашей, особенно петербургской, буквально испугались чего-то *совсем нового*, ни на что прежнее не похожего, объ-

явившегося в Москве: значит, не хочет общество одного подхихивания над Россией и одного оплевания её, как доселе, значит, настойчиво захотело иного. Надо это затереть, уничтожить, осмеять, исказить и всех разуверить: ничего-де такого нового не было, а было лишь благодущие сердца после московских обидов. Слишком-де уже много кушали»⁹.

Он пишет это Е.А. Штакеншнейдер, которая горячо поздравила его с успехом: «Воображаю, что это было. Как жаль, что Анна Григорьевна не присутствовала. Главное неожиданность. То есть все знали, что будут Вам рукоплескать, ведь всем рукоплескали, но не знали, что будут плакать, что бросятся к Вам, что Аксаков откажется от своей речи...»¹⁰

Отвечая, он не может (да и не хочет) скрыть своего раздражения. Уж слишком внезапен и резок переход от недавних восторгов к грубой газетной брани: несмотря на немалый опыт, вряд ли он был к этому готов.

Нападки на Речь означают для него не только ревизию Речи, но и отказ от надежды.

«Дневник» был написан в Старой Руссе, но следовало ещё издать его и реализовать тираж. Анна Григорьевна, оставив на несколько дней детей и мужа, отправляется в Петербург. К 12 августа «Дневник» поступил в продажу. В первый день дела двигались туго: Анна Григорьевна наторговала всего на 6 р. 75 к. (отпечатано было между тем более четырёх тысяч экземпляров). И хотя она сообщает в Старую Руссу, что «многие покупают у нас на дому и притом изъясняются в любви к тебе», в тоне её звучит неуверенность.

На следующий день положение изменилось. «“Дневник” пошёл, и уверяют, что его рвут на части...»¹¹ — ликует Анна Григорьевна в своём кратком и спешном послании из Петербурга, не ведая, что это её *деловое* письмо окажется последним: оно завершит их четырнадцатилетнюю переписку.

Августовский «Дневник» производит странное и двойственное впечатление.

То, что 8 июня было целостным переживанием, единым художественным актом, теперь подвергается разъятию и запальчивому толкованию. Вступая в полемику со своими оппонентами, Достоевский фактически перенимает их критическую методологию: он ввязывается в бой на чуждой ему почве. И хотя его суждения порою чрезвычайно остроумны, а наносимые им удары — неотразимы и точны, все же логическая аргументация «Днев-

ника» оказывается слабее художественной аргументации Речи. Принцип действия этих двух текстов различен. Если «фантазия» выглядела убедительно, то реальный комментарий к ней не лишён фантастичности.

«Дневник» был встречен почти единодушным поношением.

«Отбросив всякую совесть, — писала «Молва», — г. Достоевский позорит, грязнит самых дорогих и уважаемых людей того западничества, в котором числился в своё время и Пушкин, которое драгоценно если не всей, то уж конечно, значительной части России»¹².

Желая усилить впечатление от Речи, её автор добивается порой результатов прямо противоположных.

Только что провозгласивший «формулу примирения», он в «Дневнике» обрушивается на своих оппонентов с резкими и далеко не всегда справедливыми упреками.

Весь августовский «Дневник» заострён против отечественных либералов и, следовательно, — против Тургенева. И хотя имя прямо не названо, к нему, вечному своему спутнику, обращается Достоевский в первую очередь.

Выпуская «Дневник», его автор сознавал, что он предпринимает акцию, «до того разрывающую с ними все связи, что они теперь меня проклянут на семи соборах»¹³.

И в письме К.П. Победоносцеву повторяет ту же мысль: «Думаю, что на меня подымут все камни»¹⁴.

«Камения» действительно были подняты.

«Стыдно, милостивый государь!»

«Уж лучше бы он не возражал! — восклицал «Голос», имея в виду ответ автора «Дневника» А. Градовскому. — Романист, заслуживший себе в литературе доброе имя, становится жалок разоблачениями своего невежества. Видно, подражать Золя в «Братьях Карамазовых» куда как легче, чем рассуждать о матерях важных, когда ум не дисциплинирован философским образованием!»

Не было ничего непривычного в том, что подвергался осуждению его беспорядочный ум, не дисциплинированный (увы!) «философским образованием»: за это доставалось ещё Пушкину. Собственное открытие «Голоса» состояло в другом: автор «Кара-

мазовых» объявлялся эпигоном Золя (писателя, к которому он, кстати, относился с изрядной долей скептицизма).

«Гораздо большим «событием», чем новейшее произведение г. Достоевского, — заключал «Голос», — был, бесспорно, пожар на табачной фабрике братьев Шапшал»¹⁵.

Сравнение не вполне справедливо: отклики на «Дневник писателя» по своему количеству и эмоциональному накалу всё же идут несколько впереди сообщений о вышеупомянутом пожаре.

«Сущность этих нападков уловить трудно, — писала «Неделя» о поднявшейся вокруг августовского «Дневника» буре, — да, строго говоря, в них никакой сущности и нет: это просто сплошное издевательство над г. Достоевским, без малейшей попытки отделить в его взглядах зерно от мякины»¹⁶.

Действительно, в газетных и журнальных рецензиях на «Дневник» мы почти не встретим споров по существу — того, что можно было бы назвать принципиальной полемикой. Доводы, к которым прибегает пресса, мало отличаются от аргументов, изложенных в *доверительном* письме Анненкова Тургеневу: высказанные гласно, они принимают характер оскорбления личного.

«И как жалок показался нам в своём ответе г. Достоевский, — пишет журнал «Слово». — Мы просто диву дались ввиду такого непонятого факта, как соединение в одном и том же человеке такого крупного таланта по части беллетристики и такого жалкого скудоумия в публицистике. Это бред какого-то юродивого мистика, а отнюдь не суждение здравомыслящего человека»¹⁷.

«Бред юродивого мистика» — вот определение, наиболее часто прилагаемое к автору «Дневника». Его непринуждённо сравнивают с раритетом из кунсткамеры, с монстром, помещённым в банку, вокруг которой толпятся праздные зеваки: он — «явление совершенно той же категории, к которой относится... двуголовый телёнок»¹⁸ и т. д.

«Г. Достоевский говорит о презрении либералов к народу, и разве не прав он в этом отношении?»¹⁹ — спрашивала «Неделя», однако этот резонный вопрос потонул в хоре негодующих восклицаний.

Автору «Дневника» достаётся не только за умственную, но и за гражданскую отсталость.

Даже радикальное «Дело» вступилось за оскорблённых Достоевским либеральных противников, заявив, что в их сердцах

«билось гораздо больше братской любви и сочувствия к ближнему, чем, напр., в вашей душе, преисполненной всякой мерзости лицемерия и славянофильской лжи»²⁰. Статья называлась: «Романист, попавший не в свои сани».

Е.А. Штакеншнейдер, прочитав эту статью, занесла в дневник: «Бог ты мой, что за гнев и негодование! Чужие сани оказываются публицистикой. Достоевский, видите ли, не публицист и не может им быть, вероятно, на том же основании, на каком... не мог быть педагогом граф Лев Толстой. Лев Толстой — романист и вдобавок ещё граф. Как же он может быть педагогом? Достоевский хотя не граф, но тоже романист. Как же может он быть публицистом?»²¹

В упомянутой статье далее говорилось: «Поистине, для такого чудовищного отрицания, с которым явился г. Достоевский, нужно иметь мужество не менее чудовищного умозатмения»²².

Этот тезис продолжал пользоваться всеобщим признанием.

«Легко ли заподозрить в этом вдохновенном проповеднике юродивого, — вопрошало «Русское богатство», — положим, довольно необыкновенного и блестящего, но которому, в сущности, только шаг до выкрикивания по-петушиному? Можно ли допустить, чтобы разумное с виду человеческое существо, да ещё одарённое яркой Божьей искрой, могло до такой степени утратить чувство реальной действительности, до того отуманить своё понимание всяческими фикциями и фантазмагориями, чтобы завалящую тряпочку, привязанную к шесту, искренно считать победным стягом человечества, а какую-то абракадабру полуфраз-полумыслей выдавать за стройное мирозерцание?»²³

Статья называлась: «Проповедник “Нового слова”».

В декабре «Русское богатство» возвращается всё к той же теме: «Юродствующие мечтатели приглашают нас верить, что когда-то, в отдалённом будущем, русский народ окажется краше всех народов и спасёт все народы!» Этим туманным мечтаниям журнал противопоставлял ясную (и в некотором смысле — захватывающую) программу: «Нам всё равно, будет ли наш народ самый совершенный или самый плохой, лишь бы он был счастлив»²⁴.

Призыву к счастью *любой ценой* было, разумеется, трудно ужиться с идеалом Пушкинской речи.

Выше мы приводили суждение одного западного писателя, аттестовавшего Достоевского «злым фанатичным средневековым монахом». Следует всё же признать приоритет за отечественной периодикой: «...он (Достоевский. — *И. В.*) умеет любить людей,

но не умеет уважать их. Он боится довериться благородной природе человека, видит в ней вместилище всяческой скверны и готов бороться против неё всеми орудиями и средствами, вплоть до инквизиции, пожалуй»²⁵.

«Спорить с автором «Дневника», — замечает обозреватель «Русского богатства», — для нас нет не только нравственной, но и физической возможности... С Пифиями не спорят; их или беспрекословно слушаются, или по-авгурски смеются, слушая их тарабарские вещания. Не будем спорить с г. Достоевским и мы, а посмеяться — посмеёмся»²⁶.

Несмотря на провозглашённый отказ от спора, автор этой статьи вступал в полемику с «Дневником» по одному весьма деликатному вопросу.

В «Дневнике» говорится о некотором знании его автором народа, поскольку он, автор, «жил с ним довольно лет, ел с ним, спал с ним... работал с ним настоящей мозольной работой»²⁷. Подразумеваются, конечно, каторга и солдатчина.

Ссылка на собственный жизненный опыт оказалась неосновательной.

«...Но ведь эта похвальба только смешна и ничего больше, — снисходительно роняет оппонент из «Русского богатства». — Во-первых, как всем известно, г. Достоевский «спал и работал» с народом отнюдь не с целью его изучения и не по своей воле; а мы можем в своих рядах без всякого затруднения указать людей, которые тоже жили и работали с народом, но с определённой целью именно ближайшего его изучения»²⁸.

Российские журнальные споры никогда не отличались особенным благородством тона. Но до подобных бестактностей дело, кажется, ещё не доходило. Бывшему каторжнику недвусмысленно давали понять, что общение его с народом не есть его собственная заслуга: это всего лишь следствие *случайного* стечения обстоятельств. Поэтому нравственная ценность такого общения равна нулю. Беспредметному пребыванию Достоевского в Мёртвом доме противопоставлялась полезная деятельность добровольцев, изучающих народ «с определённой целью».

Но этого оказалось мало. Далее автор статьи делится с читателями своими предположениями о том, что помешало Достоевскому основательно взяться за изучение народной жизни. «Почтенному беллетристу, — пишет он, — некогда было: он занят был изобращением на страницах «Русского вестника» разных «идиотов»

да изобличением разных «бесов»... И после этого г. Достоевский осмеливается говорить о нашем презрении к народу и о своей любви и уважении к нему! Стыдно, милостивый государь!»²⁹

Здесь звенела искренняя обида.

Указанная филиппика была обнародована в августовской книжке журнала. Прошло больше месяца, и на страницах «Недели» появилась статья, которая, как нам представляется, содержала прямой ответ на изумительные откровения «Русского богатства».

«...Его (Достоевского. — *И. В.*) спрашивают, — писала «Неделя», — где он был, когда шли споры о деревне, и укоризненно восклицают: «Вы писали “Бесов” и “Карамазовых”!» Что отвечать г. Достоевскому на такую мудрёную укоризну? Ну да, он не вмешивался в споры; ну да — он писал романы — но что же из этого?.. Удивительное, ей-богу, дело: мы толкуем о свободе, о терпимости и в то же время сами являемся деспотичными и нетерпимыми как любой турецкий султан! Мы забрасывали грязью Тургенева, мы предписывали Щедрина дорогу, по которой он должен идти, мы называли Лермонтова юнкерским поэтом, мы презрительно третировали Пушкина, — теперь принялись и за Достоевского. На него топают ногой, ему кричат «стыдно!». Вам стыдно, милостивые государи!»³⁰

Его последние месяцы омрачены беспрецедентной журнальной травлей — по контрасту с той восторженной атмосферой, которая окружала его в Москве. Выдержать этот перепад было не так просто.

Было не так просто выслушивать развязные суждения журналистов о том, что им страшно «за патологические симптомы мозга»³¹ автора «Карамазовых», что отныне он сопричислен к сонму людей, подобных Магницкому, Руничу и Шишкову, и что о его взглядах прилично говорить только «шутливым тоном»³². И вовсе не в шутку, а всерьёз заявлялось следующее: «Нам кажется, что г. Достоевский болен, и мы советовали бы его близким уговорить его серьёзно полечиться, а то, пожалуй, могут выйти очень печальные последствия... убеждать такого противника всё равно, что лечить мёртвого»³³.

Когда-то он записал в своих тетрадях: «“Болезненные произведения”. Но самое здоровье ваше есть уже болезнь. И что можете знать вы в здоровье?»³⁴

Впрочем, в печати слова эти не появились.

Умственный труд в физическом исчислении

Он приехал из Москвы, говорит Анна Григорьевна, «такой довольный и оживлённый, каким я давно его не видала». Он весь ещё *там*; инерция успеха сказывается во всем его существе. «Но прошло дней десять, и настроение Фёдора Михайловича резко изменилось; виною этого были отзывы газет...»³⁵

«За моё же слово в Москве, — пишет Достоевский О. Миллеру, — видите, как мне досталось от нашей прессы почти сплошь: точно я совершил воровство-мошенничество или подлог в каком-нибудь банке. Даже Юханцев не был облит такими помоями, как я»³⁶.

Юханцев — герой недавнего уголовного процесса: мошенник, прославившийся своими банковскими махинациями и разоривший множество вкладчиков.

Сказалось, наконец, напряжение последних месяцев. Настоящая, а не сочинённая критиками болезнь дала о себе знать: два эпилептических припадков поразили его один за другим.

Он тяжело переносил свой недуг. После приступов бывал мрачен, угрюм, неразговорчив. Он творил вопреки болезни, а не благодаря ей.

В его последней тетради сохранились записи припадков, иногда — с краткими пояснениями.

«7 сентября 80 г. Из довольно сильных, без четверти 9 часов, порванность мыслей, переселение в другие годы, мечтательность, задумчивость, виновность, вывихнул в спине косточку или повредил мускул.

6-го ноября 80 г. Утром в 7 часов, в первом сне, но болезненное состояние очень трудно переносилось и продолжалось почти неделю. Чем дальше, тем слабее становится организм к перенесению припадков и тем сильнее их действие»³⁷.

Конечно, болезнь резко снижала трудоспособность. Тем не менее по интенсивности труда и количеству написанного последние месяцы не знают себе равных.

За четыре недели, прошедшие по его возвращении из Москвы, он «изготавливает» три печатных листа «Карамазовых» и почти такого же объёма текст для «Дневника писателя». С 20 июля по 10 августа, то есть за двадцать дней, он пишет ещё четыре печатных листа романа: они появятся в августовской книжке «Русского вестника».

Последнюю, двенадцатую книгу «Карамазовых» он предполагал поместить в сентябрьском номере, но она разрослась почти до восьми печатных листов, захватив также и октябрь.

Наконец 8 ноября в Москву отправляется «Эпилог» объёмом около двух печатных листов.

За неполных пять месяцев им создаётся семнадцать (по его собственным подсчётам — двадцать) листов романа плюс три листа «Дневника писателя»: если даже учесть, что тогдашний печатный лист был несколько меньше нынешнего, — цифра фантастическая.

Одновременно читаются журнальные корректуры, а осенью — ещё и корректуры отдельного издания.

Ни один из русских писателей не испытывал подобных перегрузок. Определение «каторжный», которое он в эти месяцы прилагает к своему труду, не кажется преувеличением.

Его последний год (последние полгода) — время поразительного взлёта. И — не менее поразительных *переключений*: от Пушкинской речи — к роману, затем — от романа к яростной полемике с Градовским, и — снова к «Карамазовым». И потом, уже в последние недели, — снова к «Дневнику писателя».

Может быть, это ощущение того, что времени уже нет.

Лето и осень 1880 года в Старой Руссе выдались на редкость удачные: погоды стояли великолепные. Он пишет Победоносцеву, что только здоровеет, несмотря на работу: нам, знающим его сроки, поверить в это невозможно.

Письма его последнего лета имеют интересную особенность: они отражают пульсацию его труда. Как правило, они пишутся по нескольку сразу, в один-два дня — в краткий момент передышки, когда одна часть работы закончена, а другая — ещё не начата.

«...Для меня ничего нет ужаснее, как написать письмо, — признаётся он Поливановой. — Если я чем занимаюсь, то есть пишу, то я кладу в это всего себя, и после написания письма я уже никогда не в состоянии в тот день приняться за работу»³⁸. Он изыскивает время на стыках, на границах рабочих периодов — отсюда «кучность» его переписки. Он не может позволить себе отвлечься, расслабиться, раздобриться — разбавить эпистолярной водой мощное течение прозы. Ничуть не щадя себя, он старается уберечь главное в себе.

17 июля он пишет Е.А. Штакеншнейдер: «Вчера был день рождения моего Феде, пришли гости, а я сидел в стороне и кончал работу!»³⁹

«Вчера», то есть 16 июля, Феде Достоевскому исполнилось девять лет.

глава XVII

СЕМЬЯ И ДЕТИ

Поздний отец

Он был поздним отцом: ему шёл сорок седьмой год, когда двадцатиднолетняя Анна Григорьевна разрешилась первым ребёнком.

Это произошло в Женеве.

Он страшно волновался за исход родов, бегал за акушеркой, горячо молился. Когда родилась девочка, его восторгам не было предела. Акушерка даже шепнула роженице, что за всю её многолетнюю практику ей не приходилось видеть отца «в таком волнении и расстройстве».

«К моему большому счастью, — пишет Анна Григорьевна, — Фёдор Михайлович оказался нежнейшим отцом: он непременно присутствовал при купании девочки и помогал мне, сам завёртывал её в пикейное одеяльце и зашпиливал его английскими булавками, носил и укачивал её на руках и, бросая свои занятия, спешил к ней, чуть только слышит её голосок. Первым вопросом при его пробуждении или по возвращении домой было: «Что Соня? Здорова? Хорошо ли спала, кушала?» Фёдор Михайлович целыми часами просижи-

вал у её постельки, то напевая ей песенки, то разговаривая с нею...»

Соня умерла через три месяца — от воспаления легких. Отец переживал эту смерть не менее тяжело, чем мать: «...отчаяние его было бурное, он рыдал и плакал, как женщина, стоя перед остывавшим телом своей любимицы, и покрывал её бледное личико и ручки горячими поцелуями. Такого бурного отчаяния я никогда более не видала»¹.

Плакала, конечно, и Анна Григорьевна. Их соседи, знавшие о несчастье, присылали просить, чтобы она делала это не столь громко: откровенный русский плач действовал на нервы сдержанным женевским жителям.

Они покинули ненавистную Женеву, и он, не любивший роптать на судьбу, впервые стал жаловаться Анне Григорьевне, исчисляя все свои страдания и неудачи: «Никогда, ни прежде, ни потом, не пересказывал он с такими мелкими, а иногда трогательными подробностями те горькие обиды, которые ему пришлось вынести в своей жизни от близких и дорогих ему людей»².

Смерть первого и единственного ребёнка словно открыла какой-то клапан: перенёсший каторгу, потерю первой жены и брата, не сломленный нуждой и литературной подёнщиной, он, так любивший ветхозаветную книгу Иова, наконец возопил.

Он пишет Майкову: «Если даже и будет другой ребёнок, то не понимаю, как я буду любить его; где любви найду; мне нужно Соню. Я понять не могу, что её нет и что я её никогда не увижу»³.

Ему необходимо не дитя вообще, а именно это конкретное дитя. Так штабс-капитан Снегирев, теряющий своего Илюшечку, на утешающий совет сына взять после его смерти «хорошего мальчика другого» ответит: «Не хочу хорошего мальчика! Не хочу другого мальчика!»

Почти через полтора года после смерти Сони на свет появляется вторая дочь — Люба (или Лиля, как звали её в семье). Она родилась в Дрездене. «...Ребёнок большой, здоровый и красавица»⁴, — сообщает он Майкову (Любовь Фёдоровна, повзрослев, будет не очень крупной, не очень красивой и очень болезненной женщиной).

В 1871 году они возвращаются на родину — после четырёх лет странствий. Спустя восемь дней по приезде в Петербург Анна Григорьевна разрешается третьим ребёнком. На сей раз это был мальчик: он получает имя своего отца.

Достоевский был хорошим отцом. Его дочь говорит, что он занялся воспитанием детей слишком рано («в такое время, когда большинство отцов держат своих детей в детской»)⁵, не подозревая, что новейшая педагогика очень скоро вообще отменит нижнюю возрастную границу воспитательного процесса.

Впрочем, он не претендует исключительно на роль педагога: в случае необходимости он с видимым удовольствием выполняет функции няньки.

Когда двухлетняя Люба сломала себе руку (кость неправильно срослась, и срочно потребовалась операция), он отрывается от своих занятий и вместе с женой и больным ребёнком возвращается из Старой Руссы в душный Петербург. Он стоит за дверью операционной, где хирург склоняется над его дочерью, и по миновании опасности тотчас отправляется обратно — не для того, чтобы избежать дальнейших хлопот, а чтобы в отсутствие матери присмотреть за их десятимесячным малышом.

Он требует, чтобы на Рождество детям непременно покупалась большая и ветвистая елка, и, взобравшись на табурет, самостоятельно прилаживает звезду и зажигает свечи. Он берёт на руки раскапризничавшегося ребёнка и, усадив его в стоявшие на полу санки, полночи бодрствует рядом, ожидая, пока мальчик успокоится и заснёт.

«Чем старше мы становились, — пишет его дочь, — тем строже становился он, но всегда был с нами очень ласков, пока мы были малы. Я была в детстве очень нервна и часто плакала. Для того чтобы развлечь меня, мой отец предложил мне танцевать с ним. Мебель в гостиной была отодвинута в сторону, моя мать взяла в качестве кавалера своего сына, и мы танцевали кадрили»⁶.

Представить Достоевского танцующим затруднительно: гораздо затруднительнее, чем, скажем, на кафедре в зале Благородного собрания. Закреплённый в сознании стереотип — человек с неулыбчивым лицом пророка — плохо вписывается в интимную домашнюю обстановку.

Анна Григорьевна сетовала, что большинство воспоминателей изображают её мужа мрачным и неприветливым человеком: она знала его совсем с иной стороны.

Он был исключительно правдив, и, как пишет его дочь, «ему не приходила в голову мысль о том, что его кто-нибудь желает обмануть». (Под «кто-нибудь» разумеются, очевидно, его близкие: к посторонним он бывал весьма подозрителен.) Сам он обма-

нывал только 1 апреля — и нельзя сказать, чтобы эти розыгрыши отличались особой изобретательностью. Однажды он попросил Анну Григорьевну извлечь из его постели крысу, которую он задавил ночью. Анна Григорьевна, сопровождаемая любопытствующими детьми, направилась в комнату мужа, но все поиски оказались тщетными. «Куда же ты её бросил?» — спросила она. «Первое апреля!» — сказал он, в восхищении от своей хитрости⁷.

Он — подлинно семейный человек, нимало не похожий на мятущихся гениев байронического типа — романтиков, брезгливо отстраняющихся от всего, связанного с домом и бытом. Всё касающееся семьи и детей глубоко его волнует, влияет на его умонастроение и расположение духа.

«Ах, зачем вы не женаты, — пишет он Страхову, — и зачем у вас нет ребёнка, многоуважаемый Николай Николаевич! Клянусь вам, что в этом $\frac{3}{4}$ счастья жизненного, а в остальном разве только одна четверть»⁸.

И — в письме А.П. Философовой: «Детки — мука, но необходимы, без них нет цели жизни... Я знаю великолепных душой людей, женатых, но детей не имеющих, — и что же: при таком уме, при такой душе — всё чего-то им недостаёт, и (ей-богу, правда) в высших задачах и вопросах жизни они как бы хромают»⁹.

Можно предположить, что в этом он сходится с Л. Толстым: во всяком случае, теоретически. Но *в практическом* плане между ними существуют значительные различия.

Сон с субботы на воскресенье

Как Достоевского трудно представить в лоне семьи, так Толстой совершенно невообразим вне её. Слиянность автора «Анны Карениной» с его родовым гнездом, с почвой, со всем укладом Ясной Поляны слишком очевидна. Бессмысленна любая попытка «извлечь» Толстого из плотно охватывающей его семейно-родовой жизни. Он — глава клана, патриарх, дающий смысл и движение всему этому кровно связанному с ним миру, центр обращающейся вокруг него вселенной. Вне семьи для него нет жизни: он умирает, покинув однажды её хранительный кров.

Всё это так. И однако же не секрет, что между Толстым и его близкими всегда существовала достаточно ощутимая дистанция.

Мы имеем в виду не только отличия нравственного и духовного порядка и не позднейшие отдаления от жены и детей, вызванные идейными исканиями главы семейства. Мы разумеем отчужденность уже на «нижнем», бытовом уровне.

«После рождения моего первенца, — пишет Софья Андреевна, — вся энергия моя сосредоточилась на нём, на его трудном физическом воспитании, на его болезнях и развитии. Всё остальное было второстепенно. Для Льва Николаевича же первое было его творчество — и всё остальное было второстепенно; хотя ещё одно дело, в совершенно уже другой области, а именно хозяйство — занимало и увлекало его одно время очень сильно»¹⁰.

Предпочтение, отдаваемое Толстым творчеству, естественно для художника. У Достоевского работа тоже стоит на первом плане. Однако, находясь в положении, ни в каком смысле не сравнимом с толстовским, он способен пожертвовать своими писательскими интересами ради интересов семьи. (Так, мы помним, он не позволяет жене переписывать по ночам его рукописи; относительно жены Толстого подобные указания отсутствуют.)

Описывая лето 1880 года в Ясной Поляне (то самое лето), Софья Андреевна замечает, что она «уже не любила своего уединения с любимым мужем, как прежде», а предпочитала развлечения и общество других людей. Она даже научилась игре в винт, чтобы не оставаться одной. «Слишком я натерпелась в жизни от уединения, — добавляет жена Толстого, — и слишком далеко уходил Лев Николаевич от меня душой, чтобы я могла вновь охотно предаваться уединённой жизни»¹¹.

Конечно, нелепо упрекать Толстого за то, что его жена не в состоянии была поспеть за его неостановимым духовным движением. Но ведь и духовное развитие Достоевского вряд ли можно представить в виде некой постоянной величины. Между тем интенсивность его интеллектуальной жизни ничуть не мешает ему сохранять самую тесную душевную связь с Анной Григорьевной, конечно же уступающей ему в этом отношении. Мощная всепоглощающая деятельность его духа не обдаёт холодом, не оледеняет окружающее его семейное пространство: в своей домашней жизни он остаётся открытым, излучающим тепло человеком.

Может быть, в этом есть заслуга и Анны Григорьевны. Впрочем, жена Достоевского сама заслуживает отдельной книги.

В воспоминаниях С.А. Толстой, достаточно сдержанных по тону, нотки раздражения прорываются чаще всего тогда, когда она повествует об отношении мужа к семье и детям.

Это очень характерно.

«Отношение же Льва Николаевича к семье, — пишет Софья Андреевна, — меня возмущало всю жизнь. Он писал, например, что, живя с нами, он чувствует себя ещё более врозь с семьёй, чем когда он в отлучке»¹².

«Неужели тебе хорошо? — спрашивает Софья Андреевна мужа, уехавшего в самарское имение пить кумыс. — Иногда просто не верится, я думаю с огорчением, что тебе хорошо только потому, что ты вне нашей жизни, нас и, главное, вдали от меня»¹³.

Свои вынужденные отрывы от семьи Достоевский переживает как состояние неестественное и страдательное. Более того: ему не работается *одному*.

«Ты не поверишь, как мне грустно было, особенно по вечерам, вспоминать всю дорóгу об детках и о тебе! И чем дальше, тем больше будет это».

«Цалую тебя и обнимаю, благодарю Лилечку за письмецо, а Федю поздравляю с рыбкой. Пусть поймает три налима к моему приезду, сварим уху. Как я их люблю, моих ангелов, про вашу милость и говорить нечего. Только бы поскорей нам свидеться».

«Деток цалую и благословляю. Скажи Лилечке, что жду от неё цвета лица. Пусть Федя не простужается. Береги своё здоровье. Что если ты заболеешь — кто за ними посмотрит? Мне это даже снилось в кошмаре»¹⁴.

Достоевский с головой погружён в семейное. Толстой, увенчивая семью, как бы парит над ней. Временами хозяйственные, а временами чисто идеологические заботы (бывает, что те и другие разом) имеют в его глазах явное преимущество перед хлопотами домашними и воспитательными (правда, он способен порой целиком отдаваться своим педагогическим увлечениям, но, как правило, — вне семьи). «Не лучше ли было... — говорит о муже Софья Андреевна, — вместо того, чтобы шить сапоги, месить лепёшки, возить воду и рубить дрова — разделить труд семейной и деловой жизни с женой и дать ей досуг для материнской жизни?»¹⁵

Достоевский входит в такие домашние подробности, от которых Толстой полностью освобождён — не столько в силу своего особого положения в семье, сколько вследствие материального положения самой семьи.

Однажды проживавший лето в Старой Руссе Н.П. Вагнер (тот самый — спирт) встретил на улице Достоевского и попросил разрешения ему сопутствовать. «Идите, если хотите», — неприветливо отозвался тот.

По дороге Достоевский стал расспрашивать прохожих, не встречалась ли им бурая корова, чем немало удивил своего спутника.

— Да на что вам, Фёдор Михайлович, понадобилась бурая корова? — спросил он.

— Как на что? Я её ищу.

— Ищите? — удивился профессор зоологии.

— Ну да, ищу нашу корову. Она не вернулась с поля. Все домашние пошли её разыскивать, и я тоже ищу.

Поведав об этом разговоре Анне Григорьевне, Вагнер выказал удивление, как это её муж, «ум и фантазия которого всегда заняты идеями высшего порядка», бродит по улицам, разыскивая какую-то бурую корову.

На это Анна Григорьевна ответила Вагнеру (и одновременно — будущим читателям её воспоминаний) следующей сентенцией:

«Очевидно, вы не знаете, уважаемый Николай Петрович... что Фёдор Михайлович не только талантливый писатель, но и нежнейший семьянин, для которого всё происходящее в доме имеет большое значение. Ведь если б корова не вернулась домой вчера, то наши детки, особенно младший, остались бы без молока или получили бы его от незнакомой, а пожалуй, и нездоровой коровы. Вот Фёдор Михайлович и пошёл на розыски»¹⁶.

Ему случалось находить корову, пригонять её домой и собственноручно впускать в калитку.

Достоевский несёт свой «семейный крест» с естественностью человека, для которого эта ноша внутренне необходима.

Его письма полны расспросами о детях. Ему всё время кажется, что с ними может что-то случиться (потеря первенца не забылась), и он умоляет Анну Григорьевну быть начеку.

«Осторожно ходи с нею (Любой. — *И. В.*) по улицам. В Петербурге так толкаются, столько пьяных. Ради Бога, не ходи смотреть на праздник 30 мая (праздновалось двести лет со дня рождения Петра I. — *И. В.*). Ей сломают опять ручку в толпе наверно. Всё об этом думаю и об тысяче вещах и всё тоскую»¹⁷.

«Ангелов моих... цалую и умоляю быть послушными. В дороге не позволяй Феде около колёс и лошадей бегать. Да и не потеряй их как-нибудь в толпе. Аня, молю тебя!»¹⁸

Он пишет жене, что ему снились дети, и это перекликается со сказанным по иному поводу (в «Мальчике с ручкой»): «Дети странный народ, они снятся и мерещатся».

Его нередко посещали тяжёлые и тревожные сновидения — убийства, пожары, но чаще всего — кровопролитные битвы. «Во сне, — говорит Анна Григорьевна, — он составлял планы сражений и почему-то особенно часто разбивал именно австрийцев»¹⁹. Просачивалась в сны и постоянная тревога о детях.

«С субботы на воскресенье, между кошмарами, видел сон, что Федя взобрался на подоконник и упал из 4-го этажа. Как только он полетел, перевёртываясь, вниз, я закрыл руками глаза и закричал в отчаянии: прощай, Федя! и тут проснулся. Напиши мне как можно скорее о Феде, не случилось ли с ним чего с субботы на воскресенье. Я во второе зрение верю, тем более что это факт, и не успокоюсь до письма твоего»²⁰.

С Федей ничего плохого не случилось. До судебного процесса Корниловой, столкнувшей с четвертого этажа свою маленькую падчерицу (он будет писать об этом деле), оставалось ещё несколько лет.

О «двойном зрении» говорить как будто не приходится; следует сказать о зрении художническом.

Д.В. Григорович вспоминает: в молодости он прочёл Достоевскому свой очерк о шарманщике. Там была фраза, что какой-то чиновник бросил пятак к ногам бродячего музыканта. «Не то, не то, — раздражённо заговорил вдруг Достоевский, — совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая»²¹.

Самое страшное в его сне — это то, что Федя не просто падает из окна, а летит вниз, «перевёртываясь». Можно сказать, что сновидческие образы Достоевского естественно вписываются в его художественную систему.

О чём он думает, глядя на детей?

«Ребёнку можно говорить всё...»

«Когда мы обедали, — пишет А. Сулова, — он, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал: «Ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: «Истребить весь город». Всегда так было на свете»²².

Дети в его романах изображаются часто и — уважительно.

Алёша Карамазов разговаривает с Колей Красоткиным как с равным — без взрослой извиняющей снисходительности. «Ребёнку можно говорить всё» — этого правила, как свидетельствует Анна Григорьевна, её муж держался при общении с детьми.

Ребёнку можно говорить всё, ибо, по слову Мити Карамазова, «все — “дитё”». «Дитё» — прообраз и первообраз человечества, и само человечество — позабывший о своём детстве ребёнок.

У него был план: «РОМАН О ДЕТЯХ, ЕДИНСТВЕННО О ДЕТЯХ, И О ГЕРОЕ — РЕБЁНКЕ... Заговор детей составить свою *детскую империю*. Споры детей о республике и монархии»²³.

В детские споры, как и в словопрения взрослых, он вводит самое злободневное: легко представить того же Колю Красоткина, рассуждающего «о республике и монархии».

Отсюда не следует, что его общение с ребёнком отличается какой-то особой серьёзностью. Нет, с детьми он разговаривает как с детьми.

В воспоминаниях И.И. Попова (будущего народовольца) рассказывается, что ещё студентом он часто видел Достоевского отдыхающим в ограде Владимирской церкви. Однажды Попов подсел к нему на скамейку.

«Перед нами играли дети, и какой-то малютка высыпал из деревянного стакана песок на лежавшую на скамье фалду пальто Достоевского.

— Ну что же мне теперь делать? Испёк кулич и поставил на моё пальто. Ведь теперь мне и встать нельзя, — обратился Достоевский к малютке...

— Сиди, я ещё принесу, — ответил малютка. Достоевский согласился сидеть, а малютка высыпал из разных деревянных стаканчиков, рюмок ему на фалду ещё с полдюжины куличей. В это время Достоевский сильно закашлялся, а кашлял он нехорошо, тяжело; потом вынул из кармана цветной платок и выплюнул в него, а не на землю. Полы пальто скатились с лавки, и «куличи» рассыпались. Достоевский продолжал кашлять... Прибежал малютка.

— А где куличи?

— Я их съел, очень вкусные...

Малютка засмеялся и снова побежал за песком...»²⁴

Анна Григорьевна описывает семейную поездку 1877 года из Петербурга в Курскую губернию, в имение её брата. Шла

Русско-турецкая война; поезд долго стоял на железнодорожных станциях, пропуская воинские эшелоны.

«Вспоминая это длинное путешествие, — пишет Анна Григорьевна, — скажу, что меня всегда удивляло, что Фёдор Михайлович, иногда так легко раздражавшийся в обыденной жизни, был чрезвычайно удобным и терпеливым спутником в дороге: на всё соглашался, не высказывал никаких претензий или требований, но, наоборот, изо всех сил старался облегчить мне и нянькам заботы о маленьких детях, так быстро устающих в дороге и начинающих капризничать. Меня прямо поражала способность мужа успокоить ребёнка: чуть, бывало, кто из троих (в 1875 году родился последний их сын — Алёша. — *И. В.*) начинал капризничать, Фёдор Михайлович являлся из своего уголка... брал к себе капризничавшего и мигом его успокаивал. У мужа было какое-то особое умение разговаривать с детьми, войти в их интересы, приобрести доверие (и это даже с чужими, случайно встретившимися детьми) и так заинтересовать ребёнка, что тот мигом становился весел и послушен. Объясняю это его всегдашнюю любовь к маленьким детям, которая подсказывала ему, как в данных обстоятельствах следует поступать»²⁵.

Его архив сохранил следы его общения с детьми (вернее, детей — с ним): записочки, нацарапанные неуклюжей детской рукой:

Папа возьми меня в баню!

Федя

Папа с добрым утром ты сегодня пойдёшь гулять в садик

Федя

(На обороте: Фёдору Михалочу в кабинет)

Милый папочка я тебе люблю

Люба

Папа дай гостинца

Федя

«Подобные пакеты с просьбой о гостинце, — пометила Анна Григорьевна, — часто подавались Фёд<ору> Михайловичу»²⁶.

Сохранилось и настоящее письмо — небольшой листок бумаги с поставленными вкривь и вкось крупными каракулями. Очевидно, десятилетняя Люба адресовала его в Эмс, где её отец лечился летом 1879 года.

«Милый мой папочка как твоё здоровье мы все слава Богу здоровы и представляем у Юрика театр из басен Крылова «Стрекоза и муравей» (я буду муравьём, а Юрик стрекозой) затем «Петух и кукушка» кукушкой будет Анфиса а Петухом я «Квартет» в котором мишкой будет Федя прощай мой папочка твоя Люба».

Приведённый документ имеет лаконичную архивную помету: «Вынута Музеем Достоевского из Евангелия, принадлежащего Достоевскому»²⁷. Это означает, что Любины каракули он хранил в книге, подаренной в Сибири женами декабристов: он не расставался с ней никогда.

Есть в архиве и детские письма, адресованные Анне Григорьевне. В одном из них Люба информирует мать о том, чем они занимались в её отсутствие: «Федя с папой после машины (то есть с вокзала, проводив Анну Григорьевну. — *И. В.*) отправились в городской сад около царского сада и видели, как пускают воздушные шары. Оттуда пришли пешком»²⁸.

Когда Анне Григорьевне приводилось отлучаться из Старой Руссы, дети оставались на его попечении. И он прекрасно справлялся со своими обязанностями: «Животик у него совершенно хорош и марается очень хорошо и аккуратно. Вид очень весёлый»²⁹, — сообщает он супруге, понимая, какие именно сведения о десятимесячном Феде важны для матери.

Он вдруг начинает напоминать «позднюю» Наташу Ростову, с волнением вглядывающуюся в пятна на детских пелёнках.

Он даже даёт жене поручения такого свойства, какие жена обычно даёт мужу: «У Феде совсем нет шляпы. Летняя вся разорвалась (Лиля зашивала её), да и не по сезону, а от фуражки (очень засаленной) оторвался козырёк. Хорошо, если б ты привезла ему. В Гостином дворе, близ часовни, в угловом игрушечном магазине были детские офицерские фуражки с кокардочкой по рублю»³⁰.

Всё это пишется в августе 1880 года — в самый разгар работы над «Карамазовыми». Занимают ли подобные проблемы Толстого, когда он трудится над «Крейцеровой сонатой»?

Огорчения Софьи Андреевны

«Лев Николаевич, — пишет Софья Андреевна, — берёт себя, не мог и не хотел тратить свою энергию и время на семью, — и был прав как художник и мыслитель. (Последняя оговорка — реверанс в сторону негодующей по поводу претензий Софьи Андреевны публики. — *И. В.*) Но сделал он для детей, особенно после 3-х старших — очень мало, а для меньших ничего»³¹.

То, что в мемуарной ретроспективе звучит достаточно приглушённо, гораздо откровеннее высказывалось в письмах. 5 февраля 1884 года Софья Андреевна пишет сестре — о муже: «Мне подобное юродство и такое равнодушное отношение к семье до того противно, что я ему теперь и писать не буду. Народив кучу детей, он не умеет найти в семье ни дела, ни радости, ни просто обязанностей, и у меня всё больше и больше к нему чувствуется презрения и холодности. Мы совсем не ссоримся, ты не думай, я даже ему не скажу этого. Но мне так стало трудно с большими мальчиками, с огромной семьёй и с беременностью, что я с какой-то жадностью жду, не заболею ли я, не разобьют ли меня лошади — только бы как-нибудь отдохнуть и выскочить из этой жизни»³².

Нельзя сказать, чтобы Толстой не следил за воспитанием своих детей: он был в этом отношении весьма *внимателен*. Он записывает в дневнике: «Воспитание детей ведётся кем? Женщиной без убеждений, слабой, доброй, но переменчивой и измученной взятыми на себя ненужными заботами. Она мучается, и они на моих глазах портятся, наживают страдания, жернова на шею».

Приведя в своих воспоминаниях эти слова, Софья Андреевна добавляет к ним следующий комментарий: «Если Лев Николаевич это видел, почему же он не помог, не снял эти жернова?»

Она снова цитирует дневник мужа: «Прав ли я, допуская это, не вступая в борьбу? Молюсь и вижу, что не могу иначе».

«И успокоившись на этом, — продолжает Софья Андреевна, — Лев Николаевич уходил косить траву...»³³

Толстой часто затевал весёлые игры со своим многочисленным потомством. Но вот что замечает его супруга: «...я любила, когда отец возился так или иначе со своими детьми, хотя невольно думала, что он ими не занимается, а только забавляется»³⁴.

Было бы большой ошибкой безоговорочно принять на веру эти и им подобные высказывания Софьи Андреевны. Отчуждение Толстого от семейной жизни проистекает вовсе не от того,

что он стал вдруг равнодушен к её заботам и радостям. В воспоминаниях его детей он предстаёт не только как замечательный педагог, но и как человек, оказавший на них неизгладимое нравственное влияние. Суждения Софьи Андреевны нуждаются в корректировке.

Толстой отдаляется от семьи потому, что не может принять *весь* строй её жизни, её материальной избыточности, её культурного — по сравнению с окружающей средой — монополизма. Он охладевает не к семье как таковой, а к определённой «барскому» типу семьи, распространяя эту свою неприязнь на конкретные условия Ясной Поляны. Материальное благополучие семьи как бы само по себе обеспечивает воспитание его детей — без непременно его вмешательства.

Толстой мечтает избавиться от земельной собственности, Достоевский — приобрести её: каждого тянет к тому, чего у него нет.

Нельзя механически сравнивать Толстого и Достоевского: слишком различны их житейские и семейные обстоятельства. Перед автором «Преступления и наказания», чьи материальные возможности не превышали прожиточного минимума интеллигентной семьи среднего достатка, — перед ним никогда не возникло специфической толстовской дилеммы.

В свою очередь Толстому вряд ли могли бы прийти на ум «шутейные» строки, вроде тех, что были набросаны Достоевским в его записной книжке:

Дорого стоят детишки,
Анна Григорьевна, да,
Лиля да эти мальчишки —
Вот она наша беда!³⁵

Следует иметь в виду и различия душевного склада. Толстой во всех своих внешних проявлениях гораздо сдержаннее Достоевского (что иногда принимается за холодность). Его второй сын, Илья Львович, говорит, что отец «никогда не выражал своей любви открытой прямой лаской и всегда как бы стыдился её проявления». Сын считает, что в его отце было много черт, напоминающих князя Андрея и старика Болконского: «Та же аристократическая гордость, почти спесь, та же внешняя суровость и та же трогательная застенчивость в проявлении нежности и любви».

«За всю мою жизнь, — добавляет Илья Львович, — меня отец ни разу не приласкал»³⁶.

Дети Толстого вспоминают, как отец занимался с ними латынью и греческим, как был строг и требователен в этих занятиях. И конечно о незабываемых семейных чтениях.

В Ясной Поляне учебный процесс лишь корректируется хозяином дома: деталями занимаются другие. У детей Достоевского нет ни бонн, ни гувернёров: эти функции глава семьи вынужден брать на себя.

В гостиной и в детской

Любовь Фёдоровна рассказывает, как отец устроил им первый литературный вечер. Он объявил, что прочтёт вслух «Разбойников» Шиллера. Желая доставить отцу приятное, его дочь сделала «такое лицо, точно я очень ценю гений Шиллера». Но её простодушный брат откровенно уснул. «Когда Достоевский взглянул на свою аудиторию, он замолчал, расхохотался и стал смеяться над собой. «Они не могут этого понять, они ещё слишком молоды», — сказал он печально своей жене»³⁷.

Урок с Шиллером был усвоен. Теперь он читал им русские былины, повести Пушкина и Лермонтова, «Тараса Бульбу». «После того, как наш литературный вкус был более или менее выработан, Достоевский стал нам читать стихотворения Пушкина и Алексея Толстого — двух поэтов, которых он больше всего любил»³⁸.

Первой книгой, которую он подарил дочери, была «История...» Карамзина — книга его детства. Он любил объяснять иллюстрации: давалось толкование событиям историческим.

Дети воспитывались сразу на взрослой литературе: хороших детских книг в то время в России было не так уж много.

Почему-то он никогда не читал им ничего своего.

Он просит Анну Григорьевну в его отсутствие читать детям Вальтера Скотта и Диккенса — этого, по его словам, «великого христианина». Оба писателя любимы им с детства.

«Раз прихожу я к Достоевским, — вспоминает Е.А. Штакеншнейдер, — и в первой же комнате встречаю его самого.

«У меня, — говорит, — вчера был припадок падучей, голова болит, а тут ещё этот болван Аверкиев рассердил. Ругает Диккенса; без-

делюшки, говорит, писал он, детские сказки. Да где ему Диккенса понять! Он его красоты и вообразить не может, а осмеливается рассуждать. Хотелось мне сказать ему «дурака», да, кажется, я и сказал, только, знаете, так, очень тонко. Стеснялся тем, что он мой гость, что это у меня в доме, и жалел, что не у вас, например, у вас я бы прямо назвал его дураком». — «Покорно благодарю вас. И очень рада, что дело обошлось без нас и кончилось благополучно. Совсем я не желала, чтобы наших гостей называли прямо дураками».

Он засмеялся, и, по-видимому, головная боль его прошла тут же³⁹.

В свою последнюю зиму он намеревался прочесть детям отрывки из «Горя от ума» — комедии, высоко им ценимой. Ему особенно нравилась роль Репетилова: он считал этот комический персонаж фигурой глубоко трагической. В нём, говорит его дочь, он видел «истинного предшественника либеральной партии западников».

Сценическая классика подключалась к давним — ещё не оконченным — спорам.

Он сам желает взять роль в любительском спектакле — к вящему удовольствию детей, наблюдающих его домашние репетиции: «Как всегда, он страстно увлекался новой идеей и играл очень серьёзно, вскакивал с пола, как бы упав при входе в комнату, жестикулировал и декламировал»⁴⁰.

Он вывозит детей и в настоящий театр. Не очень жалуя балет, он предпочитает оперу: «Руслан и Людмила» была прослушана маленькими Любой и Федей неоднократно.

Он любил богослужения — особенно на Страстной: ему нравилось стройное пение певчих, строгая череда обрядов. Он берёт детей с собой в церковь и объясняет им смысл совершающегося.

Книга, театр, церковная служба — вот дары, которые, по его мнению, таят в себе радость и открывают детям мир прекрасного. Но он не скупится и на подарки иного рода.

Он никогда не является из своих поездок с пустыми руками: тут он неистощим. Ежедневные его прогулки редко обходятся без посещения фруктовых и кондитерских лавок: сласти («гостинцы») покупаются всегда, нередко на последние деньги.

Надо полагать, эти *лишние* траты вызывали сугубое неодобрение экономной Анны Григорьевны, что в свою очередь раздражало её мужа. Отголоски таких взаимных неудовольствий можно найти в бесхитростных, но не лишённых интереса воспомина-

ниях П.Г. Кузнецова (он, как уже говорилось, мальчиком служил у Достоевских).

«Фёдор Михайлович очень любил хорошо пообедать, — пишет Кузнецов, — очень любил рябчики, то есть больше что из дичи, но Анна Григорьевна очень была жадная, нет-нет его своей беднотой расстраивала. Раз Ф. М. сам накупил всего много, из-за этого вышла целая баталия, Ф. М. раскричался и затопал ногами, что “всё тебе мало, всё себя изображаешь нищей”»⁴¹.

Толстой никогда (может быть, за двумя-тремя исключениями) не кричал на супругу и тем паче не топал на неё ногами. У него были свои приёмы. Известно, однако, что Софья Андреевна завидовала жене Достоевского.

Кстати, справедливость слов Кузнецова подтверждается отдельными вырвавшимися у Достоевского фразами — в его чрезвычайно нежных посланиях к жене. «Обнимаю детишек, — говорит он в письме 1872 года, — Любочку, Федюрку. Корми их лучше, Аня, не скупись на говядинку». И через восемь лет — в письме с пушкинских торжеств: «Детишек крепко поцалуй за их славные приписки и непременно купи им гостинцев, слышишь, Аня. Детям и медицина предписывает сладкое»⁴².

Эти эпистолярные интонации свидетельствуют о том, что счастливая, в общем, семейная жизнь Достоевских была далека от идиллии.

Говоря о гостинцах, он ссылается на медицину: ради детей приходится прибегать к авторитету науки. Это может значить, что прочие аргументы уже исчерпаны. Позволительно поверить Кузнецову: «Ф.М. со своей женой не так был ласковый и всегда стоял на своём твёрдо»⁴³.

Он регулярно посылает денежную помощь впавшему в нужду приятелю, не ставя об этом в известность свою супругу: у него есть от неё свои маленькие секреты.

Но и сама его семейная жизнь содержит в себе некую тайну.

Холостяк или отец семейства?

В отличие от Толстого, внешне подчинённого размеренному ритму семейной жизни, у него, ночного работника, свой цикл, не совпадающий с семейным. Он живёт в скромной городской квартире или в небольшом старорусском доме, где возможно-

сти для творческого уединения весьма ограничены. У него нет необходимости восставать против заведённого уклада: его быт не знает никаких излишеств. Образ жизни его семьи не отражается расслабляющим образом на его устойчивых индивидуальных привычках.

«Я никогда не видела моего отца ни в халате, ни в туфлях, — пишет его дочь. — С утра он бывал уже прилично одет, в сапогах и галстук и в красивой белой рубашке с крахмальным воротником». Он мог носить не очень новое платье (всегда, впрочем, стараясь одеваться у хороших портных), но неизменно был в белоснежном белье (что отметила ещё при первом знакомстве его будущая супруга). Он сам чистил свои костюмы. По утрам он надевал короткую домашнюю куртку.

Его день начинался поздно: в двенадцать, в час. Он ложился, когда семья уже собиралась вставать. Его дочь говорит, что по утрам он делал гимнастику, а затем долго мылся в своей уборной комнате: «Он употреблял для своих тщательных омовений много воды, мыла и одеколона»⁴⁴.

Умываясь, он напевал «На заре ты её не буди...». Впрочем, последнее имело место, когда он находился в добром расположении духа. Чаще в первые минуты после пробуждения он бывал мрачен.

Он сам заваривал себе чай или готовил кофе: то и другое крепости чрезвычайной.

«Пил чай и закусывал один, и не смела Анна Григорьевна войти, когда пьёт и закусывает, — говорит Кузнецов. — Я где занимался, комната была рядом со столовой, Ф. М. мне закричит: «Петюшка» или «Пьер», «иди чай» или «кофей пить», нальёт очень крепкого, скажет: «Пей и закусывай». Я сперва не смел. — «Раз тебя зовут, должен идти», и ежедневно я с Фед. Мих. завтракал»⁴⁵, — заключает Кузнецов, гордый оказанным ему предпочтением.

Впрочем, семнадцатилетний «Петюшка» не был его единственным — после вставания — собеседником. Именно во время утренних чаепитий он любил разговаривать с детьми — об их детских делах и заботах.

Он всегда присутствует за поздним семейным обедом: разговор там ведётся общий, не превышающий степень понимания младших членов семьи.

В Ясной Поляне за стол тоже садится всё семейство: это не мешает хозяину дома быть порой бесконечно далёким и недоступным для своих домочадцев.

Существова *над* семьей, Толстой почти не вмешивается в её внутренний распорядок. Он — всегда сам по себе, всегда «выше» — отъединённо, автономно, отдельно. За общим столом — у него свой собственный личный стол; за общими заботами — свои собственные «толстовские» (связанные с *учением*) интересы. Являясь центром многообразного и многообразного яснополянского мира, он как бы пребывает и вне его.

Иногда кажется, что он больше привязан к месту, чем к его обитателям.

У Достоевского нет своего родового угла: дом в Старой Руссе, купленный в последние годы, — не унаследованное, «чужое». В Петербурге он постоянно меняет квартиры (он сменил их около двадцати). Его страстная мечта — купить имение, «прикрепиться» к земле — так и осталась неосуществлённой. Перемещаясь во всегда враждебном ему пространстве, он привязывается только к людям: самым близким.

Он по-настоящему укоренён в семье. Он не может отделить себя от того, что стало частью его самого — не только в бытовом, но и в духовном смысле.

Семейная жизнь Толстого напоминает эпос: вначале он глубоко захвачен её всепоглощающей поэзией. «Война и мир» хранит на себе печать этого высокого очарования.

Вместе с тем Толстой (особенно поздний) — холостяк по своему душевному строю. Певец семьи, изобразитель всемирной родовой жизни, он вступает в губительную борьбу со слепым инстинктом рода; всей силой своего могучего «я» он восстает на мировую стихию. Его колоссальная личность дерзновенно противостоит волнам этого океана, грозящего, как ему кажется, поглотить его самоё. Он уходит из Ясной Поляны — назад, в мировое одиночество. Умирая, он принадлежит не семье, но миру — и жена его, приподнимаясь на цыпочках, заглядывает в окно.

В романах Достоевского клокочет жизнь бессемейная и почти безбытийственная; сама же семья всегда находится под ударом. Раскольников, Ставрогина, Ивана и Дмитрия Карамазовых трудно вообразить женатыми. Его романские сюжеты никогда не завершаются счастливым матримониалом, но часто — крушением предполагаемых браков. Однако, оставаясь хроникером «случайных семейств», сам он кладет душу на то, чтобы созидать жизнеспособную семью, противостоящую натиску нечаянных и разрушительных сил. Его личность естественно примыкает

к роду, к быту, к устойчивой родовой общности, не только не растворяясь в них, но жадно питаюсь их живительными соками.

Его существование в семье не противоречит общему домашнему укладу. Вместе с тем все его индивидуальные склонности приняты семьёй, взяты в расчёт, уважаемы.

Любящий изображать людей беспорядочных, он в своих собственных занятиях — строгий аккуратист. «На его письменном столе... — говорит Любовь Фёдоровна, — царил величайший порядок. Газеты, коробки с папиросами, письма, которые он получал, книги, взятые для справок, — всё должно было лежать на своём месте. Малейший беспорядок раздражал отца»⁴⁶.

Его раздражают даже такие мелочи, как случайное пятно от стеарина на домашней куртке: оно мешает ему сосредоточиться, и он не может приступить к работе, не уничтожив его радикально.

Тщательностью своего туалета, опрятностью домашней одежды, образцовым порядком на своём письменном столе он как бы противостоит изображаемому им хаосу.

Но хаос этот вторгается и в его семейную жизнь.

16 мая 1878 года умирает трёхлетний Алёша, их последний ребёнок. Он умирает внезапно, от приступа эпилепсии: ранее болезнь ничем себя не обнаруживала. Врач, осмотревший заболевшего мальчика, успокаивает родителей: нет никакой опасности. Достоевский, вышедший проводить доктора, возвращается «страшно бледный» и молча опускается на колени у постели сына.

Как узнала впоследствии Анна Григорьевна, доктор сказал её мужу, что у мальчика уже началась агония.

Он был страшно поражён этой смертью. «Он, — говорит Анна Григорьевна, — как-то особенно любил Лёшу, почти болезненной любовью, точно предчувствуя, что его скоро лишится»⁴⁷. Старшим детям было запрещено без приглашения вторгаться в комнату отца; маленькому Алёше это позволялось. «Папа, зизи!» — кричал он на своём детском языке, и отец, свидетельствует Любовь Фёдоровна, «оставлял свою работу, брал ребёнка на колени, вынимал часы и подносил их к уху мальчика»⁴⁸.

Его потрясло, что сын погиб от болезни, очевидно, им унаследованной. «Судя по виду, — продолжает Анна Григорьевна, — Фёдор Михайлович был спокоен и мужественно выносил разразившийся над нами удар судьбы, но я сильно опасалась, что это

сдерживание своей глубокой горести фатально отразится на его и без того пошатнувшемся здоровье»⁴⁹.

Он плачет, «как женщина», когда умирает их первый ребёнок; он не произносит ни слова, когда погибает последний.

Ребёнок у Достоевского всегда мерило человеческой и Божеской справедливости.

«Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, — говорит Алёше Иван Карамазов, — то при чём тут дети, скажи мне, пожалуйста?»⁵⁰

Он даёт имя умершего сына любимому своему герою: повествование подходит к концу, но автор ещё не знает, что этот роман — последний.

Часть
третья

ГЛАВА XVIII

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

Севастопольский зоил и другие доброжелатели

Не было летом никаких событий, ибо все события останавливались и отвращались главным: работой. Роман подвигался к концу; развязка, однако, все отдалялась.

Из-за этого безостановочного труда он возвратился в Петербург поздно — 7 октября. В первую же пятницу, 10-го, он посетил Штакеншнейдеров. «Сказал мне комплимент, — записала в дневнике Елена Андреевна, — и очень обрадовался своей прыти и находчивости».

Комплимент состоял в следующем. Поднимаясь по лестнице, он сильно запыхался. Хозяйка осведомилась: не трудно ли ему взбираться так высоко?

«Трудно-то трудно, — отвечает. — Так же трудно, как попасть в рай, но зато потом, как попадёшь в рай, то приятно; вот так же и мне у вас».

Сказал это и развеселился окончательно. «Вот, мол, какие мы светские люди, а Полонский боится пускать нас в одну комнату с Тургеневым!»¹

Пожаловался, что дома его ждёт ворох неотвеченных писем. И к ним всё время прибавляются новые.

Среди этой обширной корреспонденции попадались послания воистину утешительные.

«Глубокоуважаемый Фёдор Михайлович, — обращался к нему земский врач В. Никольский из села Абакумовка Тамбовского уезда. — Как Ваш единомышленник, как Ваш поклонник, самый ярый, самый страстный (хоть я моложе Вас на целых три десятилетия), умоляю Вас не обращать внимания на поднявшийся лай той своры, которая зовётся текущей прессой. Увы, это удел всякого, кто говорит живое слово, а не твердит в угоду моде пошлые фразы, во вкусе, напр<имер>, современного псевдолиберализма».

Ещё недавно в письме Победоносцеву, сетуя на своих критиков, он между прочим заметил: «Публика, читатели — другое дело: они всегда меня поддерживали»². И теперь неизвестный ему корреспондент как бы подтверждал это его заявление: «Верьте, что число Ваших поклонников велико <...> Вы бросаете семя в самое сердце русского человека, и семя это живуче и плодотворно, я в этом глубоко убеждён»³.

Отзвуки Пушкинской речи всё ещё витали в воздухе. Это уже не столь близкое событие продолжало занимать воображение читателей.

Читатели, впрочем, попадались разные.

Пришло длиннейшее послание из города Севастополя. Оно, надо полагать, заставило адресата не раз усмехнуться: даже теперь, спустя более ста лет, нам трудно не повторить этой усмешки.

Автор письма, пребывающий, по-видимому, в годах довольно почтенных (ибо утверждает, что он — современник Пушкина), на одиннадцати больших, густо исписанных страницах гневно укоряет Достоевского за его легкомысленные суждения.

«Вы в увлекательной речи восхваляете Пушкина до небес, — пишет обладающий эпистолярными досугами севастопольский житель, — и провозглашаете его вместе с людьми, не имеющими никаких убеждений, — народным поэтом; положи руку на сердце я не могу с этим согласиться, что такое в самом деле Пушкин? Это человек, посвятивший всю свою жизнь изящной словесности, преимущественно стихотворству; но он не был и быть не мог гением, потому что в произведениях его никогда не проглядывали начала философии и религии, и Пушкин в этом отношении был бы единственным гением, у которого отсутство-

вали бы философия и религия <...> Я готов доказать, что ни один безбожник ничего не мог придумать для человечества полезного, а следовательно, таких людей нельзя называть гениями.

Пушкин, в своё время неосторожно заметивший, что цель поэзии — сама поэзия, получал теперь мудрое ретроспективное название. Счёт, предъявляемый поэту его современником, достаточно суров: это и сочинения, «которые ни одна безнравственная печать не согласится поместить на страницах своих изданий», и тот факт, что «над государями он издевался, не щадя даже своего благодетеля Николая Павловича», и то прискорбное обстоятельство, что «ни один из великих моментов русской жизни не был понят Пушкиным, и кроме поэмы «Полтава» мы ничего не знаем такого, что бы удостоилось описания Пушкиным», и, наконец, замечательная мысль, что у поэта «не было точек соприкосновения с народом».

На этом последнем пункте оппонент Достоевского настаивает с особенным увлечением.

«<...> В самых поэмах Пушкина, — пишет он, — никакой народности видеть нельзя: в «Кавказском пленнике» изображается народность кавказских горцев, в «Бахчисарайском фонтане» говорится о народности крымских татар, в «Цыганах» видим больше нравы и обычаи цыганских таборов <...>». Таковое пристрастие поэта к инородцам и неудивительно, ибо «русской народности нельзя было изучать Пушкину ни в Новороссийске (очевидно, Одессе. — *И. В.*), ни в Крыму и ни на Кавказе». По всему этому, сердито заключал автор письма, «у Пушкина поучаться нечему, кроме, может быть, изящества его стихов и вполне русской речи»⁴.

Эти тонкие критические наблюдения содержали нечто в высшей степени знакомое. Они не могли не напомнить Достоевскому знаменитые критические инвективы 60-х годов, когда не приученных ещё к умственной свободе российских читателей поражали, а порой и приводили в восторг следующие рассуждения:

«...к сожалению, публика времени Пушкина была так неразвита, что принимала хорошие стихи и яркие описания за великие события в своей умственной жизни. Эта публика... переписывала... «Бахчисарайский фонтан», в котором нет ровно ничего, кроме приятных звуков и ярких красок»⁵.

Так утверждал Дмитрий Писарев в статье «Пушкин и Белинский». И — в статье «Реалисты»: «Говорят, например, что Пушкин — великий поэт, и этому все верят. А на поверку выходит, что Пушкин просто великий стилист — и больше ничего»⁶.

Сколь бы изумился талантливый автор этих статей, блистательный полемист, убежденнейший радикал, если бы каким-то образом смог проведать, что его безапелляционные суждения окажутся созвучными эстетическим вкусам пережившего свой век доморощенного зоила из города Севастополя — человека, судя по его письму, весьма ограниченного, придерживающегося сугубо консервативных, охранительных взглядов.

Они бы не сошлись ни в чём, кроме одного: оба они полагали, что смысл поэзии находится вне самой поэзии.

«Вы можете называть меня невеждой за мои мнения о Пушкине, — строго предупреждал автор письма, — но поверьте, что потомство будет об этом судить иначе».

Однако, уповая на суд потомков, предусмотрительный корреспондент кое-какие меры спешит взять безотлагательно: «<...> Вы спросите, для чего же я Вам пишу? А вот для чего: с этого письма остаётся у меня копия, которая когда-нибудь будет напечатана (частично мы и осуществили эту мечту, воспользовавшись, правда, оригиналом. — *И. В.*); пусть тогда читатели рассудят, кто из нас прав, кто виноват!»⁷

Подписано было: *Христианин*.

Да, любопытная корреспонденция стекалась этой осенью в Кузнечный переулок. В иных посланиях наличествовал слог, сильно напоминавший тот, каким через полвека будет изъясняться небезызвестный Васисуалий Лоханкин:

«Был праздник Пушкина. И Пушкин в первый раз был понят мною: его с восторгом я читал и в сердце снова ощущал прилив каких-то странных новых сил. Я пережил второй момент. Теперь студент я, верю в Вас и к Вам пишу — прошу Вас оживить меня. Открыть мне рай своей восторженной души и силой гения обнять и словом высшей красоты мне светоч истины сказать и ободрить мой шаткий ум; ум юного поэта боится праздной пустоты».

Засим «юный поэт» деловито переходит на прозу (впрочем, тоже несколько ритмизованную): «Позвольте к Вам придти со своими виршами, со своей мечтой. Назначьте день и час. Мой адрес здесь: Захарьевская ул.; дом № 11/1, кв. 25»⁸.

Подписано было: студент В. Сеницкий.

«Русские студенты, — замечает дочь Достоевского, — не склонны к порядку, — они являлись к моему отцу во всякое время дня и мешали его работе»⁹.

Являлись, впрочем, не только студенты. Порой посещали и гимназисты. Одного пятнадцатилетнего стихотворца сопровождал отец. Позднее, уже став известным литератором, посетитель Достоевского вспоминал:

«Краснея, бледнея и заикаясь, я читал ему свои детские жалкие стишонки. Он слушал молча, с нетерпеливою досадою...

— Слабо, плохо... никуда не годится, — сказал он наконец, — чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать!

— Нет, пусть уж лучше не пишет, только не страдает! — возразил отец¹⁰.

Чадолюбивого родителя можно понять. Он не желает, чтобы его сын (а это был не кто иной, как Дмитрий Мережковский) платил за сомнительные блага сочинительства столь высокую цену.

«Дни мои сочтены...»

В эту осень ему вообще везло с авторами, требующими его участия. Иные жаждали не только сочувственного отзыва, но и возлагали на него весьма ответственные комиссии по устройству их литературных дел.

Еще 26 июля ему было отправлено письмо из Рязани. Пелагея Егоровна Гусева «в память нашего, хотя кратковременного, знакомства в Эмсе» убедительно просила его взять на себя труд забрать из редакции «Огонька» рукопись её «небольшого романа» «Мачеха» и пристроить указанную рукопись «куда-нибудь, в другой журнал». Просьба подкреплялась стихами:

Разослала я статейки
В тот журнал, в другой;
А всё денег ни копейки...
Ну, хоть волком вой!..

«Голубчик мой, Фёдор Михайлович, — продолжала Гусева. — Вы знаменитость литературного мира — Ваше одно слово *много значит*; войдите в моё положение! Вам Бог за меня заплатит»¹¹.

Письмо рязанской корреспондентки достигло адресата только в конце августа. Естественно, что заниматься её петербургскими делами, находясь в Старой Руссе, он не мог. И 3 сентября из Рязани отправляется ещё одно послание.

«Что же это значит, добрейший Фёдор Михайлович, — вопрошает Гусева, — неужели и Вы не составляете исключения по пословице: «сытый голодного не разумеет...» <...> Удивительное дело — будь в затруднительных обстоятельствах какая-нибудь героиня со скамьи подсудимых или ещё с какой-нибудь ступеньки позора, тогда все наперерыв начнут заявлять своё участие, а честная женщина хоть издохни...»¹²

Его ответное письмо исполнено горечи. Он оправдывается — говорит о своей летней оторванности от Петербурга, о нынешних невозможных обстоятельствах. «Потому, что если есть человек в каторжной работе, то это я. Я был в каторге в Сибири 4 года, но там работа и жизнь были сноснее моей теперешней». И приводит тот же убедительнейший, на его взгляд, пример, что и в письме Поливановой: «Даже с детьми мне некогда говорить. И не говорю». Он жалуется на расстроенные нервы, на свою эмфизему, называя её «неизлечимой вещью»: «...Дни мои сочтены... Вы, по крайней мере, здоровы, надо же иметь жалость. Если жалуется на нездоровье, то не имеет всё-таки смертельной болезни, и дай Вам Бог много лет здравствовать, ну а меня извините».

В письме есть фраза: «Теперь ночь, 6-й час пополуночи, город просыпается, а я ещё не ложился».

Он говорит о своём литературном изгойстве — полной отчуждённости от петербургского журнального мира. «С «Огоньком» я не знаюсь, да и заметьте тоже, что и ни с одной редакцией не знаюсь. Почти все мне враги — не знаю за что. Моё же положение такое, что я не могу шляться по редакциям: вчера же меня выбрали, а сегодня я туда прихожу говорить с тем, кто меня выбрал. Это для меня буквально невозможно». И, уже закончив письмо, приписывает на полях: «Буквально вся литература ко мне враждебна, меня любит до увлечения *только* вся читающая Россия»¹³.

Тем не менее он обещает своей корреспондентке попытаться «достать» её рукопись из редакции «Огонька».

Получив ответ, Гусева почувствовала некоторое смущение. В её очередном послании зазвучали покаянные ноты: «Ради Господа, забудьте о моей грубой, настойчивой просьбе — *Бог с нею, рукописью*. Ведь я не знала, что Вы больны <...> Насколько возможно, поберегите себя, родной мой! Вам ещё рано умирать»¹⁴.

Но не проходит недели — и переменчивая, как все женщины, Пелагея Егоровна, словно и не было её недавних сочувствий и извинений («позабудьте совсем про мою рукопись, наплевать

на неё!»), вновь просит его «принять на себя благодетельный труд» и отослать её роман с присовокуплением тетрадки стихотворений в аксаковскую «Русь», сопроводив посылку добрыми рекомендациями¹⁵.

Он аккуратнейшим образом исполняет все её поручения: посылает рукопись и аттестует автора как «давно уже пишущую барыню», добавляя при этом, что она «сама очень хороший, кажется, человек»¹⁶.

Между тем фраза «дни мои сочтены», столь поразившая его корреспондентку, произнесена им сознательно, твёрдо — и отнюдь не ради красного словца.

Он часто думал о смерти.

Мнительный пациент

Он думал о смерти по той же самой причине, по какой думают о ней все люди вообще. Он знал не только то, что он смертен, но (как сказал бы один литературный герой) что ещё и *внезапно* смертен: любой из его припадков мог закончиться трагически. Вторую свою болезнь, эмфизему легких, он тоже именует «смертельной». Он знает, что каждая его минута может оказаться последней.

Чувствуя убывание физических сил, он не желает, чтобы смерть застала его врасплох.

В 1876 году, в Эмсе, он напрямую вопрошает доктора Орта о том, о чём больные, как правило, предпочитают не спрашивать и на что врачи, само собой, отвечают уклончиво: «Затем, на мой усиленный вопрос сказал, что смерть ещё далеко и что я ещё долго проживу, но что, конечно, петербургский климат, — надобно брать предосторожности и т. д., и т. д.»¹⁷.

На повторные «усиленные» расспросы своего пациента серьёзный немецкий доктор «даже засмеялся и сказал мне, что я не только 8 лет проживу (эта цифра как максимальная, очевидно, названа самим больным. — *И. В.*), но даже 15 — но прибавил: «Разумеется, если климат, если не будете простужаться, если не будете всячески злоупотреблять своими силами и вообще если не будете нарушать осторожную диету»¹⁸.

После этого разговора он не прожил и пяти лет.

Тогда же, в 1876 году, он встречается в Эмсе своего знакомого — артиллерийского генерала Гана: в Петербурге они вместе лечи-

лись сжатым воздухом («сидели под колоколом»). Естественно, разговор заходит об общих недугах. «Я сказал ему, что и я тоже приговорён и из неизлечимых, и мы несколько даже погоревали над нашей участью, а потом вдруг рассмеялись. И в самом деле, чем больше будем дорожить тем кончиком жизни, который остался, и право, имея в виду скорый исход, действительно можно улучшить не только жизнь, но даже себя, — ведь так?»

Он желает извлечь *выгоду* из своего смертельного недуга: если человек знает, что дни его сочтены, не подтолкнёт ли его такое знание к внутренней нравственной работе, не использует ли он до конца эту последнюю из отпущенных ему возможностей?

Он не может без усмешки говорить о тех рекомендациях, которые предписаны ему докторами для продления жизни: «...Всего более заботиться о спокойствии нервов, отнюдь не раздражаться, отнюдь не напрягаться умственно, как можно меньше писать (то есть сочинять)» и т. д., и т. п. И он добавляет: «Это меня, разумеется, совершенно обнадёжило»¹⁹.

Ему предлагали жизнь в обмен на отказ от жизни.

Однажды Анна Григорьевна написала ему, что они странные люди: уже десять лет в браке, а всё больше и больше любят друг друга. Он отвечал, что «пророчит» ей ещё через десять лет сказать то же самое. Однако при этом добавлял: «Я по крайней мере за себя отвечаю, но проживу ли 10 лет, за это не отвечаю»²⁰.

Анна Григорьевна была более оптимистична: она полагала, что они проживут вместе ещё двадцать пять лет.

Летом 1879 года, в свой последний приезд в Эмс, он опять отправляется к Орту. Доктор находит, что у него «какая-то часть легкого сошла с своего места и переменила положение, равно как и *сердце* переменило своё прежнее положение и находится в другом»: всё это — вследствие эмфиземы. Правда, эмский доктор присовокупил, что сердце совершенно здорово, а все эти перемещения внутренних органов не особенно опасны. «Конечно, — замечает его пациент, — он как доктор обязан даже говорить утешительные вещи, но если анфизема ещё только вначале уже произвела такие эффекты, то что же будет потом?»²¹

Он чрезвычайно мнителен — ещё с молодых лет, когда страшился заснуть летаргическим сном и быть похороненным заживо (черта, кстати, общая с Гоголем). Отходя ко сну, он даже оставлял на сей счёт соответствующие письменные указания. Он боится

простуды и всяческих зараз; он верит, что в Мюнхене живёт некая «вундерфрау», которая вылечит его от всех болезней. Он пьёт совсем мало вина и старается соблюдать диету. И при всём этом он как-то совершенно буднично, по-житейски относится к самому страшному своему недугу — эпилепсии.

Когда позволяют средства, он ездит в Эмс: пить «Кренхен» и «Кессельбрунен». Первые дни пребывания на курорте для него мучительны: под действием минеральных вод расстраиваются нервы. «Сплю ночь прескверно, по пяти раз просыпаюсь, и каждый раз от кошмаров (всё разных), каждый раз в поту, так что ночью ровно пять раз переодеваю рубашку»²². Но в общем Эмс всегда ему помогает: отмена очередной поездки летом 1880 года (из-за Пушкинского праздника и «Карамазовых»), возможно, сказалась на его здоровье роковым образом.

В конце 1879 года он посещает двоюродного брата Анны Григорьевны доктора М.Н. Сниткина: просит родственника осмотреть его и определить, насколько успешным оказался летний курс лечения. Сниткин поступил совершенно так же, как и его немецкий коллега: успокоил пациента, заметив, однако, что тот должен быть осторожен. «Мне же, на мои настойчивые вопросы, — говорит Анна Григорьевна, — доктор должен был признаться, что болезнь сделала зловещие успехи и что в своём теперешнем состоянии эмфизема может угрожать жизни. Он объяснил мне, что мелкие сосуды лёгких до того стали тонки и хрупки, что всегда предвидится возможность разрыва их от какого-нибудь физического напряжения, а потому советовал ему не делать резких движений, не переносить и не поднимать тяжёлые вещи, и вообще советовал беречь Фёдора Михайловича от всякого рода волнений, приятных или неприятных»²³.

При всём старании — исполнить последний совет не было никакой возможности.

Он мнителен, сказали мы: это действительно так. Однако при этом он нимало не щадит себя и расстраивает свой и без того потрясённый организм самым немилосердным образом. Его долгие ночные бдения, срочная работа и отсутствие сколько-нибудь продолжительных отвлечений от нескончаемого литературного труда (даже в Эмсе, в 1876 году, он работает над «Дневником писателя», а в 1879-м — над «Карамазовыми») — всё это, разумеется, не способствует укреплению его здоровья. При этом он ещё сетует, что поездка в Эмс обошлась в слишком значительную для

него сумму — 700 рублей, «которые очень и очень могли бы быть сохранены для семейства»²⁴.

Любопытно, что тема смерти возникает в его письмах исключительно в связи с вопросами о здоровье. Он не любит говорить о ней в глобальном, отвлечённо-философическом плане. И в этом он тоже разительно не похож на Л. Толстого.

Вопрос о смерти с разных точек зрения

Толстой думает о смерти с неослабевающим постоянством. Это один из главнейших, кардинальнейших вопросов, преследующий его во все моменты его духовной деятельности. Для него эта проблема не есть что-то раз и навсегда решённое — в религиозном, философском или ещё каком-либо смысле: он решает её для себя лично, и каждый раз как бы заново.

Страх небытия — одна из существеннейших констант в мире Толстого. Это чувство всегда — явно или незримо — присутствует на страницах его художественной и публицистической прозы, его писем и дневников. «Смерть Ивана Ильича» — лишь одно из наиболее сильных воплощений этой неотвязной думы.

У Достоевского нет этого *специфического* интереса. Он почти никогда (за редким исключением) не изображает умирания — во всяком случае, как процесс. Сцены смерти — Мармеладова и Катерины Ивановны в «Преступлении и наказании» или Степана Трофимовича в «Бесах» — художественно очень значительны; однако изображаемые в них события являются скорее сюжетными кульминациями, нежели предметом особого художественного интереса. В отличие от Толстого (вспомним сцены смерти Андрея Болконского или Ивана Ильича), Достоевский никогда не даёт самосознания умирающего (однако подробнейшим образом исследует самосознание приговорённого к смертной казни).

Героев Достоевского занимает не столько вопрос о смерти, сколько — о бессмертии. От того или иного ответа на него зависит отношение этих героев к миру и к самим себе. Именно бессмертие — тот стержень, вокруг которого вращаются все «карамазовские» разговоры; с постоянной внутренней оглядкой на этот предмет действуют главные персонажи его главных романов. Даже его самоубийцы лишают себя жизни, отталкиваясь от идеи бессмертия или спора с ней.

Сама смерть — как момент перехода от бытия к небытию — мало занимает Достоевского. У него нет связанной с этим событием мучительной рефлексии — то есть того, что так характерно для Толстого. У него совершенно отсутствует острый толстовский интерес к таинству смерти. Он воспринимает мысль о неизбежности собственной кончины без леденящего душу «арзамасского» ужаса: он воспринимает её, можно сказать, буднично.

Несмотря на почти шекспировское обилие смертей в его романах (намного превышающее «смертность» в романах Толстого), он не задерживается на аксессуарах: чаще всего просто сообщает о факте. Так же относится он и к возможности собственного конца: он говорит о нём без трагического надрыва, без выхода во «вселенские бездны», а удивительно спокойно, конкретно, по-житейски.

Такой *практический* подход к прекращению личного существования соответствует устойчивым, исконно народным воззрениям, уходящим в глубь веков. «На смерть, что на солнце, во все глаза не взглянешь», — усмешливо говорит народная мудрость.

Толстого, постоянно «замкнутого» на этой проблеме, она занимает прежде всего в соотношении с его собственной личностью. Его бесконечно волнует, что будет *с ним*, и в значительно меньшей мере, что — *после него*.

Один из современников вспоминает: «Высокопочтенный Лев Николаевич последние годы имел слабость охотно беседовать о смерти... я заметил ему как бы для утешения, с какой стати он так занят этим вопросом о смерти, когда он за свои великие труды уже *бессмертен* при жизни и будет таковым же после смерти! На что он мне ответил: «*Да я-то* не буду ничего чувствовать и сознавать»²⁵.

Достоевский всегда, когда он упоминает о собственной смерти, говорит о судьбе близких.

В августе 1879 года он пишет Победоносцеву из Эмса: «Я здесь сижу и непрерывно думаю о том, что уже, разумеется, я скоро умру, ну через год или через два, и что же станет с тремя золотыми для меня головками после меня?»²⁶ «Предоставьте их Богу и себя не смущайте»²⁷, — назидательно отвечает ему будущий обер-прокурор Святейшего синода; вряд ли, однако, этот универсальный совет доставил адресату чаемое утешение.

«Надо копить, Аня, надо оставить детям, мучает меня эта мысль всегда наиболее, когда я приближусь лично к коловращению

людей и увижу их в их эгоизме...»²⁸ — пишет он жене за две с половиной недели до упомянутого письма Победоносцеву. И повторяет вновь и вновь: «Я всё, голубчик мой, думаю о моей смерти сам (серьёзно здесь думаю) и о том, с чем оставляю тебя и детей. Все считают, что у нас есть деньги, а у нас ничего»²⁹.

В эту последнюю заграничную поездку грустные мысли посещали его чаще, чем обычно. Он думает о том, как обеспечить детей, ибо знает, что такое нужда, знает цену независимости. Он говорит, что надо «копить» — не для себя, для других. Материальный достаток расценивается как средство, как орудие борьбы и самозащиты.

Толстого не заботит материальное положение семьи — каким оно может стать после его кончины. Исходя из своих убеждений, он делает всё возможное, чтобы не только плоды его духовной деятельности, но, так сказать, и материальные выгоды от реализации этих плодов принадлежали всем. Нелепо упрекать Толстого за подобное желание. Но столь же нелепо утверждать, что в своей «завещательной политике» автор «Братьев Карамазовых» более «буржуазен», нежели автор «Войны и мира».

Ещё в 1873 году Достоевский дарит литературные права на все свои произведения Анне Григорьевне. Толстой незадолго до смерти лишает семью подобных прав.

И в том и в другом акте была своя логика.

Достоевский прекрасно знал, что кроме его произведений у его жены и несовершеннолетних детей нет и не может быть никаких иных источников существования: он (живой или мёртвый) — их единственный кормилец.

Все дети Толстого были уже взрослыми и вели жизнь от него независимую. Все они обладали наследственным правом на недвижимость. Кроме того, Толстой был признан всем миром, и не возникало ни малейших сомнений, что в обозримом будущем его произведения будут переиздаваться неисчислимо. У Достоевского такой уверенности не было.

Толстой не желал делать своих детей миллионерами. Достоевский не хотел оставлять их нищими.

Описывая жене свой московский триумф, Достоевский говорит: «Согласись, Аня, что для этого можно было остаться (на открытие памятника. — *И. В.*): это залогом и будущего, залогом и *всего*, если я даже умру»³⁰. Под «всем» разумеется не только посмертное признание, но и то будущее обеспечение, на которое *теперь*

может рассчитывать его семейство. Он думает о судьбе близких даже в эту счастливейшую для него лично минуту...

Его последние слова были: «Бедная... дорогая... с чем я тебя оставляю... бедная, как тебе тяжело будет жить!»³¹

Предчувствовал ли он свою близкую кончину?

В уже приводившемся письме 1879 года Победоносцеву он говорит, что умрёт «через год или через два». Ему оставалось жить полтора года.

Его письмо Гусевой — со словами «дни мои сочтены» — написано 15 октября 1880 года: оставалось три с половиной месяца.

28 ноября 1880 года он пишет брату Андрею Михайловичу — в ответ на пожелания здоровья, что они, эти пожелания, имеют мало шансов осуществиться: «...вряд ли проживу долго; очень уж тягостно мне с моей анфиземой переживать петербургскую зиму». Он говорит о том, что при его обстоятельствах, при его работе сберечь здоровье практически невозможно, и добавляет: «Дотянуть бы только до весны, и съезжу в Эмс. Тамошнее лечение меня всегда воскрешает»³².

Это его последнее письмо младшему брату: увидеться им уже не суждено...

В кругу семейственном

Он всегда очень серьёзно относился к своим родственным обязанностям. В 1864 году он берёт на себя долги своего покойного старшего брата Михаила Михайловича — эта ноша висит на нём почти до самого конца. Он помогает вдове брата и её детям. Он помнит слово, данное первой жене Марии Дмитриевне, — и долгие годы поддерживает своего великовозрастного пасынка Пашу Исаева — даже тогда, когда тот уже вполне может содержать себя собственным трудом.

Он любит принимать и угощать своих родственников, заботясь о кушаньях повкуснее и винах получше. «Он был в таких случаях очень любезен, — пишет его дочь, — выбирал для бесед темы, которые могли интересовать, смеялся, шутил и иногда даже соглашался играть в карты, хотя не любил карточной игры»³³.

В «Преступлении и наказании» Родион Раскольников говорит матери и сестре: «Да что вы все такие скучные!.. скажите что-нибудь! Что в самом деле так сидеть-то! Ну говорите же! Станем

разговаривать... Собрались и молчим... ну что-нибудь!» Анна Григорьевна удостоверяет, что именно эти слова произносил её муж, когда, бывало, собравшиеся у них родственники молча внимали его речам, но сами отнюдь не поддерживали общей беседы³⁴. Создаётся впечатление, что Достоевскому его роль хозяина давалась не без некоторых усилий: искренне желая быть «как все» (подыскивание общих тем и готовность к нелюбимой — в отличие от рулетки — карточной игре), он всё же не может отрешиться от своего естества, решительно завладевает беседой и, может быть, уносится в такие эмпирии, которые смущают оробевших слушателей.

Он регулярно посылает — когда три, когда пять, когда десять рублей — своему вечно нуждавшемуся младшему брату Николаю Михайловичу. Анна Григорьевна аккуратно (и, надо полагать, тайком от мужа) заносит эти суммы в свои записные тетради (труд совершенно напрасный, ибо деньги эти, разумеется, никогда не будут возвращены опустившимся, болезненным, склонным к спиртному родственником).

Весной 1880 года, на Пасху, он пишет Николаю Михайловичу, которого любил и жалел: «Вот уже год, как мы не видались. Не знаю, что это значит: система ли у тебя такая взята или что-нибудь другое. Между тем жизнь наша на конце и до того, что, право, некогда прилагать на практику даже самые лучшие системы. Я всегда помню, что ты мне брат...»³⁵

Он выговаривает как старший младшему — наставительно и сурово. «Жизнь наша на конце» — словно он забыл о том, что брат моложе его на целых десять лет (впрочем, Николай Михайлович переживёт его ненамного).

В первый день нового, 1881 года его любимая сестра Варвара Михайловна пишет ему из Москвы:

«Письмо твоё, милый брат, меня сильно порадовало, такое оно хорошее, задушевное и любящее, что я и не знаю, как благодарить тебя за него и за любовь твою ко мне. Ты один вспомнил обо мне 4 декабря. Все мы разбросаны в разных городах и живем, точно чужие <...>

Что же ты, мой милый, расхворался. Верно, это от усталости и бессонных ночей и от мнительности <...>

Крепись и мужайся, милый мой братику, ведь мы с тобой не Бог знает какие старики. Бог даст поживём. В декабре читала в «Современных известиях» восторженную похвалу о тебе по поводу студенческого вечера, в котором ты участвовал

и на котором тебе поднесли венок. Что-то ты делаешь с этими венками. Я бы на твоём месте все эти венки повесила в кабинете на память, чтобы дети, взирая на них, гордились своим папашей. Я думаю, милые Ваши деточки очень интересуются этими ова-циями и верно всякий раз спешат прочесть в газетах, как восхва-ляют их папашу <...>»³⁶.

Письмо Достоевского, о котором упоминает его сестра, до нас не дошло. Но, как явствует из текста Варвары Михайловны, это послание содержало не только поздравления с днём ангела: брат писал о своём ухудшающемся здоровье и, возможно, о близости конца.

Да, в эту последнюю осень он чувствует свои сроки. Никогда ранее не высказывался он на этот счёт с такой пугающей опреде-лённостью. В августе 1879 года он ещё надеется на год-два жизни; в октябре 1880-го говорит: «Дни мои сочтены».

«Ну вот и кончен роман!»

А между тем — казалось бы, в полном разладе со своими печаль-ными мыслями — он приступает к делу, задуманному не на день и не на два, но требующему долгих многомесячных усилий. Он объявляет о возобновлении с января 1881 года своего периодиче-ского «Дневника писателя».

Ежемесячный (не менее двух печатных листов в каждом выпуске) «Дневник» — это снова работа на износ, работа к сроку, не позво-ляющая сделать хоть сколько-нибудь значительного перерыва. Это опять ежедневные диктовки Анне Григорьевне, правка корректур, хлопоты с типографией, неприятности с цензурой. Это, наконец, новая волна читательских писем — со всех концов России.

Он объявляет подписку, горячо надеясь на успех, ибо теперь, после Пушкинской речи и «Карамазовых», за ним пристально следят друзья и враги, к его голосу напряжён-но прислушиваются...

После «Карамазовых»... Да, громадная, отнимавшая почти всё его время книга наконец-то написана: как было уже сказано, 8 ноября «Эпилог» отсылается в «Русский вестник».

«Ну вот и кончен роман! — адресуется он к Любимову, употре-бив редко встречающийся в его деловых посланиях восклица-тельный знак. — Работал его три года, печатал два — знамени-

тельная для меня минута. К Рождеству хочу выпустить отдельное издание. Ужасно спрашивают, и здесь, и книгопродавцы по России; присылают уже деньги»³⁷.

Роман был окончен; его объём намного превысил первоначальные авторские предположения. Редакция «Русского вестника» оставалась ему должна около пяти тысяч рублей: он, всегда забирающий деньги вперёд, кажется, впервые оказался в столь необычной для него ситуации.

Роман был окончен; автор намеревался, однако, через пару лет засесть за его продолжение. Действие должно было разворачиваться уже «в наши дни», а до тех пор, как туманно выражается Анна Григорьевна, герои романа «успели бы многое сделать и многое испытать в своей жизни»³⁸.

Он пишет Любимову: «Мне же с Вами позвольте не прощаться. Ведь я намерен ещё 20 лет жить и писать. Не поминайте же лихом»³⁹.

За три недели до этого послания он написал Гусевой, что дни его сочтены, а через две недели после него напишет брату, что вряд ли переживёт зиму. Между тем письмо Любимову исполнено оптимизма.

Конечно, с Любимовым он не столь откровенен: его издателям незачем знать о его дурных предчувствиях. Ему хотелось бы, чтобы они и впредь могли рассчитывать на него как на деятельного сотрудника.

Правда, в его мажорном заявлении проскальзывает одна едва уловимая нотка. «Не поминайте лихом» — это ведь формула прощания, не вполне сочетающаяся с обязательством «жить и писать» ещё двадцать лет.

Как бы там ни было, он окончил роман и вновь возвращался на журнальную арену: он выбрал для этого грозный час.

Существует какая-то внутренняя закономерность, что он становился журналистом именно в решающие, поворотные часы отечественной истории. Он издавал «Время» и «Эпоху» в незабываемые 60-е; он выступал со своим «Дневником» в годы Балканского кризиса и Русско-турецкой войны.

«Он решил вновь взяться за издание «Дневника писателя», — пишет Анна Григорьевна, — так как за последние смутные годы у него накопилось много тревоживших его мыслей о политическом положении России, а высказать их свободно он мог только в своём журнале»⁴⁰.

Вторая половина 1880 года — время некоторого затишья.

Явные превращения тайной полиции

Нет, общественные страсти продолжали кипеть — и, может быть, сильнее, чем прежде. Пресса, почувствовавшая некоторое — правда, весьма относительное — облегчение, была полна проектов, предположений, намёков, иносказаний.

И всё-таки это была пауза — хотя бы в том смысле, что уже более полугода не гремели взрывы и не раздавались револьверные выстрелы. «Народная воля» берегла свои силы для решающего удара. За полгода не совершилось ни одного покушения и ни одной смертной казни.

Россия жадно ждала перемен.

«Вообразите, например, — писала в конце года одна петербургская газета, — что завтра над Петербургом разверзнутся хляби начальственные и из них «ливнем польются реформы»... даже сам Фёдор Михайлович Достоевский останется тем же «отставным подпоручиком», каким он и ныне числится в списках главного управления по делам печати...»⁴¹

Действительно, во всех официальных бумагах Достоевский именовался именно так: по последнему чину, которого он достиг на государственной службе. Служение иного рода в расчёт не принималось.

И всё же перемены надвигались.

6 августа 1880 года Александр II подписал в Ропше именной указ, в котором не без некоторой торжественности объявлялось, что чрезвычайные меры возымели наконец своё действие. «Вследствие сего, — говорилось в указе, — ...Мы признали за благо:

- 1) Верховную распорядительную комиссию закрыть, с передачею дел оной в Министерство внутренних дел.
- 2) III Отделение собственной Нашей канцелярии упразднить, с передачею дел оного в ведение министра внутренних дел...
- 3) Заведывание корпусом жандармов возложить на министра внутренних дел, на правах шефа жандармов»⁴².

Министром внутренних дел назначался граф Лорис-Меликов.

Благородно отказавшись от роли «вице-императора», он ничуть не умалил своей исключительной власти. Сделавшись «рядовым» министром, он сохранил почти всё, что имел на правах министра экстраординарного. Более того: вся полиция империи — как тайная, так и явная — была отныне сосредоточена в одних руках.

Самой большой сенсацией было, конечно, закрытие III Отделения, существовавшего с 1826 года. Оно вышло в полной неприкосновенности из реформ 60-х годов. Оно пережило государственные потрясения и смуты. Казалось, оно столь же незыблемо, как и породивший его политический строй. Когда поползли слухи о его закрытии, люди бились об заклад, что этого не случится. Даже наследник престола Александр Александрович не верил в реальность подобного дела.

И всё-таки это произошло.

«...История, — писал «Вестник Европы», — воздаст хвалу в весьма различной степени Верховной распорядительной комиссии, сделавшей себя излишнею ранее даже полугодия, и Третьему отделению, которому для той же цели было недостаточно и полувека»⁴³.

Закрывалось учреждение, ближайшее знакомство с которым Достоевский свёл ещё в 1849 году. Кто знает, может быть, именно теперь, в 1880-м, при ликвидации части дел бывшего III Отделения были уничтожены рукописи его ранних произведений, увезённые вместе с ним той памятной апрельской ночью, но в отличие от него, вернувшегося через десять лет, навеки сгинувшие в недрах здания у Цепного моста.

III Отделение было упразднено — и мнилось, что вместе с ним уходит в прошлое целая историческая эпоха. Мнилось, что отныне можно дышать свободнее. Нужды нет, что место этого учреждения заступал Департамент государственной полиции: смена вывески казалась изменением сути.

«Диктатура сердца» имела шанс сделаться *именинами сердца*.

Граф Михаил Тариелович спасал династию и Александра II лично. 30 августа на его имя из Ливадии воспоследовал высочайший рескрипт: «...Вы достигли таких успешных результатов, что оказалось возможным если не вовсе отменить, то значительно смягчить действие принятых временно чрезвычайных мер, и ныне Россия может вновь спокойно вступить на путь мирного развития...»

На подлинном, собственной его императорского величества рукою, было начертано: «Искренно вас любящий и благодарный Александр»⁴⁴.

На генерала, сумевшего без единого выстрела одержать столь блистательные победы, возлагался высший орден Российской империи — Андрея Первозванного.

Впрочем, ценились не только государственные заслуги графа.

Подпольщики его величества

Лорис-Меликов оказался в числе тех немногих, кто поддерживал императора в «деле 6 июля»: так на придворном языке именовалось тайное бракосочетание недавно овдовевшего монарха с княжной Екатериной Михайловной Долгоруковой (получившей титул княгини Юрьевской). Ей, давней — едва ли не со Смольного института — возлюбленной государя, матери его детей, было твёрдо обещано *оформить* их отношения, как только венценосная супруга русского самодержца отправится в лучший мир.

Ближайшее окружение императора, в том числе члены августейшего семейства, советовало Александру II повременить хотя бы год — ради приличия. Но Александр спешил сдержать своё царское слово. Сама же княжна, словно предчувствуя уже недалёкое 1 марта, торопила своего избранника, который был старше её почти на тридцать лет. И как только истекло сорок дней по кончине государыни, придворный священник благословил новобрачных.

Дальновидный Лорис-Меликов находился с княжной Екатериной Михайловной в самых дружественных отношениях.

2 января 1881 года К. Победоносцев писал Е.Ф. Тютчевой (дочери поэта): «Он (Лорис-Меликов. — *И. В.*) удивительно быстро создал себе две опоры и в Зимнем дворце и в Аничковом (то есть у наследника престола. — *И. В.*). Для государя он стал необходимостью, ширмой безопасности... По кончине Императрицы он укрепился ещё более, потому что явился развязывателем ещё более путаного узла в замутившейся семье...»⁴⁵

Морганатическая супруга Александра II начинала оказывать всё большее воздействие на политику государственную. При этом, естественно, она мечтала стать «настоящей».

Уже после смерти Достоевского, в феврале 1881 года, в Москву был командирован большой знаток церковного права Третий Иванович Филиппов. Ему вменялось извлечь из московских архивов сведения о короновании Петром I другой Екатерины: требовался исторический прецедент.

Третий Иванович — давний знакомый Достоевского.

4 декабря 1880 года Достоевский получает письмо:

Дорогой и глубокоуважаемый Фёдор Михайлович.

Сейчас кончил Карамазовых и не нахожу слов, равных чувству моей признательности за испытанное мною наслажде-

ние и полученную душою моею пользу. Очень желал бы лично повторить слова моей благодарности, если Вы позволите мне прийти к Вам, назначив для сего день и час.

Ваш Т. Филиппов⁴⁶.

Достоевский отозвался в тот же день: «Меня так теперь все травят в журналах, а «Карамазовых», вероятно, до того примутся повсеместно ругать (за Бога), что такие отзывы, как Ваш и другие, приходящие ко мне по почте (почти непрерывно), и, наконец, симпатии молодёжи, в последнее время особенно высказываемые шумно и коллективно, — решительно воскрешают и ободряют дух»⁴⁷.

Несомненно, они встретились в эти декабрьские дни.

И не исключено, что помимо сюжетов литературных в их беседе была затронута тема, живо занимавшая высший петербургский свет⁴⁸. Тем более что имя княгини Юрьевской могло всплыть не только в связи с матримониальными и династическими намерениями Александра II. Во всех этих перипетиях был ещё один аспект. Он-то и мог привлечь особое внимание Достоевского.

Как было недавно установлено, княгиня Юрьевская состояла в секретной переписке с некими лицами, именующими себя Тайной антисоциалистической лигой (Т. А. С. Л.). Лигеры, если верить их посланиям морганатической супруге императора, были в первую очередь озабочены охранением жизни её августейшего мужа. Их главная цель — борьба с теми, кто на эту жизнь посягает. Не надеясь более на расторопность полиции законоустановленной, они решили создать свою собственную тщательно законспирированную организацию, члены коей, как извещали они Юрьевскую, «не впали в общую одурь и решились спасти того, кто слишком хорош для народа, не знающего признательности»⁴⁹.

Итак, та, чьи чувства к государю, как писали лигеры, не могли не внушить им высокого уважения, сделалась адресатом своеобразных «записок из подполья»: последнее, правда, можно было бы именовать «подпольем его величества», ибо сами «подпольщики» вдохновлялись чистым монархическим энтузиазмом (пусть даже и с вынужденным полицейским оттенком).

Тайная («подпольная») супруга Александра II самим своим положением была предрасположена к такого рода контактам.

Тасловцы довольно откровенны с княгиней. Так, они без стеснения поведали высокой конфидентке, что намерены осуще-

ствить свои цели, внедряясь в круги подполья революционного и разлагая его изнутри.

Тут следует привести одно любопытнейшее свидетельство. Оно принадлежит перу генерала и консервативного публициста Ростислава Фадеева.

Откровения раскаявшегося нигилиста

С апреля 1879 по апрель 1880 года Р. Фадеевым был написан цикл писем под общим названием «Современное состояние России». Осенью 1879 года генерал специально съездил в Ялту для представления своих записок Александру II. «Государь, — вспоминает лицо, близкое к Фадееву, — принял их милостиво и сказал ему при приёме: «Ты всё занимаешься важными вещами! Благодарю тебя, прочту твои записки с любопытством и с удовольствием»⁵⁰.

Через несколько месяцев августейший адресат пал, сражённый бомбой Гриневицкого. Сами же письма были впервые напечатаны в Лейпциге в 1881 году — «с высочайшего разрешения» (данного, очевидно, ещё покойным государем).

Именно в этой вышедшей в Лейпциге книге содержится интересное нас свидетельство.

«У нас, — пишет Фадеев, — найдётся немало людей (сам я знаю таких), хотя и не терпящих наших революционеров, но тем не менее знакомых с некоторыми из них... даже попадавших случайно на их собрания и все же не выдающих того, что знают». Если бы, продолжает Фадеев, эти люди «имели какой-нибудь простор действий, какую-либо свободу общественной группировки, они стали бы всеми силами и сообща противодействовать направлению, пагубному, по их убеждению, и не колеблясь соединили бы свои усилия с усилиями правительства. Но прямо доносить они не пойдут»⁵¹.

Итак, «генерал-мыслитель» (так именует его в своих записных тетрадях Достоевский) горько сетует на то, что охранительные потенции русского общества пропадают втуне: правительство, так сказать, само глушит здоровый общественный инстинкт. В результате порядочные люди испытывают немалые неудобства, ибо «прямо доносить они не пойдут».

Достоевский относился к Ростиславу Фадееву довольно скептически.

Он записывает в 1875 году: «Ростислав Фадеев и Фурье. Нет, я за Фурье... Я... даже отчасти потерпел за Фурье наказание... и давно отказался от Фурье, но я всё-таки заступлюсь. Мне жалко, что генерал-мыслитель трактует бедного социалиста столь свысока. Т. е. все-то эти учёные и юноши, все-то эти веровавшие в Фурье, всё такие дураки, что стоило бы им прийти только к Ростиславу Фадееву, чтоб тотчас поумнеть. Верно тут что-нибудь другое, или Фурье и его последователи не до такой степени все сплошь дураки, или генерал-мыслитель уж слишком умён. Вероятнее, что первое»⁵².

Соображения «одного современного русского генерала, пожалуй, тоже писателя»⁵³ (так — столь же иронически — аттестуется Фадеев в черновых записях к «Подростку») подвергаются оценке далеко не лестной.

Через несколько лет Фадеев будет ратовать за свободу охранительной инициативы, исходящей «снизу». Словно предчувствуя эти генеральские призывы, Достоевский записывает: «Наша консервативная часть общества не менее говённа, чем всякая другая. Сколько подлецов к ней примкнули, Филоновы, Крестовский... генерал злой дурак. Грязные в семействе Авсеенки и Крестовские — Фадеев с своим царём в голове»⁵⁴.

Авсеенко и Крестовский — известные литераторы правого толка (первый из них уничтожающе высмеян Достоевским в «Дневнике писателя»). А. Г. Филонов — инспектор 4-й петербургской прогимназии, прославившийся речью, в которой призвал школьников доносить начальству на своих не в меру проказливых товарищей. «Генерал злой дурак» (очевидно, сам Фадеев) зачислен в ту же компанию.

Вернёмся, однако, к письмам Фадеева 1879 года. В подтверждение своих мыслей генерал приводит следующий, как будто бы известный лично ему случай.

«К одному из первых наших писателей, — пишет Фадеев, — явился молодой человек и рассказал, что недавно ещё он был ярым нигилистом, членом тайных лож; но, прочитав разоблачения этого писателя и сверив их с собственным опытом, пришёл к убеждению, что наш нигилизм есть дело напускное, иноземное, направленное внешними и внутренними врагами исключительно к ослаблению России; что, узнав это раз, он не может оставаться безучастным к подобному явлению; убедившись же, как бывший заговорщик, в недостаточности правительственных средств для

искоренения зла, предлагает учредить общество, которое разоблачило и убило бы нравственно шайку нигилистов в глазах России».

Что же ответил на это замечательное предложение не названный Фадеевым по имени писатель? Он, как свидетельствует генерал, выразил, конечно, полное сочувствие видам обращённого нигилиста, но от образования всякого общества отказался.

При этом упомянутый писатель высказал два соображения. Первое: членов предполагаемого общества притянет к ответу полиция, преследующая любые «недозволенные сборища и неразрешённую пропаганду». И второе: в случае, если сами власти утвердят этот завлекательный проект, члены сообщества «станут во всех глазах чем-то вроде полицейских агентов и утрачат всякое значение».

Писательские резоны возымели действие: «молодой человек, готовый пойти на борьбу со злом», вынужден был отказаться от своего оригинального намерения, ибо «не хотел стать доносчиком»⁵⁵.

Иными словами, провокационная затея, в чём-то предвосхищавшая будущую Священную дружину (одним из зачинателей которой и стал Фадеев), была отвергнута самым решительным образом.

Есть основания полагать, что анонимным собеседником раскаявшегося нигилиста был не кто иной, как Фёдор Михайлович Достоевский.

Кого имел в виду генерал Фадеев?

Действительно: к кому «из первых русских писателей» могли обратиться с таким, по-видимому, безумным предложением? Ведь не к Толстому же, не к Тургеневу и, уж разумеется, не к Салтыкову-Щедрину. К Лескову? К Писемскому? Но вряд ли Фадеев стал бы именовать того и другого «одним из первых писателей»: в 70-е годы их литературная репутация не была столь высока.

Достоевский — пожалуй, самая подходящая кандидатура⁵⁶.

Заметим: таинственные корреспонденты княгини Юрьевской сообщают ей, что «под развевающимися знамёнами лиги» уже находятся пара великих князей, некоторые друзья Лорис-Меликова, а также один из членов подчинённой ему Верховной

распорядительной комиссии*. Следовательно, тасловцы вербуют своих клиентов среди людей высокопоставленных, обладающих известным влиянием. Но имя Достоевского весит, пожалуй, не меньше, чем великокняжеский титул.

Естественно возникает вопрос: действовал ли «раскаявшийся нигилист» по собственной инициативе, или же за его спиной скрывались те, кто предпочитал пока не обнаруживать своих имён?

«Мы, — заявлял один из учредителей, — торжественно поклялись, что никто и никогда не узнает наших имён... Мы основали лигу, род ассоциации, управляемой тайно и не известной даже полиции, которой, впрочем, и без того многое остаётся неизвестным». У них, учредителей, есть одно драгоценное преимущество: «Полиции бегут нигилисты, нас они не знают и принимают за своих собратьев».

Но если тайная антисоциалистическая лига — не плод искусной мистификации (ибо, как справедливо было замечено, от писем лигеров Юрьевской сильно «шибает враньём»), а существовала на самом деле (или по крайней мере предпринимались реальные попытки к её созданию)**, то визит «раскаявшегося нигилиста» к «одному из первых русских писателей» наводит на интересные соображения. Этот визит любопытен не только в политическом, но и в литературно-психологическом плане. Ведь в замыслы Достоевского входило написать роман именно о раскаявшемся нигилисте. Случайно или нет, выбор посланца для переговоров был сделан чрезвычайно удачно.

И тем не менее визитер потерпел полное фиаско. У него не было (да и не могло быть) никаких шансов. Со своими идейными противниками Достоевский предпочитал говорить в открытую.

Но сделанное автору «Бесов» предложение примечательно не только своей изумительной безнравственностью. Оно прямо перекликается с той моральной дилеммой, которая обсуждалась

* Заметим, что генерал Р.А. Фадеев был прикомандирован к Верховной распорядительной комиссии, выполняя при Лорис-Меликове роль «учёного консультанта».

** Письма «великого лигера» княгине Юрьевской воспринимались на самом верху весьма серьёзно: есть указание на её ответные (не обнаруженные пока) послания. Об этой тайной переписке был осведомлён Александр II (он даже — при посредстве всё той же Юрьевской — довёл до сведения лигеров своё «милостивейшее слово»)⁵⁷.

Достоевским в его памятном (и — теперь это можно предположить — каким-то образом связанном с визитом «раскаявшегося нигилиста») разговоре с Сувориным (см. в главе VIII подглавку «Христос у магазина Дациаро»).

«Раскаявшийся нигилист» предлагал действовать в соответствии с убеждениями. Но такой образ действий абсолютно неприемлем для его собеседника, ибо не только не совпадает с идеалом, с «чувством красоты», но является прямым оскорблением этого чувства.

«Добровольные полицианты» явно обратились не по адресу.

Визит к наследнику престола

Между тем «замирение», столь трудно достигнутое, было вновь нарушено: завершился «процесс шестнадцати» — и 4 ноября в Петропавловской крепости на эшафот взошли Квятковский и Пресняков.

«Теперь мы, кажется, с ним покончим»⁵⁸, — сказал член Исполнительного комитета А.Д. Михайлов: через четыре месяца «Народная воля» ответит на эту казнь двумя бомбами на Екатерининском канале.

7 ноября Е.А. Штакеншнейдер записывает в дневнике: «Тяжёлое и нехорошее впечатление производит казнь даже на нелибералов. Не в нашем духе такие вещи...»⁵⁹

Наверное, именно в эти дни Достоевский делает уже приводившуюся выше запись о Квятковском и Преснякове, о возможности такого решения, которое бы исключало подобный акт государственной мести (см. главу «Вера Засулич и старец Зосима»). В эти дни он, очевидно, ещё раз задумывается о будущей судьбе своего Алёши — героя того самого романа, который выйдет отдельным изданием всего через месяц после совершившейся казни.

На исходе года в столичных газетах появилось и затем стало повторяться объявление:

«9-го декабря вышел в свет отдельным изданием роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Два тома 76 печатных листов. Цена 5 р. Гг. иногородние, выписывающие от автора (СПб., Кузнечный пер., д. 5, книжная торговля для иногородних Ф.М. Достоевского), пользуются бесплатною пересылкою»⁶⁰.

«Это было... — говорит Анна Григорьевна, — последнее радостное событие в его столь богатой всяческими невзгодами жизни»⁶¹.

Событие действительно было радостным. Однако за пятьдесят дней, ещё оставленных ему судьбой, автору романа так и не удалось познакомиться со сколько-нибудь серьёзным разбором его творения. В большинстве газетных откликов сквозило умеренное недовольство.

«Г. Достоевский... весьма и весьма крупный талант, — писала в общем расположенная к нему «Неделя», — между тем его «Братья Карамазовы» совсем не удались, хотя прекрасных частных в них много. Это потому, что они сами, при всей их обширности, представляют лишь частность; что не захвачен в них внутренний смысл жизни, во всей его полноте и разносторонности; что они полны обличений и горьких укоров, русского же современного человека касаются лишь слегка»⁶².

«Русский современный человек» между тем жадно раскупал отдельное издание «совсем неудавшейся» книги.

«Расходится роман очень быстро, — пишет племянник, А.А. Достоевский, своему отцу в Ярославль, — уже продано на три тысячи рублей (в четыре дня); всё же издание в четыре тысячи экземпляров обошлось в четыре тысячи рублей, так что скоро книга будет продаваться в чистый барыш. Анна Григорьевна рассчитывает получить чистого барыша десять тысяч рублей, — конечно, если всё издание будет распродано...»⁶³

В последнем можно было не сомневаться.

Роман выходил без помощи издательских посредников (этот опыт — уже после смерти Достоевского — очень пригодится Анне Григорьевне в её неутомимой книгоиздательской деятельности). Предполагаемая выручка в десять тысяч — сумма почти скажочная (Штакеншнейдер замечает, что «для изображения большого капитала огромной цифрой всегда будет для него (Достоевского. — *И. В.*) шесть тысяч рублей») ⁶⁴.

Он начинает рассылать экземпляры романа (вышедшего в двух томах с датой издания — 1881 год) друзьям и знакомым.

9 декабря Победоносцев письменно благодарит автора «Карамазовых» за «приятный подарок». Ober-прокурор Святейшего синода этим не ограничивается: он рекомендует «представить» роман наследнику престола, который, по его словам, «ожидает выхода целой книги, чтобы начать чтение, ибо не любит читать по кусочкам» (в таком случае следует признать, что будущий

Александр III был одним из самых *терпеливых* русских читателей, так как печатание не только «Карамазовых», но, скажем, «Войны и мира» или «Анны Карениной» растягивалось на годы). Автор изъявил готовность, однако несколько замедлил с исполнением: не находилось приличествующего случаю переплёта. Тем временем Победоносцев проделал необходимую подготовительную работу, о чем и сообщал своему корреспонденту 15 декабря:

«Почтеннейший Фёдор Михайлович. Я предупредил письменно Великого князя, что Вы завтра в исходе 12-го часа явитесь в Аничков Дворец, чтобы представиться Ему и Цесаревне. Извольте итти наверх и сказать адъютанту, чтобы об вас доложили, и что Цесаревич предупреждён мною. А затем, когда выйдете от него, извольте спросить камердинера Цесаревны, чтобы Ей доложили об вас. Дело это просто делается»⁶⁵.

С одним из августейших супругов, а именно цесаревной, Достоевский уже знаком. Дочь его пишет, что её отец произвёл на жену наследника глубокое впечатление и «она так много говорила о нём своему мужу, что и цесаревич захотел познакомиться с отцом. Через посредничество Константина Победоносцева он передал ему приглашение посетить его». Таким образом, если верить Любови Фёдоровне, инициатива могла исходить и из самого Аничкова дворца.

У Достоевского не было причин уклоняться от этой встречи: он, как уже говорилось, рассчитывал «подтолкнуть» самодержавие в том направлении, какое представлялось ему единственно верным.

Он посещает Аничков дворец 16 декабря 1880 года.

Разумеется, первый визит к наследнику престола должен был носить сугубо протокольный характер. Но сам визитёр, по собственному его признанию, не имеющий «жеста», даже здесь ухитрился отступить от строгих требований придворного церемониала.

«Его и Ее высочества, — повествует Любовь Фёдоровна, — приняли его вместе (нарушив тем самым «сценарий» Победоносцева. — *И. В.*) и были восхитительно любезны по отношению к моему отцу. Очень характерно, что Достоевский, который в этот период жизни был пылким монархистом, не хотел подчиняться этикету Двора и вёл себя во дворце, как он привык вести себя в салонах своих друзей (вспомним его «неуместный» рассказ о казни Млодецкого в доме великого князя Константина Константиновича. — *И. В.*). Он говорил первым, вставал, когда

находил, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с цесаревной и её супругом, покидал комнату так, как он это делал всегда, повернувшись спиной...»

Откуда дочери Достоевского известны все эти выразительные подробности? Вряд ли сам Достоевский мог так объективно, «со стороны» оценить собственное поведение (ему-то как раз могло казаться, что он ни в чём не отступал от правил придворной учтивости). Не исключено поэтому, что приводимая Любовью Фёдоровной информация частично исходит от Победоносцева, которому в свою очередь поведал свои впечатления будущий российский самодержец. «Наверное, — пишет Любовь Фёдоровна, — это был единственный раз в жизни Александра III, когда с ним обращались как с простым смертным. Он не обиделся на это и впоследствии говорил о моём отце с уважением и симпатией»⁶⁶.

Задумывая эту встречу, Победоносцев, надо полагать, вряд ли рассчитывал на то, что она принесёт быстрые и ощутимые плоды. Ему важно было создать прецедент, ввести Достоевского на «предпоследнюю» ступень власти и тем самым как бы сделать его политическим заложником режима. Очевидно, предполагалось, что автор «Дневника писателя» в своей ближайшей деятельности теперь волей-неволей должен оглядываться на Аничков дворец.

Хотя, возможно, Достоевский и сам возлагал на этот визит определённые надежды, маловероятно, чтобы во время его представления высочайшей чете речь коснулась тех самых тем, которые неотступно занимают его в эти последние месяцы: казни Квятковского и Преснякова, всеобщего смятения умов и, наконец, его собственных исторических предположений.

Он не преследовал этим визитом никаких личных выгод. Ему, писателю, человеку, не состоящему на государственной службе, нечего было ждать от щедрот государства.

«Я ничего не ищу и ничего не приму, и не мне хватать звёзды за моё направление»⁶⁷, — не в прямой ли связи с посещением Аничкова дворца появляются вдруг эти слова в его последней записной книжке?

Его собственное «направление» не совпадало с тем, за какое иные публицисты (например, Катков) действительно «хватали» чины и звёзды.

Он записывает в конце 1880 года: «Всё у него (русского общества. — *И. В.*) отнято, до самой законной инициативы. Все права

русского человека — отрицательные. Дайте ему что положительного и увидите, что он будет тоже консервативен. Ведь было бы что охранять. *«Не консервативен он потому, что нечего охранять»*⁶⁸.

«Нечего охранять» — согласились бы с подобным утверждением «настоящие» охранители? Ведь они-то как раз и полагали, что защиты и социальной консервации заслуживает то, что есть; они сами были неотъемлемой частью охраняемого ими миропорядка. Достоевский ставит вопрос совсем по-иному: консерватизм в России не может иметь реальной силы потому, что он не основан на высших моральных ценностях. То здание, которое следует по-настоящему оберегать, ещё не воздвигнуто.

Славянофил поневоле

«Уничтожьте-ка формулу администрации! — пишет он в последней записной книжке. — Да ведь это измена европеизму, это отрицание того, что мы европейцы, это измена Петру Великому. О, на преобразования наша администрация согласится, но на второстепенные, на практические и проч. Но чтоб изменить совершенно характер и дух свой — нет, этого ни за что...»⁶⁹

Конечно, при желании можно истолковать эти и им подобные высказывания как подчёркнуто антизападнические. И обвинить их автора в сугубом неприятии любых форм европеизма. Такое толкование — может быть, соблазнительное для иных интерпретаторов — вряд ли, однако, будет соответствовать истине.

У Достоевского нигде и никогда мы не встретим отрицания высших достижений западной культуры. Его любовь, даже преклонение перед вершинными явлениями европейского духа — факт, не требующий доказательств. В готовности русского человека стать «братом всех людей» он усматривал великую надежду: возможность *породнения* России и Запада. Он верит в кровность соединяющих их духовных уз. «Русские европейцы» (выражение в устах Достоевского бранное) — это как раз псевдоевропейцы, люди, усвоившие лишь наружные формы европейской культуры и гордящиеся именно этими внешними знаками своего культурного превосходства.

Он обвиняет русский либерализм в поклонении западной цивилизации, но не культуре. Он не может согласиться с тем, чтобы видимость ставилась выше сути.

Он далеко не всегда прав в этих своих обвинениях. Русское западничество — серьёзное, позитивное и, что важнее всего, исторически неизбежное явление, находящееся на магистральной линии отечественного развития. Российский либерализм западнического толка обладает бесспорными и весьма ощутимыми культурно-историческими заслугами. Не только «энциклопедия Брокгауза и Ефрона», но и весь комплекс достижений русской науки и просвещения второй половины века были бы немислимы при самозамыкании и самоизоляции.

Кроме того, политическая программа русского либерализма содержала такие моменты, которые в условиях безраздельного господства «непросвещённого абсолютизма» носили хотя и ограниченный, но объективно прогрессивный характер. Эволюция самодержавной монархии в сторону представительного правления с определенными конституционными гарантиями — такой процесс, который, начнись он на самом деле, мог бы во многом изменить дальнейший ход судеб.

Трагедия российского либерализма состояла в том, что он полагался только на добрую волю власть имущих и исключал из своих политических расчётов потенциальные возможности «низов».

За это упрекали либералов русские революционеры. Но, как ни парадоксально, именно за то же упрекает их и Достоевский (хотя он, разумеется, различает в народе совсем иную, нежели левые радикалы, историческую потенцию). Народ «не видит, что сохранять» — эти слова, очевидно, не вызвали бы возражений в стане русской революции. «Уничтожьте-ка формулу администрации» — именно *всю* «формулу», а не те или иные её части. Такое уничтожение (равносильное на деле полному слову существующей государственной машины) составляло даже не ближайшую, а отдалённую цель отечественных социалистов.

Его мирозерцание противостоит «классическому» славянофильству не в меньшей мере, чем «классическому» западничеству.

Русский либерализм западнического толка не имел шансов выжить в стране таких непримиримых полярностей. С одной стороны, он подвергался тотальной критике за свою половинчатость и непоследовательность, за недостаточный политический радикализм, а с другой — язвительному осмеянию за преувеличенный интерес именно к политической стороне дела, за игнорирование максималистских (столь трудно осуществимых на практике)

нравственных целей. В России либеральная идея была обречена: она пала под этими двойными ударами.

Какую же альтернативу предлагает сам Достоевский? На этот вопрос невозможно ответить однозначно. Ибо, жадно интересующийся политикой, он мыслит категориями вовсе не политическими. Его «программа» не вписывается ни в одну из существующих идеологических моделей.

Он знает одно: человеческое (истинно человеческое) и общественное, сверхличное в своей сокровенной сути должны совпадать.

Но — исполнимо ли это?

«Никто, кроме Христа...»

В дневнике Е.А. Штакеншнейдер можно найти отголоски одного спора, разгоревшегося в её гостиной 14 октября 1880 года.

«Сознать своё существование, мочь сказать: я есмь! — великий дар, — говорил Достоевский, — а сказать: меня нет, — уничтожиться для других, иметь и эту власть, пожалуй, ещё выше».

Тут Аверкиев, — продолжает автор дневника, — которого с некоторых пор точно укусила какая-то враждебная Достоевскому муха, сорвался с места и говорит: «Это, конечно, великий дар, но его нет и не было ни у кого, кроме одного, но тот был Бог».

Достоевский стал ему возражать — что, впрочем, и неудивительно. Ибо то, что для Аверкиева есть своего рода «евангельский экстремизм», способность, превосходящая реальные человеческие возможности, для него, Достоевского, — захватывающее дух «пророчество и указание». И в его романах, и в «Дневнике писателя» всегда брезжит эта *надежда*. Для него новозаветная «теория» и возможная человеческая практика не отделены друг от друга непроницаемой стеной.

При бесконечной снисходительности к человеческим слабостям он предъявляет очень высокие требования самому человеку.

Итак, Достоевский стал возражать Аверкиеву, но тот «никого не слушал» и «продолжал хрипеть своё, что кроме Христа никто не уничтожается для других. А он сделал это без боли, потому что был Бог»⁷⁰.

Надо полагать, последнее замечание, восходящее к древней экзегетической традиции, к монофизитству, к теологическим

прениям отцов Церкви, также не было оставлено Достоевским без возражений. Сын человеческий, страшщийся крестной муки (вспомним «моление о чаше»), настоящий смертник, а не Божественный лицедей, «понарошку» забавляющийся со своими мучителями и недоступный никакой земной боли, существо страдающее и страждущее — только *такой* Христос мог быть понятен и близок автору Легенды о великом инквизиторе.

Интересные разговоры случались по вторникам у Штакеншнейдеров.

По вторникам у Штакеншнейдеров

Он старался не пропускать их приёмные дни, и дневник Елены Андреевны сохранил следы этих посещений (никто более не оставил таких подробных заметок о его последних месяцах).

«Иногда сидит он понурый и злится, злится на какой-нибудь пустяк. И так бы и оборвал человека, да предлога или случая не находит, а главное, не решается, потому что... гостинные ему импонируют и он ещё чувствует в них себя не совсем удобно. Сидит он тогда и точно подбирается, обдумывает, как бы напасть, или борется сам с собой. Голова его опускается, глаза ещё больше уходят вглубь, и нижняя губа не то отвисает, не то просто отделяется от верхней и кривится. Он сам тогда не заговаривает, а отвечает отрывисто. И удастся ему в такое время в свой ответ или замечание впустить хоть каплю ехидства, то моментально, точно чары снимутся с него, он улыбнётся и заговорит, всё, значит, прошло; иначе целый вечер может он так хохлиться, с тем и уйдёт»⁷¹.

Казалось бы, после своего московского триумфа, после зримого успеха «Карамазовых», окружённый всеобщим вниманием, почти поклонением, он должен хотя бы немного изменить своё обычное поведение: в нём могла бы появиться если не величавость, то уж во всяком случае некоторая значительность. Этого не происходит: горячо претендующий на участие в домашнем спектакле у Штакеншнейдеров, он совершенно не в состоянии сыграть собственную, положенную ему по «сценарию» роль.

Однажды он явился на очередной вторник: «...что-то покорибило его, едва он вошёл, и он тотчас же съёжился и насупился». Он одиноко сидел на стуле «и, съёженный, казался особенно жалким». Хозяйка дома шепнула, чтобы ему подали кресло,

и один из гостей немедленно исполнил её желание. «Достоевский хоть бы кивнул ему, хоть бы глазом моргнул, и не пересел, конечно, а только сделал движение поставить на мягкое бархатное кресло стакан с чаем. «Это, — спрашивает, — для стаканов?» — «Нет, — говорю, — не для стаканов, а для вас поставил Иван Николаевич». Удовольствовавшись столь малым на этот раз, он тем не менее тотчас словно очнулся, с улыбкой поблагодарил... и начал говорить про новую книгу Н.Я. Данилевского...»

Наблюдательная Елена Андреевна «с удовольствием» отмечает в его поведении некие новые черты. «...С некоторого времени, — говорит она, — с прошлого года уже, кажется, Достоевский заметно изменился к лучшему. Уж он теперь очень, очень редко набрасывается на кого-нибудь, не сидит насупившись и не шепчется с соседом, как бывало»⁷².

Нет, в нём не появилось ничего связанного с бременем славы. Рост популярности привёл к результатам, прямо противоположным тем, которые обычно этому процессу сопутствуют: дистанция между ним и окружающими не только не возросла, а как бы уменьшилась. Он стал мягче, теплее, отзывчивее; он стал более терпимым. И, думается, не столько под влиянием изменившихся внешних условий (хотя они и позволяют ему теперь порою расслабиться), сколько в результате той громадной внутренней работы («самоодоления»), которая непрерывно совершалась в нём — вплоть до его последнего дня.

«Кто его знает, — замечает Штакеншнейдер, — он ведь очень добрый, истинно добрый, несмотря на всё своё ехидство, может дать волю дурному расположению духа своего, он и раскаивается потом и хочет наверстать любезностью»⁷³. Его «самоодоление» не есть борьба с главным в себе, а, наоборот, приведение своего «жеста» в соответствие с этим главным: отбрасывается, преодолевается всё наносное, преходящее, мелочное — всё неструктурное.

Когда Штакеншнейдер говорит о его доброте, она имеет в виду вполне конкретные вещи.

Она рассказывает: к ним на огонёк зашла как-то Анна Григорьевна — излить душу. Гостья жаловалась на жизнь: она ночи не спит, придумывая средства, как свести концы с концами, отказывает себе во всём — даже не ездит никогда на извозчиках. А что делает её муж? Он не только содержит брата и пасынка («который не стоит того, чтобы его пускали к отчиму в дом»), он ещё ухитряется сунуть первому встречному — «что тот у него ни попросит».

«...Придёт с улицы молодой человек, — сокрушалась Анна Григорьевна, — назовётся бедным студентом, — ему три рубля. Другой является: был сослан, теперь возвращён Лорис-Меликовым, но жить нечем, надо двенадцать рублей — двенадцать рублей даются. Придёт старая нянька: «Ты, Анна Григорьевна, — говорит он, — дай ей три рубля, дети пусть дадут по два, а я дам пять». И это повторяется беспрестанно. Когда же Анна Григорьевна пробует возмущаться и протестовать, ответ следует неизменный: «Анна Григорьевна, не хлопочи! Анна Григорьевна, не беспокойся, не тревожь себя, деньги будут!..» — «Будут, будут!» — повторяла бедная жена удивительного человека и искала в своей модной юбке кармана, чтоб вынуть платок и утереть выступившие слёзы...»⁷⁴

Доброта, бескорыстие, отзывчивость на чужое горе, немедленная готовность материально поддержать человека, попавшего в беду, — всё это глубоко органические, структурные черты его личности. И ему не надо прилагать ни малейших усилий, чтобы эта сторона его натуры явилась во всей своей полноте. Да, у него нет «жеста», но *этот* жест, естественно совпадающий с его внутренним душевным движением, у него есть. Есть потребность отдачи — и Анне Григорьевне стоит немалых усилий, чтобы хоть как-то умерить всегдашний его порыв, ставящий под удар и без того довольно шаткое благополучие их семейства.

Не так трудно быть добрым, обладая избытком или по крайней мере прочным достатком. Достоевский почти всегда отрывает от последнего. При этом он не спешит известить окружающих о таковых своих поступках. «Никто ведь не знает его милосердия, — замечает Штакеншнейдер, — и не пожалуйся Анна Григорьевна, и мы бы не знали».

Упомянув о пяти тысячах, следуемых её мужу из «Русского вестника», Анна Григорьевна добавила, что она купит на эти деньги землю. «Пусть ломает её по кускам и раздаёт!»

Последняя фраза — о земле — вновь заставляет вспомнить автора «Анны Карениной».

Нравственные затруднения Льва Толстого

Да, следует вновь вспомнить Толстого, ибо это *его* проблема — неотступная и мучительная, отравлявшая его последние годы. Он, не желающий более оставаться владельцем земельной соб-

ственности, передаёт все свои имущественные права Софье Андреевне, которая в свою очередь бдительно охраняет эту собственность от всяческих на неё посягновений. Хозяин Ясной Поляны как бы самоустранился; он лишил себя возможности «ломать по кускам» землю, теперь уже ему не принадлежащую.

Автор «Воскресения», отдавший весь гонорар за этот роман на переезд в Канаду преследуемых правительством духоборов, почти никогда не откликается на частные просьбы о материальной помощи: основной мотив тот, что все средства находятся в руках жены. Если Достоевский, по словам Анны Григорьевны, «как войдёт в вокзал, так, кажется, до самого конца путешествия всё держит в руках раскрытое портмоне, так его и не прячет, и всё смотрит, кому бы из него дать что-нибудь»⁷⁵; если он не идёт на прогулку, не взяв с собой хотя бы десять рублей, то Толстой тщательно ограждён от подобных соблазнов: почти никогда не имея (в последние годы) собственных карманных денег, он вынужден либо отказывать бесчисленным «тёмным» (как полупрезрительно именовала их Софья Андреевна) посетителям Ясной Поляны, либо обращаться за мелкими суммами к своим близким.

Правда, в одном просители никогда не знают отказа: Толстой щедро снабжает их своими нравоучительными брошюрами.

Весьма нерасположенный к Толстому К. Леонтьев писал В. Розанову: «У меня самого и у многих других были с ним (Толстым. — *И. В.*) сношения по делам самого неотложного благотворения, и я, и все другие вынесли из его наглых (оставим эпитет на совести Леонтьева. — *И. В.*) бесед по этому поводу самые печальные впечатления. «Человек вторую неделю с семьёй *корками* питается», — говорю я ему. — «Наше назначение не кухмистерское какое-то», — отвечает он (при *Влад. Соловьёве*); дело шло *о чтении* в пользу этой несчастной семьи»⁷⁶.

Конечно, К. Леонтьев глубоко несправедлив к Толстому: стоит вспомнить самоотверженную подвижническую работу писателя во время голода. Именно «кухмистерская» деятельность представлялась тогда Толстому наиглавнейшей. С другой стороны, действительно ничего не известно об участии автора «Войны и мира» в благотворительных вечерах, то есть в том, от чего Достоевский отказывался лишь в исключительных случаях.

Конец 1880 года изобилует подобными проявлениями общественной самодеятельности: приглашения следовали одно за другим.

Несогласия в зрительном зале

Впервые после московской речи он вновь явился перед публикой 19 октября — в годовщину основания Царскосельского лицея (утренник устраивался Литературным фондом). Чтения, приуроченные к подобной дате, неизбежно должны были вызвать ассоциации с недавними московскими торжествами. Тем более что исполнялись исключительно произведения Пушкина. И даже некоторые внешние детали усиливали сходство.

«В обширной и безукоризненной в акустическом отношении зале нового дома Петербургского городского кредитного общества, — писало «Новое время», — собрались представители интеллигентного общества столицы. На кафедре, установленную впереди большого пушкинского бюста, увенчанного лавровым венком и декорированного зеленью, поочередно всходили известные литераторы...»⁷⁷

Всех: и писателей — Д.В. Григоровича, П.И. Вейнберга, А.А. Голенищева-Кутузова, и артистов — М.Г. Савину⁷⁸ и И.Ф. Горбунова — встречали дружными аплодисментами. «Но всего сочувственнее, — свидетельствует «Берег», — публикою был принят Ф.М. Достоевский. Не знаем, был ли это отклик московского торжества или вполне независимо от московской речи наша публика хотела выразить свои симпатии автору «Преступления и наказания», «Бесов» и «Братьев Карамазовых», но всякое появление маститого романиста-психолога нашего вызывало буквально гром рукоплесканий. Публика даже злоупотребляла своим правом вызывать лектора»⁷⁹.

«Публика, — присоединяется к наблюдениям «Берега» «Петербургская газета», — вероятно, выражала... благодарность за речь, сказанную в Москве». Далее следовал неожиданный вопрос: «Но за что вызывали его после окончания чтения?»

Он прочитал сцену из «Скупого рыцаря», и, как выразилась та же «Петербургская газета», прочёл «замечательно неудачно. Кажется, и он сам и публика забыли, что речь идёт о «Скупом рыцаре», а не о каком-то скупердяе-лавочнике, которого представил нам почтенный чтец»⁸⁰.

Можно было бы усомниться в справедливости высказанной газетным репортёром оценки, если бы она не находила поддержки в одних позднейших воспоминаниях.

Их автор, актёр В. Н. Давыдов (кстати, приглашённый на вечер Савиной — «послушать Достоевского»), утверждает, что монолог из «Скупого рыцаря» исполнитель «читал невероятно плохо, но публика бесновалась, видя своего любимого писателя»⁸¹.

Итак, два независимых очевидца согласны в том, что эта пушкинская сцена не удалась Достоевскому. И мы вполне доверились бы такому совпадению, если бы не обнаружили источники, содержащие оценку, прямо противоположную только что приведённым.

В. Микулич вспоминает: зимой 1880 года Достоевский читал монолог старого барона в гостиной Штакеншнейдеров.

«...Среди наступившей почтительной тишины он начал своим глухим, но внятным голосом:

Как молодой повеса ждёт свиданья...

Он превосходно прочёл этот монолог. Не думаю, чтоб можно было прочесть его лучше. Я, по крайней мере, в жизни не слышала лучшего чтения. А когда в конце 3-й сцены он начал шептать, задыхаясь:

Ноги мои слабеют...
Душно!.. Душно!..

Мы испугались, думая, что у него начинается припадок. Но всё кончилось благополучно. Он выпил стакан воды и поклонился публике при громе восторженных рукоплесканий»⁸².

Полагаем, что и 19 октября Достоевский — вопреки двукратно высказанному мнению — прочёл этот монолог не столь уж дурно. В этом подозрении укрепляет нас корреспонденция, помещённая в газете «Голос». «Ф. М. Достоевский, — отмечает репортёр, — разбитым старческим голосом, как нельзя лучше соответствовавшим содержанию пьесы, прочёл «сцену в подвале»...»⁸³

Современники редко сходятся в эстетических пристрастиях: почему-то трудно (почти невозможно) адекватно оценить то, что создаётся (или совершается) на наших глазах. Как не сходятся, впрочем, и во многом другом...

Если «Новое время» хвалило, например, «безукоризненные акустические условия залы Кредитного общества», то отсюда не следует, что это мнение разделялось всеми. В тот же день,

19 октября, Штакеншнейдер записывает в дневнике, что литературное утро проходило в помещении, «где чтецов не во всех концах слышно, а Достоевский, больной, с большим горлом и эмфиземой, опять был слышен лучше всех. Что за чудеса! — продолжает Елена Андреевна. — Еле душа в теле, худенький, со впалой грудью и шёпотным голосом, он, едва начнёт читать, точно вырастает и здоровеет. Откуда-то появляется сила, сила какая-то властная. Он кашляет постоянно и не раз говорил мне, что это эмфизема его мучает и сведёт когда-нибудь, неожиданно и быстро, в могилу. Господи упаси!»⁸⁴

Он называет Елене Андреевне ту самую болезнь, которая действительно сведёт его вскоре в могилу — «неожиданно и быстро».

На том утреннике 19 октября он прочитал ещё одно стихотворение — «Как весенней тёплой порой» («и тоже плохо», — замечает актёр В.Н. Давыдов) — оно значилось в программе. И уже сверх программы, уступая настойчивым требованиям публики («стоя и с неподражаемым пафосом»), — своего любимого «Пророка». Заключительную строфу, по свидетельству газетного хроникёра, он «произнёс со слезами в голосе, чем и произвёл немалый эффект»⁸⁵.

«При первых же строфах, — пишет воспоминатель, которому столь не понравился «Скупой рыцарь», — Достоевский весь изменился. Его нельзя было узнать! Сгорбленный, разбитый, сутоловатый, он мгновенно превратился в могучего, стального». Последнюю строфу он произнёс «с необыкновенною силою, равную приказанию, со слезами в горле. Публика застонала от восхищения, а Достоевский побледнел, и казалось, что сейчас упадёт в глубокий обморок»⁸⁶.

«...На перепутьи мне явился»

Из всего «не своего», что читал он со сцены, наибольшее впечатление неизменно производило это пушкинское стихотворение. Тут был момент конгениальности — прозрения и тайновидения; интимнейшее схождение замысла и интерпретации. И в результате — разряд, вспышка, ожог.

Поэт Иннокентий Анненский (ему было тогда 25 лет) видел его в эту последнюю осень. Он вспоминает: Достоевский «поспешно» выходил на сцену; «останавливался у самого края, шага этак за три от входа, — как сейчас вижу его мешковатый сюртук, суту-

лую фигуру и скуластое лицо с редкой и светлой бородой и глубокими глазницами, — и голосом, которому самая осиплость придавала нутряной и зловещий оттенок, читал, немного торопясь и как бы про себя, знаменитую оду».

«Читал как бы про себя», — говорит Анненский, разумея, конечно, манеру исполнения. Но, может быть, потому так читал, что полагал: действительно — *про себя*.

«...В заключительном стихе, — продолжает Анненский, —

Глаголом жги сердца людей —

Достоевский не забирал вверх, как делают иные чтецы, а даже как-то опадал, так что у него получался не приказ (как воспринимал эту строчку, например, Давыдов. — *И. В.*), а скорее предсказание, и притом невеселое»⁸⁷.

В свои последние месяцы он читает «Пророка» особенно часто: очевидно, не только потому, что это чтение неизменно вызывает восторг аудитории, но и в силу какой-то глубокой внутренней потребности. Осенью 1880 года *историческое ожидание* достигает своей высшей точки — и образ пророка, взыскающего и страждущего, этот достаточно хрестоматийный образ, вдруг обретает грозный конкретный смысл.

...На перепутьи мне явился...

Россия стояла на перепутье.

Пушкин исходил из известного библейского сюжета. Он говорит о пророческом даре, о миссии пророка. Но не упоминает о том, какую мученическую кончину должен претерпеть богоизбранный вестник: по велению царя Манассеи Исайя был расплен деревянной пилой.

Пророческое служение всегда оканчивается трагически*.

* Достоевский любил и лермонтовского «Пророка», особенно выделяя строфу:

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено камня.

За несколько дней до 19 октября Достоевский читал «Пророка» в гостиной Штакеншнейдеров — и «заэлектризовал или замagnetизировал всё общество». Он сделал это, говорит хозяйка дома, «без всяких вспомогательных средств, вроде шёпота, и выкрикиваний, и вращения глаз, и прочего, слабым своим голосом... все, самые равнодушные, пришли в какое-то восторженное состояние».

Однако и среди гостей Штакеншнейдеров нашлись тонкие эстетика, осудившие подобную манеру исполнения. После отъезда Достоевского всё тот же Аверкиев «с таким жаром и азартом» стал кричать про «Пророка», будто его следует понимать совсем не так, как Достоевский, что один из гостей спросил горячившегося драматурга: «Да что ты, в самом деле, знаком, что ли, был с Исайей?»⁸⁸

Между тем вопрос о том, как понимать «Пророка», носил характер не только академический: он заключал острый и злободневный исторический интерес.

«А мы-то, — пишет Иннокентий Анненский, — тогда, в двадцать лет, представляли себе пророков чуть что не социалистами. Пророки выходили у нас готовенькими прямо из лаборатории, чтобы немедленно же приступить к самому настоящему делу, — так что этот новый, *осуждённый* жечь сердца людей и при этом твёрдо знающий, что уголь в сердце прежде всего мучительная вещь, — признаюсь, немало-таки нас смущал».

Выходит, что пророк Достоевского — это антипророк (по отношению к традиционному, усвоенному интеллигентским сознанием образу), «не только не деятель, — говорит Анненский, — но самое яркое отрицание деятельности».

Такая не лишённая остроумия трактовка имеет, как думается, большее касательство к миронастроению начала века, когда И. Анненский писал свои воспоминания. Ведь у Достоевского «указующий перст, страстно поднятый» — это именно перст *указующий*, а не бесцельно устремлённый в мировое пространство. Это призыв, рассчитанный на отзвук, ответ, встречное движение.

Недаром Анненский признаётся, что такого *бездеятельного* пророка трудно было примирить «с образом писателя, который за 30 лет перед тем сам пострадал за интерес к фаланстере. Получалась какая-то двойственность»⁸⁹.

Что ж, может быть, двойственность действительно имела место. В пророке Достоевского брезжило несколько различных, не исключено — даже противоборствующих, смыслов. Эти

множественность, неоднозначность, неисчерпаемость (характерные для его собственного искусства) открывали простор столь же неоднозначным толкованиям.

Вечер, состоявшийся 19 октября, был повторен 26-го — в той же зале Кредитного общества. Его снова просили прочесть «Пророка» — и он читал дважды, на бис. Восторженные слушатели провожали его до подъезда. «На этот раз энтузиазм был колоссальный, — пишет Анна Григорьевна, — и Фёдор Михайлович был глубоко тронут таким могучим проявлением восторга нашей довольно холодной публики»⁹⁰.

Петербург с некоторым опозданием пытался догнать Москву.

Прощание с Гоголем

Между тем именно в эти осенние дни создаётся «Эпилог» «Братьев Карамазовых» (одновременно читаются и правятся корректуры отдельного издания). И автору волей-неволей приходится ограждать это главное своё дело от непомерных притязаний эстрады.

2 ноября он пишет Вейнбергу, что на прошлой неделе отказался читать на пяти вечерах. Поэтому никак не может согласиться участвовать в очередном чтении — на Бестужевских курсах. Иначе что скажут про него все остальные? «Ведь относительно их моё согласие читать для женских курсов будет подлостью». Если принять все приглашения, то в ноябре он был бы обязан явиться перед петербургскою публикой восемь раз. «Согласитесь, что это невозможно, скажут — это самолюбие, уверенное в себе чересчур уже слишком... Прибавлю ещё, что я, в настоящую минуту, не завален, а задавлен работой»⁹¹.

И всё-таки два раза в ноябре выступить ему пришлось: 21-го и 30-го. 21-го — снова в пользу Литературного фонда.

«Интерес этого чтения, — замечает «Новое время», — увеличивается ещё и тем обстоятельством, что г. Достоевский ещё никогда не читал Гоголя...»⁹²

Прошлое возвращалось. В эти последние недели его жизни смыкались начала и концы.

...В 1845 году, майским вечером, робея и дичась, он снёс Некрасову свою первую повесть «Бедные люди». Не в силах идти домой, отправился он затем к одному своему старому приятелю. «...Мы всю ночь проговорили с ним о «Мёртвых душах» и читали их,

в который раз — не помню. Тогда это бывало между молодёжью; сойдутся двое или трое: «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» Садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь»⁹³.

Теперь, в 1880 году, он читал Гоголя уже не в тесном дружеском кругу, а перед сотнями заполнивших зал слушателей. Как уже говорилось, он не любил исполнять с эстрады чужую прозу — для Гоголя делалось исключение.

Это было прощание.

Один из современников говорит так:

«На эстраду вышел небольшой сухонький мужичок, мужичок захудалый, из захудалой белорусской деревушки. Мужичок зачем-то был наряжен в длинный чёрный сюртук. Сильно поредевшие, но не поседевшие волосы аккуратно причёсаны над высоким выпуклым лбом. Жиденская бородка, жиденские усы, сухое угловатое лицо».

Он прочитал сцену между Собакевичем и Чичиковым — и прочитал, как свидетельствует тот же мемуарист, «чрезвычайно просто, по-писательски или по-читательски, но, во всяком случае, совсем не по-актёрски. Думаю, однако, — продолжает воспоминатель, — что ни один актёр не сумел бы так ярко оттенить внешнюю противоположность вкрадчиво-настойчивого Чичикова и непоколебимо-устойчивого Собакевича...»⁹⁴

Спустя несколько недель на Святках (за два дня до нового, 1881 года) он разговорится с В. Микулич. «Я сказала, — вспоминает его собеседница, — что жалею о том, что Гоголь не дожил до этого романа (до «Карамазовых»). Он порадовался бы тому, как хорошо Достоевский продолжает его, Гоголя... Кажется, это не очень понравилось Фёдору Михайловичу, и он сказал: «Вот вы как думаете?»»

Да, конечно: все мы вышли из гоголевской «Шинели». Но теперь-то, на исходе дней, после всего, что было им написано, он мог бы надеяться, что его не будут сопрягать с Гоголем столь непосредственным образом. Впрочем, подобное простодушие извинялось литературной неискущённостью его юной собеседницы...

Место в ряду великих

В эти последние дни он всё чаще задумывается над тем, что оставит он после себя, или, выражаясь более торжественно, — какое место займёт в истории отечественной словесности.

В разговоре своём с Микулич он ни словом не упомянул Тургенева. Но — не забыл о Лье Толстом: «Да, Толстой — это сила. И талант удивительный. Он не всё ещё сказал...»⁹⁵

Месяца за полтора до этого разговора Штакеншнейдер занесла в дневник: «С гордостью и радостью, которые меня даже и удивили и порадовали в то же время, рассказал он мне, что получил от Страхова в подарок письмо Л. Н. Толстого, в котором он пишет Страхову в самых восторженных выражениях о «Записках о Мёртвом доме» и называет это произведение единственным, и ставит его даже выше пушкинских»⁹⁶.

О реакции Достоевского на это письмо подробно докладывал Толстому сам Страхов: «Немножко его задело Ваше непочтение к Пушкину, которое тут же выражено («лучше всей нашей литературы, включая Пушкина»). «Как — *включая?*» — спросил он»⁹⁷.

Толстой соотнёс его имя с именем любимого им поэта — и как бы ни было приятно ему это обстоятельство, его поражает (почти пугает!) то, что автор «Войны и мира» дерзнул поставить «Записки из Мёртвого дома» выше произведений боготворимого им Пушкина. (Страхов, правда, тут же поспешил его успокоить, заметив, что Толстой и прежде был, а теперь особенно стал большим вольнодумцем.)

Всегда склонный скорее преуменьшать свои писательские заслуги, умалять своё значение именно как художника, он окидывает теперь взором всё пространство русской классики и пытается осознать — не для соблюдения «табели о рангах», а для себя самого, — что же он такое как писатель, реализовал ли он своё предназначение в этом мире, свой данный ему от Бога талант? И будет ли дорог будущим своим читателям, если таковые обнаружатся?

Пожалуй, он задумывается и над вопросом, который позднее сформулируют так: «Достоевский и мировая литература» (не забудем, что в это время — в отличие от Тургенева и Толстого — Запад с ним практически не знаком).

В. Микулич в упомянутом разговоре осмелилась задать своему собеседнику довольно рискованный вопрос: «Ну, а кого вы ставите выше: Бальзака или себя?»

«Достоевский, — говорит она, — не усмехнулся моей младенческой простоте и, подумав с секунду, сказал: “Каждый из нас дорог только в той мере, в какой он принёс в литературу что-нибудь своё, что-нибудь оригинальное. В этом — всё. А сравнивать нас я не могу. Думаю, что у каждого есть свои заслуги”»⁹⁸.

Это не дипломатический уход от прямого ответа. Ответ вполне искренен: подобная мысль высказывалась им неоднократно. Он ценит в писателе не только верность действительности, психологический или изобразительный дар, не только литературное мастерство как таковое. Он ставит выше всего *новое слово*: «В этом — всё».

Святочные гадания

Не следует, однако, думать, что в тот святочный вечер 1880 года (ему оставалось жить ровно месяц) он беседовал с юной Микулич исключительно об изящной словесности. Нет, их личное знакомство, начавшееся тогда и, увы, тогда же оборвавшееся (ибо больше они уже не встретятся), их знакомство состоялось на почве не вполне литературной.

В. Микулич, регулярно посещавшая Штакеншнейдеров, часто встречала у них Достоевского, но так и не осмеливалась к нему подойти (хотя Елена Андреевна и говорила своему гостю об её первых литературных опытах). Она не осмеливалась к нему подойти, несмотря на то что все прочие гости интересовали её в несравненно меньшей степени. До тех пор пока Достоевский не появлялся в гостиной, Микулич предпочитала обществу взрослых возню с маленьким Алёшей, племянником Елены Андреевны.

«Алёша, — вспоминает Микулич, — знал о моём пристрастии к Достоевскому и от времени до времени убегал к дверям гостиной и, спрятавшись за красной портьерой, высматривал гостей. Потом он возвращался ко мне и говорил: «Нет его; нет-с, извольте здесь оставаться» — или кричал: «Пришёл, пришёл, пришёл!..» Тогда Микулич тоже появлялась среди гостей «и, усевшись где-нибудь в уголочке, неподалёку от Достоевского, целый вечер смотрела на него и слушала его»⁹⁹.

...Этот декабрьский вечер проходил как обычно: что-то читали вслух, потом пили чай, разговаривали. Темы, очевидно, были не особенно захватывающие, ибо Достоевский с Еленой Андреевной, устроившись «на угольном диванчике», мирно играли в дурачка. Девицы (среди которых была и Микулич) чинно сидели в другом уголке, где некий господин, сведущий в хиромантии, занимался изучением их девичьих ладоней.

«Елена Андреевна издали поманила и позвала меня к себе:
«Пойдите к нам. Фёдор Михайлович хочет вам погадать».

Я покраснела и поблагодарила, говоря, что мне не о чем гадать.
«Я знаю, что через месяц я выйду замуж»».

Елена Андреевна, улыбаясь, заметила, что Достоевский может погадать Микулич об её будущей литературной судьбе. При этом она упомянула об эпизоде, на котором мы уже останавливались выше, — как родители одного юного поэта остались недовольны рекомендацией, данной Достоевским их сыну: чтобы хорошо писать, надо страдать.

« — Да, остались совсем недовольны, — подтвердил Достоевский, не переставая тасовать колоду. — Что ж, погадать вам?

— Нет, зачем, — сказала я. — Уж лучше я пострадаю.

Достоевский улыбнулся и переглянулся с Еленой Андреевной».

По поводу смеха

Он улыбнулся, говорит Микулич.

Представить Достоевского смеющимся, в отличие, например, от Пушкина, затруднительно — настолько однозначны все его внешние изображения. Ни на одной из его фотографий (не говоря уже о портрете Перова) нет и подобия улыбки. В нашем сознании прочно закрепился образ неулыбчивого, неизменно серьёзного, почти мрачного человека.

И всё же это не так. Он был не только тончайшим ироником в своих романах и в «Дневнике писателя», он прекрасно понимал и ценил шутку в жизни обыкновенной.

На одном из вечеров у Штакеншнейдеров две девушки тщетно просили его прочитать что-нибудь из его произведений. Убедившись в безуспешности их попыток, хозяйка дома заметила ему: «Что же, Фёдор Михайлович, тронетесь вы их просьбами? Взгляните:

Пред испанкой благородной
Двое рыцарей стоят...

Достоевский взглянул на смущённых девушек, усмехнулся и сказал: «Хороша испанка! Нечего сказать!»¹⁰⁰

Дмитрий Карамазов замечает о глубоко презируемом им Раки-тине («Семинаристе»): «Шуток тоже не понимают — вот что в них главное. Никогда не поймут шутки».

Отсутствие чувства юмора квалифицируется не только как черта сугубо индивидуальная, личностная: это ещё и знак, указующий на некую общую ущербность, некую мировую неполноценность. Мир, лишённый смеха, не есть целостный мир; он плоскостен и одномерен. Подлинно серьёзное не должно быть «слишком» серьёзным: в противном случае оно — неистинно.

Комизм бытия воспринимается Достоевским не менее остро, чем его трагизм.

«Бывали минуты, но очень редкие, — вспоминает В.П. Мещерский, — когда на Фёдора Михайловича находило особенно весёлое настроение духа. Тогда нечто, какая-то... складка на его лице придавала его умной физиономии что-то вопросительное, что-то менее сосредоточенное, что-то, если можно так выразиться, среднее между игривым и шаловливым. Обыкновенно тогда он бывал остроумен и любил увлекаться комическими и самыми невероятными фантастическими образами и загадками из сферы, однако, действительной жизни»¹⁰¹.

Он бывает в ударе не только тогда, когда говорит о вещах серьёзных, кровно его занимающих; он открыт для шутки, судя по всему, даже в тех случаях, когда речь идёт и о «заветных» его убеждениях. Настроение, выражаясь слогом князя Мещерского, «среднее между игривым и шаловливым» — это настроение способствует «игре ума», проявлению его бурной, но всегда целенаправленной («из сферы действительной жизни») фантазии.

Микулич, описывая любительский спектакль у Штакеншнейдеров (тот самый, на котором Достоевский в восторге кричал «Браво, Страхов! вызывать Страхова!»), продолжает: «Потом Дон-Жуан заколол Дон-Карлоса... Достоевский совсем развеселился. Когда на сцене выходило что-нибудь неловкое или когда плохо декламировали, он смеялся, как ребёнок, чуть не до слёз»¹⁰².

Справедливо замечено, что сущность человека нередко проявляется в том, как он смеётся. Автор «Преступления и наказания» смеётся откровенно, открыто, от души — «как ребёнок».

У него в жизни случилось не так уж много поводов для смеха.

Он улыбнулся, говорит Микулич, в ответ на выраженную ею готовность «пострадать». Он улыбнулся, хотя речь шла о предмете весьма для него серьёзном: готовность к страданию и само страдание играют в его «системе» исключительную роль.

Каторга как педагогическое средство

Нет, мы вовсе не собираемся повторять известные («мировые») банальности о «русском де Саде», о садомазохистских началах его художественного метода. Эти увлекательные сюжеты вызывают в последнее время не столь большой интерес. Между тем совет «пострадать» даёт автором «Записок из Мёртвого дома» вовсе не ради красного словца.

Страдание для Достоевского — момент не только очищающий (катарсический), но — *созидательный*, момент, без которого мир утрачивает свою естественную целокупность и глубину.

Счастье покупается страданием: это цена. Да и сам человек может ощутить свою полноту, только пройдя через страдание. Страдание созидательно именно потому, что оно делает из человека — личность, сближает его со всем остальным страждущим миром. «Самовыработка», «самоодоление», иными словами, самовоспитание — немислимы без тяжёлой духовной борьбы.

Страдание духовно по своей природе. Как справедливо замечено, не существует абсолютного противоборства между духом и плотью: это в конечном счёте схватка между духом и духом.

В своих воспоминаниях Д.И. Стахеев приводит следующий эпизод.

Однажды Достоевский зашёл к автору воспоминаний (последний, как помним, жил в одной квартире со Страховым), когда у них сидел Владимир Соловьёв. «Фёдор Михайлович был в мирном настроении, говорил тихим тоном и с большою медлительностью произносил слово за словом, что... всегда замечалось в нём в первые дни после припадка... Владимир Сергеевич что-то рассказывал, Фёдор Михайлович слушал не возражая, но потом придвинул своё кресло к креслу, на котором сидел Соловьёв, и, положив ему на плечо руку, сказал:

— Ах, Владимир Сергеевич! Какой ты, смотрю я, хороший человек...

— Благодарю вас, Фёдор Михайлович, за похвалу...

— Погоди благодарить, погоди, — возразил Достоевский, — я ещё не всё сказал. Я добавлю к своей похвале, что надо бы тебя года на три в каторжную работу...

— Господи! За что же?

— А вот за то, что ты ещё недостаточно хорош: тогда-то, после каторги, ты был бы совсем прекрасный и чистый христианин».

Можно ли вполне доверять свидетельству Стахеева? Обращение Достоевского к Соловьёву на «ты» режет слух: они никогда не были так коротки. Что же касается самого приводимого диалога, он не кажется столь уж неправдоподобным.

«Соловьёв засмеялся, — завершает сцену Стахеев, — и не возражал»¹⁰³, расценив слова Достоевского как шутку.

Конечно, шутка; однако шутка, следует признать, не очень весёлая.

Может быть, блестящий и холодноватый ум Владимира Соловьёва, его приверженность к отвлечённой диалектической игре, особенности его мирозерцания, не всегда согретого живым сердечным чувством, — может быть, всё это — при несомненных симпатиях Достоевского к молодому философу — внушало ему некоторые опасения? (Вспомним восклицание Анны Григорьевны, что Владимир Соловьёв — прототип не Алёши, а Ивана Карамазова.) Не желал ли собеседник Соловьёва намекнуть последнему, что, как бы сами по себе ни были хороши тонкие философские умствования, они обретают совсем иной смысл и совсем иную меру, если подкреплены личным страданием, тяжким опытом души?

Приведённый Стахеевым случай следует сопоставить с ещё одним сюжетом.

Е.П. Леткова-Султанова рассказывает, что осенью 1880 года в среде студенческой молодёжи то и дело поминалось имя Достоевского.

«Когда кто-то попытался напомнить товарищам, — говорит мемуаристка, — о значении Достоевского как великого художника, с его скорбной любовью к человеку и великим состраданием к нему, это вызвало такие резкие споры и пламенные раздоры, что пришлось перевести разговор на страшные переживания Достоевского, на каторгу, перестраданную им. Кто-то закричал:

— Это всё зачёркнуто его же заявлением: Николай Первый должен был так поступить... Если бы не царь, то народ осудил бы петрашевцев!»¹⁰⁴

«Такого высказывания, — лаконически замечает комментатор этих воспоминаний, — ни в «Дневнике», ни в письмах Достоевского не содержится»¹⁰⁵.

Действительно, в текстах самого Достоевского подобных утверждений нет. Тем не менее можно указать достаточно авторитетные источники, где подобные высказывания зафиксированы.

14 февраля 1881 года состоялось заседание Славянского благотворительного общества, посвящённое памяти Достоевского. В своей речи Аполлон Николаевич Майков (речь эта была прочитана О.Ф. Миллером) поведал присутствующим следующий примечательный «анекдот».

Некто (Майков именует его старым приятелем Достоевского) встретил автора «Записок из Мёртвого дома» после возвращения последнего с каторги.

« — Какое, однако, несправедливое дело было эта ваша ссылка, — заметил вышеуказанный приятель.

— Нет, — коротко, как всегда, обрезывает Достоевский, — нет, справедливое. Нас бы осудил русский народ (почти дословное совпадение с текстом Летковой-Султановой. — *И. В.*). Это я почувствовал там только, в каторге. И почём вы знаете, — может быть, там наверху, то есть Самому Высшему, нужно было меня привести в каторгу, чтоб я там что-нибудь узнал, т. е. узнал самое главное, без чего нельзя жить, иначе люди съедят друг друга, с их материальным развитием...»

Мысль вполне для Достоевского закономерная: народу нет дела до фаланстеров, до фурыеристских утопий, он усматривает во всём этом лишь «барскую затею». Каторга, испытание болью открывает путь к «главному». И это «главное» по сути своей — духовно. (В разговоре с Владимиром Соловьёвым подразумевался, по-видимому, именно такой духовный урок.)

Майков заканчивает свой «анекдот» тем, что знакомый Достоевского отходит от него «с искреннейшим сожалением, качая головою»:

«— Экая жалость, экая жалость!

— Что такое? — осведомляются окружающие.

— Да вот, Достоевский — совсем сумасшедший. Бог знает какой мистицизм несёт»¹⁰⁶.

Собеседник Достоевского предвосхитил то обвинение, которое вскоре так полюбит отечественным критикам. Пройдут

годы, и «Братья Карамазовы» тоже будут объявлены «мистико-аскетическим романом».

Свидетельство Майкова было впервые обнаружено в аксаковской газете «Русь». При этом издатель «Руси» снабдил майковский «анекдот» следующим примечанием.

Однажды, пишет И.С. Аксаков, проезжая через Москву, Достоевский «зашёл к нам и с увлечением разговорился о покойном государе Николае Павловиче». Во время беседы к Аксакову явился известный английский путешественник Уоллес Мэкензи, хорошо знающий русский язык и знакомый с русской литературой. Убедившись, что перед ним Достоевский, Мэкензи «загорелся любопытством и с жадностью стал слушать прерванную было и снова возобновившуюся речь Фёдора Михайловича о Николае Павловиче». Достоевский вскоре уехал. «— Вы говорите, что это Достоевский? — спросил нас англичанин. — Да. — Автор «Мёртвого дома»? — Именно он. — Не может быть. Ведь он был сослан на каторгу? — Был. Ну, что же? — Да как же он может хвалить человека, сославшего его на каторгу? — Вам, иностранцам, это трудно понять, — отвечали мы, — а нам это понятно, как черта вполне национальная»¹⁰⁷.

И.С. Аксаков ответил заморскому гостю как истинный славянофил. Думается, однако, что в данном случае для Достоевского была важна не столько славянофильская трактовка взаимоотношений русского государя с его подданными, сколько то обстоятельство, что император выступил в качестве «орудия провидения»: исполнив, так сказать, волю рока, замысел самой судьбы.

Но вот вопрос: откуда дискутирующим о Достоевском студентам стали известны все эти подробности? Ведь и речь Майкова, и примечание к ней Аксакова были опубликованы уже после смерти Достоевского, а упомянутые споры, согласно Летковой-Султановой, ведутся ещё при его жизни?

Тут скорее всего мы имеем дело с ошибкой памяти. Очевидно, Леткова-Султанова имела в виду пересуды, связанные с публикацией майковской речи в газете «Русь» весной 1881 года, но невольно сдвинула хронологию к осени 1880 года.

Вернёмся, однако, к последним дням этого года — к знакомству Достоевского с Микулич.

Умные беседы за игрой в дурачки

Их литературной беседе предшествовало занятие не вполне литературное: они уселись играть в дурачки.

«Играл он, как и следовало ожидать, не как все люди, а по-своему. Он принимал и принимал всё, чем бы я ни пошла, и набрал такое множество карт, что едва держал их в руке».

Они играли долго, и он, хмурясь, приговаривал: «Но уж если только вы меня обыграете, я вам этого не прощу, веки не прощу». Он кашлял. Его партнёрша была простужена и тоже покашливала. Он заметил: «Вот мы с вами сидим да кашляем, а они вон, счастливые, не кашляют. Только ваш-то кашель пройдёт, а уже мой не пройдёт. Не дай вам Бог такого кашля!» — «Но ведь вас же лечат?» — «Лечить-то лечат, да ведь не всё и вылечишь. Ну-с, вам ходить».

Затем, уже после игры, рассматривая её «довольно бесцеремонно и внимательно», он спрашивал: «А вы капризны?» — «Вы непостоянны?» — «Вы добры? великодушны?» — «А вы набожны? Вы много молитесь? Как вы молитесь?» — «А зло помните? Или прощаете? Как вы прощаете?..»

Он не «ведёт речь обиняком», не прощупывает осторожно незнакомого ему собеседника, он ставит свои «вопросные пункты» прямо (слишком прямо), и ответить на них откровенно очень непросто. Но, может быть, это и занимает его: какотреагирует застигнутый врасплох вопрошаемый, какова будет его не подготовленная заранее самооценка. При этом вопрошающего интересует не второстепенное, а главное, глубинное, относящееся к сути.

«Я ещё мало себя знала, — говорит Микулич, — да никогда об этом и не думала, но старалась отвечать как можно правдивее и короче».

«Ну, не знаю, как дальше, — сказал Достоевский, — а на первый раз вы производите самое приятное впечатление». Он простился с ней дружески, промолвив: «Будьте здоровы»¹⁰⁸ (Анна Григорьевна замечает, что он не любил, когда ему говорили «прощайте», и всегда отвечал: зачем «прощайте», лучше — «до свидания»¹⁰⁹), пожал ей руку и между прочим осведомился, когда её свадьба. «Я не сразу и вспомнила: «Свадьба?.. В январе, 30-го января».

— Ну, дай вам Бог!..

И он отошёл к Страхову, который сонно сидел, скучая без собеседника...»¹¹⁰

30 января (день её свадьбы) гроб с телом Достоевского стоял в его квартире в Кузнечном переулке.

Овации под занавес

В конце 1880 года люди, видевшие Достоевского, не предполагали, что они видят его, может быть, в последний раз.

30 ноября в зале Кредитного общества он читает в пользу недостаточных студентов Петербургского университета (чистый сбор от этого вечера превысит 1800 рублей). Как помним, его сестра Варвара Михайловна сообщила ему, что читала в «Современных известиях» «восторженную похвалу» какому-то из его выступлений. Полагаем, что она имела в виду следующий текст:

«Вечер открылся чтением нашего талантливого романиста-психолога, уважаемого Фёдора Михайловича Достоевского. Трудно и даже невозможно передать словами впечатление, произведённое на публику мастерски-художественным, живым чтением романиста эпилога из своих «Карамазовых». То стоны и вопли, то слёзы радости, то страшная ненависть и христианское смирение, то, наконец, искреннее раскаяние слышались в голосе лектора, сумевшего неподражаемо передать всё психологическое движение человека. Нечего, конечно, и говорить о том, что г. Достоевский удостоился самых шумных оваций; ему поднесли лавровый венок...»¹¹¹

В первых числах декабря он получает письмо от неугомонного Вейнберга: тот пишет, что Достоевского «буквально умоляют» принять участие в вечере в пользу Бестужевских курсов, «так как без Вас он положительно немислим в смысле сбора». Свою просьбу Вейнберг подкреплял поэтически (начало его стихотворения уже приводилось выше: см. с. 222):

...Об этом

Я вам писал уже, горя
Надеждой вас привлечь. Ответом
Мне было: раньше декабря
Никак нельзя. И вот я снова
Мольбы к Вам обращаю слово!¹¹²

14 декабря он выступил перед бестужевками. В первом отделении он прочитал «Пророка», а его собственный рассказ «Мальчик у Христа на ёлке» почему-то прозвучал в исполнении Григоровича (странно, что автор доверил свой текст другому). Во втором отделении он вместе с тем же Григоровичем прочитал сцену из гоголевской «Женитьбы» (причём принял на себя роль Подколесина, а Григорович — Кочкарёва).

Да, всё замыкалось, и концы сходились с концами. С Григоровичем они познакомились ещё в Инженерном училище. В 1845 году они жили некоторое время под одной крышей — в доме на углу Владимирской и Графского переулка. Сосед Григоровича по квартире писал тогда своих «Бедных людей». Просиживая дни и ночи у себя в комнате, он, как вспоминал через сорок с лишним лет его сожитель, «слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать». Тем не менее именно Григорович стал первым слушателем первой повести Достоевского (« — Садись-ка, Григорович; вчера только что переписал; хочешь прочесть тебе; садись и не перебивай, — сказал он с необычною живостью»)¹¹³.

Позднее они никогда не будут особенно близки — ни в личном, ни в литературном отношении. (Однажды, без малейших, впрочем, оснований, Достоевский приревновал Анну Григорьевну к представительному, барственному, светски-обходительному «французу» — мать Дмитрия Васильевича была француженкой.) И вот теперь, незадолго до конца, судьбе было угодно вновь свети двух приятелей юности: возможно, в последний раз.

И.И. Попов вспоминает:

«...поздней осенью, когда воздух Петербурга был пропитан туманной сыростью, на Владимирской улице я... встретил Ф.М. Достоевского вместе с Д.В. Григоровичем... Контраст между обоими писателями был большой: Григорович, высокий, белый как лунь, с молодежавым цветом лица, был одет изящно, ступал твёрдо, держался прямо и высоко нёс свою красивую голову в мягкой шляпе. Достоевский шёл сгорбившись, с приподнятым воротником пальто, в круглой суконной шапке, ноги, обутые в высокие галоши, он волочил, тяжело опираясь на зонтик...

Я смотрел им вслед. У меня мелькнула мысль, что Григорович переживёт Достоевского»¹¹⁴. (Попов оказался прав: Григорович умрёт почти девятнадцатью годами позже.)

14 декабря они, не ведая своих сроков, стояли на сцене Благородного собрания. Они произносили текст того самого писателя, который был кумиром их общей молодости.

«Женитьба» — пьеса комическая. Достоевский (мечтавший, как помним, сыграть Отелло) в роли Подколесина был, очевидно, забавен.

Это было его последнее появление перед широкой публикой.

В последние месяцы 1880 года он не избегает и великосветских салонов. Летковой-Султановой довелось как-то наблюдать его в этой обстановке.

Литература в высшем свете

В ярко освещённой зале (наполненной «нарядными дамами и блестящими мундирами») он стоял во фраке («слишком широком») «и слушал с напряжённым вниманием высокую стройную девушку, немного склонившуюся к нему, так как он был значительно ниже её». Он показался Летковой-Султановой «ещё меньше, худее и бледнее, чем прежде. И так захотелось увести его отсюда, — продолжает достаточно враждебная этому миру воспоминательница, — от всех этих ликующих людей, которым, думалось мне, не было никакого дела ни до литературы вообще, ни до Достоевского в частности. Но сам Фёдор Михайлович, очевидно, чувствовал себя вполне хорошо; к нему подходили единомышленники (которых здесь было большинство), жали ему руки; дамы, всегда заискивающие у «знаменитостей», говорили ему любезности, хозяйка не скрывала своей радости, что у неё в салоне — сам Достоевский».

«...Я была поражена, — говорит Леткова-Султанова, — его страдальческим видом, может быть, оттого, что обстановка, в которой я встретила его, была необычайно праздничная».

Да, он чувствует себя «вполне хорошо», но сторонняя наблюдательница (она попала в этот дом в общем-то случайно) ощущает его человеком не отсюда, не от мира сего (именно не от *этого* мира): «Фёдор Михайлович спокойно, с достоинством слушал, кланялся, болезненно улыбался и точно всё время думал о другом, точно все хвалебные и льстивые речи шли мимо него, а внутри шла какая-то своя большая работа»¹¹⁵.

Этот мир чужд ему не только в силу его собственного социального положения и житейских привычек, он чужд ему ещё и как

писателю: недаром (не без иронии замечает Штакеншнейдер) «знакомство с большим светом всё-таки не научит его рисовать аристократические типы и сцены, и дальше генеральши Ставриной в «Бесах», он, верно, в этом отношении не пойдёт...»¹¹⁶

То, что двадцатичетырёхлетняя курсистка (и будущая писательница) наблюдала в доме маркизы Паулуччи, не было светским успехом Достоевского, вернее, не было успехом преимущественно светским. Само появление автора «Карамазовых» в высшем свете, в гостиных петербургской аристократии — лишь отголосок того стихийного, «низового» признания, которое в последние два-три года подняло его на самый гребень общественной волны. Он — *в моде*. И высший свет, как всегда, чутко реагирует на эту очередную моду, не подозревая о том, что силою обстоятельств он вынужден рассматривать предмет своей благосклонности именно *в высшем свете*, что на сей раз внимают не переменчивому настроению минуты, а уже осязаемому дыханию вечности.

Русский парадокс

В своём дневнике Штакеншнейдер размышляет о причинах столь неожиданной популярности. Она вспоминает, как «лет двадцать тому назад», когда в Петербурге впервые стали устраиваться литературные вечера, Шевченко, например (он только что получил разрешение жить в Петербурге), «оглушали рукоплесканиями и самыми восторженными овациями, однажды довели его ими до обморока. Достоевскому же не выпадало на долю ничего! Его едва замечали и хлопали заурядно, как всем, меньше, чем всем»¹¹⁷.

Автор дневника решительно не согласен с теми, кто склонен нынешнюю славу Достоевского приписать его каторге. Ведь тогда, в начале 60-х годов, он только-только вернулся из Сибири, он уже был автором «Униженных и оскорблённых» (а чуть позже — и «Записок из Мёртвого дома»), но публика тем не менее оставалась холодна.

«Тогда, — подтверждает эти наблюдения П.Д. Боборыкин, — автор «Карамазовых» хоть и стоял высоко как писатель... но отнюдь не играл роли какого-то праведника и вероучителя, как в последние годы своей жизни»¹¹⁸.

Елена Андреевна полагает — всё дело в том, что у Достоевского не было тогда своей «партии» в университете. Но резонно спро-

силь: разве сейчас, в 1880 году, среди публики появилось нечто такое, что можно было бы именовать «партией Достоевского»? Увы, такой «партии» нет. Ему рукоплещут и к нему прислушиваются люди самых различных, часто диаметрально противоположных убеждений.

Славу Достоевскому, продолжает Штакеншнейдер, принесли не каторга и даже не его романы, «по крайней мере не главным образом они», а «Дневник писателя». Именно «Дневник» «сделал его имя известным всей России, сделал его учителем и кумиром молодёжи, да и не одной молодёжи, а всех, мучимых вопросами, которые Гейне назвал проклятыми»¹¹⁹.

Здесь Елена Андреевна высказывает удивительную истину.

В самом деле: ни один из романов Достоевского не вызвал такого осязаемого общественного резонанса, такого живого и непосредственного читательского отклика, как формально «нехудожественный» публицистический «Дневник писателя». Только после того, как автор «Преступления и наказания» поставил себя в *прямые* отношения с читающей Россией, только после того, как он заговорил с ней *от первого лица* и попытался разрушить вечную преграду, отделяющую писателя от читателя, — только тогда, неожиданно для себя самого, он оказался в фокусе жгучего общественного интереса.

Очевидно, мы имеем дело с одним из интереснейших парадоксов русского общественного сознания.

Трёх российским гениям — Гоголю, Достоевскому, Толстому — в какой-то момент становится *мало* одной литературы. Они вдруг начинают стремиться к тому, чем писатель как будто бы вовсе не обязан заниматься: они желают установить новое соотношение между искусством и действительностью. Они жаждут воссоединить течение обыденной жизни с её идеальным смыслом, сделать этот смысл мировой поведенческой нормой. Иначе — придать самой действительности новый *образ*. «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, публицистика позднего Толстого и, наконец, «Дневник писателя» — всё это (в разной, разумеется, мере) и есть реализация этого неодолимого стремления.

Это прорыв к читателю — «сквозь» литературу.

Для Гоголя, а затем для Толстого и Достоевского самым главным становится то, что, как они полагают, «больше» литературы: *жизнетворчество*. Их высшая цель — изменение самого состава жизни, новое жизнеустройство.

Аудитория 1880 года воспринимала Достоевского в качестве человека, принявшего на себя эту вселенскую миссию. «Учительское» (и, если угодно, «пророческое») обладало в глазах этой аудитории большей значимостью, нежели «чисто писательское». Правда, поклонники Достоевского вряд ли сумели бы исчерпывающе ясно сформулировать, чему же, собственно, хочет научить их автор Пушкинской речи (будущим последователям Толстого ответить на аналогичный вопрос значительно легче). Но они, слушатели и зрители, отчётливо различали «указующий перст, страстно поднятый». Причём — и это очень существенно — перст, направленный не к промежуточным, а к конечным, отдалённейшим мировым целям, к той запредельности, где, по известному пророчеству (не случайно вспоминаемому Иваном Карамазовым в его разговоре с Алёшей), волк должен был возлечь рядом с ягнёнком. Достоевский как бы воплощал в себе то идеальное мировое начало, на которое столь отзывчивы сокровенные струны русского национального духа. Его порыв к мировому совершенству не мог не вызвать ответной волны — искренней, горячей, благодарной.

«Дешевле не примиримся»

В первых числах января 1881 года Орест Миллер писал в газете «Неделя»: «Кого, наконец, — если обратиться не к профессорам, а к писателям — продолжает особенно любить молодёжь, как не Ф.М. Достоевского, несмотря на то, что его давно преследует ярою бранью значительная часть так называемой либеральной прессы. Молодёжь (по крайней мере у нас здесь) продолжает буквально *носить Достоевского на руках*, как это недавно произошло на вечере у студентов-технологов, произносивших при этом из его Пушкинской речи: «Дешевле не примиримся»...»

«Дешевле не примиримся» — *обращённая на себя* цитата: «Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится...»

«Он», — говорил Достоевский. «Мы», — отвечали ему его современники, как бы игнорируя тончайшую самоиронию, заключённую в этом пассаже. Счастье (подлинное счастье) не может быть, по их представлению, ни личным, ни даже «национальным»: только «всемирным».

Как и Штакеншнейдер, О. Миллер размышляет о причинах поздних триумфов Достоевского: «...это объясняется не столько силой его дарования, сколько качествами его характера: способностью говорить всегда откровенно и по всем направлениям смело, не заботясь о том, что об этом скажут. Молодёжь приветствует чутким сердцем всё прямое и непоклонливое и брезгливо сторонится от всего вилявого и межеумочного, обессиленного и обезличенного девизом: «и нашим, и вашим». Наша пресса, — добавляет О. Миллер, — мало обращает на это внимание: напротив, она по большей части умалчивает даже о таких фактах, как совершенно выдающиеся овации Достоевскому всякий раз, что он выступает публично, — овации, в которых всего более участвует учащаяся молодёжь»¹²⁰.

Эти «совершенно выдающиеся овации» отмечаются почти всеми современниками: они сильно поразили их воображение. «И вдруг, — вспоминает чрезвычайно плодовитый, но от этого не избежавший забвения писатель А.В. Круглов, — опальный Достоевский, которого травило «Дело» с нахальством и грубостью хитровца, сделался общим кумиром, его имя стало произноситься с благоговением»¹²¹.

В чём причина подобных метаморфоз?

За несколько месяцев до царевбийства 1 марта, в канун ещё никем не предчувствуемой — почти четвертьвековой — эпохи политического безвременья, в России нашёлся человек, верящий в такое историческое решение, которое могло бы отвратить кровавую развязку (последняя неизбежно воспоследовала бы в результате победы любой из противоборствующих сил). Этот *намёк*, это дуновение призрачной, но жгучей надежды властно привлекало к автору Пушкинской речи смятенные умы и сердца. То, к чему «клонил» Достоевский, обреталось далеко за пределами обыденной жизни, сама обыденность которой, казалось, не оставляла никаких иллюзий. Но чем неосуществимее идеал, тем могущественнее его завораживающая сила.

Внутренняя духовная «революция» противопоставлялась Достоевским революции политической — как альтернатива. Однако в такой же степени она являлась альтернативой и политической реакции.

В речи А.Н. Майкова, посвящённой памяти Достоевского, сказано: «После кликов, рукоплесканий и венков, которыми удоставляли его на публичных чтениях, опять он говаривал: “Да, да, всё это хорошо, да всё-таки главного не понимают!”»¹²²

Что же было главным?

Когда он писал, что «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной», он предупреждал не об одной, а о двух смертельных опасностях. Ибо для него любая развязка, не совпадающая с решением нравственным, чревата грозными и непредсказуемыми последствиями. Террор «сверху» ничуть не лучше террора «снизу»: торжество любой из этих крайностей означает падение и гибель. Он в одинаковой степени страшился этих двух бездн; он горячо верил, что у России достанет сил пройти по самому краю пропасти, не сорвавшись в зияющую пустоту. Нравственный выбор должен был, по его мысли, стать выбором историческим.

Боль страны отзывалась в нём. Может быть, именно потому так высок был его моральный авторитет.

В своих воспоминаниях А.В. Круглов приводит следующий эпизод:

«Я шёл по Невскому с медиком. Навстречу нам попался на извозчике Достоевский. Медик быстро, раньше меня, снял фуражку.

— Вы разве знаете Фёдора Михайловича? — спросил я.

— Нет, но что же такое? Я не *поклонился* ему, а обнажил голову перед ним, как я это сделал и в Москве, проходя мимо памятника Пушкину»¹²³.

Он дожил и до этого. Незнакомые люди приветствовали его на улице (как позднее — Толстого): в их глазах он был достоин национальным. Но сам он, занимающий столь многие умы, окружённый всеобщим вниманием, почти поклонением, сам он по-прежнему одинок.

30 октября ему исполнилось 59 лет.

В Петербурге жить и умереть

26 ноября Анна Григорьевна пишет его брату Андрею Михайловичу: «...благодарю Вас от всего сердца, что вы вспомнили день рождения Фёдора Михайловича. Он был очень доволен, получив Ваше письмо: из всех его родственников только Вы и Ваши дети поздравили его в этот день». Никто из других многочисленных его родных «даже письмом не подумали об нём вспомнить, и это видимо огорчило Фёдора Михайловича».

Его последний день рождения прошёл незамеченным — даже в родственном кругу.

В том же письме Анна Григорьевна жалуется на «адскую работу» по читке корректур отдельного издания «Карамазовых», говорит о семейных неубывающих хлопотах. «А там подписка на «Дневник»... а там издание «Дневника» и т. д., бесконечная и невозможная работа, а что грустно — что и в результате ничего не видно. Как ни бейся, как ни трудись, сколько ни получай, а всё при здешней дороговизне уходит на жизнь, и ничего-то себе не отложишь и не сбережёшь на старость... Право, я хочу уговорить Фёдора Михайловича переехать куда-нибудь в деревню: меньше заработаем, зато и меньше проживать будем, да и работать меньше придётся, жизнь пригляднее станет, в отчаяние не будешь приходить, как теперь»¹²⁴.

...Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег...

Покинуть Петербург, уехать в деревню, освободиться от тягостных придворных и светских уз — таково заветное желание Пушкина, неосуществившаяся мечта его последних лет. Проекты эти не вызывали особого энтузиазма у его молодой супруги. Анна Григорьевна, напротив, сама готова проявить инициативу — и отправиться в миротворящую деревенскую глушь.

Но вот вопрос: смог бы Достоевский исполнить это — очевидно, всерьёз занимавшее их обоих — намерение? Достало бы у него сил, а главное — желания решиться на подобный шаг?

Он, с головой погружённый в текущее, в «злобу дня», готовый немедленно отозваться на неё — и в своих романах, и в «Дневнике писателя»; он, только что вышедший из своего разночинного, «углового», достаточно уединенного мира на путь позднего и столь волнующего его признания; он, вхожий в салоны высшего света и даже в Аничков; наконец, он, собравшийся вновь ринуться в бурные перипетии журнальной борьбы, — смог бы он удовлетвориться завидной участью олимпийца, эдакого мелкопоместного российского Цинцинната?

Вообразить это очень нелегко. Известно, что поэты рождаются в провинции, а умирают в Париже.

Правда, некоторым современникам являлись порой мысли, весьма схожие с теми, кои высказывала Анна Григорьевна. 5 октября 1880 года П.Д. Голохвастов (историк и литератор)

писал Страхову: «Каким чудом живёт Достоевский в Петербурге? Как он выносит Петербург? Как его не тянет — если уж нельзя в деревню — так в Москву, в Россию всё-таки?..»¹²⁵

И всё же Анна Григорьевна и Голохвастов имеют в виду существенно различные вещи.

Для Анны Григорьевны отъезд в деревню есть не *опрощение* (в нравственно-философском смысле), а — *упрощение*: упрощение жизни. Это не какой-то символический уход (вспомним Толстого) и тем более — не *исход*, а самый обыкновенный, житейскими соображениями оправданный переезд.

Голохвастов понимает совсем иное.

Для него пребывание автора «Карамазовых» в Петербурге — вещь противоестественная: прежде всего по причинам идеологического порядка. Петербург, этот, по выражению Достоевского, «самый умышленный город на земле», не есть Россия. Это — град императорский, официальный, торжественно-холодный: «дух неволи, стройный вид» — по слову Пушкина. Или — по позднейшему слову Иннокентия Анненского:

Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-жёлтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.

Петербург — воплощение духа европеизма, всего того внешнего, искусственного, «механического», что было заимствовано у Запада. В нём — раздолье для «идей, попавших на улицу»; это — царство «человеков из бумажки». Восставший «из топи блат», он как бы висит в воздухе; он — почти в буквальном смысле — оторван *от почвы*.

Достоевскому, очевидно, здесь не место.

Но мыслимо ли представить «самого петербургского» писателя без города Петербурга? Могли бы возникнуть в тиши сельского уединения «Бедные люди», «Униженные и оскорблённые», «Записки из подполья», не говоря уже о «Преступлении и наказании»? Сумел бы их автор, сидя в деревне, издавать «Дневник писателя»? Достоевский лучше знал, где ему жить. И — где умереть.

Глава XIX

1881 ГОД, ЯНВАРЬ

Чудеса в политической экономии

Накануне нового, 1881 года «Петербургская газета» решила поделиться с читателями своими ироническими предположениями.

«Разнёсся внезапно слух, — писала газета, — о предстоящих значительных и крутых переменах в персонале печати...» Ожидается даже, что будет обнародована «новая табель о рангах по части журналистики...» Далее исчислялись возможные «переименования, повышения и понижения»: разумеется, с расчётом на читателя осведомлённого.

«Ф.М. Достоевский, — писала газета, — переименован в лейб-медики за психиатрические исследования и терапевтические достоинства последнего своего произведения «Братья Карамазовы». В сравнении с той бранью, которая раздавалась по его адресу летом, шутка выглядела безобидной.

Не были обойдены вниманием и другие литераторы. «Так, статский советник Михаил Никифорович Катков, — продолжала шутить газета, — будет, говорят, произведён в чин полного генерала от публицистики, с увольнением в отставку... Задвор-

ный советник, г. Цитович, временно исправляющий береговую службу, отставляется за неудовлетворительностью с назначением в комитет раненых»¹.

Иносказание было достаточно прозрачным. Газета Цитовича «Берег» — петербургский подголосок «Московских ведомостей», бесславно оканчивала своё — не превысившее года — существование. Что же касается самого Михаила Никифоровича, то об его «отставке» (даже почётной) пока не могло быть и речи. Тем не менее в связи с общим «размягчением» внутренней политики журнальные акции «московского громовержца» расценивались невысоко.

Если шансы «полного генерала от публицистики» продолжали падать, то, напротив, акции другого генерала (от кавалерии) — Лорис-Меликова — росли с каждым днём.

Покушения не возобновлялись; крестьянские волнения шли на убыль; общество, склонное считать недавние казни — последними, несколько приободрилось. Толки о грядущих вскоре реформах обретали всё большую важность.

Страна жила на пороге решающих событий: многим думалось — не менее значительных, чем преобразования 60-х годов.

Граф Михаил Тариелович не бежал популярности. Он уже не мог удовольствоваться благорасположением одного лишь образованного общества. Он жаждал и некоторой признательности со стороны «низов». Успешнее всего подобной цели можно было достигнуть отменой столь ненавистного народу налога на соль. Правда, казна теряла при этом от семи до четырнадцати миллионов. Но политические выгоды, проистекающие от подобной меры, по мнению министра внутренних дел, намного превышали потери вещественные. «Такая новая милость, — писал он во всеподданнейшем докладе Александру II, — возвещённая с высоты престола, будет встречена искренно неподдельною признательностью со стороны всех сословий и состояний и упрочит союз царя с народом».

О союзе царя с народом толкует в своём последнем «Дневнике» и Достоевский. Однако он вовсе не убеждён, что вышеуказанный союз должен зиждиться на принципах экономической благодарности. «Царь — отец, народ — дети» — и если действительно так, то подобная *родственная* связь не подкрепляется рублём: она стоит на совсем иных, нравственных основаниях.

23 ноября государь, поколебавшись, подписал указ об отмене соляного налога: «Желая в тяжкую годину неурожая... явить вве-

ренному Нам Божественным Промыслом народу Нашему новое доказательство наших забот о его благосостоянии, Мы признали за благо отменить акциз, взимаемый с соли, с 1 января 1881 года и соразмерно уменьшить таможенную пошлину с соли, привозимой из-за границы»².

Противники Лорис-Меликова упрекали его за ущерб, нанесённый государственным финансам. В последней записной книжке Достоевский тоже касается этого вопроса.

«Облегчить народ, например, уничтожением налога на соль, — записывает он. — Где взять денег? Для этого непременно и неотложно обложить налогом высшие богатые классы и тем снять тягости с бедного класса»³.

Разумеется, в царском указе не содержалось и намёка на столь радикальные меры. С другой стороны, обострение в столице продовольственного вопроса, непрерывное возвышение хлебных розничных цен (что ударило в первую очередь по неимущим) — всё это вынудило правительство решиться на довольно-таки необычные шаги.

В конце октября Лорис-Меликов призвал к себе крупнейших петербургских хлеботорговцев и стал убеждать их несколько сбавить цены. Купцы, натурально, не поддавались, сетуя на неурожай. Тогда граф объявил, что если доселе он беседовал с призванными в качестве министра внутренних дел, то отныне он будет говорить как шеф жандармов, в чьи обязанности входит предупреждать могущие возникнуть из-за дороговизны народные волнения. Хлеботорговцам был предъявлен ультиматум: если в течение двадцати четырёх часов они не спустят цены, то виновные будут высланы из столицы.

Эта чисто русская угроза возымела действие: цена ржаного печёного хлеба немедленно упала с пяти до четырех копеек за фунт*.

В последнем «Дневнике писателя» Достоевский тоже рассуждает о проблемах экономических. Он предупреждает, однако, что его «окончательный вывод» может вызвать смех у не подготовленного к таким парадоксам читателя. Тем не менее вывод излагается:

* «По продовольственной части, — с неудовольствием записывает в своём дневнике П. А. Валуев, — распоряжения Лорис-Меликова — на уровне чина поручика, если не корнета. Он говорил здешним главным хлеботорговцам в тоне паши, угрожал высылкою, упоминал, как сказывают, о Мурманском берегу...»⁴

«Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, издевавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней — и получишь финансы».

Призыв к «оздоровлению корней» — лейтмотив последнего «Дневника». Ни отмена соляного налога, ни «ожидаемая великая реформа податной системы» и никакие другие экономические усовершенствования не способны, по мнению Достоевского, вывести нацию из тупика. Всё это — лишь паллиативы, «нечто внешнее и не с самого корня начатое».

Но с чего же начать?

Взгляд на этот вопрос автора «Дневника» может показаться не только «фантастичным», но даже несколько высокомерным. Достоевский предлагает позабыть о текущем. Позабыть «о вопиющих нуждах нашего бюджета, о долгах по заграничным займам, об дефиците, об рубле...» Он предлагает забыть о текущем хотя бы наполовину, нет, всего только на одну двадцатую. Он прекрасно понимает, что текущее всегда стоит на первом плане, но именно ради самого текущего призывает на мгновение отрешиться от него и направить внимание «на нечто совсем другое, в некую глубь, в которую по правде доселе никогда и не заглядывали...» И тогда... «Ну, тогда можно будет и опять въехать в текущее или, лучше сказать, уже в новое текущее, потому что в этот антракт, надо думать, что прежнее (то есть современное, теперешнее наше текущее) изменится всё радикально и преобразит свой характер до того, что мы сами его не узнаем»⁵.

«Оздоровление корней» надо начинать с человека. Обращаться же исключительно к мерам административным — это, по Достоевскому, ставить телегу впереди лошади. Никакие экономические усилия сами по себе не принесут устойчивых плодов, если не изменятся исполнители. Но если «восстанется» человек — воспрянет и экономика, и финансы умножатся. Чтобы поднять народное хозяйство, следует прежде всего оздоровить моральный климат.

Подглавка «Дневника», в которой намечается на возможность всех этих чудес, названа иронически: «...По неумению впадаю в нечто духовное».

Он, великий утопист, нимало не обольщается относительно исполнимости своих утопий. И всё-таки задача ставится, ибо... «...Ибо без духовного спокойствия никакого не будет»⁶.

Речь вновь идёт о необходимости нравственного прогресса. Гадательное, идеальное (и, на определенный взгляд, вполне бесполезное) рассматривается как предмет реальной исторической практики.

Когда-то он пытался провести ту мысль, что в своей внешней политике Россия должна руководствоваться не сиюминутной выгодой, а исходить исключительно из соображений нравственных. Теперь он обращает этот принцип на домашние дела. Его этико-историческая «программа» обретает универсальность.

Отшельник или Отелло?

Новый, 1881 год начался с театра.

«Были в театре на Сидоркином деле, очень был доволен»⁷, — отмечает Анна Григорьевна, приурочивая это посещение к 1 января. Запись сделана через некоторое время после смерти Достоевского. Очевидно, Анна Григорьевна пыталась восстановить в памяти события этого рокового месяца. Заметки беспорядочны, обрывисты, конспективны. Наиболее тщательно фиксируется происходившее в самые последние дни и часы: к этим записям мы ещё обратимся.

Итак, новый год начался для него с театра. Но сам он вовсе не желал ограничиваться ролью зрителя.

«Первую половину января, — свидетельствует Анна Григорьевна, — Фёдор Михайлович чувствовал себя превосходно, бывал у знакомых и даже согласился участвовать в домашнем спектакле, который предполагали устроить у графини С.А. Толстой (вдова поэта. — *И. В.*) в начале следующего месяца». Он захотел взять роль схимника в пьесе А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного»⁸.

Не так давно, как помним, он требовал роль Отелло в домашнем спектакле у Штакеншнейдеров. Выбор, кажется, был не случаен. «Кто ж тебя знал, что ты у меня такой Отелло и, ничего не рассудив, полезешь на стену»⁹, — говаривала ему Анна Григорьевна в 1876 году.

Тогда произошёл случай, о котором, по её собственным словам, Анна Григорьевна вспоминала «почти с ужасом». Желая подшутить над мужем, она неосторожно приняла на себя роль

Яго: изменив почерк, аккуратнейшим образом переписала из одного романа уличающее героиню в неверности анонимное письмо и, предвкушая весёлый розыгрыш, отправила его на имя Достоевского.

В письме, написанном с выдающимся безграмотством, неизвестный доброжелатель уведомлял обманутого супруга, что тому «перешиб» дорогу некий брюнет, чьё изображение, заключённое в медальон, неверная жена имеет наглость носить на груди. Пикантность состояла в том, что Анна Григорьевна действительно носила медальон, подаренный мужем.

Не менее пикантным было и то, что роман, из которого Анна Григорьевна столь легкомысленно позаимствовала текст письма, читался Достоевским накануне — в только что вышедшем номере «Отечественных записок»: он принадлежал перу С.И. Смирновой-Сазоновой.

Веселья, однако, не получилось.

— Что ты такой хмурый, Фёдя? — дружески осведомилась Анна Григорьевна, войдя в кабинет. Он гневно посмотрел на неё, тяжело прошёлся по комнате и остановился напротив, почти вплотную.

— Ты носишь медальон? — спросил он каким-то сдавленным голосом.

— Ношу.

— Покажи мне его!

— Зачем? Ведь ты много раз его видел.

— По-ка-жи ме-даль-он! — закричал во весь голос Фёдор Михайлович...

Поняв, что шутка зашла слишком далеко, Анна Григорьевна начала поспешно расстёгивать ворот платья. Но «Фёдор Михайлович не выдержал обуревавшего его гнева, быстро надвинулся на меня и изо всех сил рванул цепочку». Цепочка, натурально, оборвалась; на шее у Анны Григорьевны выступила капелька крови. Ничего не замечая, Достоевский судорожно и неловко пытался открыть медальон. Наконец это ему удалось. Портрет действительно наличествовал: с одной стороны — их дочери Любы, с другой — его собственный.

Его раскаяние было равно огорчению самой Анны Григорьевны, зарёкшейся впредь шутить столь опрометчиво.

«— Вот ты все смеёшься, Анечка, — заговорил виноватым голосом Фёдор Михайлович (смех, которым она пыталась спа-

сти положение, надо полагать, дался ей не без труда. — *И. В.*), — а подумай, какое могло бы произойти несчастье! Ведь я в гневе мог задушить тебя!..»¹⁰

Он не желает обращаться в Отелло, поверившего клевете.

Он знал за собой этот неизвинительный грех — ревность. И не без оснований полагал, что сумел бы неплохо воплотить это слепое, но требующее от исполнителя ясного сознания чувство на сцене.

Однако его трудно назвать ревнивцем в классическом смысле.

Когда в Сибири он сватался к Марии Дмитриевне Исаевой, он был прекрасно осведомлён о её отношении к местному учителю Вергунову. Был момент, когда казалось, что у него, недавнего каторжника, а ныне простого солдата, нет никаких надежд: молодой возлюбленный Марии Дмитриевны побивал его по всем статьям. Как же поступает он в этом, слишком невыгодном для него случае? Через столичных знакомых он умоляет сильных мира сего устроить судьбу своего счастливого соперника, помочь ему выкарабкаться из нищеты, улучшить его материальное и служебное положение. Он делает это ради любимой им женщины*.

Надо полагать, что и тогда, в те далёкие годы, он имел представление о том, что такое ревность.

Существовала, правда, известная разница. Мария Дмитриевна и не думала скрывать своей связи. Здесь не было *обмана*. В истории же с поддельным анонимным письмом его потрясла возможность неправды, лжи — *тайной* измены любимой женщины, жены, матери его детей...

Да, он знал за собой эту черту. Но, очевидно, знал и другое, если в предполагаемом у С.А. Толстой спектакле был готов принять на себя роль схимника.

На Пушкинском празднике он, как мы помним, читал монолог Пимена из «Бориса Годунова». Мудрец-летописец, отрешённый от мира и всех мирских страстей, внимающий равнодушно (как бы равнодушно) добру и злу, — этот излившийся из самых глубин духа народного образ привлекает его неотразимо.

Отелло и Пимен — фигуры несовместные, враждебные, взаимно уничтожающие друг друга. И тем не менее он ощущает в себе оба эти начала.

* О подоплёке этой истории см. подробнее: *Игорь Волгин. Сага о Достоевских // Октябрь. 2006. № 11. С. 69–83.*

В январе он отдаёт дань не только драме: он вспоминает и о музыке.

30 января 1881 года в «Петербургской газете» промелькнуло следующее (не отмеченное доселе) сообщение: «...последний раз привелось мне видеть Фёдора Михайловича в предпрошлую субботу (то есть 17 января. — *И. В.*) на музыкальном сеансе пианиста Брассена в зале консерватории. Выглядел он бодрее и здоровее обыкновенного, много и с жаром говорил о «Дневнике писателя» и своих планах и предположениях, выражал твёрдое упование, что вскоре можно будет высказать прямее и свободнее «всё, что волнует душу»...»

Заметка подписана: Амикус¹¹.

Итак, если верить Амикусу, Достоевский выразил ему «твёрдое упование» относительно скорого разрешения того вопроса, который его, автора и издателя возобновляемого «Дневника», волновал в плане сугубо практическом.

Три креста и шесть восклицательных знаков

Надежды эти имели некоторые основания.

Еще в сентябре 1880 года Лорис-Меликов пригласил к себе редакторов крупнейших петербургских газет и журналов и предостерег от того, чтобы вверенные им издания обольщали читателей толками о возможном привлечении общественных сил к участию в делах государственных. Оградив тем самым достоинство самодержавной власти, граф тем не менее намекнул, что он лично счёл бы возможным предоставить печати право «обсуждать различные правительственные мероприятия, постановления, распоряжения правительства с тем только условием, чтобы она не смущала и не волновала напрасно общественные умы своими помянутыми мечтательными иллюзиями»¹².

Это была уступка: прессе фактически дозволялось высказываться о деятельности администрации — правда, не затрагивая при этом щекотливого вопроса о представительных учреждениях.

Начальство начинало понимать, что с печатным словом следует считаться: за весь 1880 год было дано лишь четыре предостережения и всего два периодических издания были приостановлены. По российским меркам — сущие пустяки.

«Князь Урусов* и Победоносцев, — записывает в дневнике П.А. Валуев, — видят, в чём дело, и ужасаются...»¹³ Победоносцеву было чему ужасаться: один из проектов нового закона о печати, обсуждавшийся в правительственных кругах, предусматривал отмену предварительной цензуры для всех периодических изданий (хотя другой проект предполагал одновременно ужесточить уголовные наказания для провинившихся журналистов: три года тюрьмы или пять лет крепости).

Дней за десять до смерти Достоевский был у А.С. Суворина. Речь, естественно, зашла об ожидаемых новшествах (частично этот разговор уже приводился выше).

«У нас... — передаёт Суворин слова своего собеседника, — возможна полная свобода, такая свобода, какой нигде нет, и всё это без всяких революций, ограничений, договоров. Полная свобода совести, печати, сходов, — и он прибавлял: — Полная. Суд для печати — разве это свобода печати? Это всё-таки её принижение. Она и с судом пойдёт односторонне, криво. Пусть говорят всё что хотят. Нам свободы необходимо больше, чем всем другим народам, потому что у нас работы больше, нам нужна полная искренность, чтобы ничего не оставалось невысказанным»¹⁴.

То, что предлагает Достоевский, кажется невероятным. Полная, неурезанная, всеобъемлющая свобода в стране, где отсутствуют элементарные гражданские права. Положение печати мыслится таким, какое она никогда и нигде не занимала: абсолютная свобода высказывания, отсутствие не только административного, но и предусмотренного законами о печати всех стран «обычного» судебного преследования. Очевидно, даже борьба с диффамацией мыслится как мера внесудебная, связанная с той или иной формой морального осуждения.

При этом он прекрасно сознаёт, что печатное слово таит соблазн разного рода злоупотреблений.

«Пресса, между прочим, — записывается в последней тетради (примерно в то же время, когда состоялся упомянутый разговор с Сувориным), — обеспечивает слово всякому подлецу, умеющему на бумаге ругаться, такому, которому ни за что бы не дали говорить в порядочном обществе. А в печати приют: приходи, сколько хочешь ругайся, даже с почтением примут»¹⁵.

* *Сергей Николаевич Урусов* — главноуправляющий императорской канцелярии.

В этих раздражительных, в сердцах сказанных словах, несомненно, — «нечто личное». Слишком часто на своём писательском веку он делался объектом самых ожесточённых нападок, порою — не только несправедливых, но и оскорбительных. «Руготня. Apicus... — помечает он далее, имея в виду того самого автора, который вскоре упомянет об их дружественном общении на концерте в Консерватории. — Если запрещены физические отправления на улицах, раздетый донага человек, то как не запретить и этого: это то же физическое отправление, вредное и гадкое. Без жалобы Прокуратура должна бы возбуждать и посылать к мировому судить за нетрезвость слова»¹⁶.

Привлекать к суду за «нетрезвость слова» — требование не менее утопическое, чем желание освободить прессу от суда.

Верил ли он в исполнимость своих утопий?

Он записывает: «Машина важнее добра. Правительственная административная машина — это *всё, что нам осталось*. Изменить её нельзя, заменить нечем без ломания основ. Лучше уж мы сами сделаемся лучшими, — говорят чиновники. Канцелярский порядок воззрения и управления Россией, даже хотя бы и было гибельно, всё-таки лучше добра»¹⁷.

Против этой записи (очень напоминающей другую: об уничтожении «формулы администрации») на полях он пишет «непреренно», ставит три креста и шесть восклицательных знаков.

Он, проповедник личного нравственного совершенствования, казалось бы, должен приветствовать желание государственных чиновников «сделаться лучшими». Увы, ироничность тона не оставляет сомнений на этот счёт.

Это одно из его «кричащих» и, на первый взгляд, неразрешимых противоречий. Но, если вдуматься, слом машины (действие внешнее) и «ломка» тех, кто её ломает (действие внутреннее), не так уж далеки друг от друга.

Да, он — за самоусовершенствование. Но он вовсе не склонен относить результаты этого индивидуального, интимного процесса ко временам отдалённым. Благородные порывы, *порывы души* не отделены у него наглухо от могущих сопутствовать этим порывам государственных преобразований. Самому государству даётся шанс: сделаться «нравственным человеком».

Идеологов реальной российской государственности вовсе не соблазняла такая возможность.

На следующий день после смерти Достоевского Победоносцев писал Каткову: «Мы нередко с ним беседовали: для него у меня отведён был тихий час в субботу после всенощной, и он засиживался у меня за полночь в задушевной беседе»^{*18}.

Итак, они беседовали субботними вечерами. Но, несмотря на свидетельство одного из собеседников, что разговоры были «задушевыми», трудно представить, чтобы Достоевский бывал с Победоносцевым искренним до конца.

Ещё труднее вообразить, чтобы Победоносцев — твёрдый и убеждённый государственный, сторонник жёсткого и всепроникающего административного контроля, — чтобы этот фанатик сильной, уверенной в себе, *нерассуждающей* власти мог одобрить более чем сомнительные мечтания автора «Дневника писателя».

Мы уже говорили, что знакомство и общение Достоевского с Победоносцевым приходится на тот период, когда бывший воспитатель наследника престола ещё не успел стать ключевой фигурой русской политической жизни, то есть тем, кем он сделается после 1 марта. В конце царствования Александра II он ещё пребывает в полутени, не играя чрезвычайной политической роли и стараясь поддерживать вполне лояльные отношения с тем же Лорис-Меликовым. Его имя ещё не стало нарицательным.

Достоевский мог ценить в своём субботнем собеседнике его сухой, скептический, резкий ум, свойственный ему острый критицизм мышления. Но сильный в своём негативизме, Победоносцев оказывался несостоятельным, когда речь заходила о чём-то позитивном, живом, жизнотворческом. «Он, — говорит о Победоносцеве Константин Леонтьев, — как мороз; препятствует дальнейшему гниению; но *расти* при нём ничего не будет. Он не только не творец; он даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом простом смысле слова; мороз; я говорю, сторож; безвоздушная гробница...»²⁰

* Достоевский посещал Победоносцева совсем не так, как остальных своих знакомых: они не были на равных. Нам неизвестно об *ответных* визитах обер-прокурора Святейшего синода. Правда, мальчик, служивший у Достоевских (П.Г. Кузнецов), среди посетителей упоминает и Победоносцева. Но одновременно в качестве таковых называются Толстой и Тургенев, чего, разумеется, быть никак не могло. Любопытная деталь: «...иногда, — пишет Кузнецов, — бывала жена Победоносцева, Екатерина. Он (Достоевский. — И. В.) очень её ненавидел»¹⁹.

Весьма сомнительно, чтобы Достоевский смог безоговорочно одобрить политическую линию, выработанную Победоносцевым после 1 марта и безоговорочно принятую новым царствованием в качестве руководства к действию. Мертвящее охранительство обер-прокурора Святейшего Синода плохо совместимо с социальным утопизмом автора «Дневника».

Недаром он, автор, так беспокоился за судьбу январского номера.

Депутат от «серых зипунов»

17 января к нему зашёл Орест Фёдорович Миллер. Он явился с благородной целью: напомнить хозяину об его участии в Пушкинском вечере 29 января (в сорок четвёртую годовщину со дня смерти поэта). Но принят был отнюдь не ласково.

Хозяин «выбежал к посетителю в прихожую с пером в руке, страшно взволнованный — отчасти, как сам тут и высказал, опасением, пропустит ли ему цензура несколько таких строк, содержание которых должно развиваться в дальнейших номерах «Дневника», — в течение всего года. «Не пропустят этого, — говорил он, — и все пропало...»²¹

Речь действительно шла о весьма рискованном тексте (он уже приводился выше): «...есть одно магическое слово, именно: «оказать доверие». Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду»²².

После смерти Достоевского журнал «Мысль» опубликовал посвящённую ему обширную статью. Автор статьи, Л. Оболенский, останавливается как раз на том месте январского «Дневника», где предлагается обратиться к народу, и только к народу.

«Это что же... личное совершенствование он предлагал? — спрашивает Оболенский. — Не ясно ли для всякого... что Достоевский вовсе не был врагом реформ...» Он признавал лишь ту реформу, которая «была бы ответственна потребностям и духу народа». От «окончательного» решения этой проблемы Достоевский «устранял не только интеллигенцию, но даже и себя...»²³ Где и когда, вопрошает далее Оболенский, «Московские ведомости» проводили ту идею, какую высказал в своём «Дневнике»

Достоевский? «Мы у них читали, наоборот, статьи в защиту преобладания везде и всюду крупного землевладения, мы читали громы против защиты... крестьян, мы читаем обвинения в измене за всякую малейшую попытку обсуждать вопросы о народном благосостоянии... Они призывали на страну диктатуру... Всегда и всюду они проповедовали одно: террор, террор и террор! Ежевые рукавицы кары; а мы только что видели, то же ли говорил Достоевский! Идеи Достоевского, — заключает Оболенский, — и идеи «Московских ведомостей» — это два диаметрально противоположных полюса, наиболее враждебных друг другу»²⁴.

Текст Оболенского, как, впрочем, почти все приводимые нами отклики прессы, практически не был известен: на него нет ссылок в позднейшей литературе. Нельзя, однако, не поразиться этому одинокому голосу. Оказывается, то, к чему мы пришли путём «ума холодных наблюдений» (но также, добавим, «и сердца горестных замет»), вполне отчётливо сознавалось «внутри» интересующего нас времени — пусть даже очень немногими. Сего достаточно...

В следующем номере своего журнала Оболенский задаётся вопросом: какую именно группу, какую «партию» русского народа представляет автор «Карамазовых»? Соображения на этот счёт издателя «Мысли» хотя и не бесспорны, но также в высшей степени любопытны.

По мнению Оболенского, Достоевский взялся «представлять и защищать» массу «серого православного крестьянства, ни больше ни меньше». Не интересы интеллигенции и не интересы какой-то обособленной части народа (например, раскольников) составляют предмет его забот: он выражает мирозерцание «серых зипунов» во всей его целостности — «без урезок... без ампутирования этого мирозерцания по своему произволу».

«Один критик, — говорит Оболенский, — заметил, что Достоевский меньше всего описывал народ, а потому, мол, странно его называть народником. Если к народничеству прилагать такой глубокомысленный критерий, то наибольшим народником, пожалуй, окажется актёр Горбунов (автор и исполнитель рассказов из народного быта. — *И. В.*), ибо он описывал *только* народ»²⁵.

Точка зрения Оболенского совершенно исключительна: подобные мнения не встречаются более во всей тогдашней литературе. Кажется, никому из современников Достоевского не приходило на ум связывать его имя с идеологией «серого православного крестьянства». Между тем осознание этой глубинной связи позво-

ляет взглянуть на автора «Дневника» с несколько неожиданной точки зрения.

Существует глубокая закономерность в том, что в конце XIX столетия два крупнейших русских художника спешат отречься от воззрений, сопряжённых с кругом их собственной жизни, и *вменяют* себе в обязанность стать на точку зрения «большинства».

Они делают это по-разному, но общая направленность их усилий несомненна.

По странной прихоти судьбы жизненный финал Достоевского пришёлся на то самое время, когда другой его великий современник переживал глубочайший духовный кризис, который разломит его долгую жизнь надвое и в конце концов сделает его тем, кем он — помимо своих чисто художественных заслуг — останется в памяти потомства: представителем русского патриархального крестьянства.

Несостоявшийся диалог

Вспомним их *невстречу* 10 марта 1878 года (на лекции Владимира Соловьёва). Оценивая выше мотивы, по каким Страхов их не познакомил, мы намеренно опустили один — может быть, самый главный.

Ибо нельзя исключить, что инициатором незнакомства был не кто иной, как сам Лев Николаевич Толстой.

На протяжении почти четверти века они пристально всматриваются друг в друга, однако не предпринимают ни малейших попыток к сближению. Это представляется невероятным и загадочным, особенно если учесть, что каждый из них, как уже говорилось, знаком практически со всеми сколько-нибудь значительными писателями своего времени и что возможности для их личных контактов были не столь уж ничтожны.

Ни Толстой, ни Достоевский не желают делать первого шага. Достоевский — по соображениям «иерархическим»: в глазах современников (и отчасти — в своих собственных) он стоит «ниже» автора «Войны и мира».

Мотивы Толстого имеют более сложный характер.

Написав в 1878 году примирительное письмо Тургеневу, Толстой совершает это с высоты своего уже почти недосыгае-

мого величия. Он может себе позволить такой великодушный жест не только потому, что время обескровило старые обиды, но и потому, что в глубине души он не может не сознавать: у них с Тургеневым — разные поприща. Они не то чтобы несопоставимы, а просто в их духовной деятельности обнаруживается не так уж много общих точек для спора «о главном».

Мог ли он думать так о Достоевском?

Чехов говорил Бунину, что особенно его восхищает в Толстом — это его презрение ко всем прочим писателям, «или, лучше сказать, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто»²⁶. Толстой иногда хвалит Мопассана, Куприна, того же Чехова. А вот *Шекспир* его раздражает.

Нетерпимый к чужому, но обладающий при этом гигантской художественной интуицией, Толстой не мог не чувствовать творческой мощи своего старшего (сам он моложе Достоевского на семь лет) современника. Интересно, что при ровном, в общем, отношении к таланту Тургенева Толстой оценивает писательский дар Достоевского очень неоднозначно и зачастую — противоречиво.

Как помним, Страхов не сказал Достоевскому о том, что на лекции Владимира Соловьёва присутствует Толстой. Но сообщил ли он своему спутнику о присутствии Достоевского? Думается, ему было бы затруднительно не известить автора «Анны Карениной» (только что пристрастно разобранный в «Дневнике писателя») об этом обстоятельстве.

Но если так, то просьба Толстого не обременять его знакомством с кем бы то ни было выглядит как попытка в деликатной форме отклонить знакомство именно с Достоевским.

Высказав через много лет искренние сожаления Анне Григорьевне, что ему не довелось познакомиться с её покойным мужем, Толстой, разумеется, уже не помнил своих тогдашних мотивов.

Чего же мог опасаться Толстой?

Вряд ли его смутили бы те критические замечания в адрес его последнего романа, которые, как было сказано, появились на страницах «Дневника писателя». Тем более что в том же «Дневнике» роману в целом дана чрезвычайно высокая оценка.

Толстой мог опасаться другого. Он знает: только с Достоевским возможен разговор на равных. Но, может быть, именно поэтому он старается его избежать.

Глубоко захваченный переживаемым им духовным переворотом, всеми силами стремясь утвердиться в своём новом, пока ещё не «затвердевшем» миропонимании, он инстинктивно отстраняет от себя всё, могущее поколебать эту рождающуюся в муках веру. Встреча (и неизбежное духовное противоборство) с таким могучим оппонентом, как автор «Дневника», грозит разрушить целостность столь трудно воздвигнутого толстовского мира, потрясти его сокровенные основы.

Он просит Страхова ни с кем его не знакомить.

Существовала ещё одна возможность: Пушкинский праздник. Но, как уже говорилось, Толстой не принял приглашения почтить Москву своим присутствием. Миссия Тургенева, посетившего весной 1880 года Ясную Поляну в качестве парламентаря, успеха не имела.

«...Тургенева этот отказ так поразил, — пишет первый и хорошо осведомлённый биограф Толстого, — что когда после Пушкинского праздника Фёдор Михайлович Достоевский собирался приехать из Москвы к Льву Николаевичу и стал советоваться об этом с Тургеньевым, тот изобразил настроение Льва Николаевича в таких красках, что Достоевский испугался и отложил исполнение своей заветной мечты»²⁷.

Действительно ли «испугался» Достоевский и была ли его мечта на самом деле «заветной» — об этом судить трудно. Легче предположить, в каких именно красках изобразил Тургеньев настроение Толстого.

Достоевский пишет Анне Григорьевне из Москвы: «Сегодня Григорович сообщил, что Тургеньев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошёл и даже, может быть, совсем сошёл»²⁸.

Таким образом, первичная информация действительно исходила от Тургенева. Последний был весьма уязвлён отказом Толстого и попытался объяснить причины этого отказа по-своему (подразумевалось, что человек в здравом уме не смог бы отказать ему, Тургеньеву).

Впрочем, «предостерегал» не только неудачливый посетитель Ясной Поляны. «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался, — сообщает Достоевский Анне Григорьевне и продолжает: — Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно, менее двух суток. Но я не поеду, хотя очень бы любопытно было»²⁹.

«Любопытно» не потому, что автор «Войны и мира» якобы «сошёл с ума»: как раз наоборот. В словах Достоевского можно усмотреть сугубое недоверие к слухам, роящимся вокруг Толстого, желание лично удостовериться — что же на самом деле совершается в духовном мире Ясной Поляны.

Результаты этих свершений станут вскоре достоянием всего мира. Но покамест к откровениям новой веры допущены лишь немногие.

Одна из таких посвящённых — двоюродная тётка Толстого графиня Александра Андреевна.

Женщина умная и независимая, графиня Толстая была на одиннадцать лет старше своего знаменитого племянника. Почти всю свою долгую жизнь (графиня умерла в 1904 году, без малого восьмидесяти семи лет) она провела при дворе: сначала в звании фрейлины великих княгинь, затем — камер-фрейлины императрицы. Она жила в Зимнем дворце, являя собой именно тот самый высший свет, от которого всё решительнее отворачался её яснополянский родственник и корреспондент.

Они переписывались: именно этой перепиской горячо заинтересовался Достоевский.

Графиня А.А. Толстая познакомилась с автором «Карамазовых» за две или три недели до его кончины. «Лев Николаевич, — вспоминает она, — его страшно интересовал. Первый его вопрос был о нём:

“Можете ли вы мне истолковать его новое направление? Я вижу в этом что-то особенное и мне ещё непонятное”»³⁰.

«Истолковать» Толстого графине Александре Андреевне было не так просто — тем более что она ни в коей мере не разделяла его новых убеждений. Тогда Достоевский попросил у неё какой-нибудь толстовский текст.

Она обещала дать ему для прочтения одно из писем.

Достоевский явился к графине в назначенный час³¹. Александра Андреевна прочитала письмо вслух. «Вижу ещё теперь перед собой Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял: “Не то, не то!...”»

Не прошло и трёх недель, как вдова Достоевского встретила А.А. Толстую у гроба своего мужа. И — поблагодарила её за тот вечер. «Это было его последнее удовольствие»³², — прибавила Анна Григорьевна.

Думается, однако, что собеседник графини Толстой испытывал не только чувство удовольствия от общения с умной женщиной. Письмо Толстого сильно его смутило: он попросил себе копию³³. «Из некоторых его слов, — пишет Александра Андреевна, — я заключила, что в нём родилось желание оспаривать ложные мнения Л<ьва> Н<иколаевича>»³⁴.

Такое желание у Достоевского несомненно возникло. Однако каким способом он мог бы его осуществить? Выступить в «Дневнике писателя»? Это было неудобно: автору пришлось бы оспаривать положения, изложенные в частном письме. Написать самому Толстому? Это был трудный, но, пожалуй, приемлемый выход.

Некоторые предпосылки для такого прямого диалога уже имелись.

В приводившемся выше письме Страхову (где Толстой говорит, что «Записки из Мёртвого дома» — лучшая книга «изо всей новой литературы») есть фраза: «Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю»³⁵.

Первую попытку к личному сближению предпринял всё-таки Толстой: он просит передать свои слова их адресату.

Графиня А.А. Толстая, сообщая племяннику о том, что она отдала его письмо Достоевскому, замечает: «Он со своей стороны любит Вас...»³⁶

Итак, почва для их знакомства была уготована. Но помимо острого личного интереса, подталкивающего их друг к другу, существовали мощные глубинные влечения, делавшие эту встречу необходимой и исторически неизбежной.

К 1881 году все духовные устремления истекающего столетия дошли «до какой-то окончательной точки».

Умственное и нравственное движение полутора веков, начальный толчок которому был дан петровскими преобразованиями, завершилось «колоссальным явлением Пушкина»; как справедливо замечено, он был ответом на вызов, брошенный России Петром. С Пушкиным нравственное лицо нации обрело определённую форму: дух нашёл выражение в Слове. Это Слово было зачинающим и завершающим одновременно. Нация осознала себя в зрелых, классически прекрасных формах. Было положено основание новой культуре: последней, однако, пришлось столкнуться с такими явлениями, которые её зачинатель, возможно, предвидел, но на которых в силу определённых причин не заострял внимания.

Пушкину важно было разобраться в общем ходе истории, выяснить место человека в системе мировых координат, не подвергая это место сомнению и не отрицая тех очевидностей, с которыми имеет дело целостное, здоровое, не разъедаемое мучительной рефлексией сознание. Пушкин свободно приемлет течение общей жизни. Его цыганы и его Татьяна сопричастны некоей жизненной правде, существующей как их неотъемлемое достояние. Алеко и Онегин, напротив, отторгнуты от неё: их самоотпадение от внутреннего протекания жизни выбрасывает их «во тьму внешнюю».

Пушкин во всеуслышание поименовал добро и зло и развёл их по разным углам. Он не стал углубляться в сложную диалектику причин и следствий: иначе он не успел бы исполнить своей исторической миссии. Пушкинская вселенная гармонична и упорядочена, как вселенная Ньютона. Она лишь подозревает в себе и вне себя «миры иные», намекает на них, но не входит с ними в прямое соприкосновение.

После Гоголя, Толстого и Достоевского пушкинская гармония стала «частным случаем» вновь открытого нравственного миропорядка (оставаясь в то же время недостижимым образцом и мерой). Рядом с ней воздвигалась и получила художественную санкцию дисгармония, где добро и зло причудливо меняются местами и где смысл жизни уже не совпадает с нею самой.

В мир было внесено новое знание о человеке: он предстал более многомерным и, как это ни печально, более уязвимым для зла. Незыблемые прежде истины оказались под угрозой. Более того: была подвергнута сомнению сама мировая целесообразность.

Толстого и Достоевского занимает уже не только связь человека с другими людьми, с природой или историей: они желают «окончательно» выяснить его отношения с Богом и с самим собой.

Пьер Безухов и Андрей Болконский, Родион Раскольников и Иван Карамазов хотели бы — положим, в различной степени — не только «вписаться» в мир, но и привести его в соответствие со своими о нём представлениями. Другой вопрос — как это у них получается. Человек хочет самоопределиваться — не «вообще», а применительно к тем «последним глубинам», о которых он догадывается и которых страшится. И в этом своём самоопределении он желает быть абсолютно свободным.

В России потребность такого самоопределения ощущалась особенно остро.

К исходу 70-х годов вековые религиозные представления были поколеблены: вера, казалось, должна была пошатнуться под ударами новейшего естествознания. С другой стороны, модный недавно позитивизм уже терял свою притягательную власть: его толкования выглядели слишком элементарными. Ни традиционная религия, ни новейшая наука не могли восстановить утраченного душевного равновесия.

Глубокий кризис переживало и русское политическое сознание. Ни западникам, ни славянофилам не удалось отыскать формулы, могущей «без нажима» объять прошлое России, её настоящее и будущее и примирить различные общественные устремления. Государственная власть также оказалась неспособной предложить сколько-нибудь приемлемую для интеллигентного общества идеологию.

Русская радикальная мысль — от декабристов до народников — претерпела сильнейшую эволюцию. Начав с попыток улучшить наличное политическое устройство, она всё более влеклась к пересозданию общей жизни («дешевле не примиримся»). Русская революция, заявляя конкретные политические требования, по своему внутреннему духу делалась всё более *всемирной*. Её нравственный порыв был устремлён к отысканию «последних» истин; в ней самой был заключён глубокий онтологический смысл³⁷. Разговор братьев — Алёши и Ивана Карамазовых — в проплёванном скотопригоньевском трактире свидетельствовал о том, что промежуточные решения уже неприемлемы: от «проклятых вопросов» нельзя было отделаться при помощи уклончивых силлогизмов.

Предсмертный сон Льва Николаевича Толстого

Толстой и Достоевский — каждый по-своему — сумели почувствовать жажду, владевшую лучшей частью русской интеллигенции. Они осознали, что «окончательное» мировое решение неотделимо от нравственного выбора самого человека. Но к одной и той же цели они направились с противоположных концов.

Толстой стремится дать рациональное обоснование этики. Он полагает, что при помощи строгих логических операций возможно не только объяснить, но и исправить всю алогичность бытия. При этом автор «Исповеди» рассчитывает исключительно

головным путём доказать необходимость, значимость и даже приоритет жизни сердечной.

Однажды А.А. Толстая сообщила в Ясную Поляну о постигших её тяжёлых утратах. «Очень жаль, — отозвался её корреспондент, — что Вы всё грустите. Дай Бог Вам такого душевного состояния, в котором бы как можно легче переносилось всякое горе. Горе и радость в нас».

Это сентенциозное утешение слабо успокоило графиню Александру Андреевну. «Теория ваша насчёт смерти близких справедлива, — отвечает она Толстому, — но трудно доказать сердцу, которое болит, что оно не болит»³⁸.

Достоевский не занимается такого рода доказательствами. Он не пытается уверить себя, что «горе и радость в нас», — и переживает то и другое чрезвычайно бурно и болезненно.

Автор «Преступления и наказания» любит демонстрировать, как, казалось бы, непогрешимая логика терпит крах при соприкосновении с «живой жизнью». «Нерассуждающая» Сонечка Мармеладова пересиливает (об этом уже говорилось выше) такого блестящего диалектика, как Раскольников. Не проронивший вообще ни единого слова герой Легенды о великом инквизиторе молча целует в уста другого диалектика, не менее изощрённого, чем Раскольников: победа, по-видимому, остаётся за этим несловохотливым персонажем. (Недаром Алёша говорит Ивану, что его поэма — не хула, а хвала Иисусу.)

Для Достоевского рассудок не есть нечто стоящее над жизнью; сам по себе он не может служить последней и окончательной инстанцией в мировом споре. Отсюда не следует, что автору «Карамазовых» присуще какое-то сугубое недоверие к возможностям человеческого познания. Как раз наоборот. Проникая в тайники интуитивной жизни, Достоевский выводит эту жизнь «из-за кулис», делает её *проницаемой*. Его художественный метод не только раздвигает границы познанного, но и обогащает само познание. Если у Достоевского действительно заметно недоверие к «голому» рационализму, то это скорее неприязнь к неполному, усечённому разуму, к уверенному в своей непогрешимости самодовольному и самодостаточному рассудку.

Однако столь же неверно рассматривать Толстого как «чистого» рационалиста. Художественная интуиция автора «Войны и мира» не уступает интуиции Достоевского. Его рационалистические постижения во многом обусловлены именно этим даром. Вообще

оппозиция «рационалист/интуитивист» применительно к художникам такого масштаба очень условна и требует постоянной корректировки.

Но вернёмся к вопросу, почему всё-таки Достоевский, слушая письмо Толстого, хватался за голову и восклицал «отчаянным голосом»: «Не то, не то!»?

Как помним, графиня Александра Андреевна читала своему гостю это письмо вслух. «Странно сказать, — вспоминает она, — но мне было почти обидно передавать ему, великому мыслителю, такую путаницу и разбросанность в мыслях»³⁹.

«Разбросанность в мыслях» действительно имеет место.

Толстой говорит, что он не приемлет тот символ веры, который исповедует официальная Церковь: «...Верить в то, что мне представляется ложью, — нельзя... Это есть кощунство и есть служение князю мира»⁴⁰. Толстой бросает вызов всей ортодоксальной церковной традиции. Он исполнен презрения ко всякой силе, посягающей на свободу духа.

Вряд ли автора «Карамазовых», чья собственная вера прошла «через горнило сомнений», способны были смутить эти толстовские слова. Насторожить его могло другое.

Призывая свою корреспондентку встать на его точку зрения, автор письма советует ей посмотреть, крепок ли тот лёд, по которому она ходит, а если не крепок — попробовать пробить его. «Если проломится, то лучше идти материком». «Материк» есть истина, та первооснова, которая скрыта под всяческими наносами.

«Но и вам уже учить меня нечему, — продолжает Толстой. — Я пробил до материка всё то, что оказалось хрупким, и уже ничего не боюсь, потому что сил у меня нет разбить то, на чём я стою; стало быть, оно настоящее».

Сомнительно, чтобы подобный поворот мысли мог импонировать Достоевскому.

Раскольников и Иван Карамазов тоже, как им кажется, «пробивают до материка». Однако эта их личная уверенность (уверенность в своей абсолютной правоте) не спасает их от мучительных падений и катастроф. Толстой утверждает, что он прав, потому что у него нет сил разбить то, к чему он в конце концов пришёл: «Стало быть, оно настоящее». Но, согласно такой логике, «оно» — настоящее только потому, что индивидуальный разум исчерпал свои возможности и не в силах следовать дальше. Именно этот

«уединённый» разум — не важно, в прозрении или в самоослеплении — становится последней инстанцией, чей приговор обжалованию не подлежит.

Сознание «я» оказывается истиннее не только сознаний всех других «не-я», но и больше всего совокупного человеческого опыта.

Если принять во внимание точку зрения Л. Оболенского, который, как помним, утверждал, что Достоевский выражает мирозерцание «серых зипунов» во всей его целостности — «без урезок и ампутаций», то становится более понятным, почему автору «Карамазовых» были несимпатичны религиозные искания Толстого. По мнению Достоевского, рационалистический пересмотр христианства чужд и неприемлем прежде всего для массы «серых зипунов». Толстой противопоставляет новую «головную» веру тысячелетним народным верованиям, индивидуальный разум — разуму соборному и, что ещё хуже, соборному нравственному чувству. В этом своём качестве Толстой мог представляться Достоевскому «гордым человеком»: едва ли не таким же оторванным от родной почвы скитальцем, как и Алеко.

Но, конечно, сильнее всего должно было потрясти Достоевского непризнание Толстым божественности Христа.

«Если бы он это был, — говорит Толстой, — он бы сумел сказать»⁴¹. Однако в проповеди самого Иисуса, как полагает Толстой, нет прямых указаний на его божественное происхождение.

Этот пункт очень существен для Достоевского. И — очень личен. Христос — мера истины и мера красоты: именно сам Христос, а не только его учение (то есть та сумма заповедей, которые Толстому как раз и представлялись наиважнейшими). Само жизненное поведение Иисуса из Назарета, его страдание, искупительный смысл его жертвы — всё это для Достоевского не менее значимо, чем *мысли*, изложенные в Нагорной проповеди.

Толстой замещал Богочеловека персонажем, более похожим на человекобога: идея, Достоевскому ненавистная, осуждённая и отвергнутая ещё в «Бесах».

Непризнание божественности Иисуса уничтожало вселенский смысл образа: миф превращался в *информацию*.

Когда-то он писал Фонвизиной, что если б ему доказали, «что Христос вне истины, и *действительно* было бы, что истина вне Христа», то ему «лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»⁴².

Следует вдуматься в эти удивительные слова.

Достоевский допускает (пусть теоретически), что истина (которая есть выражение высшей справедливости) может оказаться вне Христа: в таком случае сам Христос как бы оказывается вне Бога. И Достоевский предпочитает остаться «со Христом», если вдруг сама истина не совпадает с идеалом красоты. Он предпочитает остаться с человечностью и добром, если «истина» по каким-либо причинам оказывается античеловечной.

Красота и истина для Достоевского неразделимы: он не желает жертвовать одним ради другого. Толстой в любом случае хотел бы остаться «с истиной».

«Я потом часто спрашивала себя, — говорит А.А. Толстая, — удалось ли бы Достоевскому повлиять на Л.Н. Толстого? Думаю, едва ли»⁴³.

Графине Александре Андреевне нельзя отказать в проницательности. Личности Толстого и Достоевского столь громадны и столь различны по своему складу, что вряд ли уместно говорить о прямой интеллектуальной зависимости. Но следует сказать об их напряжённой моральной связи и — о полноте русской жизни, которая без Толстого или без Достоевского оказалась бы бесконечно беднее.

«Я никогда не видал этого человека, — писал Толстой Страхову (выходит, не показал-таки его Николай Николаевич на той лекции — хотя бы издалека! — *И. В.*), — и никогда не имел прямых отношений с ним; и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый близкий, дорогой, нужный мне человек».

Толстому незачем лукавить. Теперь, после смерти Достоевского, он «вдруг» осознал их духовное родство: это действительно так, если иметь в виду направленность их пути. Смерть одного из них сняла вероятность спора: осталось лишь сожаление, что встреча не произошла.

«И никогда мне в голову не приходило меряться с ним, никогда, — продолжает Толстой (энергически повторенное отрицание как будто указывает на то, что мысль эта всё же могла являться — невольно. — *И. В.*). — Всё, что он делал (хорошее, настоящее, что он делал), было такое, что чем больше он сделает, тем мне лучше». Оговорка в скобках подразумевает несогласие с «ненастоящим». Толстой, впрочем, избегает деталей.

«Искусство, — говорится далее в письме, — вызывает во мне зависть, ум тоже, но дело сердца — только радость». Можно пред-

положить, что ни литературный дар Достоевского, ни его «ум» в настоящем случае не принимаются в расчёт. Радость вызывает лишь «дело сердца». Искусство странным образом оказывается от этого дела отделённым.

«Я его так и считал своим другом, — продолжает Толстой, — и иначе не думал, как то, что мы увидимся, и что теперь только не пришлось, но что это моё. И вдруг читаю — умер! Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу»⁴⁴.

У Толстого нет ни малейшего сомнения в том, что рано или поздно они бы встретились: «...теперь только не пришлось, но это моё». «Это моё», — мог бы сказать в свою очередь и Достоевский. Это было их общее, ибо каждый из них мысленно уже пережил грядущую встречу. И не потому ли Толстой — может быть, неожиданно для себя — говорит: «...опора какая-то отскочила от меня», что он «теперь» с горечью ощутил своё духовное одиночество? Не осознал ли он, что в «деле сердца» он отныне остаётся один?*

...Графиня Александра Андреевна тщательно переписала для Достоевского письмо Толстого. По рассеянности она вложила в копию и текст подлинника. Следовательно, за несколько дней до смерти оригинал толстовского письма лежал у него на столе.

Жизнь воистину *сценарна*. В последние дни Толстого на *его* столе оказался том «Братьев Карамазовых» — последнее его чтение. Навсегда покинув Ясную Поляну, Толстой просит послать ему вдогонку эту книгу, но так и не успевает её получить.

Они помнят друг о друге в свой последний час.

И тут на сцену вновь выступает Николай Николаевич Страхов.

За сутки до ухода из Ясной Поляны Толстой записывает в дневнике: «Видел сон. Грушенька, роман, будто бы, Ник. Ник. Страхова. Чудный сюжет». И — в записной книжке — уже в Оптиной пустыни: «Роман Стр(ахова) Грушеньк(а)-экономка»⁴⁶. Это последняя «творческая» запись Толстого.

* 3 февраля 1881 года С.А. Толстая пишет сестре — о муже: «Его и всех нас ужасно поразила смерть Достоевского. Только что стал так известен и всеми любим, как умер. Лёвочку это навело на мысль о его собственной смерти, и он стал как-то сосредоточеннее и молчаливее»⁴⁵. Если Толстой действительно не мерился с Достоевским жизнью, то теперь, во всяком случае, мерится смертью.

Что Толстой видит во сне Грушеньку — неудивительно: ему снится героиня того самого романа, который он в эти дни перечитывает. Трудно усмотреть что-то исключительное и в том, что пригрезился покойный Страхов. И даже не столь поражает, что всё это фантастическим образом перемешалось: мало ли что бывает *во сне*.

Изумительно другое: то, что Толстой рассматривает своё сновидение как художественный сюжет.

Толстому снится роман между реальным лицом, его знакомым, и персонажем, сотворённым воображением Достоевского. «Жизнь» пересекается с «литературой» — возникает некая «третья» ситуация, на первый взгляд совершенно неестественная. Ибо трудно вообразить более противоположных по натуре людей, чем «инфернальница» Грушенька и добропорядочный, бесстрастный, бестемпераментный Страхов.

Тем не менее Толстой не только готов облечь свои сновидческие образы в живую художественную плоть, но даже именуется явившийся ему сюжет «чудным».

За много лет близкого общения со Страховым Толстой прекрасно изучил характер своего приятеля. Очевидно, не осталось для него вполне непроницаемым и страховское «подполье» (это тем вероятнее, что Страхов порой неосторожно «обнажался» перед своим яснополянским корреспондентом)*. Толстовский сон удивительным образом перекликается с неизвестной сно-

* Страхов писал Толстому (17 ноября 1879 года): «Думаю, что я не какой-нибудь гадкий или преступный или отчаянно грешный человек. Я в известном отношении хуже — я человек безжизненный, в котором мало души, нет воли в смысле живых стремлений. Я во всех сферах неудавшийся, ни в чём не сформировавшийся, ни в какую форму не отлившийся человек... Ни один инстинкт не говорил во мне так сильно, чтобы определить мои поступки и образ жизни. Я правильно сделал, отказавшись, наконец, вовсе от жизни; я не умею жить и не хочу за это братья. Всего лучше это объяснить на отношениях к женщинам. Я ни за одну не волочился в настоящем смысле пристрастия и никогда не собирался жениться. Две мои связи произошли от того, что того хотели эти женщины, а не я. Это стыдно сказать мужчине, и я за это наказан больше, чем стою»⁴⁷. Несмотря на подчёркнутую (почти демонстративную) откровенность этого письма, Толстой позволил себе в ней усомниться: «Вы не умели сказать то, что в вас, и вышло что-то непонятное»⁴⁸.

видцу, но памятной нам записью Достоевского — о «тайном сладострастии» Страхова («несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен»). Недаром в этом сне Страхов предстаёт своего рода Фёдором Павловичем Карамазовым, но — «подпольным», «зажатым» и оттого ещё более трагичным. И, может быть, сюжет представляется Толстому «чудным» именно благодаря точности психологического попадания.

Страхов приснился Толстому через четырнадцать лет после своей кончины и за несколько дней до его собственной. Достоевский видел Страхова за три дня до смерти: правда, не во сне, а наяву.

В воскресенье, 25 января, у Достоевских были гости: в их числе Николай Николаевич. Разговор зашёл о том самом толстовском письме, которое было получено от графини Александры Андреевны. Страхов, живо интересовавшийся всем исходившим из Ясной Поляны, стал просить у Достоевского это послание. Достоевский согласился — с тем, однако, чтобы Николай Николаевич непременно вернул письмо — через несколько дней.

Через несколько дней Достоевского не стало.

глава XX

СМЕРТЬ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ

Воскресенье, 25 января

Итак, в воскресенье, 25 января, у них были гости. Лишь только хозяин встал, явился Аполлон Николаевич Майков. Вслед за Майковым, как уже говорилось, пожаловал Страхов.

Последним подошёл Орест Фёдорович Миллер. У него было дело.

Миллер уже приходил на днях и, как помним, застал хозяина в недобрую минуту: ни о каком выступлении он не хотел и слышать. «Потом, — говорит Миллер, — Фёдор Михайлович смиловился немножко и подал некоторую надежду»¹.

Поэтому был избран окольный путь: зная отходчивость Достоевского, Миллер 20 января обращается к Анне Григорьевне и вверяет ей «участь Пушкинского вечера»².

Профессор рассчитал точно: Достоевский уже и сам был огорчён своим отказом, беспокоясь, не обидел ли он Миллера («Вот и ещё, пожалуй, человека потеряю»), и прося Анну Григорьевну извиниться перед ним письменно³.

Анна Григорьевна отвечала в тот же день: «...Фёдор Михайлович поручил мне написать Вам, что он будет читать у вас 29 января

во всяком случае, то есть даже в случае, если б ему запретили его январский «Дневник» (чего он так опасается)»⁴.

В тот же день, 20-го, новый начальник Главного управления по делам печати Н.С. Абаза присылает Достоевскому свою визитную карточку — с надписью на обороте: «Прошу извинить, что задержал, никаких препятствий, конечно, нет»⁵. По свидетельству первых биографов Достоевского, Абаза успокоил автора «Дневника», что «у цензуры рука не поднимется ни на одну его мысль»⁶.

Таким образом, «серые зипуны» прошли: времена стояли неслыханно либеральные*.

В его последней записной книжке есть помета: «На мартовск. № »⁷. Интересно, о чём говорил бы он в своём «Дневнике» после 1 марта?

До взрыва на Екатерининском канале оставалось чуть более месяца. Жизни ему было отпущено ещё три дня.

В воскресенье, 25 января, подтвердив О.Ф. Миллеру своё согласие на участие в Пушкинском вечере, хозяин тем не менее «настоятельно заявил», что прочтёт «некоторые любимые им небольшие стихотворения Пушкина». Орест Фёдорович встревожился: ведь Анна Григорьевна уведомила его, что её муж выбрал для чтения отрывок из последней главы «Онегина» — именно так и значилось в готовящейся к печати афише. Перемена потребовала бы новых цензурных хлопот — у попечителя учебного округа и градоначальника. Поэтому Миллер попробовал деликатно возразить. «Фёдор Михайлович несколько раздражился и сказал, что кроме указываемых им теперь небольших стихотворений он ничего другого читать не будет. О.Ф. Миллер, в свою очередь раздражившись, неосторожно попрекнул Фёдора Михайловича недостаточным вниманием к его, Миллера, нелёгкому положению в качестве устроителя вечера. Тогда Фёдор Михайлович уже не раздражился, а огорчился: “И не грех вам, — сказал он, — говорить это; сколько раз я по вашей просьбе читал для студентов”».

* Надо полагать, визитная карточка Абазы была приложена к возвращаемой автору рукописи, так как типографский набор вряд ли был готов. Слово «конечно» в записке Абазы звучит многозначительно: либеральное начальство намекало, что высокая степень цензурной терпимости предполагает ответную авторскую сдержанность.

«Небольшая размолвка, — вспоминают свидетели этого инцидента, — окончилась миролюбиво. О.Ф. Миллер дал слово выхлопотать разрешение на замену прежнего отрывка другими стихотворениями, только бы Фёдор Михайлович участвовал в вечере». Когда он уходил, хозяин, «совершенно уже успокоенный», проводил его до дверей...^{*8}

Проводил он и другую посетительницу — Катерину Ипполитовну, жену родственника Анны Григорьевны, доктора М.Н. Сниткина. Она сидела у хозяйки, которая и «вызвала» мужа, чтобы тот простился с гостьей. «Та ему сказала, что он будто сердитый. Он очень удивился и сказал ей: вот лучше не жить с людьми; тут Бог знает как занят человек, ему тяжело и грустно, и люди тотчас придумают, что он сердится. «Да ведь я пошутила», — ответила ему К. И.»¹⁰.

Очевидно, он показался «сердитым» после объяснения с Миллером, ибо другими гостями было замечено, что в этот день он был «вполне здоров и весел и ничто не предвещало того, что произошло через несколько часов»¹¹.

В пятницу, 23 января, у них с Анной Григорьевной зашёл разговор о предстоящем лете. Он полагал, что на деньги, вырученные за «Карамазовых», и за будущий «Дневник» (набиралось тысяч двенадцать—пятнадцать, а тысяч пять можно было занять у знакомых), следует купить имение под Москвой: «Ну, так я поеду в Эмс, а ты поедешь в имение и будешь там хозяйничать, и проживём до осени, а там сюда. Ты и дети отлично поправитесь».

«Дни мои сочтены», — говорит он за три месяца до смерти. За пять дней — строит обширные планы на будущее.

«Всегда мечтал об имении, — продолжает свою запись Анна Григорьевна, — но непременно спрашивал: есть ли лес. На пахоту и луга не обращал внимания, а лес, хотя бы и небольшой, в его глазах составлял главное богатство имения... Не любил дуба, а любил лиственный лес, не расчищенный, а скорее запущенный, разрос-

* В черновых записях Анны Григорьевны эпизод этот выглядит несколько иначе: «Зашёл разговор о перемене программы и о том, чтоб ему не читать «Онегина», которого прочтёт вместо него Герард с К (?). Фёдор Михайлович был недоволен, почти обижен...»⁹ Выходит, следовательно, что не сам Достоевский отказался от чтения главы из «Онегина», а, наоборот, его просьба о закреплении за ним этого отрывка не была уважена. Что, естественно, и вызвало его недовольство.

шийся». Он был согласен, чтобы его долю куманинского наследства выделили лесом, который он стал бы растить, — к совершеннолетию детей лес уже бы шумел: «...пусть все продают; а я не продам, из принципа не продам, чтобы не безлесить Россию»¹².

До чеховского «Вишнёвого сада» оставалось около четверти века.

Но вернёмся к воскресенью 25 января.

После ухода гостей он отправился в типографию — отдать последний листок «Дневника» и просить завтра же прислать корректуру. Он вернулся в половине седьмого, когда вся семья садилась обедать: это была их последняя (если не считать завтрашней, роковой) совместная трапеза.

«За обедом всё время говорили о Пиквикском клубе, — записывает Анна Григорьевна (очевидно, перед тем она с детьми была на спектакле. — *И. В.*), — вспоминали все подробности, рассказывали ему, а затем я спросила, кто же был этот актёр. «Мистер Джингл», — сказал Фёдор Михайлович»¹³.

Разговор этот доставлял ему видимое удовольствие.

Жена А.С. Суворина, Анна Ивановна, свидетельствует: однажды в дни Пушкинского праздника она вместе с мужем сидела в ресторане Тестова — в компании литераторов: Островского, Григоровича, Достоевского и других. Подавали расстегаи. «Вдруг Ф. М. обратился ко мне с вопросом: как нравится мне Диккенс? Я со стыдом ему сказала, что я не читала его. Он удивился и замолчал». Разговор шёл своим чередом, как вдруг Достоевский громко заявил: «Господа, между нами есть счастливейший из смертных!» Анна Ивановна обвела компанию недоумённым взглядом: все присутствующие были людьми довольно пожилыми, и особенного счастья на их лицах не было заметно. Меж тем Достоевский продолжал: «Моя соседка Анна Ивановна... Да, да! она! Господа, счастливая Ан<на> Ив<ановна> ещё не читала Диккенса, и ей, счастливнице, предстоит ещё это счастье! Ах, как бы я хотел быть на её месте!»

Диккенс — один из его любимейших авторов: об этом он говорил неоднократно. И — повторил А.И. Сувориной: «Когда я очень устал и чувствую нелады с собою, никто меня так не успокаивает и не радует, как этот мировой писатель!»¹⁴

Он вспоминает о нём за своим последним застольем.

«После обеда, — записывает Анна Григорьевна, — пошёл пить свой кофе, а затем сел писать своё письмо к Каткову, а написав, позвал меня и прочёл его мне»¹⁵.

«Письмо к Каткову» (на самом деле — к Любимову) — это, по всей видимости, последние строки, написанные его рукой (если не считать деловых заметок, сделанных назавтра, — о продаже его сочинений). Письмо помечено 26 января: очевидно, оно переписано набело с 25-го на 26-е. Анне Григорьевне мог читаться черновик.

Автор письма просит редакцию «Русского вестника» выслать ему остаток всё ещё причитающейся за «Карамазовых» суммы. «Так как Вы, столь давно уже и столь часто, были постоянно благосклонны ко всем моим просьбам, то могу ли надеяться ещё раз на внимание Ваше и содействие к моей теперешней последней, может быть, просьбе?»¹⁶

Исследователи склонны относить это послание ко дню 26 января, полагая, что слова о *последней* просьбе могли быть произнесены только после появления первых признаков смертельной болезни. Но такой смысл они приобретают лишь ретроспективно. Вечером 25 января «последняя просьба» могла означать надежду на близкую материальную независимость, намёк на грядущий отказ от унижительных выпрашиваний аванса. «...Я на это со смехом сказала, — записывает Анна Григорьевна, — что вот будешь писать опять «Карамазовых», опять будешь просить вперед»^{*17}.

Как бы там ни было, его последнее собственноручное послание мало отличалось от десятков ему подобных: всю свою жизнь он заботился о деньгах.

«Вечером ходил гулять, — продолжает Анна Григорьевна (это его последняя прогулка. — *И. В.*), — а затем...»¹⁹ Далее в записи следуют стенографические знаки...

Этой зашифрованности соответствует некая неопределённость в развитии дальнейших событий. Но мы отложим на некоторое время вопрос о том, насколько литературное изложение упомянутых событий соответствует их действительному содержанию. Примем пока некритически, на веру ту версию, которая почитается «официальной».

* Катков писал в некрологе: «...27 января получили мы от него собственноручное письмо, писанное твёрдым почерком и не возбуждавшее никаких опасений»¹⁸. Письмо действительно написано ясным, почти каллиграфическим почерком, вряд ли возможным после первых приступов болезни.

«Закон крови» в действии

Ночью, как утверждает Анна Григорьевна, с её мужем случилось «маленькое происшествие: его вставка с пером упала на пол и закатилась под этажерку (а вставкой этой он очень дорожил, так как, кроме писания, она служила ему для набивки папирос); чтобы достать вставку, Фёдор Михайлович отодвинул этажерку. Очевидно, вещь была тяжёлая, и Фёдору Михайловичу пришлось сделать усилие, от которого внезапно порвалась лёгочная артерия и пошла горлом кровь; но так как крови вышло незначительное количество, то муж не придал этому обстоятельству никакого значения и даже меня не захотел беспокоить ночью»²⁰.

Заметим, что единственным участником (и свидетелем) ночного происшествия был сам Достоевский: Анна Григорьевна говорит с его слов.

Заметим также, что он не пожелал будить мирно спящую жену.

В понедельник 26 января он поднялся, по обыкновению, в час дня и, когда Анна Григорьевна вошла в кабинет, сообщил ей о ночном событии. Анна Григорьевна «страшно встревожилась» и, не говоря ничего мужу, послала мальчика Петю (того самого П.Г. Кузнецова, чьи воспоминания приводились выше) за доктором Я.Б. фон Бретцелем. Но тот уже отбыл к больным и смог явиться только к пяти.

Анна Григорьевна сообщает, что всё это время её муж «был совершенно спокоен, говорил и шутил с детьми и принялся читать “Новое время”». Далее у Анны Григорьевны следует одно довольно загадочное место.

«Часа в три, — пишет воспоминательница, — пришёл к нам один господин, очень добрый и который был симпатичен мужу, но обладавший недостатком — всегда страшно спорить. Заговорили о статье в будущем «Дневнике»; собеседник начал что-то доказывать, Фёдор Михайлович, бывший несколько в тревоге по поводу ночного кровотечения, возражал ему, и между ними разгорелся горячий спор. Мои попытки сдержать спорящих были неудачны, хотя я два раза говорила гостю, что Фёдор Михайлович не совсем здоров и ему вредно громко и много говорить. Наконец, около пяти часов, гость ушёл и мы собирались идти обедать, как вдруг Фёдор Михайлович присел на свой диван, помолчал минуты три, и вдруг, к моему ужасу, я увидела, что подбо-

родок мужа окрасился кровью и она тонкой струей течёт по его бороде»²¹.

В первой биографии Достоевского, опубликованной в 1883 году, о предобеденном визите таинственного господина не говорится ни слова. Сказано кратко: «В 4 часа пополудни сделалось первое кровотечение горлом»²². Причины такой лаконичности обнаруживаются в письме Анны Григорьевны Страховой от 21 октября 1883 года.

«В течение дня, — пишет Анна Григорьевна, — ему (Достоевскому. — *И. В.*) пришлось иметь крупный разговор и почти ссору с своей сестрой Верой Михайловной, приехавшей из Москвы (конечно, об этом не следует упоминать в печати)»²³.

В печати об этом тогда упомянуто не было. И даже через несколько десятилетий, работая над своими воспоминаниями, Анна Григорьевна не сочла возможным поведать о том, что «один господин», очень добрый и симпатичный её мужу, но обладавший пагубной привычкой спорить, — не кто иной, как родная сестра Достоевского Вера Михайловна.

Между тем предмет спора был отнюдь не новый.

Родственная тяжба вокруг куманинского наследства тянулась уже несколько лет — с периодическими обострениями: вспомним хотя бы эпизод с П.П. Казанским (см. главу «Свидетель казни»). Тётушка умерла в 1872 году, но лишь совсем недавно Достоевский был наконец формально введён во владение частью её рязанского имения. При этом он должен был выплатить определённые суммы в пользу сестёр, не участвовавших в разделе.

Дочь Достоевского пишет, что её тетки были «крайне недовольны» таким поворотом дела: «Тут они вспомнили, с какой лёгкостью их брат Фёдор отказался взамен ничтожной и тотчас выплаченной суммы от наследства своих родителей (действительно, в 1844 году он уступил свою часть наследства за тысячу рублей. — *И. В.*) Они думали, что он и вторично легко позволит обобрать себя...»*

Конечно, Любовь Фёдоровна стоит на *семейной* точке зрения. Она указывает на то, что все сёстры её отца находились

* Справедливости ради заметим, что тогдашний опекун семейства Достоевских, П.А. Карепин, всячески отговаривал будущего автора «Бедных людей» от подобного шага и согласился пойти на это только по настоятельному требованию самого Достоевского. Так что о позволении «обобрать себя» говорить не приходится.

в гораздо лучших материальных условиях, чем семья Достоевских: «Моя тётка Александра владела домом в Петербурге, у тётки Варвары было несколько домов в Москве, а тётка Вера получила имение родителей Даровое». Тем не менее, «зная великодушие отца», Любовь Фёдоровна убеждена, «что он отдал бы свою долю наследства сёстрам, если бы его обязанности по отношению к жене и детям не были более настоятельными».

С сестрой Александрой Достоевский был в ссоре, и она не бывала в их доме; с сестрой Варварой отношения были тёплые (вспомним её декабрьское письмо); сестра Вера были любима. Может быть, именно поэтому она и приняла на себя довольно щекотливую миссию: попытаться уговорить его принести *братскую* жертву.

Согласно свидетельству Анны Григорьевны, объяснение с «одним господином» имело место до обеда. По словам же Любви Фёдоровны, — во время застолья.

Эта деталь существенна. Если сцена происходила во время обеда, на котором присутствовали и дети, то Любовь Фёдоровна может опираться на собственные воспоминания. В противном же случае вся информация исходит от Анны Григорьевны.

Вера Михайловна была у Достоевских около трёх и покинула их дом в четыре или в пять. Достоевские обычно обедали позже. С другой стороны, трудно предположить, чтобы московскую гостью отпустили без угощенья.

Обратимся, однако, к воспоминаниям Любви Фёдоровны.

Дочь Достоевского пишет, что семейный обед (который она ошибочно относит к 25 января) начался прекрасно: брат и сестра увлеклись «обменом воспоминаний об играх и развлечениях в детские годы». Впрочем, вскоре Вера Михайловна перешла к делу.

«Отец нахмурился, моя мать пыталась перевести разговор... Ничто не помогало: тетка Вера была наименее интеллигентной из всей семьи». Тон беседы повысился, посыпались взаимные упреки, и наконец тетка Вера разразилась слезами. «Достоевский потерял терпение и, чтобы прекратить тяжёлые пререкания, встал из-за стола до окончания обеда. В то время как моя мать вела обратно свою золовку, продолжавшую плакать и собиравшуюся как можно скорее отправиться домой, мой отец скрылся в свою комнату».

Итак, версия Анны Григорьевны, изложенная в её воспоминаниях, опровергается дважды: самой Анной Григорьевной (в письме к Страхову) и воспоминаниями дочери. Причём дочь приводит такие подробности, о которых её мать предпочитает умалчивать. Если даже допустить, что семейный обед всё-таки состоялся, он был прерван при весьма драматических обстоятельствах.

Любовь Фёдоровна пишет далее, что её отец, сев за письменный стол, тронул руками свой рот и усы — и в ужасе отнял их: «они были в крови»²⁴.

Кровное родство явило свой забытый дословный смысл.

Но с другой стороны: он — так или иначе — исполнил «закон крови на земле», о котором толковал в последней записной книжке. Он исполнил его не только символически, но и буквально: он расплатился *кровью*.

Любовь Фёдоровна говорит, что её отец был «в ужасе». Её мать, наоборот, утверждает, что в ужасе была она, Анна Григорьевна, сам же больной «не был испуган, напротив, стал уговаривать меня и заплакавших детей успокоиться...» Он повёл детей к письменному столу и стал показывать им только что полученное объявление о подписке на юмористический журнал «Осколки». На картинке были изображены два рыбака, которые запутались в сетях и свалились в воду. Отец прочёл детям стихотворные подписи, «и так весело, что дети успокоились»²⁵.

Что же это за стихи, какие он, гениальный исполнитель «Пророка», декламировал последний раз в своей жизни? Имеет смысл привести текст — прежде он никогда не воспроизводился:

После жирного обеда
Мирно удят два соседа.

«Я боюсь, как бы с вами
Не сцепиться мне крюками!..»

Трах! сбылося предсказанье.
Ведь сцепились!.. наказанье!..

Чем распутывают дольше,
Тем запутывают больше...

Все опутались крюками
С головами и руками...

Перепутались, сцепились —
Бух! и в воду повалились.

Но, читатель, ты не бойся,
Выслушай и успокойся:

Их спасли городовые...
Нынче строгости такие!..²⁶

Разумеется, это не Пушкин («Тятя! тятя! наши сети...»); аудитория, однако, осталась вполне довольной.

Наконец явился фон Бретцель: только он начал выстукивать грудь больного, как кровь полилась сильнее прежнего. Достоевский потерял сознание.

Анна Григорьевна не говорит, как скоро он пришёл в себя, но, очевидно, беспмятство продолжалось недолго. Когда наконец он очнулся, первые его слова были: «Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедаться и причаститься»²⁷.

Толстой перед смертью опасался, что ему, «отпавшему» от Церкви, помимо его воли навяжут исполнение церковных таинств. Достоевский умирает «как все»: он страшится не успеть исполнить требования веры.

Из соседней Владимирской церкви призвали священника отца Николая. Анна Григорьевна говорит, что её муж встретил батюшку «спокойно и добродушно» и затем долго исповедовался и причащался. Что говорил Достоевский отцу Николаю, осталось неизвестным. Тайна исповеди, слава богу, нерушима до сих пор.

Хотя доктор и уверял, что особой опасности нет, больной делает всё, что подобает умирающему: исповедуется, прощается с женой и детьми, благословляет их. Он не хочет, чтобы смерть застала его врасплох.

«Потеря крови сильно его истожила, — пишет Суворин, — голова упала на грудь, лицо потемнело»²⁸.

Вечером приехал профессор Кошлаков (фон Бретцель послал ему тревожную записку). Опытный медик не стал беспокоить больного осмотром, а Анне Григорьевне сказал, что так как крови

излилось сравнительно немного («стакана два»), «то может образоваться «пробка», и дело пойдёт на выздоровление»²⁹.

Кошляков вообще был оптимистом: в самый день смерти он уверял, что «спасти ещё возможно»³⁰.

Доктора рекомендовали больному как можно меньше разговаривать и двигаться. Фон Бретцель остался бодрствовать у постели своего пациента.

В эту ночь — с понедельника на вторник — Анна Григорьевна садится за письмо О.Ф. Миллеру:

«...считаю нужным вас уведомить, что Фёдор Михайлович не в состоянии читать на вечере 29 января. Вчера в шесть часов вечера (по другим источникам — в четыре или в пять. — *И. В.*) Фёдор Михайлович опасно заболел: у него лопнула лёгочная артерия и сильно шла горлом кровь... У нас был консилиум, и Кошляков настоятельно требует, чтобы Фёдор Михайлович не двигался и не говорил в течение недели.

Я в страшном отчаянии; опасность ещё не прошла: ещё одно такое кровотечение, и Фёдора Михайловича не станет»³¹.

Больной, впрочем, провёл ночь спокойно.

«Не удерживай...»

«На следующее утро, — пишет Любовь Фёдоровна, — он проснулся бодрый и здоровый»³².

Появилась надежда: кровотечение не повторялось. Больной несколько повеселел; позвал детей, немного с ними поговорил. Днём зашёл метранпаж — потолковать о печатающемся «Дневнике». «Ну, что скажете, барин?» — обратился к нему Достоевский: так шутливо называл он своего выпускающего³³.

Метранпаж принёс корректуры: в них оказалось семь лишних строк. Достоевский встревожился. Анна Григорьевна нашла выход: предложила сократить несколько строк на предыдущих страницах, что и проделала собственноручно. Больной совершенно успокоился, узнав, что номер, посланный Н.С. Абазе (на сей раз, очевидно, в гранках), начальником всей русской цензуры благополучно пропущен³⁴.

Он чрезвычайно заботится о том, чтобы первый «Дневник» вышел, как это и было объявлено, в последний день месяца — 31 января.

Шёл вторник, 27 января.

«Ему предписали полное спокойствие, которое необходимо в подобных случаях, — пишет Суворин. — Но по натуре своей он не был способен к покою, и голова постоянно работала. То он ждёт смерти, быстрой и близкой, делает распоряжения, беспокоится о судьбе семьи, то живёт, мыслит, мечтает о будущих работах, говорит о том, как вырастут дети, как он их воспитает...»³⁵

В другой своей статье Суворин рисует схожую картину: «Весь день был весел и спокоен, шутил, говорил о будущих своих работах, говорил о своих детях, успокаивал окружающих. “Чего вы меня отпеваете? Я ещё вас переживу”»³⁶.

Ему остаётся жить сутки.

Вновь приезжал Кошлаков: «нашёл, что положение значительно улучшилось, и обнадёжил больного...»³⁷ Велено было как можно больше спать: поэтому все улеглись рано. Анна Григорьевна постелила себе в кабинете, на тюфяке, рядом с диваном.

Сохранилась беглая черновая запись Анны Григорьевны об этом дне: «Во вторник была Штакеншнейдер, Орест Миллер, ходила за виноградом, ел икру с белым хлебом, пил молоко. Был Кошлаков, а после него Бретцель, разъехались, ходил кое-куда, освежал комнату. Вечером Верочка и Павел Александрович (пасынок. — *И. В.*)³⁸, рано легли, пил много лимонаду, сделанного мамой, часто. Во вторник боялся, что съедят весь виноград, а когда принесли ещё винограда, то просил меня есть».

Все эти подробности, может быть незначительные, дороги Анне Григорьевне. Ведь это она собственноручно поила больного молоком, давала ему хлеб с икрой. Зная его любовь к сладкому, сама ходила за виноградом (недешёвым, надо думать, в январе месяце). Отметила его раздражительную мнительность («боялся, что съедят весь виноград») и — его последний знак внимания («просил меня есть»).

Пушкина перед смертью жена кормила морошкой.

«Во вторник вечером перед его сном, — продолжает свои записи Анна Григорьевна, — я ходила наверх попросить господина не ходить, так как эта вечная ходьба очень его беспокоила. Господин перестал»³⁹.

Отметим, что в доме довольно хорошая слышимость: эта деталь нам ещё пригодится.

Анна Григорьевна ночью несколько раз поднималась и при свете ночника смотрела на больного: он спал спокойно. Наконец забылась и она.

Наступила среда, 28 января.

«Проснулась я около семи утра, — говорит Анна Григорьевна, — и увидела, что муж смотрит в мою сторону.

— Ну, как ты себя чувствуешь, дорогой мой? — спросила я, наклонившись к нему.

— Знаешь, Аня, — сказал Фёдор Михайлович полушёпотом, — я уже три часа как не сплю и всё думаю, и только теперь сознал ясно, что я сегодня умру».

Не слушая её отчаянных разуверений, он сказал: «Зажги свечу, Аня, и дай мне Евангелие!»⁴⁰

Это была книга, подаренная ему в Сибири жёнами декабристов, — единственная, которую он мог иметь в остроге, — та самая. С ней он не расставался никогда и под её обложку прятал, как помним, бесхитростные записки своих детей. Евангелие служило и книгой гадательной: он любил открыть его наудачу и прочесть то, что стояло на первой странице слева. И сейчас он поступил точно так же.

Открылось Евангелие от Матфея: глава III, стихи 14–15 («Подавляя слёзы, — дополняет Любовь Фёдоровна, — моя мать прочла громким голосом»⁴¹): «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду»⁴².

— Ты слышишь — «не удерживай» — значит, я умру, — сказал муж и закрыл книгу»⁴³.

Она хорошо запомнила этот утренний разговор. Муж стал её утешать, «говорил мне милые ласковые слова, благодарил за счастливую жизнь, которую он прожил со мной». Всё это Анной Григорьевной сообщается в пересказе, и только одна фраза даётся прямой речью: «Затем сказал мне слова, которые редкий из мужей мог бы сказать своей жене после четырнадцати лет брачной жизни:

— Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно!»⁴⁴

В своих черновых заметках Анна Григорьевна даёт несколько иную редактуру: «...просил прощения, любил, [уважал, изменял лишь мысленно, а не на деле...]» Слова, поставленные в квадратные скобки, записаны стенографически⁴⁵.

Около девяти часов он спокойно уснул, не выпуская из своих рук руку жены. «Но в одиннадцать часов муж внезапно проснулся, привстал с подушки, и кровотечение возобновилось».

Так пишет Анна Григорьевна. Суворин добавляет некоторые подробности:

«С утра ему опять было хорошо. Он непременно сам хотел надеть себе носки. Никакие увещания и напоминания о спокойствии не подействовали. Он сел на постели и стал обуваться. Это мелочь, но в подобных болезнях всё зависит от самых ничтожных мелочей. Усилие, которое он сделал, вызвало новое кровотечение, которое повторялось несколько раз. Он стал тревожнее и тревожнее»⁴⁶.

«Он стал тревожнее и тревожнее», — пишет Суворин. Напротив, Анна Григорьевна уверяет, что её муж сохранял полное присутствие духа и по его «умиротворённому лицу было ясно видно, что мысль о смерти не покидает его и что переход в иной мир ему не страшен». Когда после утреннего кровотечения Анна Григорьевна попыталась утешить больного, он «только печально покачал головой, как бы вполне убеждённый в том, что предсказание о смерти сегодня же сбудется»⁴⁷.

Существует ещё один (сравнительно недавно обнаруженный) документальный источник, в котором зафиксированы последние часы Достоевского. Это письма племянницы — дочери его младшего брата Е.А. Рыкачёвой и её мужа к их отцу и тестю в Ярославль.

28 января в два часа дня Е.А. Рыкачёва была у Достоевских. «Дядя был покоен, — пишет она Андрею Михайловичу, — и к нему никого не пускали, хотя и говорили ему обо всех, кто приходил навестить его, — он непременно этого желал»⁴⁸.

В этот день в «Новом времени» появилось первое сообщение об его болезни. Тут же пошли посетители. Колокольчик над входной дверью звонил непрерывно: его пришлось привязать. Хотя пришедших к больному не пускали, сам он, как сообщает Анна Григорьевна, «был чрезвычайно доволен общим вниманием и сочувствием, шёпотом меня расспрашивал и даже продиктовал несколько слов в ответ на одно доброе письмо»⁴⁹.

«Любопытствовал, кто приходил, продиктовал бюллетень»⁵⁰, — подтверждается в черновых записях.

«Бюллетень» был ответом на встревоженное письмо графини Е.А. Гейден. В бумагах Анны Григорьевны сохранился черно-

вик: часть его написана обычным письмом, часть — стенографическими знаками. На этом же листке имеется запись (очевидно, позднейшая): «Продиктовано мне в ответ на письмо Графини Гейден в 5 часов или в $\frac{1}{2}$ 6-го в день смерти».

Он диктует ей свой последний текст: сам даёт оценку своему положению. «26-го числа в лёгких лопнула артерия и залила наконец лёгкие. После 1-го припадка последовал другой, уже вечером, с чрезвычайной потерей крови с задушением. С 1/4 <часа> Фёдор Михайлович был в полном убеждении, что умрёт; его исповедили и причастили. Мало-помалу дыхание поправилось, кровь унялась. Но так как порванная жилка не зажила, то кровотечение может начаться опять. И тогда, конечно, вероятна смерть. Теперь же он в полной памяти и в силах, но боится, что опять лопнет артерия»⁵¹.

Нет оснований не верить Анне Григорьевне, что этот «бюллетень» продиктован её мужем за несколько часов до смерти. Но тогда возникают некоторые недоумения.

Почему в тексте, продиктованном во второй половине дня 28 января, ни словом не упоминается об утренних и дневных кровотечениях, а говорится лишь о «припадках», бывших 26-го? Уж скорее подобные сведения могли относиться к 27-му, когда действительно не наблюдалось обострения болезни. Но, с другой стороны, первое печатное известие о нездоровье Достоевского появилось, как уже сказано, 28 января, и письмо графини Гейден могло быть откликом именно на это газетное сообщение.

Можно предположить, что утреннее и дневное кровотечения были не столь значительны и больной не счёл их достойными упоминания. Это как будто находит подтверждение в письме племянницы.

«...Приехала я в 2 часа дня, — пишет Е.А. Рыкачёва, — тогда ещё не теряли надежды и послали за Кошлаковым... Во время моего пребывания кровь у дяди почти не выделялась, и все очень надеялись на его выздоровление...»⁵²

В «бюллетене», продиктованном 28 января, содержится очень точная оценка ситуации. Его автор прекрасно сознаёт грозящую ему опасность и не питает на этот счёт никаких иллюзий. Вместе с тем графиня Гейден уведомляется, что больной «в полной памяти и в силах».

Он не только пребывает в полном сознании, но и отдаёт Анне Григорьевне кое-какие деловые распоряжения. Так, он категори-

чески настаивает, чтобы в случае его смерти подписчики «Дневника писателя» незамедлительно получили назад свои подписные деньги. «Не один, а несколько раз он возвращался к этим деньгам»⁵³, — с некоторым удивлением отмечает одна из петербургских газет.

Он не хотел оставаться должен никому.

Как протекали его последние часы? Об этом сохранились отрывочные записи Анны Григорьевны. Трудность состоит в том, что некоторые из них могут относиться и к предыдущим дням: в этом следует разобраться.

«Утром, пока я ездила в типографию, — записывает Анна Григорьевна, — был Покровский (знакомый Достоевского и его страстный поклонник. — *И. В.*), потом Майков, Рыкачёва, Орест Миллер, Кашпирева (издательница «Семейных вечеров». — *И. В.*), Павел Александрович, Михаил Михайлович (племянник. — *И. В.*), Григорович, Майков и Анна Ивановна (жена Майкова. — *И. В.*)»⁵⁴.

Интересно: где был в это время Николай Николаевич Страхов? Ни в одном источнике, содержащем информацию о болезни и смерти Достоевского, о нём не упоминается.

Из записи Анны Григорьевны следует, что утром 28 января она ездила в типографию — разумеется, по делам «Дневника писателя». Что заставило её отлучиться из дома?

«Новое время» писало 31 января: «Утром, в день смерти... ему принесли свёрстаный последний лист этого номера, уже прочитанный им в корректуре: требовалась только подпись его для печати. Он не мог этого сделать. Жена его сказала посланному: «Приходите завтра — ему будет лучше, и он подпишет». Завтра Ф. М. лежал уже на столе»⁵⁵.

Не с одной ли из этих корректур и направилась Анна Григорьевна в типографию? Автор, очевидно, не хотел мириться ни с малейшей задержкой.

«Я весь день ни на минуту не отходила от мужа...»⁵⁶ — говорит Анна Григорьевна в позднейших воспоминаниях, противореча своей же только что приведённой записи. Не в укор ей будь замечено, всё же отходила: она оставалась его *помощницей* до конца.

И он до конца оставался самим собой: только стилистическое целомудрие не позволяет нам выразиться, что он умер с корректурами в руках⁵⁷.

«Когда, — продолжает Анна Григорьевна, — я предложила ему по совету Кошлякова нанять студента для присмотра за ним,

он согласился, но говорил: «Как я вас разоряю...» И ещё: «О студенте — взять его. “Сколько на меня истратили”».

Он боится, что, если болезнь затянется, он станет непосильным бременем для семьи.

Проследим далее записи в тетради Анны Григорьевны.

«Меня бы теперь хоронили». Сердился насчёт чаю. “Это раздражительность. Попроси, чтобы он приехал (Кошлаков). Видишь, не удерживай”».

«Меня бы теперь хоронили» — то есть на третий день, если бы первое горловое кровотечение закончилось смертельным исходом. «Сердился насчёт чаю» — это его вечная претензия, что чай слишком крепко или слишком слабо заварен (недаром любил заваривать сам). И тут же извинение — в форме не очень лестной самооценки: «Это раздражительность».

«В день смерти беспокоился о печке, хорошо ли её закрыли, пусть Марья придёт. “Ты ещё не пообедала?”»

Последние его поступки, жесты, слова — всё обыденно, просто; ничего «для истории».

«Читала «Новое время», вторник»⁵⁸, — записывает Анна Григорьевна. Газета извещала о том, что к генералу Скобелеву, две недели назад захватившему в прикаспийских степях укрепление Геок-Тепе, подошли свежие силы. Сообщалось также, что представители великих держав в Константинополе, обсуждавшие греко-турецкий вопрос, «разошлись без всяких результатов»⁵⁹.

«Недружелюбно встретил незнакомого доктора», — записывает Анна Григорьевна: как и следовало ожидать, приехавший А.А. Пфейфер не сумел расположить подозрительного, не доверяющего «чужим» врачевателям пациента...

«Прочти «Новое время», что сказано обо мне», два раза, не скупал. «Конец, конец, зальёт. Если б моя прежняя мнительность...»⁶⁰

Он просит прочесть «Новое время» за среду, 28 января: здесь — первое печатное известие об его болезни. Оно гласило:

«В сообщаемой сегодня программе Пушкинского вечера читатели не найдут возвещённого прежде имени Ф.М. Достоевского. Он сильно занемог вечером 26 января и лежит в постели. Люди, ещё так недавно попрекавшие его тем, что он слишком часто принимает овации на публичных чтениях, могут теперь успокоиться: публика услышит его не скоро. Лишь бы сохранилась для рус-

ского народа дорогая жизнь глубочайшего из его современных писателей, прямого преемника наших литературных гениев!»⁶¹

Он не был избалован такими оценками. Можно было попросить Анну Григорьевну прочитать текст «два раза» — и при этом не скучать.

Между тем повышенная тональность в заметке «Нового времени» предвещает уже близкие некрологи.

В том же номере газеты сообщалось, что парижская палата депутатов продолжала прения о восстановлении разводов. Испанский кабинет подал в отставку. Застрелился командир пензенского полка полковник Муромцев. Блистательная Порта не разрешила учреждения европейских колоний в Палестине.

Всё шло своим чередом.

«Я поздравила его с принятием св. тайн, — записывает Анна Григорьевна, — но он сказал, что ещё не причащался, сомневался и спросил священника, хорошо ли он сделал, что причастился, а вдруг выздоровеет»⁶².

К какому дню относится эта запись? Анна Григорьевна утверждает, что визит священника состоялся вечером 26 января. Но из приведённого текста как будто следует, что больной принял причастие не сразу, а лишь после некоторых колебаний. Всё это могло происходить в один вечер — 26-го. Однако в письме Е.А. Рыкачёвой от 29 января сказано: «Третьего дня он причащался...» М.А. Рыкачёв пишет ещё определённое: «27-го он приобщился к тайне...»⁶³ Можно, следовательно, предположить, что либо священника пригласили не сразу, а только на второй день, либо (что вероятнее) — он посещал Достоевского дважды.

...Когда умирающий Толстой лежал в доме начальника станции в Астапове, весь мир затаив дыхание ждал, как разрешатся его отношения с Богом (с «официальным», разумеется). Святейший синод и департамент полиции слали телеграммы; в Астапово срочно направлялись священнослужители высокого ранга. Толстой не принял никого: он умер нераскаянный и отлучённый*.

Смерть Толстого — по своему драматизму и даже по внешней обстановке — событие эпического масштаба. Современники недаром говорят, что газеты раскупались тогда на улицах, как

* Строго говоря, акта отлучения не было: определением Синода от 20–22 февраля 1901 года Толстой был объявлен «отпавшим» от Церкви.

в день объявления войны. Толстой покидает этот мир, «хлопнув дверью»: громовое эхо ещё долго раскатывается над землёй...

Достоевский умирает, можно сказать, *банально* — благословив домашних и приведя в относительный порядок свои имущественные и религиозные дела. Он отдаёт Богу Богово: спешит неукоснительно исполнить предписываемые Церковью обряды, не ставя это, впрочем, себе в заслугу. В его поступках нельзя усмотреть ни бунта, ни показного смирения. Всю жизнь мучительно выяснявший отношения с Богом, умирая, он делает всё *как положено*. Исповедующий религию «серых зипунов», он не хочет выделяться из этого большинства.

Толстой покидает Ясную Поляну в разгар великих страстей, разыгравшихся вокруг истории с завещанием, — истории, в которую оказались втянутыми десятки людей и которая по своим «сюжетным ходам» напоминает захватывающий детектив.

Достоевский не оставляет никакого формального завещания. Его наследство не столь значительно, чтобы вызывать страсти. И тем не менее кое-какие движения у одра умирающего имели место.

По словам Анны Григорьевны, «очень волновался» пасынок Достоевского П.А. Исаев. Он повторял всем — «знакомым и незнакомым, что у «отца» не составлено духовного завещания и что надо привезти на дом нотариуса, чтобы Фёдор Михайлович мог лично распорядиться тем, что ему принадлежит»⁶⁴. Однако профессор Кошлаков якобы воспротивился этим намерениям: он полагал, что подобная *деловая* сцена может вызвать волнение и погубить больного.

Так говорит Анна Григорьевна, не питавшая, как известно, особых симпатий к Павлу Александровичу. Однако из письма Рыкачёвой вырисовывается несколько иная картина: «Анна Григорьевна и дети плачут и волнуются... мне никто не мог ничего толком сказать, так как все суетились. Один пасынок Фёдора Мих<айловича> отличался спокойствием и всех успокаивал»⁶⁵.

Возможно, именно тогдашнее спокойствие 33-летнего Павла Александровича и вызвало у Анны Григорьевны ретроспективное раздражение. Конечно, ей не могли нравиться претензии сомнительного родственника. Она вразумительно объясняет, что ни в каком духовном завещании не было надобности, ибо ещё в 1873 году её муж подарил ей литературные права на все свои произведе-

дения, а те несколько тысяч рублей, которые «Русский вестник» остался им должен и которые составляли их единственный капитал, по праву принадлежат ей и детям.

Павел Александрович непременно желал войти к больному и, когда доктор его не пустил, стал заглядывать в щёлку. «Фёдор Михайлович заметил его подглядывания, взволновался и сказал: «Аня, не пускай его ко мне, он меня расстроит!»»⁶⁶

В черновой тетради записано так: «Не хотел звать Пашу, качал головой, чтоб тот не смотрел в щёлку. Позвал Пашу, рассердился и отдёнул руку, когда тот её поцеловал».

Может быть, в данном случае недовольство больного было вызвано не всем известным легкомыслием Павла Александровича, а, напротив, его излишней деловитостью — неуместным стремлением оформить свои права?*

Но вот ещё запись в тетради Анны Григорьевны, которая как будто свидетельствует о том, что вопрос обсуждался: «“Все деньги твои”. Нотариус подписал повестки, подписал доверенность («как бы не обидеть детей»)»⁶⁷.

Возможны два предположения. Либо был составлен (причём по инициативе самой Анны Григорьевны) какой-то заверенный нотариусом формальный акт («доверенность»), закрепляющий все наследственные права за супругой завещателя, либо здесь имеется в виду старый, 1873 года, документ.

«Как бы не обидеть детей»: то есть, разумеется, детей уже взрослых, достигших совершеннолетия.

В январе 1881 года Феде было девять лет, Любе — одиннадцать.

В последние часы он несколько раз шептал: «Зови детей». «Я звала, муж протягивал им губы, они целовали его и, по приказанию доктора, тотчас уходили, а Фёдор Михайлович провожал их печальным взором»⁶⁸.

В эти дни он призывает их неоднократно, просит любить и не оставлять мать.

«Анна Григорьевна и Лиля страшно плакали, когда выходили по временам от дяди», — пишет Е.А. Рыкачёва. «Лиля, — дополняет М.А. Рыкачёв, — была в ужасном волнении и удивительно всё понимала. «Папочка, папочка, всегда я буду помнить, что ты мне говоришь, всю жизнь мою ты будешь как бы при мне»»⁶⁹.

* Об отношениях Достоевского и П.А. Исаева см.: *Игорь Волгин. Сага о Достоевских // Октябрь. 2009. № 2.*

Через много лет Л.Ф. Достоевская следующим образом попытается передать слова отца — так, как она тогда их запомнила: «Если бы вам даже случилось в течение вашей жизни совершить преступление, то всё-таки не теряйте надежды на Господа. Вы Его дети; смиряйтесь перед Ним, как перед вашим отцом, молитесь Ему о прощении, и Он будет радоваться вашему раскаянию, как он радовался возвращению блудного сына»⁷⁰.

На смертном одре он говорит детям не о счастливой и безмятежной жизни — он предупреждает их о возможном грехе и падении и умоляет не отчаиваться и не терять веры в искупление, помнить, что и в последней крайности нельзя отказываться от надежды. При этом из всех библейских сюжетов он выбирает именно тот, который вполне отвечает духу его творений.

Замечено, что всё творчество Достоевского есть развернутая метафора притчи о блудном сыне.

За два часа до кончины он просит отдать девятилетнему Феде своё Евангелие.

Конец

Если воспоминания Анны Григорьевны о событиях последних дней логичны, стройны и последовательны, то черновые записи её о тех же днях беспорядочны, кратки и не всегда поддаются расшифровке.

«Просил зубы вымыть, завёл часы, причесался, зачем я не в ту сторону... «Ты спишь? — Нет, до свидания, я тебя люблю. — И я также»... Виноград алмерийский и клюква в сахаре; киевское варенье, чулки, панталоны. “Это была лишь раздражительность... Какая мучительно длинная ночь, только теперь я понял, что ещё кровотечение, и я могу умереть. Дай ему сигару”»⁷¹.

Публикатор этой записи полагал, что «дай ему сигару» относится к доктору. Из письма Е.А. Рыкачёвой следует другое: «Когда ему сказали, что пришёл Майков, он выразил желание видеть его — ведь они всегда были друзьями, Майков взошёл на минутку; дядя пожал ему руку и сказал: «Анна Григорьевна, дай ему сигару», — что и было исполнено, и тотчас же Майков вышел, боясь волновать больного»⁷².

«Дай ему сигару» — прощальный жест, проявление мужской приязни, последнее, что он может сделать для своего старинного приятеля.

Анна Григорьевна сообщает, что Майков некоторое время говорил с Достоевским, «который отвечал шёпотом на его приветствия»⁷³. Согласно другому источнику, Майков провёл у постели больного всё предобеденное время: «Разговоров не было, потому что больному было строго запрещено говорить»⁷⁴.

В пятом часу Майков уехал домой — обедать.

Очевидно, после отъезда Майкова и был продиктован ответ («бюллетень») на упомянутый запрос графини Гейден: разумеется, тоже шёпотом.

«Около семи часов у нас собралось много народу в гостиной и в столовой, — пишет Анна Григорьевна, — и ждали Кошлякова, который около этого часа посещал нас. Вдруг безо всякой видимой причины Фёдор Михайлович вздрогнул, слегка поднялся на диване, и полоска крови вновь окрасила его лицо»⁷⁵.

Ему стали давать кусочки льда, но кровотечение не прекращалось. Вернулся Майков — с женой. Она, не дожидаясь Кошлякова, бросилась на поиски знакомого доктора. Достоевский был без сознания.

Это была агония.

А н н а Г р и г о р ь е в н а: «...Дети и я стояли на коленях у его изголовья и плакали, изо всех сил удерживаясь от громких рыданий, так как доктор предупредил, что последнее чувство, оставляющее человека, это слух, и всякое нарушение тишины может замедлить агонию и продлить страдания умирающего»⁷⁶.

Л ю б о в ь Ф ё д о р о в н а: «Станный шум, напоминающий клокотание воды, слышался в горле умирающего, его грудь вздымалась, он говорил быстро и тихо, но слов нельзя было понять. Постепенно дыхание становилось тише, слова стали реже»⁷⁷.

А н н а Г р и г о р ь е в н а: «Я держала руку мужа в своей руке и чувствовала, что пульс его бьётся всё слабее и слабее... Приехавший доктор Н.П. Черепнин мог только уловить последние биения его сердца»⁷⁸.

Было 28 января 1881 года: восемь часов тридцать восемь минут.

Лучшая повесть Болеслава Маркевича

«Я вынул часы: они показывали 8 ч. 36 м.»⁷⁹, — пишет один из присутствовавших, внося двухминутную поправку в исчисления Анны Григорьевны.

Человек, вынудивший часы и засёкший минуты смерти, был писатель Болеслав Маркевич.

Автор антинигилистических романов, печатавшихся у Каткова, почти ровесник Достоевского, он никогда не был к нему близок и не вызывал у него особых симпатий. Он ни разу не бывал в его доме и попал туда впервые («как бы для усиления моего горя», — замечает Анна Григорьевна) минут за сорок до кончины хозяина (выполняя просьбу графини С.А. Толстой — узнать о здоровье больного). Анна Григорьевна говорит, что, зная Маркевича, она опасалась, «что он не удержится, чтобы не описать последних минут жизни моего мужа»⁸⁰. Она оказалась права: Маркевич не удержался. 1 февраля в «Московских ведомостях» появилась его статья: «Несколько слов о кончине Ф.М. Достоевского».

Болеслав Маркевич был плохим беллетристом. Он обожал мелодраму. Его описание последних минут Достоевского составлено в основном по методу «графиня побледнела». Но, к сожалению, у нас нет других внесемейных источников. Поэтому, стараясь опустить надрыв, приведём отрывки, на наш взгляд заслуживающие некоторого доверия.

«Ещё стоя на площадке лестницы, я уже слышал сквозь эту дверь какой-то странный гул. Кто-то быстро отворил её и рванулся мне навстречу. «Доктор, скорее, скорее!» — стеньшим голосом вскрикнул какой-то молодой человек (П.А. Исаев? — *И. В.*). Я не успел ответить, как в переднюю вылетела десятилетняя белокурая девочка с раздирающим криком: «Господин доктор, Бога ради, спасите папашу, он хрипит!» — «Я не доктор», — растерянно с внезапным уже ужасом проговорил я. В эту минуту в ту же переднюю вышел бледный, с лихорадочно горевшими глазами Ап. Ник. Майков: «Ах, это Вы...»»

Пожалуй, самое достоверное место во всей статье — это изображение умирающего:

«Во глубине неказистой, мрачной комнаты, его кабинете, лежал он, одетый, на диване с закинутой на подушку головой. Свет лампы или свеч, не помню, стоявших подле на столике, падал плашмя на белые, как лист бумаги, лоб и щеки и несмытое темно-

красное пятно крови на его подбородке. Он не «хрипел», как выразилась его дочь, но дыхание каким-то слабым свистом прорывалось из его горла сквозь судорожно раскрывшиеся губы. Веки были прижмурены как бы таким же механически-судорожным процессом поражённого организма... Он был в полном забытии.

Далее следуют экзотические подробности: жена (которую Маркевич упорно именуется Марьей Григорьевной), бьющаяся «в безумном отчаянии»; дочь, «в отчаянном порыве» хватаящая автора статьи за руки и истерически восклицающая: «Молитесь, прошу вас, молитесь за папашу, чтобы если у него были грехи, Бог ему простил!» и т. д. и т. п. «О, *кого* я теряю, *кого* я теряю!» — причитает упавшая в кресло Анна Григорьевна. «Кого теряет Россия!» — невольно и одновременно вырвалось у нас с Майковым», — строго добавляет Маркевич.

Наконец явился долгожданный доктор (Н.П. Черепнин). Он «поспешно прошёл в кабинет, велел открыть форточку, потребовал пульверизатор и потребовал настоятельно, чтобы его оставили одного с пасынком Фёдора Михайловича».

Через несколько минут доктор вышел от умирающего. «Что, конец?!» — вскрикнула несчастная женщина, вскакивая конвульсивно с места... — «Не кончено ещё... но кончается...»

Все проходят в комнату умирающего; жена и дети молча опускаются на колени. Тут Маркевич приводит подробность, отсутствующую в других источниках: «Вошёл священник, шёпотом начал отходную...»

У его постели — Анна Григорьевна с детьми, её мать, Майков с супругой, Б. Маркевич, П. Исаев, возможно, другие родственники, доктор, священник...

Б. Маркевич: «Доктор нагнулся *к нему*, прислушался, отстегнул сорочку, пропустил под неё руку — и качнул мне головой. На этот раз всё было действительно “кончено”»⁸¹.

Маркевич вынул часы.

Судьба Александра Баранникова

Маркевич вынул часы: время теперь начинает течь по-иному. Но попробуем перевести стрелки на несколько оборотов назад. Вернёмся к ночи с воскресенья на понедельник — с 25 на 26 января 1881 года.

Такое отступление необходимо.

Ибо той же ночью, когда, согласно Анне Григорьевне, у её мужа случилось первое кровотечение, в квартире номер одиннадцать, расположенной на одной лестнице с квартирой номер десять, где обитал Достоевский, был произведён обыск и оставлена полицейская засада.

В квартире номер одиннадцать проживал член Исполнительного комитета «Народной воли» Александр Иванович Баранников.

Нас интересуют три вопроса: 1) был ли Достоевский знаком с Баранниковым; 2) знал ли о том, что происходит у соседа; и 3) имел ли какую-нибудь прикосновенность к событиям этой ночи.

Сразу же оговоримся: никаких *бесспорных* документальных данных, позволяющих утвердительно ответить хотя бы на один из этих вопросов, пока не существует.

Существуют предположения. Но прежде чем перейти к последним, необходимо хотя бы кратко ознакомиться с биографией Баранникова, вернее — с образом его жизни и деятельности.

«Он не носил черт аскетического образа революционера, — пишет его знаменитый товарищ по революционному подполью Вера Фигнер. — Им владел сильный инстинкт жизни, которую он понимал лишь *в полноте её*. В ней он хотел *всё* испытать, *всё* изведать; взять всё, что она может дать и что он от неё может взять»⁸².

Судьба Баранникова поистине фантастична.

Его отец был военным; он служил в Эриванском лейб-гренадёрском полку близ Тифлиса. Женившись на грузинке и выйдя в отставку, он вернулся на родину — в уездный город Путивль Курской губернии, где и умер, когда сыну было пять лет.

Баранников рос в провинциальной дворянской семье среднего достатка вместе с двумя сёстрами и братом.

Соседями Баранникова в Путивле была семья Михайловых. Один из столпов «Народной воли» («хозяин» организации), легендарный Александр Дмитриевич Михайлов — товарищ его детских игр и друг на всю его недолгую жизнь.

Баранников окончил военную гимназию в Орле и, уступая настоятельным требованиям домашних, вынужден был поступить в 1-е военное (Павловское) училище в Петербурге.

Дальше начинается невероятное.

Баранников инсценирует самоубийство. Он отсылает письмо своему ротному командиру, где, указывая на тяжёлый душевный

разлад, объявляет о своём намерении расстаться с жизнью. Оставив на берегу Невы (по другим источникам — у проруби) военное платье, он на долгие годы исчезает из поля зрения своих родных и начальства.

«Такой решительный шаг его очень всем нам понравился, — вспоминает Л. Дейч, — да и вообще он производил чрезвычайно симпатичное впечатление»⁸³.

Восемнадцатилетний Баранников уходит в революцию.

Он становится нелегалом. С весны 1876 года он скитается по югу России: работает косарем, батраком, грузчиком, рыболовом. Но «хождение в народ» не оправдывает надежд радикальных народолюбцев. В лучшем случае народ безмолвствует. Пробыв недолгое время в Астрахани в качестве молотобойца («что, — замечает его биограф, — соответствовало его недюжинной физической силе»⁸⁴), Баранников вскоре возвращается в Петербург.

Летом 1877 года с одной из групп землевольцев он вновь отправляется на Волгу, в Нижегородскую губернию. После разгрома группы ему удаётся ускользнуть от ареста. Ему вообще везло: играя важную роль во многих рискованных предприятиях, он ни разу не был задержан — и так до самого конца.

В том же 1877 году Баранников объявляется в Черногории, ведущей неравную борьбу за своё освобождение. Он сражается против турок в качестве русского добровольца (с целью, как он заявил позднее на следствии, «ознакомиться поближе с условиями борьбы мелких партизанских отрядов с регулярными войсками и приобретённые там познания употребить с пользой в минуту народного восстания на родине»⁸⁵). Иными словами, участвует в том самом добровольческом движении, за которым пристально следил и которое горячо поддерживал в своём «Дневнике писателя» Достоевский (разумеется, не ведавший об указанных Баранниковым целях).

В 1878 году Баранников возвращается в Россию.

В январе он намеревается мстить генерал-адъютанту Трепову — за Боголюбова: его опережает Засулич. В июле под Харьковом он вместе с товарищами, переодетый в жандармскую офицерскую форму, нападает на конвой, сопровождавший одного из осуждённых землевольцев. Отбить заключённого не удаётся, и он уходит, ранив конвоира. 6 августа он, как уже говорилось, прикрывает огнём Кравчинского, вса-

дившего кинжал в шефа жандармов Мезенцова: испугавшись выстрела, Варвар понёс так, что стрелявший только благодаря своей громадной физической силе сумел ухватиться за дрожки и спастись.

Он живёт по чужим паспортам и под чужими фамилиями; его знают как Тюрикова и Кошурникова; его партийные клички — «Порфирий» и «Семён».

Летом 1879 года он принимает участие в воронежском и липецком съездах «Земли и воли». Сразу же после возникновения «Народной воли» он становится одним из деятельнейших членов её Исполнительного комитета.

Осенью 1879 года Баранников (вместе с казнённым впоследствии Пресняковым) доставляет в Одессу около трёх пудов динамита: ожидался царский проезд. Августейший путешественник избрал другой маршрут. Тогда Баранников переселяется в Москву, где оказывается среди тех, кто подводит минную галерею длиной 41 метр под полотно Московско-Курской железной дороги. Последовавший 19 ноября взрыв выводит из строя свитский поезд (см. главу «Портрет с натуры»).

Летом 1880 года (во время «затишья») четыре гуттаперчевые подушки, содержащие в себе семь пудов динамита, опускаются в воду Екатерининского канала близ Каменного моста. Концы проводников выводятся на плот, где устраивается прачечная. Во время проезда государя один из участников покушения должен был находиться на плоту и мыть в корзине картофель: ему надлежало соединить провода со спрятанной в корзине батареей. Операция не удаётся: император направляется в Ливадию прямо из Царского Села.

Участвуя в этом деле, Баранников предлагает наряду со взрывом моста применить новое оружие — метательные снаряды. Они-то в конце концов и поразят венценосную цель.

Незадолго до своего ареста он присматривает на Малой Садовой подходящее помещение — в нём устраивается сырная лавка. Из подвала лавки ведётся подкоп: государь часто ездит этой дорогой. 25 января Баранников вместе с товарищами начинает ломать стену подвала. Подкоп заканчивают уже без него.

За любое из этих деяний Александру Ивановичу Баранникову грозила смертная казнь.

Как выглядел последний сосед Достоевского, которого товарищи по партии элегически именуют «ангелом мести»?

«Он имел фигуру, выдающуюся по своей стройности и красоте, и отличался большой физической силой и цветущим здоровьем... — вспоминает В.И. Фигнер. — Его красивое лицо, смуглое, матовое, без малейшего румянца, волосы цвета воронова крыла и черные глаза делали его не похожим на русского: его можно было легко принять за «восточного человека», всего более — за кавказца, каким он и был по матери... Его фигура и мрачное лицо вполне гармонировали с решительностью его убеждений...»⁸⁶

«Брюнет, выше среднего роста, широкоплечий, с выдающейся вперёд грудью, Баранников выглядел силачом и красавцем, — дополняет нарисованный В. Фигнер портрет Л. Дейч. — Говорил он отрывисто, лаконично, словно отдавал команду, и имел воинскую выправку. Ни начитанностью, ни развитием, ни природным умом он не отличался, но своими манерами, голосом и взглядом этот юноша обнаруживал большую волю, энергию, в особенности же — отчаянную решимость, отвагу»⁸⁷.

Все воспоминатели сходятся в одном: Баранников обладал не только интересной внешностью, но и выдающимися личными качествами. Он был до безумия смел. Он был беззаветно предан своему делу. На него можно было полностью положиться.

Сосед Достоевского был несловоохотлив. «Иногда случалось, — пишет В. Фигнер, — что Исполнительный комитет назначал для переговоров с кем-нибудь Желябова вместе с Баранниковым. Тогда в шутку мы говорили, что Желябов назначается для того, чтобы говорить, а Баранников — чтобы устрашать».

На протяжении 1879—1880 годов Баранников наряду с А.Д. Михайловым, А. Желябовым и С. Перовской участвует практически во всех крупных предприятиях «Народной воли». Он без колебаний принимает новые методы борьбы.

«...Если бы нужно было дать физическое воплощение террора, — заключает В. Фигнер, — то нельзя было сделать лучшего выбора, как взяв образ Баранникова»⁸⁸.

При всём при этом Баранников не чурался моды: одевался он тщательно и со вкусом. Он сохранял военную выправку; воспитание в офицерском училище во многом определяло его поведение. Его прошлое и некоторые черты его натуры, пишет П.С. Ивановская, «не позволяли ему проникнуться общими радикальными манерами, демократической наружностью, что...

заметно выделяло его среди небрежно одетых революционеров». При своей мрачной внешности он был необыкновенно деликатен с товарищами — «до грубости с кем бы то ни было «Семён» и не в состоянии был дойти»⁸⁹. Бывшие народоволки единодушно отмечают его джентльменское отношение к слабому полу, причём В. Фигнер добавляет: «Его счастливая наружность обеспечила ему большой успех среди женщин, и в некоторых он вызывал настоящее поклонение»⁹⁰.

Арестованный за месяц до 1 марта, он не попал на знаменитый процесс цареубийц, а судился почти годом позже — по «делу двадцати» террористов. Письма его из тюрьмы отнюдь не подкрепляют утверждение Л. Дейча об отсутствии у их автора «природного ума». Но они поражают одной чертой, не вполне обычной даже для специфической тюремной эпистолярки.

Глубоко убеждённый в том, что он будет повешен, Баранников жёстко, последовательно, можно сказать методично, готовит своих родных (для которых он совсем недавно воскрес из мёртвых) к новому — на сей раз окончательному — исчезновению своему из жизни. Он пишет, что вовсе не жалуется на судьбу и почитает за высшее благо умереть молодым (в тюрьме ему исполнилось двадцать три года). Его угловатый, грубый, решительный слог поразительно напоминает слог Базарова. Его невеселый, в буквальном смысле *висельный* юмор, призванный отвлечь от него всякое сострадание, достигает обратной цели. Трудно не согласиться с тонким наблюдением публикатора этих писем: «Приходит мысль, не утверждает ли автор самого себя в мысли о неизбежности смерти. Не в себе ли хочет убить инстинкт жизни, инстинкт *самосохранения*... чтоб с лёгкостью перейти в небытие»⁹¹.

На суде Баранников держался очень хладнокровно и произвёл сильное впечатление. «...Слова его, — записывает один из очевидцев, — дышат такой правдивостью, что кажется дерзостью усомниться в них. Он просто объясняет свою роль, говорит, что делал, чего не делал, и всё это так убедительно, что только изолгавшийся человек мог бы потребовать доказательств... На вопросы же, могущие служить против других, он прямо отказывается отвечать»⁹².

Его друг, А.Д. Михайлов, писал из тюрьмы: «Особенно оживлён, весел и бодр Баранников — он как на балу. Для него это последний жизненный пир». И — в другом письме: «Баранни-

ков — рыцарь без страха и упрёка, служитель идеала и чести. Его открытое, гордое поведение так же прекрасно, как его юношеская душа»⁹³.

Прокурор Муравьёв (тот самый, который отправил на эшафот первоартистов) произносил свою обвинительную речь 3 часа 50 минут. Защитник Баранникова Кишенский говорил 13 минут. Последнее слово подсудимого состояло из двух фраз⁹⁴.

В Государственном архиве Российской Федерации (бывший ЦГАОР) нам удалось найти клочок бумаги, исписанный мелким острым почерком: записка Баранникова на волю.

«Друзья! Чем хуже будет моё положение, тем, значит, лучше идёт дело революции. Вот единственное мерило, остающееся у меня для определения ваших успехов. Пусть же поэтому ожидает меня не каторга и не централка, а мрачный подземный каземат: в нём я буду спокоен за дорогое дело, полный надежд расстаюсь с жизнью. Вперёд же, вперёд и да здравствует «Народная воля». Порфирий»⁹⁵.

В своём завещании он пишет: «Живите и торжествуйте. Мы торжествуем и умираем»⁹⁶.

Не исключено, что цельная, внушающая невольное уважение личность Баранникова подействовала даже на Особое присутствие Правительствующего сената: во всяком случае, из всех вероятных кандидатов на виселицу он один не был осуждён на смертную казнь — он, чьи деяния подразумевали её многократно.

Его приговорили к вечной каторге.

Приговор, как он сам говорит, раздавил его. Приготовивший себя к смерти, к *этому* он был не готов⁹⁷. Александр III сократил срок до двадцати лет*. После чего он провёл в одиночной камере Алексеевского рavelина немногим более года**.

* Всем приговорённым к повешению смертная казнь была заменена пожизненной каторгой (кроме Суханова, который, как офицер, был расстрелян).

** Баранников умер 6 августа 1883 года (в пятую годовщину покушения на Мезенцова) в Петропавловской крепости — от скоротечной чахотки. Знаменательно, что, находясь под следствием, он в письмах к домашним придумал себе эту болезнь (чтобы облегчить для них весть о неминуемом, как он полагал, смертном приговоре): тогда ещё он был абсолютно здоров.

Такова судьба человека, с которым жизнь (вернее, смерть) свела Достоевского. Вопрос лишь в том, как понимать слово «свела»: в прямом или в переносном смысле.

Документы из полицейского досье

В своей книге «За и против» (а ещё раньше — в повести «Сомнения Фёдора Достоевского») Виктор Шкловский высказал предположение, что смерть жильца квартиры номер десять так или иначе связана с арестом Баранникова⁹⁸.

Впрочем, никаких серьёзных доказательств представлено не было: версия не получила признания (и даже не обсуждалась) в литературе⁹⁹.

Остановимся на этом вопросе подробнее.

В обширной мемуаристике народовольцев только один-единственный раз имена Достоевского и Баранникова называются рядом.

В своих воспоминаниях М.Ф. Фроленко (он судился вместе с Баранниковым) говорит о том, что некоторые члены Исполнительного комитета, в частности Колодкевич и Баранников, переживали иногда настроение полной безопасности. «Как-то ночью, — пишет Фроленко, — они шли ещё с кем-то, и их поразила тишина, пустота улиц недалеко от квартиры Баранникова, и на прощание с ним они все посмеялись над страхами шпионов, боязнью слежки. На них напало то же спокойствие, уверенность в своей безопасности. В эту же ночь Баранников был арестован. Жил он на квартире Ф.М. Достоевского, и его спокойствие отчасти и в этом обстоятельстве находило себе поддержку»¹⁰⁰.

Кое в чём Фроленко ошибается. Во-первых, Баранников был арестован не ночью, а днём, и не на своей, а на чужой квартире. Во-вторых, он жил не в квартире Достоевского, а рядом.

Но, с другой стороны, то, что Фроленко запомнил Баранникова живущим именно на квартире Достоевского, не может не навести на размышления. Прежде всего отметим (хотя это и может показаться само собой разумеющимся), что Баранников знает, кто его сосед, и это обстоятельство им как-то учитывается. Из текста Фроленко совершенно недвусмысленно следует, что жилец Достоевского лично знаком с хозяином. Более того: именно

уверенность в факте этого знакомства могла породить у Фроленко ошибку памяти — и он невольно переместил Баранникова в соседнюю квартиру.

Далее. Фроленко говорит, что спокойствие Баранникова отчасти находило себе поддержку в том обстоятельстве, что он живёт на квартире Достоевского. Что остаётся, если исключить из этого утверждения фактическую ошибку, то есть квартиру? Остаётся, что Баранников считает названное им лицо весьма надёжным «прикрытием». При этом не указано, знает ли само лицо о таковых своих функциях или выполняет их, так сказать, объективно.

Теперь посмотрим, как развивались события в двадцатых числах января. Для этой цели наряду с другими источниками мы используем обнаруженные нами архивные документы: они извлечены из огромного, насчитывающего несколько тысяч листов «дела двадцати». Это дело рассматривалось Особым присутствием Правительствующего сената с 9 по 16 февраля 1882 года. Материалы предварительного следствия и самого процесса сосредоточены в настоящее время в ГАРФ (Ф. 112. Особое присутствие Правительствующего сената)¹⁰¹.

От ареста Баранникова тянется цепочка провалов, которые сильно обескровили партию как раз накануне царевубийства 1 марта. Уже после Октябрьской революции стало известно, что причиной этих провалов было предательство одного из осуждённых в ноябре 1880 года по «делу шестнадцати», рабочего Ивана Окладского.

На самом «процессе шестнадцати» (в результате которого были казнены Квятковский и Пресняков) Окладский, подражая другим подсудимым, держался вполне достойно. Он заявил в своём последнем слове: «...я не прошу и не нуждаюсь в смягчении моей участи; напротив, если суд смягчит свой приговор относительно меня, я приму это за оскорбление»¹⁰².

Суд приговорил его к повешению, заменённому пожизненной каторгой. Окладский отнюдь не оскорбился: ценя оказанную милость и в надежде на грядущие благодеяния он начал выдавать.

В результате предательства Окладского полиция вышла на след давно разыскиваемого государственного преступника Кибальчича (краткости ради мы опускаем подробности этого поиска). Выяснилось, что Кибальчич летом 1880 года жил по паспорту

на имя Агатескулова. Велико же было изумление жандармских чинов, когда в ответ на их запрос из городского адресного стола явился ответ: господин Агатескулов и ныне благополучно проживает в городе С.-Петербурге по адресу: Казанская улица, дом 38, квартира 18. Немедленно было постановлено:

«...если ныне по виду Агатескулова проживает не Кибальчич, то лицо настолько близкое к нему, что имело возможность получить от него вид, а потому <...> сего же числа произвести обыск в квартире № 18 <...> с лицами, застигнутыми в этой квартире, поступить по результатам обыска»¹⁰³.

В два с половиной часа пополудни 25 января подполковник Отдельного корпуса жандармов Никольский и товарищ прокурора Петербургской судебной палаты Добржинский прибыли в дом № 38 по Казанской улице. Правда, обнаруженное лицо не имело ни малейшего сходства с разыскиваемым Кибальчицем: по паспорту Агатескулова проживал купеческий сын Григорий Михайлович Фриденсон, двадцати шести лет от роду. При обыске были найдены номера подпольной «Народной воли». Разумеется, Агатескулов (Фриденсон) был подвергнут «личному задержанию», причём, как сказано в официальном документе, «без допроса ввиду позднего времени»¹⁰⁴.

Тут же на месте было оформлено постановление, сыгравшее роковую роль во всех последующих событиях: « <...> Поручить полиции иметь секретное наблюдение за обысканной квартирой Агатескулова и, задержав лиц, которые явятся в квартиру Агатескулова как его знакомые, довести об этом до сведения С.-Петербургского Губернского Жандармского Управления, не останавливаясь в принятии мер к выяснению их личностей и места жительства. В то же время просить Секретное Отделение Канцелярии С.-Петербургского Градоначальства распорядиться, чтобы этот приём наблюдения за квартирами был последовательно применяем в отношении всех остальных лиц, которые будут задерживаемы на обнаруживаемых квартирах подозрительных лиц»¹⁰⁵.

В переводе с канцелярского это означало: любое лицо, явившееся в квартиру Фриденсона (Агатескулова), автоматически попадало в западню, после чего в квартире задержанного лица в свою очередь устраивалась засада, и т. д. и т. д.

Нехитрый полицейский приём сработал немедленно. Об этом свидетельствует следующий документ:

*С.-Петербургского
Градоначальника*

Секретно

*Отделение по охранению
общественного
порядка и спокойствия
в С.-Петербурге*

*В С.-Петербургское
Губернское Жандармское
Управление*

26 января 1881 г.
№ 1273

В квартиру № 18 дома № 38 по Казанской улице, за которой имеется наблюдение, явился вчера, как это известно лично г. Начальнику С.-Петербургского Губернского Жандармского Управления, молодой человек, назвавший себя потомственным Почётным гражданином Георгием Ивановичем Алафузовым, отказавшийся указать в С.-Петербурге лиц, знающих и могущих его удостоверить.

Сообщая об изложенном Жандармскому Управлению, Секретное Отделение имеет честь направить в Управление назвавшегося Алафузовым на зависящее распоряжение. Причём препровождаются составленные о названной личности два протокола, с приложениями к одному из них, а равно оказавшиеся при нём деньги кредитными билетами пятьдесят восемь рублей, кожаный портмоне, золотые дамские часы с цепочкою, золотой карандашик, записная книжка, перочинный ножик и различные газеты в особом пакете.

Начальник Секретного Отделения
*Фурсов*¹⁰⁶.

Тут обнаруживается одна странность. Документ, сопровождающий передачу Баранникова из Секретного отделения, как мы видели, помечен 26 января. Между тем из других документов явствует, что жандармы занялись Алафузовым уже 25-го, то есть в самый день его задержания. Чем же объяснить эту несообразность?

Как сказано в сопроводительном документе, о факте задержания Алафузова уже известно «лично г. Начальнику С.-Петербургского Губернского Жандармского Управления». Вспомним, что 25 января приходилось на воскресенье. Очевидно,

начальника петербургских жандармов оторвали от воскресного отдыха и он потребовал немедленной передачи задержанного в распоряжение подполковника Никольского. Документ о передаче был оформлен только на следующий день — когда заработали канцелярии.

Алафузов (не будем скрывать, что это — Баранников) явился на квартиру к Фриденсону, как это следует из другого документа (донесения начальника С.-Петербургского губернского жандармского управления министру внутренних дел¹⁰⁷), 25 января утром — скорее всего прямо с Малой Садовой, где в эту ночь начали подкуп. Он был задержан чинами полиции, и, как это ни странно, при нём не было обнаружено абсолютно ничего подозрительного. Арестованного препроводили в Секретное отделение градоначальства. То в свою очередь передаёт арестованного жандармскому управлению.

Баранников провёл в Секретном отделении градоначальства несколько часов. Он заявил, что кроме его невесты и её родственников, «которых он назвать не желает», его в Петербурге никто не знает и поэтому удостоверить его личность не может. Было постановлено: «<...> Передать его, Алафузова, по месту объявленного им жительства по Кузнечному переулку и Ямской улице, дом № 5—2 для личного осмотра его имущества, истребования письменного вида, по которому называющий себя Алафузовым прибыл в Петербург, для проверки такового, и затем возвращения со всем оказавшимся в Секретное отделение для дальнейшего распоряжения»¹⁰⁸.

Так в официальных документах появляется адрес дома, где жил Достоевский.

Баранников не стал скрывать своего места жительства, справедливо полагая, что последнее легко установить через адресный стол.

Гораздо труднее определить это нам — спустя более ста лет после события. Ибо до сих пор не вполне ясно, где именно располагалась квартира Баранникова.

По одной версии, она находилась на втором этаже — бок о бок с квартирой Достоевского. По другой — на третьем, причём нельзя исключить, что комната Баранникова помещалась как раз над кабинетом его соседа снизу.

Независимо от того, где квартировал господин Алафузов — рядом или этажом выше, — он оставался *sоседам*.

...Пока арестованный ждал дальнейших событий, с ним случилось маленькое приключение.

Как гласит протокол, находясь в отдельной комнате при Секретном отделении «под наблюдением в числе других и служителя Лесниковского», задержанный попытался незаметно сорвать «с галош своих две металлические буквы З и таковые бросил в находящийся в той же комнате ватерклозет, откуда буквы эти Лесниковским и были вынуты».

Алафузову пришлось письменно объяснить, что вышеуказанные галоши принадлежат его брату Захару* и он, Алафузов, посягнул на буквы З, «чтобы не вызвать подозрение к себе о желании пользоваться чужим именем»¹⁰⁹.

Однако именно это подозрение закрадывается в души чинов тайной полиции всё глубже и глубже.

Если исходить из материалов дознания, для подполковника Никольского с самого начала не было секретом, с кем он имеет дело. В постановлении от 25 января за № 22, написанном неудобочитаемым подполковничьим почерком, сказано, что обыск у Алафузова назначается именно на основании подозрения, что он не кто иной, как Баранников¹¹⁰. В градоначальстве, мол, могли этого и не знать, а уж жандармам всё доподлинно известно.

Но официальным документам не всегда можно верить на слово.

26 января Лорис-Меликов в качестве министра внутренних дел направил Александру II очередной доклад. Сообщив об аресте Агатескулова, «оказавшегося в действительности евреем Фриденсоном», и о задержании на его квартире Алафузова, Лорис-Меликов далее пишет, что на квартире самого Алафузова были найдены фотографические карточки жильца, причём обнаружилось сходство «с давно уже разыскиваемым, известным Вашему Величеству по имени путивльским дворянином Александром Ивановичем Баранниковым (он же Тюриков и Кошурников)»**. Фотографии были показаны заключённому Ивану Окладскому, который признал сходство бесспорным. Для пушей верности

* Баранников, само собой, не стал объяснять полицейским, что Захар — одна из конспиративных кличек А. Желябова, которому, как можно предположить, и принадлежали указанные галоши. К чести полиции, они были возвращены Баранникову — разумеется, без приобщённых к делу букв З.

** Таким образом, выясняется, что подлинное имя соседа Достоевского, равно как и его «псевдонимы», лично известно императору.

«Окладский был доставлен из крепости и по указанию ему задержанного лица, незаметно для последнего, вновь подтвердил несомненное тождество его с Баранниковым».

Окладский взирал на Баранникова прикровенно — через замочную скважину, специальное отверстие в стене или укрывшись за портьерой. Это называлось негласным предъявлением.

«Считаю результат этот весьма важным»¹¹¹, — начертал на докладе Александр II.

Итак, личность Баранникова была установлена только 26 января — *после* посещения его квартиры жандармами. И, кажется, теперь нет сомнения в том, что постановление № 22 от 25 января об обыске у Баранникова составлено подполковником Никольским тоже 26-го, то есть опять-таки задним числом. В этом окончательно убеждает нас то обстоятельство, что сам обыск (в ночь с 25-го на 26-е) производили не ведущие это дело жандармский подполковник и товарищ прокурора, а совсем другие лица. Даже если учесть сильное утомление Никольского и Добржинского событиями предыдущей бессонной ночи, арестом Фриденсона, его последующим дневным допросом, всё равно невозможно допустить, что если бы у следователей существовало хоть малейшее подозрение, что перед ними один из членов неуловимого Исполнительного комитета, давно разыскиваемый убийца генерала Мезенцова и виновник взрыва царского поезда под Москвой, то — в предвкушении дальнейших открытий и наград — они не отправились бы на его квартиру самолично.

Они предпочли отдохнуть, доверив обыск потомственного почётного гражданина дежурным чиновникам...

В те самые часы, когда решалась судьба Баранникова, в двух шагах от его пустовавшей квартиры его сосед мирно беседовал с Майковым; обсуждал толстовское письмо со Страховым; раздражался, споря о репертуаре пушкинского вечера с Орестом Миллером.

Близился вечер.

Протокол № 83: дела соседские

В своей повести «Сомнения Фёдора Достоевского» (1933) В. Шкловский нарисовал захватывающую картину: жандармские

чины стучатся в квартиру к Достоевскому (он почему-то решает, что явились за ним) и, успокоив перепуганного хозяина, просят его оказать им честь и быть понятым при обыске у соседа. Достоевский нехотя соглашается; он сильно взволнован; у него открывается кровотечение.

Нельзя не признать, что версия эта очень привлекательна. Она предлагает разгадку неожиданного ночного недомогания Достоевского, по-новому освещает причину его предсмертной болезни.

Дело было за малым — найти документ.

Теперь документ найден: хотя кое-что прояснилось, загадка стала ещё загадочней.

Ввиду важности этого источника приведём его полностью:

Протокол № 83

1881 года Января 25-го дня, я, Отдельного Корпуса Жандармов Майор Кузьмин, вследствие предписания Начальника С.-Петербургского Губернского Жандармского Управления от 25-го сего Января месяца за № 180 прибыв во 2-й участок Московской части, в дом № 2/5, на углу Кузьмичева переулка и Ямской улицы, в квартиру № 11, нанимаемую Московской мещанкою Марию Николаеву Прибылову, состоящую из семи меблированных комнат, из числа коих одну за № 1 нанимает Потомственный почётный Гражданин Георгий Иванович Алафузов, — совместно с Товарищем Прокурора С.-Петербургского Окружного Суда Н.М. Богдановичем, в присутствии местного пристава Надворного Советника Надежина, содержательницы меблированных комнат, ниже подписавшихся понятых и Георгия Иванова Алафузова произвели в имуществе последнего, на основании закона 19 мая 1871 года, тщательный обыск, по которому ничего преступного и относящегося к делу не найдено, но признано необходимым отобрать для соображения с делом нижеследующие предметы: 1) Свидетельство на жительство, выданное Потомственному Почетному Гражданину Георгию Иванову Алафузову из Ставропольской Городской Управы 24 марта 1876 года № 1146. 2) Две фотографические карточки Алафузова и одна такая же карточка с какой-то женщины. 3) Пузырёк с каким-то лекарством и принадлежащей к нему сигнатуркой на имя Господина Попова. 4) Два носовых платка с вензеле-

выми метками А.Г. и другая, по-видимому, А.К. 5) Серебряная чайная ложка с вензелем М. О., завернутая в газетную бумагу с надетым на неё обручальным золотым кольцом и 6) Записная книжка на 1880 год.

Постановил: о вышеизложенном заключить настоящий протокол за подписом всех присутствовавших лиц.

Майор *Кузьмин*
Товарищ Прокурора *Н. Богданович*
Пристав 2-й Московской части *Надежин*
Мария Николаевна Прибылова
Дворник понятой *Яков <Иевлев>*
при доме по Кузнечному переулку д. № 9
Дворник *Трофим Скрипин* <1 нрзб.>
при доме № 2/5 на углу Кузнечного
переулка и Ямской улицы
Потомственный Почетный Гражданин
*Георгий Алафузов*¹¹².

Из этого документа следует, что жилец квартиры № 10 при обыске не присутствовал: роль понятого, как и положено в подобных случаях, исполнял дворник Трофим Скрипин.

Текст написан не очень грамотно: майор Кузьмин (обладающий от отличие от подполковника Никольского прекрасным почерком) выводит слово «Кузнечный» с мягким знаком — очевидно, по аналогии с собственной фамилией.

Итак, Достоевский при обыске не присутствовал. Документ, впрочем, не даёт абсолютной уверенности в том, что он об этом событии ничего не знал.

Не обсуждая пока последнего вопроса, обратимся к самому документу. Из его текста можно почерпнуть ряд важных подробностей.

Во-первых, обыск производился не очень поздно, во всяком случае, он был начат до полуночи. Иначе бы протокол датировался 26 января: в подобных случаях полиция старалась соблюсти точность.

Во-вторых, выясняется, что в квартире № 11 обитал вовсе не один Баранников, а состояла она из семи меблированных комнат, нанимаемых некой Марией Николаевной Прибыловой и населенных, по-видимому, и другими жильцами.

В-третьих, названы присутствовавшие при обыске лица, причём оказывается, что среди них находился сам арестованный квартиросъёмщик.

Обращает внимание и другое: в квартире Баранникова (как, впрочем, и при нём самом) не обнаружено буквально ни одного предмета или документа компрометирующего свойства: обстоятельство в подобных случаях чрезвычайно редкое. Квартира № 11 оказалась «чистой».

Позволительно, конечно, предположить, что могущие вызвать подозрения предметы Баранников хранил в другом месте — по-видимому, не слишком далеко. Если дать волю воображению (скажем, чуть бóльшую, нежели позволил себе В. Шкловский), то можно даже представить, как жилец квартиры № 10, прослышав об обыске у соседа, спешит перепрятать нечто весьма тяжёлое*: резкое физическое усилие вызывает разрыв кровеносного сосуда.

Автор «Дневника писателя», перетаскивающий в безопасный угол тюки с нелегальщиной или — при максимальном взлёте фантазии — компоненты для производства динамита, — всё это, разумеется, в высшей степени *детективно*, но, увы, столь же неправдоподобно.

Постараемся иметь дело только с фактами.

Главный же факт заключается в следующем: обыск производился до или сразу после полуночи; так рано Достоевский никогда не ложился, и нельзя полностью исключить, что он кое-что знал о том, что происходит в доме.

Приведём ещё раз черновую запись Анны Григорьевны, относящуюся к 25 января 1881 года: «Вечером ходил гулять, а затем...» (Далее следуют стенографические знаки.)

В.А. Твардовская предположила, что в этой *тайнописи* могут содержаться указания на события, происходившие ночью в квартире № 11. Заметим, что загадочный текст расшифрован; в нём, насколько известно, нет никаких намёков на интересующие нас обстоятельства¹¹³.

Нет подобных намёков и в мемуарах Анны Григорьевны. Правда, в её рассказе о ночном происшествии с мужем обнаруживаются небольшие странности.

* Разумеется, *шутка*. Приходится сделать эту вынужденную оговорку, поскольку некоторые критики сочли возможным всерьёз обсуждать «предложенную гипотезу».

Как помним, Анна Григорьевна говорит о том, что, пытаясь достать упавшую на пол вставку, её муж отодвинул этажерку. «Очевидно, — продолжает мемуаристка, — вещь была тяжёлая...» Удивительно, что *скрупулёзная* Анна Григорьевна рассуждает о вещи, принадлежавшей к её домашней обстановке и сыгравшей такую роковую роль, столь неуверенно.

Когда печатный текст вызывает сомнения, следует обратиться к черновикам.

Наряду со всем известной «хрестоматийной» сценой (отодвинул этажерку) в рукописи обнаруживается следующий вариант:

«Словом, казалось, пред нами обоими открывалось новое, светлое будущее и вдруг благодаря малозначительной неосторожности (поднял тяжёлый стул) порвалась какая-то артерия, и в два дня человека не стало».

Видимо, написанное не *удовлетворило* строгую к подробностям мемуаристку: непонятно, для какой надобности оказалось необходимым *поднимать* «тяжёлый стул».

Работа над текстом продолжается. В рукописи появляются следующие строки: «<...> вдруг из-за маленькой неосторожности (отодвинул тяжёлую этажерку) порвалась какая-то лёгочная артерия <...>» и т. д.

Но и этот вариант не устроил повествовательницу. Для пущей убедительности она решает передоверить рассказ о ночном происшествии самому его участнику: именно он извещает Анну Григорьевну, что «сегодня ночью ему пришлось *зачем-то* отодвинуть большой <шую>...» (курсив наш. — *И. В.*).

Далее воспоминательница поступает следующим образом. Она зачёркивает слово «большой» и проставляет: «тяжёлую этажерку». Теперь следовало вразумительно объяснить читателю, для чего, собственно, предпринимались эти ночные передвижки мебели. Анна Григорьевна решительно отбрасывает слово «зачем-то». После слова «ночью» над строкой она вписывает: «его перо закатилось», «запало за этажерку»¹¹⁴.

В окончательном (печатном) тексте вставка с пером уже не просто закатывается под этажерку, а этому несчастью даётся ещё и некое *дополнительное* толкование: владелец вставки потому-де решил на немедленные меры по её спасению, что «вставкой этой он очень дорожил, так как, кроме писания, она служила ему для набивки папирос». Несколько туманная поначалу картина обрывает житейскими подробностями и обретает историческую достоверность.

Итак, выясняется: варианты рукописи — не результат мучительной работы памяти (они вовсе не отражают процесс припоминания), а, так сказать, следствие творческих поисков мемуаристки. В рукописи зафиксированы все стадии этой художественной работы: «тяжёлый стул» заменяется «тяжёлой этажеркой» (сам предмет здесь условен и играет чисто служебную роль), уточняются детали, подыскиваются логические связи.

На свет появляется *версия*.

«Очевидно, вещь была тяжёлая, и Фёдору Михайловичу пришлось сделать усилие, от которого внезапно порвалась лёгочная артерия и пошла горлом кровь...»¹¹⁵ Так сказано в «Воспоминаниях». В первой биографии Достоевского (в главе «Последние минуты», составленной «общими силами очевидцев») эти подробности отсутствуют. Там лишь кратко сообщается: «Предсмертная болезнь началась в ночь с 25 на 26 января небольшим кровотечением из носа, на которое Фёдор Михайлович не обратил никакого внимания»¹¹⁶.

В «Биографии...» сказано, что кровь шла из носа. Анна Григорьевна говорит о горловом кровотечении.

Известно, сколь мнителен был Достоевский, имевший склонность драматизировать даже мелкие нарушения в работе своего организма. Мог ли он не обратить внимания на кровь — если она появилась у него впервые и тем более если кровотечение носило всё-таки горловой характер? Думается, что при всей любви к Анне Григорьевне он — ввиду подобных чрезвычайных обстоятельств — рискнул бы нарушить её ночной покой.

Анну Григорьевну вполне устраивала версия, согласно которой причиной болезни был визит Веры Михайловны и бурная сцена между братом и сестрой. Такое объяснение бросало невыгодный свет на корыстолюбивых, с точки зрения Анны Григорьевны, родственников мужа, к которым жена Достоевского всегда испытывала инстинктивную, продиктованную заботой о собственной семье неприязнь. Для Анны Григорьевны важно умалить серьёзность первого кровотечения и подчеркнуть роковой характер второго.

Следует сказать, что уже на следующий день после смерти Достоевского эта версия вызвала некоторые сомнения.

30 января Е.А. Рыкачёва пишет А.М. Достоевскому: «Анна Григорьевна уверяет, что Вера Михайловна и была причиною <смерти> сильной болезни дяди, потому что она его очень раз-

дражила 26-го, говоря с ним об Вашем наследстве и требуя от него денег; но я что-то не очень доверяю этому, так как кровь показалась у дяди ещё с утра 26, а Вера Михайловна была в обед у них, когда уже болезнь началась»¹¹⁷.

Рыкачёва ошибается в деталях (кровь «показалась» ещё ночью), но тенденциозность в рассказе Анны Григорьевны она уловила верно. Жена Достоевского желает создать впечатление — разумеется, в узком семейном кругу, — что истинной причиной недуга была ссора с родственницей. С годами эта версия укореняется как «внутрисемейная»: так, Любовь Фёдоровна вообще не упоминает о первом (ночном) кровотечении — она начинает отсчёт болезни прямо с драматического визита тётки.

В «Биографии...» сказано, что, когда О.Ф. Миллер узнал о внезапном недомогании Достоевского, он «в сильнейшем беспокойстве» поспешил к Анне Григорьевне — выяснить, «не вчерашние ли объяснения повредили Фёдору Михайловичу». Оказалось, что вчерашние объяснения ни при чём. «К успокоению своему, О.Ф. Миллер узнал, что вслед за тем Фёдор Михайлович был действительно сильно взволнован другим совсем посещением»¹¹⁸.

Под «другим посещением» подразумевается, очевидно, визит сестры — в понедельник 26 января. Сказано глухо, ибо широкой публике незачем знать о семейных раздорах. Но почему «вслед за тем»? Так скорее можно выразиться о происшествии, случившемся через несколько часов, а не по истечении целых суток после визита О.Ф. Миллера, который приходил в воскресенье 25-го.

Итак, можно установить существование различных, весьма отличающихся друг от друга версий. Причины болезни называются следующие: 1) ссора с сестрой (письмо Анны Григорьевны к Страхову от 21 октября 1883 года, воспоминания Любви Фёдоровны, свидетельство Рыкачёвой); 2) поднятие тяжёлого стула (черновые наброски воспоминаний Анны Григорьевны); 3) закатившаяся за этажерку вставка; 4) горячий спор Достоевского с неким не названным по имени господином (печатный текст тех же «Воспоминаний»); 5) взволнованность Достоевского каким-то таинственным посещением («Биография...»).

Множественность упоминаемых (и отчасти дополняющих друг друга) событий усиливает потенциальную возможность того, что среди них способно затеряться ещё одно — утаённое.

Какими субъективными причинами могла руководствоваться Анна Григорьевна, скрывая от ближайших друзей и от любопыт-

ствующего потомства какую бы то ни было прикосновенность своего мужа к событиям на квартире Баранникова?

Выше уже приходилось отмечать, что Анна Григорьевна не жаловалась политики. Она всячески избегает опасных и двусмысленных (с её точки зрения) тем. Если судить по её воспоминаниям, Достоевский наглухо отделён от мира русской революции: таких проблем для него просто не существует. Мемуаристка игнорирует как раз ту сторону русской жизни, которая играла существенную роль в творческом и общественном бытии Достоевского.

Анна Григорьевна ни словом не упоминает о трагедии Ишутина. Молчит она и о казни Млодецкого. Молчит, надо полагать, и о многом другом. С какой же стати было Анне Григорьевне связывать болезнь её удюстоенного по смерти *государственного признания* мужа (о чём речь впереди) с каким-то сомнительным, живущим по фальшивому паспорту господином Алафузовым — как выяснилось, политическим преступником и злодеем, лишь по нелепой случайности оказавшимся соседом такого достойного человека, как Фёдор Михайлович Достоевский? Нет, не только упоминание, даже малейший намёк на ночное событие 25–26 января выглядел бы неприличным. И если о семейной ссоре ещё можно было сообщить ближайшим друзьям (и даже извлечь из этого сообщения кое-какую моральную выгоду), то об обыске в соседней квартире следовало забыть: сразу и навсегда*.

Теперь зададимся вопросом: мог ли майор Кузьмин со своими спутниками зайти к Достоевским (чтобы, скажем, расспросить о личности соседа)? Это не исключено. Достоевский мог и сам выйти из квартиры, привлечённый шумом и шагами на лестнице.

«Квартира наша, — пишет Анна Григорьевна, — состояла из шести комнат, громадной кладовой для книг, передней и кухни и находилась во втором этаже. Семь окон выходили на Кузнечный переулок... Парадный вход... расположен под нашей гостиной (рядом с кабинетом)»¹²⁰.

* В неопубликованной части своих воспоминаний Анна Григорьевна говорит о том, как она была испугана и возмущена, когда после 1 марта получила по почте прокламацию Исполнительного комитета. Воспоминательница негодует, что «какие-то злодеи могут считать меня солидарной с их гнусными решениями». Анне Григорьевне явилась даже мысль, не подвергает ли она себя опасности ареста. Она поспешила представить послание «Народной воли» Победоносцеву¹¹⁹.

Таким образом, окно кабинета выходило прямо на главный вход, и если та специфическая группа, что двигалась в квартиру Баранникова, избрала именно этот путь, она не могла миновать квартиры нижнего жильца¹²¹.

Не упустим из виду и «громадную кладовую». В кладовке хозяйничал мальчик Пётр (П.Г. Кузнецов). Среди массы книг легко могла затеряться литература определённого рода, особенно если допустить, что владелец этой литературы был в неплохих отношениях с тем же мальчиком Петром. «Стерильность» квартиры Баранникова невольно наводит на это — само собой, вполне безумное — предположение.

Но вернёмся к майору Кузьмину. Он, как нам известно, явился не один: по крайней мере двух из присутствовавших Достоевский должен был знать лично.

Первое из этих лиц — дворник Трофим Скрипин. Второе — полицейский пристав Надежин.

С дворником всё понятно. Его служебные обязанности (например, доставка дров) должны были сталкивать его с семейством Достоевских неоднократно.

Сложнее с надворным советником Надежиным.

В письме Рыкачёвой к отцу от 30 января, где она описывает паломничество ко гробу Достоевского, есть фраза: «Пристав говорил, что народа перебывало до 10-ти тысяч»¹²². Пристав говорил это домашним: разумеется, он посещал квартиру в те печальные дни — хотя бы для установления внешнего порядка. Но трудно предположить, чтобы за два с половиной года проживания Достоевского в Кузнечном переулке у пристава 2-й Московской части не было случая познакомиться и пообщаться со знаменитым жильцом.

Наличие в группе, явившейся в квартиру № 11, лиц, лично знавших Достоевского, увеличивает вероятность того, что он — в той или иной форме — мог быть привлечён к ночному событию. Вероятность эта ещё более возрастает, если допустить, что присутствовавший тут же Баранников был знаком со своим соседом.

В. Шкловский приводит два аргумента в пользу того, что Достоевский мог кое-что знать о господине Алафузове. Во-первых, в набросках и планах к «Братьям Карамазовым» Алёша спорит с террористами. Во-вторых, дневниковая запись Суворина — рассказ о воображаемом разговоре двух взрывателей у магазина Дациаро: по мнению Шкловского, этот разговор мог быть не таким уж воображаемым.

Для того чтобы эти аргументы «работали», следует выяснить, когда именно Баранников поселился в Кузнечном переулке.

До сих пор об этом обстоятельстве ничего не было известно. Между тем соответствующие хронологические указания можно отыскать — как у самого Баранникова, так и в других заслуживающих доверия источниках.

Рассказ о вселении господина Алафузова в новую квартиру

26 января подполковник Никольский в присутствии товарища прокурора Добржинского приступает к допросу арестованного.

В показаниях Баранникова, естественно, ничего не знающего об откровениях Ивана Окладского, преобладает элемент фантастический.

На вопрос, сколько ему лет, господин Алафузов отвечает — 26. О месте рождения и постоянного жительства сообщает, что он — гражданин города Ставрополя, где и ныне обитают его родители, получающие средства к жизни от собственных нефтяных промыслов; он же, их сын, разъезжает по их торговым делам. На вопрос, был ли за границей, отвечает, что не был, оставляя следствие в неведении относительно своего участия в черногорских делах. В графе «семейное положение» Баранников проставляет «холост», хотя он (под именем Кошурникова) обвенчался в 1879 году с Марией Николаевной Ошаниной (Оловенниковой), в будущем — одним из членов Исполнительного комитета. Найденные при обыске серебряная чайная ложка с вензелем М. О. и надетым на неё золотым обручальным кольцом — вещественные знаки этого весьма непродолжительного союза.

Арестованный упорно повторяет, что он никого не знает в Петербурге и приехал туда «вслед за своей невестой, с которой хотел провести в этом городе зиму». С Агатескуловым (то бишь Фриденсоном), на чьей квартире он был вчера задержан, он познакомился у дяди своей невесты.

В общем, в показаниях господина Алафузова не содержится ни грана правды. За одним, впрочем, исключением.

Говоря о своём последнем посещении Петербурга, он указывает время: «с последних чисел октября прошлого (то есть 1880-го. — *И. В.*) года». Сначала он «остановился в меблированных комнатах, что на углу Невского и Караванной, откуда переехал по Кузнеч-

ному переулку, дом 5/2, квартира 11»¹²³. В данном случае Баранникову не было смысла конспирировать: сообщаемые сведения легко могли быть проверены по домовым книгам.

К этим источникам мы и обратимся.

9 февраля 1881 года полиция произвела осмотр домовой книги дома, в котором умер Достоевский. «<...> Причём, — сказано в протоколе осмотра, — оказалось в отделе под буквою А на обороте 8-го листа имеется 2-ая статья следующего содержания: Алафузов Георгий Иванов, сын Ставропольского Потомственного Почетного Гражданина 28 лет (! — *И. В.*), православный, прибыл 10 ноября 1880 года из 1-го участка Спасской части из дома № 66/21 по Невскому проспекту кв. № 39 в квартиру № 11 названного выше дома <...> 26 января 1881 года значится выбывшим под арест»¹²⁴.

Квартирная хозяйка М.Н. Прибылова показала: «Алафузов прожил в квартире моей, занимая комнату № 1, со 2-го ноября прошлого 1880 года по день своего ареста, т. е. до 26 января настоящего года»¹²⁵.

Итак, можно считать установленным, что Баранников поселился рядом с Достоевским в первых числах ноября. Следовательно, он оставался его соседом около двух с половиной месяцев.

Но если это так, то вышеуказанные соображения В. Шкловского ничем не подкрепляются. В ноябре 1880 года «Братья Карамазовы» уже закончены. Что же касается свидетельства Суворина, то оно, как мы знаем, относится к февралю 1880 года.

И всё же отказаться от предположения о знакомстве Достоевского с Баранниковым было бы опрометчиво.

Семейство Достоевских — с детьми и прислугой, с рассылкой книг, приёмом бесчисленных посетителей, с заботами о подписке на «Дневник» и о куманинском наследстве — живёт своей жизнью и, по-видимому, совсем не интересуется, что происходит по соседству — в меблированных комнатах, сдаваемых московской мещанкою Марией Николаевной Прибыловой. Эти миры почти не соприкасаются, но, очевидно, имеют возможность наблюдать друг за другом...

Как-никак жилец квартиры № 10 — всероссийская знаменитость, и уже одно это должно вызывать особый интерес — к нему самому, его семье, их образу жизни.

С другой стороны, трудно допустить, чтобы сам Достоевский и члены его семейства не обратили ни малейшего внимания на молодого, всегда со вкусом и по моде одетого соседа с восточ-

ными чертами лица и вообще довольно замечательной наружности. Не исключены беглые встречи на лестнице, взаимные поклоны, контакты на бытовом уровне. Но не исключены и другие, более тесные формы общения.

В одном письме из тюрьмы Баранников замечает: «...питая особенно нежные чувства к своему идеалу, я в то же время признаю существование и других и, следовательно, могу любить и уважать людей, которые к осуществлению их стремятся, раз только служение это бескорыстно... В истории да и в жизни современной часто приходится видеть двух врагов, проникнутых друг к другу уважением»¹²⁶.

Конечно, это общее место. Но за общими словами могут скрываться впечатления личные.

Баранников чувствовал себя очень уверенно на Кузнечном. Лицо, часто посещавшее Баранникова (о нём — речь впереди), говорит в своих показаниях: «Особенной озабоченности, тревоги или поспешности я в Алафузове не замечал: заставал его лежащим на кровати или диване за чтением Лермонтова, которым он особенно восхищался...»¹²⁷

«Но Лермонтов мне, говоря серьёзно, очень, очень нравится, — пишет Баранников из тюрьмы, — его «Демона» я знаю почти всего наизусть. Не кончи он так рано, в 26 лет, из него вышел бы не только великий поэт, но и великий гражданин. В моих глазах он стоит неизмеримо выше Пушкина»¹²⁸.

Темы для разговоров с соседом были: неясно только — были ли сами разговоры.

В своих тюремных посланиях Баранников ни разу не упоминает имя Достоевского. Казалось бы, это обстоятельство как нельзя лучше свидетельствует в пользу того, что этот сюжет нимало его не интересует.

Но отсюда можно сделать и совершенно обратный вывод. Ибо неупоминание Достоевского — факт поразительный и на первый взгляд необъяснимый.

Действительно: за срок более года, в ожидании суда, Баранников написал из Петропавловской крепости и Дома предварительного заключения несколько десятков писем — и ни в одном из них нет и намёка на Достоевского. Положим, письма дошли до нас не все и не полностью; положим, в некоторых из них есть вымарки, сделанные тюремной цензурой, — всё равно такое молчание выглядит странным.

Круг тем, разрешённых Баранникову для переписки, весьма ограничен: родственные дела, воспоминания детства, оживающая его участь. Отечественная словесность — тема совершенно нейтральная и вполне позволительная. Сказав о Лермонтове, почему бы не упомянуть и о другом литераторе — более близком по времени и по месту жительства? Ведь, в конце концов, не каждый день оказываешься соседом знаменитого писателя, который к тому же умирает через два дня после твоего ареста и чьи грандиозные похороны становятся национальным событием. Почему бы — хоть в двух словах — не откликнуться на это, с точки зрения жильца квартиры № 11, почти *домашнее* происшествие?

И тут закрадывается подозрение: да знал ли Баранников о смерти своего соседа?

Вопрос этот не столь невероятен, как кажется.

Вскоре после ареста Баранников пишет родным: «Одного только мне недостаёт в настоящее время, это — газет; не знаешь, что делается на свете, в каком положении греческий вопрос, ирландское движение, экспедиция Скобелева (военная жилка у меня ещё осталась); но что делать, нужно мириться с этой маленькой неприятностью, тем более, что 99/100 обывателей Российской империи не чувствуют даже и надобности в них». И снова — 22 марта: «Что-то делается на свете? Ах, если бы газет почитать! Не понимаю, право, отчего нам не дают. Воспользоваться сведениями, оттуда почерпнутыми, если бы ими можно было воспользоваться, мы лишены возможности; а между тем это весьма значительное стеснение, которого люди, находящиеся под предварительным арестом, не заслуживают. Но что делать!»¹²⁹

С момента своего ареста подследственный не видит прессы. Нет в его распоряжении и других источников информации (за исключением писем родственников, живущих вне Петербурга). Ни следователи, ни тюремные служители вовсе не обязаны докладывать ему, что происходит на воле.

Он, правда, знает, что покушение 1 марта увенчалось успехом: эти сведения ему вынуждены сообщить по его прикосновенности к событию.

Но если Баранникову ничего не известно о смерти Достоевского, его молчание становится ещё более выразительным. Создаётся впечатление, что он намеренно обходит эту тему: желание

вполне извинительное, если допустить, что неупоминаемое лицо имеет какое-либо касательство к расследуемому делу.

Достоевский служил хорошим прикрытием: об этом можно было сказать товарищам. Но совершенно необязательно осведомлять об этом подполковника Никольского и прокурора Добржинского и тем самым компрометировать своего соседа.

Баранников, как известно, был немногословен.

«Драгоценный агент»

Баранников был немногословен, и на следствии он не стал распространяться о лицах, посещавших его в Кузнечном. Между тем лица эти заслуживают внимания.

28 ноября 1880 года в фотографии на Невском был арестован Александр Дмитриевич Михайлов. В партии Михайлова звали «дворником» или «генералом от конспирации»: среди членов «Народной воли» не было более сурового блюстителя партийной дисциплины. Его, выдающегося организатора и оберегателя партии, после победы революции прочили на роль первого министра.

Но помимо своей широкоизвестной в подпольных кругах деятельности Михайлов занимался делом, о котором ведали лишь несколько посвящённых.

Он поддерживал связь с первым «контрразведчиком революции» — Николаем Васильевичем Клеточниковым, в январе 1879 года внедрённым в III Отделение, а после закрытия последнего являвшимся «глазами и ушами» «Народной воли» в 3-м делопроизводстве Департамента полиции¹³⁰.

Клеточников не был профессиональным конспиратором. Выходец из скромной семьи пензенского архитектора, он служил мелким чиновником в Ялте и Симферополе — поближе к морю, ибо уже тогда чувствовал в себе признаки надвигающейся чахотки. Ему было за тридцать, когда он явился в Петербург — с твёрдым намерением отдать остаток жизни тому делу, которое он считал единственно достойным.

Он предложил свои услуги — и они были приняты. Ему — отчасти во исполнение хитроумного плана, отчасти по невероятному везению — удалось устроиться в святая святых русской тайной полиции — в её сыскной отдел и таким образом получить почти неограниченный доступ к секретам того самого ведомства, кото-

рое твёрже и компетентнее всех других противостояло всё круче закипавшему валу русской революции.

Клеточников стал ангелом-хранителем партии. Он отвращал от неё неминуемые беды: предупреждал о готовящихся обысках, извещал о задуманных полицейских операциях, разоблачал шпионов и нейтрализовал последствия предательств.

Он был, пишет Вера Фигнер, «для целостности нашей организации человек совершенно неопределимый: в течение двух лет он отражал удары, направленные правительством против нас, и был охраной нашей безопасности извне, как Александр Михайлов заботился о ней внутри»¹³¹.

Невысокого роста, покашливающий, узкоплечий, в круглых очках, с небольшой мягкой бородкой — с внешностью неяркой и типично «интеллигентской», Клеточников спас от верного провала не одну конспиративную затею, предотвратил аресты десятков, если не сотен, людей. Такого *оборотня* (причём формально — не члена организации) отечественные заговорщики не имели более никогда.

«Если Клеточников охранял революционную организацию, — пишет современный историк «Народной воли» Н. Троицкий, — то революционная организация охраняла Клеточникова». А.Д. Михайлов, как вспоминали потом народовольцы, «вёл все сношения с ним самолично и вообще берёг его как зеницу ока, готовый лучше погибнуть сам, нежели допустить гибель драгоценного агента»¹³².

Они встречались в совершенно «чистой» квартире: её занимала Наталья Николаевна Оловенникова. Она жила по своему собственному паспорту и была отстранена от всякой нелегальной деятельности.

Н.Н. Оловенникова — родная сестра М.Н. Ошаниной, жены Баранникова, и, следовательно, его свояченица*.

* Другая свояченица Баранникова — Елизавета Николаевна Оловенникова — накануне 1 марта находилась в числе лиц, следивших за выездами государя. После убийства Александра II она была арестована и должна была судиться вместе с Баранниковым (по «делу двадцати»), но впала в продолжительное душевное расстройство и много лет провела в лечебнице для душевнобольных. Умерла она в 1932 году. Что касается Натальи Николаевны Оловенниковой, то её судьба не менее трагична: она вскоре тоже заболела — и неизлечимо.

После ареста Михайлова сношения с Клеточниковым должны были поддерживать Баранников и другой член Исполнительного комитета — Колодкевич.

«Почему Исполнительный комитет счёл возможным принимать своего сверхсекретного агента в квартире нелегального (имеется в виду Колодкевич. — *И. В.*), давно разыскиваемого жандармскими ищейками, непонятно», — пишет Н. Троицкий. Члены Исполнительного комитета вспоминали потом, «что это решение выглядит странным, но не могли объяснить, почему оно всё-таки было принято»¹³³.

Сказанное о Колодкевиче в полной мере можно отнести и к Баранникову.

Обратимся к протоколам допросов Клеточникова.

31 января арестованный показал, что Михайлов познакомил его с неизвестным, назвав того «Порфирием Николаевичем», который на самом деле оказался Георгием Ивановичем Алафузовым, «легальным, как уверял меня Михайлов».

«В ноябре, — продолжает Клеточников, — Михайлов повёл меня в квартиру Алафузова, где потом я стал бывать довольно часто, иногда заходил просто побеседовать и выпить, так как Алафузов оказался весельчаком и жуиrom»¹³⁴.

Почему Михайлов, человек сверхосторожный, сам привёл Клеточникова на квартиру своего земляка и друга, давно разыскиваемого полицией за участие в убийстве Мезенцова, в покушении на цареубийство и в ряде других не менее отчаянных предприятий? Предчувствовал ли Михайлов свой близкий арест и старался ли на этот случай обеспечить преемственность в сношениях с «драгоценным агентом»? Уверовал ли он в неуловимость Баранникова и в надёжность имеющегося у него паспорта?

Конечно, Михайлов мог руководствоваться всеми этими соображениями. Но не исключено, что решающим аргументом в пользу Баранникова была высокая надёжность его квартиры — и имя Достоевского играло здесь не последнюю роль.

Материалы дознания позволяют нам — разумеется, лишь с внешней стороны — воссоздать образ жизни Баранникова.

Крестьянка Василиса Бомбина, жившая «в услужении у г-жи Прибыловой», показала: «Из дома уходил рано, часов в 9, и возвращался лишь к вечеру. Ничего особенного в жизни его я не замечала»¹³⁵.

Клеточников сообщает некоторые подробности: «<...> Потом разговор за чаем и вином* о мелочах, и только раза два за последнее время случалось, что в десятом часу, посмотрев на часы, Алафузов говорил, что через полчаса ему нужно ещё зайти в одно место, и то говорил один раз, что едет в Мариинский театр, а в другой раз, что едет в маскарад, и одевался при этом, действительно, в чистое бельё и лучшее платье. Но мне известно из его же рассказов, что он все дни с утра до поздней ночи проводил вне дома и только в назначенные мне дни возвращался домой к условленному часу»¹³⁶.

Клеточников не скрывает от следствия, что господин Алафузов вёл несколько рассеянный образ жизни. «Ему, — пишет в своих воспоминаниях одна из оставшихся в живых членов Исполнительного комитета, — часто приходилось показываться на улицах Петербурга в качестве прогуливающегося денди, безукоризненно одетого, видимо, беззаботного и праздного. Осенью 1880 года, в одну из таких прогулок, он нашёл подвал на бывшей Малой Садовой, отдававшийся в наём...»¹³⁸

Это, как уже говорилось, был подвал, откуда затем тянули минную галерею: тот самый.

Не так часто доводилось жильцу квартиры № 11 отдыхать на диване за чтением своего любимого поэта (о чём — это можно теперь сказать — поведал следствию тот же Клеточников). Полицейский документ подтверждает высокую мобильность Алафузова, который «никакого имущества, за исключением носимого платья, холщового чемодана и бархатного саквояжа не имел, из квартиры выходил рано, а возвращался поздно <...>»¹³⁹.

Он уходил из дома, когда Достоевский ещё спал, и возвращался домой, когда тот бодрствовал. Видел ли он свет в окне его кабинета? Интересовался ли жизнью своего соседа, знал ли его

* Двукратное указание Клеточникова на употребление им при встречах с «весельчаком и жуиром» Алафузовым горячительных напитков заставляет вспомнить шутливое замечание Льва Тихомирова: «...революционеры считали его (Клеточникова. — *И. В.*) очень сдержанным человеком и упрекали за буржуазную жизнь. И в самом деле он был очень тонкий знаток крымских вин и играл в карты...»¹³⁷ Этот любитель «буржуазной жизни», заявивший на предварительном следствии, что он служил социалистам за деньги, не только не брал у партии ни копейки, но ещё ухитрялся передавать для её нужд небольшие суммы из своего более чем скромного жалованья (крупного повышения служебного оклада — до 1500 р. в год — Клеточников удостоился только 1 января 1881 года, то есть за месяц до своего ареста).

домашних, общался ли с прислугой? Или автор «Братьев Карамазовых» оставался вне поля зрения погружённого в конспиративные заботы члена Исполнительного комитета?

В одном из своих показаний Клеточников пишет: «<...> арест Михайлова произвёл на Алафузова <...> не переполох, а только сожаление о потере одного из хороших и преданных делу сочленов; по словам Алафузова, такие люди, как Михайлов, вполне заменимы, тогда как литературные силы все целы»¹⁴⁰.

Баранников преуменьшает последствия потери Михайлова по соображениям сугубо педагогическим: он желает утешить горячо привязанного к своему «опекуну» Клеточникова. Но вовсе не случайно подчёркивает он важность сохранения именно *литературных сил*: он ценит силу слова.

Два с половиной месяца проводит он бок о бок с крупнейшей «литературной силой» своего времени (по его представлениям, возможно, враждебной). Последние дни жизни одного из них совпадают с последними днями свободы другого. Оба они покидают сей мир «в его минуты роковые».

Гость в западне

Что происходило в квартире № 11 по отбытии из неё должностных лиц вместе с одним из жильцов? Первую половину дня 26 января там, по-видимому, всё было тихо.

Из соседней квартиры уже послали за доктором фон Бретцелем; особенного волнения, однако, пока не наблюдалось и даже затевался семейный обед.

Между тем в доме скрывалась засада.

О том, что произошло несколько позднее, свидетельствует приводимый ниже официальный документ:

Протокол № 89

1881 года января 26 дня, Полициею 2-го Участка Московской части составлен сей протокол о нижеследующем:

В доме 5/2 на углу Ямской улицы и Кузнечного переулка в квартиру № 11, где в ночь на сегодня арестован живший там сын ставропольского Почетного гражданина Георгий Иванов Алафузов, сего числа в 4-ом часу пополудни пришёл неизвест-

ного звания мужчины, спрашивая Алафузова, получив ответ, что его нет дома, вышел на улицу, где наблюдавший за квартирой Алафузова околоточный надзиратель Яковлев пригласил неизвестного в управление участка, по дороге куда задержанный намеревался уйти, чего сделать не допустил Яковлев. После этого неизвестный просил отпустить его, предлагал деньги. По приходе в участок неизвестный отказался объявить своё звание и место жительства, почему заключено тотчас же отправить его в Секретное Отделение.

Пристав *Надежин*¹⁴¹.

Бесстрастный стиль полицейского протокола не в силах скрыть драматизма происходящего: смятения неизвестного, внезапно попавшего в западню, сомнительного «приглашения» в участок, обречённого единоборства с неподкупной честностью околоточного надзирателя Яковлева и, наконец, отбытия туда, откуда, как правило, нет возврата.

В своих позднейших показаниях околоточный надзиратель Яковлев сообщает дополнительные подробности. «Неизвестного звания мужчине», явившемуся около четырех часов пополудни, дверь открыла «кухарка квартирной хозяйки» (Василиса Бомбина?) и пригласила его пройти. В эту минуту неусыпно бдящий Яковлев явился из комнаты Баранникова (где он помещался с другим полицейским, причём оба были одеты в гражданское платье) и ответил вошедшему, что, хотя хозяина нет дома, он может указать, где именно находится господин Алафузов¹⁴².

Впрочем, это могли указать и другие обитатели дома. Нельзя сомневаться в том, что утром 26 января многие из них уже знают об исчезновении одного из квартиросъёмщиков. Вряд ли эта животрепещущая новость миновала и обитателей квартиры № 10. Вопрос лишь в том, осведомлены ли они о засаде.

Знает ли о засаде Достоевский?

Если даже допустить, что он не был ни прямым, ни косвенным участником, ни, наконец, просто свидетелем ночных событий, то толки о них не могли не взволновать его до глубины души. Он, пристально вглядывающийся в мир русской революции, как личную драму переживший смертную участь Ишутина, ввергнутый в горестные раздумья казнями Дубровина, Квятковского, Преснякова и, наконец, принявший на себя *труд* явиться на казнь Молодцового, неужели он мог равнодушно отнестись к известию, что ночью

в соседней квартире *взяли* человека, которого он видел, встречал и, может быть, знал по имени? Могли ли не посетить его совершенно естественные в подобном случае воспоминания — его собственного давнего обыска, ареста, увоза в здание у Цепного моста и затем — исчезновения на долгие годы «в мрачных пропастях земли»?

Думается, что утреннее известие могло потрясти его не меньше, чем дневная ссора с сестрой Верой Михайловной.

То, что квартира № 11 находится под наблюдением, не было, очевидно, большим секретом — ни для жильцов самой этой квартиры, ни для их соседей. Хорошо информированный дворник — Трофим Скрипин — вовсе не давал обета молчания.

Кроме того, наблюдение за лицами, направлявшимися в одиннадцатую квартиру, удобно вести из квартиры № 10.

И тут следует вновь вспомнить разговор Достоевского и Суворина — воображаемую сцену у магазина Дациаро. Там смертельная опасность грозила государю («власти»): «машина заведена» — и Зимний дворец обречён взлететь на воздух. И некто, знающий об этом, цепенел перед вопросом: как поступить?

26 января ситуация практически та же, но уже не воображаемая, а вполне реальная и при этом как бы вывернутая наизнанку. Смертельная опасность грозит теперь не власти, а тем, кто на эту власть посягает. «Машина заведена», но на сей раз «завод» работает против самих взрывателей.

И снова между этими и теми оказывается некто третий, знающий об этих и о тех и медлящий перед мучительным выбором.

Тогда можно было спасти «своих», предав в их руки тех, кто завёл машину. *Теперь* — спасти «чужих», принявших на себя роль жертвы. Невмешательство было бы равносильно тому же предательству, только молчаливому, скрытному.

Конечно, как и тогда, на вопрос: предупредить ли? — он мог бы ответить: «Разве это моё дело? Это дело полиции» — с обратным, правда, знаком, ибо предупреждать тех, *кого* ловят (как и тех, *кто* ловит), тоже — *не его* дело. Однако этот успокоительный трюизм не снимал самого вопроса. Он не был обязан предупреждать — ни в том, ни в другом случае, но и в том, и в другом случае нравственное чувство (и, если угодно, «чувство красоты») оставалось неутолённым.

«Христос» у магазина Дациаро не ведал, как ему поступить, точно так же как не ведал этого и «Христос» у квартиры Баранникова.

Но пора вспомнить о *хронологии*.

Согласно имеющимся сведениям, неизвестный мужчина явился в квартиру Баранникова около четырёх часов пополудни. В «Воспоминаниях» Анны Григорьевны говорится, что господин, взволновавший её мужа спором о «Дневнике писателя», посетил их «часа в три» и ушёл «около пяти часов», после чего случился первый серьёзный приступ болезни¹⁴³. В «Биографии...» время указано более точно: «В 4 часа пополудни (подчёркнуто нами. — *И. В.*) сделалось первое кровотечение горлом»¹⁴⁴. Это же время названо и в письме Анны Григорьевны Страхову¹⁴⁵.

Итак, имеются уже два по меньшей мере странных и озадачивающих совпадения. Первые признаки предсмертной болезни появляются у Достоевского в часы обыска у Баранникова, а решительный приступ той же болезни настигает его после задержания ещё одного члена Исполнительного комитета «Народной воли» — Николая Колодкевича.

Таково настоящее имя неизвестного мужчины, не пожелавшего объявить своё звание и место жительства.

На следующий день граф Лорис-Меликов сообщает Александру II: «В дополнение к всеподданнейшей записке моей (о задержании Агатескулова. — *И. В.*), долгом считаю доложить Вашему Императорскому Величеству, что вчерашнего числа в квартире Агатескулова (в действительности Фриденсона) на Казанской улице, дом № 38 задержан снова под фамилией Сабанеева давно разыскиваемый студент Киевского университета Николай Колодкевич, в чем он уже и сознался. Колодкевич известен по производящимся делам как деятельный член “Исполнительного комитета”»¹⁴⁶.

Происходит несообразное: министр внутренних дел лжёт своему государю! Ибо упомянутый Колодкевич арестован не на квартире Фриденсона (где был арестован Баранников), а — на квартире самого Баранникова.

В чём же дело?

В. Шкловский полагает, что адрес квартиры Баранникова остался «секретом III Отделения (очевидно, Департамента государственной полиции, ибо III Отделение уже не существовало. — *И. В.*)»: жандармы «боялись неожиданности компрометантного свойства». Поэтому, мол, указанный адрес и был удалён «из оглашаемых документов»¹⁴⁷.

Это предположение логично, если иметь в виду именно «оглашаемые документы» (например, такие, как обвинительный акт по «делу двадцати», где адрес Баранникова действительно не назван). Но с какой стати Лорис-Меликову утаивать место-

нахождение баранниковской квартиры в документе, абсолютно «неоглашаемом», предназначенном исключительно для августейших очей? (В бумагах такого рода назывались вещи и посекретнее — например, имя Ивана Окладского, которое было одной из самых охраняемых тайн государственной полиции.)

Думается, всё обстояло гораздо проще. Явила себя обычная российская неразбериха. В бюрократической переписке — донесениях нижестоящих вышестоящим — выпало одно звено. Колодкевич оказался, по не очень грамотному выражению всеподданнейшего доклада, «задержан снова» — на той же квартире, на которой сутками ранее уже был арестован Баранников.

Но для Александра II было не суть важно, где именно задержан Колодкевич. Важно было, что он — задержан. И на победоносном рапорте министра государь удовлетворённо начертал: «Браво»¹⁴⁸.

Колодкевич между тем посещал Баранникова не впервые.

К вопросу о конспирации

Бывший младший помощник делопроизводителя Департамента государственной полиции Николай Васильевич Клеточников показывает: «В конце же месяца (ноября. — *И. В.*), после ареста Михайлова, при мне к Алафузову зашёл нарочно, чтобы познакомиться со мною и заменить Михайлова некто, отрекомендовавшийся Владимиром Николаевичем, но в котором я почти с первой встречи заподозрил Колодкевича»¹⁴⁹. (Клеточников знал его по фотографиям, имевшимся в том учреждении, где он служил.)

Михайлов познакомил Клеточникова с Баранниковым (нелегалом) и ввёл его к нему в дом, что было с точки зрения конспирации весьма рискованным шагом. «Порфирий» в свою очередь свёл Клеточникова с Колодкевичем, а тот усугубил дело, открыв для «драгоценного агента» ещё одну небезопасную квартиру — свою собственную.

«Во второй половине декабря, — продолжает Клеточников, — Алафузов собрался ехать куда-то недели на две-три (так как он просматривал расписание поездов Николаевской железной дороги), то я полагаю, что он поехал в Москву, после чего Владимир Николаевич (то есть Колодкевич) пригласил меня к себе»¹⁵⁰.

Можно сказать, что с ноября 1880 года Клеточников всё время ходит по краю: предательство Окладского, положившее начало цепочке январских арестов, ускорило развязку.

Чем же было вызвано это, по выражению Н.А. Троицкого, «конспиративное затмение»? Нельзя не согласиться, что, занявшись генеральной подготовкой царубийства, Исполнительный комитет пренебрёг всем остальным. Слежка за царём, рытьё подкопа на Малой Садовой, изготовление метательных снарядов — всё это поглотило почти все силы партии и отвлекло её внимание от простейших требований безопасности. «Мы затерроризировались», — с тревогой говорил Желябов¹⁵¹.

Сам Желябов будет арестован через месяц — 27 февраля, за сорок часов до взрыва на Екатерининском канале. И хотя партия ценой невероятных усилий и жертв достигнет своей *заветной цели*, она уже идёт навстречу гибели: январские провалы станут началом конца.

...26 января, в 4 часа пополудни, мужчина «неизвестного звания» был доставлен в Секретное отделение. Протокол его обыска содержит двадцать пять наименований различных предметов (вспомним — по контрасту — аскетизм аналогичного документа, относящегося к Баранникову!). Кажется, что, если бы некто намеренно решил навлечь на себя самые мрачные подозрения, ему трудно было бы иметь при себе больше того, что имел Колодкевич. У него были отобраны: устав кружка партии «Народная воля», программа Исполнительного комитета, фальшивые служебные бланки — «с печатью и подписью должностных лиц», рукопись «Общие начала организации местной и центральной группы» и т. д. и т. п.¹⁵². Добычей полиции стала и записная книжка с адресами и различными заметками (в которых, как выяснилось позднее, заключались «сведения об изготовлении разных веществ для стопина, гремучего студня, гремучей ртути, а также таблица удельного веса динамитов разного состава»)¹⁵³.

Непостижимо, зачем Колодкевичу понадобилось брать с собой полный набор вещественных доказательств. Ведь не был же он настолько беспечен, чтобы постоянно таскать с собой отобранные у него при обыске предметы. Еще непостижимее то, что Колодкевич решился идти к приятелю, якобы уже зная об аресте последнего. Об «иррациональных» мотивах этого поступка говорит Е.Н. Оловенникова (свояченица Баранникова): «Его, как родного сына, крепко любил Колодкевич, старше его многими годами. Сидят они, бывало, у меня, Колодкевич положит свою голову ему на колени и любовно смотрит в глаза. Старший друг узнал об аресте Баранникова у меня на квартире. При этом известии он потерял всякое равновесие и осторожность, схватил пальто и помчался

к нему на квартиру. Конечно, там уже ожидала полицейская засада, и он тут же был арестован»*. Если подобное *безумство* и вправду имело место, то действия Колодкевича (навероятные для опыного подпольщика) нельзя не признать самоубийственными.

Колодкевич в отчаянии «схватил пальто», буквально набитое «вешдоками». Меж тем, как помним, квартира Баранникова была абсолютно «чистой». Если у жильца и имелись какие-то компрометирующие его материалы, то, во всяком случае, они хранились вне занимаемого им помещения.

Приходится вспомнить о нашем *фантастическом* предположении (а именно — о мальчике Петре). Но если без шуток, в жилище Баранникова (или в окрестностях) действительно могли находиться какие-то тайники. Во всяком случае, обнаруженные у Колодкевича предметы выглядят как *транзитные* (разумеется, если предположить что обладателю столь полезного для следствия пальто не известно об аресте товарища).

Единственными относительно безобидными вещами в этом собрании улик оказались браслет — с выглядевшей в свете всего случившегося весьма двусмысленно надписью «Бог тебя храни» и «медальон на бархотке с фотографической карточкой женщины» (женский портрет, как помним, наличествовал и у Баранникова), а также «две серьги в виде стрел гнутых» и «маленькие стальные ножницы»¹⁵⁴.

Колодкевич отказался назвать свою квартиру в Петербурге. У него на то были серьёзные причины.

Он, член высшего руководящего органа «Народной воли», один из немногих посвящённых в тайну Клеточникова, не мог не понимать, что с арестом Баранникова он, Колодкевич, — единственное связующее звено между «драгоценным агентом» и Исполнительным комитетом. Клеточников мог пойти к Баранникову — его бы там взяли. Он мог пойти к Колодкевичу: жильца не оказалось бы дома, но не оказалось бы пока и полиции.

В одном из своих показаний Клеточников пишет: «Т. к. Алафузов вернулся раньше, чем я предполагал (из своей московской поездки. — *И. В.*), а именно пробыл в отлучке всего 5—6 дней, то я опять стал по-прежнему посещать квартиру Алафузова»¹⁵⁵.

Таким образом, в январе 1881 года квартира, расположенная рядом с последним обиталищем Достоевского, оказалась глав-

* Деятели СССР и революционного движения России. М.: Советская энциклопедия, 1989. С 176.

ным пунктом, где «Народная воля» получала поистине бесценную информацию.

Но почему же «ангел-хранитель» партии не мог предотвратить ареста Баранникова?

Осенью 1880 года разыскными операциями в Петербурге занимается не только Департамент полиции, но и Секретное отделение градоначальника. Этот полицейский параллелизм обратился против Клеточникова. «В последний раз, — говорит он в своих показаниях, — у меня было назначено свидание с Алафузовым в трактире Палкина, на углу Б. Садовой, на понедельник 26 января, но ни он, ни Колодкевич не явились, во вторник я узнал об аресте Алафузова, а в среду наконец решился зайти в квартиру Колодкевича, чтобы узнать о причинах ареста Алафузова <...>»¹⁵⁶.

«Чтобы узнать о причинах ареста Алафузова», — говорит Клеточников. Он мог бы узнать об этих причинах у себя, в Департаменте полиции. Он направился («решился зайти!») к Колодкевичу, чтобы предупредить того о Баранникове, не ведая, что уже слишком поздно.

Но покамест, 26 и 27 января, Колодкевич темнит и сбивает жандармов со следа, надеясь, что за это время Клеточников что-нибудь разузнает и — спасётся. Медлит и Клеточников. Между тем полиция не оставляет в покое дом, где угасает Достоевский: там совершаются события, о которых до последнего времени ничего не было известно.

Ночной визит к жене подпоручика

Приведём документ.

<i>М. В. Д.</i>	<i>Секретно</i>
<i>С. Петербургской полиции</i>	
<i>Прислав</i>	<i>В отделение по охра-</i>
<i>2-го Участка</i>	<i>не общественного по-</i>
<i>Московской Части</i>	<i>рядка и спокойствия</i>
<i>27 января 1881</i>	<i>в С. Петербурге</i>
<i>№ 27</i>	

Вследствие отношения Отделения от 26 января за № 1118 мною произведён обыск в имуществе жены подпоручика Веры

Фёдоровны Григорьевой, проживающей в д. 5/2 на углу Кузнечного переулка и Ямской улицы, причём ничего преступного не найдено. Опечатанную переписку Григорьевой с протоколом обыска имею честь представить в Секретное Отделение. Григорьева до особого распоряжения подвергнута домашнему аресту.

Пристав *Надежин*¹⁵⁷.

Из приложенного протокола явствует, что пристава Надежину пришлось вновь посещать всё ту же беспокойную квартиру номер одиннадцать, которая уже доставила полиции столько чреватых радостью хлопот.

Представители власти прибыли в квартиру 27 января, «в 1½ пополуночи» (то есть в ночь с понедельника на вторник) — в комнату № 2, занимаемую вышеназванной женой подпоручика, и произвели «тщательный обыск в имуществе», а также рассмотрели переписку. Не найдя ничего «преступного или предосудительного», пристав Надежин запечатал бумаги Григорьевой своей печатью, а самой жене подпоручика было объявлено, чтобы она никуда не выходила из дома.

Протокол подписали знакомые нам лица: содержательница меблированных комнат Прибылова и неразлучная пара дворников-понятых, причём один из них, а именно Трофим Скрипин, в порядке возрастающего от ночи к ночи самоуважения, именуется не просто младшим дворником, а ещё и «отставным рядовым».

К протоколу сделана приписка: «Гласное наблюдение за Г-жою Григорьевой принял помощник пристава ротмистр [подпись неразборчива]»¹⁵⁸.

«Доктор фон Бретцель, — говорит Анна Григорьевна, — всю ночь провёл у постели Фёдора Михайловича, который, по-видимому, спал спокойно. Я тоже заснула лишь под утро»¹⁵⁹.

Это была его предпоследняя ночь.

Но кто же такая госпожа Григорьева и почему она удостоилась ночного посещения? Ответить на этот вопрос не столь просто. К сожалению, в деле не сохранилось отношения за № 1118, на основании которого производился обыск. Скорее всего визит пристава Надежина к госпоже Григорьевой (живущей в комнате № 2) каким-то образом связан с бывшим накануне обыском

у Баранникова (жившего в комнате № 1): её, например, могли заподозрить в сообщничестве*.

Об этом обыске жилец квартиры номер десять действительно мог ничего не знать: теперь его старались не беспокоить.

Итак, в течение суток, на которые приходится начало предсмертной болезни Достоевского, в доме по Кузнечному переулку происходят три драматических события, по меньшей мере два из которых могут быть поставлены в связь с внезапным недомоганием одного из жильцов: обыск у Баранникова в ночь с воскресенья на понедельник, арест Колодкевича в понедельник 26 января и новый обыск (у Григорьевой) в ночь с понедельника на вторник.

Кстати: что это за господин наверху, чья ходьба, как помним, очень беспокоила Достоевского и к которому Анна Григорьевна отправилась во вторник вечером с просьбой «не ходить»? Если комната Баранникова действительно располагалась над кабинетом, то ходить там мог только один человек: томящийся в засаде полицейский. (Впрочем, возможно, их было двое.) Ибо после ареста Баранникова других мужчин в квартире № 11 не оставалось (только женщины: хозяйка квартиры Прибылова, её служанка и г-жа Григорьева со своим ребёнком). Вчера, в понедельник, там взяли Колодкевича и ночью обыскали Григорьеву. Во вторник наступило затишье. Что остаётся скучающему, но неусыпно бдящему в засаде служивому, как не мерить шагами вверенное ему пространство? Не читать же Лермонтова. «Господин перестал», — пишет Анна Григорьевна. В свою последнюю ночь Достоевский мог спать спокойно».

Но, следует, наконец, назвать ещё одно имя. Это имя доселе никогда не связывалось с последними днями обитателя квартиры

* Как явствует из протокола осмотра бумаг Григорьевой, подвергались прочтению письма её мужа из Гонконга. Кроме того, «в пакете находилась различная переписка и фотографические карточки, не имеющие никакого значения для дела». 29 января было заключено: ввиду того, что Григорьева и ряд других подвергшихся обыску лиц «при настоящем положении дела <...> не навлекают на себя никаких обвинений <...> лиц этих в качестве обвиняемых не привлекать к настоящему дознанию»¹⁶⁰.

** Правда, Анна Григорьевна говорит о «вечной ходьбе». Но засада сидит у Баранникова уже двое суток, так что «ходьба» могла представляться достаточно долгой.

номер десять. В январе 1881 года оно ещё не известно полиции. Но зато — давно знакомо Фёдору Михайловичу Достоевскому. Речь идёт об Анне Павловне Корбе.

**«Неразысканное лицо»:
брюнетка в белом платке**

А.П. Корба (урождённая Мейнгард, во втором замужестве — Прибылёва) примкнула к партии «Народная воля» в год её основания (1879); самой Анне Павловне было уже 30 лет. В январе 1880 года из «агента первой степени» Корба была кооптирована в полномочные члены Исполнительного комитета, насчитывающего тогда семнадцать человек.

У неё не было такого стажа подпольной борьбы, как, положим, у Желябова, Перовской, Баранникова. Она вела довольно мирную жизнь. Пожалуй, самой яркой страницей её биографии стало участие в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов: добровольно отправившись в Румынию в качестве сестры милосердия, она работала там при эвакуации раненых и больных.

Перед этим, в 1876 году, она написала Достоевскому.

Она обращается к нему как к автору «Дневника писателя», горячо приветствовавшему русское добровольческое движение. Она пишет: «И вот кончилась хотя и мнимая, но всё-таки рознь (народа и интеллигенции. — *И. В.*) Наш класс, отдалявшийся от народа, потому что не знал его или перестал его знать, воссоединяется с ним. Среди сборов и приготовлений к войне за освобождение славян на Руси ныне стоит праздник, святое торжество примирения братьев»¹⁶¹.

Вернувшись с войны, она ушла в революцию.

Она переживёт первое марта, разгром Исполнительного комитета, смерть товарищей. Арестованная в 1882 году, она проведёт долгие годы на каторге, станет свидетельницей карийской трагедии — коллективных самоубийств политических заключённых. Она переживёт три русские революции. После 1917 года будет активно работать в Обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев, печататься в исторических журналах.

Умрёт А.П. Корба в 1939 году в возрасте 90 лет.

Она заявит на суде: «Виновною себя не признаю, но признаю принадлежность к партии и полную солидарность с её принципами, целями и взглядами. Но партии, излюбленный путь кото-

рой есть кровавый путь, такой партии я не знаю, и вряд ли она существует, иначе мы слышали бы о ней. Может быть, такая партия и возникнет со временем, если революции суждено разлиться широким потоком по России. Но если я буду жива к тому времени, я не примкну к такой партии»¹⁶².

Она выразила здесь мысль, общую почти для всех народовольцев: их тактика — *терроризм поневоле* (К. Маркс уверял, что по поводу этого «исторически неизбежного» способа действия «так же мало следует морализировать — за или против, — как по поводу землетрясения на Хиосе») ¹⁶³. Возможно, подобная версия успокаивала совесть.

В дни, когда умирает Достоевский, Анна Павловна вместе с другими членами Исполнительного комитета готовит близкое уже царевубийство.

Ответил ли Достоевский Корбе тогда, в 1876 году? Скорее всего — да: он имел обыкновение откликаться на такого рода послания (к сожалению, многие его ответы до нас не дошли)¹⁶⁴. Во всяком случае, одна его корреспондентка из Минска (Софья Лурье) в своём письме называет Корбу — как имя, хорошо знакомое автору «Дневника».

Переписывались ли они позже? Об этом можно только гадать. Встречались ли когда-нибудь? И об этом тоже нельзя сказать ничего определённого.

Сама Корба упоминает имя Достоевского только однажды. Говоря об этапах своего духовного развития, она пишет: «Моё идейное народничество сложилось под влиянием книг Лаврова, Флеровского, Глеба Ив. Успенского, отчасти также Достоевского...»¹⁶⁵

«Отчасти также Достоевского...» Это написано в 1916 году. Сорока годами ранее она писала автору «Дневника писателя»: «Я скажу прямо, что я жду от Вас помощи, не имея на то права, разве только право страждущего от боли; а у меня в течение долгих лет наболела душа, и если теперь я решаюсь беспокоить Вас своими стонами, то потому, что знаю, что лучшего врача не найду»¹⁶⁶.

Достоевский влиял на неё значительно сильнее, нежели ей кажется спустя десятилетия. Но в 1916 году его имя непопулярно в среде заслуженных революционеров.

В 1876 году она бы многое отдала за встречу с тем, к кому столь горячо взывала. Через пять лет, в январе 1881-го, ей, вероятно, не до своего давнего адресата. Но если они были ранее знакомы,

то естественно задаться вопросом: могла ли А.П. Корба, проходя мимо квартиры Достоевского, ни разу не заглянуть к человеку, бывшему когда-то врачом еѐ душевных ран?

Проходить же *мимо* ей приходилось неоднократно: она навещала Баранникова.

Квартирная хозяйка арестованного жильца — «московская мешанка Прибылова» сообщила следствию, что она видела приходившую к господину Алафузову «даму, брюнетку высокого роста лет 20 от роду, очень красивую собой и очень хорошо одетую, в шёлковой подбитой лисой ротонде и в белом платке на голове, вроде оренбургского. Дама эта стала ходить к Алафузову тоже лишь последнее время пребывания его у нас».

Белый оренбургский платок, очевидно, очень шёл неизвестной посетительнице: Прибылова* скостила ей минимум десять лет.

Последний раз, продолжает Прибылова, дама заходила к Алафузову дня за три до его ареста. «В тот раз она зашла на несколько минут, поговорила с Алафузовым, не снимая ротонды, — о чём именно — не знаю, и ушла»¹⁶⁷.

Василиса Бомбина (как помним, прислуга в квартире номер одиннадцать) доставила следствию некоторые дополнительные подробности. Оpozнав Клеточникова («Клеточкина», как упорно записывает следователь) и Колодкевича в качестве лиц, посещавших Баранникова, Василиса Бомбина присовокупила, что однажды вечером указанные лица, а также неизвестная дама брюнетка пили у Алафузова чай. «Собрались часов в 7 или 8 вечера и оставались до 10. Я подавала им самовар, но заходила в комнату лишь на несколько минут и о чём они беседовали тогда — не знаю. Припоминаю, что такое собрание у Алафузова было 2 раза, причём во второй были опять те же лица»¹⁶⁸.

В двух шагах от квартиры Достоевского мирно распивают чаи три члена Исполнительного комитета «Народной воли» и самый наисекретнейший еѐ агент¹⁶⁹.

Наконец один из участников этого чаепития, а именно Клеточников, называет имя: «<...> В конце ноября в квартиру Алафузова вместе с Александром Михайловым приходила молодая женщина

* Соблазнительно, конечно, увлечься сходством фамилий квартирной хозяйки и Корбы (по второму мужу): Прибылова — Прибылёва. Но это, скорее всего, одна из тех случайностей, которые так любит подстраивать судьба.

лет 26—27, среднего роста, смуглая, худощавая, брюнетка, которую при мне называли Елизаветой Ивановной. Она же заходила потом одна на Рождество или на Новый год на короткое время к тому же Алафузову»¹⁷⁰. Строки эти в тексте показаний подчёркнуты карандашом.

На допросе 11 февраля Клеточников вновь касается этого сюжета: «Женщина, приходившая к Алафузову и называвшаяся Елизаветою Ивановною, по-видимому, состояла в близких отношениях с Александром Михайловым, что я заключаю из того, что он был с нею на «ты» и что арест его, как после передавал мне Алафузов, произвёл на неё такое сильное впечатление, что она заболела, но я не помню, чтобы при мне Михайлов называл её по имени, и личность её мне не напоминает ни одна из карточек, виденных мною в 3-й экспедиции бывшего 3-го Отделения»¹⁷¹.

Клеточников пытается уверить следствие, что у него самого с «Елизаветой Ивановной» никаких дел вроде бы не было. Но у следователя существовало на этот счёт собственное мнение. В обвинительном акте по «делу двадцати» сказано: «Впоследствии же он (Клеточников. — *И. В.*) познакомился и вступил в сношения с Квятковским, Баранниковым, Колодкевичем и ещё одним, до настоящего времени не разысканным лицом»¹⁷².

«Неразысканное лицо» — это всё та же Елизавета Ивановна, таинственная посетительница Баранникова. Настоящее её имя — Анна Павловна Корба¹⁷³.

Укоры совести — с интервалом в полвека

В 1924 году Анна Павловна написала статью «Январские, февральские и мартовские аресты в 1881 году», где подробно остановилась на трагических событиях тех дней. Разбирая причины провалов, приведших к гибели Клеточникова, она пишет: «Январские аресты могут считаться объяснёнными, и факт, что причина этих арестов заключалась в предательстве Окладского, должен считаться доказанным»¹⁷⁴.

В 1932 году восьмидесятирёхлетняя Прибылёва-Корба вновь обращается к, казалось бы, давно исчерпанной теме: «Николай Васильевич Клеточников беспредельно доверял членам партии «Народной Воли» и Исполнительного комитета и чтил в них не только высокие нравственные и гражданские качества,

но также ценил в них умение конспирировать, верил в их осторожность и заботу о чужой жизни. И всё-таки, всё-таки он погиб, благодаря оплошности своих новых друзей».

Статья называлась: «Памяти дорогого друга Николая Васильевича Клеточникова».

В авторской интонации, в двукратном горестном повторении («и всё-таки, всё-таки он погиб») — звучит не просто печаль о павшем товарище. В этих словах слышится что-то очень личное: прошедшее через пять десятилетий неизбывное чувство вины...

«Как это могло случиться и как случилось, осталось невыясненным»¹⁷⁵, — заключает Анна Павловна.

Следует ещё раз попытаться восстановить события конца 1880-го — начала 1881 годов.

Осенью 1880 года Исполнительный комитет утрачивает единственный безопасный канал для свиданий с Клеточниковым — квартиру Н.Н. Оловенниковой. «...Нервы молодой девушки не выдержали... — пишет А. Корба. — Здоровье её расстраивалось всё больше и больше. Она просила себе отпуск, и наконец после ареста А.Д. Михайлова её квартира была ликвидирована. Для свиданий с Клеточниковым была назначена квартира Баранникова, но устойчивость и безопасность сношений сразу исчезли»¹⁷⁶.

Мы помним, что на квартиру в Кузнечном переулке Клеточникова, если верить его показаниям, привёл сам А.Д. Михайлов. Он, очевидно, полагал, что это пристанище — временное, и надеялся как можно скорее приискать более безопасную явку. 28 ноября Михайлов был арестован.

Баранников продолжает встречаться с Клеточниковым и, ненадолго уезжая в Москву, знакомит его с Колодкевичем. После возвращения Баранникова сношениями с «драгоценным агентом» ведают уже двое: оба живут под чужими фамилиями и по чужим паспортам.

«...Как возможно было принимать Клеточникова на квартире нелегального человека, да ещё при неясных условиях знаков безопасности или, может быть, при полном их отсутствии, — это совершенно непонятно»¹⁷⁷, — сокрушается через полвека А. Корба. «...Это нарушение тем более странно, — вторит ей В. Фигнер, — что Клеточников был очень близорук и не мог видеть знаков безопасности, которые всегда ставились у нас на квартире»¹⁷⁸.

В свою очередь Корба высказывает предположение, что ни Колодкевич, ни Баранников не успели убрать с окон зна-

ков безопасности — «и последнее обстоятельство привело к гибели... Клеточникова»¹⁷⁹. Но каким же образом, спросим мы, ухитрились бы они это сделать, если и тот и другой были арестованы на *чужих* квартирах, а полиция, посетившая их жилища, естественно, постаралась всё оставить в полной неприкосновенности?

Если знаки безопасности и были в порядке, они лишь маскировали западню.

В 1887 году в Париже вышла книжка «Заговорщики и полиция». её написал политический эмигрант, автор знаменитого послания Исполнительного комитета Александру III Лев Тихомиров (очевидно, именно его имел в виду Баранников, утешая Николая Васильевича, что «литературные силы все целы»^{*}). Тихомиров пишет: «Годом раньше конспираторы не могли даже и представить, чтобы Клеточников рисковал приходить в квартиру нелегального человека, разыскиваемого полицией»¹⁸⁰.

Было не до конспирации: «машина заведена», до взрыва остаются считанные недели.

Однако Баранников и Колодкевич не могли не понимать, что они — под ударом. Поэтому на случай провала адрес Клеточникова сообщается ещё одному «дублёру» — члену Исполнительного комитета Анне Павловне. Надо полагать, Николая Васильевича намеренно знакомят с «Елизаветой Ивановной»: легальная Корба должна была подстраховать своих товарищей.

16 декабря А.Д. Михайлов пишет из тюрьмы на волю: «Целую много, много раз Лизавету Александровну»¹⁸¹. Полагаем, что Лизавета Александровна и Елизавета Ивановна — одно лицо.

Вспомним показание Николая Васильевича, что «Елизавета Ивановна» заболела, узнав об аресте А.Д. Михайлова. Это неудивительно: Михайлов и Корба любили друг друга.

«Завещаю вам, братья, — пишет Михайлов на волю перед вечным исчезновением своим в казематах Петропавловки, — любить и ценить моего милого друга, а вашу сестру и товарища, как любили меня»¹⁸².

Анна Павловна могла считать поручение Исполнительного комитета ещё и своим личным долгом.

* Через несколько лет Л.А. Тихомиров отказался от своих убеждений, написал покаянное письмо царю, получил прощение и вернулся в Россию, где стал одним из деятельных сотрудников «Московских ведомостей».

Александр Михайлов — Баранников — Колодкевич — Корба: веревочка становится слишком длинной, чтобы не обнаружился конец.

Почему Исполнительный комитет избирает для подстраховки именно Корбу? Только ли потому, что её имя неизвестно полиции и её пока не разыскивают? Или же такому решению способствовали ещё и другие причины?

Предположим, что, вернувшись в 1878 году в Петербург, Корба продолжает поддерживать отношения с Достоевским (и даже посещает его, как посещала она, скажем, Н.К. Михайловского: одной из нелегальных функций Корбы была связь с «легальными» литераторами). Не по её ли совету и указанию в начале ноября 1880 года Баранников меняет пристанище и обосновывается в Кузнечном переулке? Ведь квартира № 11 удобна не только потому, что соседство с известным, далеко не радикального толка писателем ослабляет возможные подозрения. Она хороша и в том отношении, что к знаменитому жильцу не иссякает поток посетителей (идуших также и в «Книжную торговлю Ф.М. Достоевского»): в случае внешнего наблюдения трудно определить, в какую именно квартиру направился наблюдаемый субъект.

Эти предположения подтвердились самым поразительным образом. Готовя к печати первое издание настоящей книги, мы неожиданно натолкнулись на документ, который сообщил всему сюжету новый захватывающий интерес. Оказывается, с *конца 1879 года*. А.П. Корба (согласно обозначенной в документе прописке) некоторое время проживала в *доме № 5/2 по Кузнечному переулку!*¹⁸³ То есть в том самом доме, где с октября 1878 г. жил Достоевский. Теперь почти не приходится сомневаться в вероятности её личных контактов, равно как и в том, что местожительство Баранникова было выбрано отнюдь не случайно. Но вот вопрос: почему квартирная хозяйка Прибылова и служанка В. Бомбина *не признали* «брюнетку в белом платке»? Означает ли это, что Корба действительно была им неизвестна (они не обязаны помнить всех бывших обитателей дома), или же свидетели руководствовались какими-то *особыми* мотивами? Всё это требует разъяснений*.

* Дом № 5/2 по Кузнечному переулку указан в «Билете А.П. Корбы», в котором зафиксированы места её жительства осенью 1879 г. К сожалению, из документа нельзя заключить, когда именно Корба вселилась и когда покинула дом 5/2. Но если в феврале 1880 г. (взрыв в Зимнем дворце) она жила

Вспомним, что Фроленко связывал беспечность Баранникова именно с его «надёжным» соседом. Те, кто поручил Анне Павловне роль «дублера», могли руководствоваться и таким тактическим соображением: у неё всегда есть предлог зайти в случае каких-либо осложнений в квартиру № 10, минуя жилище Баранникова.

Оправдалось ли подобное соображение в те январские дни, когда в доме по Кузнечному переулку параллельно (параллельно ли?) разыгрываются две драмы: уходит из жизни жилец квартиры номер десять и обрекаются на гибель жилец квартиры номер одиннадцать и его посетители?

Сама А.П. Корба не даёт на это ответа.

В 1934 году на страницах журнала «Каторга и ссылка» Анна Павловна снова вспоминает Клеточникова. Она вновь возвращается к обстоятельствам его ареста.

27 января, пишет Корба, к ней зашла А.В. Якимова (кстати, именно она исполняла роль хозяйки сырной лавки на Малой Садовой, откуда вёлся подкоп). Якимова предложила немедленно идти к Клеточникову — предупредить его, «чтобы он временно никуда не заходил, ввиду ареста Баранникова и Колодкевича».

«Я посмотрела на часы, — пишет Корба. — Было около трёх часов».

Идти на квартиру к Клеточникову было бесполезно, так как он заканчивал службу в четыре. Объяснив это Якимовой, Анна Павловна «дала слово, что сделает всё возможное, чтобы увидеться с ним»¹⁸⁴. И действительно, после четырёх она, по её словам, три раза посещала квартиру Клеточникова и, не застав его, написала записку — чтобы он до свидания с ней никуда не заходил. Затем из почтового отделения она отправила Клеточникову открытку, что будет ждать его завтра, 28-го, в 6 часов вечера на Невском.

в Кузнечном переулке, то воображаемый разговор у магазина Дациаро действительно мог быть не таким уж «воображаемым». (Подозрения на этот счёт, отнесённые В.Б. Шкловским к Баранникову, следовало бы адресовать совсем другому лицу.) «Новелла» Достоевского («сейчас Зимний дворец будет взорван») поражает тем сильнее, если вспомнить, что как раз в это время Корба не только мирно жительствоует в доме 5/2, на Кузнечном, но и принимает живейшее участие в специфической деятельности подпольной мастерской (Большая Подьяческая, 57), которая и поставила «динамит к юбилею». Разумеется, всё это можно по-прежнему объяснять слепой случайностью. Однако не начинается ли количество совпадений превышать «критическую массу»?

Так говорит Анна Павловна Корба. При этом трудно отделаться от впечатления, что мемуаристка желает оправдаться: хотя бы перед собой.

Ибо если всё на самом деле было так, как описывает Анна Павловна, тогда становятся понятными причины её поздней мучительной скорби.

Она ощущает вину.

Действительно: жить в том же городе, иметь в запасе сутки (целые сутки!) и не спасти «драгоценного агента» — грех непростительный. Надо было пойти к Клеточникову не три, а тридцать три раза, ждать его до ночи, прийти к нему на рассвете, но — предупредить. В конце концов можно было бы встретить его до или после службы — у самого здания Департамента полиции (риск в данном случае невелик). Анна Павловна — да простится нам это сравнение — поступает как светская барышня: не застав своего знакомого, она оставляет ему записку, а затем прибегает к помощи городской почты, чтобы назначить свидание. Как будто речь идёт о загородной прогулке, а не о жизни и смерти!

Обещав Якимовой (а в её лице — Исполнительному комитету) сделать «всё возможное», она сделала далеко не всё.

Не потому ли в свои восемьдесят пять лет — будучи человеком исключительно цельным и высоконравственным — Анна Павловна Корба снова и снова возвращается к тем далёким январским дням, чтобы понять: в чём же состояла ошибка?

Помнила ли она, что её оправдывает один документ? Открытка, адресованная Клеточникову, была «получена» полицией — и благодаря этому обстоятельству дошла до нас. Она гласит:

Николай Васильевич.

Мне Вас нужно видеть, да не знаю, когда Вас захватить дома. Вы знаете, что я гуляю перед обедом по Невскому (солнечная сторона) около 5 час. Не будете ли так добры завернуть на Невский (завтра) в это время.

28 января 81 г.

*Подпись неразборчива*¹⁸⁵.

В обвинительном акте по «делу двадцати» сказано: «29 января 1881 года, т. е. на другой день после ареста Клеточникова, в квартире его было доставлено по городской почте письмо от 28 января, в котором Клеточников приглашался в 5 часов пополудни

на Невский проспект для свидания с анонимным автором письма. По сличении почерка этого письма с почерком казнённого государственного преступника Желябова, знакомство и сношения с которым Клеточниковым отрицаются, эксперт пришёл к заключению, что упомянутое письмо написано Желябовым»¹⁸⁶.

Эксперт ошибся. Но, по-видимому, ошибалась и Анна Павловна, отнеся все события на день раньше.

Ибо если письмо написано и отправлено не 27-го, а 28-го, следовательно, суток в запасе уже не было: были часы. Клеточников в этот день скорее всего не возвращался домой: он направился прямо к Колодкевичу. Единственной возможностью спасти его было действительно после прихода Якимовой (3 часа дня) тотчас же поспешить к службе Клеточникова: слабый, но, увы, единственный шанс.

Если бы Корба зашла в этот день к своему подопечному в четвёртый раз (чуть позже), она бы наверняка не разминулась с жандармами*.

Да и заходила ли Анна Павловна к Клеточникову именно *три* раза? Или — посетила его только единожды — около пяти — и, инстинктивно почувствовав опасность, решила не рисковать более и ограничиться посылкой открытки (что *вечером 28 января* было формально правильным шагом, спасшим её от ареста).

Все эти соображения справедливы, если Анна Павловна узнала об арестах Баранникова и Колодкевича не 27-го, а 28 января¹⁸⁷. Если же это произошло, как она пишет, всё-таки 27-го, чувство вины мучило её не напрасно.

Ибо помимо заходов на квартиру к Клеточникову существовала ещё одна потенциальная возможность предупредить его о грозящей опасности. Можно было караулить Николая Васильевича у дома в Кузнечном переулке: ведь Анне Павловне ничего не известно о том, что Клеточников уже знает об аресте Баранникова. Естественно было предположить, что Николай Васильевич направится на свою обычную явку, и попытаться перехватить его.

* Надо полагать, память изменила Корбе ещё в одном случае. Сомнительно, чтобы она оставляла Клеточникову предупреждающую записку (иначе зачем было дублировать её открыткой?). Если бы записка была оставлена 27-го, Клеточников не пошёл бы к Колодкевичу; если же — 28-го, то она (записка) непременно попала бы в руки полиции и фигурировала в деле. И ещё: может быть, открытка, посланная Клеточникову, *действительно* была написана Желябовым — по просьбе или с ведома Корбы?

В этом случае квартира Достоевского могла сыграть некоторую роль.

Зададимся вопросом: откуда вообще Исполнительный комитет узнал об арестах Баранникова и Колодкевича? Ведь Клеточников сообщить об этом не мог. В исчезновении товарищей можно было удостовериться, только зайдя к ним домой: выхода оттуда уже не было. Или — подойдя к квартире. Осведомляться у дворника было рискованно. Оставался ещё вариант: расспросить *знакомых* жильцов.

Имя Достоевского открывало беспрепятственную возможность войти в дом и попытаться определить, нет ли засады. Там же, на месте, можно было получить информацию о том, что же случилось с обитателем квартиры номер одиннадцать и его посетителями¹⁸⁸.

Не потому ли Анна Павловна Корба на склоне лет испытывает чувство вины, что, зная обо всех этих возможностях, она не заходила или не смогла ими воспользоваться?

Впрочем, не исключено, что попытки были: мы об этом, вероятно, не узнаем никогда.

Уже находясь в тюрьме, Корбе удалось передать товарищу на волю следующую зашифрованную записку: «Знаешь ли, какое моё завещание партии? По-моему, партия никогда не будет так твёрдо стоять на ногах, как в (18)79 и (18)80 гг., пока не будет иметь Ушинского (очевидно, от слова «уши». — *И. В.*) в центре тайной полиции...»¹⁸⁹

Она понимала значение Клеточникова: тем мучительнее были укоры совести.

...В те самые часы, когда Анна Павловна бесцельно кружила вокруг обречённой квартиры и отправляла её хозяину уже бесполезную открытку, сам он медленно направлялся в дом № 47 по Фонтанке, где его поджидала засада. Согласно полицейскому протоколу, Клеточников явился к Колодкевичу 28 января «в 7 1/4 часов пополудни»¹⁹⁰.

Через час с небольшим на своей квартире в Кузнечном скончался Достоевский.

Меж двух огней

Работая над главой воспоминаний, посвящённой болезни и смерти Достоевского, Анна Григорьевна сделала к ней следующее примечание: «Возможно, что муж мой и мог бы оправиться на некоторое время, но его выздоровление было бы непродолжительно: известие о злодействе 1 марта, несомненно, сильно

потрясло бы Фёдора Михайловича, боготворившего царя — освободителя крестьян; едва зажившая артерия вновь порвалась бы, и он бы скончался»¹⁹¹.

Смерть Достоевского — пусть не реальная, а гипотетическая — напрямую связывается с катастрофой 1 марта. Но стала бы Анна Григорьевна отрицать, что его не отсроченная на месяц, а в назначенные сроки совершившаяся кончина находилась в некоторой зависимости от этого исторического события?

Если допустить хотя бы малую степень причастности январских обысков и арестов к предсмертной болезни Достоевского, то даже это осторожное допущение сильно меняет привычную картину и бросает на всё происходящее резкий и трагический свет. Смерть гениального человека помимо своего собственного, достаточно величественного смысла обретает ещё одно измерение и оказывается включённой — в качестве, может быть, «побочного» сюжета — в цепь событий, захвативших многие судьбы и приведших ко многим смертоносным развязкам. В эти события вовлечены разные общественные круги — от русского правительства, с его коронованным главой, до революционеро-террористов, вождей подпольной России, руководителей самого грозного в её истории заговора.

Царь и профессиональные царевбийцы «сходятся» у смертного одра Достоевского. Его последнее прибежище оказывается в перекрестье непримиримых, полярных, насмерть схватившихся сил, и последние биения его сердца совпадают с глухими ударами этой борьбы.

Анна Григорьевна полагает, что смерть её мужа всё равно последовала бы — после 1 марта. Но, может быть, смерть эта (если признать влияние сопутствующих обстоятельств) и была следствием первоапрельского взрыва, понимаемого в широком историческом смысле? Анна Григорьевна говорит, что её мужа свела бы в могилу весть о гибели обожаемого монарха. Не исключено, что его свели в могилу удары, направленные против тех, кто эту гибель готовил.

Теперь попробуем отказаться от всех наших гипотез, догадок и предположений, связанных со скрытыми от посторонних глаз обстоятельствами смерти Достоевского. Решимся даже пренебречь фактами. Спишем всё на игру судьбы, на случай, затеявший интригу, столкнувший героев, подгадавший совпадения, — и всё это лишь с целью поддразнить тех, кто в прошлом тщится рассмотреть больше, нежели им показывают. Допустим, что Достоевский никогда слыхом не слыхивал про своих соседей, что он абсолютно

ничего не ведал о том, что происходит у него под боком, и что всё происшедшее не имело к нему ровно никакого отношения*.

Он об этом не знал. Но *мы-то* знаем.

И в силу этого знания смерть Достоевского — независимо от её конкретных причин — озаряется неожиданным многозначительным смыслом.

Он, всю свою жизнь стоявший лицом к лицу с русской революцией, мучившийся её вопросами и отвергавший её ответы, он, пристрастный свидетель совершающегося на его глазах единоборства, вдруг, в самом конце, оказывается невольным участником драмы — если даже это участие понимать в метафорическом смысле. В последние его минуты судьба ввергает его — скорее всего без его ведома и согласия — в мир тех жестоких реальностей, которые определяли суть русской политической жизни и которые тайно или явно присутствовали на страницах его «дневниковой» и художественной прозы. Пребывающий меж двух огней и опалённый их губительным жаром, он теперь оказывается меж ними уже не в переносном, а в прямом, физическом смысле: бой идёт вокруг его смертного ложа.

Трудно представить более символическую развязку.

Сознательный и страстный противник революционного насилия, не приемлющий ни его кровавой логики, ни тактических приёмов, он был вместилищем тех идеальных стремлений, которые определили нравственный выбор не одного поколения «русских мальчиков». Беспощадный обличитель социального зла и провозвестник грядущего мирового переустройства, он по самому своему творческому духу был вовсе не чужд той стихии, которая вызрела в недрах русской исторической жизни и была готова смести её вековые устои. Присущий молодости нравственный максимализм нашёл в нём своего выразителя и адепта. Он стал духовным предтечей русской революции (если иметь ввиду её религиозный аспект), явив не только неприятие «лика мира сего», но и призвав к изменению этого лика.

Он воплотил в себе то подспудное национальное чувство, которое начиная со второй половины века делается доминирующим и определяет ближайшие и отдаленнейшие судьбы страны.

* Можно также допустить, что у Анны Григорьевны не было сознательного желания скрыть от потомства развернувшиеся вокруг квартиры № 11 события: просто она не считала их *событиями*.

Это — *чувство кануна*, ощущение неизбежности решающего исторического поворота, призванного покончить с господством мнимых, не соответствующих истинной природе человека ценностей и восстановить эту природу во всей её полноте. Это — жажда окончательного мирового исхода («дешевле не примиримся»), удивительное схождение эсхатологии с эвдемонизмом.

Но, будучи нравственной рефлексией русской революции, он всем своим существом отвергал её самое.

Он полагал, что силы социального разрушения *сами по себе* не в состоянии уничтожить старый миропорядок и на его обломках воздвигнуть царство свободы и справедливости и что, однажды пущенные в ход, они только умножат объём мирового зла, вызвав результаты, прямо противоположные тем, которые задумывались в идеале.

Политическое насилие понималось им как неуважение к естественному течению жизни, как попытка «механических» изменений, не влияющих на глубинную суть, как признак неспособности ужиться внутри самой истории.

«Русское решение вопроса» заключалось, по его мнению, в ином: в пробуждении внутренних духовных ресурсов, в *практическом* осуществлении недостижимого идеала христианства. Нравственный (инстинктивно сознаваемый нацией) закон, воплощённый в православном миропонимании, должен был стать сознательной нормой её жизни и деятельности.

Он не мог обрести союзников слева: *там* спешили, томясь острым историческим нетерпением и мечтая покончить со злом *одним ударом*.

Но и власть, бесконечно далёкая от занимавших его проблем, вовсе не собиралась играть в его опасные игры. Ибо он в конечном счёте уготавливал самой этой власти незавидную судьбу. Если государство, как он бы желал, обращалось в Церковь, то тогда начинали действовать совсем иные законы, главным из которых оказывалась — любовь.

Пока же Россия «колебалась над бездной»: он полагал, что в эту бездну её способна свергнуть каждая из противоборствующих сторон. «Чистый сердцем» Алёша Карамазов готовился в царевубийцы. «Машина» была заведена — и взрыв мог грянуть в любую минуту. Он не чувствовал себя вправе губить тех, кто завёл «машину»: среди них мог оказаться его любимый герой.

Он предпочёл умереть.

глава XXI

дом без хозяина

Около полуночи

Примерно через час после его кончины приехал родной брат Анны Григорьевны — Иван Григорьевич Сниткин. Он прибыл из Москвы — повидаться с сестрой — и совершенно не ведал, что окажется первым из тех, кто явится *к телу*.

Подъехав к подъезду, брат, как пишет Анна Григорьевна, «с удивлением заметил, что все окна нашей квартиры ярко освещены, а около входа стоят два-три подозрительных лица в чуйках». Нет, это не были переодетые полицейские агенты: одно из лиц побежало за Иваном Григорьевичем, шёпотом умоляя его похлопотать о том, чтобы заказ достался именно ему.

« — Что такое, какой заказ? — спросил ничего не понимавший брат.

— Да мы гробовщики, от такого-то, так вот насчёт гроба.

— Кто же тут умер? — машинально спросил Иван Григорьевич.

— Да какой-то сочинитель, не упомянул фамилии, дворник сказывал...»¹

Дворник — теперь нам известно имя: Трофим Скрипин — был уже в курсе.

В курсе был и Суворин: настоящий газетчик, он явился около полуночи, на полсутки опередив остальную газетную братию. Именно ему принадлежит своего рода уникальный репортаж об этой ночи.

«Я вошёл в тёмную гостиную, взглянув в слабо освещённый кабинет...

Длинный стол, накрытый белым, стоял наискосок от угла. Влево от него, к противоположной стене, на полу лежала солома, и четыре человека, стоя на коленях, вокруг чего-то усердно возились. Слышалось точно трение, точно всплески воды. Что-то белое лежало на полу и ворочалось или его ворочали. Что-то привстало, точно человек. Да, это человек. На него надевали рубашку, вытягивали руки. Голова совсем повисла. Это он, Фёдор Михайлович, его голова. Да он жив? Но что это с ним делали? Зачем он на этой соломе? В каторге он так лёживал, на такой же соломе, и считал мягкой подобную постель. Я решительно не понимал. Всё это точно мелькало передо мной, но я глаз не мог оторвать от этой странной группы, где люди ужасно быстро возились, точно воры, укладывая награбленное. Вдруг рыдания сзади у меня раздалась. Я оглянулся: рыдала жена Достоевского, и я сам зарыдал... Труп подняли с соломы те же самые четыре человека; голова у него отвисла навзничь; жена это увидела, вдруг смолкла и бросилась её поддерживать. Тело поднесли к столу и положили. Это оболочка человека — самого человека уже не было...»²

Самого человека уже не было, но весть об этом ещё не успела разнестись по Петербургу. Суворин поспешил в редакцию, чтобы не опоздать с некрологом; разъехались и остальные знакомые. Заплаканные дети спали в детской. Бодрствовали только вдова, её мать и брат. К часу ночи, говорит Анна Григорьевна, «усопший уже возлежал на погребальном возвышении посередине своего кабинета... С глубокою благодарностью судьбе вспоминаю я эту последнюю ночь, когда мой дорогой муж ещё всецело принадлежал своей семье...»³

На следующий день, 29-го, Достоевский семье уже не принадлежал.

Не дом, но храм

В четверг 29 января неторопливые «С.-Петербургские ведомости» наконец-то известили своих читателей (двумя строчками на третьей полосе): «Ф.М. Достоевский сильно занемог вечером 26 января и лежит в постели»⁴.

Между тем он уже лежал на столе.

«Голос» и «Новое время» успели сообщить о кончине — в траурных рамках на первых страницах — и даже поместили некрологи.

«Он рано умер, — писал «Голос». — Ему было всего 58 лет (пятьдесят девять. — *И. В.*). О нём нельзя сказать, что он совершил «в пределах земных всё земное». Он совершил много, но не всё...»⁵

Суворин, приехавший в редакцию прямо из Кузнечного переулка, едва ли не продиктовал наборщику свою ночную статью.

«Сегодня не стало Достоевского, — пишет Суворин, — искреннейшего и благороднейшего служителя правды. Он угас в три дня, угас в цвете таланта, в полном расцвете надежд на дальнейшую деятельность, на борьбу, на защиту дорогих прав русского человека»⁶.

Это было начало. Сутки спустя лавина редакционных и подписанных статей, информационных заметок, комментариев, некрологических стихов и репортажей хлынет на страницы русской прессы и сильно потеснит все остальные новости.

С утра 29 января он уже принадлежал всем.

Скульптор Л.А. Бернштам поспешил снять с него посмертную маску. Позднее приехал Крамской и стал набрасывать портрет. «Насколько я могла видеть, — пишет Е.А. Рыкачёва, — портрет выходил очень похожим; страшная была эта картина — с одной стороны с него писали портрет, а с другой — стоял пономарь и читал по покойнике»⁷.

Портрет удался художнику: голова Достоевского покоится на подушке, по которой расходятся *живые* складки (гроба ещё нет); может быть, поэтому кажется, что и сам он — жив.

О том необычайном впечатлении, которое производил покойный, с поразительным единодушием свидетельствуют все очевидцы.

С у в о р н: «Мы видели его сейчас около полуночи. Его только что обмыли и положили на стол. Он лежал как живой. Бледный, спокойный, он точно спал»⁸.

Анна Григорьевна: «Лицо усопшего было спокойно, и казалось, что он не умер, а спит и улыбается во сне какой-то узнанной им теперь «великой правде»⁹.

Любовь Федоровна: «Казалось, он спит на своей подушке, слегка улыбаясь, точно видит что-то очень хорошее перед собой»¹⁰.

Е. А. Рыкачёва: «Лицо его необыкновенно покойно и нисколько не изменилось...»¹¹.

К. П. Победоносцев: «Он кажется как живой, с полным спокойствием на лице, как в лучшие минуты жизни»¹².

К. П. Ободовский: «Писатель лежал в гробу как живой, черты лица его не изменились»¹³.

В. И. Дмитриева: «Оно (лицо. — *И. В.*) было совершенно спокойно, я бы сказала — даже благодушно и светло, как будто вот человек намучился, устал смертельно, а сейчас лёг, сладко заснул и видит хорошие сны»¹⁴.

А. А. Зеленецкий: «Глубокое спокойствие и какая-то дума были на лице этого человека...»¹⁵

А.Ф. Кони: «Какое лицо! Его нельзя забыть... Оно говорило, это лицо, оно казалось одухотворённым и прекрасным»¹⁶.

Немо (газета «Минута): «...голова его лежит довольно низко на подушке. Лицо желтоватое, с вытянутым заострённым носом, выражает чрезвычайное спокойствие... кажется, что вы стоите не у гроба мертвеца, а у постели спящего самым невозмутимым тихим сном человека»¹⁷.

Ни на одной фотографии, ни на одном прижизненном портрете Достоевского мы не увидим ничего подобного. Его лицо — тревожное, напряжённое, суровое, но никогда — спокойное или величественное. Смерть как бы приглушила этот вечный внутренний непокой, разгладила черты и высвободила что-то глубоко потаённое. Как будто с отлётом живой души проступило то, к чему эта душа всегда стремилась. Покой и воля, недостижимые при жизни, осенили его на смертном одре.

Он был покоен, но волнение, вызванное его смертью, нарастало с каждым часом.

«Придя в этот день в Окружной суд, где я был председателем, — вспоминает А.Ф. Кони, — я пригласил одного из моих секретарей, молодого правоведа Лоренца... начать доклад вновь поступивших бумаг и стал писать на них свои резолюции. Вскоре Лоренц стал запинаться, голос его дрогнул, и он внезапно замолчал на полу-

слове. Я поднял голову и вопросительно взглянул на него. Глаза его были полны слез, и рот кривила судорога сдерживаемого плача. «Что с вами? Вы больны?» — воскликнул я... «Достоевский, Достоевский умер!» — почти закричал он, поражая меня этим неожиданным известием, и залился слезами»¹⁸.

Около одиннадцати на Кузнечный стали являться первые посетители. К концу дня через кабинет Достоевского их прошло уже несколько тысяч.

«Должна сказать, — пишет Анна Григорьевна, — что те два с половиною дня, пока тело моего незабвенного мужа находилось у нас в доме, я вспоминаю с некоторым ужасом»¹⁹.

Человеческий поток безостановочно вливался с парадного входа; второй — шёл с чёрной лестницы. Люди заполнили всю квартиру. (Свободной осталась только отдалённая комната, где помещалась мать Анны Григорьевны и куда вдова время от времени удалялась, чтобы броситься на постель и дать волю своему отчаянию.) В кабинете стояли так плотно, что от недостатка кислорода гасли лампы и свечи, окружавшие катафалк. Не попавшие в квартиру терпеливо ждали своей очереди на грязной тёмной лестнице, где, по свидетельству очевидца, пахло «кошками и жареным кофе». («Вот как живут наши знаменитые писатели!» — заметил один из посетителей.) В самой квартире стоял «душный запах гиацинтов и тубероз»²⁰: все желающие брали на память по цветку, но масса цветов не убывала.

Историк и романист Д.Л. Мордовцев пишет А.С. Суворину: «...был сейчас у Достоевского. Всё — и юное, и старое — теснится у славного... трупа. Григорович, Страхов, Потехин Алексей, Победоносцев, Абаза, Данилевский, Гайдебуров, Михайловский, Бестужев-Рюмин с целым университетом юных студентов, Орест Миллер, Каразин и т. д. и т. д. Майков Леонид (брат А.Н. Майкова. — *И.В.*) говорит мне: «Шубы снять бы надо». — «Зачем? — говорю я. — Это уж церковь теперь, не дом, а в церкви — и в шубах можно». Да, церковь...»²¹

«Церковь», — говорит Мордовцев, и, конечно, он понимает под этим не только ритуальную сторону дела. Ибо далеко не каждый дом после кончины хозяина становится храмом.

Духовная сила Достоевского, освобождённая и преображённая смертью, начинала действовать по иным, чем при его жизни, законам...

Список лиц, приводимый Мордовцевым, разнохарактерен: здесь шесть или семь литераторов, один художник, два сановника, два профессора — названы лишь те, кто лично знаком или признан автором письма. Иные из этих лиц принадлежат к близкому окружению Достоевского. Но одно имя останавливает: Михайловский.

Да, у гроба Достоевского бок о бок с обер-прокурором Святейшего синода (который, по словам очевидца, склонял свою голову «близко, близко к лицу покойного»²²) находится человек, с которым Победоносцев ни в каком другом месте и ни при каких других обстоятельствах встретиться бы не мог: один из редакторов «Отечественных записок», мало того — автор статей в подпольных изданиях «Народной воли» (эта тайна партии обнаружится ещё очень не скоро), кто месяц спустя — в то самое время, когда Победоносцев будет прилагать отчаянные усилия, чтобы направить первые шаги нового царя, — займется редактированием известного послания Исполнительного комитета тому же Александру III.

Пришёл ко гробу и сам ответственный редактор «Отечественных записок» М.Е. Салтыков-Щедрин.

«Понемножку продвигаясь вперёд, — вспоминает одна из явившихся на панихиду, — мы вдруг услышали среди тишины, наполненной только шорохом толпы, неожиданно громкий и грубоватый возглас:

— Что же это попы-то не идут! Уже шесть часов!

Толпа всколыхнулась и, оглядываясь на голос, возмущённо зашипела:

— Шш! Что за безобразие? Молчите...

И в ту же минуту возмущённое шипение сменилось другим, уже не негодующим, а изумлённым и почтительным шёпотом:

— Щедрин! Это Щедрин... Щедрин... — неслось в толпе от одного к другому».

Салтыков-Щедрин приходит ко гробу литератора, с которым он яростно полемизировал в 60-е годы и который совсем недавно ядовито задел его в «Карамазовых». Он приходит к нему так же, как сам Достоевский приходил ко гробу Некрасова: все они, несмотря на различие убеждений, принадлежат к одному духовному братству, и других писателей в России нет...

Покидая квартиру Достоевского, упомянутая выше посетительница вновь увидела Щедрина. Он стоял зажатый в углу лестничной площадки. «...Беспокойными глазами он смотрел на этот

живой поток, текущий мимо него, и, видимо, выжидал удобной минуты, чтобы без помехи снова подняться наверх и поклониться праху своего идейного противника»²³.

Победоносцев и Салтыков-Щедрин, Михайловский и Страхов — фигуры полярные (впрочем, Салтыков вполне мог раскланиваться с Победоносцевым — оба они жили на Литейном, в соседних домах). И тем не менее все они сходятся у гроба, как бы на минуту забыв о своей глубокой непримиримости.

Именно эта черта — *всеобщность* скорби — более всего поразила современников.

«...Всё, что есть в столице интеллигентного, — пишет «Голос», — спешило отдать последний долг русскому писателю, поклониться его гробу»²⁴.

В момент, когда идейная и политическая борьба достигает высокого накала, когда консервативные, либеральные и революционные силы озирают свои ряды и готовятся к решающей схватке, совершается событие, которое на миг как бы примиряет всех. Смерть Достоевского становится фактом надпартийным, но, как нам ещё предстоит убедиться, далеко не безразличным к текущей политической жизни — к злобе дня, фактом, исполненным глубокого исторического смысла.

Однако у этой смерти был ещё один, никем тогда не замеченный аспект: о нём-то и надлежит вспомнить.

Засада у гроба

«Было половина восьмого вечера, — говорит корреспондент «Минуты», — когда извозчик подвёз меня сегодня к подъезду дома на углу Кузнечного и Ямской. У подъезда стоял полицейский пристав с помощником и городовыми»²⁵.

Прервём на некоторое время газетный репортаж. Обратимся к нашим знакомцам.

У подъезда дома № 5/2 бодрствует пристав Надежин и, кто знает, может быть, околоточный надзиратель Яковлев, три дня назад столь доблестно задержавший мужчину «неизвестного звания». Толпа всё прибывает — и у полицейских хватает новых забот. Но вот вопрос: позабыты ли ими заботы старые?

Вопрос этот имеет не риторический, а вполне предметный характер.

Действительно: откуда нам известно, что после смерти Достоевского у полиции не осталось иных обязанностей, как поддерживать в Кузнечном переулке внешний порядок и благопристойность? Напротив, в этом не может быть никакой уверенности. Ибо трудно предположить, чтобы со смертью жильца квартиры номер десять полиция напрочь забыла о существовании квартиры номер одиннадцать.

Положим, 29 января было вынесено постановление, согласно которому проживающая в комнате № 2 госпожа Григорьева освобождалась от привлечения «к настоящему дознанию». Гласное наблюдение за ней снималось, и ротмистр с не разобранный нами фамилией мог переключить своё внимание на другие объекты. Но соседняя комната № 1 оставалась, по-видимому, под присмотром.

Полицейская засада в доме 5/2 повела 26 января к ощутимому успеху: члены неуловимого Исполнительного комитета попадались не каждый день (хотя 25—26 января получалось, что каждый). Естественно было уповать, что в квартиру № 11 явится ещё кое-кто из небезынересных для подполковника Никольского лиц. Что, например, непременно случилось бы с Клеточниковым, не узнай он своевременно об аресте Баранникова. Другой кандидат — А.П. Корба.

У начальства не было ни малейших оснований свёртывать столь блистательно начатую операцию. Смерть Достоевского никоим образом не должна препятствовать нормальной деятельности полиции.

Но если так, то отсюда следует один непреложный вывод. На протяжении всех дней, когда через квартиру Достоевского двигался людской поток, полицейские агенты не спускали глаз с соседнего помещения.

Конечно, теперь их задача сильно усложнилась. Огромное скопление народа — на руку злоумышленникам. Прежде чем навестить нужную им квартиру, они могут заняться тщательной рекогносцировкой. У них имеется возможность провести разведку (безопасна ли явка) — и при этом остаться незамеченными.

Само собой, засада функционировала круглосуточно: тайный и непрошенный караул у гроба Достоевского.

Но существовал ещё другой караул — явный: бесконечно сменяясь, он был неиссякаем.

Погребальная проза

«Мы только что были у гроба *Ф. М. Достоевского*, — сообщает «Порядок». — Темная лестница, маленькие тесные комнаты... Одни входят, другие выходят. Нет торжественной обстановки, но на глазах у многих слёзы. Видимо, все поражены неожиданною утратою»²⁶.

То, что происходило в эти часы на квартире в Кузнечном, описано многократно. Но стоит обратиться к источникам, которые практически неизвестны. В сообщениях так называемой мелкой прессы незначительные сами по себе подробности и детали могут порой оттенить главное.

Вернёмся к репортеру газеты «Минута» (укрывшемся за подписью *Neto*): он уже миновал дежурящих у подъезда пристава и городских.

«Обе половинки двери раскрыты, и по узкой лестнице поднималась вверх толпа людей... На первой площадке с левой стороны дверь с дощечкою: «Фёдор Михайлович Достоевский». Я вошёл в узкий коридор, из которого вела дверь в залу...»

На входной двери (которая, по свидетельству тех же газет, обита старой, обтрепаннейшей клеёнкой) значится имя: лишний довод в пользу того, что посетители господина Алафузова — независимо от того, находилась ли его квартира рядом или этажом выше, — не могли не быть осведомлены о том, кто проживает по соседству.

«...Кое-как мне удалось протискаться до дверей, — продолжает хроникёр, — и пройти в небольшую, несколько продолговатую комнату-кабинет, могущий вместить в себя не более 20-ти человек. У дверей, в углу, стол, по четырём сторонам которого стоят церковные подсвечники с зажжёнными свечами, на столе лежит угасшее светило нашей литературы (оставим стиль на совести автора. — *И. В.*), голова его лежит довольно низко на подушке».

Затем *Neto* описывает покойника, покрытого «парчовым золотистым покрывалом», венки и букеты из живых цветов — алых и белых роз, сирени, иммортелей и стоящий в углу «на маленькой ореховой этажерке» (не её ли пытался он передвинуть в ту роковую ночь?) образ Успения Божьей Матери в серебряной ризе, перед которым теплится лампада. «Направо, в простенке, между двумя окнами зеркало, покрытое белым чехлом, а налево, возле стола, висит на стене фотографический портрет Фёдора Михай-

ловича. Тут же помещается небольшой шкаф с книгами о четырёх полках, на которых виднеются: «Записки из Мёртвого дома», «Восточная война» Богдановича, Гоголь, Лермонтов, Шекспир и внизу, на первой полке — в переплёте Новый Завет».

Среди прочих авторов — Лермонтов: не брал ли по-соседски отличавшийся почти полным отсутствием собственного имущества господин Алафузов (в протоколе обыска не значится, как это ни странно, ни одной книги) почитать произведения своего любимого поэта?

Публики, если верить словам хроникёра, в кабинете сорок—пятьдесят человек: она состоит в основном из молодых девушек (их старались пропустить вперёд), одетых в чёрные платья. «Температура в комнате так высока, что нет никакой возможности дышать».

Подавляющее большинство тех, кто перебивал у Достоевского, — это молодёжь. С ним пришла проститься самая отзывчивая его аудитория.

Но вернёмся к газетному отчёту.

« — Пропустите, господа! — раздаётся басистый мужской голос.

— Потише! Ведь вы у одра покойника, — замечает чей-то слабый женский голос.

— Вы-то вот пришли смотреть сюда, а я по обязанности... Пропустите же, ведь этак нельзя! Говорят вам, пропустите! — сильно возвышает бас: — Я певчий.

Публика сторонится, и бас, весь в поту, пробирается в комнату...

— Пропустите батюшку!

Но публика не сторонится.

— Господа, будьте так любезны, позвольте пройти батюшке, — обращается удручённая горем супруга Фёдора Михайловича.

Просьбу свою она повторяет несколько раз»²⁷.

Анне Григорьевне приходилось труднее всех. Она говорит, что в эти дни её замучили депутации, заявлявшие ей свои соболезнования. Все толковали о том, кого потеряла Россия, и никто не упомянул, кого потеряла *она*: «Когда одно лицо из членов многочисленных депутаций захотело, кроме «России», пожалеть и *меня*, то я была так глубоко тронута, что схватила руку незнакомца и поцеловала её»²⁸.

«Я не вполне убеждён, — замечает по этому поводу В. Шкловский, — что рука была поцелована у незнакомца»²⁹.

И в подтверждение своей мысли цитирует дневниковую запись

Суворина, где издатель «Нового времени» говорит о том, какое впечатление произвёл написанный им некролог: «Вдова Достоевского понимала очень хорошо значение этой агитации. Она поцеловала мне руку»³⁰.

«Впрочем, — усмешливо добавляет Шкловский, — Анна Григорьевна, может быть, в те дни целовала руки два раза — разным людям»³¹.

Подобная догадка не лишена интереса. Но заметим, что у Анны Григорьевны речь идёт именно о руке *незнакомца*. «Незнакомец» — псевдоним Суворина: Анна Григорьевна — по-видимому, бессознательно — оставила нам этот знак.

Во время панихиды, аккуратно фиксирует корреспондент «Минуты», «с супругою покойного делается дурно и её выводят под руки»³².

Один из таких приступов едва не закончился трагически. Анне Григорьевне по ошибке вместо тридцати капель валерьяны напали такое же количество нашатыря. Она обожгла полость рта и язык, но успела выплюнуть убийственное лекарство: нашатырный спирт не проник вовнутрь.

Все эти дни Анна Григорьевна обходилась лишь булками и чаем. «Детей моих, — вспоминает она, — добрые знакомые уводили гулять и к себе обедать, потому что при той толпе, которая шла в квартиру с чёрного хода, невысказанно было кухарке готовить, и все питались всухомятку»³³.

В пятницу, 30 января, продолжалось прощание с покойным. Тело положили в дубовый, обитый золотистой парчой гроб. Явились два журнальных художника — от «Всемирной иллюстрации» и от «Русской старины». Фотограф Шапиро усердно пытался сделать снимок: в тесной комнате это плохо удавалось³⁴.

«Лицо значительно изменилось и осунулось, — сообщает о покойнике Нето, — причём жёлтый цвет перешёл в белый или, вернее, синеватый».

Вступала в свои права погребальная проза. Вокруг гроба начинают происходить сцены, не нашедшие отражения ни в одних воспоминаниях, но зорко подмеченные жадным до такого рода впечатлений корреспондентом «Минуты».

Псалтырь, повествует корреспондент, читал некий пономарь или церковный сторож, «сильно хвативший за галстук». Замыслив накрыть лицо покойного тюлем, озабоченный читальщик начал вытаскивать тюль из-под парчи, зацепил мох, которым были обрамлены края гроба, выпачкал тюль, часть мха попала на лицо

покойного; тогда читальщик принялся ватую его очищать. Распорядитель поспешил увести бедолагу, и было объявлено, чтобы кто-нибудь сведущий продолжал чтение. Вызвался студент.

Эту невесёлую картину автор заключает следующей сентенцией: «Боже, да неужели же Достоевский не заслужил того, чтобы у его гроба был трезвый читальщик!»³⁵

Пока все вокруг толковали о духовном значении покойного, вдову занимали вопросы более прозаические: надлежало снарядить мужа в последний путь.

В бумагах Анны Григорьевны сохранилась небольшая папка, озаглавленная: «Материалы, относящиеся к погребению». Это документы, отразившие печальное событие с его вещественной стороны.

С.-Петербург — дня 18... года

Жительство имею На углу Троицкой

у Пяти углов и Чернышева переулка дом Г. Гекке

СЧЁТ

Госпо _____

От гробового мастера Петрова

Число предметов	Гроб бархатный или глазетовый с позументами, 6 львиных лап, 8 скоб, по углам хорошие кисти, понизу фистоны с бахромой. Внутри гроба клеёнка и сделать атласный убор	Рубли
	В комнату катафалк с позументами, фистонами и бахромой	3
	Траурные с бронзой дроги или из Невской лавры балдахин 1 разряду	60
	лошадей в новых пополах с гербами	15
	конюхов в ливреях	5
	человек с фонарями в новом трауре	15
	человек официантов во фраках с перевязями	8
	Полотно для спуска гроба	2
	Фамильных гербов	
	Швейцар с булавой	
	Новый парчовый покров	30
	Свечи большие и мелкие	10
	Посыпание ельником	2
	Итого за всё оное ценою	200 руб. ³⁶

Анна Григорьевна желала похоронить мужа по первому разряду. И всё же похороны обошлись ей сравнительно недорого: большинство церковных треб совершалось безвозмездно. Более того: часть истраченной суммы Анне Григорьевне была возвращена, в чём удостоверяет весьма выразительный документ:

Честь имею препроводить к Вам деньги 25 руб. серебром, сегодня представленные мне за покров и подсвечники каким-то не известным мне гробовщиком и при этом объяснить следующее: 29 числа утром лучший покров и подсвечники отправлены были из церкви в квартиру покойного Ф.М. Достоевского по распоряжению моему безвозмездно. Между тем неизвестный гробовщик, не живущий даже в пределах Владимирского прихода, взял с Вас деньги за церковные принадлежности самовольно, не имея на то ни права, ни резона, да и сколько он взял их, неизвестно. А потому, как деньги взяты самовольно, я препровождаю Вам обратно и прошу принять уверения в глубоком уважении к памяти покойного.

Церковный староста Владимирской церкви
*Иван Степанов Семёнов*³⁷.

Потом, когда Анна Григорьевна начнёт возвращать подписчикам деньги за невышедшие номера «Дневника писателя», многие из читателей откажутся от этих небольших сумм, пожертвовав их на памятник автору «Дневника» или на школу его имени. По всей России пройдёт иная подписка: надгробный памятник будет поставлен не на средства семьи или правительства, а на этот общественный, собранный по рублю, капитал.

Достоевский страшился оставить своих близких в нищете. Но имя его, как он сам однажды обмолвился, стоило миллион. Анна Григорьевна, издав семь собраний его сочинений, обратится в женщину далеко не бедную. Она даже осуществит то, о чём её покойный супруг мог только мечтать: купит имение (правда, не в средней полосе, а на Кавказе). У их детей не сложится жизнь, но нуждаться они не будут.

Всё это произойдёт ещё не скоро. Теперь же, в январе 1881-го, у осиротевшей семьи нет никаких сбережений, и смерть её главы — ощутимый удар по семейному бюджету.

Между тем по всему Петербургу собираются деньги на венки: некоторые из этих роскошных созданий погребальной фантазии обойдутся в триста и более рублей, что, если учесть их количество, во много раз превысит скромную сумму, ассигнованную Анной Григорьевной на похороны.

Не останется в стороне от происходящего и Петербургская городская дума. «На нас, как на представителях города, — заявит 30 января гласный Думы М.И. Семевский (историк и издатель «Русской старины»), — лежит нравственная обязанность выразить наше уважение к этому гениальному человеку, что могло бы выразиться в посылке венка на его гроб!»

Дума выполнит свою нравственную обязанность с чуть заметной заминкой. «По постановке предложения г. Семевского городским головою на баллотировку, — сообщает «Новое время», — все гласные поднялись в знак принятия его со своих мест, не поднялся только один гласный — г. Поздняк»³⁸.

Мотивы г. Поздняка остались неизвестными.

31 января будущий знаменитый физиолог, а тогда недавний выпускник Медико-хирургической академии Иван Петрович Павлов сообщает своей невесте: «Вчера с вокзала отправился к Достоевскому. Толкался целый час, едва не задохся, и весь мокрый от поту едва-едва выбрался, ничего не выдавши: масса народа!»³⁹

Ввиду неубывающего скопления публики, замечает Рыкачёв, «пришлось опять установить некоторый полицейский порядок для впуска и выпуска лиц, желавших проститься»⁴⁰.

Самому Рыкачёву довелось исполнять самые разнообразные обязанности.

«30 числа, — пишет один из современников, — я был в его (Достоевского. — *И. В.*) доме на панихиде, и я... «человек спокойный», разрыдался до истерики, до обморока, и только стакан воды, поданный мне помощником директора Обсерватории Рыкачёвым, моим знакомым, привёл меня в сознание... Если бы я с моими рыданиями был одиночное явление, то, конечно, попал бы на страницы газет, но, к счастью, я был не один, плакавший и рыдавший о покойнике».

Современник прав: если памятный (*исторический*) обморок «студента», случившийся после Пушкинской речи, ввиду своей исключительности привлёк пристальное внимание прессы, то нынешние проявления чувств — в силу их «типичности» — отмечаются немногими.

«Эту совершенно неожиданную для меня историю, — продолжает разрыдавшийся у гроба автор, — пришлось мне разыграть в присутствии большого общества, в числе которого был великий князь Дмитрий Константинович...»⁴¹

«На одной из панихид, — подтверждает Анна Григорьевна, — присутствовал юный тогда великий князь Дмитрий Константинович с своим воспитателем, что приятно поразило присутствовавших»⁴².

Присутствовавших можно понять. Появление у гроба русского писателя одного из представителей царствующего дома — событие совершенно незаурядное. Натурально, публика расценила это как важный политический акт: она, публика, могла не знать, что двадцатилетний великий князь (как и его брат, Константин Константинович, который пришлёт свои соболезнования из Неаполя) — один из тех августейших молодых людей, с кем по просьбе их наставника автор «Дневника писателя» вёл свои воспитательные беседы...

Ни на проводах Пушкина, ни на похоронах Гоголя и уж разумеется — Некрасова, Тургенева или Толстого, насколько известно, не присутствовали члены императорской фамилии. И если Достоевский удостоился подобной чести, то причиной здесь не только (и даже не столько) его художественное дарование, сколько редкостное стечение тех исторических обстоятельств, которые сделали этот жест возможным.

Впрочем, власть не ограничилась платоническим изъявлением скорби.

Высочайшая милость

Надо отдать должное правительству: оно действовало оперативно. Если верить Анне Григорьевне, уже 29 января, около 11 утра, к ней явился «очень почтенного вида господин». Он прибыл по поручению министра внутренних дел. Выразив от имени графа Лорис-Меликова глубокое соболезнование, посланец добавил, что имеет для передачи вдове сумму — на похороны. «Не знаю, в каком размере была эта сумма, но я не захотела её взять», — пишет Анна Григорьевна. Отказ, вероятно, удивил чиновника: семейство покойного литератора не относилось

к числу состоятельных. Как справедливо замечает Анна Григорьевна, во всех министерствах существовал обычай «оказывать осиротевшей семье помощь на погребение почившего члена её и... такая помощь никем не признаётся обидною»⁴³. Тем не менее вдова твёрдо решила похоронить мужа на деньги, им самим заработанные. Она просила благодарить графа⁴⁴.

Она не знала, что визиту чиновника сопутствовали некоторые события.

29 января Победоносцев сообщает государю цесаревичу: «Вчера вечером скончался Ф.М. Достоевский. Мне был он близкий приятель, и грустно, что нет его».

Выразив в столь умеренных выражениях свою личную скорбь, обер-прокурор Святейшего синода не забывает и общественную сторону дела: «Но смерть его — большая потеря и для России. В среде литераторов он — едва ли не один — был горячим проповедником основных начал веры, народности, любви к отечеству. Несчастное наше юношество, блуждающее, как овцы без пастыря, — к нему питало доверие, и действие его было весьма велико и благотельно. Многие несчастные молодые люди обращались к нему, как к духовнику, словесно и письменно. Теперь некому заменить его».

Умелой рукой Победоносцев умело расставляет акценты. В его формулировках присутствуют почти все элементы будущей официальной легенды. Деятельность Достоевского оценивается в категориях государственной пользы, и его смерть трактуется как государственный ущерб.

Именно поэтому Победоносцев ожидает от правительства немедленных действий — на первый случай благотворительного характера. «Он был беден, — продолжает автор письма, — и ничего не оставил, кроме книг. Семейство его в нужде. Сейчас пишу к графу Лорис-Меликову и прошу доложить, не соизволит ли Государь Император принять участие. Не подкрепите ли, Ваше Высочество, это ходатайство. Вы знали и ценили покойного Достоевского по его сочинениям, которые останутся навсегда памятником великого русского таланта»⁴⁵.

Победоносцев спешит подтолкнуть власть: он прекрасно понимает, что безучастность правительства была бы в настоящий момент серьёзным политическим просчётом.

Наследник цесаревич отозвался немедля:

29 января 1881

Очень и очень сожалею о смерти бедного Достоевского, это большая потеря, и положительно никто его не заменит.

Гр. Лорис-Меликов уже докладывал сегодня утром Государю об этом и просил разрешения материально помочь семейству Достоевского.

*А<лександр>*⁴⁶.

Победоносцев недооценил государственную мудрость графа Михаила Тариеловича: необходимые действия уже предпринимались. Правда, отыскивается ещё одно лицо, склонное приписать себе эту заслугу.

28 сентября 1899 года Суворин записал в дневнике: «Я помню, какое впечатление произвела моя статья, без подписи, о смерти Достоевского. Я называл его «учителем». Лорис-Меликов, как рассказывал А.А. Скальковский, тотчас поехал к Государю и выхлопотал пенсию вдове»⁴⁷.

Суворин имеет в виду свой некролог в «Новом времени» от 29 января. Возможно, статья действительно произвела впечатление. Как бы там ни было, деньги на похороны ассигнуются — очевидно, из фондов Министерства внутренних дел. Затем — надо признать, очень оперативно — срабатывают другие части государственного механизма. В тот же день Лорис-Меликов письменно обращается к министру финансов А.А. Абазе — не сочтёт ли тот возможным «спросить всемилостивейшее Государя Императора соизволение на производство вдове Достоевского пожизненной пенсии в размере двух тысяч рублей в год из сумм Государственного казначейства»⁴⁸. И уже на следующий день, 30 января, на дневную панихиду в Кузнечный приезжает начальник Главного управления по делам печати гофмейстер Н.С. Абаза и вручает вдове документ следующего содержания:

30 января 1881 г.

Милостивая государыня Анна Григорьевна
Государь Император в 30-ый день сего января Всемило-
стивейше повелеть соизволил: во внимание услуг, оказанных
покойным супругом Вашим русской литературе, в которой
он занимал одно из самых почётных мест, производить Вам,

Милостивая Государыня, нераздельно с детьми, пенсию в размере двух тысяч рублей в год.

Прошу Вас принять уверения в совершенном почтении
и искренней преданности

А. Абаза.⁴⁹

Письмо было подписано министром финансов (родственником Н.С. Абазы).

Анна Григорьевна говорит, что она тотчас поспешила в кабинет мужа, чтобы порадовать его доброй вестью, и, только войдя в комнату, *вспомнила* и горько заплакала*.

Хорошо осведомлённый генерал А.А. Киреев 31 января записал в дневнике: «Знаменательно, что Победоносцев уведомил о смерти Лориса, этот доложил Государю, представление о пенсии сделал Абаза, где же во всём этом Сабуров? Он ко всему этому непричастен»⁵².

Действительно, всё это совершается помимо министра народного просвещения. Достоевский не числится по ведомству Сабурова. Автора «Дневника писателя» спешат включить в иерархию не столько культурных, сколько официально-государственных ценностей.

Видимо, запомнился урок 1837 года. Тогда впервые смерть русского писателя сделалась *событием*. Власть была раздражена и напугана. Прессе приказали молчать, отпевание произошло не там, где первоначально задумывалось, и покойника украдкой, по-воровски спровадили из Петербурга. Но Николай I даже из этой, бросавшей тень на него лично смерти сумел извлечь

* В письме М.А. Рыкачёва А.М. Достоевскому сообщается, что весть о пенсии и повелении государя в случае её желания принять детей в одно из учебных заведений на казённый счёт привёз Анне Григорьевне Победоносцев — ещё 29 января. «Она бросилась сообщить об этом Фёдору Михайловичу и тут же опомнилась, что нет уже его!»⁵⁰ Победоносцев писал Каткову: «Почтенный Фёдор Михайлович мне, так сказать, завещал заботу о семье и сам нередко мне про это говаривал...»⁵¹ Очевидно, Достоевский понимал, что в случае его смерти обер-прокурор Святейшего синода, тайный советник и член Государственного совета (иными словами, самый влиятельный из его знакомых) сможет легче, чем кто бы то ни было, добиться реальной помощи семье. Этот посмертный «план» осуществился: Победоносцев стал официальным опекуном его детей.

некоторый моральный капитал: толки об августейших благодеяниях (пенсия вдове и детям Пушкина, уплата его долгов и т. д.) перешли в потомство. Теперь, спустя почти полвека, правительство тем более не могло не сознавать, что его равнодушие выглядело бы просто неприличным. И наоборот, публично явленное высочайшее участие — беспрониженный ход в столь ответственный исторический момент⁵³.

Решение это в некотором смысле было беспрецедентным.

Из числа русских литераторов пенсии назначались за Пушкина и за Карамзина: и тот и другой состояли на государственной службе. Достоевский был первым писателем, чьи литературные заслуги признавались, так сказать, сами по себе. Пенсия «производилась» вдове и детям *частного* человека. Впервые удостоверялось, что признательность отечества можно заслужить не только на поприще государственном.

В правительственной реакции на смерть Достоевского можно рассмотреть два важных момента.

Во-первых, официальные круги публично отдают дань уважения *писателю*. Литература берётся в расчёт как реальная историческая сила. Русский абсолютизм желает выглядеть просвещённым.

Во-вторых, правительство пытается перехватить общественную инициативу. Для него крайне важно, чтобы те, кто идёт проститься с покойным, шли бы ко гробу человека, осознавшего заблуждения молодости и добровольно разделившего с властью её нравственный труд.

Правительство имеет и более далёкий прицел: похоронив Достоевского как «своего», предъявить законные права на его духовное наследство, «застолбить» за ним выгодное, с точки зрения господствующих идеологических сил, место в будущей духовной борьбе. Смерть и похороны — хороший повод для закрепления официальной легенды.

Здесь важно всё: и *где* будет могила, и *кто* будет хоронить.

Торг вокруг могилы

«В течение дня 29 января, — пишет Анна Григорьевна, — многие спрашивали меня, где будет похоронен Фёдор Михайлович. Помня, что при погребении Некрасова Фёдору Михайловичу

понравилось кладбище Новодевичьего монастыря, я решила похоронить его там»⁵⁴.

Тогда, проводив Некрасова, он сказал: «Когда я умру, Аня, похорони меня здесь или где хочешь, но запомни, не хорони меня на Волковом кладбище, на Литераторских мостках. Не хочу я лежать между моими врагами, довольно я натерпелся от них при жизни!»⁵⁵.

Он хочет лежать рядом с Некрасовым — ближайшим другом его литературных «врагов»; с Некрасовым — вождём направления, ему, Достоевскому, глубоко чуждого. Он не желает лежать рядом с «теоретиками»: он предпочитает *поэта*.

Анна Григорьевна не любила таких мрачных разговоров. Она постаралась обратить всё в шутку: сказала, что похоронит его в Александро-Невской лавре, месте почётном и привилегированном. Он засмеялся и возразил, что там хоронят только генералов от инфантерии.

Дочь Любовь Фёдоровна так передаёт дальнейший диалог:

« — Так что же? Разве ты не генерал от литературы? Ты имеешь право быть похороненным около них. Какие чудные похороны я тебе устрою. Архиепископы будут служить по тебе заупокойную обедню, митрополичий хор будет петь. Огромная толпа будет провожать твой гроб, и когда шествие приблизится к Лавре, монахи выйдут навстречу тебе.

— Они делают это только для царей, — сказал отец, которого забавляли предсказания его жены.

— Они сделают это и для тебя. О, у тебя будут чудесные похороны...»⁵⁶

Теперь Анна Григорьевна вспомнила этот давний разговор. Конечно, она не собиралась осуществлять своей шуточной угрозы: Александро-Невская лавра была не по чину, да и не по карману. Она командировала брата, И.Г. Сниткина, и зятя, П.Г. Сватковского (мужа покойной сестры), в Новодевичий монастырь — чтобы приобрести место: возможно ближе к могиле Некрасова. Взрослые захватили с собой детей — прогулка в санях была им полезна.

* Кстати, из тех, кто похоронен на Волковом кладбище, ни Белинский, ни Добролюбов, ни Писарев не могут, строго говоря, считаться «врагами» Достоевского: все они — пусть с оговорками — дали в своё время высокую оценку его творчеству.

«...Вернулся зять, — пишет Анна Григорьевна, — и заявил, что игуменья монастыря предъявила какие-то затруднения по поводу выбранного моею дочерью места, а потому покупка могилы отложена до завтра»⁵⁷.

Анна Григорьевна прекрасно знает, о каких «затруднениях» идёт речь, но пишет об этом глухо, не вдаваясь в подробности. Любовь Фёдоровна, присутствовавшая при переговорах, вносит в рассказ матери важные дополнения.

Когда посетители изложили настоятельнице монастыря (монастырь был женский) желание Достоевского покоем в его стенах и присовокупили, что семья хотела бы осуществить это желание не за столь высокую плату (были захвачены с собой все наличные деньги), игуменья «сделала презрительную мину»: «Мы, монахини, не принадлежим больше миру, — возразила она холодно, — и ваши знаменитости не имеют в наших глазах никакого значения. У нас установленные цены на могилы, и мы не можем их изменить для кого бы то ни было».

Таких денег у Достоевских не было (вот когда могло вспомниться непринятое погребальное пособие!). Просьба разрешить внести сумму по частям была с негодованием отвергнута. «Не оставалось ничего больше, как встать и распрощаться с этой ростовщицей в монашеском одеянии»⁵⁸, — заключает Любовь Фёдоровна.

Между тем 30 января газета «Порядок» сообщила, что тело будет завтра перенесено в ближайшую от дома Владимирскую церковь (Достоевский любил селиться в угловых домах — так, чтобы окна непременно выходили на какой-нибудь храм). «Место погребения ещё не определено»⁵⁹, — осторожно добавляла газета.

Газета «Минута» (издание полубульварного пошиба) оказалась более информированной. В тот же день, 30 января, она воспроизводит на своих страницах следующий диалог:

«Я обратился к полицейскому приставу:

— Когда назначено погребение?

— Завтра будет вынос во Владимирскую церковь, а в воскресенье — погребение в Новодевичьем монастыре, — любезно отвечал мне он»⁶⁰.

Любезность пристава Надежина (а это, надо полагать, именно наш знакомый) не уступает его осведомленности. А также — его выносливости. Ибо в последнюю неделю пристава 2-й Московской части пришлось изрядно потрудиться: руководить обы-

сками и засадами в доме № 5/2, составлять отчёты и протоколы, а теперь ещё следить за порядком в толпе, осаждающей всё тот же беспокойный дом. Когда он отдыхал? Он любезно отвечает корреспонденту, и его ответ попадает в газеты, но, увы, сообщаемая им информация уже устарела.

Достоевского не перенесут во Владимирскую церковь и не похоронят в Новодевичьем монастыре.

Близорукий митрополит Исидор и дальновидный Победоносцев

Анна Григорьевна говорит так: пока родственники ездили объясняться с игуменьей, её посетил редактор «С.-Петербургских ведомостей» В.В. Комаров. «Он объявил, что является от имени Александро-Невской лавры предложить на её кладбищах любое место для вечного успокоения моего мужа. “Лавра, — говорил В.В. Комаров, — просит принять место безвозмездно и будет считать за честь, если прах писателя Достоевского, ревностно стоявшего за православную церковь, будет покоиться в стенах Лавры”»⁶¹.

По словам Любви Фёдоровны, Анну Григорьевну посещает не Комаров, а некий лаврский монах, который «по поручению братии» обращается к вдове с аналогичной просьбой⁶².

«Предложение, сделанное Александро-Невскою лаврою, — продолжает Анна Григорьевна, — было столь почётно, что было истинно жаль его отклонить»⁶³. Но так как с Новодевичьим монастырём дело разладилось, то желание Лавры получило удовлетворение.

Итак, если верить семейному преданию, инициатива погребения Достоевского в стенах Александро-Невской лавры исходила от самой Лавры и отвечала, так сказать, заветным чаяниям её руководства. Однако существует один малоизвестный источник, который заставляет усомниться в этой — ныне общепринятой — версии.

Речь идёт о дневнике генеральши Александры Викторовны Богданович. Её муж, Евгений Васильевич, исправлял должность церковного старосты Исаакиевского собора. Он не был чужд литературы: его перу принадлежит множество душеспасительных брошюр. Но литературное наследие его жены (хроника трёх царствований) — значительно любопытнее.

29 января Александра Викторвна записывает: «Пришёл Комаров, пришёл от покойного Достоевского, говорит, что семья в нищете. Мною была высказана мысль, не попросить ли митрополита похоронить Достоевского безвозмездно в Александро-Невской лавре. Комаров схватился за эту мысль, и меня Е<вгений> В<асильевич> и он попросили съездить к владыке и попросить у него разрешения»⁶⁴.

Таким образом, выясняется, что счастливая мысль впервые пришла в голову даме — Александре Викторвне: сама Лавра об этом пока ничего не подозревает. Не подозревает об этом и пресса, приписывая «погребальную инициативу» именно тем, кому следовало озаботиться такими вещами не в порыве сердечного увлечения, а по долгу службы.

В день похорон Достоевского «Голос» сообщал:

«Его Высокопреосвященство Исидор, митрополит Новгородский и Петербургский, всегда относился с уважением к отечественной литературе и её представителям. Весть о кончине Ф.М. Достоевского глубоко опечалила священноархимандрита Святотроицкой Александро-Невской лавры, и он, желая достойным образом почтить новопреставленного писателя, сделал распоряжение о безвозмездном отводе места для могилы на лаврском кладбище»⁶⁵.

Если бы корреспонденту «Голоса» каким-то чудом удалось присутствовать при беседе генеральши Богданович с митрополитом Исидором, его информация, надо полагать, была бы выдержана в менее восторженных тонах.

«Митрополит, — записывает Богданович, — встретил очень холодно это ходатайство, устранил себя от этого, сказав, что Достоевский — простой романист, что ничего серьёзного не написал, что он помнит похороны Некрасова, которые описывались, — было много всякого рода демонстраций, нежелательных в стенах Лавры, и проч.»⁶⁶.

Свидетельство А.В. Богданович более чем красноречиво. Высший церковный иерарх (за полуторавековым отсутствием патриаршества — первый в России по своему положению духовный пастырь) категорически отказывается поддержать столь невинную и, главное, казалось бы, столь выгодную для Церкви идею. При этом его доводы достаточно любопытны.

Во-первых, в глазах Исидора Достоевский «простой романист». Если для игуменьи Новодевичьего монастыря автор «Братьев

Карамазовых» — человек мирской, равный всем прочим мирянам и абсолютно ничем не заслуживший просимой его родственниками материальной уступки (мзда, взимаемая монастырём, для всех одинакова), то высокопреосвящённый Исидор приводит доводы идеологического порядка: покойный — с точки зрения Церкви — «ничего серьёзного не написал».

Во-вторых, владыка опасается «всякого рода демонстраций». Но Достоевский — не Некрасов. Он — писатель, по-видимому, благонамеренный.

Тем не менее настоятель Александро-Невской лавры выказывает присущую его сану осторожность: он не переоценивает степень этой благонамеренности.

Официальная Церковь в лучшем случае индифферентна к самому Достоевскому и к его *делу*. Эта официальная сдержанность граничит порой с прямой подозрительностью.

В записках Е.Н. Опочинина приводятся слова одного православного священника, русского миссионера в Китае отца Алексия. «Вредный это писатель! — так отзывается о Достоевском отец Алексей. — Тем вредный, что в произведениях своих прельстительность жизни возвеличивает и к ней, к жизни-то, старается всех привлечь. Это учитель от жизни, от плоти, а не от духа. От жизни же людей отвращать надо, надо, чтобы они в ней постигали духовность, а не погрязали по уши в её прелестях. А у него, заметьте, всякие там Аглаи и Анастасии Филипповны... И когда он говорит о них, у него восторг какой-то чувствуется... И хуже всего то, что читатель при всём том видит, что автор человек якобы верующий, даже христианин. В действительности же он вовсе не христианин, а все его углубления... суть одна лишь маска, скрывающая скептицизм и неверие»⁶⁷.

Отец Алексей полагает, что жизнь сама по себе бездуховна. И раз такая жизнь вызывает у Достоевского неподобающий восторг, значит, он вовсе не христианин.

Достоевский, исходя из *своего* понимания христианства, мог бы переадресовать этот упрёк самому отцу Алексию. Старец Зосима знает, что творит, когда отсылает Алёшу из монастыря в мир: он не страшится, что «прельстительность» жизни поколеблет его веру.

Между тем сам старец Зосима не вызывал особых симпатий у тех, кто считал себя глубокими знатоками и ревнителями истинного православия.

Константин Леонтьев писал В.В. Розанову: «Его (Достоевского. — *И. В.*) монашество — сочинённое. И учение от<ца> Зосимы... ложное; и весь стиль его бесед фальшивый»⁶⁸.

Это не только частное мнение самобытного религиозного писателя, одного из примечательнейших деятелей русского консерватизма. Он спешит подкрепить его авторитетом едва ли не самой известной в России православной обители. «В Оптиной, — продолжает К. Леонтьев, — «Братьев Киреевских» (описка К. Леонтьева или опечатка. — *И. В.*) «правильным» православным сочинением не признают... У от<ца> Зосимы (устаами которого говорит сам Фед. Мих.!) — прежде всего мораль, «любовь», «любовь» и т. д., ну, а мистика *очень* слаба»⁶⁹.

Суровое (можно сказать — *угрюмое*) христианство Константина Леонтьева имеет мало общего со «слишком социальным», открытым вовне, жизнеприемлющим христианством Достоевского. Но оказывается, что последнее отлично и от тех верований, которые, на первый взгляд, должны быть Достоевскому близки. Недаром, желая сделать свою точку зрения более убедительной, К. Леонтьев цитирует (правда, по памяти) письмо к нему Владимира Соловьёва, в котором автор «Оправдания добра», считающий себя последователем покойного «учителя», говорит следующее: «Достоевский горячо верил в существование религии и нередко рассматривал её в подзорную трубу, как отдалённый предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел».

«По-моему, это злая и печальная правда!»⁷⁰ — заключает К. Леонтьев.

Два религиозных мыслителя, как правило, редко согласных друг с другом, сходятся в одном: Достоевский *не вполне* религиозен или, по крайней мере, не вполне теологичен. Его вера если не внецерковна, то, во всяком случае, не глубоко церковна, не ортодоксальна; его воззрения страдают неким изъяном, который заставляет усомниться в их абсолютной религиозной ценности.

В 1883 году Я.П. Полонский писал Страхову: «Я понял... как понимал Достоевский Христа — но одного, признаюсь Вам, не понял — как мог Достоевский — с таким пониманьем Богочеловека — думать, что понимание его вполне совпадает с духом теперешнего православия?»⁷¹

«Теперешнее православие» в лице митрополита Исидора чувствует это несовпадение. Оно не желает почтить покойного автора «Карамазовых» каким-то особенным вниманием, как,

впрочем, и не спешит высказать в его адрес своё пастырское неудовольствие. Оно предпочитает не вмешиваться.

Но в России 1881 года Церковь ещё не отделена от государства, и если она в чём-то ошибается, государство мягко, но решительно её поправит.

Генеральша А.В. Богданович записывает: «Победоносцев на панихиде выразился, что «мы ассигнуем деньги на похороны Достоевского», и нелестно отозвался об Исидоре».

Светский глава духовного ведомства (фактически — министр по делам культов) оказывается дальновиднее и тоньше не только дуры-бабы из Новодевичьего монастыря, но и самого петербургского митрополита. «Мы ассигнуем деньги на похороны Достоевского» — в этом «мы» звучит внушительная государственная нота. У Победоносцева нет ни времени, ни охоты вдаваться *в далекие от жизни* богословские прения. Он, реальный политик, спешит извлечь из ситуации максимальную пользу.

«Сейчас был наместник Лавры, — записывает А.В. Богданович на следующий день, 30 января. — Победоносцев тоже ходатайствует, чтобы похоронили Достоевского в Лавре, и это ходатайство равняется приказанию. Митрополит прислал наместника нам сказать, что он исполняет нашу просьбу, даёт место, и служение будет безвозмездно»⁷².

Очевидно, лишь после этого В.В. Комаров поспешил известить Анну Григорьевну о «лестном предложении» Лавры*.

То, что случайно пришло на ум прекраснодушной, но политически не очень далёкой генеральше А.В. Богданович и что благодаря одной её личной инициативе никогда бы не смогло осуществиться, по достоинству оценивается обер-прокурором Святейшего синода и незамедлительно проводится им в жизнь. Вообще за кулисами событий чувствуется его незримая, но твёрдая рука.

Победоносцев, более чем кто-либо другой, занят идеологическим (и материальным) обеспечением похорон Достоевского. Он приводит в действие правительственный механизм — и добивается

* «При мне приходили уведомить Анну Григорьевну, — пишет Е.А. Рыкачёва, — чтобы она не хлопотала об месте на кладбище, так как какое-то общество (я не разобрала — какое) берётся выхлопотать место даром в Александро-Невской лавре и просит Анну Григорьевну ни о чём не заботиться и ни о чём не просить...»⁷³ Это свидетельство относится к 29 января. Таким образом, «уламывание» лаврского начальства взяло целые сутки.

высочайшего повеления. Он нажимает на петербургского митрополита — и Достоевский достаивается места в Лавре. Он хочет, чтобы Церковь и государство — в первую очередь они — согласно и торжественно проводили почившего в последний путь.

И хотя этот план отчасти удался, нельзя сказать, что Победоносцев добился своей цели. Общественная волна, вызванная смертью Достоевского, буквально захлестнула собой все попытки официального участия. И дарованная вдове пенсия, и неожиданное благотворение Александро-Невской лавры — всё это показалось незначительным в сравнении с теми проявлениями общего чувства, которые изумили современников и в которых оттенок скорби — как это ни странно — играл далеко не главенствующую роль.

В субботу 31 января пророчество Анны Григорьевны стало сбываться.

Венки на любой вкус

В субботу 31 января громадная толпа загрохотала Кузнечный переулок, Ямскую и прилегающие улицы.

День выдался солнечный, сухой, тёплый.

«Похороны Достоевского, — пишет Страхов, — представляли явление, которое всех поразило... Можно смело сказать, что до того времени никогда ещё не бывало на Руси таких похорон».

Действительно, ни один русский писатель не достаивался доселе таких проводов. Гроб частного человека сопровождала тридцатитысячная толпа (некоторые газеты называют ещё большую цифру): зрелище для Петербурга невиданное.

«Каким образом составила такая громадная манифестация — это составляет немалую загадку, — продолжает Страхов. — Очевидно, она составила вдруг, без всякой предварительной агитации, без всяких подготовлений, уговоров и распоряжений, потому что никто не ожидал смерти Достоевского, и время между неожиданным известием о ней и похоронами (три дня) было слишком коротко для каких-нибудь обширных приготовлений»⁷⁴.

Накануне выноса Анну Григорьевну уведомили о восьми депутациях, изъявивших желание нести венки за гробом её покойного мужа. Вдова была утешена такой великой честью. Утром 31 января депутатий оказалось шестьдесят семь, а число венков превалило за семьдесят.

Гроб вынесли из квартиры в начале двенадцатого.

«На колокольне Владимирской церкви, — говорит И.Ф. Тюменев (тот самый, который оставил в своём дневнике запись об Алёше — евангельском социалисте. — *И. В.*), — загудел колокол, и почти вслед за первым ударом... раздалось торжественное «Святый Боже»... При первых звуках молитвы головы всех обнажились... у многих из нас к горлу подступили слёзы... В тот момент все действительно как-то ощутили веяние божества, и верующие, и неверующие...»⁷⁵

Этого момента, говорит Тюменев, он не забудет никогда.

«Милая Сара, — пишет И.П. Павлов невесте, — ничего подобного я ещё не видал. Народу собралось видимо-невидимо, вся процессия на целую версту растянулась. Масса народу, и над головами этого народа бесконечная вереница венков... Золотом (парчой. — *И. В.*) обитый гроб всё время несли поднятым над головами. Вокруг гроба на три-четыре сажени во все стороны поддерживали руками непрерывные гирлянды из свежих цветов. Вдоль всей этой на версту растянувшейся массы переливалось непрерывное пение: Святый Боже. Пели не только хоры певчих, но и отдельные группы: разных студентов, студенток и гимназистов»⁷⁶.

«Студентов, студенток и гимназистов» оказалось изрядно: во многих учебных заведениях были отменены занятия. (Правда, не во всех: так, ученики Первой гимназии, как свидетельствует осведомлённый наблюдатель, «несмотря на запрещение директора, собрали деньги на венок, и старшие из них ушли тайком из гимназии, чтобы участвовать в процессии».)

Венки покупались на общественные деньги, сборы были быстрые и щедрые.

«Конечно, — замечает Тюменев, — и у нас (то есть в Академии художеств. — *И. В.*) нашлись люди, которые спрашивали сборщиков: «Кто же это такой, Достоевский?» — но таких было очень мало, и с таких собиратели денег не спрашивали, а просто шли дальше, оставив их без ответа (кто-то из них, услышав такой вопрос, будто бы даже плюнул с досады)»⁷⁷.

Д.В. Григорович в качестве главного распорядителя шествовал во главе процессии. За ним, сопровождаемый юнкерами в полной парадной форме, следовал большой лавровый венок от Николаевского инженерного училища, где некогда учился покойный.

Далее двигались воспитанники нескольких петербургских гимназий, коммерческого и реального училищ, Женские педа-

гогические курсы, студенты-технологи, Горный институт и т. д. Несли венки от Петербургской академии художеств, от учителей и учительниц, от Петербургской духовной академии и Института инженеров путей сообщения, от Медико-хирургической академии и женского хорового музыкального общества, от Училища правоведения и — из живых белых маргариток — от Бестужевских курсов, от Комитета грамотности и от Консерватории, от Общества русских драматических писателей и от русской оперы (за этим венком следовал артист Мариинского театра И.А. Мельников (баритон), который получит выговор от начальства за то, «что пошёл на вынос без разрешения: он мог там простудиться, осипнуть, заболеть и нарушить репертуар»⁷⁸), от судебных следователей Петербургского окружного суда и от присяжных поверенных...

Вознесённый на трёх высоких шестах, раскачивался громадный венок, привлёкший общее любопытство. По нему висела надпись из белых иммортелей: «От студентов СПб. университета».

Вообще надписи были разные.

На одних лентах значилось просто: Ф.М. Достоевскому. На других были воспроизведены названия произведений: «Униженные и оскорблённые», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» (о «Бесах» стыдливо умалчивалось). Попадались и более развёрнутые формулировки.

Студенты Историко-филологического института написали: «Заступнику меньшей братии». Венок от города Москвы гласил: «Великому Учителю — из сердца России». Славянское благотворительное общество пометило: «Русскому человеку». Мелькнуло даже такое: «Истолкователю Пушкина».

Несли большую трёхцветную русскую хоругвь с лавровым венком и надписью: «От редакции журнала “Русская речь”». Несли лавровые венки от «Петербургского листка» и «Нового времени». «Всемирная иллюстрация» и «Огонёк» обошлись общим венком.

От демократических и либеральных изданий отдельных венков не было, но в общей депутации петербургской прессы шли представители «Голоса», «Недели», «Отечественных записок»*.

* М.Е. Салтыков-Щедрин писал Н.К. Михайловскому: «Не возьмёте ли Вы на себя труд присутствовать на похоронах Достоевского? Я лично не могу, ибо вскоре сам надеюсь последовать туда же, а если совсем уж никого не будет от «Отечественных записок», то неловко»⁷⁹.

Обращал на себя внимание венки от Главного тюремного управления (упомянув о котором, «Новое время» резонно спросило: «зачем?»⁸⁰): возможно, он был знаком элегической признательности бывшему узнику Мёртвого дома.

О Мёртвом доме попытались напомнить и более действенным способом.

Почему не вмешивалось начальство?

«Одну минуту, — вспоминает Е.П. Леткова-Султанова, — на Владимирской площади произошёл какой-то переполох. Прискакали жандармы, кого-то окружили, что-то отобрали. Молодёжь сейчас же потушила этот шум и безмолвно отдала арестантские кандалы, которые хотела нести за Достоевским и тем отдать ему долг как пострадавшему за политические убеждения»⁸¹.

Этот факт не упомянут более ни одним из мемуаристов. Но он находит косвенное подтверждение в дневнике генеральши Богданович, принадлежащей к совсем иному, нежели Леткова-Султанова, общественному кругу. «...Рассказывал Краевский, — записывает автор дневника, — что Женские курсы хотели вместо венков нести на подушках цепи на похоронах Достоевского, в память того, что он был закован в кандалы»⁸².

Богданович не уточняет, было ли осуществлено это намерение: по-видимому, эпизод на Владимирской площади остался ей неизвестен.

Опасалась ли власть подобных инцидентов?

На первый взгляд, как будто не опасалась: все воспоминатели единодушны в том, что, несмотря на огромное стечение публики, в основном молодёжи, никаких особых мер предосторожности принято не было.

«Она — эта молодёжь, — говорит Леткова-Султанова, — окружала гроб надёжной цепью сильных рук и не допустила полицию «охранять порядок»»⁸³. Похороны были проявлением общественной самодеятельности, так сказать, в чистом виде: лица неофициальные приняли на себя все распорядительные функции. Немногочисленным представителям власти (их, по некоторым данным, было не более шести человек) досталась роль сторонних наблюдателей.

«Полиция, — подтверждают слова мемуаристки «С.-Петербургские ведомости», — была совершенно не пригото-

лена к такому стечению народа, и, сравнительно, она отсутствовала, а между тем какой был везде и во всём порядок, какая чинность!»⁸⁴

Полиция действительно «не была приготовлена»: прежде всего потому, что никто не предвидел, какого размаха достигнет эта погребальная манифестация.

Правда, сохранилось одно до сих пор не отмеченное указание, которое, если только оно справедливо, снимает с правительства часть вины за проявленную беспечность.

«Лорис-Меликов, — пишет современник, — не счёл нужным сдерживать порывы «национального горя» и ставить ему какие-нибудь препоны. Однако на Казачьем плацу, рядом с Александро-Невской лаврой, где хоронили Достоевского, случайно было ученье казачьим войскам, — и они были всё время в боевой готовности»⁸⁵.

Лорис-Меликов не зря слыл государственным человеком. Он поспешил оказать усопшему знаки официального внимания. Но у него же — в качестве шефа жандармов — были причины опасаться эксцессов: последние могли иметь далеко идущие последствия.

Современники отлично сознавали это обстоятельство.

Упомянув о намерении Женских курсов нести цепи за гробом Достоевского, генеральша А.В. Богданович добавляет: «Ещё не утихли бурные страсти, ещё жив дух протеста. Эти сходки и проводы, хотя и стройные, смиренные проводы, но такие многочисленные (говорят, было до 30 тысяч человек), могут повториться совсем при других условиях»⁸⁶.

Тридцать тысяч человек на улицах города Петербурга, за всю свою историю не знавшего ни одной массовой политической демонстрации, — всё это «при других условиях» могло бы представлять реальную опасность.

Это понимал не только предусмотрительный Лорис-Меликов. Об этом же по прошествии нескольких лет, в 1886 году, говорит и Победоносцев: «Присоединение гражданских похорон или проводов к церковной процессии мало-помалу распространилось у нас и заведено не без тайного намерения установить повод к демонстрациям, которые не раз уже и происходили (как, напр., при погребении Достоевского, Тургенева и др.) и причиняли немало затруднений полиции»⁸⁷.

Упоминание «затруднений», которые испытывала полиция, наводит на мысль об эпизоде на Владимирской площади: Победоносцев всегда отличался большой осведомлённостью.

Но, думается, обер-прокурор Синода вкладывал в слово «демонстрация» и более широкий смысл. Он не может не понимать, что многотысячное шествие за гробом автора «Карамазовых» — явление не только необычное, но и весьма настораживающее. Хотя бы уже по одному тому, что это есть результат не запланированной и не одобренной свыше инициативы: само общество — практически вся его интеллигентная часть — заявляло таким образом о своём существовании, более того — как бы производило открытый смотр своих наличных сил.

Победоносцев немного не дожид до смерти отлучённого им от Церкви Льва Толстого, чьи подчёркнуто безгосударственные и бесцерковные похороны по своей форме, казалось бы, прямо противоположны проводам 1881 года. Однако по своему внутреннему смыслу оба эти события контрастно перекликаются между собой. Если похороны Достоевского ещё могли знаменовать в перспективе возможность некоего исторического компромисса, то смерть Толстого и вызванные ею манифестации свидетельствовали о полном и окончательном разрыве между правительством и обществом. Смерть Толстого показала, что тех иллюзий, которые поддерживали общественный энтузиазм в 1881 году, давно не существует. И если после 28 января 1881 года просматривается известная множественность исторических вариантов, то от 7 ноября 1910 года дорога могла идти только в одном направлении: к февралю 1917-го.

Кто сопровождал Достоевского в последний путь?

«Ни друзья, ни литераторы, — пишет «Новое время», — но всё что только читало, мыслило, училось — всё собралось почтить усопшего, все домогались чести понести его гроб»⁸⁸.

Перед гробом шествовали не только многочисленные депутаты с венками, но и хоры певчих (один насчитывал более ста человек) и духовенство. Вокруг — поместились литераторы, журналисты и профессора университета. Позади — родственники и друзья покойного. Сам гроб, как уже говорилось, все три часа несли на руках (вернее, на специальных носилках): траурная колесница под малиновым балдахином одиноко двигалась поодаль. Дважды — у Владимирской и Знаменской церковью — процессия останавливалась: служили краткую литию.

«На балконах, в окнах, на лесах новых домов, — сообщает «Газета А. Гатцука», — стояли и смотрели зрители. Движение экипажей само собой прекратилось»⁸⁹.

«На остановленных вагонах конки, — добавляет Тюменев, — сверху происходила форменная давка»⁹⁰.

Зрители были разные.

«...Но буду известен будущему...»

«...Так не хоронят ни богачей, ни власть имущих, — пишет очевидец, — так хоронят только любимцев народной массы, которые всю свою жизнь боролись за этот народ, защищали его от всяких напастей и долгими годами страдания приобрели себе любовь народа»⁹¹.

Современник говорит о народе не в том специфическом, чисто «мужицком» смысле, в котором употреблял это понятие сам Достоевский. *Тот* народ на похоронах отсутствовал. Среди «всего Петербурга», заполнившего собой пространство от Кузнечного переулка до Николаевского (ныне Московского) вокзала, не было тех, на кого автор «Дневника писателя» возлагал свои самые горячие упования.

«Народ в этих похоронах не участвовал, — записывает А.В. Богданович... — Кто-то ответил на вопрос: кто умер? — «Говорят, какой-то писец». Значит, народ его не знал. Вся демонстрация была сделана учащейся молодёжью, газетами и литераторами»⁹².

«В народе, — пишет «Порядок», — шли толки о погребаемом. Так, нам пришлось слышать два отзыва: один догадывался, что покойник — штатский генерал, другой же говорил, что это какой-то главный «учитель», который безвинно пробыл четыре года в каторге»⁹³.

Да, народ его не знал (хотя, по словам М.А. Рыкачёва, «венки от народа отличались огромными размерами»): для тех, кто взирал на процессию со стороны, потребовались некоторые разъяснения.

«...Какая-то старушка, — вспоминает И.И. Попов, — спросила Григоровича: «Какого генерала хоронят?» — а тот ответил:

— Не генерала, а учителя, писателя.

— То-то, я вижу, много гимназистов и студентов. Значит, большой и хороший был учитель. Царство ему небесное»⁹⁴.

П.П. Гнедич в свою очередь приводит следующий диалог: «...когда старичок извозчик, сняв шапку, с недоумением спросил у актёра Петипа:

— Кого же это хоронят?

Тот отвечал не без гордости:

— Каторжника!»⁹⁵

Возможно, именно этот эпизод имеет в виду другая воспоминательница, рисующая очень похожую сцену — только в более пространной и более «художественной» редакции:

«Помню, какой-то студент в плеле на вопрос извозчика — не генерала ли хоронят? — ответил:

— Какого генерала? Каторжника хоронят. За правду царь на каторгу сослал. А ты думаешь, мы бы стали генерала хоронить!

— За правду-у? — раздумчиво повторил извозчик и вдруг, как будто что-то сообразив, снял шапку и перекрестился.

— Ну коли так, царство ему небесное, мы это тоже понимаем...»⁹⁶.

«Разве это был писатель народный по преимуществу?— вопрошает «Голос». — Нет, Достоевский писал не для народа. Почему же всё петербургское общество спешило к скромному гробу в скромной квартире в Кузнечном переулке?»⁹⁷

Последним вопросом задавались многие.

Из того обстоятельства, что за прахом Достоевского шла преимущественно образованная публика, вовсе не следует, что его похоронам можно отказать в их «потенциально-народном» характере.

Он записал в последней записной книжке: «При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я конечно народен (ибо направление моё истекает из глубины христианского духа народного) — хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему»⁹⁸.

Он создал эту кровную связь. Сам почти не писавший собственно о «народе» (за исключением «Записок из Мёртвого дома»), он не отделял себя от него и вполне признавал свою духовную зависимость. При всём своём могущественном интеллектуализме он не был писателем только интеллигенции и для интеллигенции: вовсе нет. Да и сама она, русская интеллигенция, столь единодушно почтившая его в час прощания, менее всего была склонна расценивать автора «Карамазовых» как защитника её «цеховых» интересов. Те, кто провожал его к месту последнего успокоения, не могли не понимать: он принадлежит всем.

Невиданное многолюдство его похорон, их неожиданная «злободневность» проистекли от того, что сам он воспринимался интеллигентским сознанием как живое воплощение главных национальных проблем. Его чтили за явленную им мировую боль, за всемирность его упований, за то, что именно этими, им же самим открытыми и провозглашёнными качествами он обозначил родовую природу русской интеллигенции, указав на её связь с народом, на её предназначение и судьбу.

Народ не знал его (хотя в прежде всего другого усвоенном *сострадательном* узнавании: «каторжник» — высказал свою молчаливую приязнь). Что же касается образованного общества, для которого вопрос о его собственном существовании с народом становился всё более мучительным и неразрешимым, оно почтило усопшего за то, что он был обращён именно к этой *главной* проблеме, и за то, что в его неустанных поисках, казалось, блеснул луч надежды.

...Между тем провожавшие начали уставать. При запевании «Святой Боже» «шапки... стали сниматься всё туже и туже, а в самой цепи на Невском стали и покуривать (как будто, — замечает Тюменев, — нельзя было отходить на это время к панели). Вскоре и сами певцы перестали во время пения снимать шапки, и в конце концов молитва в шапках, под гул и разговоры окружавшей толпы, над которой носились облачка папиросного дыма, обратилась в какую-то холодную формальность, занимавшую разве одного только дирижёра...»⁹⁹

Всё это могло напоминать недавний московский «апотеоз» у обвитого венками бюста Пушкина: по неисповедимому закону благие порывы хороших русских людей обращались «в какую-то холодную формальность»...

...Тем временем голова процессии приблизилась к воротам Лавры.

Письмо, адресованное покойнику

В субботу, 31 января, в те самые часы, когда похоронная процессия медленно двигалась по Невскому, в продажу поступил январский выпуск «Дневника писателя».

В этот же самый день житель города Кириллова Константин Иович Васильев садится за письмо, которое приводится здесь впервые:

«Милостивый государь Фёдор Михайлович.

Посылаю Вам привет искренний, глубокий, русский, простой, душевный, ну, словом, такой, какого нельзя, не могу высказать, а в особенности написать <...>»

Васильев ещё не знает, что его слова адресованы мертвецу. В далёкий город Кириллов, расположенный в глухом углу Новгородской губернии, у стен Кирилло-Белозерского монастыря, только что поступил номер «Нового времени» от 28 января, где сообщается о болезни Достоевского, а последующие номера — с известием о его кончине — ещё находятся в пути. И не желающий верить в худшее корреспондент Достоевского спешит поддержать и ободрить занемогшего писателя.

«Любить Вас так, как Вас любят Ваши читатели, которых я знаю, — продолжает Васильев, — разумеется, надо заслужить, а Вы давно, давно уже заслужили это. Прочтите эти горячие, здоровые, тёплые мои приветствия, пусть они Вас оживят, исцелят, непременно исцелят <...> Встаньте, встаньте, родите, пишите! на славу русского народа: он велик, силен, просит Вас ещё поработать. Пушкин да Вы из первых его представителей и в первой паре, рядком, история русская Вас поместит <...> Главное, память-то о Вас не умрёт, она всегда будет жива, вечна и жить будет. Поверьте. Дай же Бог Вам поправиться скорее и пожить ещё с нами подольше. Да уж Вам бы часочек-другой следовало и отдохнуть, а то всё за работою да за работою. Отдохните-ка, пожалуйста. «Дневник» Ваш может и подождать, не беда какая <...> Уверен, что Вы за простоту мою (хотя Вы ни разу меня и не видали) не рассердитесь на меня <...>»¹⁰⁰.

Он уже не прочтёт этих, без сомнения, тронувших бы его строк. Он уже там — где «история русская», как справедливо заметил Васильев, ставит его «рядком» с Пушкиным: он уже мерится этой мерой.

Он уже стучится во врата своей последней обители.

«Когда гроб наконец приблизился к монастырю, — говорит Любовь Фёдоровна, — монахи вышли из главных ворот и пошли навстречу моему отцу, который отныне будет покоиться среди них. Подобную честь они оказывали лишь царям... Предсказание моей матери сбылось ещё раз»¹⁰¹.

Некоторые коррективы в эту гармоническую картину вносит М.А. Рыкачёв: «Тут произошла около самого гроба неволь-

ная давка при входе в ворота вследствие надавливающей массы сзади»¹⁰². Чтобы избежать дальнейших неудобств, на территорию Лавры были допущены только депутации. Они выстроились шпалерами от ворот Лавры до входа в Святодуховскую церковь. Ворота закрылись; огромная толпа осталась за стенами монастыря. Гроб внесли в церковь; вокруг — поставили венки; началась служба.

Около четырёх публика стала расходиться. Покойному предстояло провести ночь в церкви: погребение было назначено на завтра — воскресенье, 1 февраля.

Делясь своими впечатлениями о минувшем дне, И.П. Павлов говорит: «Если бы чувствовал всё это покойник, остался бы доволен. Его Алёша на последних страницах «Братья Карамазовы» из смерти Илюшечки сделал высокую нравственную минуту для десятка мальчиков. Сам он своей смертью поднял, возвысил душу всего думающего и чувствующего града Питера»¹⁰³.

Павлов улавливает переключку между художественным вымыслом и «почти художественной» правдой. Смерть литературного героя и кончина сотворившего этот персонаж автора осмысливаются в едином жизненном ряду. Оба этих печальных события заключают в себе катарсис.

Но в толпе, следующей за гробом, царили не только приличествующие случаю умиленность и благолепие. В ней разыгрывались микродрамы, не отмеченные ни в одном известном источнике, но по своему смыслу и тону весьма созвучные тому, что столь присуще художественному миру Достоевского и что теперь, на его похоронах, как бы облеклось в живую плоть.

«Маленький человек»: загробная драма

В бумагах Анны Григорьевны сохранилось письмо, написанное расслабленным старческим почерком и не имеющее конца. Документ этот удивителен. Он гласит:

«Господин Распорядитель погребального шествия за телом Фёдора Михайловича Достоевского.

Вчера я принимал участие в этой печальной церемонии, и в тот момент, когда один из распорядителей (по серебряным погонам на плечах видно было, что он Коллежский советник)

подошёл к одному из господ, нёсших венки, окружающий всю свиту, сопровождавшую тело великого учителя, и начал просить, в очень вежливых выражениях и в деликатном тоне, чтобы этот господин составил угол из венка для того, чтобы составилось правильное каре; молодой человек начал оправдываться тем, что художник, который следует с шестом за ним, отстаёт и поэтому он не может удержать строго угла, а так как господин распорядитель настаивал на том, чтобы исполнить требование церемониала, хотя и в самых деликатнейших выражениях, как человек вежливого круга, то молодой человек отказался нести венки, и в этот критический момент я взялся исполнить требование члена распорядителя, взявшись нести венки, и начал напирать на угол, чтобы составить каре, и господин распорядитель нашёл мои действия правильными, сказав: «Вот это так, старики умеют действовать»».

Что это? Кто это пишет? Не воскресший ли Макар Алексеевич Девушкин поспешает за гробом своего творца? Или — перебивающий собственную речь бесконечными оговорками, повторениями, уточнениями и замечаниями в скобках господин Голядкин явился проводить в последний путь автора «Двойника»? Чей это бесподобный, спотыкающийся, оглядчивый, не доверяющий сам себе слог? Если бы не бесспорная подлинность документа, можно было бы предположить, что перед нами — литературная мистификация.

Но вернёмся к не обозначившему своего имени и звания автору. Маленькая заминка с венком имела для него драматические последствия.

«Вдруг подходит околодочный и в повелительном тоне говорит мне: «Вы не так держите палку, вы держите прямо». Дерзость околодочного меня взволновала, потому что обязанность полиции соблюдать порядок в публике, а не вмешиваться в дела распорядителей; наконец, я более 40 лет в офицерском чине [мои дети учителями], и вдруг мне публично наносит оскорбление околодочный, который, по-видимому, не что иное, как отставной писарь или целовальник; на дерзость околодочного я ответил, что не его дело и что я давно то забыл, что ему нужно знать! Околодочный замолчал и тем бы дело кончилось, но вдруг подскаки-

вает другой член распорядитель и начинает кричать дерзко на меня, как в оное время помещики на своих рабов, и требовать, чтобы палку держать прямо, на его требование, выраженное в дерзком взгляде и дерзком тоне, я из уважения к праху покойного великого учителя ответил тихо и сдержанно, что так палку держать невозможно, надеясь, что человек образованный и [разыгрывающий] роль распорядителя в почетной процессии поймёт свою ошибку и постарается исправить её, но я ошибся <...> и т. д. и т. п.

Письмо длинно, подробно, дотошно. Далее повествуется, как быстро накалились страсти. Кончилось тем, что околоточный схватил автора письма «за руку и повернул в сторону».

Человека («маленького человека»!) публично унижают и оскорбляют, и он, униженный и оскорблённый, жаждет справедливости. Всеми силами души пытается он защитить своё человеческое достоинство, отстоять целость и неприкосновенность своего «я». Он бросает для этого на весы все свои нехитрые аргументы. Но офицерский чин (очевидно, невысокий, свидетельствующий лишь о принадлежности к одному из четырнадцати классов), дети, выбившиеся в учителя, и, наконец, почтенные лета — всё это слабая защита против враждебно надвинувшегося мира, не желающего входить во все эти жалкие подробности, мира, оскорбительного уже по одному тому, что он заведомо глух к этому *бесполезному* крику души.

Да, так могли бы говорить многие из героев Достоевского: не только Макар Девушкин или господин Голядкин. Это речь «вечно обиженного» Мармеладова, да, пожалуй, — и штабс-капитана Снегирёва (правда, «серьёзного» Снегирёва, без его вечного ёрничества). И ещё вопрос: принял бы автор письма материальную компенсацию от своих обидчиков (буде она ему предложена), не растоптал бы он, как Снегирёв, стыдливо сунутую ему ассигнацию?..

Но никто и не думал просить извинений у старого человека, и он, произведя скрупулезный разбор всего происшествия, приходит к неутешительному заключению, что на его оскорбителей «ещё нет суда в России, вот они и <...> *башибузукствуют*». И, уже совсем выбившись из «деликатного» стиля, грозно восклицает: «Чтобы варваров уничтожить, с варварами надо по-варварски поступать!»

Какие же меры находит автор письма уместными в настоящем случае? Они романтичны и весьма радикальны: «Кто имеет средства», тот должен укрощать негодных распорядителей «нагайками в сараях (как это было сделано с одним негодяем в N губернии)», а тем, кто в средствах ограничен, рекомендуется «в публичных собраниях наказывать этих негодяев хлыстами по харе, чтобы не замарать руки своей».

«Я пишу в общество распорядителей с тою целью, — заключает своё послание неудачливый носитель венков, — чтобы они знали вперёд, когда свершится наказание распорядителя <...> то за что я его наказал»¹⁰⁴.

И ещё один персонаж приходит на ум. Это всё тот же «маленький человек», чиновник, но на сей раз — существо не только глубоко уязвлённое, но и — мстительное. Это он, герой «Записок из подполья». Он, способный мучительно переживать собственные унижения, но одновременно — задним числом — «переигрывать» их в свои победы. И при этом — мысленно казнить своих действительных или мнимых притеснителей.

Да, за гробом писателя шёл человек, очевидно, одного или близкого с ним возраста, человек, в котором теми или иными гранями отразились личности излюбленных Достоевским литературных героев. Он искренне желал проститься с «великим учителем» и нимало не подозревал, что сам он — живое подтверждение действительности того художественного метода, который именовался его автором реализмом в высшем смысле.

И странное дело. В этот высокаторжественный час судьба как бы вновь явила грустную и язвительную усмешку: не только над достойной всяческого сочувствия жертвой, а пожалуй что — и надо всеми присутствующими. Ибо в процессии, сопровождавшей в могилу «апостола любви», сеятеля мира и проповедника нравственного совершенствования, — в процессии, которая всем своим смыслом была устремлена к признанию и, кто знает, возможно, утверждению этих врачующих начал, вдруг пробудились чувства, не только бесконечно далёкие от чаемого идеала, но даже в конце концов воззавшие к «нагайке». Сам же идеал (как и в случае с Пушкинской речью) не выдерживал проверки на исходном, бытовом уровне: он рушился при первом соприкосновении с «живым» хамством. И меры, признанные годными к его восстановлению (и одновременно — к исправлению общественных нравов), вряд ли могли быть приемлемы для его

искренних прозелитов. Теория и жизнь снова разошлись, дали «сбой». По неисповедимым законам судьбы это случилось в высокую патетическую минуту. Малая драма отразила в себе гораздо бóльшую: может быть — мировую.

Но некогда было задумываться над всем этим: монастырские ворота отделили Достоевского от города Петербурга — со всеми его радостями и печальями. В Святодуховской церкви надлежало провести ему последнюю ночь¹⁰⁵.

Печатная тризна

Размышляя о похоронах Достоевского, Страхов замечает, что они произвели на публику ещё большее впечатление, чем даже речь о Пушкине: «В городе поднялись горячие толки и пересуды о значении и причинах этого события»¹⁰⁶.

На протяжении нескольких недель — вплоть до 1 марта — имя Достоевского не сходит с газетных и журнальных полос. Государственные похороны убитого бомбой российского самодержца не столь запомнятся современникам, как неофициальные проводы отставного подпоручика и бывшего политического преступника.

Газеты ищут исторические аналоги. Разумеется, вспоминают о Пушкине.

«Русское общество, — пишет «Голос» о 1837 году, — русский народ не смел выразить своей скорби. Полиция отгоняла его от печальной колесницы... как противообщественное преступление, карался вдохновенный скорбный стих, клеймивший прихвостней, сгубивших поэта; журналист, осмелившийся горячим скорбным словом отозваться об утрате нечиновного человека, не полководца и не министра, а только Пушкина, подвергался выговору и подозрению».

Семидесятилетний издатель «Голоса» Андрей Александрович Краевский, намекнув в своей газете на знаменитое стихотворение Лермонтова, не позабыл и о себе. Ведь это именно он, Краевский, тогдашний редактор «Литературных прибавлений к “Русскому инвалиду”», удостоился министерского выговора за некролог, написанный князем В.Ф. Одоевским и помещённый в его газете. Тон некролога сочли тогда несоответствующим: «Всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано».

Краевский пострадал тогда за неумеренность выражений. Теперь времена изменились: смерть писателя дозволялось расценивать как национальную горе.

Вспоминали и о сравнительно недавнем событии — кончине Некрасова.

«...Все осторожные, дорожащие своим покоем, — пишет тот же «Голос», — должны были уклониться от изъясления чувств, принимавшегося за демонстрацию, воздержаться от вздоха, признававшегося компрометирующим»¹⁰⁷. Но вот прошло каких-нибудь три года, и в общественном настроении (вернее, в формах его проявления) обнаружилось разительные перемены. В похоронах Некрасова «нельзя было принимать живого участия без риска быть заподозренным в политической неблагонадёжности»¹⁰⁸, теперь же — в траурном кортеже шествуют даже воспитанники казённых учебных заведений и лица, чья политическая нравственность не подлежит никакому сомнению. Общественный прогресс — налицо.

«Зрелища более величавого, более умилительного, — говорит Суворин, — ещё никогда не видал ни Петербург и никакой другой русский город. Ничья вдова, ничьи дети не имели ещё такого великого утешения...»¹⁰⁹

Русская пресса не без удивления отмечает то единодушие, которое обнаружилось у гроба Достоевского. Правда, более проницательные наблюдатели высказывают некоторый скептицизм. «Говорят, — пишет в «Отечественных записках» Михайловский, — о едином чувстве скорби, в котором слилось всё русское общество от верхнего края до нижнего. Такое единение, пожалуй, и было, а пожалуй что его и не было, как смотреть на дело»¹¹⁰.

Михайловский смотрит на дело трезво и без некрологических преувеличений. Именно в этой своей статье — может быть, по контрасту с общим панегирическим хором — он произнесёт слово, которому вскоре суждено стать крылатым: *жестокый талант*. Эта ёмкая формула надолго определит место Достоевского в отечественной литературной традиции.

Сам талант порою тоже ставится под сомнение.

Выразив своё несогласие с явно устаревшей поговоркой — «о мёртвых либо хорошо, либо ничего», — анонимный автор статьи в «Петербургской газете» спешит поведать читателям, что после «Бедных людей» и до «Униженных и оскорблённых» Достоевский «не писал ничего замечательного». После же «Записок

из Мёртвого дома» «его дарование автора заметно слабеет и тенденциозность становится заметнее...». Каждый последующий роман — ниже предыдущего, «а “Дневник писателя” показывает уже упадок таланта и вместе с тем объясняет причину этого явления». Крупнейший художественный просчёт Достоевского — «Братья Карамазовы», ибо в них «тёплые страницы встречаются изредка, но византийщины масса, равно как и праздных рассуждений, не идущих к делу...» Герои романа — преимущественно «субъекты из сумасшедшего дома». Автор статьи полагает, что «рукоплескания малоразвившегося в политическом отношении общества» вскружили Достоевскому голову, и он возомнил себя пророком. По всему этому следует говорить о нём лишь как об авторе отдельных удачных произведений, «предав забвению деяния его на поприще реакции»¹¹¹.

О «деяниях на поприще реакции» не забывает упомянуть и Михайловский. Он замечает, что со временем светлые чувства, когда-то присущие автору «Бедных людей», вытесняются «проповедью смирения и вольного или невольного (каторжного) страдания». Достоевский «стал даже с гораздо большей жадностью искать в человеческой душе сознания греховности, сознания своего ничтожества и мерзости». Ему была «ненавистна идея общественной реформы... общий порядок вещей был для него неприкосновенен» и т. д.¹¹²

Идеолог народничества, его крупнейший литературный авторитет высказывает здесь ряд положений, которые не одно десятилетие будут официальной шпаргалкой «демократической критики». Ибо, согласно Михайловскому, автор «Братьев Карамазовых» — «злонамеренный писатель».

Анатомия почитается за убийство; отважное проникновение в те реально существующие миры, которых сам Михайловский предпочитает не касаться, провозглашается апофеозом жестокости; порыв к мировому переустройству расценивается как защита косности и status quo. Русская радикальная критика сомкнулась в этом пункте с критикой либеральной, с её «двойным» — весьма удобным в идейном пользовании — приговором: «Мы искренне преклоняемся перед поэтическим талантом Достоевского... Но его учение! Нужно ли говорить, сколько горя приносит оно родине!»¹¹³

Связав при жизни своё имя с лагерем русских охранителей, теперь, после смерти, он пожинал плоды этого едва ли не противоестественного союза. Его без боя отдавали тому идейному

стану, который спешил заключить его в свои объятия, радуясь этому нечаянному приобретению. Как пронизательно замечает в своём журнале Л. Оболенский, «реакционеры заведомо лживо старались сделать Достоевского своим орудием, и сами либералы играют им на руку»¹¹⁴.

Справедливости ради следует отметить, что подобные мысли, хотя и не получившие тогда распространения, были впервые высказаны в 1881 году.

В статье «Невольная тема», помещённой в «Голосе» и заметно отличавшейся от того, что обычно писалось там о Достоевском, В. Модестов вопрошает: «...мог ли он когда-нибудь и в чём-нибудь стать на сторону защитников застоя, мог ли он считать своими людьми представителей нашей так называемой консервативной партии? Никогда!.. Он жил и дышал мыслью об освобождении нашего отечества от всевозможных пут, препятствующих проявлению действительных сил русского человека... Он требовал полной свободы печати, полной свободы совести, полного доверия со стороны власти к русскому народу. Он не только желал всего этого, но и верил в осуществление своих желаний...»¹¹⁵

Уже знакомый нам Л. Оболенский отваживается на рискованный прогноз, который, наверное, выглядел дико в глазах большинства литературных критиков. «...Не пройдёт и десятка лет, — пророчествует издатель «Мысли», — как произведения Достоевского станут известны всему миру, потрясут до глубины души чуждых нам народов, будут изучаться в течение веков... Верим не только в это, но и в то, что Европа даже раньше нас поймёт и оценит его произведения, да и нам объяснит»¹¹⁶.

Л. Оболенский предрекает автору «Карамазовых» мировую славу: симптомы таковой пока не обнаруживаются. Ни одно из его сочинений практически не известно за пределами России. Европа не заметила его кончины и никак не отозвалась на неё. Родина, помимо газетных некрологов, почтила его способом вполне национальным: мощным всплеском поэтического чувства.

Розы и тернии поэзии некрологической

Пожалуй, никто из русских писателей не сопровождался в могилу таким количеством сочинённых по этому поводу рифмованных строк.

Множество «поминальных» стихотворений украшают собой страницы русской периодики; ещё большее число поэтических созданий не достигает печати и остаётся, так сказать, в домашнем пользовании.

Увы. Ни одно из этих творений даже отдалённо не напоминает бессмертного лермонтовского стихотворения, горестно вдохновлённого гибелью Пушкина. Уровень подавляющего большинства этих сочинений крайне невысок: он как бы свидетельствует о той поэтической паузе, которая наступила после Некрасова и которая продлится вплоть до начала нового века, когда феерический «выброс» поэтов первой величины породит некое национальное культурное чудо, масштаб которого ещё не вполне осознан. Стихи же, вызванные смертью Достоевского, не представляют сколько-нибудь значительной художественной ценности: их интерес в другом.

В них запечатлён уровень понимания.

Что нас собрало здесь, пред вырытой могилой,
Пред прахом дорогим?.. О, братья! этот час
Воочью показал с неотразимой силой,
Что теплится любви святой огонь у нас!¹⁷

Схема большинства стихотворений примерно одинакова: покойному воздаётся за его многострадальную жизнь, упоминается о его сочувствии к «меньшей братии», проповеди любви и т. д. и т. п. И хотя в обилии стихотворных банальностей часто тонет живое переживание, его потенциальное наличие не вызывает сомнений.

Л. Толстой писал Страхову: «В похоронах я чутьём знал, что, как ни обосрали всё это газеты, было настоящее чувство»¹⁸.

«Настоящее чувство» редко выливается в настоящие стихи.

О да, мы должны обозначить могилу,
Того, кто в нас душу будил,
Того, кто души благодатную силу
В могучее слово вложил...¹⁹

Подписано: Н. Барт. Имя знакомое: как помним, именно Надежде Барт просила адресовать ответ А. Курносова, слушательница Бестужевских курсов, писавшая Достоевскому зимой 1880 года (см. главу «Две недели в феврале»).

А если хилы мы? — Так что ж?
Исполнит наша молодёжь,
Которой верил и любил
Он до последних дней и сил¹²⁰.

В основном именно молодёжь и посылала в редакции плоды своих скорбных восторгов. Но на газетные полосы прорвалось в эти дни творение совершенно исключительное. Как разъяснялось в редакционном примечании, «С.-Петербургские ведомости» не могли отказать «русскому крестьянину» в помещении его стихотворного опыта:

Почий на лоне Авраама замечательный писатель.
Ты был за обиженных великий воздыхатель,
За которых ты неустанно писал и ратовал,
Потому что сам за правду в изгнании живал.
Сам испытавши великие беды и нужды,
Тебе все несчастья бедных не были чужды,
На пользу которых всю свою жизнь посвятил
И на этом славном деле земное поприще прекратил.
Твоя жизнь полна благих дел,
Хотя перешла она земный предел,
Но добрые дела твои никогда не умрут:
Они на гробе твоём зазеленеют и зацветут.

Подписано было: «Глубокоуважающий почившего гениального писателя крестьянин Максим Васильев Карасёв». Сообщалось также, что при сём редакция получила «от М.В. Карасёва 1 руб. на памятник Ф.М. Достоевскому»¹²¹.

Стихи Максима Карасёва безграмотны, но трогательны. Исключительность момента (и возможно, некоторая доля литературного снобизма) подвигла редакцию обнародовать произведение, напоминающее вирши Симеона Полоцкого и вряд ли могшее увидеть свет при иных обстоятельствах.

Этот факт знаменателен. Художественные достоинства для публикаторов — дело десятое: важнее подчеркнуть незаурядность отклика, пришедшего из вовсе «не литературных» сфер и вызывающего народолюбивый восторг одним фактом своего существования.

Но если от крестьянина Максима Карасёва трудно ждать перлов изящной словесности, то совсем иной спрос с титулованного

автора, шталмейстера высочайшего двора, человека, во всяком случае, образованного. Пятидесятидевятилетний князь Александр Васильевич Мещерский (не путать с В.П. Мещерским, издателем «Гражданина») тоже поспешил вплести свою розу в поэтический венок на гроб Достоевского.

Лирические излияния князя Мещерского — явление изумительное.

Пусть Петербург честит смерть каторжника вволю, —
Россия это не поймёт.

Зачем нам подражать? стяжать французов долю? —

Туда народ наш не пойдёт!

Нам динамит открыл глаза на зла причину,

Куда нас смуга доведёт...

Нам Петербург смешон! — к чему приял личину,

Что гению почесть отдаёт?!

Тут гений ни при чём и гения не бывало,

А был когда-то романист,

Больной, что проводил болящее начало,

Издав «Дневник», как публицист...

Эти бесподобные строки (тогда так и не увидевшие света) могут соперничать с творениями графа Хвостова и капитана Лебядкина (хотя и не обладают, как у последнего, признаками высокой оригинальности). Князь-стихотворец, мужественно борясь с русской грамматикой, не забывает дать собственную интерпретацию важнейшим событиям в жизни своего героя: «Он с Петрашевским сослан был за преступления, / Что ныне чествовать хотят, / И там писал он, ради развлечения, / Романы, смыслу что претят».

Далее сочинитель выказывает негодование в связи с тем обстоятельством, что автору романов, «смыслу что претят», замышляют «в святой Руси самодержавной» воздвигнуть памятник, и предлагает следующую трактовку этого кощунственного намерения: «Его (то есть памятник. — *И. В.*) воздвигнет здесь крамола, лишь в столице, Курсисток стая без волос, Что кандалы его везли на колеснице, — Любуйся, благородный росс!»¹²².

Нет худа без добра. Убогим косноязычием князя Мещерского вдруг подтверждается уже отмеченный другими знаменательный факт: попытка нести кандалы за гробом писателя. Мало того: в стихах даже содержится указание на тех, кто собирался осуще-

ствить это преступное намерение: «Курсисток стая без волос (очевидно, стриженных. — *И. В.*)».

Стихи безвестного крестьянина Карасёва и опус великосветского салонного стихотворца князя Мещерского — эти творения можно поставить рядом только по одному признаку: их литературной беспомощности. Но если у Карасёва присутствует искреннее стремление хоть как-то почтить память любимого автора, то князем Мещерским движут чувства прямо противоположные. Его эпитафия — это, так сказать, посмертный лирический донос, обладающий всеми признаками довольно-таки дурацкого анекдота¹²³.

Стихи сопровождают Достоевского в последний путь. В воскресенье, 1 февраля, они прозвучат над его раскрытой могилой.

Камо грядеши? (Попытка исторической ретроспекции)

28 сентября 1899 года шестидесятипятилетний А.С. Суворин вспомнил о событиях восемнадцатилетней давности — смерти и похоронах Достоевского. Он записал в дневнике:

«Удивительный был этот подъём в Петербурге. Как раз это перед убийством императора. Публика бросилась читать и покупать Достоевского. Точно смерть его открыла, а до этого его не было»¹²⁴.

Остановимся на первой фразе. О каком подъёме, казалось бы, может идти речь в минуту всеобщей скорби?

Но вот что писал тот же Суворин — тогда, в 1881 году: «Это были не похороны, не торжество смерти, а торжество жизни, её воскресение...»¹²⁵

«Это, — говорит другой современник, — даже мало напоминало похороны, это было какое-то народное празднество...»¹²⁶

«Процессия... — пишет Тюменев, — походила на какое-то триумфальное шествие...»¹²⁷

«Как ни странно это звучит, — замечает Н.К. Михайловский, — но в проводах было нечто даже как бы ликующее... Я видел настоящие, искренние слёзы и истинно скорбные лица у гроба Достоевского. Но я ощущал кругом себя и радость и слышал выражения радости, что вот, мол, сколько свободы и единения»¹²⁸.

«Голос» называет событие горестным и утешительным в одно и то же время¹²⁹.

«Торжество», «празднество», «радость» — все эти определения мало подходят для выражения чувств, вызванных печальной потерей. Получается, что скорбь сама по себе не являлась господствующим настроением тех дней. Выходит, что печаль была *светла*, что к ней примешивались какие-то совершенно неожиданные оттенки.

Если в траурной мелодии вдруг прорывается мажорная тема, для этого должны быть основания.

То, о чём говорят современники, можно назвать историческим оптимизмом. Разумеется, оптимизм этот имеет касательство не к самому факту смерти (увы, необратимому), а к тому, что эта смерть выявила в продолжающейся жизни и что, несмотря на горечь потери, подало повод к надежде.

На что же можно было надеяться зимой 1881 года?

Достоевский умер в исключительный момент русской истории: исключительный как в духовном, так и в политическом плане.

К началу 80-х годов почти всё зародившиеся ранее течения русской общественной мысли выявили себя с достаточной полнотой. Российское XIX столетие, беспримерное по объёму и напряжению духовной деятельности, «переварившее» великое множество воззрений, концепций и идеологических формул, познавшее живительную и иссушающую страсть литературных полемик (восполнявших отчасти отсутствие *дела*), — это столетие подошло к некой критической точке. Богатое наследство 40-х и 60-х годов было в основном исчерпано: наследники ещё спорили о деталях, но не знали, как соединить теорию с неподдающейся жизнью. Ни одно из идейных устремлений предыдущих десятилетий не сумело доказать своего права на бесспорный общественный приоритет; ни одна сила, выступившая на духовном поприще, не смогла утвердить себя в сфере практических осуществлений.

Великая распря западников и славянофилов давно утратила былую историческую непосредственность. Ясность идейных физиономий замутилась. Если раньше ещё можно было предположить, что этот старый спор, пользуясь словами Достоевского, есть недоразумение ума, а не сердца, то теперь он превратился в средство личного самоутверждения и сведения давних счётов. Западничество уже давно не признавало себя какой-то единой общностью: сохранив тягу к европейскому конституционализму, оно — в своём народническом варианте — вполне усвоило завет-

ную славянофильскую мечту об исторической исключительности России. С другой стороны, позднее славянофильство, формально не отрекаясь от своих духовных предтеч — Хомякова и Константина Аксакова, всё менее одушевлялось их высоким поэтическим чувством и всё более склонялось к компромиссу с существующим порядком вещей.

Русский либерализм западнического толка — внешне достаточно импозантный и сохранявший, на первый взгляд, прочные общественные позиции — был величиной довольно условной, подверженной колебаниям государственного климата. Он не обладал ни единой идеологией, ни претерпевшими гонения идеологами (без чего в России невозможен сколько-нибудь серьёзный моральный авторитет). Исполненный благородных и высокоинтеллигентных стремлений, он никогда не мог соотнести их с той тёмной, тяжёлой, непредсказуемой стихией, которая глухо ворочалась в исторической мгле, именуемой народной жизнью. Модель, предлагаемая либералами, не затрагивала этих глубин: в ней отчётливо обнаруживались черты корпоративного эгоизма. «Стихия» не принималась в расчёт: разумелось, что она может быть упорядочена и управляема с помощью «нормальных» парламентских процедур. Страшась эксцессов как правого, так и левого толка, русский либерализм никак не мог нащупать собственную точку опоры и внутренне был готов поддерживать существующую власть — как меньшее из зол. Не подготовленный к реальному политическому действию, он стремился избежать и потрясений духовных: недаром так тщательно обходились все «мировые» вопросы. Ставя перед собой весьма умеренные и, казалось бы, вполне достижимые цели, российские либералы не заботились об их нравственном «глобальном» обеспечении: в России такое пренебрежение никому не проходит даром.

Что мог предложить стране в 1881 году лагерь охранительный?

Не обладающий — за редким исключением — сильными и самобытными мыслителями, ограниченный даже в своей охранительной инициативе застарелой государственной практикой, русский общественный консерватизм поневоле отождествлялся с консерватизмом правительственным, давно утратившим свой моральный кредит. Ценности, отстаиваемые официозной или полуофициозной публицистикой, не внушали образованному обществу ни малейшего доверия. Такие

понятия, как «православие», «самодержавие», «народность» — в их казённо-патриотической трактовке, — были скомпрометированы ещё в предыдущее царствование. Русское охранительство всё больше превращалось в консервативную оппозицию — тем реформам, которые были проведены в начале 60-х годов. «Московские ведомости» считали себя правее правительства: они раньше других уловили ту тенденцию, которая возобладает после 1 марта. В отличие от либералов они принимали в расчёт «стихию»: с последней — для её же собственного блага — была призвана совладать сильная государственная власть. Если теоретически и допускалось осторожное консервативное обновление, оно (как и у западников) не должно было затрагивать глубин национальной жизни и мыслилось в качестве противовеса конституционным поползновениям либеральной интеллигенции. Нельзя сказать, чтобы охранительство не заботилось о моральном обосновании своих претензий: обоснования эти носили главным образом национально-исторический характер (соответствие «исконного» самодержавия историческому типу нации). В 1881 году всё это выглядело изрядным анахронизмом.

И наконец, лагерь русской революции.

К 1881 году здесь обнаруживаются признаки глубокого разброда. Это вызвано не только исчезновением с исторической сцены признанных лидеров движения, но и тем обстоятельством, что после реформы 1861 года — освобождения крестьян — крестьянская антифеодалная революция делалась всё более проблематичной. Крестьянство не шелохнулось во время *великого* «хождения в народ» 1874 года: бесчисленные жертвы, принесённые молодыми интеллигентами ради абстрактного «мужика», реального мужика оставили вполне равнодушным. Народолобие, обратившееся, так сказать, в официальную принадлежность русской демократии, подвергалось тяжкому испытанию. Крестьянство, всё глубже вставшее в новый общественный уклад, не спешило обнаруживать своих антибуржуазных потенций. В 70-е годы народники столкнулись с неким социальным вакуумом, когда «мужик» уже не оправдывал возлагаемых на него революционных надежд, а иной силы, способной «раскачать» самодержавие, ещё не существовало.

Русские радикалы делают последний отчаянный шаг: они вступают в бой с правительством один на один.

Результаты этого единоборства были налицо: ошеломлённая власть впервые заколебалась. Народновольческий террор внёс глубокое смятение в её дрогнувшие ряды. «Диктатура сердца» призвана была восстановить пошатнувшееся равновесие. У правительства ещё оставались громадные материальные резервы: армия, полиция, аппарат государственной власти. В то же время «Народная воля» почти исчерпала свои ресурсы. Загадочная «стихия» никак не отзывалась на её бескорыстные усилия и жертвы.

Теоретически возможно представить, что Исполнительный комитет в конце концов сумел бы свалить правительство. Труднее вообразить, кто и каким именно образом воспользовался бы плодами этой победы.

То, что произойдёт через месяц после кончины Достоевского — достижение революционным подпольем его главной цели, явит историческое бессилие террора. Но ещё при жизни автора «Карамазовых» обнаружатся вызванные этой борьбой мучительные нравственные коллизии. Террор был всё тем же «механическим» разрешением общественных вопросов, раскольнической «арифметикой», хотя и облагороженной самозакланием тех, кто поднимал «топор». Ибо вопрос о «слезинке ребёнка» и о всеобщем счастье был поставлен задолго до того, как бомба, разорвавшаяся на Екатерининском канале и предназначенная императору, случайно покалечит оказавшегося рядом подростка. Алёша Карамазов у Илюшиного камня призывал русских мальчишек любить друг друга — и уходил во вторую часть романа, дабы покуситься на царубийство. Интересно, явились бы при сём дети?

Русская революция замешкалась у порога: она ещё не решила всех «предвечных» вопросов*.

Таков был многосоставный спектр 1881 года: от белого царя до «красного» террора; от философских прений о существовании Божьем до взрывов народновольческих бомб, подтверждавших и отрицавших присутствие нравственного закона одновременно. Это была «мёртвая точка» века: он мог сдвинуться в ту или иную сторону.

Достоевский умер — и вдруг почудилось, что дело пошло.

* У А. Желябова, кстати, при обыске и аресте был обнаружен «Дневник писателя. Единственный выпуск на 1880 г.». То есть — Пушкинская речь с обширным авторским комментарием. Достоевский пребывает в поле зрения «человеков из подполья».

Так почудилось потому, что сам он был чудом: единственный человек в России, чья смерть, казалось, примирила всех. Все партии склонили свои знамёна: факт доселе не виданный и никогда в русской истории более не повторявшийся.

Всё это продолжалось только одну историческую минуту и — обернулось призраком, фантомом, обманом зрения. Но всё-таки это было, а раз так — подобный парадокс требует объяснений.

В 1881 году будущее представлялось туманным, загадочным, но — открытым: никто не знал, куда пойдёт страна и каким образом осуществится этот переход. Россия жила *накануне*. Все ощущали близость рубежа, но никто не ведал, что произойдёт. Это смешанное чувство надежды и неуверенности проистекало из общей жизненной неопределённости, когда известные возможности казались исчерпанными, а новые пути — достаточно сложными и гадательными. Кризис общественного сознания порождал духовную нестабильность; кризис власти — нестабильность политическую. Вместе с тем тот общественный пессимизм, который определит тональность следующего царствования, ещё не возобладал.

Будучи молчаливым свидетелем схватки правительства с революционным подпольем, большинство российской интеллигенции не имеет ни сил, ни желания встать на точку зрения одной из сторон. Оно, это большинство, психологически подготовлено к принятию идеологических моделей, сулящих близкий и желательно безболезненный выход из существующего положения.

Меньшинство рвалось в решительный бой; большинство жаждало «покоя и воли». Покоя хотя бы относительного, но твёрдо гарантированного. Воли — хотя бы умеренной, личной, без давящего ярма наглого и бесконтрольного деспотизма.

Это большинство должно было склоняться к какой-то идеальной схеме, примиряющей противоречия *хотя бы* в сфере духа — как к исходному пункту «всего остального». Это большинство желало верить, что существует некое целостное решение, способное удовлетворить всех и обозначить новую эру общественной жизни.

Может быть, секрет Достоевского и заключался в том, что он не рекомендовал никаких конкретных решений. Он начинал «с другого конца»: говорил о правде, о добре, об искренности, о справедливости. Он говорил о своём понимании христианской морали. Он полагал, что здоровье государства зависит от нрав-

ственного здоровья его граждан; что никакие «механические» усовершенствования не поведут к желаемой цели, если останется несовершенным сам человек. Его называли учителем: это было учительство особого рода. Он не брал на себя смелость *по пунктам* ответить на сакраментальный вопрос: «Что делать?». Скорее он намекал на то, *как* делать, именно намекал, потому что в отличие, например, от Толстого у него нельзя отыскать указаний на обязательность тех или иных действий или поведенческих норм. Он доверял каждому отдельному человеку, его нравственному чутью, его свободной воле и не желал насиловать эту волю нравственной «обязаловкой», навязыванием решений, приемлемых абсолютно для всех. Он призывал поступать по *совести*, будучи глубоко убежден, что это сугубо индивидуальное «качество» в конечном счёте совпадает с мирочувствованием нации и питается от него. Он указывал интеллигенции на «серые зипуны», а от последних ожидал приятия двухвековой «верхушечной» культуры, оплодотворённой этим спасительным союзом. Раздельное существование народа и образованного общества, чреватое взаимной гибелью, он хотел восполнить их схождением — прежде всего в сфере духовной.

То, что он говорил, не было «программой». Это походило скорее на чувство, но — чрезвычайно сильное, колеблющее сокровенные струны души. И если политика не предвещала исхода, то, может быть, такой исход мнился в новом жизнеустроении, когда человек сбрасывает маску и обращает к другому человеку свой открытый и доброжелательный лик.

Смерть Достоевского, соединившая вокруг его гроба людей всех верований и направлений, как бы служила первым ошеломляющим подтверждением того, к чему призывал покойный. Словно только так — умерев — мог он воочию явить свою правоту: в этом смысле его кончина принадлежала к числу его сильнейших *доказательств*.

Процессия, следовавшая от Кузнечного переуллка к Александроневской лавре, была заключительным актом царствования Александра II. Она завершала собой целую эпоху. Она знаменовала крайнюю точку того общественного движения, которое началось со смерти императора Николая Павловича. Летосчисление, открытое погребением Николая, заканчивалось похоронами его бывшей жертвы. Сами эти похороны свидетельствовали о том, что минувшая четверть века не прошла для России бесследно.

Но ещё в большей степени проводы Достоевского были обращены в будущее. Десятки тысяч людей отдавали дань уважения и любви тому, кто призывал их к нравственному обновлению — как первому шагу к всеобщему (может быть, всемирному) переустройству. Те, кто следовал за гробом автора Пушкинской речи, как бы говорили сильным мира сего: *мы готовы*. Мы готовы «смириться» (и безропотно отдать несомые вместо венков кандалы), если сама власть в свою очередь тоже «смирится» и на деле примет те начала любви, о которых говорил покойный. Довольно обоюдных убийств, безгласности, беззакония, официального и подпольного произвола! Общество готово к реформам: оно воспользовалось *случаем* и вышло на улицу, чтобы открыто заявить об этом. Смотрите: мы вполне лояльны; мы стройно поём «Святый Боже», вместо того чтобы распевать, положим, «Марсельезу». Вам, правительству, даётся последний шанс: не упустите ж его!

Шанс был упущен.

Был упущен последний шанс, когда самодержавие теоретически ещё могло бы найти общий язык если не со всей интеллигенцией, то хотя бы со значительной её частью. Спасение от революции было возможно не только при помощи откровенной контрреволюции, как это произойдёт месяц-другой спустя. Созыв Земского собора и иные шаги в том же направлении хотя, разумеется, и не повели бы к тому, о чём говорил Достоевский, но во многом могли бы изменить дальнейший ход судеб.

У самодержавия недостало для этого ни желания, ни сил. Следующее массовое шествие в городе Санкт-Петербурге — тоже мирное, хотя и совсем иное по своему составу и по вызвавшим его причинам, — власть встретит пулями: это случится 9 января 1905 года.

Это случится — и положит начало первой русской революции.

Два шествия аукнутся между собой: кровь, пролитая участниками второго, оттенит всю фантазмагоричность первого.

Да, то, что происходило в столице 31 января 1881 года, можно назвать исторической фантазмагорией. Но одновременно — и крупнейшей политической манифестацией русского XIX столетия. Манифестацией, случившейся на грани двух эпох и вдохнувшей в сердца так и не сбывшиеся надежды.

Победоносцев не напрасно тревожился, вспоминая проводы Достоевского: он знал толк в исторических предзнаменованиях.

Прощание на русский манер

Вечером 31 января Анна Григорьевна с детьми приехала в Духовскую церковь, чтобы присутствовать при парастасе (торжественной всенощной), совершаемой у гроба.

«Церковь была полна молящихся; особенно много было молодёжи, студентов разных высших учебных заведений, духовной академии и курсисток. Большинство из них остались в церкви на всю ночь, чередуясь друг с другом в чтении псалтыря над гробом...»¹³⁰

Когда утром пришли убирать храм, в нём не обнаружилось ни одного окурка. Это чрезвычайно удивило монахов.

«...Обычно, за долгими службами, — пишет Анна Григорьевна, — почти всегда в церкви кто-нибудь втихомолку покурит и бросит окурочек»¹³¹. Уважение к памяти покойного превысило уважение к месту.

Гроб возвышался посреди храма — под балдахином из гранатового бархата с золотыми кистями, в окружении многочисленных венков. Некоторые из них, поднятые на высоких шестах, разместились вдоль стен (что, как замечает Анна Григорьевна, «придавало храму своеобразную красоту»). С хоров свисала, осеняя гроб, огромная трёхцветная хоругвь — от редакции «Русской речи»: её необыкновенные размеры должны были, по-видимому, выкупить нападки этого издания на творчество покойного...

«Мне невольно вспомнился, — замечает очевидец, — тот момент, когда на Пушкинском празднике Достоевский взошёл на кафедру, а зади его, как рамку, держали веночек»¹³².

В субботу вечером митрополит Петербургский Исидор (тот самый, который столь твёрдо противостоял намерению похоронить автора «Карамазовых» в стенах Лавры) направился в Духовскую церковь. «Монахи, — передаёт его слова дочь Достоевского, — остановили меня у дверей, объявив, что церковь, которую я считал пустой, полна людей». Тогда высокопреосвященный избрал пунктом своего пастырского наблюдения маленькую часовню во втором этаже соседней церкви: её окна выходили внутрь храма, где стоял гроб. «Я провёл там часть ночи, наблюдая за студентами, не видевшими меня. Они молились, плакали и рыдали, стоя на коленях. Монахи хотели читать псалмы у подножия катафалка, но студенты взяли у них из рук псалтырь и читали попеременно псалмы. Никогда я не слышал ещё подоб-

ного чтения... Студенты читали псалмы дрожащим от волнения голосом и вкладывали свою душу в каждое произносимое ими слово».

Так смущённому этой сценой Исидору сподобилось убедиться в мудрой правоте обер-прокурора Святейшего синода, пёкшегося, чтобы врата Лавры отверзлись пред *не столь заслуженным* прахом...

Ранним утром в воскресенье 1 февраля Победоносцев в сопровождении брата Анны Григорьевны отправился в Лавру. «Они открыли гроб, — пишет Любовь Фёдоровна, — и нашли Достоевского страшно изменившимся». Шёл уже четвёртый день после его кончины. Почти трое суток тело находилось в душных комнатах, битком набитых людьми. Гроб несколько часов несли на руках, покачивая и встряхивая. Всё это не прошло бесследно. «Из опасения, чтобы вид изменившегося лица покойника не произвёл тяжёлого впечатления на вдову и детей Достоевского, Победоносцев не разрешил монахам открыть гроб. Моя мать никогда не могла простить ему этого запрещения»¹³³.

Анна Григорьевна скорбела о том, что не смогла исполнить обряд, предписываемый православным обычаем: отдать усопшему последнее целование.

Она вообще едва попала в Александро-Невскую лавру.

На площади перед Лаврой гудела толпа. Людей собралось несколько тысяч: внутрь пропускали строго по билетам. У Анны Григорьевны билета не оказалось. Она попыталась удостовериться свою личность.

« —Тут много вдов Достоевского прошли, и одни, и с детьми, — получила я в ответ.

— Но вы видите, что я в глубоком трауре.

— Но и те были с вуалями. Пожалуйте вашу визитную карточку»¹³⁴.

Визитной карточки, разумеется, тоже не было. И только помощь случившихся рядом знакомых позволила Анне Григорьевне с детьми проникнуть в стены обители.

«Сегодня, — пишут «С.-Петербургские ведомости», — в противоположность вчерашнему дню от полиции были сделаны большие наряды чинов для соблюдения порядка...» Начальство словно спохватилось и спешило наверстать упущенное.

«К сожалению, — продолжает корреспондент, — мы должны заметить, что полицейские чины... держали себя с публикою

чрезвычайно грубо... Я пробыл у ворот Лавры 20 минут и видел обращение полицейских. Градоначальник поступит весьма справедливо, если сделает замечание тем чинам полиции, которые были в наряде у ворот Лавры и на площади. Бесцельная грубость со стороны полицейских не есть ли первый повод к беспорядкам?»¹³⁵

Беспорядков не было: был беспорядок. Правда, в самой церкви царил торжественное спокойствие: депутаты окружили катафалк, вокруг которого прибавилось новых венков: от Артиллерийской академии, Академии Генерального штаба, от литераторов и даже «от русских детей».

В 10 часов утра началась заупокойная литургия. Пел хор александровских певчих — и молодёжь негромко подхватывала слова молитвы. Власть была представлена тремя правительственными лицами: Победоносцевым, начальником Главного управления по делам печати Абазой и министром народного просвещения Сабуровым.

После литургии совершилось отпевание. Затем ректор Петербургской духовной академии протоиерей Янышев обратился к присутствующим с проповедью. «Звучный голос, тёплое чувство, которое слышалось в каждом звуке проповеди, и красноречие проповедника, — отмечается в одном источнике, — произвели сильное впечатление на слушателей»¹³⁶. «...Речь... мне не понравилась, — возражает И.П. Павлов, — не слышал искренности, душевности»¹³⁷.

«Дадим теперь ему, — воззвал в заключение Янышев, — как много любившему, последний поцелуй нашей любви»¹³⁸, — запятовав, очевидно, что ввиду закрытого гроба исполнить этот призыв можно только метафорически...

Когда гроб выносили из церкви, то, как свидетельствует М.А. Рыкачёв, «поднялась суматоха и давка». «Теснота оказалась такую подавляющею, — подтверждают «С.-Петербургские ведомости», — что распорядителям стоило немало труда пробить дорогу для духовенства и гроба к последнему месту его успокоения»¹³⁹.

Это место находилось тут же — на Тихвинском кладбище: рядом с могилами Жуковского и Карамзина.

«У могилы, — пишет воспоминатель, — также были толпы: памятники, деревья, каменная ограда... всё было усеяно пришедшими отдать последний долг писателю. Григорович просил студентов очистить путь к могиле и место около неё. Мы с трудом

это сделали и выстроили венки и хоругви шпалерами по обеим сторонам прохода»¹⁴⁰.

Когда гроб опускали в могилу, раздался крик одиннадцатилетней Лили: «Прощай, милый, добрый, хороший папа, прощай!»¹⁴¹

Три года назад он произнёс несколько слов над раскрытой могилой Некрасова. Он говорил тогда, что Некрасов должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. «Выше, выше!» — закричали в толпе.

Над его собственной могилой не раздалось никаких полемических восклицаний: все споры были ещё впереди. Среди говоривших не оказалось ни одного крупного литературного имени. Тургенев пребывал за границей, Толстой — в Ясной Поляне, Салтыков-Щедрин — больной у себя дома. Да и вряд ли кто-нибудь из них захотел бы высказаться. Майков приготовил речь, но произнести её не успел. Говорили литераторы второго ряда; брали слово люди вовсе случайные...

«Впечатление осталось от апостольской фигуры В.С. Соловьёва, — вспоминает И.И. Попов, — от его падавших на лоб кудрей. Говорил он с большим пафосом и экспрессией»¹⁴². Анна Григорьевна также свидетельствует, что молодой философ «выделялся своим взволнованным видом»¹⁴³.

«Соединённые любовью к нему, — сказал о покойном Владимир Соловьёв, — постараемся, чтобы такая любовь соединила нас и друг с другом»¹⁴⁴.

Это могло напоминать речь Алёши у Илюшиного камня. Смерть оказывалась большей, чем просто смерть: она «невольной» служила тому, к чему автор «Карамазовых» направлял все свои духовные помышления.

«Самому Достоевскому, — говорит И.П. Павлов, — если бы он видел и чувствовал всё это, должно было быть хорошо! Сколько народу на его могиле приняло решение, дало обет быть лучше, походить на него»¹⁴⁵

«А если умрёт, то принесёт много плода...»

Его смерть не только завершила его жизнь. Она сама стала элементом «учения», первой попыткой осуществить его на практике. Смерть оказалась *конструктивной*: в обществе обнаружился такие идеальные силы, о которых само общество даже не подозревало. Мнилось, что цели вещественные могут быть достигнуты невещественнейшим из всех мыслимых средств — любовью.

1 февраля казалось: до этого уже подать рукой.

1 февраля ещё позволительно было надеяться, что 1 марта (то 1 марта) может не наступить вовсе.

Это была ошибка.

Это была ошибка, в которую впадали тем легче, что в неё страстно желали впасть.

Речей на могиле произносилось много. Выступал А.И. Пальм, сотоварищ покойного по делу Петрашевского: они вместе стояли на эшафоте. Говорил никому не известный студент Павловский: имя попало в газеты. Орест Фёдорович Миллер заключил свою речь чтением стихотворения безымянной слушательницы Высших женских курсов. Сказал речь профессор Бестужев-Рюмин. Стихи собственного сочинения огласили литераторы П. Быков и П. Гайдебуров, а также несколько лиц, оставшихся неизвестными.

Главная мысль у всех выступавших была одна: покойный указал *путь*. И остаётся только следовать в указанном направлении: остальное приложится.

Ораторов было плохо слышно.

Около трёх часов открыли кладбищенские ворота: толпа хлынула на Невский.

«Всё закончилось, — пишет И.П. Павлов, — немножко на русский манер насильным, нежелательным для хозяев разрыванием венков»¹⁴⁶.

Всё закончилось немножко на русский манер:

...триумфальные венки, осенявшие его в его последний год, обратились в венки погребальные и были разодраны жадной в своём бескорыстии толпой;

вечером того же дня некто справлял новоселье; вернувшиеся с похорон заспорили о покойном и «добеседовались» до полвосьмого утра («Пример даже в наших летописях небывалый»¹⁴⁷, — замечает один из присутствовавших);

через неделю заключённый в Петропавловскую крепость (где тридцатью годами ранее обретался его бывший сосед) потомственный почётный гражданин господин Алафузов будет предъявлен доставленной из Путивля Елизавете Ивановне Баранниковой и после минутного колебания признаёт в ней свою родную мать¹⁴⁸;

через месяц русский император целым и невредимым выйдет из кареты, подорванной бомбой 19-летнего Рысакова, и вступит

в непродолжительную беседу с покушавшимся, после чего второй метательный снаряд, брошенный Гриневицким, прекратит его царствование;

ещё через месяц Кавказское медицинское общество учредит стипендию имени Достоевского за сочинение на тему: «Этиология умопомешательства в общественных и нравственных условиях русской жизни по сочинениям Ф.М. Достоевского»¹⁴⁹.

Он умер в годину великих потрясений и великих надежд. Россия стояла «на какой-то окончательной точке»: чаша весов колебалась.

Будущее было открытым.

Он умер — и вопросы, которые в зависимости от нужд вопрошавших именовались то вечными, то мировыми, то проклятыми, получили ещё одно обозначение: они стали называться вопросами Достоевского.

НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Эта книга начала писаться «вдруг» — поздней осенью 1979 года и была завершена осенью 1982-го (включая довольно большой перерыв, связанный с личными обстоятельствами). Во всё время писания автора не покидала счастливая уверенность, что он идёт по нетореному пути и что этот путь он обязан пройти до конца.

Несмотря на то что некоторые главы «Последнего года» печатались в «Вопросах литературы», «Новом мире», «Дружбе народов» и др., судьба отдельного издания оставалась гадательной. В «Советском писателе» рукопись перебрасывали из редакции в редакцию; направляли на дополнительное рецензирование; возвращали автору. В этих стратегических играх протекло несколько лет. И лишь после в высшей степени доброжелательных отзывов акад. Д. Лихачёва и историка Н. Эйдельмана дело сдвинулось с мёртвой точки.

Книга вышла в 1986 году. Написанная на исходе одной эпохи, она сподобилась вписаться в другую. Владимир Максимов в парижском «Континенте» расценил её как важный знак совершающихся в стране духовных перемен. Между тем, когда книга сочинялась, о переменах ещё не было и речи.

Автор писал «Последний год» свободной, как ему казалось, рукой, не заботясь о том, чтобы «понравиться» тому или иному литературному направлению, то есть — «не стараясь угодить». Он пытался также (насколько это возможно) не думать о цензуре, в то время еще достаточно бодрой. Он полагал, что правда выгодна всем — какой бы она ни была.

Уже приходилось говорить, что биография — всегда версия: важно, чтобы она подтвердилась. За время, прошедшее после первого издания книги, не было опровергнуто ни одно из авторских предположений. Даже наиболее спорные гипотезы вызвали, как мы убедились, несогласия преимущественно эмоционального толка.

В послесловии ко второму изданию говорилось:

«Первоначально у автора было намерение по пунктам ответить своим оппонентам. Но, внимательно вчитавшись в собственный текст, он (автор) пришёл к заключению, что большинство этих ответов уже содержится в самой книге и дополнительные аргументы вряд ли убедят тех, кто не усмотрел смысла в уже явленных. Подобное открытие чрезвычайно утешило автора, ибо избавило его от полемических усилий — как показывает опыт, почти всегда бесполезных. Кроме того, по свойственному ему миролюбию автор не имеет ни малейшей охоты настаивать на своей правоте».

Отрадно, что многие впервые установленные автором факты вошли в литературный обиход (а если иметь в виду их попадание «на улицу» — даже в обиход околотитературный). Еще отраднее, что это можно отнести и к некоторым авторским соображениям.

В общем книга была принята благосклонно — как у нас, так и за рубежом.

Разумеется, при переиздании, можно было бы уделить большее внимание религиозному сознанию Достоевского, характеру его христианства. Но, с другой стороны, эта тема получила достаточное освещение в литературе последних лет. Желательно также более подробно потолковать о взаимоотношениях творца «Братьев Карамазовых» с высшей государственной властью (в частности, с представителями царствующей династии): этому сюжету автор посвятил отдельную книгу.

В нынешнем дополненном и уточнённом издании прояснены некоторые упущенные ранее моменты. Другие упущения, очевидно, исправит время.

приложение

примечания

НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

¹ *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений в 30 томах. Л.: 1972—1990. Т. 30. С. 238—239. (Далее: *Достоевский Ф. М.* ПСС.)

² Там же. С. 23.

Часть первая

Глава I. «КОЛЕБЛЯСЬ НАД БЕЗДНОЙ...»

¹ *Толстой Л. Н.* ПСС. Т. 62. М., 1953. С. 409.

² Цит. по кн.: *Народоволец А. И.* Баранников в его письмах. М., 1935. С. 34—35.

³ *Степняк-Кравчинский С. М.* Россия под властью царей. М., 1965. С. 381.

⁴ *Венедиктов Д. Г.* Палач Иван Фролов и его жертвы. М., 1931. С. 27. Высочайшее пожелание было незамедлительно исполнено. Казни обрели государственную единообразность. «Надеюсь, вы не приговорите его к почётной смерти», — заметил судьям великий князь Николай Николаевич перед вынесением одного приговора (см.: *Революционная журналистика 70-х годов.* Ростов-на-Дону, 1907. С. 284). Расстрел — в виде исключения — стал применяться только к офицерам (например, к Н. Е. Суханову).

⁵ *Тыркова А. В.* Анна Павловна Философова и её время // *Сборник памяти А. П. Философовой.* Т. 1. Пг., 1915. С. 326. Разница убеждений не мешала

А.П. Философовой любить мужа. Высланная осенью 1879 года из России за свои политические связи («Ради тебя она выслана за границу, а не в Вятку», — заметил Александр II своему главному военному прокурору), она вернулась на родину уже после смерти Достоевского. Впрочем, при Александре III карьера Философова практически завершилась: ему не могли простить поведения его жены.

⁶ Цит. по кн.: *Таратута Е. С.М.* Степняк-Кравчинский — революционер и писатель. М., 1973. С. 354.

⁷ Новое время. 1879. 4 апреля.

⁸ *Гр. де Воллан Г.А.* Очерки прошлого // Голос минувшего. 1914. № 4. С. 122.

⁹ Цит. по: *Зайончковский П.А.* Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х гг. М., 1964. С. 91.

¹⁰ Новое время. 1879. 4 апреля.

¹¹ Листок «Земли и воли». 1879. № 4. 6 апреля.

¹² См. в кн.: *Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.* Кн. 31 (Т. XVI). 1895. С. 476.

¹³ *Вейнберг Пётр.* 4-е апреля 1866 г. (Из моих воспоминаний) // Былое. 1906. № 4. С. 299–300.

¹⁴ Литературное наследство. Т. 15. М., 1934. С. 136.

¹⁵ *Каменецакая М.В.* (Встречи с Достоевским) // Сборник памяти А.П. Философовой. Т. 1. С. 266.

¹⁶ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 133. Текст в журнале напечатан таким образом, что его можно принять и за часть письма Глеба Успенского де Воллану.

¹⁷ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29828. У самого Пуцыковича были, помимо прочего, и личные причины для огорчений. В том же письме он сообщает Достоевскому, что в своё время переслал Мезенцову полученные им письма от неких «одесских социалистов», угрожавших ему, Пуцыковичу, смертью. Однако III Отделение никак на это не реагировало. Интересно сравнить жалобу Пуцыковича со следующим (позднейшим) заявлением Исполнительного комитета: «Вследствие множества угрожающих писем, рассылаемых в последнее время от имени Исполнительного Комитета людьми, не имеющими с этим комитетом ничего общего, Исполнительный Комитет считает нужным заявить, что все его предупреждения и заявления будут печататься в «Земле и воле» или в «Листке “Земли и воли”». Все остальные будут считаться подложными» (Листок «Земли и воли». 1879. № 2–3. 22 марта).

¹⁸ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. С. 62.

¹⁹ См.: там же. Т. 11. С. 11.

²⁰ Биография, письма и заметки из записной книжки // *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 1. СПб., 1883. С. 370 (вторая пагинация). (Далее: Биография...)

²¹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. С. 67.

²² Цит. по ст.: *Шакол А.* Казнь Дубровина // Каторга и ссылка. 1929. № 5. С. 70, 74.

²³ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30, С. 67.

²⁴ Дневник Алексея Сергеевича Суворина. London—М., 1999. С. 454. Издатель относит эту запись к «Отрывкам из воспоминаний» и датирует её 1903 годом. Ср.: Дневник А.С. Суворина. М.—Пг., 1923. С. 16.

²⁵ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30, С. 67.

²⁶ *Ушерович С.С.* Смертные казни в царской России. Харьков, 1933. С. 163.

²⁷ См.: *Венедиктов Д.Г.* Палач Иван Фролов и его жертвы. С. 12–13.

²⁸ См.: *Ушерович С. С.* Указ. соч. С. 164.

²⁹ Биография... С. 355 (вторая пагинация).

Глава II. СУДЬБА АЛЁШИ

¹ Новороссийский телеграф. 1880. 26 мая. № 1578. (Журнальные заметки)

² См. в кн.: *Благой Д.* От Кантемира до наших дней. М., 1979. С. 349.

³ *Незнакомец.* О покойном // Новое время. 1881. 1 февраля.

⁴ *Благой Д.* Указ соч. С. 349.

⁵ Ошибка исследователя вызвана тем, что он называет неверную дату публикации статьи Суворина: даётся ссылка на «Новое время» от 26 мая (?) 1881 года, а не от 1 февраля.

⁶ Литературное наследство. Т. 86. М., 1973. С. 335.

⁷ Литературный журнал. 1881. № 7. Стб. 609.

⁸ *Микулич В.* Встреча со знаменитостью. М., 1903. С. 21.

⁹ *Достоевская А.Г.* Воспоминания. М., 1971. С. 290. (Далее: Достоевская А.Г.)

¹⁰ Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1980. 4. С. 275–276. (Далее: Материалы и исследования.)

¹¹ Новое время. 1881. 1 февраля.

¹² Биография... С. 175 (первая пагинация).

¹³ Об этом см. подробнее в нашей работе: Доказательство от противного // Вопросы литературы. 1976. № 9. См. также: *Игорь Волгин.* Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания. М., 2004. С. 196–230.

¹⁴ Литературный журнал. 1881. № 7. Стб. 609.

¹⁵ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 14. С. 6.

¹⁶ См.: *Гроссман Л.* Достоевский. М., 1965. С. 569–572.

¹⁷ См.: Русь. 1883. 6 января.

¹⁸ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 11. С. 303.

¹⁹ Там же. Т. 14. С. 25.

²⁰ Там же. Т. 15. С. 523 (Примечания).

²¹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 29, С. 145.

²² Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1870—1894. СПб., 1914. С. 268.

²³ Белов С.В. «Гений и злодейство — две вещи несовместные» // Ф.М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб., 1993. С. 14—19. См. также: Волгин И.Л. Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания. М., 2004. С. 574.

²⁴ Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 29¹. С. 145.

²⁵ Литературный журнал. 1881. № 7. Стб. 609. Кстати, Алексей Фёдорович «второго» романа должен был, если верить «Новороссийскому телеграфу», стать сельским учителем. Сельским учителем был одно время и стрелявший в царя А. Соловьёв.

²⁶ Это ещё один аргумент в пользу того, что автором статьи в «Новороссийском телеграфе» (Z-м) был не Суворин. Если, как пишет Благой, версию о царевубийстве Суворин «не решился доверить... даже дневнику» (и это через много лет!), трудно представить, чтобы он отважился на столь сенсационное (пусть даже и анонимное) заявление в печати.

Глава III. ВЕРА ЗАСУЛИЧ И СТАРЕЦ ЗОСИМА

¹ Кони А.Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич. М., 1933. С. 104.

² Там же. С. 108.

³ Там же. С. 139.

⁴ Каторга и ссылка. 1929. № 5. С. 72.

⁵ Сборник передовых статей «Московских ведомостей» (1878). М., 1897. С. 161.

⁶ Глаголь С. Процесс первой русской террористки // Голос минувшего. 1918. № 7—8. С. 154.

⁷ Кони А.Ф. Указ. соч. С. 215.

⁸ См.: Гессен И.В. Судебная реформа. СПб., 1904. С. 167.

⁹ Кони А.Ф. Указ. соч. С. 215—216.

¹⁰ Московские ведомости. 1878. 3 апреля.

¹¹ Мещерский В.П. Мои воспоминания. Ч. II. СПб., 1898. С. 404—405.

¹² См.: К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. I, полутом II. М., 1925. С. 496.

¹³ Письма К.П. Победоносцева к Александру III. М., 1925. С. 256.

¹⁴ Градовский Г.К. Итоги. Киев, 1908. С. 8—9.

¹⁵ Там же. С. 18.

¹⁶ Литературное наследство. Т. 83. М., 1971. С. 672—673.

¹⁷ Цвейг С. Собр. соч. Т. 7. М., 1929. С. 172.

¹⁸ Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 14. С. 56, 58—60.

¹⁹ Биография... С. 356 (вторая пагинация).

²⁰ Литературное наследство. Т. 83. С. 676.

²¹ Дневник писателя. 1881. Январь. Первый корень...

²² Дневник писателя. 1880. Август. Пушкин (очерк).

²³ Покушение Каракозова. Стенографический отчёт. Т. 2. М., 1928. С. 284.

²⁴ Шилов А.А. Каракозов и покушение 4 апреля 1866 года. Пб., 1920. С. 47.

²⁵ Биография... С. 355 (вторая пагинация).

²⁶ Зайончковский П.А. Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 гг. М., 1964. С. 188—189.

²⁷ Ср.: Биография... С. 355 (вторая пагинация) и Литературное наследство. Т. 83. С. 673.

²⁸ Биография... С. 371 (вторая пагинация).

²⁹ Это довольно-таки существенный момент. Как справедливо замечено, говоря о вселенской Церкви и православии, Достоевский «ни слова не упоминает о духовенстве, как будто бы действительной Православной церкви вовсе не существует» (*Радлов Э.Л.* Вл. Соловьёв и Достоевский // Достоевский. Статьи и материалы. Пг., 1922. С. 161). Правда, однажды упоминает (в записной тетради 1875—1876 гг.): «Народ у нас ещё верует в истину... если только наши «батюшки» не ухлопают нашу веру окончательно» (Литературное наследство. Т. 83. С. 394).

³⁰ Дневник писателя. 1877. Февраль. Меттернихи и Дон-Кихоты...

³¹ См.: *Кони А.Ф.* Указ. соч. С. 158—159.

³² Вера Засулич и народовольцы в воспоминаниях Анри Рошфора // Голос минувшего. 1920—1921. С. 86.

³³ *Кони А.Ф.* Указ. соч. С. 139.

³⁴ Литературное наследство. Т. 83. С. 676.

³⁵ См.: *П. Щ.* Событие 1-го марта и Владимир Сергеевич Соловьёв // Былое. 1906. № 3. С. 52—53.

³⁶ *Попов И.И.* Минувшее и пережитое. М., 1933. С. 93—94.

³⁷ Былое. 1906. № 3. С. 52.

³⁸ Дневник писателя. 1881. Январь. Пусть первые скажут...

³⁹ Победоносцев и его корреспонденты. Т. I, полутом 1. С. 47.

⁴⁰ *Стоюнина М.Н.* Из воспоминаний об А.Г. Достоевской // Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А.С. Долинина. Сб. 2. М.—Пг., 1924 (на обл.: 1925). С. 579. Не лишено интереса свидетельство той же Анны Григорьевны, что Владимир Соловьёв своим душевным строем напоминал Достоевскому друга его юности — И.Н. Шидловского (человека, похоже, «иван-карамазовского» склада). «Мне всё кажется, — говорил Достоевский Соловьёву, — что в вас переселилась душа Шидловского. — А когда он умер? — спросил Соловьёв. — Да в таком-то году. — Ну, а я родился в таком-то, на 20 лет раньше. В таком случае, вы полагаете, что в первые 20 лет во мне не было никакой души». Все мы посмеялись этой мысли» (см.: *Гроссман Л.П.* Семинарий по Достоевскому. М.—Пг., 1922. С. 68).

Глава IV. ПОРТРЕТ С НАТУРЫ

¹ *Милютин Д.А.* Дневник (1878—1880). Ред. и примеч. П.А. Зайончковского. Т. 3. М., 1950. С. 148.

² Отечественные записки. 1879. № 12. С. 238.

³ Цит. по кн.: *Хейфец М.И.* Вторая революционная ситуация в России. М., 1963. С. 136.

⁴ Неделя. 1880. 1 января.

⁵ Литературное наследство. Т. 86. М., 1973. С. 304.

⁶ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1870—1894. Издание Общества Толстовского музея. Т. 2. СПб., 1914. С. 111—112, 252.

⁷ Литературное наследство. Т. 86. М., 1973. С. 303—304.

⁸ Литературное наследство. Т. 15. М., 1934. С. 146.

⁹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 350.

¹⁰ Материалы и исследования. 4. Л., 1980. С. 246.

¹¹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. С. 142.

¹² *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 350.

¹³ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. С. 19.

¹⁴ Там же. С. 40.

¹⁵ *Микулич В.* Указ. соч. С. 6.

¹⁶ Там же. С. 8.

¹⁷ Биография... С. 181 (вторая пагинация; в тексте ошибочно 281). Ср. также свидетельство де Воллана, что Достоевский разговаривал с ним «каким-то зловещим шёпотом» (Голос минувшего. 1914. № 4. С. 124).

¹⁸ *Микулич В.* Указ. соч. С. 9.

¹⁹ *Соловьёв Вс.* (...) Большой человек (Из воспоминаний о Достоевском). СПб., 1904. С. 40.

²⁰ Там же. С. 56.

²¹ *Микулич В.* Указ. соч. С. 11.

²² Там же. С. 8, 18.

²³ *Соловьёв Вс.* Указ. соч. С. 35.

²⁴ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 51.

²⁵ *Микулич В.* Указ. соч. С. 8.

²⁶ *Т-ва В.В.* (О Починковская) (В.В. Тимофеева) Год работы с знаменитым писателем // Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 490.

²⁷ *Александров М.А.* Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика в 1872—1881 годах // Русская старина. 1892. № 4. С. 178—182.

²⁸ Биография... С. 181 (первая пагинация; в тексте ошибочно: 271).

²⁹ Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 490.

³⁰ *Соловьёв Вс.* Указ. соч. С. 35.

³¹ *Алчевская Х.Д.* Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. М., 1912. С. 74.

³² *Буква (И.Ф. Василевский)*. Литературные знаменитости на Пушкинском празднике в Москве в 1880 году // Русские ведомости. 1899. 19 мая.

³³ *Крамской И.Н.* Письма, статьи в 2-х томах. Т. II. М., 1966. С. 256.

³⁴ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 219.

³⁵ *Соловьёв Вс.* Указ. соч. С. 40–41.

³⁶ И.Н. Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. 1837–1887. СПб., 1888. С. 669.

³⁷ *Штакеншнейдер Е.А.* Дневник и записки (1854–1886). М.—Л., 1934. С. 456.

³⁸ Там же. С. 457.

³⁹ *Соловьёв Вс.* Указ. соч. С. 40–42.

⁴⁰ *Алчевская Х.Д.* Указ. соч. С. 78.

⁴¹ *Соловьёв Вс.* Указ. соч. С. 40–41.

⁴² *Микулич В.* Указ. соч. С. 13, 17.

⁴³ *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 461–462, 458.

⁴⁴ Биография... С. 186 (первая пагинация; в тексте ошибочно: 176).

⁴⁵ Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Т. I. С. 266.

Глава V. ТРИ ВЕЧЕРА В МАРТЕ

¹ М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 3. СПб., 1912. С. 146.

² *Лопатин Г.* Воспоминания о И.С. Тургеневе // Красная новь. 1927. № 8. С. 171–172.

³ Четыре встречи с И.С. Тургеневым. (Беседа с профессором С.А. Венгеровым) // Бирюч петроградских государственных театров. 1918. № 2. С. 44.

⁴ Как недавно было установлено, этим неизвестным доброжелателем являлся племянник П.И. Бартенева историк Н.П. Барсуков. Ему в свою очередь предоставил возможность ознакомиться с письмом А.Н. Майков, перед которым позднее Барсуков вынужден был оправдываться за свою нескромность. Барсуков, кроме того, просил Бартенева известить автора «Дыма», что копия письма получена не от Достоевского. Бартенев выполнил эту просьбу. (См.: Литературное наследство. Т. 86. С. 411. Ср.: История одной вражды. Переписка Достоевского и Тургенева. Под ред., с введением и примечаниями И.С. Зильберштейна. Л., 1928. С. 175–179.)

⁵ Русский архив. 1902. № 9. С. 148. Таким образом, П.И. Бартенев опубликовал это письмо через тридцать четыре года.

⁶ Из архива Достоевского. Письма русских писателей. М.—Пг., 1923. С. 130. Не исключено, что письмо было продиктовано желанием сгладить неприятное впечатление от инцидента, связанного с забывчивостью Тургенева, потребовавшего у Достоевского — через третье лицо — старый долг, который, как выяснилось, Достоевский уже отдал.

⁷ Гнедич П.П. Книга жизни (Воспоминания). Л., 1929. С. 121—122.

⁸ Садовников Д.Н. Встречи с И.С. Тургеневым // Русское прошлое. 1923. № 1. С. 79.

⁹ Ободовский К.П. Листки из записной книжки // Исторический вестник. 1893. Декабрь. С. 775.

¹⁰ Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 538.

¹¹ Русское прошлое. 1923. № 1. С. 75.

¹² Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 538.

¹³ Кронштадтский вестник. 1879. 25 февраля.

¹⁴ Молва. 1879. 16 февраля.

¹⁵ Кронштадтский вестник. 1879. 25 февраля.

¹⁶ Газета А. Гатцука. 1879. 24 февраля.

¹⁷ Голос. 1879. 8 марта. № 67.

¹⁸ Между тем имя автора, очевидно, весьма интересовало Достоевского. Прося В.Ф. Пуцыковича «не отвечать «Голосу» и другим по поводу Карамазовых» (в готовящемся к выходу берлинском «Гражданине»), он пишет: «"Голосу" я отвечу и сам, но лишь осенью, когда узнаю в точности, кто писал. Это мне очень нужно для характера ответа» (*Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30, С. 62).

¹⁹ Голос. 1879. 8 марта.

²⁰ Сборник памяти А.П. Filosoфовой. Т. 1. С. 259.

²¹ Русское прошлое. 1923. № 1. С. 75.

²² Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 538—539.

²³ Сборник памяти А.П. Filosoфовой. Т. 1. С. 258.

²⁴ Русское прошлое. 1923. № 1. С. 75.

²⁵ Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 539. Это мемуарное свидетельство подтверждается газетным отчётом: «В одном месте даже наша публика, холодная и шепетильная, не выдержала и прервала чтение взрывом рукоплесканий» (Голос. 1879. 11 марта. № 70).

²⁶ Гнедич П.П. Указ. соч. С. 122.

²⁷ Сборник памяти А.П. Filosoфовой. Т. 1. С. 259. Ср. письмо Достоевскому О.А. Новиковой от 10 марта 1879 года: «А вчера вы читали великолепно: сердце радовалось. Но как это не нашлось доброго человека, — добавляет эта темпераментная консервативная публицистка, — чтоб посоветовать Салтыкову прочесть что-нибудь другое: всё было бы лучше!» (Литературное наследство. Т. 86. С. 473).

²⁸ Исторический вестник. 1893. Декабрь. С. 775.

²⁹ Голос. 1879. 11 марта. № 70.

³⁰ Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 539.

³¹ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 213.

³² Русское обозрение. 1901. Вып. 1. С. 97.

³³ Микulich В. Указ. соч. С. 16.

³⁴ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 214.

³⁵ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 326.

³⁶ Новое время. 1879. 14 марта.

³⁷ *П. В. <Васильев>*. Описание торжеств, происходивших в честь И.С. Тургенева во время пребывания его в Москве и Петербурге в течение февраля и марта 1879 года. Казань, 1880. С. 16.

³⁸ *Оболенский Л.Е.* Литературные воспоминания и характеристики // Исторический вестник. 1902. Февраль. С. 504. Ср.: Оболенский «сказал что-то похожее на стихи, но стихи подобных поэтов тем именно и бесценные, что они не затрудняют ни мысли, ни внимания, бесследно проносясь лёгким зефиром сквозь уши слушателей» (*Коломенский Кандид*. Вчера и сегодня. Чествование «человека сороковых годов» гг. учёными и литераторами // *Новости*. 1879. 18 марта).

³⁹ *Новости*. 1879. 18 марта. Григорович приводит здесь по памяти слова И.И. Панаева.

⁴⁰ Новое время. 1879. 14 марта.

⁴¹ С.-Петербургские ведомости. 1879. 16 марта.

⁴² Литературное наследство. Т. 86. С. 474.

⁴³ Описание торжеств, происходивших в честь И.С. Тургенева... С. 15.

⁴⁴ Исторический вестник. 1904. Январь. С. 111. В 1909 году шестидесятипятилетний Градовский приехал к Толстому в Ясную Поляну. Д. Маковицкий записал в дневнике: «Очень робел перед Л.Н. и умилялся, восторгался им... Л.Н. был Градовскому приятен, но Градовский не был ему интересен: насквозь либерал» (Литературное наследство. Т. 90. М., 1979. С. 64–65).

⁴⁵ *Вестник Европы*. 1879. Апрель. С. 822. С.А. Венгеров тоже присутствовал на обеде и тоже оставил свои воспоминания. Во-первых, он рассказал об этом эпизоде А.С. Долинину (Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2. Пг. 1924 (на обложке: 1925) С. 362), а во-вторых, осенью 1918 года упомянул о нём в одном юбилейном интервью. Тургенев «говорил «об увенчании здания» реформ Александра II, — вспоминает Венгеров. — Под «увенчанием здания» подразумевалась конституция. Все превосходно поняли, в чём дело, и только Достоевский поставил вопрос ребром: “Что значит увенчание здания?”» (*Р. Четыре встречи с И.С. Тургеневым (Беседа с профессором С.А. Венгеровым)* // *Бирюч петроградских государственных театров*. 4–15 ноября 1918. № 2. С. 43. Это редкое и малодоступное издание (состоящее в основном из театральных программ) представляет собой тонкую брошюру карманного формата. Данный выпуск был приурочен к 100-летию со дня рождения Тургенева.) В передаче Венгерова вопрос Достоевского выглядит (хотя бы по форме) несколько иначе, чем у Градовского.

⁴⁶ *Новости*. 1879. 18 марта. № 70.

⁴⁷ См.: Исторический вестник. 1904. Январь. С. 111. Ср.: «Сам Тургенев прочёл заранее заготовленное слово...» (*Новости*. 1879. 15 марта); «Увы, русские люди сороковых годов, как и мы грешные (если не считать г.г. «прелюбодеев мысли»), не мастера говорить публично ораторские речи. Иван Сер-

геевич не говорил, а читал свою заранее написанную речь по рукописи...» (Новости. 1879. 18 марта).

⁴⁸ Молва. 1879. 15 марта.

⁴⁹ Литературное наследство. Т. 86. С. 475.

⁵⁰ Новое время. 1881. 1 февраля.

⁵¹ Литературное наследство. Т. 83. С. 359.

⁵² См.: *Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И.* Сквозь «умственные плотины». М., 1972.

⁵³ Ср. запись в последней записной книжке: «...полная свобода вероисповеданий и свобода совести есть дух настоящего христианства. Уверуй свободно — вот наша формула. Не сошёл Господь со креста, чтобы насильно уверить внешним чудом, а хотел именно свободы совести. Вот дух народа и христианства! Если же есть уклонения, то мы их оплакиваем» (Биография... С. 364, вторая пагинация).

⁵⁴ Литературное наследство. Т. 83. С. 683.

⁵⁵ Дневник писателя. 1881. Январь. Финансы...

⁵⁶ *Луцыкович В.* Предсказания Достоевского о конституции и революции в России // Берлинский листок. 1906. 25 января.

⁵⁷ Дневник писателя. 1881. Январь. Финансы...

⁵⁸ Дневник писателя. 1881. Январь. Пусть первые скажут...

⁵⁹ Литературное наследство. Т. 83. С. 686.

⁶⁰ Биография... С. 366 (вторая пагинация).

⁶¹ Литературное наследство. Т. 83. С. 384.

⁶² Эта подчёркнуто «народная» точка зрения отчётливо прослеживается в записях Достоевского, относящихся ещё к 1876 году: «У нас никогда монархия не может быть тиранией в идеале — а лишь в уклонении» (Литературное наследство. Т. 83. С. 384). Ср. с приводившейся выше записью о свободе совести: «Если же есть уклонения, то мы их оплакиваем». В этой связи заслуживает внимания наблюдение Вяч. Иванова, что монархизм Достоевского был «славянофильский, утопический, оппозиционный современной ему форме самодержавия, утверждаемый не как независимое от народа и ему внеположное начало, но лишь во взаимодействии со свободно определяющейся народной волею и в целях осуществления наиболее «полной» народной свободы...» (*Иванов Вяч.* Родное и вселенское. М., 1917. С. 162–163).

⁶³ Вестник Европы. 1879. Апрель. С. 822.

⁶⁴ М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 3. С. 367.

⁶⁵ Бирюч петроградских государственных театров. 1918. № 2. С. 44.

⁶⁶ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28₂. С. 210. Ср. свидетельство Стечкина, описывающего отъезд Тургенева из Петербурга — как раз после его чествований в 1879 году: «...на прощание сказал каждому по несколько приятных слов, а затем стал подставлять, точно обряд совершал, попеременно свои щеки для поцелуев» (*Стечкин Н.Я.* Из воспоминаний о Тургеневе (с приложением семи писем). СПб., 1903. С. 24).

⁶⁷ Исторический вестник. 1902. Февраль. С. 506.

⁶⁸ Литературное наследство. Т. 83. С. 374. Ср.: «Полевой поместил (приложил) в своей истории литературы картинку дома Тургенева в Баден-Бадене. Какое отношение имеет дом Тургенева в Баден-Бадене к русской литературе? Но такова сила капитала» (Там же. С. 394).

⁶⁹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 15. С. 254, 261.

⁷⁰ Там же. С. 615. Зайцевский текст действительно в высшей степени характерен: «Народ груб, туп и вследствие этого пассивен... Поэтому благородие требует, не смущаясь величественным пьедесталом, на который демократы возвели народ, действовать энергически против него, потому что народ... не может по неразвитию поступать сообразно с своими выгодами; если сознана необходимость навязывать насильно народу образование, почему ложный стыд перед демократическими нелепостями мешает признать необходимость насильного дарования ему другого блага... свободы» (Русское слово. 1863. № 7. Отдел II. С. 38–39). Ср. запись Достоевского в тетради 1876 года: «Отрицаете, а не знаете, что сказать. Зайцев. Вы не похожи на прежних — Белинского, Герцена. Вы — торгующие либерализмом и выходящие в 1-ое число (имеются в виду ежемесячные журналы. — *И. В.*)» (Литературное наследство. Т. 83. С. 562).

⁷¹ Дневник писателя. 1880. Август. Объяснительное слово...

⁷² *Достоевский Ф.М., Достоевская А.Г.* Переписка. М., 1976. С. 234. (Далее: Переписка).

⁷³ *Скабичевский А.М.* Литературные воспоминания. М., 1927. ЗИФ. С. 263.

⁷⁴ См.: Шестидесятые годы. М., 1933. С. 230–231.

⁷⁵ Переписка. С. 234–235.

⁷⁶ Литературное наследство. Т. 83. С. 385.

⁷⁷ Переписка. С. 243.

⁷⁸ Новое время. 1881. 1 февраля.

⁷⁹ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 124. Не совсем ясно, кому принадлежит вопросительный знак — автору воспоминаний или же редакции «Голоса минувшего» — и что он означает: удивление или авторское сомнение в точности своей памяти.

⁸⁰ Один только раз, когда Елисеевы дали пятидесятичетырехлетнему Достоевскому «40 лет с небольшим», он отозвался о супругах почти благожелательно: «Ужасно странные люди, она же пресмешная нигиляшка, хотя и из умеренных» (Переписка. С. 239).

⁸¹ Вестник Европы. 1880. Октябрь. С. 817. Несомненно, что именно это место «Дневника писателя» имел в виду Кавелин в своём открытом письме Достоевскому: «Объективный смысл слов и вещей в наших глазах имеет мало значения; мы всегда залезаем человеку в душу. И вы не остались чужды этой нашей общей слабости, вложив в уста западников размышления, которые серьёзному человеку не могут прийти в голову, а разве какому-нибудь шалопаю» (Вестник Европы. 1880. Ноябрь. С. 433).

⁸² Молва. 1879. 15 марта. См. также: Вестник Европы. 1879. Апрель. С. 828.

⁸³ Литературное наследство. Т. 83. С. 696.

⁸⁴ Былое. 1906. № 3. С. 37.

⁸⁵ Биография... С. 365 (вторая пагинация).

⁸⁶ Дневник писателя. 1881. Январь. Пусть первые скажут...

⁸⁷ Биография... С. 365 (вторая пагинация).

⁸⁸ Репортёр «Нового времени» (в данном случае это мог быть сам Суворин, присутствовавший на обеде) так передаёт слова Тургенева: «...правительство, которому одному по праву принадлежит руководство обществом, может... произвести те реформы, которые соединят разрозненные теперь силы» (Новое время. 1879. 14 марта). Отсутствующее в печатном тексте речи слово «реформы», возможно, указывает на большую определённую тургеневского выступления. Не исключено, что осторожный Тургенев был смущён неожиданным «наскоком» Достоевского в большей мере, нежели он это показал, и, передавая свой текст в «Молву», несколько смягчил выражения.

⁸⁹ Воспоминания И.И. Янжула о пережитом и виденном в 1864—1909 гг. Вып. 2. СПб., 1911. С. 25—26.

⁹⁰ Исторический вестник. 1902. Февраль. С. 501.

⁹¹ Достоевская А.Г. Указ. соч. С. 113.

⁹² Соловьёв В. Указ. соч. С. 55.

⁹³ См.: Гроссман Л.П. Семинарий по Достоевскому. С. 47.

⁹⁴ Штакеншнейдер Е.А. Указ. соч. С. 456—457.

⁹⁵ Там же. С. 456.

⁹⁶ Литературное наследство. Т. 83. С. 676.

⁹⁷ Листок «Земли и воли». 1879. 22 марта. № 2—3.

«Телеграмма о новом покушении со стороны нигилитины произвела на меня сильнейшее впечатление, — пишет на следующий день в своём неопубликованном послании Достоевскому В.Ф. Пуцыкович, — но, признаюсь, ещё более сильное впечатление произвело <1 слово нрзб> безграмотство правительственной телеграммы, из которой оказывается, что Др<ентельн>, гнавшись за преступником, *сохранил полное присутствие духа!* А что же было бы, если бы преступник, обернувшись, погнался за ним, Дрентельном?.. Десяток строк не умеют составить как следует» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29828 ССХІ. Д. 10. Письмо от 14 марта 1879 г.).

Интересно сравнить это правительственное «безграмотство» с другим, допущенным в обстановке всеобщей паники 1 марта 1881 года. Первое официальное сообщение об убийстве Александра II начиналось словами: «Воля Всевышнего свершилась» (этот текст потом отбирался полицией).

Ю. Д. Засецкая пишет Анне Григорьевне: «Каково, что выстрелили вчера в Дрентеля (sic! — *И.В.*) два раза, разбили окно его кареты, но, слава богу,

он остался невредим. Убийца скрылся, как всегда» (Литературное наследство. Т. 86. С. 474).

⁹⁸ Молва. 1879. 15 марта.

⁹⁹ Литературное наследство. Т. 83. С. 680.

¹⁰⁰ Новое время. 1879. 14 марта.

¹⁰¹ См.: Исторический вестник. 1902. Февраль. С. 500—505.

¹⁰² Литературное наследство. Т. 86. С. 135.

¹⁰³ Там же.

¹⁰⁴ Новое время. 1879. 18 марта.

¹⁰⁵ *Мошин А.* Новое о великих писателях (Мелкие штрихи для больших портретов). СПб., 1908. С. 72.

¹⁰⁶ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 125.

¹⁰⁷ *Щеглов Ив.* Три мгновения. Из воспоминаний о Ф.М. Достоевском // Биржевые ведомости. 1911. 29 января.

¹⁰⁸ Тургенев и Савина. Пг., 1918. С. 68—69. Этот факт тщательно зафиксирован петербургскими газетами. «Лектора вызывали несколько раз, причём одна молодая девушка поднесла ему букет цветов» (Голос. 1879. 18 марта). «...Из среды публики ему был поднесён букет живых цветов» (Новое время. 1879. 18 марта).

¹⁰⁹ Русское прошлое. 1923. № 1. С. 83.

¹¹⁰ Тургенев и Савина. С. 80, 79.

¹¹¹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 332.

¹¹² Литературное наследство. Т. 86. С. 477.

¹¹³ Новое время. 1879. 18 марта. № 1096.

¹¹⁴ Русское прошлое. 1923. № 1. С. 83. Ср.: «Почтенные писатели, вышедши на эстраду, поклонились публике, пожав друг другу руки» (Описание торжеств... С. 30). Савина объясняет этот эпизод всё теми же розами: «В публике, благодаря этому букету, произошло некоторое смятение, но в результате... усиленные овации по адресу обоих литераторов» (Тургенев и Савина. С. 69). Ср. также: «В заключение вызвали вместе И.С. Тургенева и Ф.М. Достоевского, и они на эстраде крепко пожали друг другу руки» (Литературное наследство. Т. 86. С. 477).

¹¹⁵ Голос. 1879. 18 марта.

¹¹⁶ Тургенев и Савина. С. 69. Ср.: «Голос в этот вечер у И.С. был хриплый, ослабший (в чём он даже извинялся перед публикой)» (Литературное наследство. Т. 86. С. 477).

¹¹⁷ Русское прошлое. 1923. № 1. С. 83.

¹¹⁸ Там же. С. 84—85.

¹¹⁹ Ср.: «...Это была увертюра к его (Достоевского. — *И. В.*) знаменитой речи об Алеко на открытии памятника Пушкину в Москве...» (*Гнедич П.П.* Указ. соч. С. 122). В этой связи очень симптоматична ошибка памяти Г.К. Градовского: в своих воспоминаниях он относит «тургеневские» дни прямо к 1880 году и непосредственно сопрягает их с Пушкинским праздником (См.: Исторический вестник. 1904. Январь. С. 110).

Глава VI. ДВЕ НЕДЕЛИ В ФЕВРАЛЕ

¹ Цит. по: *Зайончковский П.А.* Кризис самодержавия... С. 137–138.

² *Хейфец М.И.* Вторая революционная ситуация... С. 94.

³ Неделя. 1880. 6 января.

⁴ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 139–140.

⁵ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29927.

⁶ Памятная книжка окончивших курс на С.-Петербургских высших женских курсах 1882–1889. 1893–1903. СПб, 1903. С. 21, 19.

⁷ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29927. Л. 1 — 1 об., 2 об. Кажется, последним толчком, побудившим неизвестную корреспондентку отважиться на её шаг, было впечатление от личности Достоевского. «Когда я послушаю Вас на вечерах (последний раз он выступал две недели назад — 30 декабря 1879 года в пользу студентов С.-Петербургского университета с чтением «Легенды о Великом инквизиторе». — *И. В.*), вот тогда-то мне и легче станет и на душе светлее, так светло, как было тогда, когда я была маленькая и когда у меня была добрая мать, теперь у меня никого нет...»

⁸ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 140.

⁹ Биография... С. 375 (вторая пагинация).

¹⁰ Там же. С. 368–369 (вторая пагинация).

¹¹ *Зайончковский П.А.* Кризис самодержавия... С. 146. Таким образом, все проекты предполагаемых реформ были отвергнуты ещё до события 5 февраля, которое похоронило их окончательно. Ср. запись в дневнике А.А. Киреева: «Не хочется, а приходится сказать, что зверская попытка 5 февраля помешала разным пагубным конституционным поползновениям и имела хороший результат» (Там же. С. 148).

¹² Новое время. 1880. 10 февраля.

¹³ Новое время. 1880. 14 февраля.

¹⁴ Неделя. 1880. 10 февраля. Ср. с передовой статьёй М.Н. Каткова: «Бог охраняет своего помазанника. Только Бог и охраняет его» (Московские ведомости. 1880. 6 февраля).

¹⁵ См.: *Хейфец М.И.* Указ. соч. С. 97–98.

¹⁶ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 139.

¹⁷ *Зайончковский П.А.* Кризис самодержавия... С. 148. Днём раньше великий князь записал: «Нервы так настроены, что поминутно рассчитываешь взлететь на воздух» (цит. по кн.: *Троицкий Н.А.* Безумство храбрых. М., 1979. С. 297. Примечания).

¹⁸ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 139–140. «Все находились как будто под впечатлением какого-то страшного кошмара и не могли думать о чём-либо другом» (там же).

¹⁹ Днём раньше газета Суворина писала: «Этот день был бы действительно радостным днём для русской земли, если б эту радость не старались сму-

тить господу от революции и разбоя, с одной стороны, и если б в нашем обществе было побольше мужества или хотя бы поменьше трусости и мало-душия» (Новое время. 1880. 15 февраля).

²⁰ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 139–140.

²¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 496.

²² Новое время. 1880. 15 февраля.

²³ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 143.

²⁴ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 140.

²⁵ Биография... С. 47–49 (Приложения).

²⁶ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. I. Карт. 6. Ед. хр. 2а. Л. 2.

²⁷ Там же. Л. 7 об.

²⁸ Там же. Л. 2 — 2 об.

²⁹ Вскоре после оставления Министерства внутренних дел он станет министром почт и телеграфов, а позднее, в 1883 году, покончит жизнь самоубийством.

³⁰ Биография... С. 48 (Приложения).

³¹ Там же. С. 49.

³² НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. I. Карт. 6. Ед. хр. 2а. Л. 10 об.

³³ Биография... с. 49–50 (Приложения).

³⁴ Макова, говорит Мещерский, «знали все за любезного человека... за хорошего составителя деловой бумаги... Маков мог быть хорошим товарищем министра, но быть министром, с значением первенствующей и важнейшей тогда политической роли, — он и во сне не думал» (*Мещерский В.П.* Мои воспоминания (1865–1881). Ч. II. СПб., 1898. С. 415). Кроме того, у Макова был уже однажды подобный «прокол». В 1878 году, сразу же после убийства Мезенцова, министр проявил несвойственную для правительственного бюрократа инициативу: он воззвал к общественному мнению (см.: *Правительственный вестник.* 1878. 20 августа). Этот *несоответственный* в устах правительства призыв (в чём-то предвосхитивший будущее обращение к обществу Лорис-Меликова) был принят кое-кем за чистую монету. Но когда харьковское и черниговское земские собрания поспешили на него отозваться, их постановления были кассированы, а авторы заподозрены в политической неблагонадёжности (См.: *Богучарский В.А.* В 1878 году // Голос минувшего. 1917. № 7–8. С. 126–131).

³⁵ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 124–125.

³⁶ *Троицкий Н.А.* Царские суды против революционной России. Саратов, 1976. С. 226–227.

Глава VII. НЕДРЕМАННОЕ ОКО

¹ Переписка. С. 185.

² Литературное наследство. Т. 86. С. 528.

³ Секретные инструкции о Достоевском (Материалы Одесского архивного фонда). Публикация Ю.Г. Оксмана // Творчество Достоевского. Одесса, 1921. С. 36–38.

⁴ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28₂. С. 309.

⁵ См.: *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 181–182.

⁶ Колокол. 1862. 15 августа. С. 1172.

⁷ См.: Литературное наследство. Т. 86. С. 232.

⁸ Там же. С. 240, 276.

⁹ *Герцен А.И.* Собр. соч. в 30-ти т. Т. 29, кн. 1. С. 284.

¹⁰ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28₂. С. 309.

¹¹ Литературное наследство. Т. 83. С. 381.

¹² Дневник писателя. 1877. Июль—август. Глава 1.

¹³ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 29. С. 551 (Примечания).

¹⁴ А.Н. Майков. Письма к Ф.М. Достоевскому (Публикация Н.Т. Ашимбаевой) // Памятники культуры. Новые открытия. 1982. Л., 1984. С. 73.

¹⁵ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28₂. С. 131.

¹⁶ Ср. слова Герцена во французском издании «Колокола» (*La Cloche*. 1864. 15 июня): «Журнал «Время», умеренный, но честный и исполненный великодушных симпатий, редактируемый выдающимся писателем Достоевским, мучеником, только что возвратившимся с каторжных работ...» Правда, в 1865–1868 гг. заметно ужесточается отношение Достоевского вообще ко всему западническому лагерю. Особенно — после ссоры с Тургеневым в Баден-Бадене летом 1867 г. Именно тогда в крайнем раздражении написано А.Н. Майкову: «Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские... до того полностью самолюбивы, до того бесстыдно раздражительны, легкомысленно горды... ругают Россию...» (*Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28₂. С. 210). Справедливо предположение, что автор «Былого и дум», помимо прочего, мог вызывать антипатию Достоевского своей бытовой устроенностью, материальным благополучием — особенно выразительным в сравнении с всегда нуждающимся Огарёвым. (См.: *Достоевский. Материалы и исследования*. 1. Л., 1974. С. 232–234).

¹⁷ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28₂. С. 132. Отголоски этого недовольства слышатся и в письме Анне Григорьевне от 18 ноября 1867 года: «...попрошу у Огарёва 300 франков... Во-первых, он не Герцен...» (Переписка. С. 28).

¹⁸ Литературное наследство. Т. 39–40. С. 469.

¹⁹ *Достоевский Ф.М.* Статьи и материалы. Сборник 2. Пг., 1925. С. 350; *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28₂. С. 309.

²⁰ *Пушкин А.С.* ПСС в 10-ти т. Т. 10. М.—Л., 1949. С. 485.

²¹ Там же. С. 486–487.

²² Там же. С. 489.

²³ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 198–199.

²⁴ Там же. С. 277. Та самая «объёмистая тетрадь в обложке синего цвета», о которой говорит Анна Григорьевна, до сих пор не найдена. В ней могут

содержаться интересные сведения о Достоевском и не дошедшие до нас образцы его корреспонденции.

²⁵ Переписка. С. 195.

²⁶ Литературное наследство. Т. 86. С. 600.

²⁷ Переписка. С. 302, 309.

²⁸ Пушкин А.С. ПСС. Т. 10. С. 496—497.

²⁹ Там же. С. 484.

³⁰ Достоевская А.Г. С. 277.

³¹ Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 28₂, С. 310.

³² НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 5. Ед. хр. 69. Ср.: Гроссман Л. Жизнь и труды Ф.М. Достоевского. Биография в датах и документах. М.—Л., 1935. С. 278 (далее: Жизнь и труды...). Л. Гроссман ошибочно датирует это письмо 1879 г. Передатировку см.: Литературное наследство. Т. 86. С. 602.

³³ Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 30₁, С. 246—247.

³⁴ Литературное наследство. Т. 86. С. 602, 603.

³⁵ Письма. Т. I. С. 529.

³⁶ Литературное наследство. Т. 22—24. М., 1935. С. 722.

Глава VIII. СВИДЕТЕЛЬ КАЗНИ

¹ Правительственный вестник. 1880. 15 февраля.

² Кони А.Ф. На жизненном пути. Т. 3. Ч. I. Ревель — Берлин, 1923. С. 16.

³ Зайончковский П.А. Кризис самодержавия... С. 159.

⁴ Хейфец М.И. Вторая революционная ситуация... С. 100.

⁵ Правительственный вестник. 1880. 15 февраля.

⁶ Новое время. 1881. 1 февраля. Заметим, что эти строки были опубликованы, когда Лорис-Меликов ещё находился у власти.

⁷ Материалы и исследования. 4. С. 275. Действительно, в обращении Лорис-Меликова встречаются неуклюжие и двусмысленные обороты. Оно начиналось так: «Ряд неслыханных злодейских попыток к потрясению общественного строя государства и к покушению на священную особу Государя Императора в то время, когда все сословия готовятся торжествовать двадцатипятилетие, плодотворное внутри и славное извне, царствование великодушнейшего из монархов, вызвал не только негодование русского народа, но и отвращение всей Европы» (Правительственный вестник. 1880. 15 февраля).

⁸ Полярная звезда на 1857 г. Лондон, Вольная русская книгопечатня. 1857. С. 2.

⁹ Хейфец М.И. Указ. соч. С. 105—106.

¹⁰ Новое время. 1881. 1 февраля.

¹¹ Суворин А.С. Дневник. С. 15—16.

Имеет смысл остановиться на странной и до сих пор не замеченной хронологической неувязке. Считается, что в неоднократно упоминавшейся нами статье «О покойном» (Новое время. 1881. 1 февраля) и в своём дневнике Суворин рассказывает об одном и том же разговоре (в первом случае в качестве даты он называет «праздник двадцатипятилетия государя», то есть по точному смыслу — 19 февраля, во втором — 20 февраля; к «празднику двадцатипятилетия» можно, разумеется, отнести оба дня). При этом Суворин говорит о только что прошедшем у Достоевского припадке. Однако в собственноручной записи Достоевского «Припадки 79—80 гг.» ни 19-е, ни 20 февраля *не отмечены*. Ближайшим по времени оказывается припадок 9 февраля (Литературное наследство. Т. 83. С. 698). Из этого следует: либо Суворин спутал два разных посещения 9-го и 20 февраля, либо 20 февраля всё-таки был припадок, не отмеченный Достоевским. Правда, Суворин в дневнике делает одно точное указание: на событие, которое совершилось именно 20 февраля (о нём будет сказано ниже). Но автор дневника не застрахован от ошибок памяти (тем более что запись сделана через несколько лет).

Возможен и другой вариант: Суворин был у Достоевского тогда же, когда и Смирнова-Сазонова, то есть в день объявления о назначении Лорис-Меликова — 15 февраля; около этого дня (9-го?) у Достоевского был упомянутый Смирновой-Сазоновой припадок. Во всяком случае, и она, и Суворин, очевидно, говорят об одном и том же приступе эпилепсии. Установление точной даты могло бы многое прояснить, ибо в *такое* время важны не только дни, но и часы.

¹² Гроссман Л. Достоевский. М., 1965. С. 540.

¹³ Литературное наследство. Т. 83. С. 695.

¹⁴ Там же. С. 676.

¹⁵ Там же. С. 675. Это место не вошло в первую (1883 г.) публикацию записных книжек. (Ср.: Биография.... С. 370—371, вторая пагинация.)

¹⁶ Суворин А. С. Дневник. С. 15—16.

¹⁷ Литературное наследство. Т. 83. С. 676.

¹⁸ Суворин А. С. Дневник. С. 16.

¹⁹ Новое время. 1880. 21 февраля.

²⁰ Материалы и исследования. 4. С. 275.

²¹ Новое время. 1880. 22 февраля. Не этими ли газетными пересудами вызвана позднейшая запись Достоевского: «...стрельба в Лорис-Меликова, а они только под козырьки?» (Литературное наследство. Т. 83. С. 672)

²² Новое время. 1881. 1 февраля.

²³ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 139—140.

²⁴ «...Это был единственный раз, — язвительно замечает князь Мещерский, — когда граф Лорис поступил энергично» (Мещерский В. П. Мои воспоминания. Т. 1. С. 450).

²⁵ Литературное наследство. Т. 86. С. 137.

²⁶ Венедиктов Д. Г. Палач Иван Фролов и его жертвы. С. 57.

²⁷ Оксман Ю. Вс. Гаршин в дни «диктатуры сердца» // Каторга и ссылка. 1925. № 2 (15). С. 134.

²⁸ См.: Русанов Н.С. Из моих воспоминаний // Былое. 1906. XII. С. 50–52. Совершившаяся казнь Млодецкого была одной из причин начавшегося у Гаршина тяжёлого душевного расстройства.

²⁹ Леткова-Султанова Е.П. О Ф.М. Достоевском // Звенья. Т. 1. М.—Л., 1932. С. 460.

³⁰ Гроссман Л.П. Семинарий по Достоевскому. Одесса, 1922. С. 58.

³¹ Звенья. Т. 1. С. 359.

³² Биография... С. 119 (первая пагинация).

³³ Литературное наследство. Т. 63. Вып. 3. М., 1956. С. 188.

³⁴ См: Биография... С. 118 (первая пагинация).

³⁵ Голос. 1880. 23 февраля.

³⁶ Энгельмейер А.К. Казнь Млодецкого // Голос минувшего. 1917. № 7–8. С. 188.

³⁷ Цит. по кн.: Бельчиков Н.Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971. С. 258–259.

³⁸ Звенья. Т. 1. С. 461.

³⁹ См.: Бельчиков Н.Ф. Указ. соч. С. 256, 259.

⁴⁰ Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 28, с. 161–162.

⁴¹ С.-Петербургские ведомости. 1866. 5 октября.

⁴² Биржевые ведомости. 1866. 5 октября.

⁴³ С.-Петербургские ведомости. 1866. 5 октября.

⁴⁴ Биржевые ведомости. 1866. 5 октября.

⁴⁵ Худяков И.А. Записки каракозовца. М.—Л., 1930. С. 166.

⁴⁶ Биржевые ведомости. 1866. 5 октября.

⁴⁷ Голос. 1866. 5 октября.

⁴⁸ Там же.

⁴⁹ С.-Петербургские ведомости. 1866. 5 октября.

⁵⁰ Худяков И.А. Указ. соч. С. 167.

⁵¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 217.

⁵² Там же. С. 222, 224.

⁵³ Достоевская А.Г. Указ. соч. С. 55.

⁵⁴ Литературное наследство. Т. 86. С. 225.

⁵⁵ Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 29, с. 127–128.

⁵⁶ Тургенев И.С. Собр. соч. в 12-ти т. Т. 10. М., 1956. С. 399, 405, 416.

⁵⁷ Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 29, с. 128–129.

⁵⁸ См.: Меркулов В.Л. О влиянии Ф.М. Достоевского на творческие искания А.А. Ухтомского // Вопросы философии. 1971. № 11. С. 117.

⁵⁹ Голос минувшего. 1917. № 7–8. С. 187.

⁶⁰ Там же. С. 189.

⁶¹ Голос. 1880. 23 февраля.

⁶² Новое время. 1880. 23 февраля.

- ⁶³ См.: *Венедиктов Д.Г.* Указ. соч. С. 42.
⁶⁴ *Голос минувшего*. 1917. № 7–8. С. 189–190.
⁶⁵ *Литературное наследство*. Т. 83. С. 618.
⁶⁶ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 8. С. 20–21, 55.
⁶⁷ См.: *Голос*. 1880. 23 февраля.
⁶⁸ *Новое время*. 1880. 23 февраля.
⁶⁹ *Голос*. 1880. 23 февраля.
⁷⁰ См.: *Венедиктов Д.Г.* Указ. соч. С. 77.
⁷¹ Цит. по: *Зайончковский П.А.* Кризис самодержавия... С. 163.
⁷² *Русское прошлое*. 1923. № 3. С. 101.
⁷³ *Голос минувшего*. 1917. № 7–8. С. 191.
⁷⁴ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 9. С. 54.
⁷⁵ *Русское прошлое*. 1923. № 3. С. 103.
⁷⁶ *Литературное наследство*. Т. 86. С. 496.
⁷⁷ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 143–144.
⁷⁸ *Материалы и исследования*. 4. С. 275.
⁷⁹ *Голос минувшего*. 1917. № 7–8. С. 187.
⁸⁰ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 9. С. 55–56.
⁸¹ *Гроссман Л.* Достоевский. С. 176.
⁸² *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 9. С. 52.
⁸³ *Биография...* С. 119 (первая пагинация).

Глава IX. НА СЦЕНЕ И ЗА КУЛИСАМИ

- ¹ *Литературное наследство*. Т. 86. С. 498.
² *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 143.
³ *Материалы и исследования*. 4. С. 246.
⁴ *Дневник писателя*. 1876. Май. Нечто об одном здании...
⁵ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 351.
⁶ *Берег*. 1880. 21 марта.
⁷ *Новое время*. 1879. 5 апреля.
⁸ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 333.
⁹ М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 3. С. 182.
¹⁰ *Фон Бретцель А.А. (Любимова)*. Мои воспоминания о Достоевском и Тургеневе // *Литературное наследство*. Т. 86. С. 319.
¹¹ *Штакеншнейдер Е.А.* Дневник и записки. С. 428–429.
¹² *Литературное наследство*. Т. 86. С. 320.
¹³ *Петербургская газета*. 1880. 25 марта.
¹⁴ *Павлова С.В.* Из воспоминаний // *Новый мир*. 1946. № 3. С. 117.
¹⁵ *Литературное наследство*. Т. 86. С. 320.
¹⁶ *Новый мир*. 1946. № 3. С. 117.
¹⁷ *Литературное наследство*. Т. 86. С. 320.

¹⁸ Там же. С. 498.

¹⁹ Там же. С. 137.

²⁰ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29829. Приводится по автографу. Ср.: Материалы и исследования. 4. С. 252.

²¹ Материалы и исследования. 4. С. 251.

²² Там же. С. 249.

²³ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 333.

²⁴ Литературное наследство. Т. 86. С. 478–479.

²⁵ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29941. Приводится по автографу. Ср.: Литературное наследство. Т. 86. С. 479. Судя по почерку и тону, автор этого письма — женщина.

²⁶ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 29₂. С. 16–17.

Глава X. ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ

¹ *Соловьёв В.* Указ. соч. С. 59–60.

² Письма. Т. III. С. 155.

³ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 399.

⁴ *Л.Н. Толстой — Н.Н. Страхов.* Полное собрание переписки. Т. 2. Ред. А.А. Донсков, сост.: Л.Д. Громова, Т.Г. Никифорова. Оттава—М., 2003. С. 647. Ср.: Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. 1914. С. 305.

⁵ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 307.

⁶ *Никольский Б.В.* Н.Н. Страхов. Критико-биографический очерк // Исторический вестник. 1896. Апрель. С. 218.

⁷ *Л.Н. Толстой — Н.Н. Страхов.* Полное собрание переписки. Т. 2. С. 652. Приводим данный текст по этому изданию, так как в издании 1914 г. он напечатан с купюрами.

⁸ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 308.

⁹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 152.

¹⁰ См.: *Розенблюм Л.М.* Творческие дневники Достоевского // Литературное наследство. Т. 83. С. 22–23.

¹¹ Литературное наследство. Т. 83. С. 620.

¹² *Розанов В.* Вечная память // Русское обозрение. 1896. Октябрь. С. 634.

¹³ *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т. 7. С. 60–61.

¹⁴ Литературное наследство. Т. 83. С. 312.

¹⁵ *Гнедич П.П.* Книга жизни. С. 107–108.

¹⁶ Анна Григорьевна написала «Ответ Н.Н. Страхову», однако не опубликовала его. Но ею всё же предпринимались усилия для коллективного опровержения страховских наветов. Приведём письмо А.Н. Пешковой-Толиверовой (Якоби) Анне Григорьевне от 27 октября 1915 г.: «<...> Знаете, кто может многое сообщить о Фёдоре Михайловиче, это Лидия Ивановна Микулич. В <...> книжке «Женского Дела» за февраль 1899 года

у меня была помещена её статья «Встреча с знаменитостью» (это те самые воспоминания, на которые мы неоднократно ссылались. — *И. В.*) Она часто бывала у Штакеншнейдер. Напишите ей. Она <...> конечно, делает всё, что Вы пожелаете. Она очень хорошая и справедливая. Написала Ив. Ив. Горбунову-Посадову <...> Думаю, что ответ Л.Н. <Толстого> Страхову мы найдём. Еще советую Вам написать Максиму Васильевичу Ключкину — книготорговцу <...> Я ему говорила, но не могла указать, в какой книжке «Современного мира» напечатано это унижающее Страхова письмо» (НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 7. Ед. хр. 80. Л. 1 — 1 об.).

¹⁷ *Розанов В.* Опавшие листья. Короб второй. СПб., 1915. С. 18—19.

¹⁸ Из переписки К.Н. Леонтьева // *Русский вестник.* 1903. Май. С. 159—160. И Леонтьев добавляет: «Что Вы нашли «благообразного» в наружности Ник. Ник. Страхова? Не понимаю!» (Там же. С. 164) Ср.: «Страхов был сухой, скучный, «размеренный» человек, никого в жизни не согревший и сам, конечно, никем не согретый. Это происходило от необычайной фальшивости этого учёного натуралиста, который почему-то считал необходимым скрывать свои мысли и чувства и никому никогда и нигде не высказывать того, что он думает... Все его писания были таковы, что могли быть свободно поняты и толкуемы на разные лады, по вкусу каждого...» (*С. У. <С.И. Уманец> Мозаика (Из старых записных книжек) // Исторический вестник.* 1912. Декабрь. С. 1013). Мемуарист приводит мнение о Страхове Вл. Соловьёва: «Ни за что вы этого хитрого старца не поймаете, как ни ловите! Это какой-то необыкновенно скользкий вьюн!» Далее С.И. Уманец говорит о заискивании Страхова перед сильными мира сего — Победоносцевым и Вышнеградским.

¹⁹ Литературное наследство. Т. 83. С. 619—620. Ср.: «Нет, Аня, это скверный семинарист...»

²⁰ *Лушкин А.С.* Полн. собр. соч. Т. 7. С. 59—60.

²¹ *Никольский Б. В.* Указ. соч. С. 220.

²² Д.И. Стахеев говорит, что «в 18 лет нашего общего со Страховым житья он (Достоевский. — *И. В.*) был у нас, может быть, раз с десяток, не более» (*Стахеев Д.И.* Группы и портреты // *Исторический вестник.* 1907. Январь. С. 86.)

²³ Биография... С. 317—318 (первая пагинация).

²⁴ Литературное наследство. Т. 86. С. 537.

²⁵ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 266.

²⁶ *Никольский Б.В.* Указ. соч. С. 220.

²⁷ *Л.Н. Толстой — Н.Н. Страхов.* Полное собрание переписки. Т. 2. С. 655.

²⁸ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 319.

²⁹ Там же. С. 405.

³⁰ Там же. С. 320.

³¹ *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 62. М., 1953. С. 392.

³² *Достоевская А.Г.* С. 393, 476.

³³ Там же. С. 357.

³⁴ Литературное наследство. Т. 86. С. 305. Любовь Фёдоровна приводит также мнение одного из знакомых Достоевского, что её отец, говоря словами Мишле, принадлежит к тому типу мужчин, которые «обладают очень сильной мужественностью, но имеют многое от женской натуры...» (Там же).

³⁵ *Т-ва В.В. (О. Починковская)*. Год работы с знаменитым писателем // Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 515–516.

³⁶ Гражданин. 1873. 27 августа. С. 50.

³⁷ Дневник писателя. 1877. Сентябрь. К читателям...

³⁸ По-своему замечательны оценки этого места Пушкинской речи в вульгарно-социологической критике 1930-х гг. Обозвав саму Речь «надуманной истерикой», автор пишет: «До чего же убога «родная нива» Достоевского в сравнении с теми реальными советскими нивами, на которых Мария Демченко вместе со свёклой выращивает новую, великолепную женщину... которая не может быть другому отдана!» (*Заславский Д.* Всемирное счастье и родина // Молодая гвардия. 1936. № 2. С. 185).

³⁹ *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 18. С. 197–198.

⁴⁰ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 6. С. 193. Т. 14. С. 244–249, 254.

⁴¹ *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. Т. 47. С. 37.

⁴² Прометей. Т. 12. М., 1980. С. 115.

Глава XI. СЮРПРИЗЫ ПОСЛЕДНЕЙ ВЕСНЫ

¹ Новое время. 1880. 1 апреля.

² Молва. 1880. 30 марта.

³ Литературное наследство. Т. 86. С. 498.

⁴ Так как на этот счёт существует известная путаница (см., например, «Жизнь и труды...» с. 205, где за 28 марта указано сразу два вечера, причём оба раза учреждения-устроители поименованы неверно), нелишне восстановить точный список выступлений Достоевского зимой—весной 1880 г.: 2 февраля — в Коломенской женской гимназии; 20 марта — в пользу Дома милосердия в зале Городской думы; 21 марта — в пользу Женских педагогических курсов; 28 марта — в пользу Общества вспомоществования студентам С.-Петербургского университета и, наконец, 27 апреля — в пользу Славянского благотворительного общества (три последних вечера — в зале Благородного собрания).

⁵ Русская старина. 1892. № 5. С. 320.

⁶ С.-Петербургские ведомости. 1880. 29 апреля.

⁷ Русская старина. 1892. № 5. С. 320.

⁸ С.-Петербургские ведомости. 1880. 29 апреля.

⁹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30, С. 155.

- ¹⁰ Вестник Европы. 1880. Апрель. С. 479.
- ¹¹ Новое время. 1880. 4 апреля.
- ¹² *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 359.
- ¹³ М.М. Стасюлевич и его современники... Т. 3. С. 384.
- ¹⁴ Вестник Европы. 1880. Май. С. 412–413.
- ¹⁵ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 9. Ед. хр. 33.
- ¹⁶ Новое время. 1880. 2 мая.
- ¹⁷ Новое время. 1880. 3 мая.
- ¹⁸ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 9. Ед. хр. 33.
- ¹⁹ *Достоевский Ф.М.* Письма. Т. IV. М., 1959. С. 143.
- ²⁰ Новое время. 1880. 18 мая.
- ²¹ *Соколов П.П.* Воспоминания. Л., 1930. С. 111–112.
- ²² Северная пчела. 1846. 1 марта. Подпись: Я. Я. Я. (т. е. Л.В. Брант).
- ²³ *Леонтьев К.Н.* Страницы воспоминаний. Пб., 1922. С. 22.
- ²⁴ Литературное наследство. Т. 83. С. 676.
- ²⁵ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 360.
- ²⁶ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. С. 142. На обложке, в которой хранится эта записка, Анной Григорьевной обозначена дата — 29 января 1880 г. (НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. I. Карт. 6. Ед. хр. 9. См. также: Описание рукописей Достоевского. М., 1957. С. 180). А.С. Долинин в свою очередь датирует записку 29 марта и считает, что в ней идёт речь о каком-то письме Любимову, до нас не дошедшем (см.: Письма. Т. IV. С. 407). Полагаем, что обе эти датировки ошибочны. В записке скорее всего говорится именно о письме от 29 апреля: на это указывает не только совпадение чисел, но и сам текст («пишу, о чем знаешь» — очевидно, вопрос о дальнейших сроках публикации «Карамазовых» заранее обговаривался с женой). Поэтому думается, что письмо Любимову и записку можно датировать одинаково: ночь на 29 апреля 1880 г.
- ²⁷ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. I. Карт. 6. Ед. хр. 9. Запись сделана на обложке, в которой А.Г. Достоевская хранила письма мужа.
- ²⁸ Литературное наследство. Т. 86. С. 499.
- ²⁹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30. С. 156.
- ³⁰ Литературное наследство. Т. 15. С. 162.
- ³¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 135.
- ³² *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 328.
- ³³ Литературное наследство. Т. 86. С. 335.
- ³⁴ *Гроссман Л.* Достоевский и правительственные круги 1870-х годов // Литературное наследство. Т. 15. С. 83–84.
- ³⁵ Там же. С. 118.
- ³⁶ Литературное наследство. Т. 86. С. 306.
- ³⁷ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 368.
- ³⁸ См.: *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 471; Переписка. С. 464; Литературное наследство. Т. 86. С. 308.
- ³⁹ НИОР РГБ. Ф. 93. Оп. II. Ед. хр. 273.

⁴⁰ Литературное наследство. Т. 86. С. 306. На этом вечере были все упомянутые в записке Константина Константиновича, кроме великого князя Сергея Александровича («не знаю, что его задержало», — отмечает К. Р.). Там же. С. 137.

⁴¹ Там же. С. 137.

⁴² Там же. С. 307.

⁴³ Переписка. С. 327.

⁴⁴ Там же. С. 327.

Часть вторая

Глава XII. ПАМЯТНИК РУКОТВОРНЫЙ

¹ Неделя. 1880. 6 июля.

² Звенья. Т. 1. С. 469.

³ Вестник Европы. 1880. Июль. С. XXV, XXI.

⁴ Московские ведомости. 1880. 23 мая.

⁵ Венок на памятник Пушкину. СПб., 1880. С. 199—200.

⁶ Дело. 1880. Июль. С. 110.

⁷ Берег. 1880. 2 июня. Ср.: «...Г. Цитович (издатель «Берега». — *И. В.*), верный своему призванию, сумел подняться «до идеи народного дела»... доносом в честь Пушкина!» (Русское богатство. 1880. Июль. С. 28)

⁸ М.М. Стасюлевич и его современники... Т. 3. С. 180.

⁹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 156.

¹⁰ Новое время. 1880. 17 мая.

¹¹ Письма. Т. IV. С. 416 (Примечания).

¹² Русский архив. 1891. Кн. 2. Вып. 5. С. 97.

¹³ Переписка. С. 317.

¹⁴ Там же. С. 459—460 (Примечания).

¹⁵ Там же. С. 313.

¹⁶ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 153—154.

¹⁷ НИОР РГБ. Ф 93. Разд. II. Карт. 10. Ед. хр. 14. Л. 13 об. (письмо от 7 мая 1880 года).

¹⁸ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 156.

¹⁹ Письма Ф.М. Достоевского к жене. М.—Л., 1926. С. 360—361

(Примечания).

В секретном отношении Министерства внутренних дел от 2 июня 1880 г. московскому обер-полицмейстеру предписывается «обратить особое внимание на предъявляемые к прописке письменные виды лиц, пребывающих в это время в Москву, и тщательно следить вообще за каждым подозрительным лицом». Кроме того, «обходы гостиниц и меблированных комнат и доставление по оным в мою Канцелярию ведомостей прибывающим лицам продолжить до 7-го сего июня». Документ подписал «Свиты Его Величества Генерал-Майор Козлов» (ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 1405. Л. 1).

²⁰ См.: Бельчиков Н. Пушкинские торжества в Москве в 1880 году в освещении агента III Отделения // Октябрь. 1937. № 1. С. 271.

²¹ Ср.: «За всё время своего бесцветного прозябания русская интеллигенция, конечно, не запомнит ничего подобного...» (Слово. 1880. Июнь. С. 155). А.Н. Островский на обеде 7 июня закончил свой тост словами: «Нынче на нашей улице праздник!» (Венок на памятник А.С. Пушкину. С. 59).

²² Переписка. С. 334.

²³ Достоевская А.Г. Указ. соч. С. 358, 362.

²⁴ Указанная приписка всегда печатается как дополнение к письму от 25 мая и датируется этим же числом. Такая датировка ошибочна (она вызвана опiskeй Достоевского в дате: «25 мая, 2 часа пополудни»). Из текста письма явствует, что оно написано *днём 26 мая* и представляет собой постскриптум к письму от 25/26 мая. В два часа пополудни 25 мая Достоевский не мог говорить об обеде в его честь, который намечался на пять часов того же дня, как о «вчерашнем».

После смерти мужа Анна Григорьевна хранила его письма в особой клеёнчатой сумке, поместив их — по времени написания — в отдельные бумажные пакеты. Московские письма 1880 года находились в последнем пакете — одиннадцатом.

Не опубликовав при жизни ни одного письма к ней мужа, Анна Григорьевна прекрасно понимала им цену. В 1902 году в тетради под заголовком «En cas de ma mort ou d'une maladie grave (В случае моей смерти или тяжёлой болезни. — *фр.*)» она записала: «Письма Фёдора Михайловича ко мне, как представляющие собою чрезвычайный *литературный и общественный интерес*, могут быть напечатаны после моей смерти в каком-либо журнале или отдельною книгою... Если нельзя напечатать целиком, то можно бы было напечатать лишь письма, относящиеся к Пушкинскому празднику» (Красный архив. 1922. Т. I. С. 367. См. также: Письма Достоевского к жене. М.—Л., 1926. С. IV—V).

²⁵ Переписка. С. 339.

²⁶ Там же. С. 319, 327.

²⁷ Там же. С. 333, 322—323. Не исключено, что «интриги» коснулись и обеда (о чём Достоевский не подозревал). На это намекают слова Гл. Успенского: «...слух пошёл об обеде г. Достоевскому, обеде, который дают этому писателю почитатели, и почитатели не из числа главных действующих в обществе российской словесности лиц» (*Успенский Г.* ПСС. Т. 6. М., 1953. С. 415). Действительно, Достоевский называет только три более или менее значительных имени — И. Аксакова, С. Юрьева, Н. Рубинштейна (из двадцати двух присутствовавших).

²⁸ Переписка. С. 225.

²⁹ Там же. С. 319—320.

³⁰ Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 28₁. С. 115, 116.

³¹ Переписка. С. 324.

³² Неделя. 1880. 15 июня.

³³ Петербургская газета. 1906. 29 января.

³⁴ Переписка. С. 327–328.

³⁵ Русский архив. 1891. Кн. 2. Вып. 5. С. 92.

³⁶ Неделя. 1880. 8 июня.

³⁷ Октябрь. 1937. № 1. С. 274.

³⁸ Там же. С. 275.

³⁹ Переписка. С. 343.

⁴⁰ Берег. 1880. 5 июня.

⁴¹ Переписка. С. 343.

⁴² Неделя. 1880. 15 июня. Хотя статья не подписана, автором её несомненно является П.А. Гайдебуров. Ср.: «Пришёл домой... в надежде... посмотреть мою статью (то есть будущую Речь. — *И. В.*), затем приготовить рубашку, фрак к завтраму, а затем пораньше лечь спать. Но пришёл Гайдебуров...» (Переписка. С. 343).

⁴³ Будильник. 1880. 9 июня.

⁴⁴ Биография... С. 306 (первая пагинация).

⁴⁵ *Успенский Г.* ПСС. Т. 6. С. 410. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания и других современников. Ср.: «Остаётся доселе непонятным лишь одно — отчего религиозное освящение не коснулось самого открытия памятника» (Открытие памятника Пушкину в Москве (записки депутата) // Древняя и новая Россия. 1880. Июнь. С. V).

⁴⁶ Цит. по кн.: Достоевский и его время. Л., 1971. С. 297.

⁴⁷ Новое время. 1880. 7 июня.

⁴⁸ Голос. 1880. 17 мая.

⁴⁹ Неделя. 1880. 8 июня.

⁵⁰ М.М. Стасюлевич и его современники... Т. 3. С. 179. Ср. собственное признание Лорис-Меликова: «Всем памятно, как в Зимнем дворце целовались у заутрени, приветствуя друг друга словами: «Толстой сменён, воистину сменён (отставка совпала с Пасхой. — *И. В.*)!»» // Каторга и ссылка. 1925. № 2 (15). С. 122.

⁵¹ Русский архив. 1891. Кн. 2. Вып. 5. С. 93.

⁵² Переписка. С. 332.

⁵³ Октябрь. 1937. № 1. С. 275.

⁵⁴ Вестник Европы. 1880. Июль. С. XXVIII—XXIX.

⁵⁵ Неделя. 1880. 15 июня.

⁵⁶ Там же.

⁵⁷ *Ветлугин В.* <*В.В. Розанов*> Суворин и Катков // Колокол. 1916. 11 марта.

⁵⁸ *Тургенев И.С.* СС. Т. 12 (Письма). С. 270.

⁵⁹ РО ИРЛИ. № 29906. Ср.: Материалы и исследования. 5. С. 266.

⁶⁰ Неделя. 1881. № 24. 15 июля.

⁶¹ Октябрь. 1937. № 1. С. 276.

⁶² Неделя. 1880. 15 июня.

⁶³ Русский архив. 1891. Кн. 2. Вып. 5. С. 93.

⁶⁴ Неделя. 1880. 15 июня.

⁶⁵ Венок на памятник Пушкину... С. 213–214.

Глава XIII. ГОСПОДИН ИЗДАТЕЛЬ

¹ Переписка. С. 338.

² Московские ведомости. 1880. 3 июня.

³ Берег. 1880. 5 июня.

⁴ Переписка. С. 338.

⁵ Там же. С. 345.

⁶ Дело. 1880. Июль. С. 114.

⁷ Голос. 1880. 8 июня.

⁸ Дело. 1880. С. 115.

⁹ Успенский Г. ПСС. Т. 6. С. 416.

¹⁰ Отечественные записки. 1880. Июль. С. 124, 134. Н. М. <Михайловский>

Литературные заметки.

¹¹ Русская мысль. 1880. Декабрь. С. 32.

¹² Русский архив. 1881. Кн. 2. Вып. 5. С. 93.

¹³ Слово. 1880. Июль. С. 161.

¹⁴ Неделя. 1880. 15 июня. См. также: Берег. 1880. 10 июня.

¹⁵ Русский архив. 1891. Кн. 2. Вып. 5. С. 93.

¹⁶ См.: Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 206.

¹⁷ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 276.

¹⁸ Дело. 1880. Июль. С. 115.

¹⁹ Русский архив. 1891. Кн. 2. Вып. 5. С. 94. Тургенев скорее всего имел в виду резкие личные нападки на него со стороны «Московских ведомостей» зимой—весной 1880 года, особенно — намёки на его связь с революционным движением.

²⁰ Ковалевский М. М. Воспоминания об И. С. Тургеневе // Минувшие годы. 1908. № 8. С. 13.

²¹ Материалы и исследования. 5. С. 266.

²² Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30₁. С. 199.

²³ Русский архив. 1891. Кн. 2. Вып. 5. С. 94. Ср.: «...Поступок «Голоса» в высшей степени постыден и ярко характеризует журнально-канцелярскую клику, для которой нет ничего народносвятого...» (Новое время. 1880. 11 июня).

²⁴ Переписка. С. 142.

²⁵ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 6. Ед. хр. 33.

²⁶ Переписка. С. 261.

²⁷ Толстой Л. Н. ПСС. Т. 62. С. 326.

²⁸ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28₂. С. 164.

- ²⁹ Там же. Т. 30₁. С. 70.
- ³⁰ Там же. С. 205.
- ³¹ Там же. С. 70.
- ³² РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29828.
- ³³ Там же. Письмо от 14 марта 1879 г.
- ³⁴ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 64.
- ³⁵ *Пушкин А.С.* ПСС. Т. 7. С. 187–188.
- ³⁶ Переписка. С. 270.
- ³⁷ Там же. С. 283.
- ³⁸ *Ветлугин В. <В.В. Розанов>* Суворин и Катков // Колокол. 1916. 11 марта.
- ³⁹ Исторический вестник. 1902. Февраль. С. 501.
- ⁴⁰ Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2. Л., 1924. С. 364–365.
- ⁴¹ *Ветлугин В. <В.В. Розанов>* Суворин и Катков.
- ⁴² Переписка. С. 267.
- ⁴³ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 141.
- ⁴⁴ Там же.
- ⁴⁵ Отрывки из неопубликованного письма Н.Н. Голицына приведены в наших работах: Достоевский и русское общество // Русская литература. 1976. № 3. С. 138; Достоевский — журналист («Дневник писателя» и русская общественность). М., 1982; Возвращение билета. С. 85–87.
- ⁴⁶ *Ветлугин В. <В.В. Розанов>* Суворин и Катков. «Колокол». 1916. 11 марта
- ⁴⁷ Литературное наследство. Т. 83. С. 404.
- ⁴⁸ Переписка. С. 261.
- ⁴⁹ Исторический вестник. 1902. Февраль. С. 501.
- ⁵⁰ См. нашу публикацию письма Н.П. Вагнера Достоевскому: Вопросы литературы. 1971. № 9.
- ⁵¹ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 2. Ед. хр. 4. Л. 7 — 7 об.
- ⁵² Там же. Л. 9.
- ⁵³ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 150.
- ⁵⁴ Там же. Т. 15. С. 150, 152.
- ⁵⁵ Там же. С. 600 (Примечание).
- ⁵⁶ Московские ведомости. 1879. 27 июля.
- ⁵⁷ К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1, полутом 1. С. 378.
- ⁵⁸ Литературное наследство. Т. 15. С. 137.
- ⁵⁹ Дневник писателя. 1876. Январь. Российское общество покровительства животным...

Глава XIV. ЗАВЕЩАНИЕ

- ¹ Переписка. С. 345.
- ² Звенья. Т. 1. С. 468.
- ³ С. У. <С.И. Уманец>. Мозаика. Из старых записных книжек // Исторический вестник. 1912. № 12. С. 1031.

- ⁴ Любимов Д.Н. Из воспоминаний // Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 162.
- ⁵ Успенский Г. ПСС. Т. 6. С. 422.
- ⁶ Биография... С. 310, первая пагинация.
- ⁷ Возрождение. 1925. 6 июля (Париж). Приносим благодарность С.В. Белову, сообщившему этот текст.
- ⁸ Буква (И.Ф. Василевский). Литературные знаменитости на Пушкинском празднике в Москве в 1880 году // Русские ведомости. 1899. 19 мая.
- ⁹ Коломенский Кандид <В.О. Михневич>. Вчера и сегодня // Новости и биржевая газета. 1881. 1 февраля.
- ¹⁰ Переписка. С. 346.
- ¹¹ Октябрь. 1937. № 1. С. 272.
- ¹² Дневник писателя. 1880. Август. Пушкин.
- ¹³ Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 6. С. 27.
- ¹⁴ Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. СПб.—М., 1880. С. 378.
- ¹⁵ Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1964. С. 134. Пушкин неоднократно употребляет это слово и в указанном смысле. Но в интересующем нас случае «гордый» трактуется именно как «надменный, высокомерный» (см.: Словарь языка Пушкина. Т. 1. М., 1956. С. 513).
- ¹⁶ Голос. 1880. 25 июня.
- ¹⁷ Дневник писателя. 1877. Февраль. О сдирании кож...
- ¹⁸ Герцен А.И. Собр. соч. Т. XX, кн. 2. С. 577.
- ¹⁹ Там же.
- ²⁰ См.: Карякин Ю. Перечитывая Достоевского... // Новый мир. 1971. № 11.
- ²¹ Герцен А.И. Собр. соч. Т. XX, кн. 2. С. 590.
- ²² Дневник писателя. 1877. Февраль. Русское решение вопроса.
- ²³ Ф.М. Достоевский как проповедник христианского возрождения и вселенского православия. М., 1908. С. 35.
- ²⁴ Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 30₁. С. 67.
- ²⁵ Голос. 1880. 25 июня.
- ²⁶ Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 10 т. Т. 10. М., 1958. С. 526 (Примечания).
- ²⁷ Дневник писателя. 1880. Август. Две половинки...
- ²⁸ Там же.
- ²⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 16. С. 11.
- ³⁰ По окончании речи П.В. Анненков сказал Н.Н. Страхову: «...Вот что значит гениальная художественная характеристика!» (курсив наш. — И. В.). Она разом порешила дело!» (Биография... С. 310, первая пагинация). И.С. Аксаков в письме к О.Ф. Миллеру также замечает, что Достоевский поставил вопрос «на художественно-реальную почву» (Литературное наследство. Т. 86. С. 515).
- ³¹ Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 30₁. С. 188.

³² Звенья. Т. 1. С. 470.

³³ Чехов А.П. ПСС и писем. Т. XIV. М., 1949. С. 208.

³⁴ Неделя. 1880. 5 октября.

³⁵ Успенский Г. ПСС. Т. 6. С. 429.

³⁶ Мысль. 1880. Сентябрь. С. 90.

³⁷ Переписка. С. 346.

³⁸ Русская мысль. 1880. Декабрь. С. 32.

³⁹ Ср. интересное замечание Л.Е. Оболенского: «...Русские либералы делятся на обожающих народ и обожающих Запад. Обожание здесь неизбежно, как в институтах и вообще в закрытых заведениях» (Мысль. 1880. Сентябрь. С. 92).

⁴⁰ Переписка. С. 328. Кстати, ни С. Юрьев, ни И. Аксаков отнюдь не считали себя единомышленниками Каткова. Достоевский прямо называет С. Юрьева «врагом» Каткова (там же. С. 321); так оно и было (см. острейшую полемику первых месяцев 1880 года между «Московскими ведомостями» и «Русской мыслью»). Ср.: «Восставить против Каткова, высказывать зло-вредность его направления и статей есть, по-моему, гражданский долг каждого из нас» (Письма А.И. Кошелева к И.С. Аксакову (1881–1883 гг.) // О минувшем. СПб., 1909. С. 406).

⁴¹ Достоевский Ф.М. ПСС. Т. 30. С. 156.

⁴² Варшавский дневник. 1880. 12 августа.

⁴³ Недаром накануне Пушкинского праздника охранительная пресса (как бы забегая вперед) настойчиво сопрягает их имена. «...Такие люди, как Ф.М. Достоевский и М.Н. Катков, сумеют ответить тем, кто захочет проводить тенденции на празднике народном» (Берег. 1880. 2 июня). «Почитателям г. Достоевского, — замечает по этому поводу «Вестник Европы», — было очень неловко видеть его имя в этом союзе и в этой усмирительской роли» (Вестник Европы. 1880. Октябрь. С. 812).

⁴⁴ Русская мысль. 1880. Декабрь. С. 31, 33.

⁴⁵ Из переписки К.Н. Леонтьева. С предисл. и примеч. В.В. Розанова // Русский вестник. 1903. Май. С. 176. К.А. Иславин писал Достоевскому: «Михаил Никифорович, просматривая корректуры вашего очерка, стеснялся изменять некоторые, как вы выражаетесь, «шероховатости слога и лишние фразы», вырвавшиеся у вас наскоро; он теперь даже жалеет, что не исправил их...» (НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 5. Ед. хр. 58). Вспомним, что в своё время Катков «запросто» позволял себе править текст «Преступления и наказания» (см. подробнее: *Игорь Волгин*. Пропавший заговор. М., 2000. С. 118–120). Можно предположить, что сожаление Каткова распространялось не только на стилистические погрешности Речи. Ср.: «Но о парадоксах мы умалчиваем. Какое наше право не клонить головы перед кумиром дня?» (*Хрущов И.* Впечатления одного депутата на открытии памятника Пушкину // Берег. 1880. 10 июля).

Глава XV. РАЗВЯЗКА С ТУРГЕНЕВЫМ

¹ Переписка. С. 326, 328, 337, 340.

² Ср. с малоизвестными воспоминаниями К.А. Тимирязева (о М.М. Ковалевском): «Живо помню, каким негодованием сверкали его всегда добрые глаза, когда он мне кивал головой на Достоевского, закончившего свою речь словами: «Что могу я прибавить к отзыву о Пушкине самого умного, лучшего из его современников — императора Николая?»» Сказано это было, добавляет мемуарист, очевидно, для того, чтобы насладиться беспомощностью оппонентов — невозможностью для них «ответить на этот вызов» (См.: *Тимирязев К.А.* Избр. соч. Т. 2. М., 1957. С. 548). Заметим, что в Пушкинской речи нет ничего похожего на «процитированное» воспоминателем утверждение; ни малейшего намёка на него не обнаруживается также ни в одном известном источнике. Может быть, имелись в виду не дошедшие до нас слова Достоевского, произнесенные на одном из обедов, и не цитировал ли Достоевский фразу, приписываемую императору Николаю Павловичу, — о Пушкине как «умнейшем человеке в России» (если нечто подобное действительно было им произнесено)?

³ Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 161.

⁴ Переписка. С. 343.

⁵ *Опочинин Е.Н.* Беседы с Достоевским (Записки и припоминания) // Звенья. Т. 6. М.—Л., 1936. С. 457.

⁶ Там же. С. 458, 475, 476.

⁷ Литературное наследство. Т. 86. С. 515.

⁸ Биография... С. 307 (первая пагинация).

⁹ Звенья. Т. 1. С. 467.

¹⁰ Переписка. С. 342.

¹¹ Петербургская газета. 1906. 29 января.

¹² *Боткина А.П.* Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М., 1951. С. 217.

¹³ Литературное наследство. Т. 86. С. 124.

¹⁴ Там же. С. 125.

¹⁵ *Боткина А.П.* Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. С. 217.

¹⁶ Литературное наследство. Т. 86. С. 502.

¹⁷ Звенья. Т. 1. С. 467.

¹⁸ Литературное наследство. Т. 86. С. 503.

¹⁹ Переписка. С. 344.

²⁰ Звенья. Т. 1. С. 468.

²¹ Переписка. С. 344.

²² Октябрь. 1937. № 1. С. 277.

²³ Литературное наследство. Т. 86. С. 503.

²⁴ Торжества открытия памятника А.С. Пушкину в Москве 6 июня 1880 года с биографией А.С. Пушкина. М., 1881. С. 37.

²⁵ Можно предположить, что аналогия Кармазинов — Тургенев прочно укоренилась в читательском сознании. Об этом, в частности, свидетельствует не слишком остроумная, но выразительная эпиграмма 1870-х годов:

О Кармазинов вековечный,
Готов любовь ты воспевать,
А сам годишься, друг сердечный,
Песком дорожки посыпать
(Звенья. Т. 6. С. 468).

²⁶ Литературное наследство. Т. 86. С. 503—504.

²⁷ Биография... С. 309 (первая пагинация).

²⁸ Переписка. С. 344.

²⁹ Там же. С. 345.

³⁰ *Честертон Г.К.* Пять эссе // Прометей. Т. 2. М., 1967. С. 299.

³¹ Ср.: «Кто-то, кажется И.С. Тургенев, предложил послать благодарственные телеграммы западноевропейским литераторам — В. Гюго, Ауэрбаху и Теннисону... Но так как эти письма вместе с приветствиями содержали в себе и вежливый отказ от личного участия в нашем торжестве, то предложение это по всей справедливости было отклонено» (Древняя и новая Россия. 1880. Июнь. С. XIII).

³² Звенья. Т. 6. С. 457.

³³ Венок на памятник Пушкину. М., 1880. С. 47.

³⁴ Минувшие годы. 1908. № 8. С. 13.

³⁵ Биография... С. 309 (первая пагинация). Сам Страхов не приводит этих стихов. Однако у нас есть возможность воспроизвести их и указать имя автора. Они принадлежат писательнице Ольге Андреевне Голохвастовой (Достоевский называет её в числе своих почитательниц) и цитируются в одном мемуарном источнике:

Но чтоб нам не возгордиться,
О себе не возмечтать,
Поспешим оговориться,
Что не след нам торопиться
Пушкина великим звать...

(*Нелидова Л.* Памяти Тургенева // Вестник Европы. 1909. Сентябрь. С. 235).

³⁶ Переписка. С. 344—345.

³⁷ Временник Пушкинской комиссии 1975. Л., 1979. С. 51.

³⁸ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. I. Карт. 4. Ед. хр. 14.

³⁹ Венок на памятник Пушкину. С. 52.

⁴⁰ Там же. С. 52—53.

- ⁴¹ Souvenirs d'un Slavophile. Paris, 1905. P. 127.
- ⁴² *Поливанова М.А.* [Запись о посещении Достоевского 9 июня 1880 г.] // Голос минувшего. 1923. № 3. С. 32.
- ⁴³ Венок на памятник Пушкину. С. 53–54.
- ⁴⁴ Переписка. С. 336.
- ⁴⁵ Там же. С. 345.
- ⁴⁶ *Сливицкий А.М.* Из моих воспоминаний о Л.И. Поливанове (Пушкинские дни) // Московский еженедельник. 1908. № 46. С. 43.
- ⁴⁷ Переписка. С. 345.
- ⁴⁸ Там же. С. 346.
- ⁴⁹ Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 163.
- ⁵⁰ См.: НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. 1. Карт. 2. Ед. хр. 15. Л. 22. Н.Н. Страхов утверждает (это — единственное свидетельство), что Достоевский продолжал: «...и Наташи в «Войне и мире» Толстого», но гром аплодисментов, раздавшийся вслед за упоминанием Тургенева, заглушил эти слова, и в печати они были автором выпущены, как произвольные (вернее, нерасслышанные) (см.: Биография... С. 310–311, первая пагинация). Страхова можно было бы заподозрить в желании сделать приятное Толстому, однако в данном случае он, очевидно, сказал правду. После слов о Тургеневе в рукописи Речи следует густо зачёркнутая строка: с трудом, но все же можно разобрать — «в “Войне и мире”».
- ⁵¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 514.
- ⁵² *Тургенев И.С.* ПСС и писем. Письма. Т. 4. С. 358.
- ⁵³ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 60.
- ⁵⁴ Звенья. Т. 6. С. 461.
- ⁵⁵ Литературное наследство. Т. 86. С. 514.
- ⁵⁶ Там же. С. 505.
- ⁵⁷ *Барсукова А.* Письмо о «Пушкинской» речи Достоевского // Звенья. Т. 1. С. 479.
- ⁵⁸ Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 164.
- ⁵⁹ *Нелидова Л.* Памяти И.С. Тургенева // Вестник Европы. 1909. Сентябрь. С. 236.
- ⁶⁰ Звенья. Т. 1. С. 468.
- ⁶¹ Октябрь. 1937. № 1. С. 279.
- ⁶² Переписка. С. 346–347.
- ⁶³ Русский архив. 1880. Кн. 2. С. 61.
- ⁶⁴ Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 166.
- ⁶⁵ Голос. 1880. 9 июня.
- ⁶⁶ Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 166.
- ⁶⁷ Торжество открытия памятника А.С. Пушкину... С. 44.
- ⁶⁸ Русское богатство. 1880. Июль. С. 45.
- ⁶⁹ *Тургенев И.С.* ПСС. Письма. Т. 12. Кн. 2. С. 272. Пожелание Тургенева было исполнено почти дословно. Ср.: «...речь г. Достоевского была постро-

ена на фальши — на фальши крайне приятной для раздражённого самолюбия» (Вестник Европы. 1880. Июль. С. XXXIII).

⁷⁰ Литературное наследство. Т. 86. С. 514.

⁷¹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 188.

⁷² *Тимирязев К.А.* Указ. соч. С. 549.

⁷³ *Стасов В.* Двадцать писем И.С. Тургенева и моё знакомство с ним // Северный вестник. 1888. № 10. С. 161.

⁷⁴ *Тургенев И.С.* ПСС. Письма. Т. 12. С. 298.

⁷⁵ Там же. С. 578 (Примечания). Ср. письмо Анненкова Стасюлевичу от 14 июня 1880 г.: «Скажите Тургеневу, чтобы не забыл положить на бумагу полной эпиграммы Некрасова на эту одичавшую собаку, которая зовётся в мире...» (М.М. Стасюлевич и его современники... Т. 3. С. 389).

⁷⁶ Русские ведомости. 1899. 19 мая.

⁷⁷ Переписка. С. 347.

⁷⁸ Русский архив. 1891. Вып. 5. С. 97. Современница утверждает, что «громадный венюк» был поднесён Достоевскому «по почину одной девицы Некрасовой» (Звенья. Т. 1. С. 481). Речь, видимо, идёт о 33-летней Е. С. Некрасовой, историке литературы.

⁷⁹ Минувшие годы. 1908. Август. С. 13.

⁸⁰ Звенья. Т. 1. С. 469. Ср.: «Ещё более негодовали мы, — говорит очевидец, — на совсем уже скверную личную выходку Достоевского в его знаменитой, вызвавшей истерические восторги речи. Уставившийся своими злобными глазками (ср. с лексикой воспоминаний Г.К. Градовского об инциденте на тургеневском обеде! — *И. В.*) на Тургенева, поместившегося под самой кафедрой и с добродушным вниманием следившего за речью, Достоевский произнёс следующие слова: «Татьяна могла сказать: «Я другому отдана и буду век ему верна», потому что она была русская женщина, а не какая-нибудь француженка или испанка» («Намёк на Viardo — Garcia...» — добавляет мемуарист в сноске) (*Тимирязев К.А.* Указ. соч. Т. 2. С. 548). Не говоря уже о приблизительной текстуально и неверной в смысловом отношении передаче этого места Речи, здесь содержится обвинение в высшей степени субъективное, носящее характер очередной (и весьма оскорбительной как для Достоевского, так и для Тургенева) околелитературной сплетни. Приписываемые автору речи суждения не зафиксированы более ни в одном источнике (ср. примеч. 2 к наст. главе).

⁸¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 505.

⁸² Звенья. Т. 1. С. 481.

⁸³ Современные известия. 1880. 10 июня.

⁸⁴ Московский еженедельник. 1908. 22 ноября. С. 41.

⁸⁵ Переписка. С. 347.

⁸⁶ Литературное наследство. Т. 86. С. 507. Веневитинов приводит пушкинские стихи в весьма вольном пересказе.

⁸⁷ Там же.

- ⁸⁸ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 365.
- ⁸⁹ Переписка. С. 346.
- ⁹⁰ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 188.
- ⁹¹ Голос минувшего. 1923. № 3. С. 30.
- ⁹² Вопросы литературы. 1961. № 7. С. 165.
- ⁹³ Литературное наследство. Т. 86. С. 505.
- ⁹⁴ Достоевский и его время. Л., 1971. С. 298—299.
- ⁹⁵ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 188.
- ⁹⁶ Звенья. Т. 6. С. 476—477.
- ⁹⁷ Жена Суворина в своих позднейших воспоминаниях утверждает, что в этот день Достоевский завтракал у Тестова — в компании с её мужем и другими литераторами (см.: Достоевский и его время. С. 299—300). Однако есть все основания полагать, что это происходило не 9-го, а 4 июня, причём из указанных А.И. Сувориной лиц присутствовали лишь Суворин, Григорович и Буренин (см.: Переписка. С. 342).
- ⁹⁸ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 365.
- ⁹⁹ *Крамской И.Н.* Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. 1837—1887. СПб., 1888. С. 669.
- ¹⁰⁰ Голос минувшего. 1923. № 3. С. 33.
- ¹⁰¹ Переписка. С. 332.
- ¹⁰² Голос минувшего. 1923. № 3. С. 34.
- ¹⁰³ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 189.
- ¹⁰⁴ Там же. С. 188—189.
- ¹⁰⁵ Русские ведомости. 1899. 19 мая.
- ¹⁰⁶ Достоевский и его время. С. 299.
- ¹⁰⁷ Переписка. С. 335.
- ¹⁰⁸ Литературное наследство. Т. 86. С. 125.
- ¹⁰⁹ Голос минувшего. 1923. № 3. С. 32—33.
- ¹¹⁰ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 7. Ед. хр. 10. Л. 2 об.
- ¹¹¹ Там же. Л. 3.
- ¹¹² *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 211.
- ¹¹³ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 7. Ед. хр. 10.
- ¹¹⁴ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 211.
- ¹¹⁵ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 7. Ед. хр. 10. Л. 6.
- ¹¹⁶ Там же. Л. 5 об.
- ¹¹⁷ Там же. Л. 6 об.
- ¹¹⁸ Там же. Л. 7.
- ¹¹⁹ Там же. Л. 7 об. — 8.
- ¹²⁰ Литературное наследство. Т. 83. С. 173.
- ¹²¹ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 7. Ед. хр. 10. Л. 10 об. — 11.
- ¹²² *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 220—221.
- ¹²³ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 7. Ед. хр. 10. Л. 14.
- ¹²⁴ См.: Литературное наследство. Т. 86. С. 551.
- ¹²⁵ См. там же. С. 538.

Глава XVI. ГОРЯЧЕЕ ЛЕТО

- ¹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 197.
- ² НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 7. Ед. хр. 26. Ср.: Литературное наследство. Т. 86. С. 510.
- ³ Голос минувшего. 1923. № 3. С. 29.
- ⁴ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 5. Ед. хр. 38.
- ⁵ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 186.
- ⁶ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 5. Ед. хр. 38. Текст написан карандашом на телеграфном бланке. Ср.: Жизнь и труды... С. 304.
- ⁷ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 194–195.
- ⁸ Там же. С. 196.
- ⁹ Там же. С. 198.
- ¹⁰ Материалы и исследования. 5. С. 266.
- ¹¹ Переписка. С. 594.
- ¹² Молва. 1880. 16 августа. В августовском «Дневнике» особенно досталось воспоминаниям П.В. Анненкова: это был своего рода реванш за «кайму».
- ¹³ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 200.
- ¹⁴ Там же. С. 204.
- ¹⁵ Голос. 1880. 17 августа.
- ¹⁶ Неделя. 1880. 5 октября.
- ¹⁷ Слово. 1880. Сентябрь. С. 97–98.
- ¹⁸ Русское богатство. 1880. Август. С. 3–4 (вторая пагинация).
- ¹⁹ Неделя. 1880. 5 октября.
- ²⁰ Дело. 1880. Сентябрь. С. 166.
- ²¹ *Штакеншнейдер Е.А.* Дневник и записки. С. 424.
- ²² Дело. 1880. Сентябрь. С. 168.
- ²³ Русское богатство. 1880. Август. С. 2–3 (вторая пагинация).
- ²⁴ Русское богатство. 1880. Декабрь. С. 67.
- ²⁵ Русское богатство. 1880. Август. С. 9.
- ²⁶ Там же. С. 4, 6.
- ²⁷ Дневник писателя. 1880. Август. Об одном самом основном деле...
- ²⁸ Русское богатство. 1880. Август. С. 21–22.
- ²⁹ Там же. С. 23.
- ³⁰ Неделя. 1880. 5 октября.
- ³¹ Дело. 1880. Сентябрь. С. 168, 161.
- ³² Русское богатство. 1880. Август. С. 11.
- ³³ Слово. 1880. Сентябрь. С. 98.
- ³⁴ Литературное наследство. Т. 83. С. 367.
- ³⁵ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 364–365.
- ³⁶ *Достоевский Ф.М.* ПСС Т. 30₁ С. 213.
- ³⁷ Литературное наследство. Т. 83. С. 698.
- ³⁸ *Достоевский Ф.М.* ПСС Т. 30₁ С. 220.
- ³⁹ Там же. С. 198.

Глава XVII. СЕМЬЯ И ДЕТИ

- ¹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 177–178.
- ² Там же. С. 180.
- ³ Биография... С. 188 (вторая пагинация).
- ⁴ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 29₁. С. 62.
- ⁵ Достоевский в изображении его дочери Л. Достоевской. М.—Л. П., 1922. С. 88 (Далее: *Достоевская Л.Ф.*).
- ⁶ *Достоевская Л.Ф.* С. 84.
- ⁷ Там же. С. 83. Ср.: *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 282.
- ⁸ Биография... С. 287 (вторая пагинация).
- ⁹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 78.
- ¹⁰ *Толстая С.А.* Моя жизнь // Прометей. Т. 12. М., 1980. С. 158.
- ¹¹ Прометей. Т. 12. С. 168.
- ¹² Там же. С. 174.
- ¹³ *Жданов В.* Любовь в жизни Льва Толстого. Кн. вторая. М., 1928. С. 28.
- ¹⁴ Переписка. С. 278, 288, 286.
- ¹⁵ Прометей. Т. 12. С. 174.
- ¹⁶ См.: *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 295–296.
- ¹⁷ Переписка. С. 49.
- ¹⁸ Там же. С. 291.
- ¹⁹ Цит. по кн.: Семинарий по Достоевскому. С. 60.
- ²⁰ Переписка. С. 79.
- ²¹ *Григорович Д.В.* Литературные воспоминания. М., 1961. С. 84–85.
- ²² *Суслова А.П.* Годы близости с Достоевским. М., 1926. С. 60.
- ²³ Литературное наследство. Т. 77. М., 1963. С. 59–66.
- ²⁴ *Попов И.И.* Минувшее и пережитое. М., 1934. С. 88–89.
- ²⁵ *Достоевская А.Г.* Там же. С. 312.
- ²⁶ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29703, 29704.
- ²⁷ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 4. Ед. хр. 1а.
- ²⁸ Там же. Письмо без даты; оно каким-то образом оказалось среди писем Любви Фёдоровны 1917 года (в одной архивной папке). Но, конечно, речь в нём идёт о 10 августа 1880 года — дне, когда Анна Григорьевна отправилась в Петербург по делам «Дневника писателя». Это следует из сопоставления Любиного текста с письмом самого Достоевского от 11 августа, в котором описываются те же события: «Проводив тебя, мы с Федей... на извознике (узнав от него про гулянье) отправились в Городской сад, что на Красном берегу, рядом с Дворцовым садом. Там было много народу, спускали шар и пели военные песельники. Федя очень слушал. Но так как было сыро, то мы рано воротились, зашли за Любой, и затем дети полегли спать. Я ночь всю просидел» (Переписка. С. 347).
- ²⁹ Переписка. С. 48.
- ³⁰ Там же. С. 348.

³¹ Прометей. Т. 12. С. 180.

³² *Жданов В.* Любовь в жизни Льва Толстого. С. 36–37.

³³ Прометей. Т. 12. С. 180.

³⁴ Там же. С. 182.

³⁵ Литературное наследство. Т. 83. С. 630.

³⁶ *Толстой И.Л.* Мои воспоминания. М., 1969. С. 45, 59.

³⁷ *Достоевская Л.Ф.* С. 89. Хотя дочь Достоевского относит эту сцену к более раннему периоду, на основании записей в тетрадях Анны Григорьевны можно утверждать, что она имела место летом 1880 года. (См.: *Жизнь и труды...* С. 305.)

³⁸ Там же.

³⁹ *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 462–463.

⁴⁰ *Достоевская Л.Ф.* С. 92–93.

⁴¹ Литературное наследство. Т. 83. С. 335.

⁴² Переписка. С. 48, 336–337.

⁴³ Литературное наследство. Т. 86. С. 335.

⁴⁴ *Достоевская Л.Ф.* С. 81.

⁴⁵ Литературное наследство. Т. 83. С. 334.

⁴⁶ *Достоевская Л.Ф.* С. 82.

⁴⁷ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 321.

⁴⁸ *Достоевская Л.Ф.* С. 79.

⁴⁹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 321.

⁵⁰ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 14. С. 222.

Часть третья

Глава XVIII. ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

¹ *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 424.

² *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30, С. 209.

³ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29790.

⁴ Там же. № 29941. Письмо от 2 ноября 1880 г.

⁵ *Писарев Д.И.* ПСС в 4-х т. Т. III. М., 1956. С. 363.

⁶ Там же. С. 109.

⁷ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29941.

⁸ Там же. № 29847. Письмо от 20 октября 1880 г. (почтовый штампель).

⁹ *Достоевская Л.Ф.* С. 80.

¹⁰ *Мережковский Д.* Автобиографические заметки // Русская литература XX века. Т. 1. М., 1914. С. 291.

¹¹ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 2. Ед. хр. 140.

¹² Там же. Возможно, в этих словах Гусевой содержался намёк на выступление Достоевского в «Дневнике писателя» в защиту подсудимой Е.П. Корниловой.

¹³ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30, С. 217–218.

¹⁴ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29688. Письмо от 22 октября 1880 г.

¹⁵ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 2. Ед. хр. 140. Письмо от 29 октября 1880 г.

¹⁶ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 226.

¹⁷ Переписка. С. 217.

¹⁸ Там же. С. 234.

¹⁹ Русская литература. 1961. № 4. С. 145–146.

²⁰ Переписка. С. 237–285.

²¹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 106.

²² Переписка. С. 226.

²³ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 361.

²⁴ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₂. С. 104.

²⁵ *Янжул И.И.* Страх смерти. Разговор с графом Л.Н. Толстым. СПб., 1904. С. 4.

²⁶ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₂. С. 104.

²⁷ Литературное наследство. Т. 15. С. 139.

²⁸ Переписка. С. 278.

²⁹ Там же. С. 303.

³⁰ Там же. С. 347.

³¹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 377.

³² *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 229.

³³ *Достоевская Л.Ф.* С. 85.

³⁴ Семинарий по Достоевскому. С. 57.

³⁵ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 151.

³⁶ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29736.

³⁷ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 227.

³⁸ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 370.

³⁹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 227.

⁴⁰ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 370.

⁴¹ Неделя. 1880. 7 декабря.

⁴² Цит. по журн.: Вестник Европы. 1880. Сентябрь. С. 387.

⁴³ Там же. С. 388.

⁴⁴ Неделя. 1880. 7 сентября. № 36.

⁴⁵ Цит. по кн.: *Зайончковский П.А.* Кризис самодержавия... С. 233.

⁴⁶ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 389.

⁴⁷ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 235.

⁴⁸ В дневнике Штакеншнейдер (в записи от 19 октября, в основном посвящённой Достоевскому) говорится: «В английских газетах всё о свадьбе Государя. Не осуждают его, а так, просто судачат. Говорят, что наследник очень недоволен и даже поссорился из-за неё с В<еликим> к<нязем> Владимиром Александровичем...» (*Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 435).

- ⁴⁹ Фактические сведения о деятельности Т.А.С.Л. содержатся в статье: *Давыдов Ю.* Никто и никогда не узнает наших имён // Прометей. Т. 11. М., 1977. С. 335–341.
- ⁵⁰ Воспоминания о Ростиславе Фадееве Н.А. Ф-й // Собр. соч. Р. Фадеева. Т. I. СПб., 1889. С. 55.
- ⁵¹ Там же. Т. III. Ч. 2. С. 14–15. Мы благодарны писателю Юрию Давыдову, указавшему этот источник.
- ⁵² Литературное наследство. Т. 83. С. 311.
- ⁵³ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 17. С. 142.
- ⁵⁴ Литературное наследство. Т. 83. С. 367.
- ⁵⁵ *Фадеев Р.* Собр. соч. Т. III. Ч. 2. С. 14–15.
- ⁵⁶ Из каких источников заимствовал Фадеев свою информацию? Нам ничего не известно о его личных контактах с автором «Подростка». В предисловии к лейпцигскому изданию фадеевских писем сказано, что «они писаны двумя одномыслящими лицами вместе, хотя подписывались лишь одним из них» (*Фадеев Р.* Собр. соч. Т. III. Ч. 2. С. [б/н]).
- ⁵⁷ Прометей. Т. 11. С. 336, 338.
- ⁵⁸ *Тырков А.* К событиям 1 марта 1881 года // Былое. 1906. № 5. С. 145.
- ⁵⁹ *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 436.
- ⁶⁰ Новое время. 1880. 11 декабря. См. также 16, 20, 30 декабря.
- ⁶¹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 369.
- ⁶² Неделя. 1880. 21 декабря.
- ⁶³ Литературное наследство. Т. 86. С. 524.
- ⁶⁴ *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 438.
- ⁶⁵ Литературное наследство. Т. 15. С. 148.
- ⁶⁶ Литературное наследство. Т. 86. С. 307.
- ⁶⁷ Биография... С. 366 (вторая пагинация).
- ⁶⁸ Там же. С. 357 (вторая пагинация).
- ⁶⁹ Там же. С. 362 (вторая пагинация).
- ⁷⁰ *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 428.
- ⁷¹ Там же. С. 427.
- ⁷² Там же. С. 427–428, 440.
- ⁷³ Там же. С. 427.
- ⁷⁴ Там же. С. 431–432..
- ⁷⁵ Там же. С. 432.
- ⁷⁶ Из переписки К.Н. Леонтьева // Русский вестник. 1903. Май. С. 176.
- ⁷⁷ Новое время. 1880. 21 октября.
- ⁷⁸ В конце 1880 года М.Г. Савина часто выступала вместе с Достоевским и, по свидетельству очевидца, «страшно волновалась... особенно когда читала стихи» (*Давыдов В.Н.* Рассказ о прошлом. М., 1932. С. 379).
- ⁷⁹ Берг. 1880. 20 октября.

- ⁸⁰ Петербургская газета. 1880. 21 октября.
- ⁸¹ *Давыдов В.Н.* Указ. соч. С. 380.
- ⁸² *Микулич В.* Указ. соч. С. 15.
- ⁸³ Голос. 1880. 20 октября.
- ⁸⁴ *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 432–433. Автор дневника отмечает ту же особенность, о которой упоминали и другие: «Но во время чтения и кашель к нему не подступает; точно не смеет».
- ⁸⁵ Голос. 1880. 20 октября.
- ⁸⁶ *Давыдов В.Н.* Указ. соч. С. 380.
- ⁸⁷ *Анненский И.Ф.* Ф.М. Достоевский. Казань, 1906. С. 3–7.
- ⁸⁸ *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 429–430.
- ⁸⁹ *Анненский И.Ф.* Указ. соч. С. 4.
- ⁹⁰ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 368.
- ⁹¹ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 224.
- ⁹² Новое время. 1880. 22 ноября.
- ⁹³ Дневник писателя. 1877. Январь. Русская сатира...
- ⁹⁴ *Поссе В.А.* Пережитое и продуманное. Л., 1933. С. 73.
- ⁹⁵ *Микулич В.* Указ. соч. С. 26.
- ⁹⁶ *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 440–441.
- ⁹⁷ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 259.
- ⁹⁸ *Микулич В.* Указ. соч. С. 25.
- ⁹⁹ Там же. С. 9.
- ¹⁰⁰ Там же. С. 15, 22–23.
- ¹⁰¹ *В.М.* <*Мещерский В.П.*> Воспоминания о Фёдоре Михайловиче Достоевском // Добро. 1881. № 2–3. С. 33.
- ¹⁰² *Микулич В.* Указ. соч. С. 14.
- ¹⁰³ *Стахеев Д.И.* Группы и портреты // Исторический вестник. 1907. Январь. С. 86.
- ¹⁰⁴ Звенья. Т. 1. С. 472.
- ¹⁰⁵ Достоевский в воспоминаниях современников. Т. II. М., 1964. С. 476
- (Примечания).
- ¹⁰⁶ См.: Биография... С. 57–58 (третья пагинация).
- ¹⁰⁷ Русь. 1881. 14 марта.
- ¹⁰⁸ *Микулич В.* Указ. соч. С. 23–24, 27.
- ¹⁰⁹ Семинарий по Достоевскому. С. 57.
- ¹¹⁰ *Микулич В.* Указ. соч. С. 27.
- ¹¹¹ Современные известия. 1880. 6 декабря.
- ¹¹² Материалы и исследования. 4. С. 251.
- ¹¹³ *Григорович Д.В.* Литературные воспоминания. С. 88–89.
- ¹¹⁴ *Попов И.И.* Минувшее и пережитое. С. 90.
- ¹¹⁵ Звенья. Т. 1. С. 473.
- ¹¹⁶ *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 438.
- ¹¹⁷ Там же. С. 433.

¹¹⁸ *Боборыкин П.Д.* Воспоминания. Т. 1. М., 1965. С. 340.

¹¹⁹ *Штакеншнейдер Е.А.* Указ. соч. С. 433–434.

¹²⁰ Неделя. 1881. 4 января. Вечер у студентов-технологов в литературе не отмечен. Если верить О. Миллеру, он состоялся в самом конце 1880 года. Возможно, это последнее публичное выступление Достоевского.

¹²¹ *Круглов А.В.* Пёстрые странички // Исторический вестник. 1895. Ноябрь. С. 471.

¹²² Биография... С. 57 (третья пагинация).

¹²³ Исторический вестник. 1895. Ноябрь. С. 471.

¹²⁴ Литературное наследство. Т. 86. С. 521.

¹²⁵ Там же. С. 519.

Глава XIX. 1881 ГОД, ЯНВАРЬ

¹ Петербургская газета. 1880. 5 декабря.

² Цит. по кн.: *Зайончковский П.А.* Кризис самодержавия... С. 253.

³ Биография... С. 356 (вторая пагинация).

⁴ *Валуев П.А.* Дневник. 1877–1884. Пг., 1919. С. 128.

⁵ Дневник писателя. 1881. Январь. Забыть текущее ради оздоровления корней...

⁶ Дневник писателя. 1881. Январь. Возможно ль у нас спрашивать европейских финансов...

⁷ См.: Жизнь и труды... С. 316.

⁸ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 371. Достоевский обедал у С.А. Толстой 24 января, в субботу, когда и взял экземпляр пьесы (см.: Русский вестник. 1881. Февраль. С. 956). Это его последний выход в свет.

⁹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 294.

¹⁰ Там же. С. 292–294.

¹¹ Петербургская газета. 1881. 30 января. *Амикус* — Пётр Августинович Монтеверде, петербургский журналист. Сведений о его знакомстве с Достоевским не имеется.

¹² Отечественные записки. 1880. Сентябрь. С. 141.

¹³ *Валуев П.А.* Дневник 1877–1884 гг. Пг., 1919. С. 124–125.

¹⁴ Новое время. 1881. 1 февраля.

¹⁵ Биография... С. 368 (вторая пагинация). Введение конституции, по мнению Достоевского, также не гарантирует свободу печати. «А печать-то — печать в Сибирь сошлёт, чуть она не по вас! — записывает он. — Не только сказать против вас, да и дыхнуть ей при вас нельзя будет» (Биография... С. 360). Это боязнь либерального деспотизма, манипулирования общественным мнением, опасение, что свободу будут ущемлять уже не административным путём, а «нормальными» буржуазными методами.

¹⁶ Биография... С. 369 (вторая пагинация).

¹⁷ Литературное наследство. Т. 83. С. 678.

¹⁸ Там же. Т. 86. С. 534.

¹⁹ Там же. С. 335.

²⁰ Цит. по кн.: *Бердяев Н.А. К. Леонтьев*. Париж, 1926. С. 141–142.

²¹ Биография... С. 321 (первая пагинация).

²² Дневник писателя. 1881. Январь. Пусть первые скажут...

²³ Мысль. 1881. Март. С. 410–411.

²⁴ Там же. С. 413.

²⁵ Мысль. 1881. Апрель. С. 71.

²⁶ *Бунин И.А.* Из литературных воспоминаний. Собрание сочинений в 5 тт. Т. 5. М., 1956. С. 271.

²⁷ Л.Н. Толстой. Биография. Составил П. Бирюков. По неизданным письмам и материалам. Т. II. Ч. V. М., 1908. С. 398. Ср.: «Если верить г. Незнакомцу, то граф Толстой выслушал Тургенева и сказал будто бы, что всё это комедия» (Дело. 1880. Июль. С. 107).

²⁸ Переписка. С. 326.

²⁹ Там же. С. 327.

³⁰ Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой. 1857–1903. СПб., 1911. С. 25.

³¹ Анна Григорьевна утверждает, что посещение её мужем Толстой состоялось «за два-три дня до его предсмертной болезни» (Яснополянский сборник. 1981. С. 220). Но в письме от 17 января А.А. Толстая уже сообщает Толстому о передаче письма (она несколько взволнована, не зная, как отнесётся к этому его автор) (Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой. С. 332–333). Сохранилось письмо Достоевского к А.А. Толстой от 5 января 1881 года, где он сообщает последней, что будет «иметь честь» явиться к ней «в будущее воскресенье», то есть 11 января (*Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 241). В этот день, очевидно, и произошла передача письма.

³² Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой. С. 26.

³³ Подробнее см.: *Коган Г.В.* Достоевский знакомится с письмом Толстого // Яснополянский сборник. 1981. С. 220.

³⁴ Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой. С. 26.

³⁵ *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 63. С. 24.

³⁶ Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой. С. 332.

³⁷ Подробнее см.: *Волгин Игорь.* Доказательство от противного (Достоевский и вторая революционная ситуация в России) // Вопросы литературы. 1976. № 9. См. также: Возвращение билета. С. 196–233.

³⁸ Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой. С. 332, 333.

³⁹ Там же. С. 26.

⁴⁰ Там же. С. 327.

⁴¹ Там же. С. 328, 329.

⁴² *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 28₁. С. 176.

⁴³ Переписка Л.Н. Толстого с гр. А.А. Толстой. С. 26.

⁴⁴ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 267–268.

⁴⁵ Цит. по кн.: Л.Н. Толстой. Биография... Т. II. Ч. V. С. 380.

⁴⁶ *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 58. С. 123, 235.

⁴⁷ Переписка Л.Н. Толстого с Н.Н. Страховым. С. 240.

⁴⁸ Там же. С. 243.

Глава XX. СМЕРТЬ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ

¹ Литературное наследство. Т. 86. С 527. 29 января, на следующий день после смерти Достоевского, выступая на том самом вечере, в котором тот должен был участвовать, Миллер так объяснил причины первоначального отказа: «Его впечатлительная душа находилась под влиянием свежих ещё погрёков, что он любит оваации...» // Там же. С. 529.

² Там же. С. 527.

³ Биография... С. 322 (первая пагинация).

⁴ Литературное наследство. Т. 86. С. 528.

⁵ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. I. Ед. хр. I.

⁶ Биография... С. 322 (первая пагинация).

⁷ Литературное наследство. Т. 83. С. 694.

⁸ Биография... С. 322 (первая пагинация).

⁹ Жизнь и труды... С. 319.

¹⁰ Там же.

¹¹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 372.

¹² Жизнь и труды... С. 318. Ср.: Литературное наследство. Т. 86. С. 527.

¹³ Там же. С. 319.

¹⁴ См.: Достоевский и его время. С. 299–300. (Ср. примечание № 97 к главе XV.)

¹⁵ Жизнь и труды... С. 319.

¹⁶ *Достоевский Ф.М.* ПСС. Т. 30₁. С. 241.

¹⁷ Жизнь и труды... С. 319.

¹⁸ Московские ведомости. 1881. 30 января. Очевидно, в этот день Достоевским было написано ещё одно письмо — к графине А.Е. Комаровской (которое, кстати, упомянуто в записях Анны Григорьевны, но до нас не дошло): фраза из него — что автор «чрезвычайно занят своим изданием, но к среде 29-го надеется освободиться» и быть у графини, — цитируется адресаткой в одном обнаруженном нами источнике (см.: *Игорь Волгин.* Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом. М., 1998. С. 422).

¹⁹ Жизнь и труды... С. 319. Расшифровка стенографических знаков дана в примечании на 113 стр. 714.

²⁰ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 372.

²¹ Там же.

²² Биография... С. 323 (первая пагинация).

²³ Жизнь и труды... С. 352. С.В. Белов, как водится, в очередной раз ловит нас на «ошибке». Он полагает, что «одним господином» была не сестра

Достоевского Вера Михайловна («непонятно, — раздумчиво пишет он, — ...почему женщину надо выдавать за мужчину»), а не кто иной, как А.Н. Майков, с которым Достоевский якобы и вступил в роковой спор. (См.: Ф.М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб. 1993. С. 17—18). Но, во-первых, причины замены Веры Михайловны «одним господином» настолько очевидны, что не требуют комментариев. (Забавнее всего, что, упрекая нас в невнимательности к источникам, Белов, вероятно, запамятовал, что именно версию «с сестрой» он излагает в составленных им (совместно с В.А. Тунимановым) примечаниях к воспоминаниям А.Г. Достоевской (М., 1971. С. 473—474).) Во-вторых, А.Н. Майков никогда не имел склонности к спорам (особенно по поводу «Дневника писателя», идеи которого он разделял). В записях Анны Григорьевны «для себя», сделанных по следам недавних событий, нет и намёка на какие-либо возникшие между ним и её мужем недоумения. И уж полной нелепостью выглядит утверждение, что «только в судороге предсмертных дней мужа (как изящно выражается Белов. — *И. В.*) Анна Григорьевна перепутала, когда приходил Майков — 25-го или 26-го января». Ибо в главе «Последние минуты», составленной «общими силами очевидцев», совершенно недвусмысленно сказано, что, когда О.Ф. Миллер 25 января пришёл к Достоевскому, он застал там Н.Н. Страхова и А.Н. Майкова (Биография... С. 322). Трудно представить, чтобы четыре очевидца (а все они, включая самого Майкова, участвовали в составлении указанной главы) «в судороге предсмертных дней» перепутали дату визита.

²⁴ *Достоевская Л.Ф.* С. 95—96, 97.

²⁵ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 372—373.

²⁶ Осколки. 1881. 3 января. № 1. (Стихи и картинки напечатаны на внутренней стороне обложки.)

²⁷ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 373.

В предыдущих изданиях «Последнего года Достоевского» мы, следуя указаниям Анны Григорьевны, называли в качестве исповедника свящ. Мегорского. Однако Анна Григорьевна ошиблась. Достоевского скорее всего исповедовал и причащал его духовник — протоирей Владимирской церкви о. Николай (Вирославский). Он же читал отходную в момент кончины писателя; он же подписал свидетельство о смерти (см.: *Тихомиров Б.Н.* О Николае Вирославском: духовник писателя (К биографии Достоевского) // Материалы и исследования. 11. С. 267—271).

²⁸ Новое время. 1881. 1 февраля.

²⁹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 373.

³⁰ Жизнь и труды... С. 352.

³¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 529.

³² *Достоевская Л.Ф.* С. 97.

³³ М.А. Александров ошибочно относит этот визит к 24—25 января (см.: Русская старина. 1892. Май. С. 332).

³⁴ Отсюда как будто следует, что первоначально (в рукописи) посылалась одна, по-видимому, наиболее рискованная глава. Ср.: «...Н.С. Абаза сказал ему: — Да зачем вам, Фёдор Михайлович, цензора?..

— Нет, знаете... всё лучше, спокойнее, — отвечал Достоевский.

— Ну хотите, я вам сам прочту? — предложил г. Абаза.

Достоевский, конечно, согласился...» (Порядок. 1881. 3 февраля).

³⁵ Новое время. 1881. 1 февраля.

³⁶ Новое время. 1881. 29 января.

³⁷ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 374.

³⁸ В предисловии к составленному им сборнику (где, в частности, воспроизведены многие газетные и журнальные тексты, впервые обнародованные нами в настоящей книге) С.В. Белов утверждает, что мы приняли *Верочку* «не за сестру писателя Верочку Иванову, а за жену его пасынка Павла Александровича Исаева» (Ф.М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. СПб., 1993. С. 17). Должны заметить, что ни в одном из изданий «Последнего года» подобного утверждения нет. Возможно, «Верочка» — это крестница Достоевского, семилетняя дочь Павла Исаева (недаром их имена названы *вместе*). Очень сомнительно, что «Верочкой» Анна Григорьевна именует пятидесятидвухлетнюю сестру Достоевского Веру Михайловну. Тем более что последняя, как помним, посетила брата накануне и её визит закончился роковой для Достоевского ссорой.

³⁹ Жизнь и труды... С. 320.

⁴⁰ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 374–375.

⁴¹ *Достоевская Л.Ф.* С. 98.

⁴² *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 375. В позднейших изданиях Евангелия значится: «всякую правду».

⁴³ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 375.

⁴⁴ Там же. С. 376.

⁴⁵ Достоевский в забытых... С. 284. Приведём это маленькое разночтение, хотя вполне разделяем благородный пафос публикатора: «Не надо ни в чем подозревать или уличать женщину, которой Достоевский посвятил величайший роман мировой литературы “Братья Карамазовы”» (Там же. С. 19).

⁴⁶ Новое время. 1881. 1 февраля. Ср.: «...В среду уже ему было много легче, он начал поправляться, шутил с детьми, читал газеты, но раздражительный вообще, вдруг на что-то рассердился, кровь горлом хлынула снова...» (Петербургская газета. 1881. 1 февраля).

⁴⁷ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 376–377.

⁴⁸ *Галаган Г. Я.* Кончина и похороны Ф.М. Достоевского (В письмах Е.А. и М.А. Рыкачёвых) // *Материалы и исследования.* 1. Л., 1974. С. 289.

⁴⁹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 374. В своих воспоминаниях Анна Григорьевна ошибочно относит эти события не к среде, 28 января, а ко вторнику.

⁵⁰ Жизнь и труды... С. 322.

⁵¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 147.

- ⁵² Материалы и исследования. 1. С. 289.
- ⁵³ Новое время. 1881. 31 января.
- ⁵⁴ Жизнь и труды... С. 322.
- ⁵⁵ Новое время. 1881. 31 января.
- ⁵⁶ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 377.
- ⁵⁷ Следует признать ошибочным утверждение Любви Фёдоровны: «Достоевский не интересовался больше своим журналом...» (*Достоевская Л.Ф.* С. 98). Выходит, что интересовался — буквально до последнего дня.
- ⁵⁸ Жизнь и труды... С. 322.
- ⁵⁹ Новое время. 1881. 27 января.
- ⁶⁰ Жизнь и труды... С. 322.
- ⁶¹ Новое время. 1881. 28 января.
- ⁶² Жизнь и труды... С. 322.
- ⁶³ Материалы и исследования. 1. С. 287. Ср.: «Вчера (27 января. — *И. В.*)... *он* исповедался и причащался» (Новое время. 1881. 29 января).
- ⁶⁴ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 377.
- ⁶⁵ Материалы и исследования. 1. С. 286–287.
- ⁶⁶ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 377.
- ⁶⁷ Жизнь и труды... С. 322.
- ⁶⁸ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 377–378.
- ⁶⁹ Материалы и исследования. 1. С. 289, 288.
- ⁷⁰ *Достоевская Л.Ф.* С. 99.
- ⁷¹ Жизнь и труды... С. 322.
- ⁷² Материалы и исследования. 1. С. 289.
- ⁷³ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 378.
- ⁷⁴ Биография... С. 324 (первая пагинация).
- ⁷⁵ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 378.
- ⁷⁶ Там же.
- ⁷⁷ *Достоевская Л.Ф.* С. 99.
- ⁷⁸ *Достоевская А.Г.* С. 378.
- ⁷⁹ *Маркевич Б.* Несколько слов о кончине Ф.М. Достоевского // Московские ведомости. 1881. 1 февраля.
- ⁸⁰ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 379.
- ⁸¹ Московские ведомости. 1881. 1 февраля.
- Отходную, как уже говорилось, читал духовник Достоевского о. Николай (Вирославский). «О. Николай мне рассказывал, — свидетельствует Н.А. Лейкин, — что Достоевский испустил последний вздох именно в тот момент, когда были произнесены последние слова отходной» (Петербургская газета. 1881. 1 февраля. См.: Материалы и исследования. 11. С. 270).
- ⁸² Народоходец А.И. Баранников в его письмах. М., 1935. С. 9.
- ⁸³ *Дейч Л.* Валерьян Осинский (К 50-летию со дня казни) // Каторга и ссылка. 1929. № 5 (54). С. 18.
- ⁸⁴ Народоходец А.И. Баранников... С. 21.

⁸⁵ Там же. С. 145.

⁸⁶ *Фигнер В.* Портреты народовольцев // *Фигнер В.* ПСС в 7 томах. Т. V. М., 1932. С. 323–324.

⁸⁷ Каторга и ссылка. 1929. № 5 (54). С. 18.

⁸⁸ *Фигнер В.* ПСС в 7 томах. Т. V. М., 1932. С. 324.

⁸⁹ *Ивановская П.С.* Первая типография «Народной воли» // Каторга и ссылка. 1926. № 3 (24). С. 48.

⁹⁰ *Фигнер В.* ПСС в 7 томах. Т. V. С. 324.

«Все считали его красавцем за его богатырское сложение и выразительные лица (! — *И. В.*), — пишет сестра его жены Е.Н. Оловенникова. — Эти внешние привлекательные черты соединялись в нём с необыкновенной смелостью и способностью быстро ориентироваться. Однажды не успели мы опомниться, как он ухватил и помчал нас с Гесей Гельфман и ещё одной подругой на публичный бал в Художественном клубе. У нас, как говорится, поджилки тряслись, когда наш нелегальный кавалер, разодетый франтом, в чёрном сюртуке, как светский лев, поднимался с нами в зал по лестнице, уставленной цветами» (Деятели СССР и революционного движения России. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 176). Баранников, как помним, любил переодевания.

⁹¹ Народоволец А.И. Баранников... С. 50.

⁹² Заметки о процессе двадцати // Былое. 1906. № 1. С. 288.

⁹³ Цит. по кн.: *Прибылёва-Корба А.П., Фигнер В.Н.* Народоволец Александр Дмитриевич Михайлов. Л., 1925. С. 204, 206.

⁹⁴ См.: Процесс 20-ти народовольцев в 1882 г. Ростов-на-Дону, 1906. С. 120. Баранников, как уже отмечалось, лишь нашёл нужным сказать, что он не имел намерения убить спутника Мезенцова — подполковника Макарова (см. главу I).

⁹⁵ ГАРФ. Ф. 112 (ОППС). Оп. 2. Ед. хр. 2720. Л. 1.

⁹⁶ Там же. Л. 2. Отметим, что подлинник завещания заметно отличается от опубликованного текста (ср. в кн.: Литература партии «Народная воля». М., 1907; перепечатано в кн.: *Жуковский-Жук И.* Александр Иванович Баранников. М., 1930; Народоволец А.И. Баранников...

⁹⁷ А.Д. Михайлов пишет из тюрьмы: «Милый Баранников огорчён чрезвычайно, у него чуть не слёзы на глазах — он хотел смерти... Его как водой окатили, сохранив ему жизнь» (Письма народовольца А.Д. Михайлова. Собрал П.Е. Щёголев. М., 1933. С. 210).

⁹⁸ *Шкловский В.* Сомнения Фёдора Достоевского // Красная новь. 1933. Декабрь. С. 138–152; *Шкловский В.* За и против М., 1957. С. 251–255.

⁹⁹ Уже после завершения настоящей книги мы познакомились с публикацией В.А. Твардовской «На углу Кузнечного и Ямской» (Литературная газета. 1982. 3 ноября), где автор на основании материалов следственного дела (сами документы в публикации не приводятся) высказывает ряд интересных наблюдений. Поиски Твардовской, несмотря на некоторые фак-

тические ошибки и неточности, представляются шагом в правильном направлении.

¹⁰⁰ Фроленко М.Ф. Заметки семидесятника. М., 1927. С. 68. Цитируя это место, Шкловский допускает две неточности (см.: За и против. С. 251): 1) речь у Фроленко идёт не о «весенних днях 1881 г.», а о январе; 2) говоря «они шли», Фроленко подразумевает не себя и Баранникова, как полагает Шкловский, а Баранникова и Колодкевича.

¹⁰¹ Указанные источники (главным образом микрофильмы) были изучены нами летом 1982 г. (о чём, разумеется, есть соответствующие записи в архивных листах использования). Результаты наших разысканий были впервые доложены на заседании кафедры истории русской журналистики и литературы факультета журналистики МГУ в октябре 1982 г., а также на ежегодной конференции в Литературно-мемориальном музее Достоевского в Ленинграде и на чтениях в Старой Руссе. Таким образом, публикация глав настоящей книги, по словам одного исследователя, «грянувшая» в журнале «Дружба народов» № 1, 1984 и № 7, 1985 (а ещё раньше, добавим, в «Новом мире» № 11, 1981 и др.), была предварена рядом сообщений, которые не остались секретом для научного сообщества.

¹⁰² Процесс шестнадцати террористов (1880 г.). СПб., 1906. С. 228.

¹⁰³ ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 230. Постановление № 18.

¹⁰⁴ Там же. Л. 231. Протокол № 81.

¹⁰⁵ Там же. Л. 233. Постановление № 19.

¹⁰⁶ Там же. Л. 242.

¹⁰⁷ Красная новь. 1933. Декабрь. С. 152.

¹⁰⁸ ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 243. Протокол № 84.

¹⁰⁹ Там же. Л. 244. Протокол № 85.

¹¹⁰ Там же. Л. 238. Постановление № 22.

¹¹¹ Красная новь. 1933. Декабрь. С. 152.

Приведём неизвестный ранее документ от 17 июня 1880 г. (канцелярия московского обер-полицмейстера) о розыске государственных преступников А. Михайлова и А. Баранникова, где в частности — с полицейской точки зрения — даётся описание последнего: «Баранников 22-х лет, роста около 2-х аршин 8 вершков, брюнет, глаза и брови чёрные, нос прямой, подбородок круглый, лицо белое, смугловатое, сложения плотного, голос имеет довольно грубый и сильный, зад значительно выдаётся. Он имеет мать Елизавету Иванову, родом грузинку; брата Василия 30-ти лет, бывшего капитана 5-й артиллерийской бригады, а ныне служащего в Болгарской армии; сестру Надежду, находящуюся в замужестве за Путивльским нотариусом Якубовичем, и меньшую — Марию 19 лет, девицу, живущую при матери в г. Путивле, в собственном доме. У Баранниковых имеется земля, в количестве 102-х десятин, в разных дачах недалеко от Путивля. Александр Баранников окончил курс наук в Орловской военной гимназии в 1875 г. <...> Баранников и Михайлов, как оказалось, уже давно весьма близкие между

собою, и последний, приобретя сильное влияние на первого, находясь с ним во время каникул в Путивльском уезде неразлучно, уговаривал не поступать в военное училище, так что только усиленные просьбы родных Баранникова успели склонить его на поступление в Павловское военное училище, откуда он, выйдя в Апреле 1876 года, неизвестно куда скрылся (то есть версия «о проруби» официально не подтверждается. — *И. В.*). <...> К вышеизложенному необходимо присовокупить, что родная тётка Баранникова была в замужестве за умершим в Путивльском уезде Коллежским Советником Петром Захаровичем Тюряковым, фамилией которого, по всему вероятно, Баранников и воспользовался, назвавшись Тюриковым. Причём Тюряковых хотя имеется два сына, но оба они находятся на лицо и подозрений на себя ничем не навлекают» (ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 1405. Л. 22 об. — 23 об.)

¹¹² ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 239–240. Протокол № 83. Указанного в документе предписания № 180 нет в деле. Естественно, что после появления постановления № 22 об обыске у Баранникова, вынесенного задним числом, предписание № 180 становится излишним и изымается из дела. Получается, что решение об обыске выносилось *трижды* (Секретным отделением градоначальства, начальником жандармского управления и следователем по делу).

¹¹³ Литературная газета. 1982. 3 ноября. Эта расшифровка (а также её смысл) были известны нам при первой публикации настоящей книги (*Игорь Волгин. Последний год Достоевского. М., 1986. С. 560. Прим. 43*). Но ввиду того, что текст расшифровки тогда не был опубликован, мы не сочли возможным привести его в печати. Ныне цитируем фразу полностью: «Вечёр ходил гулять, а затем [было дело]» (Ф.М. Достоевский в забытых... С. 280. Слова в квадратных скобках записаны стенографически). Комментарий этой записи отмечает, что под «делом» Анна Григорьевна подразумевает посещение её мужем туалета (Там же. С. 313).

¹¹⁴ РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 146. Л. 68 об., 48 об. Именно так расположены в записной тетради Анны Григорьевны цитируемые тексты. Однако трудно сказать, какой текст появился раньше, ибо тетрадь могла заполняться не в строгой последовательности.

¹¹⁵ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 372.

¹¹⁶ Биография... С. 323 (первая пагинация).

¹¹⁷ Материалы и исследования. 1. С. 290.

¹¹⁸ Биография... С. 323 (первая пагинация).

¹¹⁹ РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Ед. хр. 146. Л. 67–68.

¹²⁰ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 323.

¹²¹ Говоря в предыдущих изданиях настоящей книги о расположении квартиры Баранникова на одной лестничной площадке с квартирой Достоевского, мы ссылались на мнение Б.В. Фёдоренко, сообщённое нам его коллегами по Музею Достоевского в Петербурге. Впоследствии исследователь изменил свою точку зрения, склоняясь к тому, что квартира № 11 находи-

лась не на втором, а на третьем этаже (см.: *Федоренко Б.В.* Гибель Достоевского // Статьи о Достоевском. 1971–2001. СПб., 2001. С. 276). У нас нет оснований не доверять этой версии.

¹²² Материалы и исследования. I. С. 290.

¹²³ ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 247. Протокол № 86.

¹²⁴ Там же. Л. 480. Протокол № 189.

¹²⁵ Там же. Л. 481. Протокол № 190.

¹²⁶ Народолюбец А.И. Баранников... С. 68.

¹²⁷ ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 344 об. Протокол № 122.

¹²⁸ Народолюбец А.И. Баранников... С. 78.

¹²⁹ Там же. С. 62–63, 69.

¹³⁰ Подробнее см.: *Троицкий Н.* Подвиг Николая Клеточникова // Промст-тей. Т. 9. М., 1972. С. 57–76.

¹³¹ *Фигнер В.* Запечатлённый труд. Т. 1. М., 1964. С. 258.

¹³² *Троицкий Н.* Указ. соч. С. 69.

¹³³ Там же. С. 71.

¹³⁴ ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 342–342 об. Протокол № 122.

¹³⁵ Там же. Д. 504. Протокол № 200.

¹³⁶ Там же. Д. 504. Л. 344 об. — 345. Протокол № 122.

По свидетельству Ф.А. Марейнис-Муратовой, Баранников и Кибальчич были основными работниками в конспиративной мастерской на Забалканском проспекте, где осенью 1880 года изготовлялся нитроглицерин (Деятели СССР и революционного движения России. С. 163).

¹³⁷ *Тихомиров Л.* Заговорщики и полиция. М., 1930. С. 133.

¹³⁸ *Прибылёва-Корба А.П.* «Народная воля». Воспоминания о 1876–1880-х гг. М., 1926. С. 50.

¹³⁹ ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 381. Отношение начальника Секретного отделения петербургского градоначальства в Главное жандармское управление от 3 февраля 1881 г.

¹⁴⁰ Там же. Л. 346–346 об. Протокол № 122.

¹⁴¹ ГАРФ. Ф. 112. Д. 504. Л. 253–254. Таким образом, утверждение В. Шкловского, что по прибытии полиции к Баранникову «в комнате спал незнакомый человек» (Красная новь. 1933. Декабрь. С. 143), остаётся в пределах художественного вымысла: «незнакомый человек» явился позднее.

¹⁴² Там же. Д. 507. Л. 212. Кстати, указание Фроленко на квартиру Достоевского, где якобы проживал Баранников, — все-таки не единственное. Ср.: «26 января на квартире Баранникова (он жил под фамилией Алафузова... у писателя Ф.М. Достоевского) арестован был Н.Н. Колодкевич» (*Тютчев Н.С.* К арестам в связи с 1-м марта 1881 г. // *Тютчев Н.С.* Революционное движение 1870-х — 80-х гг. Статьи и воспоминания. М., 1925. Ч. 1. С. 137). Ср. с прим. 188 к настоящей главе.

¹⁴³ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 372.

¹⁴⁴ Биография... С. 323 (первая пагинация).

¹⁴⁵ Жизнь и труды... С. 352.

¹⁴⁶ Красная новь. 1933. Декабрь С. 152. К сожалению, В. Шкловский не даёт ссылки на этот документ. Нам пока не удалось обнаружить его в архивохранилищах.

¹⁴⁷ Там же. С. 143. См. также: *Шкловский В.* За и против. С. 254.

¹⁴⁸ Красная новь. 1933. Декабрь. С. 152.

¹⁴⁹ ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 342 об. Протокол № 122.

¹⁵⁰ Там же. Л. 343 об. Протокол № 122.

¹⁵¹ См.: Прометей. Т. 9. С. 71.

По свидетельству одной из народоволок, на вечеринке, устроенной под Новый 1881 год в динамитной мастерской на Забалканском проспекте, было «так весело, что все смеялись. Под конец настолько развеселились, что принялись плясать, причём сняли ботинки, чтобы не производить шума, а Геся Гельфман наигрывала на гребёнке. Помню, я не плясала и не могла отделиться от вопроса: кто из пляшущих доживёт до следующего Нового года... Воображение накидывало саван то на одного, то на другого из плясавших мужчин: женщин-революционерок в те времена ещё не подвергали смертной казни» (Деятели СССР и революционного движения России. С. 164).

¹⁵² ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 255–256. Протокол № 90.

¹⁵³ Былое. 1906. № 1. С. 261.

¹⁵⁴ ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 256.

¹⁵⁵ Там же. Л. 343. Протокол № 122.

¹⁵⁶ Там же. Л. 343 об.

¹⁵⁷ Там же. Л. 279 — 279 об.

¹⁵⁸ Там же. Л. 280 — 280 об. Протокол № 111.

¹⁵⁹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 373.

¹⁶⁰ ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 281. Протокол № 102. Л. 299. Постановление № 33. Позднее Григорьева показала, что ничего подозрительного в поведении своего соседа она не замечала: «Мою комнату от его отделяла только дверь, и я не обращала внимания, заперта ли эта дверь или нет, так как около неё стояла кровать моя и моего ребёнка. Никогда никакого шума в комнате Алафузова я не слыхала и даже не слыхала никаких разговоров <...> почему я и полагала, что не только он не бывал дома по целым дням, но и его никто не посещает» (ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 505. Л. 293). В свете того, что нам известно о визитах Клеточникова и других посетителей Баранникова (речь о которых впереди), показания Григорьевой выглядят не особенно убедительно.

¹⁶¹ Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1935. С. 52.

Для того чтобы отправиться на войну, Анне Павловне пришлось порвать с мужем, крупным железнодорожным служащим и удачливым биржевым игроком В.Ф. Корба, который, по её словам, крайне тяжело переживал их расставание. «Жизнь, посвящённая одному человеку, — заявляет она, была для меня невозможна в то время, как я хотела служить целому народу» (Деятели СССР и революционного движения России. С. 203).

¹⁶² Прибылёва-Корба А.П. Указ. соч. С. 11.

¹⁶³ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 35. С. 148.

¹⁶⁴ 2 августа 1885 года Анна Григорьевна просит Страхова поискать в его бумагах письмо «одной особы» к О.Ф. Миллеру: «Письмо писано в 1881 или 1882 году, адресовано Оресту Фёдоровичу. В письме одна госпожа завещает, что у неё есть много писем Фёдора Михайловича, но что они забраны III Отделением во время обыска, бывшего у особы по такому-то делу. Особа просит Ореста Фёдоровича как биографа достать означенные письма из III Отделения...» (Литературное наследство. Т. 86. С. 552–553). Об этих письмах ничего не известно.

¹⁶⁵ Прибылёва-Корба А.П. Указ. соч. С. 32.

¹⁶⁶ Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1935. С. 52.

¹⁶⁷ ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 480–481 об. Протокол № 190.

¹⁶⁸ Там же. Л. 435. Протокол № 200. В. Бомбина показала, что Клеточников бывал у Алафузова «довольно часто, в неделю раза 2 или 3». (Там же.)

¹⁶⁹ «Трудно перечислить, — пишет В.А. Твардовская, — всех возможных посетителей народовольческой квартиры... Практически ими могли быть все руководители организации, находившиеся в Петербурге...» (Литературная газета. 1982. 3 ноября). Думается, что не «практически», а скорее теоретически, ибо в действительности количество посетителей было ограничено. Свидетели называют только четырёх лиц — Клеточникова, Колодкевича и «даму-брюнетку», а также некоего блондина с бородкой, «похожего на купца» (см.: ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 481–481 об., 494–494 об. Протоколы № 190 и 200). На купца был похож А.Д. Михайлов.

¹⁷⁰ ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 343 об. Протокол № 122.

¹⁷¹ Там же. Л. 501–501 об. Протокол № 205.

¹⁷² Былое. 1906. № 1. С. 266.

¹⁷³ См.: Архив «Земли и воли» и «Народной воли». Предисл. С. Волка. М., 1932. С. 26.

¹⁷⁴ Прибылёва-Корба А.П. Указ. соч. С. 178.

¹⁷⁵ Архив «Земли и воли» и «Народной воли». С. 40.

¹⁷⁶ Прибылёва-Корба А.П. Указ. соч. С. 196.

¹⁷⁷ Архив «Земли и воли» и «Народной воли». С. 40.

¹⁷⁸ Фигнер В. Запечатлённый труд. Т. 1. С. 259.

¹⁷⁹ Каторга и ссылка. 1934. № 5–6 (114–115). С. 152.

¹⁸⁰ Тихомиров Л. Заговорщики и полиция. М., 1930. С. 146.

«Несколько месяцев, — свидетельствует А.П. Корба, — я переписывала на папиросную бумагу сведения Клеточникова, которые сохранились в архиве “Народной воли”» (деятели СССР и революционного движения России. С. 207).

¹⁸¹ Письма народовольца А.Д. Михайлова. Собрал П.Е. Щёголев. М., 1933. С. 136.

¹⁸² Народоволец А.Д. Михайлов. С. 210.

¹⁸³ См.: Архив «Земли и воли» и «Народной воли». С. 252. Этот адрес Баранникова и Корбы до сих пор не был отмечен в литературе (см.: Барабанова А. И., Ямщикова Е. А. Народовольцы в Петербурге. Л., 1984).

¹⁸⁴ *Прибылева-Корба А. П.* Несколько слов о Н. В. Клеточникове.

¹⁸⁵ Архив «Земли и воли» и «Народной воли». С. 41.

¹⁸⁶ Былое. 1906. № 1. С. 274. В своих воспоминаниях Корба отмечает позднейшую реакцию А. В. Якимовой, судившейся по «процессу двадцати»: «Когда Анна Васильевна узнала, что открытку писала я, мы обе посмеялись над тем, что мой почерк похож на почерк Желябова» (*Прибылёва-Корба А. П.* Несколько слов о Н. В. Клеточникове // Каторга и ссылка. 1934. № 5—6. С. 152).

¹⁸⁷ Именно последнюю дату указывает А. П. Прибылёва-Корба в другой своей публикации (см.: Архив «Земли и воли» и «Народной воли». С. 40).

¹⁸⁸ Кстати, по представлению, очевидно распространённому среди тогдашних членов Исполнительного комитета, Клеточников был арестован не на квартире Колодзевича (как это произошло в действительности), а именно в Кузнечном переулке: «25 января (так! — *И. В.*) 1881 года Клеточников отправился к Баранникову. Он посмотрел на знак безопасности, но все было в порядке. Он входит, звонит. Дверь открывают агенты полиции» (*Тихомиров Л.* Заговорщики и полиция. С. 146). Ср.: «26 января... на квартире Баранникова задержан Клеточников...» (*Фигнер В.* Запечатлённый труд. Т. 1. С. 258). Итак, по крайней мере четыре видных народовольца — М. Фроленко, Н. Тютчев, Л. Тихомиров и В. Фигнер — связывают январские аресты с интересующим нас адресом. Ср. с прим. 142 к настоящей главе.

¹⁸⁹ Цит. по кн.: Революционное народничество 70-х годов XIX века. Т. II. Л., 1965. С. 288.

¹⁹⁰ ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 325. Следует поэтому признать ошибочным указание, что Клеточников был задержан 30 января (см.: Литературная газета. 1982. 3 ноября).

¹⁹¹ *Достоевская А. Г.* Указ. соч. С. 375.

Глава XXI. ДОМ БЕЗ ХОЗЯИНА

¹ *Достоевская А. Г.* Указ. соч. С. 380.

² Новое время. 1881. 1 февраля.

³ *Достоевская А. Г.* Указ. соч. С. 381.

⁴ С.-Петербургские ведомости. 1881. 29 января.

⁵ Голос. 1881. 29 января.

⁶ Новое время. 1881. 29 января.

⁷ Материалы и исследования. 1. С. 290.

⁸ Новое время. 1881. 29 января.

⁹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 381.

¹⁰ *Достоевская Л.Ф.* С. 99.

¹¹ Материалы и исследования. 1. С. 290.

¹² Литературное наследство. Т. 86. С. 534.

¹³ Исторический вестник. 1893. Декабрь. С. 777.

¹⁴ *Дмитриева В.И.* Так было (Путь моей жизни). М.—Л., 1930. С. 183.

¹⁵ Исторический вестник. 1901. Март. С. 1028.

¹⁶ *Кони А.Ф.* Воспоминания о писателях. Л., 1965. С. 240.

¹⁷ Минута. 1881. 30 января.

¹⁸ *Кони А.Ф.* Воспоминания о писателях. С. 239.

¹⁹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 384.

²⁰ *Дмитриева В.И.* Так было. С. 183—184.

²¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 536.

²² *Давыдов В.М.* Рассказ о прошлом. С. 380. В комментариях к письму М.А. Рыкачёва утверждается, что его свидетельство о посещении Победоносцевым дома на Кузнечном «по-видимому, ошибочно» (Материалы и исследования. 1. С. 289). Между тем подобное указание абсолютно достоверно: помимо Рыкачёва и Давыдова об этом говорит сам Победоносцев (см.: Литературное наследство. Т. 86. С. 534), а также сообщает пресса (см.: Порядок. 1881. 30 января).

²³ *Дмитриева В.И.* Так было. С. 184, 186.

²⁴ Голос. 1881. 1 февраля.

²⁵ Минута. 1881. 30 января.

²⁶ Порядок. 1881. 30 января.

²⁷ Минута. 1881. 30 января.

²⁸ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 386.

²⁹ *Шкловский В.* За и против. С. 256.

³⁰ Дневник А.С. Суворина. С. 378.

³¹ *Шкловский В.* За и против. С. 256.

³² Минута. 1881. 30 января.

³³ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 386.

³⁴ См.: Голос. 1881. 31 января.

³⁵ Минута. 1881. 31 января.

³⁶ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 5. Ед. хр. 12. Л. 26.

³⁷ Там же. Л. 22. По свидетельству академика Д.С. Лихачёва, указанный И.С. Семёнов являлся его дальним родственником (тестем его деда, по второму браку). Впоследствии дед Д.С. Лихачёва также был старостой Владимирской церкви (*Лихачёв Д.С.* Род Лихачёвых // *Лихачёв Д.С.* Избранное: Воспоминания. СПб., 1997. С. 9—19).

³⁸ Новое время. 1881. 31 января.

³⁹ Письма И.П. Павлова к невесте // Москва. 1959. № 10. С. 175.

⁴⁰ Материалы и исследования. 1. С. 293.

⁴¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 542.

⁴² *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 383. Этот факт был отмечен и прессой (см.: Новое время. 1881. 31 января). Отмечено также изъявление сочувствия со стороны великой княгини Александры Иосифовны (матери Константина и Дмитрия Константиновичей) и присылка венка Евгенией Максимилиановной, принцессой Ольденбургской — как помним, лично знавшей Достоевского (см.: Голос. 1881. 31 января).

⁴³ Там же. С. 381–382.

⁴⁴ Заметим, что в отчёте чиновника, посетившего Анну Григорьевну утром 29 января, ни словом не упоминается об её отказе от предложенной единовременно суммы. «Вдова покойного, — говорится в документе, — с особенною благодарностью примет пособие на воспитание детей» (РГИА. Ф. 1282. Оп. 2. Ед. хр. 1918. Л. 2).

⁴⁵ Цит. по работе: Достоевский и Победоносцев // Красный архив. 1922. Т. II. С. 252. В указанном письме к Лорис-Меликову, написанном в то же утро, 29 января, Победоносцев утверждает, что у его «большого приятеля» — «4 или 5 детей». (Что свидетельствует о степени его осведомлённости. Чиновник, утром 29 января посланный Лорис-Меликовым в семейство покойного, доставил куда более точные сведения — вплоть до возраста детей.) Возможно, впрочем, что такое преувеличение, равно как и указание на то, что Достоевский оставил семейство «в бедности», было направлено ко благу: «Не сочтёте ли, добрейший граф, приличным и благовременным обратить на это милостивое внимание Государя Императора. Смее думать, что было бы достойно и праведно — теперь пособить жене его на похороны, а потом дать семейству от щедрот монарших пенсию на прожиток» (Цит. по: *Федоренко Б.В.* Указ. соч. С. 268–269). Если верить камер-фурьерскому журналу, приезд Лорис-Меликова к государю 29 января не отмечен (но зафиксированы его доклады — в присутствии наследника престола — 28-го и 30-го, см.: Там же. С. 268). С другой стороны, нет оснований сомневаться в информированности цесаревича.

⁴⁶ К.П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки. Т. I (Novum regnum), полумом 1. М.—Пг., 1923. С. 43.

⁴⁷ Дневник А.С. Суворина. С 212.

⁴⁸ *Фёдоренко Б. В.* Указ. соч. С. 199.

⁴⁹ Красный архив. 1922. Т. II. С. 255.

⁵⁰ Материалы и исследования. I. С. 288.

⁵¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 535.

⁵² Там же. С. 535.

⁵³ Сообщение о пенсии было немедленно опубликовано крупнейшими петербургскими газетами (см.: Новое время. 1881. 31 января; Голос. 1881. 31 января). Приведём благодарственное письмо Анны Григорьевны императору Александру II, написанное в первой половине февраля 1881 г.:

«Государь Всемилоостивейший,

Из глубины души желаю, но не в силах выразить Вашему Императорскому Величеству беспредельную благодарность за великую милость, кото-

рую благоугодно было Вам явить мне и осиротевшим моим детям. Верую, что и усопший, незабвенный муж мой, живой у Господа Бога, вместе со мною и с ними молится о Вашем благоденствии. Он пострадал много, но безропотно, в самом страдании своём почерпая веру в Божественное Провидение. Господь да поможет детям моим последовать примеру отца, а мне возрастить в них завещанные родителем веру, горячую любовь к Отечеству и верную преданность власти царской и Вашему Величеству, Благодетелю нашему и всей России» (Цит. по: *Федоренко Б.В.* Указ. соч. С. 267).

⁵⁴ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 383.

⁵⁵ Там же. С. 317.

⁵⁶ *Достоевская Л.Ф.* С. 100–101.

⁵⁷ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 383.

⁵⁸ *Достоевская Л.Ф.* С. 101–102

⁵⁹ Порядок. 1881. 30 января.

⁶⁰ Минута. 1881. 30 января.

⁶¹ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 383.

⁶² *Достоевская Л.Ф.* С. 102.

⁶³ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 383. После отказа Новодевичьего монастыря дать место Анна Григорьевна предполагала похоронить мужа на Охте, рядом с могилой их младшего сына Алёши, хотя охтинское кладбище никогда не нравилось Достоевскому.

⁶⁴ *Богданович А.В.* Три последних самодержца. М.—Пг., 1924. С. 43. Генерал-майор Е.В. Богданович обладал весьма сомнительной репутацией («авантюрист и жулик» — по характеристике историка П.А. Зайончковского). Его услугами пользовался Лорис-Меликов, «предполагая и впредь возлагать на г-на Богдановича исполнение некоторых особых поручений» (см.: *Зайончковский П.А.* Кризис самодержавия... С. 193).

⁶⁵ Голос. 1881. 31 января. Ср.: «Говорят, митрополит сам предложил церковь Святого Духа в Лавре, чтобы поставить там тело Достоевского и уж прямо оттуда и хоронить, что и было принято» (Петербургская газета. 1881. 1 февраля).

⁶⁶ *Богданович А.В.* Три последних самодержца. С. 44.

⁶⁷ *Опочинин Е.Н.* Беседы с Достоевским // Звенья. Т. 6. С. 470.

⁶⁸ Русский вестник. 1903. Апрель. С. 643.

⁶⁹ Там же. С. 650–651.

⁷⁰ Русский вестник. 1903. Май. С. 162.

⁷¹ Литературное наследство. Т. 86. С. 554.

⁷² *Богданович А.В.* Три последних самодержца. С. 44.

⁷³ Материалы и исследования. 1. С. 290.

⁷⁴ Биография... С. 324–325 (первая пагинация).

⁷⁵ Литературное наследство. Т. 86. С. 340–341.

⁷⁶ Москва. 1959. № 10. С. 175–176.

⁷⁷ Литературное наследство. Т. 86. С. 338.

⁷⁸ Там же. С. 339.

⁷⁹ *Салтыков-Щедрин М.Е.* ПСС. Т. 19. Кн. 1. М., 1976. С. 201.

⁸⁰ Новое время. 1881. 1 февраля.

⁸¹ Звенья. Т. 1. С. 476.

⁸² *Богданович А.В.* Три последних самодержца. С. 44. Ср.: «Был даже пушен слух, что кто-то собирается нести кандалы. Конечно, ни кандалов, ни демонстраций никаких не было, а была только давка» (Дело. 1881. № 2. С. 163).

⁸³ Звенья. Т. 1. С. 476.

⁸⁴ С.-Петербургские ведомости. 1881. 1 февраля. Ср. другие источники: «Таков был порядок шествия, не нарушаемый ни полицией, ни жандармами, которых было только шесть человек: всё было чинно» (Фёдор Михайлович Достоевский. Биография. Его сочинения. Последние минуты его жизни. Проводы тела, похороны его и оации русского общества. М.: Изд. А.В. Хлебникова, 1881. С. 34). «Полиция почти не вмешивалась. Публика сама соблюдала порядок, образуя цепи, оберегавшие строй процессии» (Новое время. 1881. 1 февраля).

⁸⁵ *Гнедич П.П.* Книга жизни... С. 133.

⁸⁶ *Богданович А.В.* Три последних самодержца. С. 44.

⁸⁷ Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1, полутом 2. С. 556–557. Ср.: «Долго Петербург говорил об этих похоронах, а правительство, обеспокоенное их демонстративным характером, ответило на это запрещением нести венки за гробом, так что на тургеневских похоронах их уже везли на особых колесницах» (*Дмитриева В.И.* Так было. С. 186–187). «Вчера произведена репетиция для каких-нибудь грядущих уличных похоронных или иных демонстраций. По случаю смерти Достоевского сочинена была для выноса тела в Александровскую лавру обширная программа, и всевозможные училищные и другие элементы введены в состав процессии» (Дневник П.А. Валуева. С. 142).

⁸⁸ Новое время. 1880. 1 февраля.

⁸⁹ Газета А. Гатцука. 1881. 7 февраля.

⁹⁰ Литературное наследство. Т. 86. С. 341.

⁹¹ Там же. С. 545.

⁹² *Богданович А.В.* Три последних самодержца. С. 44.

⁹³ Порядок. 1881. 1 февраля.

⁹⁴ Материалы и исследования. 1. С. 293.

⁹⁵ *Попов И.И.* Минувшее и пережитое. С. 91.

⁹⁶ *Гнедич П.П.* Книга жизни. С. 133.

⁹⁷ *Дмитриева В.И.* Так было. С. 186. Ср.: «На вопросы некоторых старушек: “Кого это хоронят?” — студенты демонстративно отвечали: “Каторжника”» (Литературное наследство. Т. 86. С. 341).

⁹⁸ Голос. 1881. 1 февраля.

⁹⁹ Биография... С. 373 (вторая пагинация).

¹⁰⁰ Литературное наследство. Т. 86. С. 341.

¹⁰⁰ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29657. Л. 1–2.

¹⁰¹ *Достоевская Л.Ф.* С. 103. Слова Любови Фёдоровны подтверждаются другим заслуживающим доверия источником: «У ворот Лавры вышли навстречу воспитанники духовного училища и духовной семинарии; духовенство в полных облачениях, во главе настоятеля лавры, архимандрита о. Симеона, и ректора духовной академии о. Янышева, с монастырской братией и лаврскими певчими» (Биография... С. 89 (третья пагинация)).

¹⁰² Материалы и исследования. I. С. 294. «Говорят, — добавляет Гюмнев, — чуть было в тесноте не задавили маленькую дочь Фёдора Михайловича...» (Литературное наследство. Т. 86. С. 342).

¹⁰³ Москва. 1959. № 10. С. 176.

¹⁰⁴ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. III. Карт. 5. Ед. хр. 12 (Материалы, относящиеся к погребению).

¹⁰⁵ Между прочим, автор письма говорит, что «происходил страшный скандал у церкви, и стёкла выбиты, и на паперти гвалт, крик как в кабаке» (Там же). Эти подробности не встречаются более ни в одном источнике.

¹⁰⁶ Биография... С. 326 (первая пагинация).

¹⁰⁷ Голос. 1881. 1 февраля.

¹⁰⁸ Голос. 1881. 8 февраля. Вспомним, что Достоевский «не побоялся» произнести речь на могиле Некрасова.

¹⁰⁹ Новое время. 1881. 1 февраля.

¹¹⁰ Отечественные записки. 1881. Февраль. С. 244.

¹¹¹ Петербургская газета. 1881. 30 января. По Петербургу распространился слух, что автором этого некролога был Н.С. Лесков, против чего последний решительно протестовал в письме А.С. Суворину (см.: Литературное наследство. Т. 86. С. 606).

¹¹² Отечественные записки. 1881. Февраль. С. 250–253.

¹¹³ Вестник Европы. 1881. Ноябрь. С. 324.

¹¹⁴ Мысль. 1881. Март. С. 412–413.

¹¹⁵ Голос. 1881. 8 февраля.

¹¹⁶ Мысль. 1881. Февраль. С. 228. Пока же реакция «Европы» ограничилась присылкой в одну из газет «сочувственного письма», написанного неким «лектором английского языка» (см.: Порядок. 1881. 2 февраля).

¹¹⁷ *Арсеньев А.* На смерть Достоевского // Новое время. 1881. 2 февраля.

¹¹⁸ *Толстой Л.Н.* ПСС. Т. 63. С. 43.

¹¹⁹ *Барт Н.* На смерть Достоевского // Новое время. 1881. 31 января.

¹²⁰ *Висковатый П.* Памяти Достоевского // Русь. 1881. 7 февраля. Обращает на себя внимание имя автора. П. Висковатый — не тот ли это Павел Александрович *Висковатов*, на которого как на источник сплетни «о девочке» ссылается Страхов в своём письме к Л.Н. Толстому от 28 ноября 1883 г.?

¹²¹ С.-Петербургские ведомости. 1881. 2 февраля.

¹²² Звенья. Т. 6. С. 791.

¹²³ А.В. Мещерский ухитрится выпустить в 1880-е годы нелепейшую поэтическую книжку, которая тем не менее выдержит два издания. Приве-

дѣнное стихотворение кн. Мещерского не попало в печать из-за противодействия столичной цензуры — как «по оскорбительности его для памяти известного писателя, заблуждения молодости которого, искупленные тяжким наказанием, были прощены правительством... так и по резкости тона и изложения, возбуждающей политические страсти» (Звенья. Т. 6. С. 791–792).

¹²⁴ Дневник А.С. Суворина. С. 212–213.

¹²⁵ Новое время. 1881. 1 февраля.

¹²⁶ Литературное наследство. Т. 86. С. 545.

¹²⁷ Там же. С. 341.

¹²⁸ Отечественные записки. 1881. Февраль. С. 243–244.

¹²⁹ Голос. 1881. 8 февраля.

¹³⁰ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 388. Анна Григорьевна ошибочно (вероятно, описка) относит это к 30 января.

¹³¹ Там же.

¹³² *Круглов А.В.* Пѣстрые странички // Исторический вестник. 1895. Ноябрь. С. 483.

¹³³ *Достоевская Л.Ф.* С. 103, 104.

¹³⁴ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 389.

¹³⁵ С.-Петербургские ведомости. 1881. 2 февраля.

¹³⁶ Биография... С. 91 (третья пагинация).

¹³⁷ Москва. 1959. № 10. С. 176.

¹³⁸ Биография... С. 91 (третья пагинация).

¹³⁹ С.-Петербургские ведомости. 1881. 2 февраля.

¹⁴⁰ *Попов И.И.* Минувшее и пережитое. С. 91.

¹⁴¹ Биография... С. 92 (третья пагинация).

¹⁴² *Попов И.И.* Минувшее и пережитое. С. 91.

¹⁴³ *Достоевская А.Г.* Указ. соч. С. 390.

¹⁴⁴ Биография... С. 94 (третья пагинация).

¹⁴⁵ Москва. 1959. № 10. С. 178.

¹⁴⁶ Там же. С. 176.

¹⁴⁷ Литературное наследство. Т. 86. С. 342–343.

¹⁴⁸ ГАРФ. Ф. 112. Оп. 1. Д. 504. Л. 475. Напомним, что Баранников не видел мать с августа 1875 г. «Вдова капитана» Е.И. Баранникова, очевидно, была неграмотна, т. к. протоколы допросов подписывала за неё дочь. После очной ставки с матерью Баранников впервые подписался своим настоящим именем.

¹⁴⁹ См.: Новое время. 1881. 1 мая.

условные сокращения

НИОР РГБ — научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки им. В.И. Ленина, Москва

РО ИРЛИ — рукописный отдел Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Петербург

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации, Москва

РГИА — Российский государственный исторический архив, Петербург

ОППС — Особое присутствие Правительствующего сената

ЦИАМ — Центральный исторический архив г. Москвы

указатель имён *

А

Абаза Александр Агеевич — 610, 611

Абаза Николай Саввич — 518, 527,
598, 610, 611, 651

Аверкиев Дмитрий Васильевич —
215, 420, 459, 468

Аверкиевы — 75

Авсеенко Василий Григорьевич —
113, 450

Агатескулов — см. Фриденсон Г.М.

Агин Александр Алексеевич — 259

А. К...ва — см. Курносова Александ-
дра Николаевна

Аксаков Иван Сергеевич — 160, 226,
281, 291, 295, 298, 301–304, 324,
341–345, 358, 366, 368–371, 373,
377, 381, 399, 478

Аксаков Константин Сергее-
вич — 643

Алафузов Георгий Иванович —
см. Баранников Александр
Иванович

Александр I — 245, 290

Александр II — 8, 16–18, 20, 21, 43,
44, 59, 121, 138, 143, 148–150, 153,
154, 172, 173, 177, 263, 265, 266, 275,
277, 445–449, 452, 491, 500, 552,
553, 567, 573, 574, 647

Александр III — 53, 64–66, 69, 121,
160, 186, 202, 265, 266, 271, 321, 446,
455, 456, 546, 585, 599, 610

Александр Александрович, наслед-
ник цесаревич — см. Алек-
сандр III

Александр Гессенский, принц — 143

* В указатель включены только имена реальных исторических персонажей, встречающиеся в авторском тексте. Имена, упомянутые в приложении, в указателе не отмечены.

- Александров Михаил Александрович — 80, 253
Алчевская Христина Даниловна — 81, 83, 84
Амикус — 497
Анненков Павел Васильевич — 113, 120, 226, 254–256, 258, 260, 261, 285, 348, 365, 370, 372, 379, 398, 401
Анненский Иннокентий Фёдорович — 466–468, 489
Антоний (Храповицкий), архиепископ — 333
Антонович Максим Алексеевич — 117
Аракчеев Алексей Андреевич — 175
Арсеньев Дмитрий Сергеевич — 264
Ауэрбах Бертольд — 359
- Б**
- Бакунин Михаил Александрович — 332
Балашев (Балашов) Александр Дмитриевич — 245
Бальзак Оноре де — 471
Баранников Александр Иванович — 17, 69, 540–548, 550–556, 560–580, 582–587, 589, 590, 601–603, 653
Баранникова Елизавета Ивановна — 653
Барклай де Толли Михаил Богданович — 245
Барт Надежда Николаевна — 140, 638
Бартенев Пётр Иванович — 90, 280
Бедринская Л.Г. — 26
Бекетов Андрей Николаевич — 100
Белинский Виссарион Григорьевич — 88, 256, 258, 260, 276, 302, 431, 613
Белов Сергей Владимирович — 44, 45
Белый Андрей — 385
Березовский Антон Иосифович — 20
Бернардский Евстафий Ефимович — 259
Бернштам Леопольд Адольфович — 596
Бестужев-Рюмин Константин Николаевич — 150, 221, 264, 598, 653
Бирон Эрнст Иоганн — 175
Благой Дмитрий Дмитриевич — 31–33
Боборыкин Пётр Дмитриевич — 483
Богданович Александра Викторовна — 615, 616, 619, 623, 624, 626
Богданович Евгений Васильевич — 615, 616
Богданович Николай Модестович — 554, 555, 603
Боголюбов Алексей (настоящее имя Архип Петрович Емельянов) — 51, 52, 542
Бомбина Василиса — 568, 571, 582, 586
Борель — 99, 105, 129, 131
Боткин Сергей Петрович — 139
Боткин Василий Петрович — 147
Брассен Луи — 497
Бретцель Яков Богданович фон — 218, 219, 522, 526–528, 570, 578
Брокгауз Фридрих Арнольд — 458
Бугаев Николай Васильевич — 385
Буренин Виктор Петрович — 31, 257
Быков Пётр Васильевич — 653
- В**
- Вагнер Николай Петрович — 310, 315–318, 413
Валуев Пётр Александрович — 20, 54, 56, 68, 492, 498

- Василевский (Буква) Ипполит Фёдорович — 31, 325
Васильев Константин Иович — 628, 629
Веймар Орест Эдуардович — 294
Вейнберг Пётр Исаевич — 22, 73, 211, 221, 222, 252, 464, 469, 480
Венгеров Семён Афанасьевич — 89, 113, 204
Веневитинов Михаил Алексеевич — 358, 375
Вергунов Николай Борисович — 496
Верочка — 528
Веселитская Лидия Ивановна — 35, 36, 75, 76, 78, 79, 84, 98, 228, 465, 470–475, 478, 479
Висковатов Павел Александрович — 229, 295
Вогюэ Мельхиор де — 71, 72
Волгин Игорь Леонидович — 44
Вольтер Франсуа Мари Аруэ де — 152
Вяземский Пётр Андреевич — 226
- Г**
- Гагарин Павел Павлович — 59
Гаевский Виктор Павлович — 297
Гайдебуров Павел Александрович — 100, 123, 127, 136, 275, 289, 292, 298, 302, 598, 653
Ган Александр Фёдорович — 435
Гартунг Леонид Николаевич — 292
Гартунг Мария Александровна (урожд. Пушкина) — 291, 292
Гатцук Алексей Алексеевич — 94, 625
Гаршин Всеволод Михайлович — 185, 186, 192
Гейден Елизавета Николаевна — 240, 241, 530, 531, 538
Гейкинг Густав Эдуардович — 15
Гейне Генрих — 484
Гекке — 605
Гельфман Гезя Мееровна — 67, 202
Герард — 519
Герцен Александр Иванович — 88, 158, 159, 161, 162, 165, 332
Герье Владимир Иванович — 373
Гёте Иоганн Вольфганг — 96, 360
Гнедич Пётр Петрович — 626
Говоруха-Отрок Юрий Николаевич — 231
Гоголь Николай Васильевич — 7, 8, 107, 226, 267, 276, 322, 323, 344, 436, 469, 470, 484, 508, 603, 608
Годунов Борис — 496
Голенищев-Кутузов Арсений Аркадьевич — 464
Голоновская Александра Михайловна — 524
Голицын — 21
Голицын Николай Николаевич — 314
Голохвастов Павел Дмитриевич — 488, 489
Гомер — 360
Гончаров Иван Александрович — 34, 71, 75, 101, 237, 309, 316
Горбунов Иван Фёдорович — 355, 464, 502
Горчаков Александр Михайлович — 50, 365
Горький Максим — 331
Готский-Данилевич Эдуард (Эдгард) Михайлович — 156, 165, 166, 168
Гофштеттер Екатерина Павловна — см. Елисеева Е.П.
Градовские — 100
Градовский Александр Дмитриевич — 331, 335, 336, 398, 400, 406
Градовский (Гамма) Григорий Константинович — 54, 102, 103, 127, 137

- Грановский Тимофей Николаевич — 302
- Грибоедов Александр Сергеевич — 70
- Григорович Дмитрий Васильевич — 100, 101, 212, 226, 237, 258, 299, 348, 349, 377, 378, 414, 464, 481, 505, 520, 532, 598, 621, 626, 651
- Григорьев Аполлон Александрович — 197
- Григорьева Вера Фёдоровна — 578, 579, 601
- Гриневицкий Игнатий Иоахимович — 449, 654
- Гроссман Леонид Петрович — 39, 179, 208, 209, 265–267
- Грот — 21, 100
- Гурко Иосиф Владимирович — 28, 152, 153
- Гусева Пелагея Егоровна — 433, 434, 441, 444
- Гюго Виктор — 160, 359, 360
- Д**
- Давыдов Владимир Николаевич — 465–467
- Давыдов Денис Васильевич — 125
- Даль Владимир Иванович — 330
- Данилевский Григорий Петрович — 238, 598
- Данилевский Николай Яковлевич — 461
- Данич — 159
- Дарвин Чарльз Роберт — 317
- Дациаро — 178, 181, 453, 561, 572, 587
- Де-Воллан Григорий Александрович — 23, 118, 133, 151, 152, 183
- Дейч Лев Григорьевич — 542, 544, 545
- Дельвиг Антон Антонович — 226
- Державин Гавриил Романович — 344
- Дизраэли Бенджамин, лорд Биконсфилд — 319, 320
- Диккенс Чарльз — 420, 421, 520
- Дмитриева Валентина Иововна — 597
- Дмитрий Константинович, великий князь — 608
- Добржинский Антон Фёдорович (Францевич) — 549, 553, 562, 566
- Добролюбов Николай Александрович — 613
- Долгоруков Василий Андреевич — 158
- Долгоруков Владимир Андреевич — 279, 282
- Долгорукова (Долгорукая) Екатерина Михайловна — 143, 447, 448, 451, 452
- Долинин Аркадий Семёнович — 280
- Достоевская Александра Михайловна — см. Голеновская Александра Михайловна
- Достоевская Анна Григорьевна — 9, 13, 36, 63, 64, 67, 70, 72, 74, 79, 81, 84, 99, 101, 116, 118, 124, 126, 135, 147, 149, 154, 156, 158, 159, 162, 164–168, 171, 187, 188, 192–195, 205, 210, 212, 213, 219, 222, 226, 227, 238, 239, 241, 252, 255, 261, 264, 265, 268, 269, 272, 280, 281, 283–285, 287, 288, 290–292, 299, 300, 315, 317, 318, 324, 342, 348, 352, 355, 358, 361, 365–368, 374, 376, 378, 379, 381–383, 385, 393, 399, 405, 406, 408–411, 413–417, 419–423, 425, 436, 437, 439, 440, 442–444, 454, 461–463, 469, 476, 479, 481, 487–489, 494, 495, 504–506, 517–541, 556–560, 573, 578, 579, 590–592, 594, 595, 597, 598, 603–615, 619, 620, 630, 650, 652
- Достоевская Варвара Михайловна — см. Карепина Варвара Михайловна

Достоевская Вера Михайловна —
см. Иванова Вера Михайловна
Достоевская Любовь Фёдоровна —
70, 71, 165, 241, 267–271, 408, 409,
412, 413, 416, 417, 419–422, 425, 455,
456, 495, 523–525, 527, 529, 536–
538, 559, 597, 613–615, 629, 650, 652
Достоевская Софья Фёдоровна —
158–160, 407, 408
Достоевский Александр Андре-
евич — 145, 219, 454
Достоевский Алексей Фёдорович —
284, 416, 425
Достоевский Андрей Михайло-
вич — 145, 441, 487, 530, 558, 611
Достоевский Михаил Михайло-
вич — 226, 441, 532
Достоевский Николай Михай-
лович — 442
Достоевский Фёдор Фёдорович —
287, 406, 412–414, 416, 417, 421, 422,
536, 537
Дрентельн Александр Романович —
22, 129, 130, 153
Дубровин Владимир Дмитриевич —
25–28, 34, 51, 61, 153, 185, 188, 199,
201, 571
Дуров Сергей Фёдорович — 187, 208
Дюран Эмиль — 90

Е

Евреина Анна Михайловна — 291
Екатерина I — 447
Екатерина II — 283, 290
Елизавета Ивановна — см. Корба
Анна Павловна
Елисеев Григорий Захарович —
116–119, 316
Елисева Екатерина Павловна —
116, 117, 119
Ефрон Илья Абрамович — 458

Ж

Желябов Андрей Иванович — 63,
544, 552, 575, 580, 589, 645
Жуковский Василий Андреевич —
226, 651

З

Загуляевы — 75
Зайцев Варфоломей Александр-
ович — 115
Замятин Дмитрий Николае-
вич — 191
Засецкая Юлия Денисьевна — 101,
240, 241
Засулич Вера Ивановна — 14, 18,
50–54, 56, 61, 62, 64, 88, 453, 542
Захар — см. Желябов Андрей Ива-
нович
Зеленецкий А.А. — 597
Золотарёв Иван Фёдорович — 203
Золя Эмиль — 400, 401
Зуров Александр Елпидифорович —
22, 187

И

Иван Грозный — 494
Иванов Иван Иванович — 130
Иванова Вера Михайловна — 523,
524, 558, 559, 572
Ивановская Прасковья Семё-
новна — 544
Ивановский Василий Семё-
нович — 16
Игнатъев Николай Павлович — 71
Иевлев Яков — 555
Излер — 259
Исаев Павел Александрович — 441,
528, 532, 535, 536, 539, 540

- Исасва Мария Дмитриевна — 390, 441, 496
Исидор, митрополит — 143, 615–619, 649, 650
Иславин Константин Александрович — 395–397
Ишутин Николай Андреевич — 190–192, 195, 205, 560, 571
- К**
- Каблиц Иосиф Иванович — 310
Кавелин Константин Дмитриевич — 60, 62, 100, 101, 180
Казанский Павел Петрович — 205, 206, 523
Кази Сергей Ильич — 321
Калаяв Иван Платонович — 264
Каразин Николай Николаевич — 598
Каракозов Дмитрий Владимирович — 16, 21, 22, 34, 39, 58, 59, 188–190, 192, 264
Карамзин Николай Михайлович — 267, 344, 420, 612, 651
Карасёв Максим Васильевич — 639, 641
Карепин Пётр Андреевич — 523
Карепина Варвара Михайловна — 442, 443, 480, 524
Карраччи Аннибале — 63
Карчевская Серафима Васильевна — 218, 219
Катков Михаил Никифорович — 13, 17, 25, 53, 62, 106, 160, 214, 226, 254, 271, 272, 280, 286, 295–315, 318–322, 343–346, 352, 354, 361, 362, 395–397, 456, 490, 491, 500, 505, 520, 521, 539
Каховский Пётр Григорьевич — 16
Кашпирева Софья Сергеевна — 532
Квятковский Александр Александрович — 56, 57, 59, 61, 186, 453, 456, 548, 571, 583
Кессель Константин Иванович — 61
Кибальчич Николай Иванович — 63, 548, 549
Киреев Александр Алексеевич — 105, 148, 154, 155, 168, 169, 171, 175, 351, 395, 611
Кишенский Дмитрий Дмитриевич — 546
К.К. — см. Константин Константинович, великий князь
Клеточников Николай Васильевич — 167, 566–570, 574–577, 582–585, 587–590, 601
Ковалевский Максим Михайлович — 297, 299, 303, 348, 358, 360, 366, 373
Колодкевич Николай Николаевич — 547, 568, 573–577, 579, 583–587, 589, 590
Коломенский Кандид — см. Михневич В.О.
Комаров Виссарион Виссарионович — 615, 616, 619
Комаровская Анна Егоровна — 145
Комиссаров Осип Иванович — 20
Комовский Сергей Дмитриевич — 365
Кони Анатолий Фёдорович — 50–53, 597
Константин Константинович, великий князь — 131, 132, 144, 184, 204, 219, 263–267, 269–271, 455, 608
Константин Николаевич, великий князь — 138, 142, 143, 154
Корба Анна Павловна — 580–590, 601
Корнилова Екатерина Прокофьевна — 414
Корф Модест Андреевич — 277
Костомаров Николай Иванович — 100
Кот-мурлыка — см. Вагнер Николай Петрович
Котляревский — 15

- Коуэн — 320, 321
 Кох Карл-Юлиус Иоганнович — 20
 Кошлаков Дмитрий Иванович — 21, 22, 526–528, 531–533, 535, 538
 Кошурников — см. Баранников Александр Иванович
 К.Р. — см. Константин Константинович, великий князь
 Кравчинский Сергей Михайлович — см. Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович
 Краевский Андрей Александрович — 301, 623, 634, 635
 Крамской Иван Николаевич — 81, 381, 596
 Крестовский Всеволод Владимирович — 450
 Кроненберг Станислав Лсопольдович — 55
 Кротоктин Пётр Алексеевич — 16, 18
 Круглов Александр Васильевич — 486, 487
 Кузнецов Пётр Григорьевич — 265, 422, 423, 500, 522, 561, 576
 Кузьмин — 554, 555, 560, 561
 Куманина Александра Фёдоровна — 205
 Куприн Александр Иванович — 504
 Куракин Александр Борисович — 245
 Курнеев Фёдор Николаевич — 51
 Курносова Александра Николаевна — 139, 140, 141, 638
 Курочкин Василий Степанович — 124
 Курочкин Николай Степанович — 124
- Л**
- Лавров Вукол Михайлович — 286, 581
- Леже (Лежар) Луи — 359, 362–364
 Леонтьев Константин Николаевич — 110, 231, 258, 259, 314, 329, 343–346, 463, 500, 618
 Леонтьев Павел Михайлович — 314
 Лермонтов Михаил Юрьевич — 404, 420, 564, 565, 579, 603, 652
 Лесков Николай Семёнович — 145, 316, 451
 Лесниковский — 552
 Леткова-Султанова Екатерина Павловна — 324, 374, 476–478, 482, 623
 Лизавета Александровна — см. Корба Анна Павловна
 Лизогуб Дмитрий Андреевич — 28
 Лиля — см. Достоевская Любовь Фёдоровна
 Лихачёв Дмитрий Сергеевич — 655
 Лопатин Герман Александрович — 89
 Лоренц — 597
 Лорис-Меликов Михаил Тариелович — 60, 171, 174–178, 181–183, 185, 186, 192, 202, 203, 207, 279, 281, 282, 295, 445–447, 451, 452, 462, 491, 492, 497, 500, 552, 573, 574, 608–611, 624
 Лубкин Абрам (Птаха) — 14
 Лурье Софья Ефимовна — 581
 Любимов Дмитрий Николаевич — 325, 348, 349, 367, 369–371, 377
 Любимов Николай Алексеевич — 13, 253, 261, 262, 304, 305, 307, 308, 314, 319, 395, 443, 444, 521
- М**
- Магницкий Михаил Леонтьевич — 404
 Майков Аполлон Николаевич — 22, 42, 45, 75, 89, 157–163, 168, 170, 225, 302, 303, 310–312, 314, 315, 361, 408,

- 477, 478, 486, 517, 532, 537–540, 553, 598, 652
- Майков Леонид Николаевич — 598
- Майкова Анна Ивановна — 532
- Макарий, митрополит — 293
- Макаров — 16, 17
- Маков Лев Саввич — 148–150, 154, 155, 168, 169, 171, 172
- Максимов Владимир Емельянович — 655
- Максимов — 356, 357
- Мария Александровна, императрица — 139, 277
- Мария Максимилиановна, принцесса Баденская — 263, 264
- Мария Николаевна, великая княгиня — 263
- Мария Фёдоровна, императрица — 264, 265, 267, 269, 271
- Маркевич Болеслав Михайлович — 113, 539, 540
- Маркс Карл — 336, 581
- Матюшкин Фёдор Фёдорович — 277, 278
- Мезенцов Николай Владимирович — 16–18, 24, 69, 88, 129, 157, 171, 294, 543, 546, 553, 568
- Мейнгард Анна Павловна — см. Корба Анна Павловна
- Мельников Иван Александрович — 622
- Менгден — 269, 270, 272
- Меншиков Александр Данилович — 175
- Мережковский Дмитрий Сергеевич — 433
- Меренберг (в девичестве Пушкина) Наталья Александровна — 291
- Мерчинский — 159
- Мещерский Александр Васильевич — 640, 641
- Мещерский Владимир Петрович — 53, 110, 474, 640
- Микулич В. — см. Веселитская Лидия Ивановна
- Миллер Орест Фёдорович — 37, 209, 226, 252, 253, 302, 341, 345, 368, 405, 477, 485, 486, 501, 517–519, 527, 528, 532, 553, 559, 598, 653
- Милорадович Михаил Андреевич — 16
- Милютин Дмитрий Алексеевич — 68, 139
- Мирский Леон Филиппович — 129, 153
- Михайлов Адриан Фёдорович — 17, 294
- Михайлов Александр Дмитриевич — 453, 541, 544, 545, 566–568, 570, 574, 582–586
- Михайлов Тимофей Михайлович — 63, 202
- Михайловский Николай Константинович — 118, 302, 316, 586, 598–600, 622, 635, 636, 641
- Михневич Владимир Осипович — 104, 326
- Млодецкий Ипполит Осипович — 182, 184–86, 190, 192, 193, 195, 197–202, 205–207, 209, 210, 264, 294, 357, 455, 560, 571, 572
- Модестов В. — 637
- Мопассан Ги де — 504
- Мордовцев Даниил Лукич — 598, 599
- Морозова Феодосия Прокопиевна — 249
- Муравьёв Николай Валерианович — 546
- Муромцев Николай Николаевич — 534
- Мэкензи Уоллес — 478

Н

Надеждин Николай Иванович — 554, 555, 561, 571, 578, 600, 614

- Наполеон III — 177
Наполеон Бонапарт — 245, 414
Нащокин Павел Воинович — 226
Незнакомец — см. Суворин Алексей Сергеевич
Некрасов Николай Алексеевич — 73, 237, 255–259, 314, 316, 349, 469, 599, 608, 612, 613, 616, 617, 635, 638, 652
Нерон — 144
Нечаев Сергей Геннадьевич — 32, 45, 130
Николай I — 185, 264, 265, 290, 431, 476, 478, 577, 611, 647
Николай Александрович, великий князь — 264
Николай Нассауский, принц — 291
Никольский — 549, 551–553, 555, 562, 566, 601
Никольский В. — 430
Никонов — 15
Новикова Ольга Алексеевна — 154, 175, 240, 241, 395, 396
Ньютон Исаак — 508
- О**
- Ободовский К.П. — 96, 597
Оболенский Леонид Егорович — 100, 114, 124, 127, 310, 314, 315, 317, 501, 502, 512, 637
Овидий — 375
Огарёв Николай Платонович — 157–159, 161, 162, 165, 177
Одиссей (псевдоним) — 289, 290, 352–354
Одоевский Владимир Фёдорович — 634
Окладский Иван Фёдорович — 548, 552, 553, 562, 574
Оловенникова Елизавета Николаевна — 567, 575
Оловенникова Мария Николаевна — см. Ошанина Мария Николаевна
Оловенникова Наталья Николаевна — 567, 584
Олсуфьев Д. — 325
Ольденбургская Евгения Максимилиановна — 220, 263, 264
Ольденбургский Пётр Георгиевич — 214, 291, 295
Ольхин Павел Матвеевич — 192
Опекушин Александр Михайлович — 278
Опочинин Евгений Николаевич — 368, 380–382, 387, 617
Орсини Феличе — 39
Орт — 436, 436
Осин Иван Терентьевич — 214
Осинский Валериан Андреевич — 15, 28
Островский Александр Николаевич — 34, 237, 349, 356, 366, 520
Отец Алексей — 617
Отец Матвей (Константиновский) — 226
Отец Николай (Вирославский) — 526
Ошанина Мария Николаевна — 562, 567
- П**
- Павлов Иван Петрович — 218, 607, 621, 630, 651–653
Павловский — 653
Палкин — см. Николай I
Пальм Александр Иванович — 653
Панаев Валериан Александрович — 101
Панаев Иван Иванович — 255–258
Панов М.М. — 81, 381, 382
Паприц Константин Эдуардович — 324

- Паулуччи — 483
- Перетц Егор Абрамович — 68, 138
- Перов Василий Григорьевич — 81, 353, 473
- Перовская Софья Львовна — 63, 544, 580
- Петерсен Владимир Карлович (псевдоним Оникс) — 35, 37, 48
- Петипа Мариус Иванович — 626
- Пётр I (Великий) — 57, 335, 413, 447, 547, 507
- Петрашевский Михаил Васильевич — 187, 208, 640, 653
- Петров — 605
- Петров Афанасий Константинович — 159, 160
- Пилар — 21
- Пилат — 113
- Писарев Дмитрий Иванович — 431, 613
- Писемский Алексей Феофилактович — 101, 316, 356, 451
- Платон — 67
- Плещесв Алексей Николаевич — 7, 9, 91, 226, 349
- Победоносцев Константин Петрович — 23, 25, 27, 31, 53, 54, 62, 66, 67, 106, 226, 262, 265–267, 280, 281, 295, 306, 321, 343–346, 400, 406, 430, 439, 440, 441, 447, 454–456, 498, 500, 501, 560, 597–600, 609–611, 615, 619, 620, 624, 625, 648, 650, 651
- Победоносцева Екатерина Александровна — 500
- Поздняк — 607
- Покровский Михаил Павлович — 532
- Поливанов Иван Львович — 383
- Поливанов Лев Иванович — 357, 383, 384, 389, 390
- Поливанова Мария Александровна — 363, 377, 383, 385–393, 395, 406, 434
- Поливановы — 363, 383
- Половцев (Половцов) Александр Александрович — 68, 139
- Полонская Жозефина Антоновна — 136
- Полонские — 75, 136, 187, 188, 202, 203, 206, 214
- Полонский Яков Петрович — 69, 75, 91, 92, 126, 136, 187, 202, 252, 253, 303, 348–350, 429, 618
- Полоцкий Симеон — 639
- Попов — 554
- Попов Иван Иванович — 415, 481, 626, 652
- Посошков Иван Тихонович — 344
- Потехин Алексей Антипович — 100, 131, 212, 356, 357, 598
- Починковская О. — см. Тимофеева В.В.
- Пресняков Андрей Корнеевич — 16, 56, 57, 59, 61, 186, 453, 456, 543, 548, 571
- Прибылёва Анна Павловна — см. Корба Анна Павловна
- Прибылова Мария Николаевна — 554, 555, 563, 568, 578, 579, 582, 586
- Протасова — 181
- Пугачёв Емельян Иванович — 190
- Пуцыкович Виктор Феофилович — 24, 25, 109–110, 306–308, 313
- Пушкин Александр Александрович — 291
- Пушкин Александр Сергеевич — 7, 8, 107, 112, 164, 166, 183, 216, 226, 229, 231, 233, 243, 267, 275–277, 281, 290–294, 298, 307, 325, 328, 337–341, 343, 344, 346, 348, 351, 355, 357–361, 365, 368, 370, 375, 376, 380, 384, 400, 404, 420, 430–432, 464, 471, 473, 487–489, 507, 508, 518, 526, 528, 564, 608, 612, 622, 628, 629, 634, 638, 652
- Пушкин Григорий Александрович — 291

Пушкина Наталья Нико-
лаевна — 164

Пфейфер А.А. — 533

П.Ч. — см. Червинский

Пыхачёва Л. — 220

Р

Разин Степан Тимофеевич — 190

Розанов Василий Васильевич — 229,
231, 297, 308, 312, 314, 345, 346, 463,
618

Романовы — 266

Рохель Александр Ансель-
мович — 26

Рубинштейн Николай Григорье-
вич — 355, 357, 364

Рунич Дмитрий Павлович — 404

Руссо Жан-Жак — 152

Рыкачёв Михаил Александрович —
534, 536, 607, 611, 626, 629, 651

Рыкачёва Евгения Андреевна —
530–532, 534–537, 558, 559, 561,
596, 597, 619

Рысаков Николай Иванович — 63,
653

Рюрик — 276

С

Сабанеев — см. Колодкевич Ни-
колай

Сабуров Андрей Александрович —
295, 296, 611, 651

Савина Мария Гавриловна — 133–
136, 464, 465

Сад де — 475

Садовников Дмитрий Николае-
вич — 92, 95, 96, 135–137, 202–204

Салтыков-Щедрин Михаил Евгра-
фович — 23, 68, 69, 73, 91, 92, 97,

99, 100, 113, 118, 124, 151, 152, 281,
309, 316, 349, 404, 451, 599, 600, 622,
652

Сальери Антонио — 231

Самарин Иван Васильевич — 355

Сватковская Мария Григорьевна —
162, 613

Сватковский Павел Григорье-
вич — 613

Свешникова Елизавета Петров-
на — 93

Семевский Михаил Ивано-
вич — 607

Семёнов Иван Степанович — 606

Сергей Александрович, великий
князь — 263, 264

Серно-Соловьёвич — 45

Синицкий В. — 432

Скабичевский Александр Ивано-
вич — 93, 116

Скальковский А.А. — 610

Скальковский К.А. — 177

Скобелев Михаил Дмитриевич —
533, 565

Скотт Вальтер — 420

Скрипин Трофим — 555, 561, 572,
578, 595

Случевский Константин Констан-
тинович — 253

Смирнова-Сазонова Софья Ива-
новна — 36, 177, 182, 206, 207,
495

Сниткин Иван Григорьевич — 594,
613

Сниткин Михаил Николаевич —
437, 519

Сниткина Анна Григорьевна — см.
Достоевская Анна Григорьевна

Сниткина Екатерина Ипполи-
товна — 519

Сниткина Мария Григорьевна —
см. Сватковская Мария Гри-
горьевна

- Соколов Пётр Петрович — 258, 259
Соловьёв Александр Константинович — 20, 21, 23, 28, 34, 88, 188, 192, 213
Соловьёв Владимир Сергеевич — 63–67, 70, 71, 77, 186, 195, 225, 226, 237–239, 463, 475–477, 503, 504, 618, 652
Соловьёв Всеволод Сергеевич — 77–80, 83, 84, 125, 226, 227
Соловьёв Сергей Михайлович — 77
Сольский Дмитрий Мартынович — 50
София-Фредерика-Дагмара, цесаревна — см. Мария Фёдоровна, императрица
Спасович Владимир Данилович — 55, 100, 101, 311
Спешнев Николай Александрович — 187
Станюкович Константин Михайлович — 252, 301
Станюкович Любовь Николаевна — 252
Стасов Владимир Васильевич — 372
Стасюлевич Михаил Матвеевич — 113, 214, 255–257, 279, 295, 352, 353, 371
Стахеев Дмитрий Иванович — 230, 475, 476
Стелловский Фёдор Тимофеевич — 193
Степняк-Кравчинский Сергей Михайлович — 17, 19, 37, 88, 542
Страхов Николай Николаевич — 39, 43, 70–71, 75, 76, 78, 80, 84, 85, 97–99, 145, 196, 201, 225, 227–240, 293, 305, 325, 351, 358, 360, 410, 471, 474, 475, 480, 489, 503–505, 507, 513–517, 523, 525, 532, 553, 559, 573, 598, 600, 618, 620, 634, 638
Суворин Алексей Сергеевич — 27, 30–40, 42, 48, 100, 106, 107, 117, 118, 135, 151, 176–178, 180, 181, 183, 206, 226, 256, 257, 293, 339, 385, 395, 453, 498, 520, 526, 528, 530, 561, 563, 572, 595, 596, 598, 604, 610, 635, 641
Суворина Анна Ивановна — 293, 378, 520
Судоплатов — 185
Сумароков — 189
Суслова Аполлинария Прокофьевна — 161, 414
Суханов Николай Евгеньевич — 546
Сухомлинов Михаил Иванович — 100
- Т**
- Таганцев Николай Степанович — 100
Тарасова Наталья Александровна — 229
Твардовская Валентина Александровна — 556
Теннисон Альфред — 360
Тестов — 520
Тимковский Константин Иванович — 208
Тимофеева Варвара Васильевна — 79, 80, 95, 97, 241
Тихомиров Лев Александрович — 569, 585
Толстая Александра Андреевна — 239, 506, 507, 510, 511, 513, 514, 516
Толстая Анастасия Ивановна — 204–206, 262
Толстая Софья Андреевна (вдова А.К. Толстого) — 14, 70, 71, 75, 127, 240, 241, 338, 376, 378, 379, 384, 494, 496, 539
Толстая Софья Андреевна (жена Л.Н. Толстого) — 71, 249, 286, 411, 412, 418–420, 463, 514

Толстой Алексей Константинович — 14, 70, 213, 338, 420, 494
 Толстой Дмитрий Андреевич — 295, 296, 306
 Толстой Илья Львович — 419, 420
 Толстой Лев Николаевич — 7–9, 15, 43, 64, 66, 70, 71, 73, 76, 78, 80, 82, 89, 91, 98, 101, 128, 132, 135, 184, 186, 197, 226–240, 244, 249, 250, 276, 281, 286, 288, 290, 292, 304, 305, 308, 309, 314, 316, 318, 332, 347, 402, 410–412, 417–420, 422, 424, 438, 440, 451, 462–463, 471, 484, 485, 487, 489, 500, 503–516, 526, 534, 535, 608, 625, 638, 647, 652
 Толстой Фёдор Петрович — 262
 Трап — 21, 22
 Трепов Фёдор Фёдорович — 14, 15, 50–52, 542
 Третьяков Павел Михайлович — 353
 Третьяков Сергей Михайлович — 354
 Третьякова Вера Николаевна — 353–355, 386
 Троицкий Николай Алексеевич — 567, 568, 575
 Тропман — 195, 196, 199, 201
 Трутовский Константин Александрович — 362
 Тургенев Александр Иванович — 226
 Тургенев Иван Сергеевич — 7, 9, 34, 73, 76, 78, 80, 82, 86–92, 95, 97–106, 109, 110, 112–115, 120, 126, 129–137, 144, 147, 162, 163, 195–197, 201, 204, 214–217, 219, 222, 223, 226, 236, 237, 251–253, 255–261, 279–281, 285, 288, 290, 295–300, 303, 304, 309, 311, 312, 316, 325, 347–358, 360, 361, 363, 365–382, 384, 385, 398, 400, 401, 404, 429, 451, 471, 500, 503–505, 608, 624, 652

Тюменев Илья Фёдорович — 34, 35, 621, 626, 628, 641
 Тюриков — см. Баранников Александр Иванович
 Тютчев Фёдор Иванович — 171
 Тютчева Екатерина Фёдоровна — 447

У

Урусов Сергей Николаевич — 498
 Успенский Глеб Иванович — 293, 301, 325, 338, 367, 581
 Утин Николай Исаакович — 159
 Ухтомский Алексей Алексеевич — 197

Ф

Фадеев Ростислав Андреевич — 449–452
 Фет Афанасий Афанасьевич — 98, 234, 238
 Фигнер Вера Николаевна — 541, 544, 545, 567, 584
 Филиппов Третий Иванович — 265, 447, 448
 Филонов Андрей Григорьевич — 450
 Филоsofova Анна Павловна — 18, 23, 86, 94–96, 126, 127, 134, 135, 221, 240, 241, 410
 Филоsoфов Владимир Дмитриевич — 18
 Флеровский (Берви-Флеровский) Василий Васильевич — 581
 Флобер Гюстав — 360
 Фонвизина Наталья Дмитриевна — 512
 Фриденсон Григорий Михайлович — 549, 551–553, 562, 573

Фроленко Михаил Фёдорович —
547, 548, 587
Фролов Иван — 28, 199, 201, 202
Фурсов — 550
Фурье Шарль — 450

Х

Халтурин Степан Николаевич — 143
Хитрово Софья Петровна — 70
Хомяков Алексей Степанович —
253, 643
Христианин (псевдоним) — 430, 432
Худяков Иван Александрович — 191

Ц

Цинциннат — 488
Цитович Пётр Павлович — 279, 300,
313, 491

Ч

Червинский П.П. — 310
Черепнин Николай Петрович —
538, 540
Чернецкий Людвиг — 159
Чертков Владимир Григорье-
вич — 226
Честертон Гилберт Кийт — 359
Чехов Антон Павлович — 128, 339,
504

Ш

Шапиро — 604
Шапшал, братья — 401
Шевченко Тарас Григорьевич — 483
Шекспир Уильям — 504, 603

Шелгунов Николай Василье-
вич — 123
Шелехова Мария — 324
Шер Дмитрий Александрович — 205
Шереметева Елена — 263, 264, 271
Шидловский Иван Нико-
лаевич — 226
Шиллер Фридрих — 96, 420
Шишков Александр Семё-
нович — 404
Шкловский Виктор Борисович —
547, 553, 556, 561, 563, 573, 587, 603,
604
Штакеншнейдер Елена Андре-
евна — 35, 75, 82–85, 98, 126, 128,
216, 228, 240, 241, 297, 303, 399, 402,
406, 420, 429, 453, 454, 459–462,
466, 471–473, 483, 484, 486, 528
Штакеншнейдеры — 75, 76, 78, 84,
126, 127, 215, 233, 460, 465, 468,
472–474, 494

Щ

Щедрин Михаил Евграфович —
см. Салтыков-Щедрин Михаил
Евграфович

Э

Эйдельман Натан Яковлевич — 655
Энгельгардт Анна Нико-
лаевна — 240
Энгельмейер А.К. — 203

Ю

Юзов — см. Каблиц И.И.
Юнге Екатерина Фёдоровна — 204,
387, 388, 393

Юрьев Сергей Андреевич — 281,
288, 299, 300, 342, 343, 345, 356, 359,
363–365, 371, 373, 386, 387, 395, 505

Юрьевская Екатерина Михай-
ловна — см. Долгорукова (Долго-
рукая) Екатерина Михайловна

Юханцев Константин Нико-
лаевич — 405

Я

Языков Николай Михайлович — 349

Якимова Анна Васильев-
на — 587–589

Яковлев — 571, 600

Янжул Иван Иванович — 123, 129

Янышев Иоанн (Иван) Леонтье-
вич — 651

Латинские обозначения

Amicus — 499

Katkoff — 296, 301

Nemo — 602, 604

Sollogoub — 164

Z (псевдоним) — 31, 38–40, 42, 48,
118

Литературно-художественное издание

Игорь Леонидович Волгин

Последний год Достоевского исторические записки

Руководитель проекта *Юрий Крылов*
Заведующая редакцией *Татьяна Чурсина*
Верстка: *Александр Щужин, Виктория Челядинова*
Корректоры: *Татьяна Бычкова, Наталья Семенова*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ООО «Издательство АСТ»

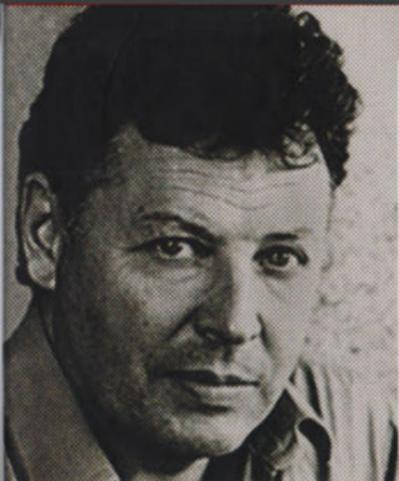
141100, Россия, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 96
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Издательство «Зебра Е»

121069, Москва, ул. Большая Никитская, д. 50/5,
тел.: (495) 690-19-65, 690-19-55
E-mail: zebrae@rambler.ru, WWW.zebrae.ru

По вопросам приобретения книг обращаться в Издательскую группу АСТ:
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7 этаж
Тел.: (495) 615-01-01, факс: 615-51-10
E-mail: astpub@aha.ru, <http://www.ast.ru>

Отпечатано в ООО «Северо-Западный печатный двор»
188300 г. Гатчина ул. Железнодорожная 45, л. Б



Первое издание этой книги, переведенной на многие иностранные языки, стало мировой сенсацией и обозначило новый поворот в развитии историко-биографической прозы. Автор впервые соотнес личную и творческую судьбу Достоевского с трагическими коллизиями российской истории. Уникальные открытия, сделанные в «Последнем годе», помогают постичь драму жизни и смерти Достоевского, в том числе тайну его ухода.

Уверен, что эта умная, талантливая книга станет заметным событием в отечественной и мировой литературе о Достоевском и не оставит равнодушным никого из тех, кому дорога русская культура.

Академик Д.С. Лихачев

Для тех, кто взывает полноты познания прошлого, книга Волгина окажется просто незаменимой. Она не лишена свойств прецедента, примера, драгоценного первого шага.

В. Турбин

В ряду писателей, пишущих на русском языке, Игорь Волгин несомненно занимает одно из первых мест... Сотворив свою неповторимую «сагу о Достоевском», Игорь Волгин написал, может быть, одну из лучших книг о России.

Чл.-корр. РАН П.А. Николаев

игорь
волгин

последний год
достоевского

ISBN 978-5-17-068599-8



9 785170 685998

